

Эмма Герштейн

МЕМОУАРЫ



ИНАПРЕСС



Э.Г. Герштейн. 1998. (фото И. Пальмина)

**ЭММА ГЕРШТЕЙН
МЕМУАРЫ**

ЭММА ГЕРШТЕЙН

МЕМОУАРЫ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДА ПРЕСС
1998

ББК 84.Р7
Г 42

Редактор Н. Кононов

ISBN 5-87135-060-7

© Э.Герштейн, ИНАПРЕСС, 1998
© ИНАПРЕСС, оформление, 1998

I

ВБЛИЗИ ПОЭТА

В САНАТОРИИ

В первый же день приезда я обратила внимание на одну пару. В столовую вошла молодая женщина с умным лбом, чем-то изысканная, за ней муж, с сухим надменным лицом, нижняя губа длиннее верхней, изящный птичий нос, высокий лоб с большими залысинами, седоват. «Вероятно, профессор-искусствовед из ГАХНа¹», — подумала я.

За столом оба внимательно обдумывали меню, совещались, можно ли ему есть печенку. У женщины был тихий, приятный голос. Печенка оказалась жесткой, а «профессор» совсем беззубым. Он стал что-то нервно говорить официантке, начинало пахнуть скандалом. Но жена сидела молча и окидывала обедающих коротким и тайно лукавым взглядом косо поставленных голубых глаз. Ее выпуклый чистый лоб с широкими висками и спокойное молчание придавали всей сцене характер непонятной серьезности. Оробев, официантка принесла другое блюдо.

Вставая из-за стола, отдыхающие стали обсуждать программу вечерних развлечений. Спросили «профессора», не прочтет ли он что-нибудь. Тот ядовито обратился к человеку с круглыми покатыми плечами, но в форме летчика: «А если я попрошу вас сейчас полетать, как вы к этому отнесетесь?» Все были ошарашены. Тут он стал раздраженно объяснять, что стихи существуют не для развлечения, что писать и даже читать стихи для него такая же работа, как для его собеседника управлять аэропланом. Общее настроение было испорчено, «профессор», оказавшийся поэтом, презрительно проворчал еще что-то насчет «птижэ», а его жена все так же задумчиво смотрела всем прямо в глаза.

Происходило это 29 октября 1928 года в «Узком» — подмосковном санатории Комиссии содействия ученым (КСУ). Правда, ученых в этот мертвый сезон здесь было мало, зато были члены их семей и случайные представители других профессий. Меня отпраздничать сюда на десять дней отец — московский хирург. Я перенесла тяжелую психическую травму и приехала в «Узкое» в угнетенном состоянии. Мне было тогда 25 лет.

На следующее утро мимо меня прошла по коридору та же пара, он чуточку семенящей походкой, держа ее под локоть, она твердым шагом, несмотря на заметную кривизну ног. До меня донесся обрывок их беседы.

¹ ГАХН — Государственная Академия художественных наук.

— По-настоящему, я должен вызвать его на дуэль! — слегка подергивая верхней губой, говорил Мандельштам (я уже знала фамилию поэта).

Я была уверена, что он хочет драться со вчерашним летчиком, но ошиблась. Вскоре выяснилось, что нервная реплика Осипа Эмильевича относилась вовсе не к обитателям «Узкого», а к его конфликту с писателем А. Г. Горнфельдом (по поводу перевода «Тили Уленшпигеля»).

В санаториях и домах отдыха сходятся быстро. 31 октября, в день рождения Надежды Яковлевны (так звали жену Мандельштама), мы были уже знакомы. Она оказалась общительной и затейливой.

Ей исполнилось 29 лет; она шутливо повторяла: «Один год до нолика».

Познакомились мы в библиотеке, она же гостиная. На стенах розетки для радио, но репродуктор отсутствовал — слушали, надевая наушники.

Это было любимейшим занятием Осипа Эмильевича. Если бы над ободком от наушников не торчал его хоолок, он был бы похож на женщину в чепце. Это его нисколько не заботило. Он садился на тахту с ногами, по-турецки, и слушал музыку необычайно серьезно. Иногда сиял, подпрыгивая на пружинах, большею же частью его лицо и даже фигура выражали внимание и уважение.

Я не припомню, чтобы Мандельштам называл когда-нибудь имя исполнителя, но всегда отмечал программу: «Сегодня — Шопен», или: «Иду слушать Моцарта».

Ни разу я не слышала от него жалоб на мертвящий тембр механического передатчика. Он был влюблен в радио! Впоследствии я в этом убедилась еще раз, когда Мандельштамы жили в Общежитии для приезжающих ученых на Кропоткинской набережной. Гостиная представляла собой квадратную комнату, уставленную по всем четырем стенам диванами без спинок. Одна из приезжих уселась на таком диване, раскрыла книгу и надела наушники. Мандельштам сдерживался некоторое время, наконец выскочил из комнаты, бормоча что-то, и за дверью послышались его быстрые шаги по коридору и возмущенные возгласы: «Или читать, или слушать музыку!» Гражданка ничего не понимала: казалось бы, она никому не мешает?

«Бал — это система!» — воскликнула я в парке «Узкого», когда наша спутница заговорила о дореволюционной светской жизни. Мое замечание привлекло внимание Осипа Эмильевича. Вероятно, ему было занятнее выслушивать мои рассуждения о социальном и эстетическом значении праздничного обряда, чем воспоминания дамы о балах в Дворянском собрании. С тех пор Мандельштамы часто гуляли со мной одной.

...И Осип Эмильевич сказал в придаточном предложении — «мы все трое такие беспокойные люди», а я приняла эту фразу как знак признания снедавшей меня внутренней тревоги...

Надежда Яковлевна нашла во мне сходство со своей старшей сестрой. Аня всегда ела одна, не могла переступить порог, приходила и уходила по внутреннему зову, который редко ее

обманывал. До революции она училась на историко-филологическом факультете, специализировалась по старофранцузской литературе. Теперь же существовала на случайные заработки, живя у своего дяди в чулане большой ленинградской коммунальной квартиры. Надежда Яковлевна предполагала, что мне Аня понравится. Так оно и вышло впоследствии, когда Анна Яковлевна приезжала в Москву. Я ее полюбила, и она относилась ко мне с доверием. Но все-таки в «Узком» говорилось о психически неполноценной женщине, вышибленной из жизни. Аналогия была не так уж приятна. А Надежда Яковлевна как будто оказывала мне этим особую честь. Она презирала «примитивных» людей, предпочитала уклонения от нормы и умела угадывать их в собеседнике (или придумывать). И тем не менее ее сочувственное внимание имело на меня благотворное влияние. Она обладала абсолютной несмущаемостью, и, беседа с ней, я постепенно избавлялась от присущей мне скованности.

Иногда Надежда Яковлевна отказывалась выходить с нами в парк, потому что любила игры, в которых Осип Эмильевич не принимал участия: шахматы, бильярд. В таких случаях мы гуляли вдвоем.

От его замкнутости и неприветливости (каким он показался мне в первый день в столовой) не осталось и следа. Осип Эмильевич был склонен к шутке и любопытен к маленьким происшествиям санаторной жизни. А их было достаточно, потому что в доме господствовал монастырский устав. Взрослым людям приходилось ставить у дверей сторожевого, чтобы директор не застал их танцующими фокстрот или выделяющимися изумительные колена чарльстона. Эти танцы были запрещены. Петь французские песенки не было преступлением. Я, например, так разошлась однажды, что спела под рояль мою любимую «Je cherche auprès Titine», ту самую, мелодия которой вскоре стала лейтмотивом в «Новых временах» Чарли Чаплина. А какая-то переводчица с французского подхватила знакомую песенку и исполнила вдобавок еще несколько парижских шансонеток. Тут администрации возразить было нечего, так как в инструкциях такой «пассаж» не был предусмотрен. Но все-таки было бы спокойнее, если бы «больные» пели хором «Славное море, священный Байкал» или «Реве та стогне Днипр широкий». Обо всех подобных событиях я докладывала Осипу Эмильевичу. Мои внешние впечатления вообще были богаче, чем у Мандельштамов, потому что я жила в общей палате, а они занимали отдельную комнату. Оживленные расспросы Осипа Эмильевича навели меня на сравнение его с некоей тетушкой, которая уже не выходила из дома, но узнавала ежедневные новости о жителях Комбрэ от своей старой служанки (см.: Марсель Пруст. В поисках утраченного времени). Мандельштам охотно откликнулся на мои слова, и мы несколько дней играли в «тетю Леонию и Франсуазу».

Заболела Надежда Яковлевна. Целый день Осип Эмильевич был в тревоге и хлопотах. Но как только диагноз был поставлен и было назначено лечение плюс постельный режим, мои послеобеденные прогулки с Осипом Эмильевичем возобновились.

Возвращаясь, я рассказывала Надежде Яковлевне о деспотизме ее мужа: он не мог себе представить, чтобы я свернула не в ту аллею, которую он наметил. «Он обращается

со мной как с шофером, — жаловалась я, — указывает: направо, налево, прямо, и мне остается только молча повиноваться». Этот «шофер» тоже вошел в наш шуточный ритуал.

Однако беседы наши не ограничивались шутками. Я искала утешения и, вероятно, откровенничала. Думаю так, потому что финалом одного такого душевного разговора был мой вопрос: «Правда, я несчастна?» А Осип Эмильевич так внимательно, серьезно на меня посмотрел и сказал: «Да, вы несчастны. Но знаете? Иногда несчастные бывают очень счастливыми».

Впоследствии на протяжении всей моей жизни я только и делала, что убеждалась в правильности этого афоризма. Знакомство с Мандельштамом сыграло, таким образом, для меня роль «посвящения» в другую жизнь, где все меряется по особому счету.

Первоначально, однако, наши разговоры принимали какое-то фрейдистское направление, вертелись вокруг эротики — «первое, о чем вспоминаешь, когда просыпаешься утром», как сказал Мандельштам.

Речь шла об истоках его восприятия жизни. Он сказал, что ничто так не зависит от эротики, как поэзия. Я перебила его: «А музыка? Разве она не связана с эротикой? Почему именно поэзия?» — «Потому что я имею некоторый опыт в этом деле, — желчно ответил Мандельштам и внезапно остановился, пораженный догадкой: — А вы читали мои стихи?» — «Нет».

Он рассердился ужасно. Я стала оправдываться: «Но я знаю, мне говорили, что в Царском Селе живет такой замечательный поэт...» — «Мы там давно не живем!» — «Все восхищаются вашими новыми стихами...» — «Какие новые стихи?» — «Но, кажется, только что вышла Ваша книга?» — растерялась я. «Там нет новых стихов!! Я уже много лет их не пишу. Пишу... написал... прозу...» — гневно кричал Мандельштам и, задыхаясь от раздражения, бросил меня одну на пустынной аллее. В сгущающихся сумерках я следила, как он удаляется от меня своей странной шаркающей походкой, выворачивая носки. Он почти бежал, минуя дорожки, спотыкаясь и проваливаясь в грязь, пока не уткнулся в полуразвалившийся забор и прислонился головой к перекладине.

Позади меня светились окна здания санатория. Как я вернусь туда одна? И что я скажу Надежде Яковлевне? Сконфуженная и озадаченная, я сидела на скамейке. Тем временем медленным и спокойным шагом ко мне приближался... Осип Эмильевич. Он сел рядом со мной, глаза его лучились сквозь длинные ресницы, и он стал меня расспрашивать: «Ну, как вы себе представляли этого Мандельштама? Серьезный человек? С большой бородой, да? Выходит из дворца?» Особенно его смешила выдумка о бороде, которой в те годы не носил никто, кроме старомодных профессоров.

Мы мирно вернулись в дом, но вечером Надежда Яковлевна все-таки спросила меня: «О чем это вы разговаривали с Осипом Эмильевичем?» Я отчиталась, как могла. «Он просто флиртует с вами», — отрезала она. Не знаю. Я вспомнила, как он мне сказал не без досады: «Я бросаю вам мячики, а вы не ловите их».

Почему-то Осип Эмильевич во время этих прогулок неоднократно возвращался мыслями к Ларисе Рейснер. То вспоминал эпизод, бывший, кажется, еще до его женитьбы, когда он зашел за ней, чтобы ехать вместе в маскарад, а горничная объявила: «Лариса Михайловна жабу гладит» (в 60 — 70-е годы я не раз читала в мемуарной литературе о

Мандельштаме тот же анекдот про жабо, но в других вариантах). Откликаясь на какие-то мои рассказы, Мандельштам однажды протянул по-гусарски: «Лариса Рейснер тоже была тяже-е-лая артиллерия». От Надежды Яковлевны я уже знала, что он имел в виду: роман Л. Рейснер с Н. С. Гумилевым.

Осип Эмильевич говорил, что она была «гением бестактности». Однажды, уже будучи женой Федора Раскольникова, она присутствовала на дипломатическом приеме. Вошел какой-то французский лейтенант. Он был так красив, что Лариса Михайловна обомлела, встала и шагнула ему навстречу. Так стояли они друг против друга в замешательстве, оба красивые. «Но у нее была безобразная походка», — заметила я. «Что вы, — удивился Осип Эмильевич, — у нее была танцующая походка...» Задумчиво и серьезно глядя вдаль, как он делал всегда, когда искал слово для определения, он добавил: «...как морская волна».

Мы пошли в кооперативный магазин за папиросами, вышли на шоссе. В это время года я никогда не бывала за городом. Я остро воспринимала не только темные пруды и аллеи осеннего парка с таинственно светящимися окнами бывшего господского дома, но и беспорядочно растущие оголенные деревья, низкий серый горизонт, редкие домики по краям дороги. Мне хотелось, чтобы Осип Эмильевич разделял мое настроение. Но нет: слякоть, уныние, убогие здания, бесцветные физиономии встречаемых — он ненавидел все это! «Я — горожанин», — заявил он.

Одна из моих соседок по палате, молодая женщина, но такая усталая, что после завтрака снова ложилась в постель, как-то в гостиной обратилась к Осипу Эмильевичу: «Расскажите о Гумилеве». Я думала, он рассердится, отнесется к ее просьбе как к пошлому любопытству — нисколько. Он описал свою встречу с Николаем Степановичем где-то в пути, чуть ли не на железнодорожной станции. Я с пятнадцати лет любила стихи Гумилева и чтала его память, но почему-то не запомнила ни одного слова из рассказа Мандельштама. Помню только тон любви и уважения, каким он говорил о поэте-друге, и заключительную фразу: «Это была наша последняя встреча».

Приближалось 7 ноября — одиннадцатая годовщина Октябрьской революции. Я была довольна, что нахожусь здесь, а не в Москве, где все уйдут на демонстрацию, а на меня будут косо смотреть за то, что я осталась дома (а в какой колонне мне надо было идти? ведь я бросила работу, несмотря на грозившие мне неприятности с Биржей Труда). Представила эту невозможность увидеться с кем-нибудь, так как трамваи не ходят, а улицы запружены демонстрантами, и их песни, и подкидывание товарищей в воздух на вынужденных остановках шествия... я не умела так.

В «Узком» юбилейный вечер прошел в скромных масштабах. Насколько мне помнится, актеры не приезжали, а в большом зале, куда нас всех созвали, был поставлен радиоприемник. Мы слушали передачу торжественного собрания, вероятно, из Большого театра, — официальную речь, а затем праздничный концерт. Трудно передать, как он взбудоражил Осипа Эмильевича! «...Благотворительные вечера... декламация... толстые певичцы прямо из девяностых годов... одни и те же оперные арии...» — Мандельштам почти кричал. И

один молодой архитектор удивленно обращался к присутствовавшим: «Я не понимаю, почему *Мандельштам* так волнуется? Он же не служит в Реперткоме!»

На следующий день, придя к обеду, мы увидели добавочный стол, парадно накрытый. Отдохнуть на праздники съехалось много ответственных товарищей. Странно было видеть среди этих солидных фигур изящного брата Надежды Яковлевны, сдержанного, с холодным блеском зелено-карих глаз (тоже с косым разрезом) и безукоризненными манерами. Как он чистил грушу своими тонкими руками с длинными пальцами! Ему не достало места за нашим столом из-за большого съезда гостей. А у нас было веселее, шла болтовня. После обеда Осип Эмильевич сказал мне, что я напрасно так неуверена в себе: «Вы хорошо защищаете свою правоту... и расстояние между собой и собеседником даете почувствовать». Чисто мандельштамовская постановка проблемы поведения.

Известно, какое глубокое истолкование давал поэт понятию «внутренней правоты» и как часто его уязвляло отсутствие должной дистанции между ним и случайным собеседником. Недаром в авторском отступлении «Египетской марки» Мандельштам восклицает: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока!» — на Парнока, «презираемого швейцарами и женщинами», принадлежащего к числу «неудобных толпе» лиц. Подобная несовместимость была в высшей степени свойственна самому Мандельштаму.

Его импульсивность не всегда раскрывала лучшие черты его духовного облика, а нередко и худшие (даже не личные, а какие-то родовые). При впечатлительности и повышенной возбудимости Мандельштама это проявлялось очень ярко и часто вызывало ложное представление о нем как о вульгарной личности. Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении. Но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживали почтительного преклонения... Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Эмильевича. Я разглядела все это уже позже, когда в течение пяти-шести лет регулярно встречалась с Мандельштамами в Москве...

Сразу после праздников я вернулась домой, Мандельштамы еще оставались в «Узком». Я к ним приезжала и привезла Осипу Эмильевичу для чтения книгу Пруста «Под сенью девушек в цвету» в русском переводе. Застала его в гостинице на тахте, в радионаушниках.

Не могу понять, что со мной случилось: мне вдруг стало ужасно грустно. Я почувствовала в нем что-то чужое. Как будто он уводил на какие-то боковые тропинки, причудливые, изысканные... Это был мгновенный приступ отчаяния и сиротства, налетевший на меня как предостережение и так же мгновенно забытый.

И вот мы гуляем с Надеждой Яковлевной по парку и болтаем. Она оделась по-зимнему: выпал мокрый снег. В ней была какая-то ей одной присущая элегантность спортивного типа. Потом оказалось, что и плоскую кожаную шапку-ушанку с гладким мехом, и коричневатый джемпер она купила в рядовом кооперативе. Теперь уже нельзя себе представить, какие безобразные вещи там продавались, но Надежда Яковлевна умела заметить на полке что-нибудь путное. У нее был острый глаз и хороший вкус, так же как у ее брата, который носил нитяные перчатки, как лайковые, и был элегантен в непромокаемом плаще.

Когда мы вернулись в дом и вошли в комнату, Осип Эмильевич лежал на кровати и смотрел куда-то вверх. Рядом валялась книга Пруста. Мандельштам что-то бормотал, за-

тем посылались отрывистые слова, наконец он процитировал законченную фразу из Пруста и воскликнул с отвращением: «Только француз мог так сказать». Речь шла о натуралистическом описании пробуждения сексуального чувства у юного героя романа.

Мы опять пошли гулять, на этот раз вдвоем с Осипом Эмильевичем. Он продолжал думать о Прусте; «пафос памяти» — так он выразился. В нем подымалась ответная волна воспоминаний о собственном детстве. Он говорил, обращаясь уже не ко мне, а к прудам. Это были откровенные и тяжелые признания с жалобами на тяжелое детство, неумелое воспитание: его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он тревожно волновался, когда его секла гувернантка.

Он влек меня к прудам, черневшим один впереди другого. Там, на берегу, он выкрикивал своим гибким голосом взволнованные фразы — законченными периодами, с неожиданными метафорами и недоступными мне мыслями. Это была неудержимая импровизация, обращенная уже не ко мне, а к тому дальнему пруду, и я смутно припоминала, как Пушкин бродил над озером, пугая уток пеньем своих стихов.

В последний раз я навестила Мандельштамов в «Узком» в день их отъезда. Мы уже сидели с чемоданом в такси, машину потряхивало, и как бы в такт ей раздраженно вздрагивал Осип Эмильевич. Мы не трогались с места, поджидая спутницу, тоже возвращающуюся домой после лечения в санатории. Это была та самая женщина, которая спрашивала Мандельштама о Гумилеве. Ее опоздание выводило Осипа Эмильевича из себя. Он бранился, вскрикивая: «Счетчик... счетчик!» Разумеется, она скоро явилась, но недовольство Мандельштама не прошло. В Москве, когда мы высадили даму у подъезда, она пригласила Мандельштамов бывать у нее. Как только мы отъехали, Осип Эмильевич язвительно заметил: «Она воображает, что завела с нами знакомство». Я торжествовала. Знакомство со мной, казалось, завязано прочно.

В Москве Мандельштам подарил мне свои книги. «Старомодная», как он сам сказал, надпись на «Египетской марке» датирована «20 ноября 1928 г.», а сборник «Стихотворения» Надежда Яковлевна отобрала у меня через несколько лет, когда не хватало экземпляра для расклейки, чтобы представить в ГИХЛ на предмет предполагаемого переиздания. Я сопротивлялась, но после Надиного презрительного замечания: «Зачем она вам?» — обиделась и отдала книгу. Вероятно, Надежда Яковлевна вырвала и уничтожила дарственную надпись Осипа Эмильевича, с ее заключительной фразой: «...Спасибо за Пруста».

В МОСКВЕ

Авторские экземпляры книги «Стихотворения» 1928 года Осип Эмильевич различал по цвету переплета. «Сливочное», «клубничное», «фисташковое мороженое» — радовался он. Мне было подарено «клубничное», похожее на обложку сборника статей О. Мандельштама «О поэзии», как известно, вышедшего в том же году. Сборник не был еще распродан, я купила его в магазине. Впечатление от чтения — потрясающее. Обход девятнадцатого

века — или назад в стройный рассудочный восемнадцатый, или вперед в неизвестное иррациональное будущее — наполнял меня апокалипсическим ужасом. Остальные статьи, несмотря на мою недостаточную эрудицию, были близки моему восприятию жизни всем строем мысли и художественным стилем философской прозы Мандельштама. Я призывала мою давнишнюю подругу (со школьной и университетской скамьи) разделить мой восторг и читала ей отрывки. «Несчастный. Для кого он пишет?» — вырвалось у нее.

В чувстве реальности Елене отказать было нельзя: статьи, написанные и напечатанные в начале нэпа, воспринимались как нонсенс в конце этого периода — в преддверии сталинских пятилеток. Мандельштам терял своего читателя.

И дома своего у него не было.

С того дня, как я впервые навестила Мандельштамов в комнате Надиного брата на Страстном бульваре, и до 1933 г., когда они получили квартиру в писательском доме в Нащокинском переулке, — я бывала у них по самым разным адресам, где они либо гостили, либо снимали комнату:

в одном из Брестских переулков между Садовой и Белорусским вокзалом;

в новом доме с плоской крышей на углу Спиридоньевского переулка и М. Бронной улицы; в Старосадском переулке, в комнате Александра Эмильевича Мандельштама, брата Осипа; на Покровке;

на Кропоткинской набережной в Общежитии для приезжающих ученых;

на Б. Полянке, д. 10, кв. 20, в комнате Цезаря Рысса;

на Тверском бульваре, в правом флигеле Дома Герцена — в узкой комнате в одно окно; там же — в большой комнате в три или два окна.

Да еще в Болшеве и опять в «Узком».

Два или три раза они жили у меня (ул. Щипок, д. 6/8).

И снова у Евгения Яковлевича — Страстной бульвар, 6.

И где бы это ни было, я не вспомню, чтобы я видела Осипа Эмильевича за письменным столом.

Впрочем, исключения бывали. Например, когда Александр Эмильевич пришел к Мандельштаму со своей статьей. Он работал в книготорговой сети, ему надо было что-то представить в специальное издание, но он не умел писать, вернее, не мог сосредоточиться. И Осип Эмильевич сел рядом с ним за стол и терпеливо и любовно помогал брату.

А в большой солнечной комнате на Тверском бульваре мне приходилось заставлять Осипа Эмильевича сидящим за маленьким кухонным столиком, на котором был развернут огромный том Палласа или Ламарка с красочными иллюстрациями. Читать лежа такую толстую книгу было невозможно.

На улице Щипок, где у меня в первую же зиму знакомства жили Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич, помещалась больница им. Семашко. Мой отец был там главным врачом до 1929 года, когда беспартийный уже не мог занимать административной должности (заведующим хирургическим отделением он оставался до конца тридцатых годов). В двадцатые еще действовало правило: на больничной территории никто не имел права жить, кроме медицинского персонала. Поэтому в годы всеобщего уплотнения жилплощади мы жили как помещи-

ки, в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасой, с отгороженным в больничном парке отдельным садом и даже с конюшней во дворе. Но вместе с тем эта казенная отцовская квартира оказалась ловушкой для его детей, потому что ее нельзя было менять.

Наша семья состояла из шести взрослых, с разными профессиями и интересами людей, несколько чудаковатых, каждый в своем роде, искусственно объединенных в одной квартире. Каждый имел по комнате. Один из моих братьев был женат на нашей же двоюродной сестре, женщине хотя и лишенной «герштейновских» чудачеств, но богато оснащенной собственными причудами. У них недавно родился сын. Забывавшие ко мне Мандельштамы были свидетелями, как мой маленький племянник впервые заговорил, начав с очень трудного слова. Они часто потом припоминали, как он прыгал по моей тахте и с сияющими глазами победоносно выговаривал: «Иго-ло-чка». Для Осипа Эмильевича это было каким-то переживанием.

Дом наш был средоточием страстей, слез и упрямства, а также скрытых шрамов от взаимно наносимых душевных ран. Особенно это проявлялось в напряженности, с которой мы все сходились за обеденным столом. Но Надежда Яковлевна, несмотря на бешенство моей невестки-кузины, сумела овладеть вниманием всех членов семейства.

С моим отцом она беседовала о заграничных впечатлениях — в детстве она успела побывать с родителями в Швейцарии.

С моей старшей сестрой (своей ровесницей) она мерялась «площадочками» — так она называла расстояние между бровями, носом и лбом. У них у обеих были лбы итальянского типа эпохи Возрождения. А так как моя сестра окончила Консерваторию по классу фортепиано у проф. А. Б. Гольденвейзера, Надежда Яковлевна имела повод рассказывать, как она играла с ним в шахматы в Доме отдыха.

С мамой Надежда Яковлевна беседовала о Софье Андреевне, замечая, что «не так легко быть женой Льва Толстого».

На кухне она весело пекла песочное печенье под хмурыми взглядами нашей домработницы.

Очень быстро Надежда Яковлевна прозвала нас Габсбургами. Оказывается, в нас говорила тысячелетняя кровь предков, превратившая нас, так же как и поздних отпрысков австрийской императорской династии, в усталых и рафинированных людей. Еще через несколько дней обнаружилось, что у меня «эренбургский глаз» — такой же серый и умный. Моя ироничная подруга Лена говорила по этому поводу: «Ей надо подать на блюде тех, с кем она встречается. Это и есть светскость». Но у Осипа Эмильевича подобная вычурность имела, по-видимому, другие корни. Он заметил, что у меня египетский профиль. Я удивилась, а он, в свою очередь, тоже удивился: «Разве вы не помните?.. колесницы фараона... рядом с ним телохранитель... или шеренга воинов в профиль... вот вы похожи на того воина с копьем». Не знаю, было ли у меня действительно внешнее сходство с древним египтянином, и, по правде сказать, я плохо помнила, как выглядели колесницы фараона — до того ли было? — но что-то Осип Эмильевич предугадал: «телохранительство» было нашей семейной чертой. Все мы подставляли дружеское плечо кому-нибудь, кого считали выше или несчастнее себя. И по мере того, как жизнь закаляла меня, я все более и более из «прислоняющегося» превращалась в «поддерживающего».

МЕТАНЬЯ

Часто я навещала Мандельштамов у старшего брата Надежды Яковлевны Евгения Яковлевича. Осип Эмильевич в ту пору жил под знаком «выхода из литературы». Он не хотел быть писателем. Он не считал себя писателем. Он ненавидел письменный стол. Он небрежно обращался с ненужными ему книгами: перегибал, рвал, употреблял, как говорится, «на обертку селедок».

На домашнем языке это называлось «растоптать Москву». За то, что она считала Мандельштама «бывшим» поэтом, за то, что проза его не была «реалистичной», а статьи были непонятны. И еще за то, что конфликт с А. Г. Горнфельдом лишил Мандельштама налаживающейся было переводческой работы.

— Мы откроем лавочку, — увлеченно мечтал Осип Эмильевич. — Наденька будет сидеть за кассой... Продавать товар будет Аня.

— А вы что будете делать, Осип Эмильевич?

— А там всегда есть мужчина. Разве вы не замечали? В задней комнате. Иногда он стоит в дверях, иногда подходит к кассирше, говорит ей что-то... Вот я буду этим мужчиной.

Но вскоре опять — красноречивые обличительные тирады, беганье из комнаты в коридор к телефону: хлопотать, жаловаться, требовать ответа... Возвращался, советовался, бежал назад к телефону и кидался в изнеможении на диван, обнимая «Наденьку». Иногда затевал какую-нибудь игру. Меня они оба донимали забавой «Поставим Эмме компресс» — и начинали обматывать меня полотенцами. Я отбивалась, они хохотали, и я хохотала, но была не совсем довольна.

Жалобы, обвиненья, заявления он диктовал Наде.

И снова придумыванье новых покровителей, ожиданье назначенного часа.

Паденье на диван, как в воду.

Однажды бросился так и... заснул.

Он лежал на боку, подложив руку под голову, согнув колени, и все его члены приобрели особую легкость. Как будто и нервная, но рабочая кисть руки, и утончившиеся черты лица, и даже его странное телосложение подчинились какой-то таинственной гармонии. Он совсем не был похож на лежащего человека, а будто плыл в блаженном покое и слушал...

И еще десятилетия спустя, когда при мне произносили имя Осип Мандельштам, мне хотелось воскликнуть: «Как он красиво спал!» Но я сдерживала себя, боясь показаться смешной.

С этим переживаньем я могу сравнить только потрясение от зрелища мертвого Маяковского. Когда, прямой и легкий, он лежал на столе с омытым смертью лицом и, несмотря на бросавшиеся в глаза тяжелые подкованные подошвы башмаков, казался летящим.

Как-то я пришла на Страстной к Хазиным вдвоем с Осипом Эмильевичем. На столике были разложены книги: «Царь-девица» Марины Цветаевой, «Жемчуга» Гумилева и другие сборники.

— Как у зубного врача, — тихо проворчал Мандельштам, садясь с ногами на широкий диван. В завязавшемся разговоре я спросила его, как он относится к поэзии Ахматовой. И он, глядя вверх и вдале, заговорил не о любовных мотивах ее лирики, а о ее описаниях природы. Он сравнивал стихи Ахматовой с пейзажами русских классиков, но не находил в

них сходства ни с Тургеневым, ни с Чеховым. Бормотал, перечисляя имена писателей, пока не было найдено единственное определение, выдерживающее сравнение с ее стихами:

— Аксаковская степь...

Бормотанье — одна из его манер говорить (я насчитывала их четыре). Бормотанье — с трудом сдерживаемая эмоциональная реакция, или «мысли вслух» с шевелением губами, подыскиванием слова, почти на ощупь — так? или не так? может быть, так? нет, вот так: и мысль оформлялась в блестящем афоризме (манера № 1), иногда переходящем в бурную импровизацию с сокрушительными логическими выводами (манера № 2). Механических проходных фраз у Мандельштама не бывало никогда.

А вот когда он диктовал мне статью о художественных переводах, это было уже не бормотанье и не импровизация, а громкое скандирование (манера № 3). Каждую фразу он проверял на слух, торжественно произнося слова и любясь их сочетанием.

Эта статья (напечатанная в «Известиях» 7 апреля 1929 г.) была одним из звеньев в борьбе Мандельштама с Горнфельдом, разросшейся до крупного литературного скандала.

Статью свою Мандельштам диктовал мне в комнате, снимаемой где-то в районе Белорусского вокзала. Трудно это — всегда жить в чужой обстановке, безвкусной, заносной. Надя подчас уставала от этого. Однажды лежала на кровати, укрывшись с головой пледом. Осип Эмильевич сердился: «Наденька, это — манерность... Десятые годы... Наденька, ты — Камерный театр!» Она вскочила.

Как-то, вернувшись из города домой, Надя весело рассказывала об одной из обычных трамвайных перебранок. Они пробивались к выходу, получая тычки и виртуозно отругиваясь. Но последнее слово осталось за оппонентом. «Старик беззубый», — обозвал он Мандельштама. Выйдя уже на переднюю площадку, Осип Эмильевич приоткрыл дверь в вагон, просунул голову и торжествующе провозгласил: «Зубы будут!» С этим победным кличем они вышли из трамвая.

Мы отправились в кино смотреть «Потомок Чингис-хана». У Мандельштама была записка к администратору, но не так легко было до него добраться. Я стояла поодаль и слышала крики Осипа Эмильевича и неодобрительные возгласы, раздававшиеся из очереди, видела удивленные взгляды людей. Мандельштам почти трясся от раздражения и что-то возмущенно выкрикивал. Я была рада-радешенька, когда мы попали наконец в зал. Но знаменитый фильм Пудовкина вовсе не понравился Осипу Эмильевичу. Я восхищалась лиризмом монгольского пейзажа, на фоне которого шло действие, а Мандельштам пожимал плечами: «Гравюра...» Он объяснял недовольно: кинематографу нужно движение, а не статика. Зачем брать предметы из другой области искусства? Какая-то увеличенная гравюра.

Иногда мы ходили в Театр Сатиры, который помещался в Пассаже на Тверской, где находилась редакция «Московского комсомольца» (был такой эпизод в жизни Мандельштама, когда он работал в этой газете). Ничего увлекательного в этом театре миниатюр мы не видели. Актрисы со специфическими признаками тех лет: пусть красивые и хорошо сложенные, но с холодными улыбками и пустыми глазами... Только одну сценическую

миниатюру я запомнила. Изображали собрание жильцов в домкоме. Костюмы у них были характерные, реалистические, но говорили они не человеческими голосами, а, постепенно разгораясь, объяснялись мычанием, мяуканьем, тьяканьем. Особенно хорош был один господин из «бывших», с острой бородкой, в воротничке с галстуком: он злобно лаял с разнообразными интонациями завязтого склочника.

Возвращаясь со спектакля, я пожаловалась Осипу Эмильевичу на уныние и скуку не только на сцене, но и в зрительном зале. Как убого все одеты, какие невыразительные лица... Осип Эмильевич пришел в ярость. Он стал бурно уверять меня, что другой публики не бывало и в дореволюционное время. Вспоминал любительские спектакли, благотворительные вечера, бытовые пьесы в драматических театрах — всюду меццанская публика, гораздо хуже нынешней. «Ничего, ничего я там не оставил», — страстно восклицал он.

Он признавал только настоящее. Прошлого дня для него не существовало. Возвращаться некуда: «Завели и бросили», — вот дословное резюме его речи о нашей современности, то есть о пресловутой «советской действительности».

В Пассаже, где помещалась редакция «Московского комсомольца», находилась также и столовая. В буфете, где надо было стоять в очереди и самим приносить себе еду, Надя удивляла меня расторопностью, с какой она справлялась со всеми этими малоаппетитными мисочками. И Осипа Эмильевича ничуть не коробили жалкая сервировка и весь антураж не особенно чистого помещения. Мандельштамы были демократичны. Он был в пальто из дешевой серой в полоску материи, которое очень шло к его бритому матовому лицу, темным глазам и изящной посадке головы. Кто-то из комсомольской редакции рассердил его, и Осип Эмильевич стал дрожащими от гнева руками передвигать посуду на простецком столе и выбежал из столовой, сверкая глазами. Этот комсомолец говорил мне потом, что «Мандельштам очень изменился, стал таким желчным», а мне понравились острые слова, которыми Осип Эмильевич одаривал собеседника, и эти глаза, метавшие молнии. Мандельштам разочаровывался уже в своих комсомольцах. Однажды он позвонил кому-то из них на дом, торопясь поделиться по телефону новой идеей для газеты, а у того, видите ли, был выходной день, и он отложил разговор до завтра. Осип Эмильевич был потрясен этим чиновничьим равнодушием молодого редактора и перестал ждать чего-нибудь живого от своих новых друзей.

Готовилась конференция РАПП. Мандельштам страстно следил за предварительной журнальной кампанией. Мы пошли на этот съезд. В большом зале, не слишком набитом людьми, Осип Эмильевич подходил то к одному, то к другому писателю в передних рядах, потом пошел по широкому проходу к трибуне, подал записку в президиум: хотел выступить, но ему не дали слова. Вернулся он домой подавленный.

В журнале «На литературном посту» Мандельштама ругали за прозу, особенно за главу «Химера революции» в «Шуме времени» и за стихи («Вею»). Леопольд Авербах был красноречив, боек и страшен. И Осип Мандельштам заколебался: «А может быть, правда, я — классовый враг? буржуазный поэт, а? устаревший?» — и нельзя было понять, что означает подергивание верхней губы: иронию или тревогу. В этой извилистой нервной

линии от носа ко рту было что-то специфически мандельштамовское, общее всем трем братьям и идущее, очевидно, от матери. У Осипа эта легкая судорога сопровождалась неповторимой вибрацией голоса.

Еще в августе (1929) подруга пригласила меня на десять дней в «Подсолнечное». Теперь там на озере Сенеж Дом творчества художников, а тогда это был массовый дом отдыха, и ничто не ассоциировалось там с Блоком (ведь тут Шахматово рядом), ни с живописью.

Трудящиеся очень скандалили за столом — плохо, мол, кормят, ходили полуголые, пугая меня своими распущенными манерами. Но всегда в таком многолюдии найдутся один-два человека, с которыми можно гулять и беседовать. Кроме моей подруги я общалась с одной милой женщиной, а с нами подружился один комсомолец, впрочем, ему было уже лет 27 — 28. О нервозности, присущей и ему, и его товарищам, он говорил как о каком-то трофее. У одного дрожат руки, другой не может спать, если в щелочку пробивается свет, третий не выносит резких звуков... Все это — результат гражданской войны, а может быть, и работы где-нибудь в разведке или просто в ЧК. Между прочим, у этих комсомольцев, сколько у их ни встречала, была одна и та же излюбленная тема: воспоминания о первой жене-комсомолке, почему-то бросившей их. Покинутые мужья грустили. Вероятно, они оплакивали не своих ушедших подруг, а половодье чувств первых лет революции. Мне еще в 1925 году рассказывал на одной из моих дурацких «служб» бывший политрук пограничных войск. Служил он где-то на южной границе. Он говорил, что красногвардейцы никак не могут войти в берега мирной жизни. К вечеру закружится кто-нибудь на месте, приставит револьвер к виску и кричит: «Хочешь,дохну?» И притом без всякой видимой причины.

В «Подсолнечном» в разговоре с моим новым знакомым я упомянула о публикации в «Печати и революции» писем Я. М. Свердлова к родным из сибирской ссылки. Он жаловался на Джугашвили, с которым вместе жил, характеризовал его как мелкого собственника и антисемита. А ведь Джугашвили — это Сталин. Мой собеседник взволновался, как это он пропустил такое. Это очень важно. Видимо, он, как и все хоть немного думающие в ту пору комсомольцы, был антисталинцем.

Разговорились о «Египетской марке». Комсомолец сказал, что «Шум времени», входящий в эту книгу, он читал даже с интересом уже раньше, но в самой «Египетской марке» ничего понять нельзя. Я спорила и пыталась разяснить смысл прозы Мандельштама, но это оказалось не так легко. Вышло, что я тоже не понимаю «Египетской марки». Вернувшись в Москву, я призналась в этом Осипу Эмильевичу. Он объяснил мне очень добродушно:

— Я мыслю опущенными звеньями...

Еще раньше я показывала ему какой-то свой нигде не принятый очерк. Осипу Эмильевичу было ужасно скучно его читать. «Так писали в девяностых годах, — сказал он, — у вас получилось даже довольно живо, но теперь надо писать по-другому». Опять «девяностые годы»! Это был какой-то жупел для Мандельштама, воплощение всего пошлого и безвкусного и в литературе, и в искусстве, и в быту.

После «Подсолнечного» я застала Мандельштамов уже в другом месте — в угловом сером доме в Спиридоньевском переулке. Они сняли комнату в отдельной квартирке у ИТРовского работника, который жил там с женой и семилетним сыном.

Была лучшая московская пора — начало осени, бабье лето. Москва звенела, гудела и зеленела с желтизной. Осип Эмильевич дышал всем этим, подымаясь на плоскую крышу нового дома, где они жили.

Неожиданно под вечер пришел Кирсанов. Мандельштам и его повел на крышу. Вернулся оживленный, довольный тем, что поговорили о стихах. Когда Кирсанов ушел, Мандельштам еще долго распевал его строфу

К нам приходит Робин Гуд...

(далее, к сожалению, не помню) и ходил по комнате, почти танцуя.

А я знаю еще случай, когда Осип Эмильевич влюбился не в строфу и не в строку и даже не в слово, а в одну букву — в букву «д» в одном определенном сочетании. Вот как это обнаружилось.

Я была больна, лежала в постели и читала «Двенадцать стульев», только недавно вышедшие. Осип Эмильевич навестил, увидел в моих руках книгу Ильфа и Петрова, обрадовался. Ему не надо было заглядывать в нее, чтобы цитировать. Он знал наизусть, что оркестр, игравший в московской пивной, состоял из «Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда». Первые четыре фамилии он произнес скороговоркой, а последнюю с ударением на последнем слоге, как будто колоду опускал: «и ЗалкинДа». И здесь голос его гулко и мелодично резонировал. У него были удивительные обертона на нижних регистрах. Он повторял и повторял эти фамилии (Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда), выделял на разные лады слог «да» и хохотал, хохотал.

Смеялся Мандельштам не как ребенок, а как младенец. Он раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из-под них ручьем текли слезы. Он вытирал их и мотал головой.

Иногда говорил с большим азартом о политике. Борьба с «правым уклоном» в партии вызвала у него цепь рассуждений, закончившихся простым житейским наблюдением: все притихли и выжидают, кто победит. В другой раз неожиданными формулировками и строго логическими доводами предрекал новую мировую войну и, присев на краешек дивана, подняв указательный палец, торжественно провозгласил:

— Покупайте сахар!

Конечно, это была игра, но мне она показалась странной: в нашем доме считалось презренным делать запасы.

В тот день Осип Эмильевич был очень маленького роста. Это с ним случалось. Вообще-то он был классического среднего роста, но иногда выглядел выше среднего, а иногда — ниже. Это зависело от осанки, а осанка зависела от внутреннего состояния.

Позднее Надя рассказывала, что в Армении на глазах у всех у Осипа Эмильевича стала раздуваться на шее огромная опухоль, как зоб, а через несколько часов опала. Теперь такому чуду найдено название: «аллергия», но тогда мы ни о чем таком и не слыхивали.

Все это свидетельствует о повышенной нервозности Мандельштама. Он пребывал в постоянном внутреннем движении. Отсюда и противоречивые отзывы о его внешнем облике, трудноуловимом для статического портрета.

К тому же у Мандельштама было странное сложение. Я имею в виду разительное несоответствие между нижней и верхней частями туловища. Очень прямая и стройная спина с хорошо развернутыми плечами, изящный затылок, правильной овальной формы голова — все это было посажено на разросшийся в кости таз, очень заметный из-за неправильной постановки ног: пятки вместе, носки врозь. Это создавало отчасти шаркающую, отчасти и вовсе не поддающуюся определению походку. Может быть, знаменитая запрокинутая голова Мандельштама, производящая впечатление подчеркнутой гордости, была связана с этим недостатком. Эта привычка как бы устанавливала при ходьбе равновесие всего корпуса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТИХАМ

В Старосадском переулке в комнате отсутствующего брата Осипа Эмильевича Мандельштамы встретили меня сурово. «Мы бедны, у нас скучно», — обиженно произнес Осип Эмильевич. А Надя стала живописно изображать, как к ним потянулись люди, принося дары — деньги или еду. Даже Клюев явился, как-то странно держа в оттопыренной руке бутербродик, насаженный на палочку: «Все, что у меня есть».

Если бы литературное имя Мандельштама не получило новый резонанс после опубликования стихотворного цикла «Армения», вряд ли этот период безденежья вызвал такое сочувствие в Москве. Даже я замечала по моим знакомым, что атмосфера вокруг Мандельштама оживилась, особенно после продолжения публикаций последних стихов в «Новом мире». Раньше А. А. Осмеркин (художник, муж моей подруги Елены), слушая о моей дружбе с Мандельштамами, скептически улыбался. «А, “до пятницы”?» — дразнил он меня прозвищем Осипа Эмильевича: так он имел обыкновение просить займы деньги. Осмеркин рассказывал и другие ходячие анекдоты о Мандельштаме, но теперь стал говорить о нем с уважением. Он высоко оценил новое стихотворение Мандельштама «За гремящую доблесть грядущих веков». Между прочим, он отозвался о последней строке «И меня только равный убьет»: «Тяжело как-то». Но строка не нравилась и самому Мандельштаму. Когда он читал мне это стихотворение, он сказал, что не может найти последней строки, и даже склонялся к тому, чтобы отбросить ее совсем.

Как ни странно, возвращение Мандельштама к стихам имело влияние и на мою жизнь. Стихи звучали, вот в чем дело. Раньше я только знала от Нади, как «Ося» читает свои стихи, ритмически разводя при этом руками, теперь его голос сопровождал важные и второстепенные минуты нашей жизни, и от этого повседневность приобретала новые краски и глубину перспективы.

Особенное впечатление производило это преобразование реальности в поэзию в стихотворениях «Еще далеко мне до патриарха» и «Полночь в Москве...». Ведь это все было на глазах. Появление трости с белым набалдашником, потому что у Осипа Эмильевича начались головокружения и одышка на улице, и это бестолковое времяпрепровождение безработного, бесцельные хождения по улицам или по таким делам, как забрать выстиранное белье в китайской прачечной, и вечная забота о дешевых папиросах, как бы не остаться без них на ночь, и прикуриванья на улице у встречающих. А московская летняя ночь в нанимаемой чужой комнате, в которую вносилась как талисман своя утварь: красивый, но ветхий плед, когда-то, в хорошие времена, купленный в комиссионном магазине, откуда-то появившиеся кухонные лубочные стенные часы. И в раскрытые окна доносится шум не только засыпающего, но и просыпающегося города: это — ночная проверка трамвайных путей. Она начиналась двумя контрольными ударами молотом по рельсу, и этот гулкий звон долетал во все дома. Нередко что-то подправляли, завинчивали и приступывали. Все это точно воспроизведено в строфе Мандельштама:

Ты скажешь: где-то там на полигоне
Два клоуна засели — Бим и Бом.
И в ход пошла гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.

Мне не нравились только его, как мне казалось, риторические стихи, такие, как «Канцона», «Рояль»...

Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. Он только что летал на самолете и делал мертвую петлю — тогда были такие сеансы над Москвой. Он удивительно точно и интересно описал, как менялось зрительное соотношение между небом, землей и аэропланом, показывал, как надвигалась на него земля. Тут Осип Эмильевич прочел ему свою «Канцону». Но как энергично ни читал он это стихотворение, особенно акцентируя звук «и» в ударном слове «с ростовщической силой зренья», — на меня оно снова не произвело ожидаемого впечатления. Осип Эмильевич хотел привлечь меня к беседе, я уклонялась, не зная, что сказать, и он заметил с досадой: «Не притворяйтесь дурочкой».

Послеэзрянский период Мандельштамов ознаменовался не только рождением стихов, но и новой дружбой («Я дружбой был как выстрелом разбужен»). Еще до того, как я познакомилась с Борисом Сергеевичем Кузиным, Надя мне прожужжала уши об этом замечательном человеке, с которым они встретились в Армении.

Он был зоологом, занимался насекомыми и выезжал в экспедиции в Среднюю Азию. Такие люди в ту пору были редки и воспринимались как экзотика. Он был не дарвинис-

том, а ламаркистом, и в 1929 году защищал свои позиции на диспуте в Комакадемии. Он стрижется под машинку, «под ноль», рассказывала Надя, носит крахмальный воротничок, он длиннорук, похож на обезьяну, у него чисто московский говор, усвоенный не из литературы, а от няньки.

Вскоре я встретила его у Мандельштамов и разглядела еще несколько штрихов в его облике. На лице его были легкие следы от оспы. Он гордился своим породистым затылком мыслящего мужчины. В этом ему не уступал некий друг, с которым он слушал музыку Баха в консерватории, всегда на одних и тех же местах в девятом ряду партера. У него был еще один друг (или тот самый?), которого мы не видали, привозивший ему из-за границы джазовые пластинки — второй после Баха любимый жанр Кузина в музыке. Он любил стихи Мандельштама, Гумилева, Кузмина и Бунина. Знал иностранные языки, постоянно перечитывал по-немецки Гете. Вращался в профессорской среде и рассказывал анекдоты из быта московских ученых. Сам же служил в Зоологическом музее университета. Он жил с мамой в Замоскворечье на Б. Якиманке. В 1930 году ему было 27 лет.

С Кузиным у Осипа Эмильевича был свой особый разговор. Как-то при мне они под вино рассуждали о композиторах XIX века. Всем досталось. «А Глинка хороший человек?» — испытывал Кузин вкус Мандельштама. «Угу, хороший», — утвердительно кивал головой Осип Эмильевич. Это был диалог хорошо сговорившихся между собой людей.

Но однажды Кузин выразил Мандельштаму свое неудовольствие по поводу стихотворений «Сегодня можно снять декалькомани» и «Еще далеко мне до патриарха». В первом Мандельштам прямо полемизирует с белогвардейцами, а во втором воспеваает «страусовые перья арматуры в начале стройки ленинских домов». Видимо, разговор был довольно бурным. Я застала Осипа Эмильевича одного, он бормотал в волнении: «Что это? Социальный заказ с другой стороны? Я вовсе не желаю его выполнять», — и лег на кровать, устремив глаза в потолок.

У Кузина были также претензии к языку Мандельштама в стихотворениях «...о русской поэзии» и «Сохрани мою речь навсегда». По-русски не говорят «на бадье», нужно говорить «в бадье» («Обещаю построить такие дремучие срубы, Чтобы в них татарва опускала князей на бадье»). Кузин подвергал также сомнению уместность слова «початок» («И татарского кумыса твой початок не прокис»), но и этими замечаниями Осип Эмильевич пренебрег.

«Сегодня можно снять декалькомани», очевидно, было написано, когда Мандельштамы жили в начале Б. Полянки (против часов) в комнате Цезаря Рысса. Я радовалась, что они в Замоскворечье, но Осип Эмильевич не разделял моего умиления переулками из Островского. Зато «река-Москва в четырехтрубном дыме» явно увидена с Болотной набережной и Бабьегородской плотины — места, которые нужно было проходить, направляясь к Кузину на Якиманку — мимо фабрики «Красный Октябрь».

Евгений Яковлевич, Кузин и я составляли основное ядро *домашнего* кружка Мандельштамов. Старые друзья тоже появлялись, чаще всего В. Н. Яхонтов с одной из двух своих жен или с обеими вместе и еще А. И. Моргулис без жены. Эпизодически приходили писатели — уже известные и молодые. Среди молодежи был переводчик Богаевский. Как-

то он принес весть о высылке знакомого. «В Москве остались одни сдержанные люди», — присовокупил он.

В прятный весенний день пришла ко мне Надя и позвонила по телефону Моргулису: «Я не могу, мне хочется кому-нибудь назначить свидание». Легкость ее тона сразу подействовала на меня, как шампанское. Телефонные дурачества кончились тем, что Моргулис пришел ко мне на Щипок, чтобы идти с ней же «на свидание под часами». Что это был за веселый человек, и какой искрящийся дуэт они устроили! У Моргулиса был длинный еврейский нос и немного выпуклые, меняющие цвет и все-таки непроницаемые глаза. Делая зачем-то мягкие легкие реверансы, он болтал, рассказывал о невероятных приключениях в обществе «деятели литературы». Он умел быть необходимым всяким людям, и как-то Осип Эмильевич заметил: «Это уже не приспособляемость, а мимикрия какая-то».

Надя весело рассказывала, как Моргулис ворует книги, но Мандельштамы его не боятся. «У вас — никогда», — заверял он их.

В это лето (1931) Моргулис не только сам устроился в газету «За коммунистическое просвещение», но и притащил туда Надю. Эта работа, в сущности, очень ей подходила. Годом ранее в поисках заработка она завязала связи с какой-то редакцией. Я ходила туда вместе с ней и видела, как сотрудницы слушали ее, развесив уши. Они заказали ей статью о детской литературе, и она написала хлесткий критический разбор книжек Корнея Чуковского. Она утверждала, что это эпигонские стихи, и демонстрировала литературные источники, из которых он, по ее мнению, заимствовал ритм, рифмы и интонацию «Крокодила». Статья была выслушана с почтительным восторгом, однако напечатана не была. В «ЗКП» Надя почувствовала себя очень уверенно и приговаривала: «Я делаю то, что раньше делали сенаторы».

По поводу службы Моргулиса и Нади в «ЗКП» Мандельштам, как известно, сочинил много шуточных «моргулет». Я помню две первые, из которых напечатана только одна:

Ах, старика Моргулиса глаза
Преследуют мое воображение.
С ужасом я читаю в них «За
Коммунистическое просвещение».

Ах, старика Моргулиса глаза
Не соответствуют своему назначению.
Выгонят, выгонят его из «За
Коммунистическое просвещение».

Когда Надя легла в больницу, Осипа Эмильевича часто навещал Яхонтов. Это было на Покровке в убогой, «плошечной» и пыльной обстановке мещанской комнаты. Той самой комнаты, из которой Надя выживала какого-то заскочившего к ним газетчика спокойным

предупреждением: «Сюда не садитесь — ножка сломана» или «Осторожно: здесь натекло» и т. п. Это она умела делать виртуозно.

Придя туда, я застала однажды Яхонтова во фраке и в цилиндре. Эта экзотика ничуть не резала глаз. Яхонтов вписывался в комнату как отдельный кадр в хорошо рассчитанном пространстве. Осип Эмильевич читал вместе с ним свои шуточные стихи. Они были посвящены драматическому положению, в которое попала хозяйка квартиры. Она прослышала, что в Сибири можно дешево купить доху. Именно для поездки туда она сдала свою комнату Мандельштамам. В Москве оставались ее мать и сын. Но Мандельштамы не могли расплатиться. Для успокоения совести не оставалось ничего другого, как поставить себя выше злополучных обывателей, скандируя сочиненные по этому случаю издевательские стишки.

Для вящего эффекта Яхонтов, проходя из уборной через общую кухню, стащил соседский чайник. Чайник стоял на стуле рядом с цилиндром.

Стихи начинал эпически Мандельштам: «Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович. Аж на Покровку она худого впустила жильца». Здесь вступал Яхонтов: «Бабушка, шубе не быть! — вбежал запыхавшийся внучек. — Как на духу, Мандельштам плюнет на нашу доху». Затем, следуя законам монтажа, по которым Яхонтов работал на эстраде, оба чтеца без паузы переходили ко второму стихотворению на ту же тему, читая его уже хором:

Скажи-ка, бабушка, хе-хе!
И я сейчас к тебе приеду:
Явиться ль в смокинге к обеду
Или в узорчатой дохе?

Звонкий и мощный голос Яхонтова звучал со спокойной силой, а Мандельштам нарочно выдвигался наголоватым козлиным тенорком. Особенно лихо звучало у них «хе-хе»

Потом Яхонтов читал письмо Лили Поповой (своей первой жены и бессменного режиссера) из Средней Азии. Она описывала свои впечатления применительно к принципам их будущих спектаклей (в «Театре одного актера» Яхонтова). Осип Эмильевич похвалил письмо. Но когда Яхонтов прочел свою новую работу — вторую главу «Евгения Онегина», произошел конфуз. Мандельштаму не понравилось. К сожалению, я не помню дословно, как замечательно он определил легкий почерк, разговорный стих, воздушность «Онегина». Он противопоставлял этому драматизованное исполнение Яхонтова, годящееся для Некрасова, по его мнению, но здесь неуместное. У Яхонтова сделались колючие глаза, и мы скоро ушли — нам было по дороге.

Тут уж Яхонтов утверждал, что он не может работать над прозой Мандельштама — слишком она густая.

Наш больничный особняк постепенно менял свое лицо. Вначале заселили подвал, потом от нас оторвали большую залу с аркой, сделав из нее общежитие для медсестер. Все углы и закоулки остальных корпусов тоже были набиты людьми. На больничной усадьбе

разместилась целая деревня. Это была родня наших дворников и санитаров, завхоз прописывал их в Москве и устроивал на работу.

В связи с этим уплотнением я заняла в нашей же квартире другую комнату. Устроившись, пригласила к себе на скромное новоселье Мандельштамов. Стали садиться за стол — глядь, Осип Эмильевич куда-то исчез. Куда он мог подеваться? Его не было ни у телефона, ни на кухне, ни в прочих местах. Наконец я догадалась заглянуть в кабинет к отцу.

Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама. А он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он подымал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чем-то отца:

- ...он не способен сам ничего придумать...
- ...воплощение нетворческого начала...
- ...тип паразита...
- ...десятник, который заставлял в Египте работать евреев...

Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине?

Очень довольный, Осип Эмильевич вернулся ко мне в комнату.

— У вашего отца детское мышление, — сказал он мне. — Представления обо всем ясные, но примитивные.

Когда мои гости разошлись, папа вошел ко мне:

— Слушай, твой Мандельштам — это же форменный ребенок. Он такие дикости говорил... какой-то детский лепет.

Жить Мандельштамам все еще было негде. На какую-то недельку я уступила им свою комнату, сама ночевала у мамы. В своем воинствующем отчаянии Осип Эмильевич быстро превратил мою комнату в всклокоченный ад. Белая занавесочка на окне? — И вот она сорвана с одного гвоздя и прицеплена уже косо. Чистое покрывало на кровати? — Ногами его, нечищенными ботинками.

Он опускался страстно, самый этот процесс был для него активным действием. Становился неузнаваем: седеющая щетина на дряблых щеках, глубокие складки-морщины под глазами, мятый воротничок... Тут он делался похожим на одного из персонажей моего очень раннего детства в Двинске. По улицам этого города бегал страшно возбужденный человек в котелке, в пиджачном костюме с рваными брюками, сквозь дыры светилось белое исподнее. Однажды он влетел в магазин, вызывая смех, негодование и жалость. Ему что-то подали, и он, изрыгая проклятия и угрозы, устремился к выходу, но, пораженный красотой и нежнейшим румянцем моей девятилетней сестры, остановился, погладил ее по щеке своей грязной шершавой рукой, произнес с невыразимой нежностью по-еврейски «а, лебенке» и стремглав бросился вон, снова крича и бранясь. Эпизод этот был вытеснен из моей памяти, если бы не Чарли Чаплин и Осип Мандельштам, не давшие забыть несчастного Алебенке, как мы, дети, его прозвали.

Однажды Мандельштам в большом волнении описал только что произошедший эпизод. Он сидел в приемной директора Государственного издательства Халатова. Долго ждал.

Мимо него проходили в кабинет другие писатели. Мандельштама секретарша не пропускала. Терпение его лопнуло, когда пришел Катаев и сразу был приглашен к Халатову. «Я — русский поэт», — гордо выкрикнул Мандельштам и ушел из приемной, хлопнув дверью.

Главным занятием Осипа Эмильевича было беганье к телефону. Если кто-нибудь заставал его в этот момент в коридоре, он, закончив разговор, важно удалялся в комнату с поднятой головой. Мама говорила, что в этой его манере сквозила ущемленная гордость. Она чувствовала, что он большой поэт, не имеющий признания. Когда же папа прочел стихотворения Мандельштама, он согласился, что стихи талантливые, но совершенно несовременные. Античность — это, конечно, красиво, но разве это нужно сейчас молодежи? Бодрость вселять он не может.

Мама читала Блока. У меня было «Возмездие» в издании «Алконост». Поэма была близка маме описанием семейной трагедии, в которой она находила сходство с историей моей сестры. Вся соответствующая глава была исчеркана маминым карандашом. Этот пропитанный слезами и вздохами экземпляр взял в руки Осип Эмильевич. Полистал, полистал, отошел и стал что-то быстро писать на полях. Потом гордым жестом подал мне книгу, говоря:

— Вот, можете ее продать. Любой букинист даст... 50 рублей!

Книга пропала во время войны, и я не могу воспроизвести текстуально ядовитые заметки Мандельштама, подписанные и датированные. Передам только суть, насколько я помню.

В «Предисловии», где Блок перечисляет разнородные события, из которых образовался «единный музыкальный напор» эпохи, он называет такое: «В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови». Эта оскорбительно-«объективная» фраза возмутила Мандельштама. Он подчеркнул ее, сделал на полях отсылку к следующей странице: «Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции» — и дал свой комментарий к обоим фразам, пародийно начиная его словами: «И возник вопрос...» С таким же зачином было написано замечание к некоторым стихотворным строкам поэмы Блока. Полемика была сильной и политически острой, и я не перестаю оплакивать пропавшую эту книгу.

Той же осенью 1931-го у брата Осипа Эмильевича, Александра, родился сын. Вскоре Мандельштам любовно называл его своим наследником.

Роды были тяжелыми, длились 72 часа, и все это время Осип Эмильевич просидел вместе с обоими братьями в вестибюле роддома, или все три брата бродили вокруг здания.

Он прибежал к нам весь взъерошенный. Роженице нужна была консультация профессора-специалиста. Мандельштам просил меня, чтобы я позвонила отцу в больницу, но это было невозможно, был час операций. Наконец, когда отец пришел из больницы, я предупредила Осипа Эмильевича, что нужно подождать, пока он придет в себя и пообедает — тогда я попрошу его позвонить коллеге по «консультации профессоров Кремлевской больницы», где мой отец работал по совместительству. Мандельштам в нетерпении ходил быстрыми шагами по коридору и подстерегал папу. Наконец не

выдержал, схватил телефонную трубку. «Говорят из квартиры профессора Герштейна», — начал он. Устроив сам себе рекомендацию, Мандельштам договорился с профессором — и повез его к своей невестке.

В ДОМЕ ГЕРЦЕНА

Мандельштамы получили комнату в писательском жилом флигеле Дома Герцена на Тверском бульваре.

Комната была небольшая, продолговатая, на низком первом этаже. Не помню, где была кухня, подозреваю, что ее и вовсе не было.

Смешно и подумать, чтобы Мандельштамы смогли меблировать свою комнату. Два пружинных матраца да маленький кухонный столик, который им пожертвовала одна пожилая дама — новая знакомая «с мятущейся душою» (так острила Надя), заслушивавшаяся речами Мандельштама.

Я с ним была у нее в гостях, где наблюдала еще одну манеру говорить Осипа Эмильевича. Это не та взволнованная речь, когда, возбужденный мимолетной эмоцией, Осип Эмильевич не мог от нее освободиться, пока не отработает в блестящей словесной импровизации. На следующий день, правда, задетый какой-нибудь репликой собеседника, он доказывал нечто прямо противоположное вчерашнему, и с той же неотразимой убедительностью. Запомнить и воспроизвести такую речь, мне кажется, невозможно, потому что это — поток мыслей, тут же на глазах у слушателя преобразующийся в слова. Нет, «в гостях» манера была другая. Он говорил о музыке, о литературе на слушателя, с определенной целью — заинтересовать, понравиться и... поужинать.

Пока мы собирались к даме-меценатке, Осип Эмильевич был собран и спокоен, но все-таки из артистизма снял воротничок и галстук, чтобы подчеркнуть, как мне показалось, контраст между своей крайней бедностью и крайней же изысканностью своих речей. За столом он разливался соловьем, отвечая на вопрос хозяйки о Шопене. Но далее она из разговора выбыла: такие речи Мандельштам произносил без участия собеседника. Это были блестящие монологи.

Меня он пригласил с собой, потому что в этот период очень плохо переносил одиночество, а на улице предпочитал появляться с сопровождающим.

Надя работала в редакции «ЗКП», и он просто метался в утренние часы. Однажды он пришел ко мне в редакцию «Крестьянской газеты», где я тогда работала, робко, как проситель, приоткрыл дверь и поманил меня пальцем. Я вышла в коридор, и он стал умолять меня, чтобы я бросила работу и пошла с ним гулять. Он боялся идти один, не мог оставаться в комнате, а Надю не смел тревожить, хотя ее редакция была еще ближе от Дома Герцена, чем моя.

В те дни, когда работа у нас начиналась не с самого утра, я перед работой часто заезжала к Мандельштаму. Иногда мы выходили в скверик Дома Герцена, иногда сидели на скамейке Тверского бульвара.

В это время в другом, лучшем флигеле Дома Герцена жили жена и маленький сын Пастернака. Это был период известной семейной драмы Бориса Леонидовича, когда он расходился с Евгенией Владимировной, чтобы жениться на Зинаиде Николаевне Нейгауз. Я не раз видела, как из писательской столовой с суетливой озабоченностью выходил Пастернак, обе руки у него были заняты полными судками — он нес обед своей оставленной семье. При встречах с друзьями он ставил кастрюльки куда-нибудь на приступок и долго, почти со слезами рассказывал о своих семейных делах. Иногда его собеседниками оказывались не друзья, а просто знакомые. Потом его стенания и откровенности передавались из уст в уста. Как известно, эта глава биографии Пастернака была отражена в новой книге его стихов «Второе рождение».

Мы сидели с Осипом Эмильевичем на скамейке Тверского бульвара и обсуждали этот сборник. Конечно, говорил один Мандельштам, но это не был монолог. Это — диалог с молчаливым собеседником. Нужно было только давать ему легонькие толчки, и беседа пойдет: он говорит, бросая прерывистые фразы, а вы сидите рядом и только присутствуете при том, как рождается мысль.

Осип Эмильевич, давно написавший «Пастернака почитать — горло прочистить», с удовольствием повторявший «знаменитый», по его словам, каламбур Сельвинского о «пастернакипи и мандельштампе», теперь много думал о Борисе Леонидовиче. В его высказываниях мелькали замечания: «Пастернака нельзя себе представить вне Москвы» или «Пастернак может писать только у себя в кабинете за письменным столом», тогда как он, Мандельштам, вообще не пишет, а как бы высекает на камне (тут он напомнил о заглавии своего первого сборника — «Камень»).

На этот раз он говорил о «Втором рождении». Это было отталкивание от сегодняшнего Пастернака, упоминалась орнаментальность, перегруженность его новых стихов... Говорилось начерно, для меня незапоминаемо, пока не вырвалось единственно нужное определение — «советское барокко».

В узкой комнате на Тверском бульваре я помню мало посетителей. Из соседей-писателей к Мандельштаму заходил один Клычков, живший в другом корпусе Дома Герцена. Как-то при мне пришел Шенгели, которому Осип Эмильевич давал читать свою «Четвертую прозу». Шенгели назвал ее «одной из самых мрачных исповедей, какие появлялись в литературе», и упоминал Жан-Жака Руссо.

Вскоре рядом с Мандельштамами в том же коридоре освободилась большая комната в три или два окна. Они туда переехали, а их бывшую комнату передали поэту Рудерману. Он был женат, у них был ребенок, и жена возмущалась, почему им троим дали маленькую, а Мандельштамам — большую комнату. «Рудерман, — кричала она в коридоре, — молодой поэт, активно работающий, а Мандельштам — старик, уже не пишущий, а если и пишет иногда, все равно он — *бывший* поэт, устаревший». Осипу Эмильевичу было тогда 40 лет, и только что была напечатана в «Новом мире» его «Армения» и некоторые новые стихотворения.

Хотя новая комната была рядом со старой и окна выходили на ту же сторону, она казалась веселой и солнечной; может быть, тут играли роль светлые обои и не было перед

самым окном дерева. Было такое ощущение, что и жизнь Мандельштамов вступила в более спокойный период.

Об этом даже могут свидетельствовать такие стихи, как про Парк культуры и отдыха («...Скучные-нескучные, как халва, холмы»). Ровное настроение придавало Мандельштаму чтение Ламарка и Палласа.

Я помню, как печатала ему два стихотворения, из которых одно возникло из посещения музея — «Импрессионизм», а о другом («Увы, растаяла свеча») он сказал, улыбаясь, что последние строки («И в спальню, видя в этом толк, Пускали негодаев») — про мою подругу, которую он называл «эллином» за веселые и добродушные разговоры на любовные и эротические темы.

Теперь к нему чаще заходили люди по пути в Дом Герцена. А Надя возвращалась из редакции всегда веселя, с остротами, придвигала столик к тахте, садилась на нее с ногами и с аппетитом обедала.

По утрам часто заходил И. А. Аксенов. Очевидно, он был эрудитом во многих областях науки. Так, застав Мандельштама за чтением Палласа, он долго говорил с ним на географические темы. После его ухода Мандельштаму всегда хорошо думалось. Лоб его светлел и как будто становился больше, преображался в «понимающий купол», движения становились тихими и пластичными.

В это время журнал «На литературном посту» был уже разгромлен. РАПП был ликвидирован, и это вселяло надежды на оживление литературной жизни. Аксенов, беседуя с Мандельштамом об этой злобе дня, признавал Леопольда Авербаха настоящим публицистом и сравнивал его с Писаревым. Мандельштам не возражал.

В один из моих приходов я застала Осипа Эмильевича одного, сидящего посреди комнаты на стуле с каким-то томиком в руках. Он перебирал его страницы.

— Вот самое гениальное стихотворение Блока! — вскричал он и прочел:

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.

Было странно слышать знакомые строки в стремительном темпе и патетической интонации Мандельштама («И об игре трагической страстей»). У него вообще был свой мотив. Однажды у нас на Щипке как будто какой-то ветер поднял его и занес к роялю, он сыграл знакомую мне с детства сонатину Моцарта или Клементи с точно такой же нервной, летящей вверх интонацией... Как он этого достигал в музыке, я не понимаю, потому что ритм не нарушался ни в одном такте. По-видимому, все дело было в фразировке.

Для Мандельштама не было разницы, кто сочинил стихотворение — он сам или другой поэт: если стихи были настоящие, он гордился *поэзией*. Зависти он не знал.

Зашла я днем. Помолчали. Внезапно он прочел:

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе —
На пире Платона во время чумы,

схватил с полки «Второе рождение», открыл «Лето», пробежал скороговоркой следующую строфу («Откуда же эта печаль, Диотима?»), опять залился на свой мотив:

И это ли происки — Мери-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег,
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог,

с возгласом «гениальные стихи!» захлопнул книгу и победоносно взглянул на меня.

Как жаль, что невозможно сделать нотную запись, чтобы передать звучанье третьей строки, эту раскатывающуюся волну первых двух слов («и арфой шумит»), вливающуюся, как растущий звук органа, в слова «ураган аравийский».

Когда Мандельштам сам сочинял стихотворение, ему казалось, что мир обновился. Он читал его друзьям, знакомым — кто подвернется. В июньское, еще весеннее утро зашли мы с Евгением Яковлевичем к Мандельштамам. Осип Эмильевич вышел из дому и, стоя у крыльца, читал нам в зеленеющем дворе новенькое «Словно гуляка с волшебною тростью». Он вел стихи как мелодию, от форте к пиано, с повышениями — «Ни у коГО этих звуков изгибы...» и понижениями — «И никогда этот говор валов». Последняя строфа звучала как баркарола уже со второй строки «Ты горожанин и друг горожан».

Некоторые строки стихов Мандельштама я запомнила навсегда звучащими его голосом, например глубоко резонирующий певучий звук «о» в слове «соприродные», поддержанный первым односложным «так». В чтении Мандельштама строфа звучала как обрамленная двумя гласными — стаккато «а» и растянутым «о»:

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Это в «Фазетонщике» 1931 года, из которого Надя любила повторять на ходу: «Словно розу или жабу, он берег свое лицо».

А как он подчеркивал ритм фехтования в предпоследней строфе «Ламарка»!

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны. —
Так,
 как будто
 мы ей не нужны.

Или крылатая строка «Что ему до наших бед?» и полнота чувственного ощущения звука в последующих строках:

Гром живет своим накатом, —
Что ему до наших бед?
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.
 («Стихи о русской поэзии». 1)

Чтение третьего стихотворения этого цикла «Полюбил я лес прекрасный» отличалось особенно богатой интонационной игрой. Начинал он вкрадчиво, почти жеманно и так вел до конца второй строфы, где грозно «щелкал» словом «правды». Затем ускорял темп, который все нарастал и нарастал до самого конца стихотворения за исключением двух передышек — в четвертой и пятой строфах: строку «*Ротозейство и величье*» он так раскачивал голосом, как будто, развалившись в кресле, сладко потягивался. А любование молоденькими грибочками в лесу передавалось паузой в строке «Так... немного погода». Это замедление позволяло смаковать слова «Немного погода» с таинственным лукавством (а я, мол, подсмотрел!). Затем темп и интонация становились еще стремительнее и резче, пока это нарастание не разрешалось апофеозом, провозглашенным полной грудью на открытом и глубоком дыхании: «До чего аляповаты, До чего как хороши!»

Когда я прочла эти стихи Осмеркиным, Елена не сразу поняла, какое отношение имеет мандельштамовский лес к русской поэзии. Александр Александрович мгновенно отпарировал: «А Кольцова ты понимаешь на смерть Пушкина — “Что, дремучий лес, призадумался?”»

В конце сороковых годов я встретила со старым другом после долгой разлуки. Мы хорошо разговаривали, но все чего-то не хватало. Как при посещении мест своего детства: маленькое все, удивляемся мы, где эта высота и глубина, таившаяся в каждом углу? Но, заговорив об одном стихотворении Мандельштама, мы напоминали его друг другу, читая вслух в один голос. И как все опять осветилось! Мы сами сделали значительными, будто опытный режиссер поставил нас на сценической площадке в наилучшее положение. Тут я поняла: в прошлом мы встречались под звуки стихов, они сопровождали нас, словно мы

гуляем в саду, где бьет прозрачная струя фонтанов, или говорим в лесу о чем-то своем, важном, слыша и не слыша пенье родника и перекличку птиц.

Мандельштам уже не было на этой земле, когда мне было дано это осознать.

А сам поэт вовсе не был расположен к идиллиям.

Для него не было разницы между житейским и поэтическим. Никаких «высоких» и «низких» предметов. Все шло в один котел творческой переработки. От этого его неожиданные характеристики окружающих, страстное вмешательство в события повседневной жизни. А тут все уязвляло и досаждало. Осип Эмильевич жаловался на «пейзаж» — он имел в виду людей, которых приходилось встречать, на давящий воздух.

Однажды, надеясь встретить мир и смех в веселой комнате на Тверском бульваре, застаю смятенье. Над тахтой навис огромный кусок обоев, оборванный от потолка до середины стены.

— Ужас! — встретили меня Мандельштамы, — здесь клопы.

Я подаю обычные житейские советы, как избавиться от зловредных насекомых. Мандельштам и слышать не хочет. Ему хотелось вышвырнуть все вещи из комнаты, жить пусть в хаосе, но без клопов. А по-моему, его просто влекло к разрушению, к вздыбленному уюту.

Как-то увлекся мыслью обрить «Наденьке» голову.

— Ну-у, Осип Эмильевич, это будет некрасиво, — вмешиваюсь я.

— Я люблю шершавую эстетику, — отмахнулся он.

Чем больше новых стихов он писал, тем чаще его раздражали писатели, постоянно мелькавшие во дворе. Он становился у открытого окна своей комнаты, руки в карманах, и кричал вслед кому-нибудь из них: «Вот идет подлец NN!» И только тут, глядя на Осипа Эмильевича со спины, я замечала, какие у него торчащие уши и как он весь похож в такие минуты на «гадкого мальчишку».

В редакции «Литературной газеты» был, однако, устроен его авторский вечер. Это было тут же, в Доме Герцена. Я осталась дома с Надей. Мы заждались его возвращения. Я пошла на разведку, опоздала, уже расходились. По лестнице спускался Корнелий Зелинский и говорил своей даме что-то о далекости от современности, узости кругозора и слабости голоса Мандельштама. Я не прислушивалась, но осталось ощущение чего-то кисло-сладкого, поразительно не соответствующего полнозвучию, гармонии и неистовству стихов Мандельштама.

Большой вечер Мандельштама в Политехническом музее состоялся в следующем году. Надея опять не присутствовала: Осип Эмильевич не пускал ее на свои публичные выступления. По его желанию в машине с ним поехала я. В артистической его сразу окружили, и я пошла в зал, заняв место рядом со своей неизменной подругой Леной в одном из первых рядов. На вечер Мандельштама выбрались из своих углов старые московские интеллигенты. Мы с Леной смотрели на эти измятые лица исстрадавшихся и недоедающих

людей, с глазами, светящимися умом и печалью. Особенно мне запомнилась бледность лица художника Л. А. Бруни, напряженно вслушивающегося в чтение (он был глуховат).

Для такой большой аудитории голос Мандельштама был несколько слаб, ведь микрофонами тогда не пользовались. И тем не менее Б. М. Эйхенбаум, при всей его опытности лектора и изящного оратора и несмотря на острое и смелое содержание его вступительного слова, проигрывал рядом с поэтом. «Все-таки он профессор», — шепнула я Лене.

Странно мне было смотреть и слушать, как Мандельштам, в обыкновенном пиджаке, бледный из-за беспощадного верхнего освещения, разводя руками, читал на свой обычный мотив мои любимые стихи: «Так вот бушлатник шершавую песню поет, В час, как полоской из заря над острогом встает» (стихотворение «Колют ресницы, в груди прикипела слеза»).

Собственно говоря, рядом со мною вместо Лены должен был сидеть Евгений Яковлевич. Но с ним приехала его жена. Для нее это был светский выезд. До стихов Мандельштама ей было мало дела. Надя очень смешно передавала, как «Ленка» жаловалась, что у нее в доме не собираются писатели и артисты так, как у «Соньки» — ставшей женой поэта-конструктивиста Н. Адуева, а затем прославившегося Всеволода Вишневского. «На, вот тебе Оська», — предлагала ей Надя. «Он не знаменитый», — откровенно парировала та. Но теперь, когда появилась афиша о вечере Мандельштама, куда собирались многие известные люди, Елена Михайловна поехала тоже. В антракте она стояла с перекинутым через руку боа и оживленно беседовала с Татлиным. А Евгений Яковлевич метался между мною и ними с таким смущенным и беспомощным видом, что у меня сердце сжималось от жалости.

В каком же году я была с Мандельштамом в гостях у людей, прозванных Надей «добрыми слонами»? Не помню, откуда мы шли, с Тверского бульвара или с Нащокинского переулка.

«Добрые слоны» обещали угостить Осипа Эмильевича пластинкой «Страсти по Матфею» Баха. Он никак не мог пропустить такой вечер, ведь у нас в консерватории «религиозная» музыка не исполнялась. А Надя была больна, и я пошла вместе с Осипом Эмильевичем, радуясь послушать недоступный опус Баха.

За ужином Осип Эмильевич, как полагается, витийствовал. Не обошлось и без неловкостей. Так, накладывая мне на тарелку масло, он вывалил почти все содержимое масленки. И мне пришлось под испуганным и внимательным взглядом хозяйки перекаладывать его обратно, благо тарелка была еще чистой. Хозяин дома был, кажется, образованным экономистом, а она заведовала областной библиотекой — очень крупная, полная женщины с большими руками и ногами. За столом было несколько приглашенных: одна молодая девушка, затем работник из радио — он-то и принес патефон с пластинками — и худенький Бонди, известный пушкинист Сергей Михайлович.

«Страсти по Матфею» были записаны в исполнении знаменитых иностранных певцов и оркестра. Слушать их было таким торжеством для Мандельштама, что он почти не замечал пояснительных слов, которыми товарищ из радио сопровождал каждую смену пластинки. Но когда все окончилось и после обмена вежливостями Осип Эмильевич

собрался было распротиться, предложили провертеть всю программу вторично. Мандельштам отнекивался, я его поддерживала, однако делать нечего... пришлось подчиниться. Мандельштам слушал, слушал, но повторять только что пережитое было выше его сил. Да тут еще «конферансье» стал развязнее. Осип Эмильевич прервал его и вначале спокойно пытался объяснить присутствующим, что такое пошлость, но после недоуменных реплик гостей распаялся все больше и больше, перешел на крик, кончил пронзительным возгласом: «Мы сейчас занимаемся онанизмом!» — и в отчаянии бросился вон. Я за ним. Любезный хозяин оттолкнул меня и повел Мандельштама в свой кабинет (я, мол, сам его успокою). Это ему удалось настолько, что через некоторое время Осип Эмильевич прошел ровным шагом в переднюю и сейчас же стал одеваться. Напоследок девушка вынесла из комнаты забытую мною сумку — потрепанную, с оборванной ручкой, она недоуменно подала ее мне, чуть брезгливо держа обеими руками за края.

Мы шли пешком. Осип Эмильевич говорил, что скандал — законное явление, повторяя мысли «Египетской марки» и других высказываний в своей прозе.

Мы шли по мостовой тихих Тверских-Ямских улочек. Они были шире и прямее обычных московских переулков. Вот так бы и жить где-нибудь в провинции, мечтал Осип Эмильевич. Жаловался на Москву, на ритмы ее уличной жизни, не созданные для духовной жизни человека. Заговорил о служащих, ежедневно толкающихся в трамваях. «Я бы не мог так жить», — ужасался он. Вообще он был грустен.

Однажды днем открылась дверь. Вошел Шкловский. Не здороваясь, сел у окна и отрезал: — Я только что с Беломорканала. Страшнее, чем на войне.

Переждав, рассказал, до чего талантлив русский народ: какими мастерами сделались там заключенные мужики — золотые руки.

Насколько мне помнится, Шкловский ездил на Беломорканал для свиданья с каким-то своим заключенным родственником.

Потом заговорили о Клейсте, воспетом Мандельштамом в стихотворении «К немецкой речи». Ходили по диагонали комнаты навстречу друг другу и спорили. Каждый развивал свою мысль с таким количеством «опущенных звеньев», что трудно было что-нибудь понять в этих синкопах. Я почувствовала себя лишней. Но вспомнила, что Осип Эмильевич как-то сказал мне: «Вы мне не мешаете никогда», и — осталась.

Мы с Надей однажды признались друг другу, что не любим такие стихотворения Мандельштама, как «Канцона», «Рояль» и «Ламарю». «Нет, о “Ламарке” так не говорите, — прервала меня Надя. — Тынянов мне объяснил, чем оно замечательно: там предсказано, как человек перестанет быть человеком. Движение обратно. Тынянов называл это стихотворение гениальным».

Приехала из Киева овдовевшая мать Нади — Вера Яковлевна. Она жила у сына. Это — рядышком, и большую часть времени она проводила у Мандельштамов, чтобы не мешать работать жене Евгения Яковлевича. Как водится, свекровь не жаловала свою невестку.

«Сегодня она развалилась в кресле, — передразнивала ее Вера Яковлевна, — расхвасталась: государство в нас нуждается, мы необходимые люди...» Речь шла о заказе на художественное оформление праздничной Москвы, который получили художницы С. К. Вишневецкая и Е. М. Фрадкина, работавшие совместно. Вот как жены Евгения Яковлевича, бывшая и настоящая, стали людьми государственными.

Елена Михайловна изредка заходила к Мандельштамам на Тверской бульвар. При ней вошел Клюев. Надя пригласила его к обеденному столу, но он смиренно примостился у низкого подоконника: «Я уж здесь щец похлебаю». Фрадкина со своим удлинённым подгримированным лицом, одетая по-европейски, с деловитой элегантностью, даже рот приоткрыла, с любопытством разглядывая, как этот нищий странник истово и медленно подносит ложку ко рту.

Впрочем, Надя говорила, что в споре Клюев иногда «забывается и начинает говорить как приват-доцент».

Тогда в Москве стал обращать на себя внимание Павел Васильев, казачий поэт, явившийся в столицу из Сибири. Это был двадцатидвухлетний красавец, кудрявый блондин с вздрагивающими крыльями носа, высокий, на редкость стройный. Осип Эмильевич его полюбил. Васильев платил тем же, часто прибегал, читал свои стихи, охотно беседовал с Надей. Постепенно, за два-три года, он превратился из начинающего поэта в модного, уже попавшего в тот условный «высший свет», который образовывался к тому времени в литературной и художественной Москве. Вел он себя шумно. В критике появились на него нарекания, а в кулуарах говорили, что он находится под влиянием Мандельштама. По этому поводу и был сказан Осипом Эмильевичем экспромт:

Мяукнул конь, и кот заржал —
Казак еврею подражал.

Я проезжала в трамвае мимо дома Мандельштамов, сошла, хотела к ним зайти, но, заглянув в низкое окно, раздумала: Надя лежала на кровати и важно, внимательно глядя на кого-то своими голубыми глазами, слушала его. В ногах стоял Осип Эмильевич. Перед ними был Звенигородский. Он читал свои стихи. Осип Эмильевич вместе с Надей вдруг увлеклись им и объявили вторым Тютчевым. Это свело с ума старика, последнего «Гедеминовича» в России, живущего здесь трудной жизнью малоприспособленного к современности интеллигента.

Однажды пришел Яхонтов с Лилей и Диночкой, обе в одинаковых светлых кудрявых меховых шубах — козлик. Шубки понравились. Но на самом деле Надя восхищалась только Лилей. Она говорила о ней как об уникаме. Рассказывала о ее застенчивости, вспоминала, как в Детском Селе она ни шагу ступить, ни слова сказать не умела: войдет и, не здороваясь, станет молча посреди комнаты. Она была дочерью кочегара поезда, говорила Надя, жила с родителями в Кисловодске. У нее обнаружился талант медиума, какой-то гипнотизер стал выступать вместе с нею в местном цирке. Яхонтов увидел, влюбился и увез в Москву. Надя

рассказывала о Лиле так, что за глаза можно было влюбиться. И однажды Клычков пришел к Мандельштамам и уставился на меня жарким взглядом: «Это — Лиля?» — тихо спросил он Надю и совершенно погас, узнав о своей ошибке. Таковы были Надины таланты.

У Мандельштамов на Тверском бульваре не было телефона, и Осип Эмильевич попросил меня пойти в автомат позвонить Яхонтову, позвать, что-то давно его не видно. Яхонтов не мог прийти, ибо был в цейтноте, обычном для эстрадных актеров в праздничные дни: набирали по несколько выступлений на один вечер и мчались сломя голову из клуба в клуб. Объяснение Яхонтова не удовлетворило Мандельштама, и он начал его бранить. Что же он ставил ему в вину? Это — «вечный юноша», «ему уже 30 лет, а он еще весь в будущем». Человек в таком возрасте, живущий одними своими надеждами, неполноценен, сердился Осип Эмильевич. Жить нужно настоящим.

Никогда нельзя было предугадать, что он скажет в ответ на самое обыденное замечание. В другой раз он неожиданно отозвался о том же самом Яхонтове в прямо противоположном смысле.

Шел разговор о манере этого артиста заводить на улице случайные знакомства с женщинами. Рассказывали, что, выходя из дому, он заранее приготавливал любовные записочки в нескольких вариантах и вручал подходящий текст сегодняшней избраннице. Возмущались этим, считали ненормальным. Осип Эмильевич задумался:

— У нас это называется шизофренией, а где-нибудь в Париже — обыкновенная жизнь мужчины. Весь Мопассан вышел из этого. У нас все читают, и никто не удивляется.

Повадилась заходить Адалис. Когда из Парижа приехал И. Г. Эренбург, он пришел к Мандельштамам вместе со Святополк-Мирским. Адалис принимала участие в завязавшемся остром разговоре. Эренбург преклонялся перед прогрессивной политикой Советского Союза, восхищался строительством социализма, а мы, советские люди, не любили Эренбурга за то, что он хвалит издали то, что мы должны выносить на своей шкуре. Мандельштам объяснял, как трудно ему здесь работать, но Эренбург не хотел об этом знать.

Когда он и Мирский ушли и все оживленно обсуждали речи Эренбурга, Адалис воскликнула: «Чего вы хотите? Мужчина в 40 лет, вот и все».

Но Надя меня уверяла, что Эренбург «все понимает» и что он показывал ей литографию, где изображен ад, насколько помнится, в духе пушкинского «Фауста»: «Так вот детей земных изгнание? Какой порядок и молчание!» — и сравнивал эту неизбывную вечность с социалистическим раем.

— Невозможно жить без какого-нибудь вина! — вскричал Мандельштам, сидя у окна. Однообразное будничное течение жизни было для него непереносимо. Уехать куда-нибудь? Позвонить по междугородному телефону? Затеять скандал?

Он сидел на тахте по-турецки и ребячливо, капризно излагал свои претензии доброму дяде. На этот раз это был опять зашедший «на огонек» Шкловский. «Меня надо... меня надо...» — не меняя позы, но все выше и выше подпрыгивая на пружинах, требовал

Мандельштам, и Шкловский слушал, улыбаясь. А Осип Эмильевич с увлечением придумывал все новые пути спасения: «надо пойти в ЦК и сказать...», «попросить командировку...», «предоставить», «поселить», «убедить Госиздат дать большой аванс...»

— С цыганами надо говорить по-цыгански... — все с той же вырезанной на лице улыбочкой отвечал Шкловский.

В том же флигеле, на втором этаже, жил малоизвестный писатель, с которым Мандельштамы как будто и не общались. Но вот он скончался, и Надежда Яковлевна приняла горячее участие в организации его похорон. Она настаивала, чтобы гроб с телом был поставлен для прощания в Доме Герцена, ходила туда с требованием гражданской панихиды, кричала, что отказ является нарушением устава месткома литераторов. Я не могла понять, для чего это ей нужно. Хотела ли она оказать покровительство вдове? Или я чего-то не знала про этого писателя? Или просто у Нади пробудилась активная общественная жилка и она выражала справедливое негодование?

Была у Мандельштамов одна знакомая семья: адвокат О., его жена и маленькая дочь. Как-то, выйдя на улицу, они увидели очередь в загс, который помещался в том же доме, где они жили. В загсе, как известно, регистрируют браки, разводы, рождения детей и смерти. Девочка запомнила только последнюю категорию и простодушно спросила: «Это за гробами стоят?» Замечание ребенка показалось апокалипсическим, и Надя повторяла вслед за ними: «Очень может быть, что и такое настанет». Мы не знали тогда, что миллионы наших соотечественников будут похоронены без гробов, а что среди них будет Осип Эмильевич, мне по крайней мере в голову еще не приходило.

Внизу рядом с Мандельштамами жил поэт Амир Саргиджан с женой. С ними Мандельштамы были в приятельских отношениях, соседи заходили друг к другу. Но вот Саргиджан взял у Осипа Эмильевича взаймы 75 рублей и не отдавал. Это бесило Мандельштама, денег, конечно, у него уже не было. Стоя по своей привычке у окна и беспокойно разглядывая прохожих, он увидел, что жена Саргиджана возвращается домой, неся корзину со снедью и двумя бутылками вина. Он закричал на весь двор:

— Вот, молодой поэт не отдает старшему товарищу долг, а сам приглашает гостей и распивает с ними вино!

Поднялся шум, ссора, кончившаяся требованием женщины, чтобы Саргиджан побил Мандельштама. Тот так и поступил, причем ударил и Надю.

Мандельштамы потребовали товарищеского суда. Надя расхаживала перед Домом Герцена, демонстрируя свои синяки, и каждому знакомому заявляла с посветлевшими веселыми глазами: «Меня избил Саргиджан, Саргиджан избил Мандельштама...» И когда в Доме Герцена был устроен товарищеский суд, маленькая комната была набита до отказа. Председательствовал Алексей Толстой.

Я не присутствовала, так как была на службе, но вечером ко мне пришел Евгений Яковлевич и все рассказал. Даже он, всегда сдержанный, орал, топал ногами, вскакивал на

стул, возмущаясь постановлением товарищеского суда: оно было не в пользу Мандельштама. Но Саргиджану не было даже вынесено порицания.

Это было несчастьем для Осипа Эмильевича, потому что превратилось в его навязчивую идею, на что он сам жаловался именно этими словами.

Торжественно скандируя, он диктовал мне с мандельштамовской лапидарностью и метафоричностью одно из своих заявлений все по тому же поводу. Мне запомнилась оттуда такая мысль: маленькая подлость, утверждал Мандельштам, ничем не отличается от большой.

В апреле 1933-го Мандельштамы уехали в Старый Крым. Но еще целый год Осип Эмильевич мучился этой растущей в его сознании распрей. Ненависть его сконцентрировалась на личности Алексея Толстого.

Через три-четыре месяца они вернулись в Москву.

Что-то изменилось. Я это почувствовала при первой же встрече. Но тут же я уехала на месяц в дом отдыха. Когда вернулась осенью, чувство перемены охватило меня еще сильнее.

Осип Эмильевич отпустил изящно подстриженную бородку, в которой проглядывала седина. Он расширился в плечах, поплотнел, казался бы отяжелевшим, если бы не его постоянная нервная подвижность.

На Надином лице я стала примечать следы возраста. В октябре ей должно было исполниться тридцать четыре года, и в ней уже предчувствовалась тридцатипятилетняя женщина.

У ее брата стала заметна какая-то застылость. Мне казалось, что эмоции заменены у него рефлексам. А его мать — медик по образованию — еще минувшей зимой заговаривала о том, что у Евгения Яковлевича «откалывается известь в сосудах». Осип Эмильевич, говоря о нем, замечал, что сорок лет — критический возраст для мужчины. Это барьер, если преодолеешь его благополучно, дальше уже можно жить не задумываясь о возрасте.

У меня с Евгением Яковлевичем произошел в это время разрыв, однако месяца через два мы помирились. «Мы не можем посориться — мы родственники», — объяснял он. Что-то отпало в наших отношениях, но появилось и что-то новое.

Другим стал и мой ровесник, тридцатилетний Борис Сергеевич Кузин. Где то воодушевление, те сияющие глаза и звучный смех, с какими он вернулся в тридцатом году из среднеазиатской экспедиции? С каждым годом он становился все мрачнее и нервнее. Иногда, от случая к случаю, он забежал ко мне, не засиживаясь позже десяти часов вечера и произнося на прощание одни и те же слова: «Пора к маме. Она будет беспокоиться. Мне еще нужно почитать перед сном». Он дочитывал вторую часть «Фауста». Как я уже говорила, Гете он читал в подлиннике. Я не понимала, в чем дело, пока Надя не открыла мне, что с ним происходит. Его систематически вызывал к себе следователь. От него требовали, чтобы он стал сексотом, то есть секретным сотрудником ГПУ, осведомителем. Угрожали арестом, уверяя, что недоноситель и сам является контрреволюционером. «Подумайте, что будет с мамой, если вас арестуют». — «Мама умрет». — «Как вы жестоки». По словам Нади, требования, предъявляемые «органами» Кузину, относились только к университетским делам. В 1933 году Кузина действительно арестовали, но держали недолго. Мандельштамы пригласили его отдохнуть с ними в Старом Крыму. Там жила Нина Николаевна Грин,

вдова писателя. Она появилась в Москве вскоре после смерти мужа и часто потом наезжала по делам литературного наследия Грина. Мандельштамы с ней подружились. Она стала у них своим человеком.

На следующий год она как-то расцвела, преобразилась в хорошенькую сорокалетнюю вдовушку и, прогуливаясь под нарядным зонтиком, слегка напоминала кустодиевских красавиц. Приезжала она в Москву и зимой.

Борис Сергеевич вернулся из Старого Крыма раньше Мандельштамов. Они направились еще в Коктебель. Там они собирали камешки и беседовали с Андреем Белым, оказавшимся одновременно с ними в писательском Доме творчества.

Вскоре после возвращения в Москву Мандельштамы переехали на другую квартиру. Этот переезд совпал с новым периодом жизни Мандельштама. В Нащокинском его постиг взрыв поэтической работы и глубокий кризис во всех областях жизни — семейной, профессиональной, политической.

НАЩОКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 5, КВ. 26

Переезд в отдельную двухкомнатную квартиру не был неожиданным. Он готовился исподволь, дебаты велись всю прошлую зиму. Дом был одним из первых кооперативных, и кандидатуру каждого жильца обсуждали сами писатели. При упоминании фамилии Осипа Эмильевича они стонали: «Ох, этот Мандельштам!» Я возмущалась, что такому большому поэту не дают квартиры, говорила об этом в доме Осмеркиных. А бывавший там поэт и прозаик Константин Аристархович Большаков возражал: «Вы поймите: Мандельштам не имеет права на квартиру в писательском кооперативном доме, он даже не член Союза поэтов».

Энергия Мандельштамов преодолела все препятствия. Мандельштам был включен в список членов кооператива — кто внес за него деньги и вообще был ли сделан паевой взнос, не знаю, но какая-то неуверенность чувствовалась и продолжалась до самого последнего дня. По действующим тогда законам жильца нельзя было выселить, если на спорной площади стоит его кровать. Надя прекрасно это знала, и как только был назначен день общего вселения, она с ночи дежурила у подъезда, поставив рядом с собой пружинный матрац. Утром, как только дверь подъезда открыли, она ринулась со своим матрацем на пятый этаж (дом без лифта) и первая ворвалась в квартиру. (Помогал ли ей кто-нибудь из друзей, не помню.) И вот врезан замок, вселенье совершилось.

Квартирка казалась нам очаровательной. Маленькая прихожая, напротив — дверь в крошечную кухню, направо — неопишемая роскошь! — ванная, рядом уборная. На той же правой стене вход в жилые комнаты, в первую, узкую и длинную проходную, за ней такой же длины, но гораздо шире — большая комната, причем обе они начинались близко от дверей, так что первая почти не ощущалась как проходная.

Газовой плиты еще не было, поэтому кухня использовалась как третья жилая комната. Она была предназначена для гостей. Стряпали в прихожей на керосинке, а когда наконец плиту привезли, то ее и установили там же.

Убранство квартиры было замечательным: его почти не было. В большой комнате, на стене направо от входа, во всю ширину комнаты были помещены дощатые некрашенные полки, а на них установлены книги из библиотеки Мандельштама, Бог знает где хранившиеся все эти годы. Помимо итальянских поэтов я помню Батюшкова без переплета, кажется, это были «Опыты...», «Песни, собранные П. В. Киреевским», «Стихотворения» А. С. Хомякова, «Тарантас» В. А. Соллогуба с рисунками Г. Гагарина.

Кроме книг в каждой комнате стояло по тахте (т. е. чем-нибудь покрытый пружинный матрац), стулья, в большой комнате простой стол и на нем телефон. Эта пустота и была очаровательна.

Конечно, во всем доме была прекрасная слышимость. Комната Осипа Эмильевича (большая) граничила с соседней квартирой из другого подъезда, откуда постоянно слышались стоны гавайской гитары. Там жил Кирсанов.

Стены были проложены войлоком, из-за этого квартира, очень хорошо отапливаемая, была полна моли. Все пытались ее ловить, хлопая руками.

Эти детали откликнулись в «Квартире» Мандельштама — стихотворении той поры.

В новом жилище обнаружили ранее незаметные черты Мандельштамов. В первую очередь — гостеприимство. Угощали тем, что есть, — уютно, радушно, просто и артистично. Желая компенсировать знакомых за свое бывшее житье по чужим квартирам, Мандельштамы с удовольствием пускали к себе пожить старых друзей.

Прежде всего, была приглашена Ахматова. Но она выбралась только в середине зимы. Мне еще предстояло ее впервые увидеть.

Некоторое время у них ночевал вернувшийся из ссылки Владимир Алексеевич Пяст. Вначале его присутствие было приятно и интересно Осипу Эмильевичу. Но потом он с удивлением стал говорить об одной утомительной привычке Пяста. Он не ложился спать до трех часов. Хозяева бодрствовали вместе с ним, но вскоре заметили, что Пяст вовсе не склонен поддерживать разговор. Они решили оставлять его с полуночи одного, но убедились, что он и не пишет, и не читает, а все-таки не ложится. «Что он там делает? — смеялась Надя. — Наверное, молится». Но Осип Эмильевич отрицал это, говоря: «Это какое-то бдение». Судя по его описанию, Пяст сидел в сумеречном состоянии — ни сон, ни явь — и не имел силы переменить позу, раздеться, лечь, заснуть. Такое крайнее истощение нервной системы, пришедшее к Пясту после перенесенных страданий, мне стало понятным впоследствии, после ежовщины, бомбежки, голода, разочарований и многих еще бед. Часто после войны я ловила себя на мысли: «Я — как Пяст». Кстати, подобное пробуждение ассоциаций преследовало меня в шестидесятые годы, когда я получила в кооперативном доме однокомнатную квартиру. Я без конца занималась хозяйством, радуясь каждой бытовой мелочи и приговаривая про себя: «Я — Галина Мекк». Это опять был след Надиных рассказов. После гибели Осипа Эмильевича она некоторое время жила у Галины фон Мекк, поселившейся после лагеря в Малом Ярославце. Приезжая в Москву, Надя описывала, как Галина два часа подряд моет свою ночную посуду, медленно и тщательно прибираясь в своей комнате. Такой синдром послелагерника наблюдали тогда у многих.

Приходил к Мандельштамам ночевать один из бывших сотрудников «Московского комсомольца», молодой парень, почему-то очутившийся за бортом, бездомный и нищий. Будем называть его Икс.

Однажды вечером я застала Мандельштамов в суете и тревоге. Они бегали в волнении из комнаты в ванную, что-то мыли и вытряхивали. «Понимаете? Икс завел у нас вшей. Что делать?» Поздно вечером раздался звонок в дверь. Даже Надя, при всей своей несмущаемости, пришла в замешательство. А Осип Эмильевич открыл дверь и, не впуская Икса в квартиру, сказал просто и прямо: «Вот что, Икс, вы завшивели. Вам надо пойти в баню, вымыться и продезинфицировать всю одежду. После этого приходите. Сегодня, к сожалению, мы не можем васпустить». Я видела по лицу Икса, что он был поражен ужасом, но обиды не чувствовалось. Это было удивительное свойство Осипа Эмильевича: в важные минуты — а отказать в ночлеге бездомному человеку было очень трудно — у него появлялись решимость и прямота. При нервозности и суетливости Мандельштама это всегда поражало неожиданностью, так же как его мужественное теплое рукопожатие и открытый взгляд прямо в лицо собеседнику.

Из старых посетителей продолжал бывать Длигач, поэт, тоже работавший ранее вместе с Мандельштамом в «Московском комсомольце». Теперь он являлся вместе с Диночкой Бутман. Эта актриса-травести, почти карлица, но с большой головой красивой женщины, уже разъехалась с Яхонтовым, но не хотела выходить за Длигача и, становясь с ним рядом перед зеркалом, говорила: «Я была женой Яхонтова, может ли Длигач быть мне парой?» Что касается Лили Поповой, то, оставаясь режиссером и главным сотрудником театра Яхонтова, она была теперь за композитором этого театра (кажется, его фамилия была Цветаев). К несчастью, он был в заключении, в исправительно-трудовом лагере. Лиля свято верила именно в исправительное значение места пребывания ее мужа. Она ездила к нему на свидания и очень хвалила начальника лагеря, характеризуя его как замечательного психолога и педагога. Мужа своего она считала виновным. Он вел дневник, где высказывался в духе Ницше, Шпенглера «и все такое...» — брезгливо заключила Лиля, рассказывая Наде и мне об этой печальной истории. Она была на стороне московского следователя, который вызывал к себе Цветаева и учил его уму-разуму. Все было бы хорошо, но Цветаев не выполнил условий, поставленных следователем. Он не должен был никому рассказывать об этих своих посещениях. К несчастью (Лиля говорила об этом мягко и жалостливо), Цветаев сделался истерически болтлив. Однажды, излагая другу по телефону содержание последней «душеспасительной» беседы, он услышал в трубке знакомый голос следователя: «Так-то вы держите свое слово?» — и Цветаев был осужден, кажется, на три года.

В течение трех-четырех недель Мандельштамов ежедневно посещали Нарбуты — поэт Владимир Иванович и его жена Серафима Густавовна, с которой Надя была на «ты». Она считалась красавицей-вамп. И действительно, в лице ее было что-то хищное. Продолгова-

тый овал лица, породистый нос с горбинкой и тонкими крыльями, выпуклые веки, высокий подъем ноги — все линии были гармонично связаны.

Серафима Густавовна принесла в Нащокинский свою распоротую меховую шубу, легкую, пропахшую духами, и пыталась ее переделать своими руками: денег на скорняка не было. Уже установились морозы, и она рассказывала, как ловит на себе жалостливые взгляды пассажиров, когда входит в вагон трамвая в демисезонном пальто.

У Нарбута образовался в это время «простой» в заработках. Мандельштамы делились с ними тем, что у них было. Надя с Симой пекли какие-то блинчики, варили кашу, а в дни получения Мандельштамом пайка готовили мясные блюда. Все это очень изящно подавалось на стол при помощи Серафимы Густавовны.

Нарбут, высокий, прихрамывающий, с одной рукой в перчатке — трофеи времен гражданской войны, носил прекрасный английский костюм и имел гордый вид барина-чудака. Я про себя называла его «князь».

Разумеется, эти давнишние друзья Мандельштамов были окружены Надиными новеллами. Она по-своему пересказывала известную в литературной Москве историю первого брака Серафимы Густавовны с Юрием Олешей, о ее бегстве наподобие Настасьи Филипповны от Олеси к Нарбуту и назад от Нарбута к Олеше, о женитьбе Олеси на ее сестре, одним словом, о сестрах Суок, отчасти знакомых читателям по «Трем толстякам» Олеси, мемуарной литературе о Багрицком (третья сестра была за ним замужем) и в последние годы по повести В. Катаева. Иногда Мандельштамы таинственно говорили о возобновившейся ревности Нарбута или о какой-нибудь новой выходке Олеси, и тон Осипа Эмильевича приобретал при этом неопишемую важность.

Политическая биография Нарбута была полна драматизма, но я знала об этом только со слов Нади, а это еще не дает мне права распространяться на эту тему. Года за два до той зимы я еще видела Нарбута на каких-то совещаниях, куда он приходил в качестве директора издательства «Земля и фабрика». Он сам был организатором этого издательства, но теперь оказался совершенно не у дел. Помню рассказ Нади о том, как «вчера» Нарбут весь вечер говорил о стремительном развитии индустриальной Японии, и чувствовалось, что у него, по выражению Нади, мурашки по спине бегают, так он рвется к большому делу. А от других моих знакомых, некогда окончивших литературный институт Брюсова, а теперь служивших в какой-то редакции, я слышала гораздо более пренебрежительные отзывы о Нарбуте. По их словам, он сильно опустился, окружил себя всякой «шпаной», постоянно околачивается с ними на радио и там постыдно халтурит. В доме Мандельштамов ничего этого не было видно.

Нарбут был шутник и выдумщик. Однажды я позвонила по телефону к Мандельштамам, они все сидели за столом и стали по кругу передавать телефонную трубку, чтобы каждый сказал что-нибудь смешное. Когда очередь дошла до Нарбута, он спросил своим высоким и звонким голосом: «Вас разводят под Москвой?» И каждый раз, когда он встречал меня у Мандельштамов, он повторял этот вопрос. Оказывается, в «Вечерней Москве» была заметка о подмосковном уголке Зоопарка, где разводили страусов породы эму.

Мне очень хотелось пригласить Нарбутов к себе, но весь антураж моего дома не подходил для приема гостей, тем более что Серафима Густавовна была такой хорошей хозяйкой. Даже одного Владимира Ивановича я бы не решилась позвать к себе на «студенческий» чай: он — «князь», а не Хазин или Кузин, с которыми было проще.

Шла подготовка к I съезду писателей, в печати появлялись дискуссионные статьи о поэзии и прозе на новом этапе. Мандельштам и Нарбут, несмотря на кажущиеся независимость и индифферентность, следили за этой кампанией. Как-то Нарбут пришел и обратился к Осипу Эмильевичу самым серьезным тоном: «Мы решили издавать журнал. Он будет называться...» — «Как?» — «Семен Яковлевич». В имени и отчестве Надсона сконцентрировалась вся ирония Нарбута по отношению к современным дебатам о поэзии. А Осипа Эмильевича волновали больше проблемы прозы. Ненавидя «описательную» литературу, он пробормотал однажды горько и желчно: «Скоро люди будут собираться в домкомах, кидаться друг на друга и тут же описывать».

В предсъездовской печати уже намечалась будущая расстановка литературных сил. Мандельштам начинал понимать, что ему в этой новой табели о рангах не приутовлено никакого места.

В то время Вл. Дм. Бонч-Бруевич развернул энергичную деятельность по собиранию рукописей писателей. Он хорошо платил, а деньги были нужны всем. Писатели потянулись в Литературный музей. Оценка материала в рублях механически вела к оценке удельного веса каждого «клиента». Рукописи Мандельштама оценили в 500 р. Оскорбленный Осип Эмильевич вступил в переписку с Бонч-Бруевичем и получил от него корректнейшее разъяснение, что, по общему признанию, Мандельштам является второстепенным поэтом. Эксперты в данном случае недалеко ушли от жены поэта Рудермана, обвинявшей, как я уже говорила, Мандельштама в отсталости. Я и сама осеклась однажды, на новом месте моей работы в Центральном бюро секции научных работников. Как только я туда поступила, Осип Эмильевич вскричал: «Эмма будет доставать нам путевки в санатории и дома отдыха». Я послушно заговорила об этом с доцентом, сельскохозяйственным, заведовавшим на общественных началах соцбытсектором. «Мандельштам? — отозвался он. — Такого поэта нет. Был когда-то поэтом...»

Мандельштам, еще в 1931 году писавший: «Пора вам знать: я тоже современник... Попробуйте меня от века оторвать», — продолжал выслушивать скептические замечания о своей отдаленности от духа века. Неудивительно, что, вернувшись однажды с прогулки в бесконечно печальном состоянии, он сообщил о только что происшедшем инциденте. Ему встретился какой-то писатель. Тот завел с Осипом Эмильевичем оживленный разговор и неосторожно напомнил, что Мандельштама причисляли к «неоклассикам». «У меня палка в руке» — гневно вскричал Мандельштам. После таких вспышек он всегда бывал очень грустен.

Рукопись «Разговора о Данте», переданная Мандельштамом в Госиздат, была возвращена ему без единого полемического замечания, но со множеством вопросительных знаков на полях. Если не ошибаюсь, эти пометы были сделаны рукой А. К. Дживелегова.

В музыкальном театре Немировича-Данченко и Станиславского была поставлена новая и новаторская опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Я была на одном из первых спектаклей. Приблизительно в пятом или шестом ряду по другой стороне прохода сидел Мандельштам. Он был один. В антракте я подошла к нему. Осип Эмильевич был так взволнован, что, обращаясь к кому-то, сидящему впереди него, прямо-таки воззвал в крайнем возбуждении: «Это — вагнери-и-зм!» — и продолжал бурно беседовать с незнакомым слушателем.

«Дело Саргиджана» не выходило из головы Осипа Эмильевича. Однажды он лежал на кровати, а рядом сидел Клычков, и в который раз с неотразимым красноречием и пылом Осип Эмильевич описывал ему эту прошлогоднюю историю. Клычков слушал, слушал и спокойно заметил: «Конечно, он был неправ. Надо было сначала деньги отдать, а потом бить». Осип Эмильевич не сразу понял, о чем говорит Клычков, настолько небрежная интонация не соответствовала убийственному содержанию реплики. Но через мгновение он вздрогнул и завопил: «Наденька, выгоним его!» Я в этот момент уходила в ларек за папиросами. У двери на лестницу меня обогнал Клычков, высокий, длинноволосый — «лесовик», — и, побряхтывая и усмехаясь, вышел вон. Я скоро вернулась с опаской, рассчитывая встретить бурю негодования. Смотрю: в первой комнате Надя сидит спокойно и рассеянно смотрит куда-то в пространство своим загадочным скромно-лукавым глазом. Заглядываю в комнату к Осипу Эмильевичу, и что же? Он все так же лежит, а на его постели сидит... Клычков, и они обнимаются, целуются. Помирились.

Иногда Осип Эмильевич надевал свой хороший костюм (кажется, приобретенный в Торгсине на боны из Надиного наследства), подстригал в парикмахерской бородку и чувствовал себя «петербуржцем». Прочитировал в разговоре со мной Клоделя и рассердился: «Вы не знаете Клоделя? Не понимаете по-французски?»

На одной площадке с Мандельштамами занимал квартиру писатель, у которого жила молодая домработница-полька. Подымаясь вместе с ней по лестнице, Осип Эмильевич уже не впервые разглядывал ее породистую красоту. Потом лежал на кровати, размышляя и торжественно подымая вверх указательный палец, говорил: «Это неспроста!» Он подозревал, что она вовсе не домработница и тут скрывается какая-то романтическая или политическая история.

Внизу, на первом этаже, напротив Клычкова, жил писатель-сатирик В. Е. Ардов с молодой женой, актрисой Художественного театра, и ее маленьким сыном от первого брака — Алешей Баталовым². Нина Антоновна Ольшевская принадлежала к первому послереволюционному выпуску школы Станиславского, который описан в его книге «Работа с актером». Она была красавица смешанных кровей — польской аристократической, русской и татарской. Блестящие черные волосы, смуглый румянец и «горячие», по выражению Н. И. Харджиева, глаза подсказывали ему слово «цыганка», когда он говорил о

² Народный артист СССР — Алексей Владимирович Баталов.

Нине Антоновне. Вместе с подружками Нины Антоновны — Норой Полонской и Пилявской составлялся цветник прелестных женщин. Они собирались в этой новой квартире Ардова, где, кажется, кроме трельяжа в углу спальни и тахты никакой мебели еще не было. Ардов познакомился с Мандельштамами, и между обоими домами установились добрососедские, но не слишком близкие отношения.

Иногда, ведя к себе домой кого-нибудь из встретившихся на улице знакомых, Осип Эмильевич по дороге звонил в квартиру Ардовых. Если дверь открывала Нина Антоновна, он представлял ее своему спутнику такими словами: «Здесь живет хорошенькая девушка». После чего вежливо раскланивался, говорил, улыбаясь: «До свидания», и вел своего гостя на пятый этаж.³

Таков был бытовой фон, на котором разыгрались драматические события этого переломного для Мандельштама года.

КОНФЛИКТЫ — БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

Надя привезла из Крыма новое словечко — «возвращенцы». Она заимствовала его у Андрея Белого. Он рассказывал о радости встреч с вернувшимися из ссылки, а таких в его среде было много не только потому, что он принадлежал к высшему слою русской интеллигенции, но особенно из-за антропософфов, которых разгромили в двадцатых годах. Как известно, Андрей Белый был деятельным членом этого общества.

А Осип Эмильевич, упоминая в своих «мыслях вслух» о Коперниковом видении мира, связывал свои новые постижения с Коктебелем. Мне казалось, что многое из его слов было навеяно на этот раз беседами с Андреем Белым. И еще мне послышался тогда в его словах отзвук философии Шпенглера, но я хорошо помнила, как, читая «Закат Европы», Осип Эмильевич раздраженно бормотал: «Немецкий профессор»

Разговоров его на политические темы в это время я не помню. Но он сказал свое слово о кровотокающих ранах современности в стихотворении «Холодная весна. Бесплодный робкий Крым» (оно стало известным впоследствии с искажениями, уничтожающими его художественную ценность. Об этом можно судить уже по первому стиху, неправильно напечатанному в американском издании: «Холодная весна. Голодный Старый Крым» — вместо «бесплодный робкий Крым»).

Некоторым это стихотворение показалось бедным, особенно рядом с пиришествным разливом красок, звуков и запахов тогда же написанного в Крыму «Ариоста». Евгений Яковлевич, например, утверждал, что это совсем не мандельштамовское стихотворение, его мог бы написать Ходасевич. А вот А. А. Осмеркин сразу восхитился точностью крымского пейзажа с его неповторимыми признаками: «Все тот же кисленький кусающийся дым» (от топки печей кизяком), «апрельской глупостью украшенный миндаль» и «войлочная земля» от сыплющихся лепестков тамарисков, делаю-

³ Нина Антоновна вспомнила об этом в 80-х гг., когда мы с ней встречались с специальной целью записывать ее воспоминания об Анне Андреевне Ахматовой.

щих землю как мягкий ковер («На войлочной земле голодные крестьяне Калитку стерегут, не трогая кольца»)⁴.

Были люди, которые отрицательно отнеслись и к стихотворению Мандельштама «Квартира», обвиняя поэта в «некрасовщине». «Мандельштам деградирует», — отозвался друг Осмеркиных Б. Глубоковский, оказавшийся снобом. Восемь лет, проведенные в Соловках, не заставили его изменить свое отношение к искусству и поэзии.

Интересно, как отнеслись к «Квартире» другие немногие слушатели, которым я могла прочесть это стихотворение. Мать моей подруги Лены, врач-стоматолог, прогрессивная интеллигентка, активная общественница, делающая множество добрых житейских дел как член месткома в поликлинике, неожиданно расплакалась и сказала: «Это вся наша жизнь». А знакомый художник, тоже активно работавший в профкоме творческих работников, подошел к стихотворению Мандельштама с житейской стороны: «Сволочь! Ему дали квартиру, на которую он не имел права, а он так отблагодари!» И только один Осмеркин чутко воспринял образ замкнутости, изоляции и безысходности, воплощенный в этом стихотворении.

— Эмма, он — хищник! — встретила меня Надя в отчаянии. — Он не хочет, чтобы к нам переехала моя мама. А я только для того и вырвала эту квартиру!

С какой-то аффектацией она мне рассказала свой сон: мама, обессиленная, падает к ней на руки с мольбой: «Спаси меня». Про Осипа Эмильевича были сказаны очень жесткие слова, иллюстрирующие его эгоцентризм, умение подчинять себе окружающих. Она понимала, что это не своеволие, а вынужденное поведение художника, который должен сам защищать свой талант. Но сегодня она не повторяла свое любимое: «Если Ося не будет разнузданным, он не будет писать стихи». Нет, она горько жаловалась на него, утверждая, что все поэты — хищники, и не хотела с этим мириться.

Желание Нади взять к себе мать понятно. Вера Яковлевна, овдовев в 1930 году, жила одна в Киеве. Старшие дети не могли соединиться с ней. Как уже говорилось, незамужняя Анна Яковлевна не имела ни комнаты, ни постоянного заработка, а Евгений Яковлевич жил в одной комнате с женой. Но дело осложнялось тем, что Осип Эмильевич должен был взять к себе отца. Старик жил постоянно в Ленинграде у младшего сына — Евгения Эмильевича. Как только Осип Эмильевич стал оседлым, т. е. получил квартиру, персональную пенсию (маленькую, правда), паек, книжный распределитель, — вопрос возник сам собой.

Внутренняя распря, скрытая от посторонних глаз, продолжалась довольно долго. Отец Мандельштама приехал, был прекрасно принят Надей, но почему-то грустил, не хотел ходить за керосином и тайно жаловался мне со своим странным немецко-еврейским выговором: «Мне плехо...» (Это выражение я помню из-за того, что оно вошло у нас с Леной в поговорку.) Прожив довольно долго в Нащокинском, Эмиль Вениаминович вернулся к младшему сыну, а на смену ему вскоре приехала Вера Яковлевна, пока еще не навсегда.

⁴ Совершенно перепутано в американском издании: там — «серенький дым» вместо «кисленький» и «как в туфлях войлочных» (что — бессмысленно) вместо «на войлочной земле».

И тут у Нади созрел план поселить свою мать в одной комнате с отцом Осипа Эмильевича. Мы были так глупы, что не понимали, насколько это предложение оскорбительно. А когда Вера Яковлевна решительно отказалась (он будет курить, храпеть, чужой старик — ни за что!), Надя обратила все это в шутку: «Мама — женственная». Мы, дураки, т. е. Женя и я, повторяли это, хохоча.

Победила в конце концов Вера Яковлевна. Она перевезла из Киева в Москву все свои вещи. Когда широкая никелевая кровать с шарами была поставлена в полупустую комнату мандельштамовской квартиры, обаяние этого артистического жилья было утрачено. Но это случилось не сразу.

Вера Яковлевна вросла в быт Нащокинского, и вскоре все гости стали называть ее вслед за Надей «хорошенькой старушкой». На самом деле она вовсе не была миловидной. У нее был резкий писклявый голос и развязные манеры. И только небольшой рост и старческая пухлость позволяли с большой натяжкой находить ее миленькой. Но она была умна и мужественно переносила потрясающее неустройство своих детей.

Появление в мандельштамовском кругу двадцатипятилетней Маруси Петровых прошло для меня незамеченным. Я знала, что знакомству ее с Мандельштамами содействовала Ахматова, но когда и как это произошло, представляла себе смутно, так как осенью меня долгое время не было в Москве.

Вначале я не обратила на Марусю никакого внимания. Я привыкла, что у Мандельштамов время от времени появляется какая-нибудь новая девочка или достаточно молодая дама. Ею увлекались, но потом она исчезала, не оставив никакого следа в воспоминаниях и разговорах. Маруся мне показалась тривиальной. Косыночка, похожая на пионерский галстук, мечта сшить себе новое платье, чтобы пойти в нем на премьеру «Двенадцатой ночи» во 2-м МХАТе, оживленные рассказы о кавказских приключениях, где кто-то злонамеренно разлучил ее в гостинице с мужем — Петрусем, кажется, агрономом по профессии. Она щебетала о вечеринках у себя дома, когда стулья сдвигались в угол и молодежь танцевала фокстрот под стук разбуженных соседей в стенку... Я попыталась насмешливо отозваться о ее детском тоне и пустоте рассказов, но не тут-то было. Мандельштамы относились к ней серьезно. Осип Эмильевич уже признал ее хорошей профессиональной переводчицей стихов. И он, и Надя настоятельно приглашали ее, и она, видимо, охотно на это отзывалась.

Еще одной новостью в быте Мандельштамов были свежие рассказы Нади об Ахматовой и ее сыне, о том, как они садятся рядышком, как «два голубка». Где это она видела? В Ленинграде? В Москве? Лева действительно был в Москве проездом в Крым в археологическую экспедицию, но Анна Андреевна? Приезжала ли она тоже? Это так и осталось для меня неясным.

У Нади уже был готовый рассказ о Леве: он сосредоточен на проблемах древней русской истории, знает предмет, как ученый, круг его интересов восходит, по-видимому, к Хомякову, девочками совершенно не интересуется. Обожает мать.

Участие Левы в научных экспедициях не было его штатной работой, а лишь сезонной. Сын Гумилева не мог поступить на постоянную работу, так же как не мог получить высшего

образования. Таким образом, он оказывался без социального положения, почти «лишенцем». У Мандельштамов возникла идея хлопотать при моем содействии о приеме его в члены профсоюза (на основании его договорных работ в экспедициях). Я, конечно, согласилась. Дело в том, что Центральное бюро секции научных работников, где я тогда служила, находилось в ведении ВЦСПС, будучи частью ЦК профсоюза работников просвещения.

Приблизительно в октябре в Бюро пришел молодой человек, рассеянный, независимый, с рюкзаком за плечами. Назвав меня по имени-отчеству, представился: «Лев Гумилев». Внешне он мало выделялся в общей массе научных работников с периферии, которые постоянно толпились в Бюро. Сообщив некоторые необходимые сведения о себе, он спросил меня на прощание с инфантильной легкостью: «Хотите конфетку?» — и бросил на стол леденец. Когда дня через два он уехал, а я пришла к Мандельштамам, Надя поспешила мне передать его небрежный отзыв обо мне: «Обыкновенная делопутка». Так вот был сын казенного Гумилева в роли просителя.

Тем не менее я очень рьяно взялась за его дела. Вначале начальство отнеслось к моему ходатайству благожелательно («К таким людям особый подход»), но постепенно, когда вопрос предстал перед высшим начальством — Президиумом ВЦСПС, оказалось, что времена уже изменились и никаких «особых подходов» не будет. Это я наблюдала в Бюро и на других примерах.

Лева остался до поры до времени в том же заштатном положении, в каком был.

Как-то утром я была у Мандельштамов. Раздался звонок в дверь. Вошел Лева, озаренный радостью, возвращающийся со встречи старого Нового года у Маруси Петровых. Оказывается, он опять приехал в Москву и гостил у Мандельштамов по их приглашению.

— Где мой дорогой мальчик? — восклицал Осип Эмильевич, не заставя Леву дома. Он почти не расставался с ним, они постоянно куда-то убегали вместе.

Однажды вернулись из ломбарда, где простояли целый день. Они оживленно рассказывали о своих победоносных словесных стычках в очереди. Самую агрессивную девушку Лева схватил за руки, предлагая: «Выходите за меня замуж» Мандельштам веселился.

Он привел с собой Леву в Госиздат, где по окончании рабочего дня читал нескольким собравшимся — редакторам и авторам — «Разговор о Данте». «Интересно было?» — спросила я Леву. «Очень». — «Хорошо прошло?» — «Замечательно». — «Обсуждали?» — «Нет». — «Почему же?» — «Никто ничего не понял. И я тоже ничего не понял». — «Так что ж хорошего?» — «Все равно интересно».

В другой раз вернулись домой оживленные и возбужденные: только что заходили к Клюеву. Осип Эмильевич цитировал его стихи и показывал, как гордо Клюев читал их. Широкие рукава рубахи надувались, как воздушные шары, казалось, Клюев плывет под парусами.

Этот визит мало соответствовал осторожности по отношению к Лева, громогласно объявленной Мандельштамами при его первом появлении. Еще менее осторожно было вовлечение Левы в расприю Мандельштама с Алексеем Толстым. Лева должен был подстергать его, чтобы вовремя подать сигнал Мандельштаму. Тогда Осип Эмильевич должен был возникнуть перед «графом» и дать ему пощечину. В связи с этой затеей оба друга, старый и юный, просиживали

в какой-то столовке или забегаловке у Никитских ворот, недалеко от дома Алексея Толстого. Этот район имел и другую притягательную силу: неподалеку был Гранатный переулок, где жила Петровых. Она не служила, и, несомненно, они забегали к ней в дневные часы.

Ревность, соперничество были священными атрибутами страсти в понимании Мандельштама.

— Как это интересно! У меня было такое же с Колей, — восклицал Осип Эмильевич. У него кружилась голова от разбуженных левой воспоминаний о Николае Степановиче, когда в голодную зиму они оба домогались в Петрограде любви Ольги Николаевны Арбениной...

Умер Андрей Белый. Взволнованная Надя рассказывала, что именно довело его до удара и кончины. Только что вышла из печати его мемуарная книга «Между двух революций» с предисловием Л. Б. Каменева: он назвал всю литературную деятельность Андрея Белого «трагифарсом», разыгравшимся «на задворках истории». Андрей Белый скупал свою книгу и вырывал из нее предисловие. Он ходил по книжным магазинам до тех пор, пока его не настиг инсульт, отчего он и умер. Мандельштамы были на похоронах. Надя отметила, что только одна учительница отважно привела туда своих учеников проститься с гениальным писателем. Остальным педагогам, очевидно, это было не в подъем: одни по своему невежеству вообще не знали, кто такой Андрей Белый, другие знали, но не посмели вовлекать в это событие школьников. Я тоже не была, хотя кончина Белого была для меня большим переживанием. Ведь с пятнадцати лет я воспитывалась на стихах Блока и Белого, его «Симфонии» были для меня откровением, а «Серебряный голубь» я любила даже больше, чем «Петербург». Но все это было так давно, жизнь так резко изменилась с тех пор и я была так задавлена своими «службами», что не могла отпроситься с работы для неофициальной церемонии. Да и вообще мне всегда были тяжелы внешние проявления чувств, и я избегала всяческих демонстраций. Но стихи Мандельштама на смерть Андрея Белого я приняла в самое сердце.

Осип Эмильевич послал эти стихи вдове Андрея Белого. Они ей не понравились. Как это могло случиться? Разве она читала что-нибудь лучшее в те траурные дни? Я не заметила никаких признаков обиды или раздражения по этому поводу у Мандельштама, но мне было видно, что он искренне и глубоко огорчен.

Никогда не ожидая от меня критики своих стихов, на этот раз он хотел знать, чем конкретно мне так нравятся его оба стихотворения на смерть Андрея Белого. В общих чертах я постаралась определить свое отношение к ним. Я сказала что-то вроде того, что в них выражена преемственность эпох, что, точно обозначив первородство философской и поэтической мысли Белого в начале века, Мандельштам сказал об этом средствами современного сознания, выразителем которого он и является. «Вы — самая умная женщина в Москве», — удовлетворенно отозвался Осип Эмильевич. Вероятно, К. Н. Бугаева (вдова Белого), не одоблив присланных ей стихов Мандельштама, ссылалась на их непонятность.

Вскоре Надя подарила мне черновой автограф отвергнутого самим поэтом варианта стихотворения на смерть Белого. К сожалению, он не сохранился, так как был уничтожен моей подругой Леной, которой я дала его на хранение.

Черновик представлял собой клочок бумаги приблизительно в одну шестнадцатую листа, на котором рукой Мандельштама мелко-мелко были записаны, несколько раз поправлены, затем вынесены два стиха над зачеркнутым целиком текстом, а затем снова все сплошь тщательно зачеркнуто. Стихи, вероятно, предназначались для срединных строф стихотворения «Меня преследуют две-три случайных фразы». Несколько раз перечеркнутый текст с трудом поддавался прочтению, но запомнившееся мне обилие сложных слов, характерных для философской лирики Мандельштама, не позволяет признать в этом черновике запись пропавшего стихотворения «Откуда привезли? Кого? Который умер?» — как об этом неверно сообщает Надежда Мандельштам в своей «Второй книге». К тому же это стихотворение, где спародирована бессмысленная разговорная речь любопытствующих обывателей, не нуждалось в таком трудном поиске выражения, о котором свидетельствовал выброшенный Осипом Эмильевичем черновик. Надя подарила мне его как образцу автографа, интересного своим внешним видом, а вовсе не для сохранения его содержания. На роль единственного хранителя текста я была предназначена Мандельштамами совсем в другом случае, более раннем.

Утром неожиданно ко мне пришла Надя, можно сказать, влетела. Она заговорила отрывисто. «Ося сочинил очень резкое стихотворение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям. Ося прочтет его вам, а потом вы выучите его наизусть со мной. Пока никто не должен об этом знать. Особенно Лева».

Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли в Нащокинский. Надя оставила меня наедине с Осипом Эмильевичем в большой комнате. Он прочел: «Мы живем, под собою не чуя странь» и т. д. все до конца — теперь эта эпиграмма на Сталина известна. Но прочитав заключительное двустушие — «Что ни казнь у него, то малина. И широкая грудь осетина», он вскричал:

— Нет, нет! Это плохой конец. В нем есть что-то цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него... — И он снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением:

Как подковы дарит за указом указ —
Кому в лоб, кому в пах,
Кому в бровь, кому в глаз!!

— Это комсомольцы будут петь на улицах! — подхватил он сам себя ликующе. — В Большом театре... на съездах... со всех ярусков... — И он зашагал по комнате.

Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился:

— Смотрите — никому. Если дойдет, меня могут... РАССТРЕЛЯТЬ!

И, особенно гордо закинув голову, он снова зашагал взад и вперед по комнате, на поворотах приподымаясь на цыпочки.

Потом мы уединились с Надей, и она стала мне говорить эти стихи по строчкам. Тут же она мне сказала вариант пятого стиха: «У него на дворе и собаки жирны».

Мне казалось, что все это глубоко погребено. До осуждения Мандельштама я ни одному человеку об этом стихотворении не говорила и уж, разумеется, не читала. Но как-то при мне зашел о нем разговор между Мандельштамами, и Надя безмятежно заявляет, что Нине Николаевне Грин больше нравится другой вариант. Вот тебе и раз. Оказывается, я не одна посвящена в тайну. И я не знала, что существует совсем иная редакция.

АХМАТОВА

Его душили собственные ненапечатанные стихи.

Так протекало предгрозовое время последнего года московской жизни Мандельштама. В эту взрывчатую атмосферу влилась новая струя. Приехала Ахматова.

К приезду Анны Андреевны Осип Эмильевич заготовил шуточное длинное послание, в котором были такие фразы: «...Если у вас закружится голова, обопритесь о господствующий класс»; «Вы будете говорить, а мы будем слушать — слушать и понимать, слушать и понимать...»

Анне Андреевне отвели кухнюшку (без плиты), и эта маленькая келья прозвана была «капище», следующие комнаты тоже получили соответствующие названия, но я их не помню.

С Осипом Эмильевичем у Анны Андреевны были свои отдельные разговоры — я при них не присутствовала. Только однажды, заглянув по какой-то надобности в «капище», я застала их вдвоем. С детским увлечением они читали вслух по-итальянски «Божественную комедию». Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырывавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. «Ну, теперь — вы», «А теперь вы», — подсказывали они друг другу.

Как-то, веселые и оживленные, вернулись они вдвоем из гостей. Осип Эмильевич сделал за один вечер несколько «гафф'ов»: не так и не с тем поздоровался, не то сказал на прощание и, главное, сучал, слушая чтение нового перевода «Эдипа в Колоне». Переводил С. В. Шервинский вместе с В. О. Нилендером, кажется, именно Нилендер и читал в этот вечер. Домашние смешки и словечки вылились в шуточное четверостишие Мандельштама:

Знакомства нашего на склоне
Шервинский нас к себе зазвал
Послушать, как Эдип в колонне
С Нилендером маршировал.

Ахматова дружила с Шервинским, но для Мандельштама поэты и деятели искусств подобного склада были противопоказаны. Так как я слышала много восторженных отзывов о Шервинском от его учеников, в частности от моей подруги Лены, от артистов-чтецов, студентов ГИТИСа, от переводчиков, я спросила Осипа Эмильевича, как он относится к нему. «Молодой человек с Пречистенки, — равнодушно ответил Мандельштам, имея в виду поколение, вышедшее из семейств московской высшей академической среды, — он таким и остался».

Анна Андреевна стала собираться домой в Ленинград приблизительно в конце февраля. Провожать ее поехал на вокзал Лева. Как только за ними закрылась входная дверь, Осип Эмильевич бросился на тахту и вскричал: «Наденька, как хорошо, что она уехала! Слишком много электричества в одном доме».

После отъезда Анны Андреевны в доме Мандельштамов наступила какая-то пасмурность. У них появилась тень раздражения против нее. Надя с оттенком недоброжелательности указывала, что Ахматовой легко сохранять величественную индифферентность, так как она живет за спиной Пунина. Как бы ни было запутано ее семейное положение, но жизнь в этом доме хоть немного, но обеспечивала ее. А Мандельштаму приходится вести ежедневную борьбу за существование. Осип Эмильевич утверждал, что Ахматова неофициально уже признана классиком. Зашел у меня разговор с ним о ее поэзии, и среди его одобрительных слов мелькает все-таки замечание о «манерности» ее ранних стихов, впрочем, добавляет он, «тогда все так писали». После обычных бормотаний Мандельштам проговаривает с осуждением: «...аутоэротизм...» В другой раз Надя резко критикует безвкусные завершения в некоторых стихотворениях из «Четок» и «Белой стаи»: «Как можно писать — “Даже тот, кто ласкал и забыл” или “Улыбнулся спокойно и жутко”?..»

Лева подарил мне свою фотографическую карточку, сделанную для удостоверения. На обороте стал писать акростих:

Эмаль, алмазы, позолота
Могли б украсить египтян
Моей же девы стройный стан

Дальше он не мог придумать. Ходил по комнате и повторял эти строки певуче и выпренне. Осип Эмильевич выхватил у него перо, быстро переделал «стройный» на «красит» и стремительно приписал:

Аршин трико иль шевиота.

В марте Лева уехал в Ленинград, но через месяц вернулся в Москву. Однако Мандельштамы его к себе не пустили. Он, как и было при Анне Андреевне, ночевал у Ардовых. Там актрисы, соленые анекдоты Виктора Ефимовича, всеобщий бесшабашный тон, который охотно поддерживала Надя. А Мандельштам снова впал в страшное беспокойство. Как только Лева подымался от Ардовых наверх, Осип Эмильевич встречал его словами: «Сделаем что-нибудь гадкое». И они звонили по междугородному телефону к Анне Андреевне в Ленинград.

Мандельштам продолжал бсноваться. Куда он убегал из дому, и кого встречал, и с кем разговаривал — я тогда не знала. Впоследствии выяснилось, что он продолжал искать случая дать пощечину Алексею Толстому и читал почти «направо и налево» свои стихи о Сталине.

Теперь ему опять недоставало Ахматовой. Он требовал по телефону, чтобы она вернулась в Москву. Однажды после такого разговора обратился ко мне вне себя: «В конце концов, мы — акмеисты, члены одной партии. Ее товарищ по партии в беде, она обязана приехать!»

Ахматова приехала 13 мая. Они провели вместе один день. Поздно вечером явились гепеушники с ордером на арест Мандельштама. Всю ночь производили обыск. Осипа увели.

ВОКРУГ АРЕСТА И ССЫЛКИ МАНДЕЛЬШТАМА

14 мая утром я пришла в Нащокинский. Мне открыла Анна Андреевна со слезами на глазах и с распущенными волосами (тогда еще черными) — у нее сделалась сильнейшая мигрень, чего, по ее словам, с ней никогда не бывало. Я узнала все.

Мне рассказали, как к Мандельштамам впервые пришел в гости переводчик Бродский, как засиделся допоздна, к досаде хозяев и уставшей Ахматовой, как его застали гепеушники и на какие подозрения навел этот визит: не был ли Бродский подослан, чтобы наблюдать за поведением хозяев при позднему звонке в дверь? (Эти подозрения, как говорят, были совсем напрасными и не подтвердились впоследствии.)

Надя сказала мне отдельно, что один из обыскивающих пошел в домоуправление, вернулся с документом о временной прописке Льва Гумилева у Мандельштамов, показал его Осипу, грозно спросив: «А это что?»

Рассказали, как обыскивали, смотрели рукописи...

Десять дней мы мучились догадками: за что взяли Мандельштама? За пощечину Алексею Толстому? Или за стихи? Я не могла быть откровенной с Ахматовой — я думала, что она не знает стихов о Сталине.

Приходила я в Нащокинский так часто, как могла, — в свободное от работы время. На лестнице была слежка. Постоянно полуоткрыты двери квартир: то домработница с кем-то беседует, то какая-нибудь парочка любезничает.

Вскоре в писательском доме заговорили про Мандельштамов: «У них собирались». Хуже обвинения быть не могло. Если «собирались», значит, «группа» или «заговорщики».

— Кто это «собирался»? — горько говорила Надя. — Эмма? Борис Сергеевич? — Распространителем этих слухов она считала Адуева.

Через 10 или 15 дней Надю вызвали по телефону на Лубянку. Следствие закончено. Мандельштам высылается на 3 года в Чердынь. Если она хочет, она может его сопровождать.

Мы сидели в Нащокинском и ждали возвращения Нади. Она пришла потрясенная, растерзанная. Ей трудно было связно рассказывать.

— Это стихи. «О Сталине», «Квартира» и крымское («Холодная весна...»). Мандельштам честно, ничего не скрывая, прочел все три. Потом он их записал.

— Как? С последними двумя строками?! Ведь он их отменил! — это я вскричала.

— Прочел и записал все целиком. Запись стихов о Сталине уже лежала у них на столе.

Это она узнала от самого Осипа. Она видела его. Рассказывала с душераздирающей нежностью: «Как он кинулся ко мне! “Наденька, что со мной делали!”» По Надиным словам, у следователя был список того варианта, который был известен только Марии Петровых и записан ею одной.

Его допрашивали об эпиграмме на Сталина: «Кто это “мы”? От чьего имени вы говорите?» Хотели создать дело о контрреволюционной группе. «Мы докладывали в высшую инстанцию», — сказал Наде следователь. Имени Сталина он не называл, но было ясно, что он цитирует его. «Изолировать, но сохранить», — такова была директива. Это избавило всех нас от привлечения к делу.

Первыми словами Нади, обращенными ко мне в отчаянии, были:

— Эмма, Ося вас назвал. — Она смотрела на меня выжидательно и со страхом.

Мандельштам сказал так: стихов о Сталине он никогда не записывал и не распространял, это стихотворение знали только члены его семьи — жена, брат (Александр), брат жены и Эмма Герштейн.

Надя рассказывала сбивчиво: «Ему устраивали инсценировки, будто бы за стеной расстреливают “соучастников”». По словам Нади, Осип кричал: «Как вы смеете расстреливать Эмму Герштейн? Она совершенно советский человек». Сам он уже в 1936 году в Воронеже рассказывал мне об этом иначе. Будто бы это следователь кричал на него: «Как вы смеете клеветать на Эмму Герштейн, вполне советского человека».

Что было на самом деле на допросах, я, конечно, не знаю, но переданная Надей версия была полностью принята мною на веру.

— Поздравляю! Теперь на вас заведено досье, — сказала мне Анна Андреевна, когда мы оказались с ней вдвоем в маленькой комнате. Тогда я была шокирована этими разумными словами Ахматовой. Если бы я могла в ту минуту охватить взглядом последующие двадцать лет, когда во всех инстанциях, отделах кадров, редакциях, квалификационных комиссиях и в Союзе писателей я слышала только одну фразу «вам отказано», — может быть, я бы и призадумалась. Но в тот день мне было не до того.

Надя продолжала: Мандельштам не мог долго отпираться и называл уже не «членов семьи», а всех, кому читал свое стихотворение, в том числе и Марусю Петровых. «А, театралочка», — отозвался следователь, и это казалось Наде подозрительным. Она обвиняла Марусю в том, что еще до ареста Мандельштама она забыла на подоконнике машинописный список его «Новых стихов», подаренный ей Надей. «И зачем она тут ходит и “ломает руки”?» — раздражалась Надя.

Свои опасения она высказывала как бы от имени Осипа Эмильевича. Но после того, как Анна Андреевна повидалась с ним в Воронеже и выслушала от него самого историю следствия, подозрения относительно Маруси Петровых были раз навсегда сняты. До самой своей смерти Анна Андреевна встречалась с нею, и дружба их все последующие тридцать лет осталась неомраченной.

Мы сидели рядом с Надей на тахте в большой комнате, в доме суетились друзья, входили и выходили, собирали деньги и все необходимое для отъезда. Приоткрыла дверь

Сима Нарбут, но только она шагнула в комнату, Надя вскричала: «Сима, прости, я сейчас никого не могу видеть, кроме своих». А тут сидела я.

Надя была в полудреду. Она произносила имена Г. Шенгели и В. Нарбута с какими-то подозрениями (оказывается, и им Осип читал свое стихотворение). А кого уж тут подозревать, если я знаю теперь 14 слушателей, а где гарантия, что их не было больше? Так, художник А. Г. Тышлер утверждал, что Мандельштам читал ему эти стихи в присутствии нескольких людей.

О некоторых слушателях Мандельштама я узнала только в Воронеже (об Ахматовой, Пастернаке, Кузине), а о том, что стихи о Сталине были известны и Льву Гумилеву (от чего специально предостерегали меня Мандельштамы), я узнала лишь от Анны Андреевны через двадцать лет.

...Пора было ехать. Надя засунула в старую потрепанную сумку врученные ей собранные деньги, побросала в корзинку какие-то вещи и поехала. Я смотрела на нее с благовоением.

Анна Андреевна, Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич поехали с ней. Меня просили остаться с Верой Яковлевной.

Женя вернулся поздно, весь вывернутый наизнанку. Он рассказал нам, как уезжала с другого вокзала в Ленинград Анна Андреевна, как они дождались Надю с Осипом... Подробностей его рассказа я не помню, они заслонились описанием этого события в «Листах из дневника» Анны Андреевны.

Этот незабываемый день описан дважды: в воспоминаниях Анны Ахматовой и в воспоминаниях Надежды Мандельштам. Существуют и ненапечатанные редакции воспоминаний Ахматовой о Мандельштаме. В более известной, напечатанной, Анна Андреевна, перечисляя «красивых и очень нарядных» посетительниц Надежды Яковлевны во время ареста Осипа Эмильевича, продолжает: «А мы с Надей сидели в мятых вязаных кофтах, желтые и одеревеневшие. С нами была Эмма Герштейн и брат Нади».

В другом варианте «Листов из дневника», датированном 28 июля 1957 года, Ахматова описывает приезд Надежды Яковлевны в Ленинград после второго ареста Мандельштама: «У нее были страшные глаза. Она сказала: “Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер”». И затем, отступя, Ахматова заключает:

«В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы: “У подружки Лены родилась девочка, а подружка Надюша овдовела”, — писала она».

В некоторых авторизованных копиях указаны фамилии упомянутых лиц: «московская приятельница» — Эмма Григорьевна Герштейн, «подружка Лена» — Елена Константиновна Осмеркина.

Добавлю, что дочь Осмеркиных, Лиля, родилась 30 января 1939 года, а «подружка Надюша», т. е. Надежда Яковлевна, вызвала меня к Н. И. Харджиеву в день моего возвращения домой из Ленинграда, чтобы сообщить о смерти Мандельштама. К этому страшно-му дню я еще вернусь.

В книге «Воспоминания» Н. Мандельштам пишет о моем приходе 14 мая 1934-го в Нащокинский так:

«Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произнесли при этом ни одного из недозволенных слов, вроде “арестовали”, “забрали”, “посадили”... у нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя никого по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане».

Не знаю, кто из нас выносил из квартиры Мандельштама его рукописи. Куда? Ахматова в Москве была не дома, а Е. Я. Хазин и я могли сами ждать обыска, поскольку принадлежали к тесному домашнему кружку Осипа Мандельштама.

Я помню другое. И помню хорошо, потому что у меня осталось «вещественное доказательство»: портфель школьного формата с полуоторванной крышкой, постоянно попадавший мне на глаза во время генеральной уборки комнаты, пока я через 27 лет не выбросила его при переезде на новую квартиру. Это был Надин портфельчик. Мы набили его семейными документами Хазиных, с тем чтобы я сожгла их в моей печке. Это были бумаги, собранные для получения наследственных денег из нью-йоркского страхового общества после смерти отца Хазиных в 1930 году. Как раз в эти годы открылся Торгсин, и Хазины законным образом получили в счет следуемых им из Нью-Йорка денег бонны. Но все-таки они опасались, как бы в случае повторного обыска эти документы не послужили бы дополнительным материалом для обвинения Хазиных в буржуазном происхождении или еще в чем-нибудь. Впрочем, я не читала этих бумаг. Я вынесла их из поднадзорной квартиры Мандельштамов и всю ночь жгла. Но бумага была так толста, что не сгорала окончательно в небольшой топке моей комнатной печки. Пришлось вытаскивать отдельные листы и сжигать их на свече. Это и есть «опыт со свечкой», который так неточно описан во «Второй книге» Надежды Мандельштам. «Последнее стихотворение “Откуда привезли? Кого? Который умер?” не имеет конца, — пишет она. — После обыска я дала листок с этим стихотворением Эмме Герштейн — он, не замеченный обыскивающими, остался на полу. Пока мы путешествовали в Чердынь, она в испуге его сожгла. Мне почему-то противно, что она его не бросила в печь, а поднесла бумажку к свече» и т. д.

В первой книге мемуаристики говорится о «кучах рукописей», которые Ахматова, она, Хазин и я выносили куда-то из квартиры арестованного поэта, во второй — из этих рукописей выделился только один «не замеченный обыскивающими» листок, и листок этот зачем-то был отдан мне, хотя это, как утверждает Н. Мандельштам, был единственный автограф ненапечатанного стихотворения на смерть Андрея Белого.

Она ошибается, как уже было сказано выше.

Когда Мандельштамы уехали в Чердынь, я немного пришла в себя и подумала о своем положении.

На всякий случай я отдала дорогие мне письма и стихи некоторых поэтов очень любящей меня кузине, но автограф только что высланного Мандельштама она не рискнула взять, а я не имела права ей его навязывать, так как она никакого отношения к этой стороне моей жизни не имела. Моя неизменная подруга Елена предложила мне отдать его ее матери.

— Мы всегда относим к ней все, что хотим уберечь от любопытных глаз, — сказала она, — Шура (ее муж-художник) хранит там даже «порнографию» (т. е. то, что называли порнографией наши ретивые критики).

Однако через несколько дней Елена пришла ко мне с сообщением, что мать вернула ей автограф Мандельштама: у нее и так хранились бумаги сына ее подруги — юноши, высланного за принадлежность то ли к сионистам, то ли к меньшевикам, не помню.

— Ну хорошо, давай его мне, придумаю что-нибудь, — говорю я.

— А я его спустила в уборную, — отвечает Лена.

Я была убита. «Там ничего нельзя было разобрать», — оправдывалась Лена.

В эти же дни неожиданно вернулись из Чердыни Мандельштамы. Я с сокрушением успела рассказать Наде об этом печальном эпизоде и о реплике Лены. Надя грустно ответила: «Вот такие черновики и разбирают текстологи».

Итак, Мандельштамы приехали из Чердыни. В Москве они должны были получить новое направление в ссылку. Кажется, им был предложен некоторый выбор. Воронеж был предпочтен другим разрешенным городам.

В рассказах Нади о поездке в Чердынь фигурировал грузовик, которого испугался Осип Эмильевич. Шофер был человек с лицом палача (воображаю: козырек на глаза, жесткая складка рта или сладкая улыбка и рыжая борода, я видела и таких, и таких). Мандельштам решил, что его везут расстреливать. Он не хотел садиться в машину. «Не могли подобрать шофера с более человеческим лицом», — возмущалась Надя. Она смело отправляла телеграммы в Москву — в ЦК, в ГПУ, Сталину: «Поэта довели до сумасшествия... это — государственное преступление: поэт отправлен в ссылку в состоянии безумия», — вопила Надя по телеграфу. Когда Мандельштаму заменили Чердынь Воронежем и мы обсуждали, кто добился этого: Ахматова ли, ходатайствовавшая перед Енукидзе, или Бухарин, написавший Сталину: «Поэты всегда правы, история за них», или Пастернак, которому, как теперь широко известно, звонил по поводу Мандельштама Сталин, — я полушутя, полусерьезно говорила: «Это вы, Надя, вас испугался сам Сталин». Я преклонялась перед нею.

Мандельштам был оскорблен, что попал в Чердынь в общество политических ссыльных: меньшевики, эсеры, бундовцы... Между бывшими членами разных партий вспыхивали распри. В воронежских стихах «Стансы» им посвящена строка: «Клевещущих козлов не досмотрел я драки» (слышала от Нади тогда же).

В Москве Мандельштамы задержались дня на два, на три. Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные глаза. Веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали. Рука на перевязи, но не в гипсе. У него было сломано плечо — последствие прыжка из окна второго этажа Чердынской больницы.

Пока Надя бегала оформлять документы в соответствующем управлении ГПУ, я оставалась с ним. Осип лежал на постели с застывшим взглядом. Мне было жутковато оставаться с ним вдвоем. Кажется, мы выходили гулять. Я повязывала ему галстук. Он кричал сердито: «Осторожно... рука».

Провожали их на вокзал Александр Эмильевич, Евгений Яковлевич и я. По дороге заезжали на Кузнецкий мост — выправлять еще какие-то документы. За нами шли, не скрываясь. Оттуда поехали на трамвае. Надя с братом сели с вещами на переднюю площадку второго вагона, а Осип Эмильевич, его брат и я стояли на задней площадке того же вагона.

Я еще не отдавала себе отчета, но уже заметила, что Мандельштам точным примеривающим глазом смотрит на мостовую, и не успела я сообразить, что он делает, как он, со своей подвязанной рукой, спрыгнул с трамвая на ходу. Справился он с этим прыжком великолепно и спокойно пошел через пыльную вокзальную площадь, замощенную булыжником, лавируя между машинами и телегами, не сталкиваясь с людьми, суетливо тащившими к вокзалу свои мешки. Никто из нас не решился спрыгнуть вслед за Мандельштамом, мы не знали, что делать, и с облегчением вздохнули только на платформе, куда Осип Эмильевич пришел молчаливый и задумчивый. Прощаясь, он поцеловался со мной, и я старалась не задеть его больную руку. В вагоне у окна сидел плотный румяный блондин в фуражке с голубым околышем. Он не спускал с нас глаз.

Надя часто навещала меня в Москву, иногда задерживаясь здесь на три-четыре недели. Это было нужно для сохранения квартиры, поддержания старых связей, поисков литературных переводов и, по правде сказать, для отдыха от Осипа Эмильевича.

Первое время с ним было особенно трудно, когда он еще не отошел от лубянского и чердынского шока. Оставлять его одного было нельзя. В один из первых Надиных отъездов на смену ей поехала ее мать, но решительно отказалась повторить этот опыт. Вера Яковлевна подробно описывала мне состояние и поведение Мандельштама в Воронеже. Из этого рассказа мне запомнились два эпизода.

Они шли куда-то вдвоем по городу. Было жарко и пыльно. Осип Эмильевич был в пароксизме желчного раздражения. Он требовал, чтобы Вера Яковлевна шла быстрее, кричал на нее, ругался, а она не могла идти: башмак натер ей ногу. Какой-то прохожий обратился к нему с укоризной: «Эй, дед, ты что так лаешься со своей старухой?»

— Он думал, что я жена Осипа, а не теща, — с ужасом заключила Вера Яковлевна.

В комнате Осип Эмильевич долго стоял у окна и ничего не говорил. Вдруг он закричал: «Ласточка... ласточка...» — «Осип Эмильевич, что с вами?» — «А вы разве не видите? вот ласточка летит».

— Я посмотрела в окно, — продолжала Вера Яковлевна. — Никакой ласточки нет, вообще не пролетело ни одной птицы. Он — сумасшедший, я вам говорю, это — галлюцинации.

Бедная Вера Яковлевна. Со своим трезвым взглядом медика она не могла знать, что ласточка — протекающий образ в поэзии Мандельштама, главный в ее символике. Она не поняла, что в этой жалкой воронежской комнате Мандельштам призывал или оплакивал свою Музу («Научи меня, ласточка хилая, разучившаяся летать»).

Из Воронежа пришло письмо ко мне от Нади.

Какой там «особый код»? Хотя письмо было послано по почте, написано оно было тоном партийной директивы. Короткими односложными фразами до моего сведения доводилось: ей надо ехать в Москву на месяц по квартирным делам. Нужно заменить ее при Осе. Мама больна, больше быть в Воронеже некому, «так что, — писала Надя, — *придется ехать вам*».

Ни одного человеческого слова — голый приказ. Полное равнодушие к моим обстоятельствам. Даже не равнодушие, а пренебрежение: ведь она знала, что я тревожусь за судьбу другого, более близкого мне человека, чем Осип Эмильевич, и тоже поднадзорного. Я простила Осипу Эмильевичу его поведение на следствии. Забыла о некоторых весьма ощутимых зазубринах в наших личных отношениях. Естественно, когда настали трагические дни, когда Наде так требовалось плечо друга, все было отброшено. Но это только стимулировало новые требования: «Придется ехать вам». А работа? Как же мне жить?

Я деидлась своими волнениями с Диночкой Бутман. Она вызвалась поехать в Воронеж вместо меня. Не помню уж, как она прожила там в одной комнате с Осипом Эмильевичем целый месяц. У Нади впоследствии не нашлось ни одного теплого слова, обращенного к этой маленькой женщине.

Как только Надя приезжала в Москву, я ее навещала, и не только я, а все старые друзья, и она бывала у всех, у кого хотела. Я и сейчас, когда вижу маленькие мандарины, вспоминаю, как мы выбегали за ними в буфет Кропоткинского метро во время наших посиделок у Нади. У нее я ближе познакомилась с Харджиевым, который до ареста Мандельштама бывал у них редким гостем (чаще, когда приезжала Ахматова). Теперь он регулярно посещал Надю во все ее приезды из Воронежа. Он стал одним из тех, кто готов был оказывать Мандельштамам посильную материальную помощь. Я не знала об этом. Но однажды, когда Николай Иванович был крайне раздосадован ими (а Мандельштамы умели доводить до такого состояния ближних), у него вырвалось: «Если бы вы знали, что я продал, чтобы послать им денег, — первое издание Коневского!!!»

Надя привозила в Москву новые стихи Мандельштама, читала их, радуясь каждой строке и повторяя особенно ей полюбившиеся, например «Шароватых искр пирь», «Но мне милей простой солдат, *Которому никто не рад*» или «Мальчишка-океан встает из речки пресной *И чайками воды швыряет в облака*». Она читала стаккато в быстром темпе, но у нее не было музыкальности поэта, и Клычков однажды взмолился: «Не подражай Мандельштаму, читай просто, я так не понимаю». Как ни любил Клычков Мандель-

штама, но он неприязненно усмехнулся, когда Надя привезла стихотворение «Это какая улица? — Улица Мандельштама». Эти стихи казались ему нескромными. Он считал, что Мандельштам преувеличивает свое значение.

Нам, мне и Евгению Яковлевичу, вначале воронежские стихи не нравились, были непонятны. Я полюбила сразу только камские, особенно «День стоял о пяти головах». Я была без ума от этого стихотворения и читала его всем своим друзьям. Но этот цикл мы воспринимали как уральский (Женя сказал: «Ему подарили Россию»). А первые чисто воронежские стихи казались нам либо перегруженными, либо риторическими и натянутыми. Лед пробил «щегола» («Мой щегол, я голову закину»), которого я сразу ощутила как новую классику.

Надя рассказывала о работе Осипа Эмильевича в театре и на радио, о том, как радуют его приезжающие гастролеры-музыканты. Об этом свидетельствует шальное и виртуозное стихотворение — так называемая «Скрипачка». Зато она грубо насмеялась над приезжими, уклонявшимися от визита к ним. Она испытывала особое удовольствие, уличая в трусости писателей. У нее даже глаза светлели при этом. Однажды приехала в Москву почти ликующая: Эренбург, пробывший три дня в Воронеже, где он выступал, не зашел к ним.

Она была недовольна Ахматовой за ее стихотворение «Воронеж»: «Приехала к ссыльному поэту, а о чем написала? О памятник Петру?.. О Куликовом поле?» Вероятно, поэтому уже в пятидесятых годах Анна Андреевна приписала к своему стихотворению новую заключительную строфу «А в комнате опального поэта» и т. д. Я убеждена, что в 1936 году ее не было. Что мешало бы Ахматовой прочесть ее Наде в те годы? Анна Андреевна не могла напечатать ее в сборнике 1940 года «Из шести книг» по цензурным соображениям, но ближайшие слушатели знали бы трагическое заключение «Воронежа». В «Беге времени» стихотворение датировано 1936 годом, но о позднем происхождении последней строфы говорит и анализ текста.

Разве можно писать про живого поэта о надвигающейся на него беспросветной ночи? Ясно, что это написано ретроспективно.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

Эта горькая ироническая интонация появилась у Ахматовой в стихах более позднего периода, когда и разговорная ее речь стала уснащаться бытовыми остротами, приближающимися к прибаутке: «Дежурят страх и Муза в свой черед». И резкие ритмические перебои — все это признаки стиля «поздней» Ахматовой.

Мало того: изменился весь смысл стихотворения. Раньше оно печаталось со строчкой точек, заменяющей подразумеваемую пропущенную предпоследнюю строфу. Это умолчание объясняло, почему в последней строфе изменено глагольное время с настоящего на будущее («зазвенят»). Тут подразумевается, несомненно, победоносная сила поэзии, про-

тивопоставленная беде, ознаменованной в первой редакции стихотворения строкой то-чек. Прошу сравнить:

Первая редакция:

И город весь стоит оледенелый,
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталам я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей победительной земли.

.....
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами зазвонят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

Вторая редакция:

И город весь стоит оледенелый,
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталам я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами зазвонят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

Получается другое противопоставление. Выходит, что в стихотворении описана прогулка по Воронежу с каким-то другим лицом, с которым пережито ликованье природы,

ощущение истории и родной земли, а в «комнату опального поэта» гуляющие только зашли, чтобы убедиться, что на него надвигается беспросветная ночь. По-моему, стихотворение испорчено. Желание сказать «в лоб» о судьбе Мандельштама привело не к прояснению текста, а к его двусмысленности.

Рукописей стихотворений Ахматовой, в частности «Воронежа», я не видела. Поэтому все сказанное здесь остается только догадкой.

Вскоре после описанных событий лета 1934 года меня сняли с работы в 24 часа и выдали отвратительную характеристику. Я мыкалась до 1936 года, когда устроилась в Литературном музее, но не на штатную, а на сделную договорную работу. Как только я получила первые деньги, я поехала в Воронеж. Поездка была тяжелая, дорога длилась чуть ли не 36 часов, а может быть, и более. Я вспоминала недавнюю поездку Анны Андреевны к Мандельштамам. Провожали ее из Москвы Евгений Яковлевич и я. Он не догадался сразу при входе в вагон заказать у проводницы постель. Когда я спохватилась, ни белья, ни матрацев уже не осталось. Я с огорчением сказала об этом Анне Андреевне, прямо сидевшей на жесткой скамейке. Она ответила по-королевски небрежно: «Все равно».

На вокзале меня встретила Надя. Дома Осип Эмильевич спросил тотчас: «Надолго ли?» — «Да, — ответила я радостно, — на все майские праздники». — «На три дня?! Могли не приезжать!» Пауза. «Я думал, вы пробудете месяц, ну, недели три...» — «Но ведь я на работе, Осип Эмильевич». — «Вы не в штате».

Они жили тогда в неплохой комнате, недавно снятой в одном из лучших домов Воронежа, построенном для инженерно-технических работников. Это был новый кирпичный дом, трехэтажный. Квартира с удобствами, но ванна была покрыта простыней — жильцам не разрешалось в ней мыться.

Вторым жильцом был молодой человек. Главным его занятием была игра на бильярде. Его прозвали «артист». Мандельштамы подозревали, что он приставлен к ним для слежки. (А я так тщательно скрывала в Москве, что еду в Воронеж.) На второй день праздников он вернулся домой вдрызг пьяный. Надя с ним возилась, в конце концов уложила на кровать, сняв с него башмаки. «В ней есть что-то от бабы, а не от дамь», — одобрительно заметил как-то Николай Иванович Харджиев, говоря о Наде.

Улицы города были запружены гуляющими. Среди них не было ни одного интеллигентного лица.

На второй день Осип Эмильевич почувствовал себя плохо. Я была с ним у дежурного врача в поликлинике обкома в светлом, просторном полуподвальном помещении тоже нового дома.

Врач холодно и внимательно слушал речь Мандельштама. А Осип Эмильевич, подергивая верхней губой, пространно и научнообразно описывал свою болезнь. Слово «аорта» играло в этом монологе большую роль.

Познакомилась я у Мандельштамов и с Сергеем Борисовичем Рудаковым. К нему на праздники приехала из Ленинграда жена — Лина Самойловна Финкельштейн.

Осип Эмильевич был в сильном беспокойстве. Он рвался... куда-нибудь... Я потом всегда вспоминала этот день в Воронеже, читая стихи:

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели.

Ах, как это сказано! «Бремя вечеров». Олицетворение ссылки.

Вдруг влетело двое юношей, лет двадцати — двадцати двух. Отец одного из них был директором кооператива, т. е. попросту продовольственного магазина. У него была казенная машина. Мальчики поехали любоваться лозунгами, красными флагами, иллюминацией. Они пригласили поехать с ними Мандельштама. Осип Эмильевич весь загорелся, посоветовался с Надеей, но ответ был предрешен: он едет.

Вернулся он с прогулки в радостном возбуждении. Мальчики (их было уже четверо) поставили бутылку вина. Они попросили Мандельштама почитать и подсказывали от восторга, когда он с неистовым воодушевлением читал свои стихи: «Я скажу тебе с последней прямой: Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой». Он всегда читал это стихотворение как двустихия.

Третий день моего пребывания в Воронеже. Завтра утром я уезжаю.

Осип Эмильевич завел со мной решительный разговор.

Поскольку я не желаю оставаться дольше, я обязана сделать в Москве то, что сделала бы Надя, если бы я заменила ее здесь. Я должна пойти в ЦК партии и рассказать, как погибает в Воронеже Мандельштам. Ему не дают работы. Он умирает с голоду. Последнее было трудно изобразить, потому что как раз на праздники у Мандельштама были курица и сгущенное молоко. Так что у меня даже не могло быть непосредственного эмоционального порыва. Но не в этом дело. Как я могу пойти в ЦК защищать и требовать чего-то, если я не умела говорить даже с начальником отдела. Я упорно отказывалась. Это не действовало. Наконец я сказала то, с чего надо было начать:

— Да кто ж меня пустит в ЦК?

— Не беспокойтесь, — важно ответил Осип Эмильевич, — если вы только скажете, что приехали от поэта Мандельштама, вас сразу захотят выслушать.

— Может быть, но не в бюро пропусков.

— Ну, хорошо, — смиростивился Осип Эмильевич, — тогда пойдите к Ставскому.

Он начал меня учить, что и как я должна говорить генеральному секретарю Союза советских писателей. Предприятие это было совершенно безнадежным, потому что я и к Ставскому не сумела бы попасть на прием, а если бы попала в «Новом мире», где он был главным редактором, то при первой же его враждебной реплике, а она бы непременно была, я бы смешалась. Таким образом, я отказалась и от этого проекта.

— Может быть, вы боитесь? — спросил Мандельштам вызывающе.

— А хотя бы, — ответила я спокойно, но уже со сдержанной яростью.

— А-а-а, — хвастливо закричал Осип, оглядываясь на Надю.

Она стояла поодаль в берете и кожаной куртке, держа в руках пачку рукописей рабкоров и начинающих писателей (ей давали их на рецензии в редакции газеты «Коммуна»). Надя напряженно прислушивалась к нашему разговору.

— А-а-а, — хвастливо закричал Осип, поглядывая на Надю. — Мемуары будете писать после моей смерти, а о живом поэте не думаете?

Я физически почувствовала, как бледнею от бешенства. Мемуары я пишу сейчас, через полтора года, но тогда я об этом и не помышляла, потому что с Мандельштамами меня связывала душевная близость, а не историко-литературный интерес.

По мере того, как кровь отливала от моего лица, в глазах Осипа отражалось что-то вроде испуга.

— Наденька, оставь, — сказал он. — Я знаю Эммино лицо. Теперь она непреклонна.

Надя с силой швырнула от себя пачку рукописей, они разлетелись веером по полу.

— Это государственное преступление — держать тебя здесь! — закричала она. — Я не могу заниматься этой ерундой...

Она потрясала поднятыми вверх руками, куртка ее распахнулась.

— Наденька, перестань, — властно сказал Осип. — Мне надо поговорить с Эммой.

Мы остались вдвоем. Как обычно, после вспышки Мандельштам стал спокойным и ласковым. Он подошел ко мне:

— Я к вам неравнодушен... наш разговор тембрирует...

Все это означало, что Надя рвется в Москву, ее надо сменить, а с кем попало он никак не может оставаться, ему нужен человек близкий (Рудаков все-таки мужчина, это не то, да и отношения в этот период между ними были несколько натянутыми). О политической стороне дела, о моем положении он и думать не хотел. Тогда я наконец заговорила о его поведении на следствии, чего я себе не позволила ни разу при встречах с Надей в Москве. Но перед лицом все увеличивающихся требований Мандельштамов я решила поставить в конце концов точку над «і». Ведь уверенность в друге должна быть взаимной. Осип Эмильевич начал мне объяснять: «Вы же сами понимаете, что больше никого я назвать не мог. Не Ахматову же или Пастернаку? О Кузине и думать было нечего, вы же знаете...» (Он имел в виду недавний арест Бориса Сергеевича и его поднадзорное положение.) «Ну, и Лева...» — многозначительно сказал он, играя на моем особенном отношении к Л. Гумилеву.

Довольно грустно узнать, что тебя заранее решили принести в жертву, чтобы спасти других. Я этого не сказала, конечно, но Мандельштам почувствовал неловкость. Чтобы загладить ее, он сослался на следователя, назвавшего меня «совершенно советским человеком». Все это было уже ни к чему. Я уже знала, что от первоначального намерения Мандельштама, безусловно согласованного с Надей, очень скоро ничего не осталось. И Пастернак, и Ахматова попали в представленный Осипом список людей, слышавших его эпиграмму на Сталина.

Он стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнила только один эпизод, переданный мне Осипом с удивительной откровенностью:

— Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился... вдруг слышу над собой голос: «Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно?» Я поднял голову. Это был Павленко.

Ну, что я могла сказать?

Мы порешили, что в Москве я отыщу Лилю Попову-Яхонтову и передам ей записку от Осипа Эмильевича.

Поезд уходил рано утром. Тихо постучали Рудаковы, Лина Самойловна тоже возвращалась домой, в Ленинград. Мы отправились на вокзал. Мандельштамы не поехали меня провожать, не простились со мной, не встали, не проснулись.

Это давало мне полное моральное право не выполнять поручения Мандельштама. Но он не осмелился писать Лиле Поповой, пересылая по почте, и я не могла не передать письмо от ссыльного.

Попова жила по тем временам очень далеко, где-то за Савеловским вокзалом. Я давно еще слышала от Нади, как Лиля живет с Цветаевым в маленькой комнатке, где помещается один рояль. И она лежит по целым дням на этом рояле и думает: готовит очередную постановку. Она всегда оставалась режиссером и литературным сотрудником Яхонтова.

Но застала я совсем другую картину. Меня впустила соседка. Она объявила, что Лиля уехала на свиданье к мужу в лагерь. Он уже давно осужден.

Женщина, видимо, была очень доброй и помогала Лиле. Она рассказывала, как они с Лилей собирали посылки для Цветаева, которые она же отвозила в какие-то маленькие города на почту, какие замечательные варежки связала она Цветаеву, Лиля повезла их ему. Касалась прочих подробностей специфических забот жены каторжника.

Мы как-то сразу почувствовали доверие друг к другу, но оставить у нее записку ссыльного Мандельштама для отсутствующей Лили, особенно при ее обстоятельствах, я не решилась. Придя домой, я сожгла это письмецо. Предварительно я заглянула в него. Своим изящным пластичным почерком Осип Эмильевич писал: «...Лиля, если Вы способны на неожиданность, Вы приедете...»

Срок ссылки Мандельштама кончился в мае 1937 года. Они вернулись в Москву. Я бывала у них часто. Опять оставалась с Осипом Эмильевичем вдвоем.

Несколько человек его сразу навестили в Нащокинском. Однажды я отворила по звонку дверь. На пороге стоял мой бывший школьный товарищ Илья Фейнберг. Теперь он стал профессиональным литератором, автором документальной книги об империалистической войне «1914-й». Но больше всего он интересовался Пушкиным, что позволило ему после Отечественной войны занять одно из ведущих мест среди советских пушкинистов. Осипа Эмильевича он застал лежащим в кровати. Тем не менее радостно поприветствовал «возвращенца», Илья Львович завел с ним разговор о «Пушкине» Ю. Н. Тынянова. Мандельштам читал первые части этого романа в Воронеже и восхитил Фейнберга своими неповторимыми суждениями об этом незавершенном труде Тынянова. Надежда Яковлевна, боясь перевозбуждения Осипа Эмильевича, стала считать ему пульс, а мы с Ильей, уйдя в другую комнату, еще поговорили о судьбах наших школьных товарищей.

В один из этих первых дней Осип Эмильевич стоял лицом к окну возле тахты, собираясь лечь. Вместо этого стал говорить о Москве. Она его тревожила. Чего-то он здесь не

узнавал. Об ушедших и погибших друзьях он не говорил. Так все делали. У каждого такие утраты падали на дно души, и оттуда шло тайное излучение, пропитывавшее все поступки, слова, смех... Только не слезы! Такова была специфика тех лет.

Осип Эмильевич стал говорить о московских встречах. Это была блестящая импровизация. Мне запомнилось:

— ...и загадочный Харджиев с большой головой...

Успокоившись, Мандельштам заговорил в раздумье:

— И люди изменились... Все какие-то, — он шевелил губами в поисках определения, — все какие-то... какие-то... ПОРУГАННЫЕ.

С такой грустью он это сказал. От самого сердца.

Анна Андреевна приехала. Она остановилась у Софьи Андреевны Толстой-Есениной в одном из Пречистенских или Остоженских переулков.

Я пошла ее провожать от Мандельштамов. Мы зашли в дом, остались одни в комнате, отведенной Анне Андреевне. Она прилегла на диван, потом сама предложила мне записать какие-нибудь свои стихи (в первый раз за все время нашего знакомства). «Ну, что вы хотите?» Я попросила «Музу», «Если плещется лунная жуть» и «От тебя я сердце скрыла». Она вырвала из альбома лист и на трех его страницах написала карандашом эти три стихотворения, пометив: «Переписано 10 июня 1937 года, Москва». «А на четвертой странице я вам напишу вот что», — предложила она. Это было «Заклинание». Я не знала этого стихотворения. Она поставила дату: «15 апреля 1936 г.» и объяснила: «Это пятидесятилетие Гумилева».

Когда я вернулась к Мандельштамам, они меня расспрашивали. Я показала автографы Ахматовой. «Не могли попросить новые стихи, — с презрением сказала Надя. — Это все известные». Осип Эмильевич возразил: «Нет, “Заклинание” — новое». — «Да, но...» — и Надя сказала что-то пренебрежительное. Осип Эмильевич не соглашался. Вот, я вспомнила, как можно определить его интонацию в таких случаях: он говорил с уважением, важно подтверждая свои слова легким киваньем головы.

Я застала его в пижаме, на тахте, Надя уходила. Мы остались вдвоем.

Он весь светился и прочел целиком «Стихи о неизвестном солдате». Потом попросил меня записывать под его диктовку.

— Знаки препинания можете не ставить: все само станет на свое место.

Он сидел на тахте в своей любимой позе, скрестив ноги по-турецки, и диктовал. Вторая главка начиналась со строк: «Будут люди холодные, хилые Убивать, холодать, голодать». Вообще вся нумерация глав была не такой, как принята сейчас. Строк про Лейпциг и Ватерлоо не было совсем. Очевидно, Мандельштам считал, что они перегружают поэму.

Когда дошел до стиха «Ясность ясеневая, зоркость яворовая», перебил сам себя: «Ах, как хорошо!...

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Полуобмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

— Ах, какой полет... какое движенье!..»

Все так же сидя по-турецки, он скакал на пружинном матраце и повторял, жмурясь от удовольствия: «ясность ясеневая...», «чуть-чуть красная мчится в свой дом...» Закончил бравурно, концертно, твердо, глядя мне прямо в глаза:

В ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем!

Он умел завершать чтение своих стихов апофеозом.

Потом он попросил меня прочесть весь текст вслух.

— Вы хорошо читаете, — сказал он, — и мне не хочется это забывать.

Это будет окончательной редакцией, — решил он, подписал «О. М. май 1937 В.» и отдал мне.

Увы! Авторизованный список «Стихов о неизвестном солдате» пропал у меня во время войны вместе с принадлежащим мне экземпляром «Возмездия» Блока с интереснейшими пометками Мандельштама на полях и с книгой его статей «О поэзии». Все это взял у меня С. Б. Рудаков, но в августе 1943 г. его арестовали, и спрашивать уже было не с кого.

И опять такой же вечер.

Осип Эмильевич снова лежит на тахте, но взгляд у него застывший. Я сижу напротив, разговор наш еле идет. Наконец он произносит:

— Понимаете? Кто-то прислал мне новую итальянскую книгу об архитектуре. А ведь в Италии фашизм...

Он беспокоится о чем-то размышляет.

— По-настоящему я должен пойти в ГПУ и сообщить об этом. Что вы так на меня смотрите?

Глаза у него совершенно стеклянные, как тогда, когда он приехал из Чердыни.

— А разве вы не пошли бы в ГПУ, если бы, например, узнали о политическом заговоре против нашей страны? Или военную тайну фашистов, которая угрожает нашему государству? Конечно, пошли бы. Да, да... Вы и сейчас можете пойти... Да! В ГПУ должны пойти вы. Вы скажете: «Поэту Мандельштаму присылают из фашистской Италии литературу. Он не знает, кто ему подбрасывает эти книги. Это — провокация. Нужно принять меры, чтобы оградить советского поэта от...» — и т. д. и т. п.

Я слушаю его в смятении.

К счастью, в это время вернулась Надя. Я ушла, ничего ей не сказав о нашем разговоре, торопясь на последний трамвай.

Мне было ужасно тяжело. То Мандельштам назначает меня для хранения тайны его антисталинского стихотворения, то посылает в ГПУ делать сообщения. Но главное не в этом: тяжко было смотреть на поэта, до такой степени травмированного.

Наутро я проснулась с камнем на сердце. Что это ужасное было вчера вечером? Не успела я очнуться — телефонный звонок. То ли Надя, то ли Женя, не помню, срочно вызывает меня к Мандельштамам. Я решила, что Осип отправился в ГПУ и произошло нечто страшное. Но когда я примчалась в Нашокинский, я застала непонятную картину.

Осип Эмильевич сидит на стуле в костюме, при галстучке и ботинках, а Нади нет.

С небрежной улыбкой он обращается ко мне и говорит вкрадчиво:

— Понимаете, оказывается, я не имею права жить в Москве. Мы про это ничего не знали. В Воронеже, когда мне выдали паспорт, мне ни слова не сказали про какие-то там минусы (ограничения). Сегодня утром приходит милиционер и требует моего выезда из Москвы в течение 24 часов. Надя пошла в город... шуметь... собирать деньги... А мы с вами вот что сейчас сделаем. Мы выйдем на лестницу, и я упаду в припадке. Вы подымете крик, выбежите на улицу, будете стоять перед нашим подъездом и сзывать народ: «Безобразия! Поэта выкидывают из квартиры!! Больного поэта высылают из Москвы!!!» Я буду биться тут же в подъезде. В это время появится уже Надя... Ну, идем.

Я оторопела.

— Нет, я не могу, — бормотала я.

Он меня настойчиво уговаривал.

— Но почему же? — Осип начинал сердиться. — Симуляция — самый испытанный метод политической борьбы. Ну, идемте же...

— Нет.

— Вы — дура! — закричал Осип и стал тащить меня за руку. — Идем! Я покажу, что значит настоящая политическая симуляция!! Я покажу!!!

В это время влетела Надя. Весь ее вид выражал один грозный вопрос.

— Наденька, она не идет.

Надя бросила на меня негодующий взгляд.

Последующий разговор был быстрым, резким, непередаваемым, сразу забытым. Я ушла. Что было дальше в этот день, я не знаю.

После того, как на протяжении суток Мандельштам требовал от меня и похода в ГПУ с донесением, и участия в его «политической борьбе» с тем же ГПУ, я больше в этой игре не участвовала. Стало слишком очевидным, что Мандельштамы хотят иметь во мне не друга, не соратника, не почитателя поэта, а раба, полностью отрешенного от своей личности и от своей жизни.

Вскоре я узнала, что они приняли решение, на которое мало кто отважился бы в то страшное время. Оно было основано на глубокой вере Мандельштама в могущество своего таланта, на своеволии его жены и на страстном желании обоих остаться в Москве.

Вероятно, разумнее было бы увезти Мандельштама куда-нибудь за стоверстную зону или в Старый Крым, где продолжала жить Н. Н. Грин, — а там уж настигла бы его судьба или миновала — неизвестно. Но в 1937 году болтаться по Москве и Ленинграду, не имея права жительства в этих двух городах, упрямо мелькать перед глазами насмерть перепуганных литературных деятелей или распалившихся от крови администраторов — было безумием для каждого, а для больного Мандельштама трижды безумием! Но Надя не могла противостоять стихийной тяге Мандельштама к легализации, а Осип был беспрерывно подстегиваем Надеей в ее азарте авантюристки.

Осип с пафосом читал повсюду свою «Оду» Сталину, надеясь на ее успех у «вышестоящих». Но, кажется, эти стихи производили благоприятное впечатление только на Лилю Яхонтову. Она уговаривала Осипа Эмильевича обратиться к Сталину с покаянным письмом и грозила сама послать такое письмо вождю, если Мандельштам этого не сделает. «И вы знаете, она может, она — такая», — в ужасной тревоге говорил мне Евгений Яковлевич. Он справедливо опасался, что в угаре арестов и казней напоминание об авторе страшной эпиграммы приведет к катастрофе.

Осип Эмильевич не понимал, что его торжественные большевистские стихи совсем не во вкусе тогдашних законодателей литературы. «И куда он лезет? Он им совсем не нужен, — сокрушался мой друг, — да и фамилия его им не импонирует». Под величайшим секретом он меня посвятил в тайну одного известного советского писателя, которому предложили в «Новом мире» переменить свою еврейскую фамилию на русский псевдоним.

Тем не менее устоять перед натиском одержимости Мандельштама было очень трудно. Это сказывалось и на случайных бытовых эпизодах. Евгений Яковлевич мне рассказывал, как Мандельштам заставил его тещу прервать свои занятия с певцами («Она бросила своих певунчиков!»), спуститься к малознакомым жильцам на нижнем этаже и попросить их дать возможность Мандельштаму позвонить по их телефону. Он был в таком отчаянии, обнаружив, что у Хазиных испорчен телефон, что строгая Мелита Абрамовна изменила всем своим привычкам, однако, вернувшись к себе, промолвила: «Он — сумасшедший».

Моя Елена описывала, как Мандельштамы приезжали к ним обедать и сколько тревоги они вносили с собой. Но хозяйева быстро вовлекались в их ритм. Осип Эмильевич вел интересные застольные беседы о литературе, а Осмеркин гордился тем, что поддерживает гонимого поэта. Он сделал несколько его портретных зарисовок карандашом. Один из этих застольных набросков мне очень понравился, сходство с Мандельштамом было уловлено замечательно.

Иногда Мандельштамы как будто забывали о своих бедах и в противовес им пытались веселиться. Однажды днем зашли ко мне с приехавшей из Воронежа Н. Е. Штемпель, и мы вчетвером пили вино.

Ко мне они приходили только днем, нелегальных ночевок в квартире моего отца я не могла им предоставить.

Надя рассказывала, что у Шкловских домработница была так вышколена, что как только Мандельштамы входили, она тотчас кормила их, даже если хозяев не было дома. Вначале они и ночевали там нередко, но Василиса Георгиевна подсмотрела через занавес-

ку, что на улице был установлен надзор за ними (а может быть, ей это показалось). Тогда Мандельштамы стали ночевать в Марьиной Роще, номинально у свояченицы Шкловского, так как она была там прописана, а фактически у Николая Ивановича Харджиева. Окна комнаты Наталии Георгиевны выходили на улицу, этаж первый, Мандельштамам было жутко там. Они переходили в девятиметровую комнату Николая Ивановича, он уступал им свою тахту, сам ложился на раскладушку.

Я шла к Харджиеву по пустынному Александровскому переулку. Было уже темно, на тротуарах слякоть, я шла по мостовой. Вижу — навстречу мне месит грязь Осип Эмильевич в черной меховой куртке, с высоко поднятой головой, а рядом плетется понурая Надя. Я окликнула их, поклонилась, но Надя посмотрела неопределенным взглядом, а Осип, не меняя положения головы и почти не шевеля губами, произнес: «Мы не знакомы, мы не знакомы». «Однако это уж слишком, — подумала я, — опять Надины фокусы».

Но когда я вошла к Николаю Ивановичу, сразу все разъяснилось. Он открыл мне дверь с потемневшим лицом. «Они привели с собой шпика», — объявил он. Мандельштамы пришли к нему без предупреждения. Вскоре они заметили какую-то тень за окном — оно было низенькое и выходило во двор. Кто-то нагло заглянул через стекло в комнату. Николай Иванович быстро распахнул окно — какой-то человек не спеша отошел и скрылся за выступом дома. Мандельштамы посидели, посидели — не выдержали и ушли.

Я рассказала Харджиеву о нашей встрече. Мы поняли причину их странного поведения: они хотели оградить меня от внимания наблюдателя.

Это был последний раз, когда я видела Осипа Эмильевича.

Таким я его и запомнила: высоко поднятая голова, черный мех собачьей куртки у шеи, матовое лицо и цепкий полукосящий взгляд в полусвете фонарей.

Куда пошли Мандельштамы в тот вечер? — Не знаю. Они не раз еще ночевали в Марьиной Роще и, обнадеженные и довольные, уезжали от Харджиева в санаторий. Осип Эмильевич оттуда уж не вернулся, как известно, был там арестован, помещен в Бутырскую тюрьму, откуда был отправлен в пересыльный лагерь под Владивостоком. Описать это время невозможно.

В январе 1939 года я возвращалась из Ленинграда в Москву. Как мало времени прошло, а как все круто изменилось. В Ленинграде я прожила недели три как на пепелище. Осенью 1938-го Анна Андреевна разошлась с Пуниным; он завел себе новую подругу жизни. Лева был арестован, и его страшное дело еще тянулось. Анна Андреевна переехала в другую комнату пунинской квартиры. Я остановилась в Академии художеств в мастерской А. А. Осмеркина, но и из его друзей в Ленинграде тоже не осталось многих. И эти несчастья как бы отбрасывали тень на когда-то такую веселую мастерскую.

В Ленинград я поехала делать доклад в Пушкинском Доме о «кружке шестнадцати». Эти мои занятия Лермонтовым, переменявшие мою судьбу, вначале были косвенно связаны с Мандельштамами. Б. М. Эйхенбаум остановился в Москве на их квартире в Нащо-

кинском. Это было в январе 1936-го. Вместе с ним был А. И. Моргулис. Он познакомил меня с Эйхенбаумом, отсюда все и началось. Приглашение в Пушкинский Дом было, в сущности, большим успехом. Но он происходил на фоне всеобщего горя. Противоречия в этом нет. Вся моя работа была одушевлена чувством внутреннего сопротивления.

Я была в Ленинграде у Анны Андреевны в ее новой чужой комнате. В шкафу не задвигался нижний ящик: мешали сухари, припасенные для посылок Леве. На полу валялся мешок. Я покупала какие-то консервы, куда-то ходила по поручениям Анны Андреевны. В мастерской Осмеркина было холодно.

От напряжения успеха, тоски, ленинградского климата, беготни я заболела и уезжала с очень высокой температурой. Попала в вагон, в котором возвращалась экскурсия рабочих Харьковского тракторного завода. Они пели хором революционные песни. Мне досталось верхнее боковое место, на которое надо было вспрыгивать. Голова у меня кружилась, я не могла взобраться. Попросила кого-нибудь поменяться со мною. Ни один бодрый парень не согласился. Всю ночь кругом храпели, а я стояла в проходе. Кто-то из жалости разрешил мне присесть у него в ногах на нижней полке. Чувствуя свое унижение, я согласилась.

В Москве моим единственным желанием было поскорее добраться до своей постели. Когда я отворила дверь нашей квартиры, в коридоре раздался телефонный звонок. Мама сказала: «Это, наверное, тебя. Николай Иванович звонит уже три дня подряд. Сегодня он уже звонил опять».

Да, это был Харджиев.

— Приезжайте немедленно.

— Я совершенно больна, только что вошла в дом.

— Приезжайте.

— Не могу.

— Эмма, приезжайте. Необходимо.

Я приехала.

На тахте лежала Надя.

Посылка пришла обратно. Осип Эмильевич умер.

Мы сидели целый день вместе. Надя иногда вставала, садилась на постели, что-то говорила. Рассказывала о Фадееве. Он заплакал, узнав о смерти Мандельштама: «Великий поэт погиб». Надя горько усмехнулась: «Не сберегли, а теперь преувеличивают. Ося — не великий поэт».

Харджиев пошел посадить меня в такси, с Надеей оставался поэт Петников: он жил на юге, приехал в этот день в Москву, предполагал остановиться у Харджиева, но застал здесь Надю с ее сокрушительным известием.

Дома я свалилась и пролежала три недели. Как они там?

В Ленинград я послала два сообщения о смерти Осипа Эмильевича. Рудаковым я живописно изобразила мое положение в поезде и между прочим вставила фразу: «Надя овдовела». Сергей Борисович сразу разгадал, в чем дело, и сказал жене: «Мандельштам умер». Она никак не могла понять, как я могла такое страшное известие вставить в это бойкое письмо.

Анне Андреевне я написала то, что уже цитировалось: «Моя подруга Лена родила девочку, а подруга Надя — овдовела».

Надя уехала к Галине Мекк в Малоярославец.

Ранней весной я пошла в Большой зал Консерватории, желая попасть на концерт заграничного гастролера. Билеты были распроданы. Я стояла у входа в надежде купить у кого-нибудь лишний билет. В празднично возбужденной толпе я неожиданно увидела Надю. Она стояла в берете и кожаной куртке, только немножко похожая на себя. Нельзя было сказать, что она похудела. Нет, она как будто высохла и в таком виде окаменела. Кожа обтягивала ее лицо. Она говорила односложными неправильными фразами. Ее не интересовал заграничный виртуоз. Она хотела послушать музыку, «которую любил Ося». На афише значились его любимые вещи. Я ушла домой, чтобы не конкурировать с Надей в погоне за билетом. Я почувствовала, что если она останется одна, люди не пройдут мимо нее. Сухой блеск ее глаз был нестерпим.

МАНДЕЛЬШТАМ В ВОРОНЕЖЕ

(По письмам С. Б. Рудакова)

ВВЕДЕНИЕ

О рукописях Н. Гумилева и О. Мандельштама, пропавших у вдовы С. Б. Рудакова

В печати об этой злосчастной истории известно только из книги Надежды Мандельштам «Воспоминания» и беглых упоминаний в ее же «Второй книге». Однако эти сообщения нуждаются в серьезных коррективах. Написанные легкомысленной скороговоркой, они нарушают последовательность событий, искажая тем самым смысл происшедшего.

Так как я нередко бывала посредником в переговорах А. Ахматовой, Н. Мандельштам и Н. Харджиева с Л. Финкельштейн-Рудаковой, а после смерти последней в 1977 году получила доступ к ее архиву, считаю своим долгом предать гласности все, что мне известно по этому делу.

1

С Рудаковыми я познакомилась в Воронеже, когда я приехала туда к Мандельштамам на майские праздники 1936 года. Сергей Борисович и его жена приходили к ним ежедневно. В одном вагоне с Линой Самойловной я выехала из Воронежа по прошествии праздничных дней, я — в Москву, она — дальше, в Ленинград. Летом 1936 года Сергей Борисович вернулся из воронежской ссылки домой, и когда Рудаковы бывали проездом в Москве или я приезжала в Ленинград, мы встречались.

Мне уже тогда было известно, что Рудаков работал в Воронеже над автокомментарием О. Мандельштама к его уже вышедшим книгам, что Мандельштам видел в нем будущего редактора собрания своих стихотворений, что для этой цели Рудакову были предоставлены черновики и беловые автографы Мандельштама. Кроме того, Анна Андреевна Ахматова, встретив в Воронеже у Мандельштамов Рудакова — это было в феврале 1936 года — и открыв в нем страстного почитателя Гумилева, к тому же текстолога и стиховеда, предоставила ему для работы часть своего гумилевского архива. В Ленинграде до самой войны она нередко видалась с Рудаковым. 28 мая 1940 года она подарила ему свой сборник «Из шести книг» с надписью: «Сергею Борисовичу Рудакову на память. А. Ахматова». Но когда именно Ахматова передала ему архив Гумилева, мне осталось неизвестным. Уже в 1974 году мне

рассказывала Наталья Евгеньевна Штемпель (воронежский друг Мандельштамов), что в 1937 году она получила приветственную телеграмму из Ленинграда с тремя подписями: «Ахматова, Мандельштам, Рудаков». По ее словам, до войны у нее хранилось несколько таких телеграмм, посланных из Ленинграда во время последних наездов туда Мандельштама. Таким образом, связь обоих поэтов с Рудаковым не прерывалась.

Война застала Надежду Яковлевну в Калининне, куда она переехала вместе с матерью в 1939 году, обменяв московскую комнату на какой-то домик, который она в своих письмах шутливо называла «палаццо». Наезжая в Москву, она неизменно встречалась со мной и Н. И. Харджиевым, не один раз ночевала у меня и переписывалась с каждым из нас. Когда немцы приблизились к Калининну, ее эвакуировали вместе с матерью и довели до далекого Казахстана. Там она работала в колхозе. С большими хлопотами Анна Андреевна вытаскала их оттуда в Ташкент. Там уже жил в эвакуации брат Надежды — Евгений Яковлевич. У меня, оставшейся всю войну в Москве, наладилась письменная связь со всеми ними.

В одном из моих писем в Ташкент я сообщала о появлении в Москве раненого и контуженного Рудакова. Надежда Яковлевна откликнулась 29 июля 1942 года:

«Горячий привет Сергею Борисовичу. Просто расцелуйте его. Я так счастлива, что он жив. Ведь мы его оплакивали. До нас дошла весть о гибели молодого талантливого литературоведа. Должно быть, он обидится, узнав, что его называют молодым, но пусть простит. Я тоже думаю, что он был храбрым и крепким бойцом. Кто он — командный состав или красноармеец?»

Далее Надежда Яковлевна ведет речь о рукописях Мандельштама: «Вещи я из Калининны свои захватила, но ведь у меня их было очень мало. Вот и в Ленинграде, наверно, все пропало, и уж этого у меня никогда не будет».

19 сентября она снова вспоминает Рудакова: «Передайте привет Сергею Борисовичу. Очень бы хотела его видеть. Скажите ему: последнее письмо от Наташи имела в феврале. Не знаю, что с ней, и очень тоскую».

Уже в марте 1943 года она спрашивает: «Как Сергей Борисович? Если он в Москве, передайте ему привет». Это — в приписке к письму Анны Андреевны. Ахматова в свою очередь спрашивает меня об общих друзьях: «Где Сергей Борисович, Осмеркины?» Летом Надежда Яковлевна осторожно спрашивает у Харджиева: «Что слышно про Рудакова? Что он — опять на фронте?» (видимо, в моих письмах проскальзывала тревога за Рудакова, к чему у меня уже были основания).

Получив от меня в мае 1944 года сокрушительное известие о гибели Рудакова на фронте, Надежда Яковлевна пишет мне 17-го: «Вы понимаете, что для меня значит смерть Сергея Борисовича. Это одна из самых страшных потерь за эти годы. Ради Бога, перестаньте от меня все скрывать. Это очень нехорошо».

Анна Андреевна и Надя послали Рудаковой в Свердловск соболезнующую телеграмму, полученную 7 мая: «Лина Самойловна, никогда не забудем дорогого Сергея Борисовича. — Надежда Мандельштам. Анна Ахматова». Лина Самойловна сообщала мне в письме из Свердловска от 3 июня 1944 года, что она получила также отдельное письмо от Надежды Яковлевны.

Ошеломленная постигшим ее несчастьем, Лина описывала мне в том же письме свое состояние: «С Вами больше, чем с кем-либо, хотелось бы говорить о нем, да еще хотелось бы

читать его стихи Анне Андреевне, “Аннушке”, как ее называл Сережа. Страшно то, что о своем горе, о своих муках хочется рассказать ему же. Иногда ловлю себя на дикой мысли, что вот приду домой и напишу. Вот и о стихах. Хочется почитать их Анне Андреевне. Но думаю, что читать “Марину” Аннушке чуть-чуть не совсем удобно (Сережа всегда полушутя говорил, что Аннушке чуть обидно, что он занимается О. Э., Никол. Степановичем, а не ею). И сразу мысль о том, что надо же написать ему, спросить, читать ли ей эти стихи».

Вернулась Лина Самойловна в Ленинград осенью 1944 года. Кто умер, кто жив, кто остался на старом месте, а кого разбомбили?.. К счастью, вскоре она встретила Ахматову на концерте в Филармонии. В антракте она к ней подошла и шепнула: «Все цело». Об этом мне рассказала Анна Андреевна весной 1946 года, когда она после двухлетнего перерыва вновь оказалась в Москве. Но о сохранности архива я уже знала из письма Лины Самойловны, известившей меня сразу по приезде: «Все в порядке». Я была подготовлена к этому: перед своим арестом⁵ в августе 1943 года Рудаков получил официальный ответ от домоуправа на запрос о состоянии своей ленинградской комнаты. Сообщалось, что сестра Рудакова, Алла Борисовна, перед тем как ее вывезли из Ленинграда, опечатала комнату и передала ключи в указываемое место. Вся мебель была сожжена или продана, остались одни книги и рукописи. Было пока неясно, сохранились ли среди них автографы Гумилева и Мандельштама. Теперь Лина Самойловна убедилась в их неприкосновенности, но Рудаков уже не мог ликовать по этому поводу.

Итак, в 1944 году А. А. Ахматова и Л. С. Финкельштейн встретились в Филармонии. Видались ли они еще? Безусловно. На это указывает автограф (вернее, авторский список) Ахматовой стихотворения «Памяти друга», подаренный Анной Андреевной Лине с собственноручно вписанным посвящением: «С. Б. Р.», т. е. С. Б. Рудакову). Дата — 8 ноября 1945 года. (Стихотворение напечатано без посвящения в № 1—2 журнала «Ленинград» за 1946 год.) Как они договорились об архиве Гумилева, в точности мне не известно, знаю только, что с обоюдного согласия он остался у вдовы Рудакова.

За все время сталинского правления эти годы были самой высокой вершиной признания Ахматовой. Ее наперебой печатали ленинградские, да и московские журналы, уже брошюровалась в типографии новая книга ее стихов. Анна Андреевна была выбрана в члены правления Ленинградского отделения Союза писателей, появлялась на официальных торжествах и на заседаниях секции поэзии, а дома, где она жила с вернувшимся с фронта (после лагеря) сыном, не было отбоя от новых знакомых.

В такой обстановке Лина Самойловна конфузилась и не рвалась к Ахматовой. 2 марта 1946 года она мне пишет: «...мне Ваше присутствие необходимо. У А. А. не была. После доклада сразу же пойду» (она готовилась к выступлению в институте по своей специальности). 26 мая 1946 года: «У Аннушки не была» («Аннушкой» мы часто называли Ахматову в письмах во избежание любопытства цензуры, а не в подражание домашнему языку Сергея Борисовича). 19 июля 1946 года: «Спасибо Вам за сведения об Анне Андреевне. Стихи те я слышала в ее чтении по радио. На днях к ней пойду».

⁵ Он был судим за должностное преступление, совершенное ради помощи другу, и погиб в бою, служа в штрафном батальоне.

Но не прошло и месяца, как грянуло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Положение Ахматовой круто изменилось.

Дом, в котором она жила на Фонтанке, отошел в послевоенные годы в ведение Арктического института. Это дало возможность «органам» использовать проходную при входе на территорию бывшего Шереметевского дворца для надзора за посетителями Ахматовой — от каждого приходящего требовался паспорт.

Не знаю, навещала ли Лина Самойловна Анну Андреевну в это напряженное первое время (со своей стороны, думаю, что это было бы нецелесообразно), но спустя год, 2 августа 1947 года, она мне писала: «Аннушку не видела, но думаю, что в ближайшее время решусь повидать ее».

Лишь в конце 1947 года я смогла вырваться в Ленинград, настолько я была скована собственной неустроенностью и лишениями. Я впервые увидела тогда Анну Андреевну в ее гордом положении опальной — до тех пор я только пересылала ей с кем-нибудь письма или поклоны.

Остановилась я у Лины Самойловны. В свободное время мы много и часто говорили о Сергее Борисовиче и о рукописях, которые, казалось, хранились ею как святыня. Письма Гумилева к Ахматовой и другие его автографы она мне не показывала, да я и не считала себя вправе заглядывать в них. Но автографы Мандельштама мы рассматривали, я держала их в руках, разбирала. Впрочем, Лина Самойловна показывала мне не все, ссылаясь на то, что чемодан с рукописями стоит под маминой кроватью и ей не хочется при ней его открывать. Она жаловалась, что мать ей чужой человек, не понимает ее верности памяти Сережи, просит распродать его библиотеку и архив. Естественно, мать втайне желала, чтобы Лина вторично вышла замуж, но та повторяла: «Лучше Сережи на земле никого не было и не будет».

Когда через год я снова приехала в Ленинград, я застала их в крайне стесненном положении. Психотехнику — предмет, по которому Лина специализировалась и собиралась защищать диссертацию, отменили вовсе. Ей пришлось уйти из научно-исследовательского института и поступить на маленький оклад в районную библиотеку, где она работала с 12 до 20 с половиной часов ежедневно. Мать ее получала мизерную пенсию за покойного мужа (киевского врача). Зато отношения между ними стали мягче: теперь они жались друг к другу.

Не надо забывать, что речь идет о 1946—1949 годах, служащих шатким мостиком между бедствиями военного времени и новой волной повторных арестов, ссылок, расправ с вернувшимися из плена, а также безработицей для евреев. На наших маленьких судьбах они отразились как неуклонное скольжение в яму. Поэтому я испытала смутное, даже неосознанное чувство удивления, когда Лина мне сказала, что в каком-то ателье продается случайно, в рассрочку каракулевая шуба и она ее покупает.

Запомнились еще два эпизода, существенные для нашей темы.

В первое мое свиданье с Анной Андреевной после постановления, т. е. в мой приезд 1947 года, я встречалась с ней только на улице или в гостях у ее знакомых. На Фонтанку она никого не могла позвать, потому что у Ани Каминской (восьмилетней дочери И. Н. Пуниной) была скарлатина и в квартире был карантин. По этому случаю, как сказала мне Анна Андреевна, Лева даже выехал оттуда на время, ибо он ходил в институт, где еще числился в аспирантуре. Большой частью он провожал мать к месту встречи со мной. Однажды,

когда я возвращалась домой, то есть к Лине Самойловне, а Анна Андреевна меня провожала, Лева шел с нами. Но, приближаясь к Колокольной улице, где жила Лина, он круто повернул назад и сказал, прощаясь: «Не пойду я дальше, пусть не видят, что я знаю этот адрес», подразумевая, естественно, место хранения рукописей Н. С. Гумилева. Не исключено, впрочем, что это явилось только предлогом, может быть, он просто куда-нибудь торопился — но ведь дело не в этом. А дело в нашей общей уверенности, что драгоценные бумаги находятся у Лины Самойловны в незыблемой сохранности. Дома я рассказала ей об этом эпизоде.

Через год, осенью 1948 года, когда положение всех нас еще ухудшилось, в частности Леву уже отчислили из аспирантуры, Лина, как уже говорилось, служила в районной библиотеке, я тщетно старалась устроиться в Пушкинском Доме, а сама Ахматова проживала последние деньги (она получила в 1946 году гонорар за невышедший сборник ее стихотворений), я опять остановилась в Ленинграде у Лины Самойловны. Прощальный вечер я провела на Фонтанке, у Анны Андреевны и Левы. Провожая меня на вокзал, он зашел со мной за чемоданом на Колокольную. Мы немного посидели там, Лина Самойловна улучила минутку и настороженно и подозрительно спросила меня: «Почему же он пришел сюда? Ведь он не хотел демонстрировать наше знакомство!» Тогда я подумала, что она боится Левы: как ленинградка, она должна была знать еще лучше меня, что атмосфера вокруг него сгущается. Но теперь я предполагаю, что она уже продавала рукописи Гумилева (не отсюда ли новая шуба?) и ей померещилось, что Лева уже знает об этом.

До 1955 года я в Ленинград больше не ездила, но Лина Самойловна проводила обычно свой отпуск в Подмосковье, останавливаясь в Москве. Встретившись со мной, по-видимому, это было весной 1949 года, она оглушила меня неожиданным известием. Оказывается, произошла досадная ошибка: *архива Гумилева у нее нет и не было*. Недоразумение она объяснила так: сундук с рукописями стоял в коридоре общей квартиры, а она не знала, что там бумаги, и соседские ребяташки, вероятно, истребили рукописи Гумилева на хлопущки. А она, приехав из эвакуации, не разобралась в сохранившемся Сережином архиве и приняла за гумилевский совсем другой конверт. Лина просила меня сообщить об этом Анне Андреевне. Это была тяжелая миссия, но, по моим отношениям с Линой Самойловной, я не могла ни отказаться от этого поручения, ни усомниться в правдивости ее фантастического открытия. И я передала этот вздор Анне Андреевне! Теперь-то я имею неопровержимые доказательства лживости тогдашнего заявления Лины Самойловны. Но я получила их только в 1973 году. А в сороковых и пятидесятых все было иначе.

Анна Андреевна приняла мое сообщение с большим недоверием. Она не могла удержаться от подозрения, что Лина Самойловна торгует письмами и рукописями Гумилева. «Поймите, это золото», — вразумляла она меня. Она часто поминала Леву в этой связи: то опасалась, как бы он не узнал о пропаже и не наделал глупостей, в его положении все было рискованно; то, наоборот, говаривала мечтательно и угрожающе: «Я нашла на нее Леву, он с ней поговорит по-своему» — или еще резче, на своем домашнем арго: «Он сделает из нее “свиное отбивное”!..»

Я защищала Лину, расписывала, как она, вероятно, не имела сил прикоснуться к заветным бумагам погибшего Сергея, повторяла ее глупости: «Ей легко было ошибиться, оче-

видно, она приняла за письма Гумилева к вам какой-нибудь другой пакет». Пристально взглянув на меня, Анна Андреевна сказала тихо и грозно: «Она не могла ошибиться! там были папки!..» Переходя почти на крик: «Па-а-апки!» — и, уже захлебываясь от гнева, бессвязно: «Зоя⁶... на санках... везла...»

В одно из последующих редких моих свиданий с Линой Самойловной она осторожно меня спросила: «А что, Анна Андреевна не поверила мне?» И я, как могла мягко, объясняла ей, что ситуация действительно получилась очень странная. Как могло случиться, что в течение трех лет она уверяла, будто архив Гумилева в полной сохранности лежит у нее, а на четвертый год обнаруживается, что это была ошибка? Лина только пожимала плечами.

Внешне мои отношения с ней не нарушились: я не могла поверить, что она меня обманывала, не могла себе представить, что она могла так грубо очернить память Сережи. Изредка мы еще обменивались письмами. Так, 17 ноября 1951 года она мне писала: «Во время болезни перечитывала Сережины письма, и воронежские и военные. До чего нужно было бы с Вами вместе почитать их, особенно воронежские. Сколько там просто объективно интересного и важного». И 13 августа 1952 года: «Как Аннушка?» Но потом переписка совсем заглохла. Тем более что до Анны Андреевны стали доходить глухие сведения: автографы Гумилева, из числа данных ею Рудакову, изредка появляются в частных руках и будто бы даже в Пушкинском Доме. Это несколько успокоило ее: она считала, что тот, кто заплатил за них большие деньги, не выпустит их из рук и, чего она больше всего боялась, автографы эти не уплывут за границу. Лева был уже с ноября 1949 года арестован, и это вытеснило у Анны Андреевны все другие интересы.

Новое происшествие нарушило ход моих мыслей.

В конце сентября 1954 года я получила открытку из Ленинграда от Лины Самойловны. Она извещала меня, чего уже давно не делала, что на днях будет проездом в Москве и просит меня быть в этот день дома. В назначенное время она явилась, и после первых приветствий между нами произошел следующий диалог.

- Вы даже не знаете, что со мной было за это время?..
- Откуда я могла знать?
- Я была арестована.
- Когда?
- В марте 1953 года.
- После смерти Сталина?!!
- Да, через два дня.

Она рассказала, что ее взяли по «еврейскому делу» и продержали до реабилитации врачей. Описывала ряд деталей своего сидения, не вызвавших у меня сомнений в их достоверности. Говорила о следствии («До пыток еще не дошло») и как она была поражена, когда ее вызвали на допрос, а объявили об освобождении.

Меня удивило, что ее московская приятельница А. Д. А. не известила меня об этом своевременно. Но далее последовало сообщение, которое заставило умолкнуть все чувства.

⁶ Выяснить, какую свою знакомую Зою имела в виду Анна Андреевна, не удалось.

Из-за него-то Лина Самойловна и приехала ко мне: в МГБ у нее забрали все рукописи Мандельштама, объявила она.

Она стала красочно, эмоционально и детально изображать, как во время обыска ничего, ничего не взяли — только рукописи Мандельштама!

Я была так убита, что она меня попрекнула: «Мой арест на вас не произвел никакого впечатления. Вас волнует только пропажа рукописей». — «Но, Лина, ведь это было полтора года тому назад, и вот вы здесь, живая и невредимая, а рукописей Мандельштама нет».

Придя в себя, я сказала в раздумье: «Вы знаете, вы можете еще теперь пойти в МГБ и запросить этот материал. Они иногда возвращают» (не надо забывать, что разговор наш происходил уже в сентябре 1954 года). Тут последовал взрыв, которому я не могла противостоять: «Я туда ни за что не пойду! Попробовали бы вы. Я не хочу напоминать о себе. С нашими ужасными соседями. С моим положением на службе. Не говорите мне об этом. Я обхожу этот дом за три версты, вспомнить не могу...» и т. д. и т. п.

Я осведомилась, как отнеслась к пропаже Надя. Новый сюрприз! Оказалось, что Лина Самойловна до сих пор ее не известила. Опять спряталась за мою спину? Хочет, чтоб я взяла на себя и эту миссию? Ничуть не бывало.

Когда мы легли спать (она на раскладушке рядом с моей кроватью, голова к голове), я убежденно сказала в темноту:

— Надо немедленно сказать Наде.

И услышала нечто несообразное, но забыла дословно ее фразу. Мне напомнила ее слова Анна Андреевна по прошествии почти пяти лет: «А вы помните, как она вам сказала — “Не суйте свой нос не в свое дело”?» Да, я вспомнила, это была ее последняя реплика. Я осталась тогда в полном недоумении: зачем же она приезжала ко мне? Видимо, она не ожидала, что я отвечу на ее «признание» трезвым предложением запросить МГБ.

Этот разговор с Анной Андреевной происходил уже в 1959 году, когда вот уже больше двух лет прошло со дня реабилитации О. Э. Мандельштама. В связи с предстоящим изданием его стихов Надежда Яковлевна решила сделать последнюю попытку узнать у вдовы Рудакова, какова же судьба автографов Мандельштама. До тех пор она, очевидно, не предпринимала ничего, чтобы снестись с Линой Самойловной. Во всяком случае, когда в пятидесятых годах я посоветовала ей самой обратиться в МГБ с просьбой о выдаче ей конфискованных у Л. С. Финкельштейн рукописей Мандельштама, Надежда Яковлевна ответила мне непередаваемо ядовитым голосом: «Неужели вы думаете, что я дала Рудакову что-нибудь ценное? Одни копии... У меня все это есть... может быть, несколько черновиков...» Я уже ничего не говорила. Если дело доходит до явной лжи, объясняться с вдовой Мандельштама так же бесполезно, как с вдовой Рудакова. Лживость же последней окончательно обнаружилась именно тогда, когда Анна Андреевна пригласила ее к себе и в присутствии Надежды Яковлевны очень вежливо начала с ней разговор и даже подарила ей свою книгу издания 1958 года «Стихотворения». Благодаря дарственной надписи мы можем точно установить, когда состоялась эта беседа: «Лине Самойловне Рудаковой с приветом от Ахматовой. 2 января 1959. Ленинград». Насколько мне помнится, у Анны Андреевны было желание просто узнать у Лины Самойловны, кому она продала письма и рукописи Гумилева, и, может быть,

выкупить их, а о рукописях Мандельштама получить более подробные сведения. Но Лина Самойловна, вероятно, забыла, что она говорила мне в 1954 году, и объявила, что автографы Мандельштама ее мать в панике бросила в печь, как только Лину увели. Это меня окончательно подкосило. Я должна была согласиться с Анной Андреевной и Надеждой Яковлевной, что при таких разноречиях уже ничему верить нельзя. Не могла я только разделять их сомнений в самом факте ареста Лины Самойловны.

Забегая вперед, скажу здесь, что впоследствии видела в ее архиве справку Ленинградского областного управления МГБ о том, что с 10 марта 1953 года она содержалась во внутренней тюрьме и была освобождена 15 апреля того же года.

Итак, подведем итог этой первой части длинной истории о рукописях Гумилева и Мандельштама, бывших в распоряжении С. Б. Рудакова.

Прежде всего сравним, как она изображена Надеждой Яковлевной Мандельштам в ее книге «Воспоминания»:

«Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 1953 г. встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эмме Герштейн, что ее под занавес арестовали и все забрали.

Потом версия изменилась — ее забрали, а “мама все сожгла”. Что было на самом деле, установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц.

Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделывать нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку Рудакову-Финкельштейн к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова, — нельзя ли ее, мол, напечатать, но добиться толку от нее было невозможно».

Как видим, здесь сближены два разных события: объединены неопределенным словом «все» гумилевские рукописи и автографы Мандельштама. Между тем, как было показано мною выше, об отсутствии рукописей Гумилева Л. С. Финкельштейн сообщила через меня Ахматовой в 1949 году, а об «изъятии» рукописей Мандельштама — в 1954-м. Остается непонятным, почему Надежда Яковлевна, узнав о такой серьезной пропаже, не отобрала у Лины Самойловны автографы Мандельштама. Скажут: она жила и работала на периферии, ей трудно было связаться с Л. Финкельштейн. Верно. Но начиная с 1946 года она каждое лето надолго приезжала в Москву, ездила и в Ленинград, к Анне Андреевне.

По ряду обстоятельств я увиделась с ней в Москве только в 1951 году. Она расспрашивала меня о подробностях этой истории, а я изложила ей все так, как описано мной здесь, вплоть до вырвавшегося у Анны Андреевны восклицания о Зое и санках. Эта деталь использована Надеждой Мандельштам по-своему: она неоднократно на все лады повторяет в обеих своих книгах, что Ахматова свезла Рудакову на санках гумилевский архив. Представить себе Анну Андреевну, которая боялась переходить через улицу и всегда привлекала к себе внимание прохожих, вообразить Ахматову во второй половине тридцатых годов, т. е. в эпоху «Реквиема» и «Из шести книг», волокущей через Невский и Владимирский проспекты санки с письмами и рукописями Гумилева — это так же трудно, как увидеть «развесистую клюкву». Но чего не случается с мемуаристами, когда они пишут свои воспоминания с чужих слов! Зато своя, ничем не оправданная оплошность утаена в повествовании Надежды

Мандельштам. Оставить на неопределенное время рукописи Мандельштама у женщины с уже подмоченной репутацией — непростительная небрежность. Вместо рассказа об этом Надежда Мандельштам искусственно переносит дату встречи Ахматовой с Рудаковой в Филармонии на восемь лет позже. Выходит, что в течение такого длительного срока Анна Андреевна не интересовалась письмами и рукописями Гумилева и только случайная встреча на концерте заставила ее вспомнить об этих реликвиях? Надеюсь, что приведенные мною данные достаточно убедительно опровергают эту версию.

А что означает фраза «Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула»? Кому она должна была их возвращать? Ведь у нее никто их не требовал! Нельзя же всерьез относиться к беседе, происходившей через пятнадцать лет после гибели С. Рудакова. Эта дата — 2 января 1959 года — стыдливо спрятана в «Воспоминаниях» Надежды Мандельштам под небрежным словом «потом» («Потом версия изменилась»). Это «потом» настало уже после реабилитации О. Мандельштама и заключения договора с «Библиотекой поэта» на издание его стихотворений.

Продолжение этой далеко еще не оконченной эпопеи описано в «Воспоминаниях» Н. Мандельштам с неожиданной завлекательностью и неуместной игривостью: «Больше всего повезло Харджиеву, он проник к ней, она дала ему письма Рудакова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий обольститель, Цирцея, красивый и очаровательный, когда изволит, человек».

Надо заметить, что к Лине Самойловне совсем нетрудно было «проникнуть». Как она жила перед войной с Сергеем Борисовичем на Колокольной улице, д. 11, в коммунальной квартире № 6, так и прожила там после войны до самого дня своей смерти 19 декабря 1977 года. Разумеется, всех писем Рудакова вдова его не могла дать постороннему человеку. Интимное, личное и бытовое в них перемешано с описанием ежедневных встреч с Мандельштамом. Отобрать эти упоминания могла только она сама, и сделала она это выборочно, предоставив Харджиеву далеко не все письма. Выбор ее был неудачным, она выделила именно те, в которых выражались довольно странные претензии Рудакова к Мандельштаму, но зато не заметила авторизованной копии совсем неизвестного стихотворения О. Мандельштама и другого с неизвестными вариантами (см. примечания Н. И. Харджиева № 176 и 186 в издании «Библиотеки поэта»). Впоследствии, когда после смерти Л. С. Финкельштейн я знакоилась с этими письмами сплошь, я убедилась, что она уже плохо помнила состав своего архива. В частности, она забыла про письма О. Э. Мандельштама к Рудакову. А они, как мы увидим позже, проливают свет на характер отношения поэта к своему младшему другу, резко отличающийся от изображенного Надеждой Мандельштам.

«Проник» же Н. И. Харджиев к Лине Самойловне очень просто. Помня, что в воронежских письмах заключено много существенного о Мандельштаме, и оплакав пропавшие автографы, я все же посоветовала обратиться к этим письмам. С этой целью я пришла к Лине Самойловне в Ленинграде в 1958 или 1959 году. Она встретила меня хмуро и настороженно, а мне грустно было смотреть на опустевшие книжные полки: замечательная библиотека Сергея Борисовича была уже распродана. Я убеждала Лину Самойловну предоставить редактору сборника «Библиотека поэта» как можно больше из оставшихся

у нее материалов — имя Рудакова обязательно будет упомянуто в издании, объясняла я ей. Эта перспектива заинтересовала ее («Это — другое дело», — вырвалось у нее) и расположила ее к Харджиеву. Но когда он вернулся из Ленинграда и показал Анне Андреевне и Надежде Яковлевне выдержки из писем Рудакова, они пришли в ужас, да и Николай Иванович был фраппирован тоном и претензиями Рудакова.

Но тут уже начинается вторая глава «рудаковианы», изменившая на многие годы всю атмосферу вокруг его имени.

2

В воспоминаниях Анны Ахматовой читаем: «В Воронеже при Мандельштаме был Сергей Борисович Рудаков, который, к сожалению, оказался совсем не таким хорошим, как мы думали. Он, очевидно, страдал какой-то разновидностью мании величия, если ему казалось, что стихи пишет не Осип, а он — Рудаков. Рудаков убит на войне, и не хочется подробно описывать его поведение в Воронеже. Однако все идущее от него надо принимать с великой осторожностью».⁷

Эти опасливые строки написаны от коллективного имени — «мы думали». В намеке же на неблагоприятное поведение Рудакова в Воронеже явственно слышен второй голос. Ведь Анна Андреевна была в Воронеже всего шесть дней, и все последующие годы, как мы видели, ее дружественное отношение к Рудакову не нарушалось. Его воронежские письма? Там действительно он приписывает себе чрезмерно активную роль в поэтической работе Мандельштама, которая возобновилась у него на глазах: параллельно протекали беседы поэта с Рудаковым — обсуждались еще не завершенные стихи. Неприятен также недопустимо развязный тон, каким он отзывается о поэте. Но о поведении Сергея Борисовича ничего конкретного из его писем почерпнуть нельзя. Намек Ахматовой раскрывается в черновом наброске отдельной заметки «Рудаков»: «...а Надя делила всю еду на три равные части», — гневно заключает Анна Андреевна свою страстную отповедь Рудакову.

Версия об иждивенчестве Рудакова цветет пышным цветом на страницах «Воспоминаний» Надежды Мандельштам. При этом она неминуемо приходит к неправдоподобному освещению быта и характера Осипа Мандельштама. «Я видела, что он часто мешает О. М., — пишет мемуаристка о Рудакове, — и мне часто хотелось выставить его. О. М. не позволял. “А что он будет есть?” — спрашивал он, и все продолжалось дальше». Странно читать о ссыльном Мандельштаме как о зажиточном филантропе, не правда ли? Может быть, Осип Эмильевич делился с Сергеем Борисовичем последним куском черствого хлеба? Нет. Утверждая, что Рудаков «ел и пил» у них, Надежда Мандельштам объявляет: «Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку». Прокормить 26-летнего мужчину трудно любой советской семье, а тем более ссыльному поэту, живущему с неработавшей женой в чужом городе, на частной квартире, т. е. платя за комнату втридорога. Уже это одно заставляет усомниться в правдивости рассказа мемуаристки.

⁷ Рукописный отдел Российской Национальной библиотеки. Фонд 1073.

Но мы располагаем и более конкретными данными. Подробности житейских взаимоотношений Рудакова с Мандельштамом, так же как и материальное положение всех троих, не обойдены вниманием в его письмах. Описания каждого прожитого дня Лина Самойловна, конечно, не показывала Николаю Ивановичу, а следовательно, с ними не были знакомы ни Анна Андреевна, ни Надежда Яковлевна, ни я. Но, как уже говорилось, я полностью прочла впоследствии эти письма. Представлять здесь полный отчет о бюджете Рудакова или Мандельштамов я не буду, хотя такую сводку можно было бы сделать. Но могу засвидетельствовать, что не было никаких оснований называть Рудакова нахлебником Мандельштамов: он вносил деньги в общее хозяйство и нес ряд обязанностей по закупке провизии и устройству быта. Будущий биограф Осипа Мандельштама сможет проверить справедливость моего вывода, обратившись к злополучным письмам. Теперь они хранятся в Рукописном отделе Пушкинского Дома.

Во вставном очерке Надежды Мандельштам о Рудакове содержится еще много несуразностей и прямых ошибок. Прежде чем говорить об общей неверной окраске облика ближайшего собеседника Мандельштама, необходимо исправить эти фактические ошибки. Истина, по моему мнению, нужна везде — и в мелочах, и в крупном, она нужна и тогда, когда речь идет об исторических личностях, и когда внимание задерживается на спутниках их жизни.

Итак, Надежда Мандельштам пишет: «Сергей Борисович Рудаков — генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев. Вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться с временем, и у него даже была своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени изысканные стихи не без влияния Марины и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к О. М.»

Кроме первой фразы, все приведенное здесь пестрит ошибками и неточностями. Отца и старшего брата (четвертого сына Рудаковых) расстреляли не в начале революции, а в начале двадцатых годов, т. е. в первые годы нэпа. Генерал Рудаков служил во время первой мировой войны под началом Брусилова. Во время гражданской войны он, по-видимому, был в белой армии у Колчака, но в 1920-м перешел, как и Брусилов, на службу в Красную Армию. По словам людей, близко знавших Рудаковых, отец и сын были расстреляны случайно. Это было то ли в 1921, то ли в 1922 году в Новониколаевске. Приехала какая-то комиссия и потребовала от генерала Рудакова выступления с признанием своего ошибочного прошлого. Он отказался, ссылаясь на то, что всю свою жизнь честно служил России. Тогда — расстрел, сказали ему члены комиссии. Обратились к сыну Рудакова Игорю, который в начале первой мировой войны учился еще в кадетском корпусе, а кончил войну георгиевским кавалером. Игорь ответил: «Я — как папа». Оба были расстреляны. Уточнить этот трагический эпизод — дело военных историков, я в этих вопросах не компетентна. Что касается трех самых старших братьев, то первый из них самоубился в 1913 году из-за невозможности жениться на любимой женщине — она была еврейкой, а

двое других пали на фронтах первой мировой войны (Н. Мандельштам почему-то называет этих молодых офицеров «тоже генералами») ⁸.

Мать Рудакова, Любовь Сергеевна (урожденная Максимова), умерла в 1932 году, когда Сергею Борисовичу было 23 года. Он всегда жил при ней вместе с тремя сестрами. Старшие три сестры были уже замужем, имели свои семьи, а младшие действительно вместе с матерью окружали любовью и восхищением Сережу, самого младшего в семье и единственного уцелевшего из пяти братьев.

Не знаю, чем подкрепляется странное наблюдение Надежды Мандельштам о типичных политических настроениях круглых сирот с детства, но, каким бы оно ни было спорным, к Сергею Борисовичу оно вообще не может относиться, так как, повторяю, мать он потерял будучи уже взрослым и, добавлю, женатым человеком и даже отцом маленькой дочери. Да и отец его погиб, когда Сережа был не моложе 12 лет. Не знаю, как он учился в школе, но уверена, что детство его не было «обычным советско-пионерским». Вспомним, что пионерская организация была создана лишь в 1922 году. Сереже было тогда 13 лет, детство кончалось, позади было нечто гнетущее, что он обозначал в воронежских письмах к жене одним только словом «Уфа». Мать с детьми вскоре переехала в Петроград — тогда это было возможно, несмотря на расстрел мужа. Поселилась она вначале у своей родной сестры и лишь позднее устроилась отдельно. По рассказам тогдашних знакомых Сергея Рудакова, они жили в мрачайшей квартире, увешанной портретами офицеров царской армии. Это были лица отца и четырех старших братьев, да среди родни Рудаковых были еще офицеры — морские. В такой дом нельзя было даже позвать школьных товарищей. Какое уж тут «обычное советско-пионерское детство»!

Вопреки утверждению Надежды Мандельштам Сергей Рудаков вуза не кончил.

В 1928 году он поступил на Высшие государственные курсы при Институте истории искусств, на литературное отделение, но не закончил их, так как и курсы, и институт были в 1930 году закрыты. Это было большим ударом по культуре страны: в этом институте вели занятия и читали лекции самые выдающиеся представители современного литературоведения — Ю. Н. Тынянов, В. В. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Б. М. Энгельгардт... Большинство студентов было распределено по другим высшим учебным заведениям, но С. Б. Рудаков из-за своего социального происхождения остался за бортом. Правда, Ю. Н. Тынянов отметил слушателя своего семинара и пригласил его участвовать в подготовке собрания сочинений В. К. Кюхельбекера, но для заработка Рудакову пришлось довольствоваться побочной профессией чертежника. Вскоре он был вынужден уехать вместе с женой и ребенком в Керчь к теще: в семье Рудаковых его жена, тоже бывшая студентка Института истории искусств, дочь еврейского врача, оказалась чужой и не находила помощи для ухода за ребенком у ревнующих свекрови и золовок. В Керчи Сергей зарабатывал архитектурными чертежами, томился и ездил в Ленинград — повидаться с сестрами, позаниматься в Публичной библиотеке, пройтись по всем букинистическим лавкам, погово-

⁸ Знаю только, что, отправляя на фронт Сергея Борисовича в начале Великой Отечественной войны, начальство пожелало ему дослужиться до воинского звания его отца.

речь с друзьями о литературе и, главное, встретиться с Тыняновым. Он навестил также подругу своей жены Лину Самойловну, сблизился с ней и вскоре женился, оставив первую семью. Поселились они отдельно от Рудаковых.

К обожающим Сергея сестрам прибавилась теперь еще одна внимательная слушательница его литературных концепций, восторженно откликающаяся на его громогласное чтение любимых поэтов, почитательница его собственных стихов. Лина Самойловна училась игре на фортепиано у знаменитой М. В. Юдиной и преподавала сама музыку дочерям Тынянова, Казанского⁹ и других ученых. Впрочем, профессиональной музыкантшей она не стала, а поступила в университет, успев его, кажется, к тому времени уже закончить.

А у Сергея никакого выхода в литературу не было. Единственной надеждой оставался Ю. Н. Тынянов, хотя Рудаков был знаком и с другими передовыми литературоведами — Г. А. Гуковским, вдохновенно открывавшим тогда заново русский литературный XVIII век, Н. Л. Степановым — секретарем Тынянова, вообще с представителями «ленинградской школы», как их называли враждующие с ними московские литературоведы. Пределом мечтаний Рудакова было участие в изданиях «Библиотеки поэта», где можно было заниматься и текстологической подготовкой, и анализом стихов, не боясь получить кличку «формалиста». Вторым его недостижимым идеалом был Пушкинский Дом. Но никто не мог предложить Рудакову место научного сотрудника при отсутствии у него диплома или заключить договор в «Библиотеке поэта» при его нереализованных способностях и очевидных задатках конкурента. Что касается Кюхельбекера и сотрудничества с Ю. Н. Тыняновым, то даже если отвлечься от социального неблагоприятного положения Рудакова, жизнь показала, во что вылилась эта работа: в сборник стихотворений Кюхельбекера, вышедший в малой серии «Библиотеки поэта» только в 1937 году. Вернувшийся из Воронежа Рудаков мог увидеть там на странице 284 указание Тынянова на помощь, оказанную ему в этой работе С. Б. Рудаковым. Год был тот самый, исторический, 1937-й! Рудаков хоть и вернулся, но все же был дворянином, и больше ничего для него Ю. Н. Тынянов сделать не мог, т. е. не мог помочь ему продвинуться в желаемом направлении. В рукописной характеристике, которую он дал для подкрепления хлопот о возвращении Рудакова в Ленинград, Тынянов отзывался о его работе пространнее: «Сергей Борисович Рудаков является талантливым литературоведом-текстологом. Работая под моим руководством по подготовке к печати собрания сочинений Кюхельбекера для «Библиотеки поэта», он проявил в сборе печатных текстов и в сличении их с рукописями не только исключительную тщательность, умелость и текстологическую подготовку, но и подлинное научное чутье материала. Эти качества заставляют предполагать, что если С. Б. Рудаков будет продолжать свои работы по изданию русских классиков, он, несомненно, будет одним из ценных работников по истории русской литературы».

Эта рекомендация датирована 5 декабря 1935 года. Копию ее Лина Самойловна прислала в Воронеж, и уж, конечно, Сергей Борисович не преминул показать ее Ман-

⁹ Борис Васильевич Казанский (1889—1962), филолог-классик, профессор Ленинградского университета.

дельштамам. Но какое дело Надежде Яковлевне до мнения Тынянова? Ведь она и его включила в ряд людей, которые «не хотели думать»: «Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гукровский, цвет литературоведения двадцатых годов, — о чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали». Из книги мы узнаем, что имена этих ученых все же импонировали ей. Правда, отзыв Тынянова о Рудакове она переносит на другое лицо. Оказывается, не Рудаков был учеником Тынянова, а Калецкий, и это-то и способствовало возникновению симпатии к нему Мандельштамов. Смещение обнаруживается при перечислении мемуаристкой «пороков» Рудакова: «Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил со вторым нашим посетителем — Калецким, тоже ленинградцем и учеником наших знакомых — Эйхенбаума, Тынянова и других...» В действительности Калецкий был москвичом, закончил московский ГИТИС, где ленинградцы Б. М. Эйхенбаум и Ю. Н. Тынянов никогда не преподавали. В Ленинград Калецкий переселился уже после Воронежа. Но факты не интересуют Надежду Яковлевну. Читаем еще о Калецком: «Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его “квантом” и пояснял: “Это самая маленькая сила, способная выполнять работу...”»

«Внутреннюю силу» Калецкого предназначена демонстрировать сцена, наглядно показывающая только неумение автора передавать живой человеческий диалог и язык среды и эпохи. Цитирую:

«Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произносить. Однажды он с ужасом сказал О. М.: “Все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся, они не способны выдержать ни малейшего испытания — мертвый, разлагающийся советский бюрократизм... А что если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война!” Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: “Я верю в партию”. Калецкий смутился и покраснел. “Я верю в народ”, — тихо сказал он».

Эта сцена пронизана фальшью. В интеллигентном кругу, в домашней обстановке никто никогда так не разговаривал. Вместо этого детского лепета во всяком случае трое из присутствующих — о Калецком я говорить не могу, я его не знала — тотчас вступили бы в спор, соревнуясь в красноречии и эрудиции, которыми они так любили пощеголять. И в чем заключалось гражданское мужество Калецкого? В том, что он «решился произнести» несколько слов в осуждение бюрократизма в доме поэта, репрессированного за острые политические стихи? Кстати говоря, бюрократизм вовсе не загнивал в ту пору, а, наоборот, набирал и набрал силу. И почему Калецкий беспокоился о состоянии Красной Армии, если в ее рядах тогда служили такие блестящие военачальники, как Блюхер, Тухачевский, Якир, Примаков? В то время боеспособность строго дисциплинированной Красной Армии ни у кого не вызвала сомнений («И хотелось бы эту безумную глать В долгополой шинели беречь, охранять» — писал Мандельштам в мае 1935 года). Совершенным анахронизмом звучит противопоставление «партии» и «народа». Слово «народ» было тогда только-только реабилитировано после пятнадцатилетней замены его понятием «классы» или (в рифму) «массы». В обиход разговорной речи слово «народ» еще не

успело проникнуть. Введено оно было сверху, причем в официальной пропаганде усиленно подчеркивалось единство партии и народа. Таким образом, оба оппонента в изображаемом споре, употребляя казенный язык, в сущности, говорили об одном и том же. Неужели импульсивный и чуткий ко всякой фальши Мандельштам и его резкая, нетерпеливая жена молча выслушивали весь этот пошлый вздор, который якобы несли перед ними два плакатных дурака?

Еще курьезнее, что Калецкий назван мемуаристкой «юнцом». В ту пору ему было 29 лет. Доцент воронежского педвуза и учитель девятилетки, он активно сотрудничал в местном журнале «Подъем» — там было напечатано за эти годы немало его рецензий и статей. По специальности он был литературоведом-фольклористом, но от этого далеко до «почвенничества» или «народничества», на которые в такой наивной форме намекает Надежда Мандельштам. Не знаю, при каких обстоятельствах он был выслан в Воронеж, пробыл он там около двух лет. Рудаков, сообщая своей жене 14 апреля о знакомстве с Калецким у Осипа Эмильевича, указал на его уже полугодовое пребывание здесь. Следовательно, приехавшие в Воронеж, очевидно, в конце июня 1934 года Мандельштамы до приезда Рудакова общались с Калецким уже много месяцев. Он был женат, но в апреле его жена лежала в больнице, а в июне 1935 года умерла. Осенью Калецкий уехал в Ленинград. Надежда Мандельштам ошибочно утверждает, что и Рудаков, и Калецкий уехали одновременно в январе 1936 года. В действительности Рудаков уехал только в июле, т. е. оставался после Калецкого еще месяцев восемь.

Первый период своего пребывания в Воронеже Осип Эмильевич не писал стихов. К поэтической работе он вернулся в апреле 1935 года, то есть именно тогда, когда он провел один на один с Рудаковым почти весь этот месяц. Об этом общении, совпавшем (или вызвавшем!) с возрождением Мандельштама-поэта, его вдова пишет так: «Он (Рудаков) появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О. М. Когда мы ехали с вокзала с О. М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии и вообще славный мальчик. После болезни О. М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это». Но зачем же «полная пустота»? Ведь был П. И. Калецкий, филолог, дружественно расположенный «постоянный посетитель». Однако творческого толчка от встречи с ним, несмотря на всю его «внутреннюю силу», не произошло, а Рудаков своими «безумными речами», своей «звонкой чушью» и бьющим через край сомнением стимулировал поэта, и Осип Мандельштам вернулся к писанию стихов. Что касается до «болезни», о которой говорит его вдова, то дошедшая до нас рецензия на Дагестанскую антологию, написанная не позже января 1935 года, свидетельствует, что уже в ту, более раннюю пору Мандельштам полностью владел своими силами, был творчески полноценен.¹⁰

¹⁰ См.: Вопросы литературы. 1980. № 12. С. 241—248.

Надежда Мандельштам вообще стремится умалить значение друзей в жизни ее мужа. Так, упомянутый Осипом Эмильевичем Борис Сергеевич — это Кузин¹¹. Тот, к которому обращены два стиха из посвященного ему стихотворения «К немецкой речи»: «Когда я спал без облика и склада, Я дружбой был, как выстрелом, разбужен». Вдова поэта жалуется, что пятилетний период стихового молчания, названный Мандельштамом сном «без облика и склада», «не имел ничего общего с нормальным отдыхом, то есть тихим периодом накопления, созревания и роста». «Окончательным толчком к пробуждению послужила встреча с Кузиным», — продолжает Надежда Яковлевна, но тут же пытается дезавуировать это заявление: «Я знаю, что и без встречи с Кузиным стихи бы вернулись, но это могло бы произойти более трудным путем. Освободила Мандельштама не только встреча, но и благородная изоляция в чужой стране. Она тоже была необходима для освобождения».

Однако сам Осип Мандельштам думал иначе. В своем рассказе о Б. С. Кузине он продал срок благотворного влияния Кузина. Об этом он сообщил в письме, приведенном в комментарии Н. И. Харджиева к стихотворению «К немецкой речи». Там читаем: «5 апреля 1933 г., посылая М. С. Шагинян рукопись “Путешествия в Армению”, Мандельштам писал (о Кузине): “Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период так называемого “зрелого Мандельштама”»¹².

Но в дальнейших словах его вдовы несогласие с поэтом выражено еще решительнее: «Кузин не знал, что делать со стихами. Он привык к книгам, где он им доверял, но со свеженьким никак не знал, как поступить. Он искренне огорчился, услышав новые стихи. Одно Мандельштам в его честь даже уничтожил, но потом понял, что дело не в самих стихах, а в Кузине, и перестал реагировать на его слова». Когда же он перестал слушать Кузина? Утверждая, что О. Мандельштам начал «избегать разговоров» с Кузиным, Надежда Мандельштам сокращает срок действия этой дружбы, сводя его к нескольким месяцам: тот (Кузин) исчерпывал свой золотой запас около года. Между тем стихотворение «К немецкой речи» написано в 1932 году, в нем говорится о дружбе, возникшей в Эривани в 1930-м, а письмо к Мариэтте Шагинян написано весной 1933 года, то есть перед самой поездкой Мандельштама в Крым. Иными словами, творчество Мандельштама полных четыре года, начиная со стихотворения «Куда как страшно нам с тобой» и кончая, может быть, даже «Ариостом», отмечено духовной связью с Кузиным, гостившим в 1933 году у Мандельштамов в Старом Крыму.

Кому же верить? Живому поэту или его вдове? Предоставляю читателю самому найти ответ на этот вопрос.

Но вернемся к Рудакову. Ко всем его грехам ему приписана вдобавок якобы изобретенная им «своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают». При всем желании тут трудно найти своеобразие: это самая расхожая заповедь житейской мудрости, характерная для всех приспособленцев, ремесленников, конъюнктурщи-

¹¹ Его несомненное влияние как систематика-антидарвиниста прочитывается в стихотворении «Ламарк».

¹² Мандельштам О. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1973. С. 294—295.

ков, «жены и детей содержателей». Мне вспоминается по этому поводу рассказ Анны Андреевны об одном молодом еще, но уже известном литературоведе, которого упрекнули в частном разговоре за статью с резкими и вульгарными отзывами об акмеистах. «Я — профессионал и должен печататься», — уверенно возразил он. И действительно, этот литературовед печатался очень много, а вот Рудаков не увидел в печати ни одной своей строчки. Перед последним боем он передал через фронтового товарища завещание жене на случай своей гибели: напечатать все, что он написал. Лина Самойловна не сумела напечатать ничего. Только в 1979 году мне удалось опубликовать в издании Пушкинского Дома исследование Рудакова о строфике «Медного всадника», весьма высоко оцененное еще в 1941 году Б. В. Томашевским.¹³

Странно звучит также заявление Надежды Мандельштам о «модных по тому времени изысканных стихах», которые «не без влияния Марины» писал Рудаков. Изысканные стихи в тридцатых годах считались убийственно старомодными. Писали тогда «под Маяковского», поминали тайком Есенина, более рафинированные любители стихов чтили «камерного» и «непонятного» Пастернака, комсомольцы увлекались Багрицким, Тихоновым, Асеевым, Сельвинским, Луговским, другие писали на своих знаменах имена Безыменского, Светлова, Уткина... А Цветаеву никто не знал: книги ее не продавались у букинистов и уж, конечно, не переиздавались; то, что печаталось Цветаевой в эмиграции, не доходило до советского читателя; в нашей периодике ее стихи не цитировались. Рудаков действительно любил Цветаеву, даже имел список «Поэмы конца», но в этом плыл против течения, принадлежа к образованному меньшинству и немногочисленному братству знатоков русской поэзии. Сам же он был последышем акмеистов, выше всех ставил «святой гений» Гумилева, благоговел перед Мандельштамом и только на третье место ставил Анну Ахматову.

Нельзя пройти мимо еще одного выпада Надежды Мандельштам, отмеченного решительным анахронизмом. Сочиняя новеллу о Рудакове, она заставляет его выражать свои мысли старыми, стертými клише неудачников дореволюционных лет. Цитирую: «Вторая тяжелая черта Рудакова — вечное нытье. В России, по его мнению, среда “всегда заедала талантливых людей”, и он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза... О. М. таких разговоров не терпел: “А почему вы сейчас не пишете?” На этом всегда вспыхивали споры, Рудаков жаловался на условия — комната, деньги, настроение, — сердился и уходил, хлопнув дверью... Через час-другой он все же являлся как ни в чем не бывало...»

Перечисляя «условия», мешавшие Рудакову заниматься любимым трудом, Надежда Яковлевна забыла назвать одно, главное: «высылка» из родного города, разлука с обожаемой женой, обязательные визиты в НКВД, обмена трехмесячных паспортов, безуспешные поиски службы, малевание рыжего сапога для вывески сапожной мастерской и прочие заказы, которые с унижением и беготней он получал у другого ленинградца, устроившегося в артели. Впрочем, последнее игнорировалось Надеждой Яковлевной полностью: она утверждала, что «в Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устроиться — он

¹³ Пушкин: Исследования и материалы. М.: Наука, 1979. Т. 9. С. 294—324.

не терял надежды, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии, в 37-м, погибших». Про «генералов» не знаю, а про писателей знаю: Рудаковы надеялись не столько на Ю. Н. Тынянова, сколько на И. Э. Бабеля. Он был дружен с родителями Лины Самойловны, и Рудаков по дороге в Воронеж виделся с ним в Москве. Очень интересно для биографии этого замечательного писателя с трагической судьбой, что в 1935 году он относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению и уверял Рудакова, что больше двух месяцев его пребывание в Воронеже не продлится. Может быть, он действительно рассчитывал на свое знакомство с кем-нибудь из высших военных командиров, я об этом ничего не слышала.

Несмотря на внушенные И. Э. Бабелем надежды, Рудаков устроился на службу в проектную мастерскую. Произошло это не без помощи Осипа Эмильевича, знакомого с каким-то крупным воронежским архитектором. Но уже в июне Рудаков был уволен и должен был утешаться обещаниями той же мастерской предоставлять ему заказы на аккордную проектную работу. Пришлось жить на временные, случайные заработки и на денежные посылки жены. И то и другое глубоко угнетало Рудакова.

И еще одно исправление. Это относится уже к военному времени. Напомню о ташкентских письмах Надежды Яковлевны, приведенных выше. Из них видно, что сведения о Рудакове она получала только от меня. Но, следуя своей привычке писать воспоминания с чужих слов, она описывает жизнь Рудакова в Москве, обстоятельства, повлекшие за собой вторичную отправку на фронт инвалида войны, и его гибель. В этом небрежном рассказе, естественно, все факты искажены. Читаем: «Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился какой-то из его родственников, сказал, что он по убеждению толстовец и не может воевать. Рудаков своей властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб».

Рудаков не был воинским начальником. Он был инструктором Всеобуча. «Толстовец» не был родственником Рудакова. Это был знакомый, муж подружки Лины Самойловны по занятиям с М. В. Юдиной. Рудаков жил на казарменном положении в районном военкомате. Там он совершил должностное преступление ради этого «толстовца»: воспользовался бланком и печатью военкомата и дал своему другу отсрочку, а не полное освобождение. Дело в том, что тот ожидал полного оформления «белого билета», но неожиданно получил призывную повестку. Признаюсь, что Рудаков пошел на такой рискованный шаг не из уважения к принципам своего приятеля, а по доброте сердца. Мне он сказал так: «Н. Н. не мог воевать, он, сердешный, боялся».

Рудаков был арестован, три месяца сидел в Бутырской тюрьме и по суду был приговорен к десяти годам лагеря. А «толстовец», получивший, кажется, восемь лет лагеря, восстанавливал в Москве разбомбленные дома, работал на Волго-Донском канале и по отбытии срока жил еще долго. Рудаков же сам попросил о замене ему лагеря фронтом, был, как и ожидал, назначен в штрафной батальон и действительно «смыл своей кровью совершенное преступление»: в первом же бою, 15 января 1944 года, он был убит. Какая трагическая семья! Все пять братьев погибли преждевременно от пули. А две сестры — от голода в блокадном Ленинграде.

Далее. Надежда Мандельштам повествует: «Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали».

Неправдоподобно, чтобы Мандельштамы хоть кого-нибудь предостерегали от знакомства с ними. Все их поведение в Воронеже и в последний год после Воронежа противоречит этому. Рудакова в первый же день знакомства Осип Эмильевич ослепил фейерверком прожектерских предложений. Рудаков восторженно сообщает жене 2 апреля 1935 года: «Они (он и она, которая сейчас в Москве) приглашают нас и Анну Андреевну на дачу (они будут под самым Воронежем с 20—25/IV); А. А. А. придет 6—7; может быть, придет Яхонтов». Ахматова все не ехала, и это вызывало раздражение Мандельштама. Вот выдержки из писем Рудакова: «7 апреля... Наверно, 9-го придет Анна Андреевна. Надежда Яковлевна (жена О. Э.) придет позднее...» «13. IV... Сверх сроков опаздывают А. А. и Н. Я. — и он нервничает». «21 апреля... Завтра приезжает Н. Я. ...А. А. придет позднее (в мае?). Выяснилось это только сейчас, вечером, после его звонка в Москву. Он пришел просто в отчаяние: он хотел ей сейчас показать новые вещи, вообще, она была необходима». «23 апреля... Анна А. придет во второй половине мая (ее задержали учебные осложнения сына в Ленинграде...). О. Э., пока не знал причины, был так раздражен, что убрал “Четки” и “Белую стаю”, которые мы накануне читали, в... бельевую корзину! Выяснилось это случайно, и он смущенно признался».

Сообщения Рудакова подтверждаются письмом самого Осипа Эмильевича из Воронежа в Москву: «Надик, поиздевайся над Ахматовой по телефону. Так еще не ехал никто. Или: митрополит, он же и еврей, боящийся судьбы. Где же здесь забота о других?» А положение Ахматовой, особенно после того, как Мандельштам указал на нее следователю как на одного из слушателей его крамольных стихов о Сталине, и при вечной тревоге за Леву, и при литературном остракизме, которому она подвергалась, было очень сложным. Что уж тут говорить о нас, простых смертных? В первые же недели пребывания Мандельштамов в Воронеже я получила письмо от Нади с требованием заменить ее при «Осе» на месяц, чтобы она могла проработать это время в Москве для устройства дел. Я не могла никоим образом выполнить эту просьбу. А когда я была у них в Воронеже в мае 1936-го, они чуть со мной не поссорились из-за того же: я работала в Литературном музее и приехала на праздничные дни, а они требовали, чтобы я провела с Осипом месяц и отпустила Надю. Я уехала в Москву на свою работу, а Мандельштам дал мне записку для передачи Е. Е. Поповой-Яхонтовой: «Лиля, если Вы способны на неожиданность, Вы придете». И так же бездумно Надежда Яковлевна пишет Нине Николаевне Грин: «Как жаль, что мы с Вами дважды разминулись, и как нехорошо, что Вам даже в голову не пришло заехать к нам в Воронеж»¹⁴.

В 1937 году К. И. Чуковский получил еще из Воронежа отчаянное письмо от Мандельштама. Осип Эмильевич просил Корнея Ивановича написать Сталину или организовать обращение писателей к Сталину с ходатайством об устройстве судьбы поэта Мандельшта-

¹⁴ РГАЛИ, ф. 127, оп. 2, № 49.

ма. «Смешно думать, что это может “ударить” по тем, кто это сделает», — убеждал Мандельштам Чуковского¹⁵.

Вот позиция Мандельштамов, неизменная и в воронежской ссылке, и после нее. Вся эта линия поведения заставляет сильно сомневаться в достоверности указания Надежды Яковлевны на их «неоднократные» предостережения Рудакову.

Обратимся ко второй части ее тирады.

Тезис о «наборе благородных фраз» Рудакова, изумившем Мандельштамов, ничем не подтверждается даже в самих сочинениях Надежды Мандельштам. Ведь такое позерство влечет за собою противоречия с поступками. А разве Рудаков чем-нибудь нарушил этику высокого товарищества? Надежда Яковлевна сама представляет его читателю как «преданного юношу». Разве трусливому фразеру доверили бы рукописи Гумилева и Мандельштама? Да что рукописи? Самую жизнь Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна неоднократно поручала охране Рудакова. Вспомним начальные страницы «Воспоминаний»: зловещую сцену «выдворения» поэта из квартиры и из Москвы. Подозрительный сосед приводит под видом монтера человека из «органов». В этой опасной ситуации, по сообщению Надежды Мандельштам, у них «сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом». «“Что он делает?” — в отчаянии шепнула я Рудакову». Это — ее реакция на смелый выход Осипа Эмильевича навстречу мнимому монтеру. И когда маска была снята, оба «показали друг другу документы» «и О. М. увели в милицию, *Рудаков побежал за ним*» (выделено мной. — Э. Г.). А что же делала жена в это время? А ничего. Ждала, пока Осипа Эмильевича внесли назад на пятый этаж, так как «доставить преступника, — по ее словам, — в участок не удалось: по дороге его опять хватил припадок». И весь этот мучительный путь был переложен на плечи Рудакова. Как видим, поведение его не укладывалось в определение «набор благородных фраз», а связь с Мандельштамами продолжалась еще годы, в которые они уже не питались вместе и Надежде Яковлевне не приходилось «кормить бедного мальчишку». Пока Осип Эмильевич оставался еще в Воронеже, они переписывались. Несколько ниже я приведу письма Мандельштама к Рудакову, но, даже не прибегая к ним и оставаясь в рамках уже известных материалов, можно убедиться, как дорожил Осип Эмильевич мнением Рудакова о своих стихах. 4 мая 1937 года он пишет из Воронежа в Москву Надежде Яковлевне: «Только что пришло письмо от Рудакова. Разобрал его с колоссальным трудом. Он пишет (кажется?), что стихи неровные и что передать это можно только в разговоре. Большое новое идет от стихов о русской поэзии. Да!» Это горделивое восклицание показывает, насколько он считался с мнением своего младшего друга.

Надежда Мандельштам, изобразив в своих «Воспоминаниях» Рудакова как прихлебателя, приспособленца и карьериста, не удовлетворилась этим. Еще один «антипортрет» Рудакова сгущен до предела в ее разнузданной «Второй книге». «Сыновья расстрелянных отцов, — пишет она, — доказывали себе и другим прелесть и смысл “заказа”. Они требовали не приспособления, а безоговорочного перехода к победителю — к

¹⁵ Цитирую по оригиналу, хранящемуся у Елены Цезаревны Чуковской.

ним на службу не за страх, а за совесть, чтобы наконец стать в подлинном смысле советским человеком. Таков был бедняга Рудаков, генеральский сын, который с пеной у рта доказывал Мандельштаму, что пора заговорить на языке современности. Во время войны он тяжело переживал, что был просто лейтенантом, а не генералом, как его отец и братья, тоже погибшие. Это единственная его обида, потому что от мысли он полностью отказался. Портили этому бедному парню только вкусы: он любил Цветаеву и чуть-чуть Мандельштама. Его утешало, что именно ему суждено им все объяснить и вывести заблудших на верный путь. Таких было много, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд».

Трудно сказать, что возмутительней в этих немногих строках. Анкетный ли подход к людям («сыновья расстрелянных») или памфлетная интерпретация моего рассказа о вырвавшемся у Рудакова в Москве восклицании. Его раздражало, что все поздравляли его с лейтенантскими погонами. «Я должен был бы быть Рокоссовским!» — объяснял он мне. Разумеется, он имел в виду не парадные знаки различия, а талант военачальника, который он у себя подозревал. Замечу, что он сам воевал очень храбро, а отец его, как он меня уверял, командовал корпусом во время первой мировой войны или даже армией. Учительствовать, наставлять, руководить и командовать Сергей Борисович действительно любил, тут Надежда Яковлевна была права, но это еще не повод для того, чтобы переиначивать мой рассказ о настроении Рудакова в военной Москве или заговариваться до того, чтобы упрекать его в намерении перевоспитывать Цветаеву, которую он никогда не видел. И что противопоставляет мемуаристка своему пасквильному портрету Рудакова? Каков ее идеал положительного современника? Ей бы хотелось, чтобы учителя преподавали без стыда и совести? профессора читали заведомо скучные лекции, а поэты умышленно писали плохие стихи? Рудаков хотел жить и работать в полную силу, разве это «социальный заказ»? Он хотел работать честно? Но мы все этого хотим!

Расстрел отца во все времена и при всех политических режимах был и будет человеческой трагедией. И читать об этом фельетонно-пасквильные резвости — оскорбительно. А много или мало работало в Советском Союзе детей казненных и что они думали и чувствовали при этом, историки, социологи и психологи будут узнавать из более надежных источников, чем безответственная болтовня Надежды Мандельштам. Самое неприятное в ней — это откровенная манера сводить личные счеты, играя на политических тяготениях и отталкиваниях своих неискушенных читателей. Они говорят в один голос, что она замечательно верно отобразила в своих книгах эпоху. Диффамация, наветы, демагогия — это ли не эпоха? Она не только изобразила эпоху, но и олицетворила ее пороки своей беспринципностью, доведенной до предела.

Что же случилось? Из-за чего надо было Надежде Мандельштам уничтожить Рудакова? Как сказано, из-за его воронежских писем к жене. Но какие выводы она сделала из них? «Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы — не случайность, так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы приняли за чистую коммерцию — выгодно продавать автографы, — оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков

восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои. Но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходило в списках...»¹⁶

Что же, Надежда Яковлевна думала, что Рудаков с того света приказал своей жене «украсть архивы»? Ведь если бы это было задумано еще при жизни Сергея Борисовича, Лине Самойловне ничего не стоило бы, вернувшись из эвакуации, заявить, что все пропало, сожжено блокадниками, и никто ее ни в чем не заподозрил бы. Это бредовая идея — думать, что Рудаков намеревался украсть архив Мандельштама. К сожалению, эту бессмыслицу восприняла и Анна Андреевна. В уже упоминавшейся заметке «Рудаков» (не печатавшейся ею самой) Ахматова пишет — увы! — блестящие, но несправедливые строки о «краже» Рудакова: «Придумать, что у нищего, сосланного, бездомного Мандельштама можно что-то украсть, какая светлая, благородная мысль, как осторожно и даже грациозно она осуществлена, с какой заботой о потомках и о собственной, очевидно, посмертной славе».

Нет, у Рудакова было много грехов, обнаружившихся в его письмах, на это наложились поведение его вдовы, но в краже собрания автографов Мандельштама обвинять его нет оснований. К сожалению, победило обоюдное стремление Анны Ахматовой и Надежды Мандельштам «убить наповал» Рудакова.

Однако они забыли еще об одном участнике игры, который тоже имеет право голоса, и притом решающего голоса. Это — Осип Эмильевич Мандельштам. Поэт оставил достаточное количество письменных свидетельств своего доверия и приязни к Рудакову. А ведь он знал об обидах и даже претензиях Рудакова на «соавторство», но относился к этому чрезвычайно снисходительно. И, со свойственным ему умением жестоко критиковать, Мандельштам сумел высказать Рудакову все, что он думает об его стихах. В психологическом отношении встреча этих двух людей составляет очень интересную страницу в биографии Осипа Мандельштама.

3

Осенью 1973 года мне позвонила дочь уже упоминавшейся А. Д. А., сама за это время превратившаяся в мать взрослого сына, и сообщила, что Лина Самойловна тяжело больна и в большой тревоге: почему до сих пор не исполнено ее поручение ко мне? Говорившей надлежало передать мне пакет с рукописями... «Ну, Гумилева, вы знаете, те, которые она всю жизнь хранила», — небрежно произнесла моя телефонная собеседница. Так! Как говорится, комментарии излишни.

После долгой канители (никак не могли сговориться о времени и месте передачи) я получила небольшой бювар с девятью письмами Н. С. Гумилева (одно к его матушке), несколькими не очень важными письмами к нему, с рукописями его переводов, напечатанных в издательстве «Всемирная литература», записями для лекций по теории стиха. Тут же приложены еще некоторые незначительные материалы из собрания П. Н. Лукницкого. Какую часть первоначального состава этого архива мне передали, установить не могу

¹⁶ Резкое противоречие с настойчивыми сообщениями Надежды Мандельштам о том, что стихи О. Мандельштама в течение 15—18 лет хранились только в ее голове.

за неимением данных. Письма Гумилева к Ахматовой хранят следы ее работы над ними: собственноручно проставленные даты, пометы, нумерация...

Мне пришлось снова выступить в роли посредника, и я отдала это небольшое собрание его законному владельцу — Льву Николаевичу Гумилеву, а он передал его в Пушкинский Дом.

С тех пор я несколько раз виделась с Линой Самойловной, стремясь, насколько я могла, содействовать опубликованию историко-литературных работ Рудакова о «Медном всаднике» и Катенине (удалось только первое). Об архивах мы тоже говорили, но до конца ни до чего не договорились.

Она признала ошибкой, что обманула меня в 1954 году, свалив на МГБ ответственность за пропажу автографов Мандельштама. У нее, мол, не хватило духу признаться, что они сожжены. С искренней убежденностью она мне сказала, что ей «все вернули!» за исключением автографа стихотворения О. Мандельштама о Керенском и вырезки из журнала с изображением фотографии русских писателей во главе с Маринетти¹⁷. Ее заставили расписаться, что она сама добровольно сдает эти материалы, и это, по-видимому, травмировало ее. Вернувшись домой, она вместе с матерью стала жечь все мандельштамовские автографы. Относительно архива Гумилева она твердо заявила, что больше у нее ничего нет и не было. И я опять ей поверила. Но в разговоре она сама, слабая и старая, проговорила, упоминая, как ей трудно было жечь в один из страшных периодов нашей жизни бухгалтерскую книгу с толстыми листами, в которую П. Н. Лукницкий вписывал данные для «Трудов и дней» Гумилева. Хорошо, что сохранилась машинописная копия этой летописи (так мне сказали осведомленные люди), но ведь на подлиннике могли быть пометы рукой Ахматовой. Зато обнаружилось, как была права Анна Андреевна, указывая на солидный вес переданного Рудакову архива.

Нелишним будет отметить, что среди писем Н. С. Гумилева к А. А. Ахматовой оказались такие, какие не попали в публикацию Аманды Хейт¹⁸, с другой стороны, у английской исследовательницы напечатаны те, которых не оказалось в переданной мне пачке, а те, которые совпадают (их большинство), печатались, очевидно, по копиям, так как в них встречаются неверно прочитанные слова.

Некоторые подробности о мандельштамовском архиве повергли меня в крайнее недоумение. Из писем Рудакова можно сделать вывод, что по крайней мере 20 блокнотов были им заполнены под диктовку Осипа Мандельштама, дающего «ключ» к своим стихам. А Лина Самойловна очень живо и убедительно несколько раз заверяла меня, что она сожгла только один блокнот (самый драгоценный!). В нем между листами было вложено по одному автографу О. Мандельштама, а на листе был краткий, в одну-две фразы, ком-

¹⁷ Маринетти, Филипо Томазо (1876—1944), итальянский писатель — родоначальник европейского футуризма, воспевал войну и жестокость. После первой мировой войны стал сподвижником Муссолини, при фашизме в Италии занимал высокие посты. В 1913 году был в Петербурге, снялся в группе с русскими писателями.

¹⁸ Аманда Хейт, будучи студенткой Кембриджского университета, приезжала в СССР заниматься биографией А. А. Ахматовой. Опубликовала письма Н. С. Гумилева к А. А. Ахматовой за 1912—1915 годы: *The Slavonic and East European Review* / Publ. by Cambridge Univ. Press. 1972. № 18.

ментарий рукой Рудакова. На меня производит впечатление, что это был только указатель к другим блокнотам. Но Лина Самойловна уверяла, что больше ничего у нее не было. «Что касается комментария к Мандельштаму, — писала она мне 31 июля 1971 года, — то его как такового не было. Была тетрадка с беглыми заметками к стихам».

Теперь уже выяснить ничего нельзя: не у кого спрашивать. Нам остается только тщательно изучить по письмам Рудакова, чем и в каком порядке занимался Мандельштам с ним. Попытаюсь в следующих главах составить такую сводку.

Есть еще маленькая, совсем крошечная зацепка. Так как я уже не в силах заниматься розысками, связанными с поездками, делюсь с исследователями этим своим соображением.

По письмам выясняется, что Рудаков нередко посылал одному своему ленинградскому приятелю копии стихотворений Мандельштама и свои соображения о ведущейся им в Воронеже работе. Приятеля этого уже нет в живых. Семьи, как говорят, у него не было. Знали его тоже умерли. Но есть один адрес, по которому, в порядке чуда, могли бы найтись какие-нибудь следы его бумаг. Именно чуда, потому что этот адрес Рудаков прислал своей жене в Свердловск в первый месяц войны. А потом в городе, где очутился ленинградский товарищ Сергея Борисовича, были немцы. А приятель тот был евреем. Какова была его судьба, теперь уже никто не знает, что уж тут говорить о судьбе его переписки? А все-таки...

Звали его Григорий Моисеевич Леокумович. 18 августа 1941 г. адрес его был таков: Ростов-на-Дону, Морская ул., д. 135, кв. 1.

Может быть, кто-нибудь доищется...

Я очень сожалею, что во время наших поздних свиданий с Линой Самойловной она не давала мне заняться вплотную письмами Рудакова, а читала вслух по кусочкам, путая числа и сейчас же пряча письмо с прочитанной выдержкой.* Правда, мне и не очень хотелось у нее засиживаться. Но если бы это было мной преодолено, а она не была столь скрытной, я бы могла задать ей в упор несколько вопросов об упоминаемых Рудаковым блокнотах. Этого не произошло.

В одну из последних встреч Лина Самойловна направила ко мне дочь Сергея Борисовича от первого брака. Они сблизилась лишь в 1951 году. Характерно, что до семидесятих годов я не имела представления о ее существовании, думаю, что и Мандельштамы ничего не знали о ней. Теперь Лина Самойловна предупредила меня, что после ее смерти Маша получит весь ее архив. Так оно и сделалось. Вместе с Марией Сергеевной мы читали письма ее отца в течение целого месяца, ни на что другое не отвлекаясь.

Среди бумаг обнаружили еще копии нескольких неизвестных стихотворений Мандельштама. Нашлись также письма Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны к Рудакову.

* Ныне архив С. Б. Рудакова находится в Российской Национальной Библиотеке в СПб и в Институте Русской литературы РАН (Пушкинский Дом). (ред.)

**I. ПИСЬМА И ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА С. Б. РУДАКОВУ.
ПИСЬМА Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ ЕМУ ЖЕ**

1. [6.VI.1935]

Я у врача. Разыгрался гейморит. Ждите.

2. [7.VI.1935]

Я в клинике рядом с Первомайским садом или в Поликлинике ул. Энгельса (по Комиссаржевской и направо).

У горловоиков. Зайдите туда. Надо срочно показать снимки.

3.

Лине Самойловне Рудаковой — в хорошее, рабочее и дружное воронежское время — с сердечным уважением

О. Мандельштам

25 сент. 35 г.

4. [без даты]

Дорогой Сергей Борисович,

Без вас ничего делать не хочется, вся жизнь переменилась. Пришел к нам Троша.

Привет от всех нас.

Вы самый большой молодец на свете.

О. МАНДЕЛЬШТАМ.

[Приписка Н. Я. Мандельштам]

Все идет хорошо, а потому я думаю написать, а дня через 2—3 позвонить Лине Самойловне. Вы ей тоже дня через два сможете написать. Передайте через врачей, как вы себя чувствуете, чего вам можно прислать из еды (икру? вино? масло? печенье?), чего вам хочется?

Сестрам тоже напишу дня через два. Будьте молодцом и поправляйтесь. Н. Манд<ельштам>.

5. [без даты]

Дорогой Сергей Борисович,

Как-то вы расскажете о своем больничном житье? Вы там с ребятами? Да? А я в театр хожу на репетиции. Горького ставим. Дома книжки читаем да чай кипятим. Ой, скучно. Передайте — чем бы Вас утешить.

Привет сердечный.

Ваш О. М.

6. [не позднее 4.XII.1935]

Дорогой Сергей Борисович,

Разговор с Линей Самойловной вчера не состоялся из-за порчи линии. Перенесли на сегодня. Вчера предупреждение не было дано. Сегодня добьемся обязательно хоть срочным — лишь бы линия работала. Колли принес замечательные фотографии. Вы — здорово вышли в двух видах.

Скучаю! Сердечно приветствую.

Ваш О. М.

Что нужно? Чего хочется?

Сообщайте желания!

[Приписка Н. Я. Мандельштам]

Сегодня попробуем дозвониться, если исправят линию. Письма — подробные — успокоительные — я написала и Лине Самойловне и Алле Борисовне. Завтра опять напишу, чтобы они не волновались. Колли принес фотографии — чудные. Что вам прислать из еды? Скажите Стефану и Богомолу. Я с ними по утрам разговариваю. Есть ли еще одеколон? или вышел?

7. 9.XII.35.

Милый Сергей Борисович!

Нынче Ося собирался написать вам большое письмо, и я не хочу перебивать его сообщением вразброд всех наших планов, дел и пр. Впрочем, ничего нового у нас нет, кроме того, что скучаем по вам.

Ося собирается в санаторий под Липецк. Я связываю свой отъезд с ним. Что еще? Все.

Наташа уговаривает нас переехать в какую-нибудь дешевую и хорошую комнату. Боясь, что это скоро случится.

Еще? Кажется, ничего.

Приедет ли Лина Сам. или вы поедете к ней, чего вам желаю?

Получаете ли вы от нее письма? Нам она ничего не ответила — очевидно, пишет вам.

Слушайте, Трошину сестру надо устроить «по медицине» (санитаркой). Я хочу это сделать через Стефу. Уговорите его к нам зайти. Скажите ему, что я его очень прошу к нам зайти. Еще? Как будто ничего. Ося возится в театре и из чувства долга затягивает санаторий, хотя он очень устал и ни на кого не похож. Читайте детские сказочки и Сумарокова и скорей выходите. Н. М.

8. 10.XII.35.

Милый Сергей Борисович!

Второй день Ося не может вам написать, как хотел, большого письма. Нынче получили ваше письмо (Оси нет дома), и я решила предварительно «за Осю» хоть немножко вам написать и оправдать моего старика (хотя он, конечно, свинья). Дело в том, что в театре сейчас горячка, выпускают две постановки, и Ося помогает (рыжий, помогай!). Он сидит на репетициях, пишет брошюры и т. д. Это курьезно, но ему, видно, нравится внутри

театра. Сегодня его поймал Вольф и спросил, почему он так худеет. Выглядит он действительно очень плохо, очень слаб и т. д. Но по своему стахановскому темпераменту не едет в санаторий, а продолжает прыгать. Вчера: с 11 до 3 — репетиции, с 4—6 — писание брошюры, с 6—8 — обсуждение брошюры в театре, с 8—11 — «Аристократы» (смотрел спектакль, чтобы сделать монтаж), с 11—12 — баня! Нынче репетиция; сейчас, съев манную кашу, пошел к Елозе. В связи с его канителью задерживается мой отъезд в Москву. Меня это очень нервирует. Но бросать его сейчас, когда уже чужие замечают, какой он облезлый, я не хочу. Мне ужасно неприятно, что мы вам последние дни ничего не передаем (кушательного). Я знаю, как плохо в больнице. Но мы сейчас в большом болоте: до 14 числа остались на одном театре, запутались и т. д. К 14 опять будем жизнеспособны.

Я очень обрадовалась вашему письму и поездке Л. С. Я очень в нее верю. Почти уверена. Да, нынче, вместе с вашим, получила очень милое письмо от Аллы Борисовны. Сейчас Троша за собственный счет отправит ей ответ с известием о вашем состоянии. Писали ли вы ей? Мне Б<огомолов> говорил, что он отправил от вас письмо в Саратов, и я успокоилась. Но она как будто не получала. Во всяком случае, подтверждение со стороны о вашем состоянии — только хорошо.

Ося много о вас говорит, скучает. К вашей обиде: он вас назвал (по поводу болезни) бедным *мальчиком*. Я сама слышала.

В смысле работы — не томитесь: Ося будет работать, а я вам из Москвы привезу массу.

Впрочем, надеюсь, что вы сами пороетесь в сундуке и сами выберете все, что вам нужно.

Троша — очень милый и хороший человек. Его отношение к вам прямо чудесное. Сейчас он спасет нас: отправит письмо вашей сестре (у меня нет на марку!).

Всего вам хорошего.

Ося вернулся, сидел просто в библиотеке «Коммуны» с материалами по театру, но сейчас — не стоит ему писать: одна чепуха будет — очень устал.

9. 17.XII.35.

Дорогой Сергей Борисович,

Что сказать о себе? Устал очень. Настроение твердое, хорошее. Сдружился с Театром. Кое-что там делаю (не канцелярия).

Затеял ехать на месяц в санаторий (областной). Денежно театр все оборудовал, будто я старый работник. Поеду, кажется, 20-го. В нервный, в Тамбове, не хочу. Выбрал Липецк, общий. Лишь бы отдельную комнату дали. С Союзом писателей и через Союз (начиная с Воронина) начал большой разговор. Сказал свое слово. Они отвечают. Это очень важно и весело, хорошо. Завтра получаю 3-годовалый паспорт. Получил письмецо от Эйхенбаума, который остановился в Москве у нас.

Надя везет в Москву все воронежские стихи.

Концерт был хороший. Виолончель — Цомык. Играл на Страдивариусе. Скажите врачам, чтобы наушники радио у вас устроили. Это для выздоравливающих полезно. А я похлопочу в Радио-К<омите>те.

Если у вас другого отдыха не предвидится — не хотите ли «ко мне» в санаторий. Это вам можно. Окрепнуть надо. Пишите Л. Сам. (Эта фраза вписана между строк. — Э. Г.) Там вместе 2 недели — поработаем.

Идет?

Привет сердечный.

Ваш О. М.

10. 3 апреля 1936.

О. Мандельштам.

Поживем — поглядим,

С.Б.!

М.

11.

...Шли нестройно люди, люди, люди...

Кто же будет продолжать за них?

Шизоидный психопат.

О. М.

В. 30/V/36.

12.

Эта книжка доставила большое огорчение моей покойной матери, прочитавшей в «Речи» рецензию Н. О. Лернера.

О. М. В. июнь 36.

13.

Задонск, осень 1936.

Дорогой Сергей Борисович,

Спасибо за весточку. Я сейчас не болен, но очень тяжелое самочувствие. Не знаешь, что делать с собой. С Над. Як. гораздо хуже: она очень слаба, резко изменились. В городе нам жить не придется: во-первых, нечего делать, а во-вторых, нам недоступны городские комнаты. Может, в Сосновку переедем. Пишите о себе как можно чаще. Присылайте нам книги.

Хочу читать испанских поэтов. Дostaньте, если можно: 1) словарь и грамматику., 2) хрестоматию, 3) лучших авторов — лириков и эпиков. Нас допекают мелкие заботы: обувь для обоих нас, зимнее пальто для Нади. Вряд ли справимся с этой проблемой. Она же затрудняет передвижение.

Пишите теперь до востребования: где будем жить и как, мы не знаем. Только пишите.

Ваш О. М.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМАМ О. Э. и Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМОВ

1—2. 7 июня 1935 г. Рудаков писал жене, вложив в письмо оба автографа О. Э. Мандельштама: «Вот какие записки я застаю приколотыми к двери».

3. Дарственная надпись на «Второй книге» О. Мандельштама (М.: Круг, 1923).

...*хорошее, рабочее и дружное воронежское время* — Подразумевается совместная работа О. Э. Мандельштама и С. Б. Рудакова над комментарием к стихам и творческой биографией Мандельштама. Жена Рудакова оказывала им помощь, присылая из Ленинграда книги и переписывая нужные материалы. В сентябре 1935 г. проводила свой отпуск в Воронеже.

4. *Троша* — рабочий-комсомолец, снимавший комнату совместно с Рудаковыми.

Сестры — Людмила и Алла Борисовна Рудаковы, высланные из Ленинграда, поселились в Саратове. Вернулись в Ленинград, по-видимому, одновременно с братом.

5. *А я в театр хожу...* — С 7 (?) октября 1935 г. до 1 августа 1936 г. О. Э. Мандельштам числился в штате Воронежского Большого советского театра в качестве консультанта (?).

6. *Колли* — 23.XI.35 г. Рудаков писал жене: «Пришел Колли... Говорит, что он молодожен (это по сравнению со мной — ему 23). Человек ультраблагополучный. Сытый». 2.XII. — «Колли снял меня, и, говорят, вышло очень здорово. То же отдельно О. (отдельно, т. к. снимок в разное время)».

Стефан (Стефен) Александр Иванович (1885 — после 1942) — дипломат, писатель, отбывал ссылку в Воронеже.

Богомолов Леонид Иванович — ленинградец, врач, работавший в Воронеже, вероятно, тоже высланный.

7. *Наташа* — хозяйка комнаты, снимаемой Мандельштамами.

Читайте детские сказочки и Сумарокова... — «Сказочки» Рудаков брал у больных детей, своих соседей по палате. С собой у него был VIII том 2-го издания Полн. собр. соч. А. П. Сумарокова, его любимого поэта XVIII в., которым он зачитывал Мандельштамов.

8. *Вольф С. О.* — директор Воронежского Большого советского театра.

«Аристократы» — пьеса Н. Ф. Погодина.

Елозо С. В. — редактор воронежской газеты «Коммуна» и член редколлегии журнала «Подъем».

...*я вам из Москвы привезу массу.* — Здесь и в следующем абзаце речь идет о рукописях О. Мандельштама.

...*сами пороетесь в сундуке...* — намек на возможность скорого возвращения Рудакова; надежды связывались с поездкой Л. С. Финкельштейн-Рудаковой в Москву.

9. *Выбрал Литецк...* — 18 декабря О. Э. Мандельштам поехал все же в нервный санаторий в Тамбове.

Получил письмо от Эйхенбаума и далее — Б. М. Эйхенбаум приезжал в Москву из Ленинграда по делам редактируемого им издания сочинений М. Ю. Лермонтова (М.: Academia, 1936—1937). В московской квартире Мандельштама жила его теща, а наездами из Воронежа — жена.

10. Две надписи на экземпляре «Египетской марки». Сделаны в первую годовщину встречи в Воронеже. Вторая надпись, очевидно, итоговая — после большого разговора 3.IV.36.

11. Написано на листке с исправленным последним стихом стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой», подаренном автором Рудакову. Приводится по копии из письма Рудакова 30 мая 1936 г. с его объяснением последнего исправления: (вместо «Продолженье зорких тех двоих»).

Шизоидный психопат — медицинский термин, почерпнутый из документа поликлиники, обследовавшей О. Э. Мандельштама 27 мая 1936 г.

12. Дарственная надпись на «Камне» (СПб., 1913), подаренном Рудакову в Воронеже 19 июня 1936 г.

13. *Сосновка* — поселок под Воронежем. Намерение Мандельштамов поселиться там не реализовалось. Они сняли комнату в Воронеже.

II. ПРОПАВШИЙ «КЛЮЧ»

В совместной работе Мандельштама и Рудакова были свои приливы и отливы. Осип Эмильевич не мог работать систематически. После бурных первых двух месяцев общения с Рудаковым, ознаменованных процессом писания новых стихов, начался отлив непосредственной творческой поэтической энергии. Мандельштам занялся вместе с Надеждой Яковлевной поденной литературной работой — рецензии, монтаж о Гете и другие заказы для радио, наконец, театр.

Однако вне своей поэзии Мандельштам жить не мог, и он предпринял вместе с Рудаковым пересмотр всей своей поэтической работы, начиная с 1907 года и кончая самыми последними воронежскими стихами. Если при первом знакомстве Рудаков предстал перед Мандельштамом как задорный петушок, задумавший огромную книгу по теории и истории русской поэзии, то теперь его задачи сузились. Было решено подготовить комментированное собрание стихотворений О. Мандельштама, и даже стала намечаться монографическая книга Рудакова о нем. Это начинание сопровождалось поощрительными возгласами безмерно увлекающегося Осипа Эмильевича. Читая о них, мы, конечно, не должны забывать, что знакомимся с ними в интерпретации Рудакова. Тем не менее он был достаточно объективен и, главное, обладал чутьем к интонации и слову. Поэтому реплики Мандельштама передаются им в живой непосредственности. К сожалению, в изложении длительных и содержательных бесед с Мандельштамом Рудаков пространнее, чем своего собеседника, передает собственные речи. Но, зная об этом его свойстве, читателю не так уж трудно будет восстановить равновесие, опираясь на знакомый стиль прозы Мандельштама.

Замысел начал осуществляться 23 мая (1935). «Пишу карандашом, потому что жизнь у Мандельштамов, — сообщает в этот день Рудаков. — Сегодня там занимались диктовкой (уже около 300 стихов!), ах, Лица, что это? Этим я искусственно остановил, нейтрализовал разрушение новых стихов. Он весь в припоминании. Лица, чудо, что мы встретились. Сейчас он ежедневно долбит: работайте, пишите — и у меня будут новые вещи, а работа о нем будет изумительна».

«Сейчас, — пишет Рудаков 26 мая, — он, может быть, уедет раньше меня. Это неопределенно. Надины еще нет, и нет именно поэтому. А то, что эти месяцы мы были вместе, — удивительное историческое событие. Посмертно стихи все завещаны мне, его собственные слова: “Вы будете единственным душеприказчиком и издателем Мандельштама”. Сейчас Надин, может быть, уже привезет старые вещи из дому. На благополучный Ленинград расчеты о новом вечере — со мной».

Работа шла интенсивно.

Уже начиная с диктовки неизвестных Рудакову стихов 1930—1933 гг. (406 строк) попутно шли разговоры. Так, 11 июня Рудаков пишет: «Мы решили систематизировать, с его слов, курьезы низких оценок его за 30 лет».

29 июня. «Только что вернулся от М—ма. Усталый, как после 100-часовой работы. В твой белый блокнот надиктовано больше ста пятидесяти строк, а главное, обнаружили большие вещи, им начисто забытые. Вещи порой первоклассные. Куча кокте-

бельских стихов невозвратима, а эти попугаи психуют из-за потери коктебельских камешков. У Н. постепенно выветривается ко мне недоверие (точнее, нежелание пускаться к Оськиному наследству)... Она обещала записать потихоньку то, что сам О. не дал».

Диктовка новых ненапечатанных стихов продолжалась до 30 июня. К этому времени вместе с напечатанными в журналах у Рудакова скопилось до 1000 стиховых строк за период 1930—1934 гг. «Заполнился весь белый блокнотик», — отчитывается Рудаков перед женой.

Где он, этот «белый блокнотик»¹⁹?!

В нем 12 страниц были заняты черновиками «Ариосто», а 5 — автографами Мандельштама. По-видимому, Осип Эмильевич, припоминая утраченного «Ариосто», собственноручно вписал в блокнот Рудакова какие-то варианты.

Письмо от 1 июля свидетельствует о спаде работы: «Вообще с ним очень трудно, и минутами все кажется лишним. Но стихи, может быть, только он и умеет писать сейчас».

Был момент, когда припоминание старых стихов у Мандельштама привело, по словам Рудакова, к «полулюбивной трагедии»: «они ушли и “ходят и разговаривают” и в розницу делаются со мной былыми грехами, один о другом рассказывая». Это Рудаков сообщил 1 июля, а 2-го продолжает: «У них сейчас тихая драма. А я повинен в ней. У О. есть женские вещи, не ей посвященные, а есть вещи, написанные в часы, когда она думала не о нем (их она наизусть не помнит и не любит). — Воспоминанье для диктовки мне тех и других привело к воскрешению запретного прошлого. Они стали заниматься мельчайшими взаимоупреками и (я уже писал) излияниями мне горя своего. Бежать бы мне от этих мест — вот единственное, что могу говорить об этом. Неловкость не хуже той, какую мы испытывали при Роме-Жениных затмениях. Уже кажется — вот сейчас скандал разгорится, а стихи, к слову сказать, становятся яснее и сильнее от этого».

Эти припоминанья «женских» стихов оказались для нас, читателей, плодотворными. Тайно от Нади Осип Эмильевич надиктовал Рудакову два стихотворения: «Твоим узким плечам»; обращенное к М. С. Петровых,²⁰ и «На откосы, Волга, хлынь», посвященное Е. Е. Поповой-Яхонтовой.

Весь июль прошел у Мандельштамов под знаком подготовки радиопередач, поездок в колхоз от газеты с последующим писанием очерка — неудавшегося. Плановые занятия с Рудаковым были прерваны. Только 5 августа Рудаков сообщает:

«С почты иду к М. Они вчера коллективно кончили очерк, и, м. б., наступит полный мир, — тогда начну доить Оську исторически. С собой предусмотрительно беру бумагу и развитый вчера планчик. Он человек стихийный, и важно его втянуть, толкнуть в определенном направлении, а там он и сам покатится. Хоть бы успеть!»

¹⁹ В архиве Л. С. Финкельштейн этот блокнот, да и другие, не обнаружен.

²⁰ Надежда Мандельштам пишет в одной из своих книг, что это стихотворение посвящено ей. Она как-то бегло и сухо сообщает, что О. М. показал его ей. Но это неверно. У меня есть первый машинописный список еще не напечатанных стихотворений О. Мандельштама, который Н. Я. мне диктовала в 1956 или 1957 году. Там этого стихотворения нет. Н. Я. его не знала и впервые получила из рук Н. И. Харджиева, списавшего его с копии С. Б. Рудакова.

Как будто Осип Эмильевич опять охладел к «припоминаньям». Но бесспорный интерес проявляет к этой работе его жена.

«Немного, но очень искренне помогает Надежда Яковлевна, — пишет Рудаков 6 августа, — но мне тревожно... Все же Воронеж богатейший, но план не остался бы иллюзией, очень это нужно. С Над. Як. всяческие литературные разговоры, упершиеся в то, что они через Анну Андреевну нажмут на вопрос пуска меня к материалам Гумилева. Боже, жить бы и работать! Вчера в порядке отрезвления от очерка он вслух читал Данта. Во-первых, здорово, а во-вторых, он без словаря переводит труднейшие места. Смотрели по подстрочному изданию».

«...Ночью. Дома.

...Вот сегодня весь вечер разговор с ним с записями по плану. Уйму сделали, многое еще впереди, но времени, так интенсивно организованного, как сегодня, надо не так уж много. Отдельно постараюсь по датам сделать биографическую канву».

«А вот кусочек: осколок забытого сонета Гумилева (год 1915)...

Надеюсь с вопрошательства все переключить написание и в их отъезд позаполнить большую тетрадь. Предыстория сделана (исключая описания вечеров Капеллы). Сейчас ретроспективно восстанавливаю Воронеж. Любопытно, что без писем, а по ним — дополним».

Полный контакт установился у Сергея Борисовича и с Надеждой Яковлевной. 21 августа он пишет: «Я хитро ее познакомил с программой по О. Она обещала: 1. Дать шуточные стихи. 2. Из Москвы привезти все черновики и свои о нем дневники. 3. Все, что может стихово вспомнить. 4. Написать его биоканву по датам.

Рассказала о всех его любвях, не щадя себя (т. е. хваля их — это форма самозащиты). Говорили о нем, как о младенце. Она поможет — есть пафос в ее секретном от него участии».

Свою отдельную работу Рудаков делает в это время без Осипа Эмильевича. «Об О. тысяча мелочей и крупностей интересных, но их не пишу, т. к. они сейчас откладываются в систематические записи» (7 августа).

«По Мандельштаму веду работу двоякую — биографические ретроспективные записи и планы и соображения о анализе конкретного стиха. Первое больше записывается, второе — больше думается» (10 августа). «Сегодня много писал по М., и вот новость, какой раньше не знал. Не только записывал мысли, а при говорении нахожу в процессе изложения новые (16 августа). К твоему приезду будет целая тетрадь об Осе. Когда проглядываю сделанное — кажется, что это необходимое и само по себе и как будущий заряд для работы теоретической» (18 августа).

Но если Надежда Яковлевна признала работу Сергея Борисовича, то Лина Самойловна, напротив, беспокоится. Она опасается, что Осип Эмильевич слишком заполняет собою время ее мужа, и это мешает Рудакову самому писать стихи. В этом ее убеждает сам Рудаков, постоянно жалующийся ей на «непризнание» его Осипом Эмильевичем как поэта. Общее хозяйство тоже, казалось ей, имеет свою отрицательную сторону. Она считает, что Мандельштамы эксплуатируют Рудакова. Ему приходится защищать их в своих письмах и оправдываться перед Линой. «Ваше письмо о моих неравновесиях забыло, — пишет он 17 августа, — что волнения мои почти всегда материальны... и редко ссоры с О.

Силу его личного воздействия вы преувеличиваете. Пишу о нем записки эти дни и вижу, какой я не зависящий от него на всем пути».

Все это вылилось в объяснение, проведенное при участии Лины Самойловны в сентябре, когда она, видимо, проводила свой отпуск в Воронеже. Писем Рудакова, конечно, за этот месяц нет, но отклики и ссылки на эти сентябрьские беседы мы встречаем в позднейших письмах неоднократно. Вообще приезды Лины Самойловны в Воронеж не способствовали установлению мирных отношений. После первого ее посещения мужа заметно изменился тон его сообщений о Мандельштамах. Только тогда появились так режущие наш слух фамильярные наименования — «Надька» или «Надин» и «Оська» и даже «псих». Она не ожидала, видимо, что маститый поэт так прост в обращении, и спровоцировала Сергея на это амикшонство в его сообщениях о Мандельштамах. И все же сентябрьские разговоры были заглажены Осипом Эмильевичем открытой прекрасной надписью на «Второй книге», подаренной Лине Самойловне 25 сентября: «в хорошее, рабочее и дружное воронежское время».

Работа и настоящее общение возобновились в конце октября. До тех пор шли только записки биографического характера со слов Надежды Яковлевны. 2 октября: «С Н. опять биографические разговоры, раскрытие посвящений²¹. Мандельштамы клятвенно обещали, что через Анну Андреевну я буду работать над Гумилевым». 17 октября: «С Н. записывал биографию».

Наконец, 22 октября читаем в письме Рудакова: «Чего не было давно, пришел от О. поздно — неожиданно опять литературные разговоры, воспоминания».

Может быть, Осип Эмильевич разговорился под влиянием присылки Линой Самойловной «Камня» 1913 года. «О. на “Камень” и обрадовался, и разгрустился», — замечает Рудаков 21 окт. Но 23-го он сообщает: «Разговоры, и все с ним пошло после концерта певицы типа Ирмы Яунзем (Фрейчко, кажется)».

В программе концертов исполнительницы народных песен Дины Фрейчко, устроенных в зале музыкального техникума Облрадиокомитетом 22 и 23 октября²² значились русские, украинские, еврейские, грузинские, армянские, белорусские и другие песни. Видимо, у Мандельштама была сильная внутренняя тяга к народной поэзии и музыке. Вспомним его более раннюю рецензию на Дагестанскую антологию²³, а 30 сентября Рудаков сообщает: «О. все пытается писать проспект фольклорной книги — у меня советы выспрашивает». (Типичное для Рудакова подчеркивание своей роли. Вероятно, Осип Эмильевич не советы выспрашивал, а делился своими соображениями и проверял их в живой беседе.)

24 октября.

«Дома... Занимаюсь О. Смотрел свою тетрадь. Лина, это бездна материала! и мыслей!! Необходимо продолжать. Иначе глупо и нечестно. Всегда потом, при надобности, можно перетрясти, но сейчас писать и писать.

С О. немного работал над его прозой. По его “Шуму времени” и “Египетской марке” примечания труднее добывать, чем по стихам: ведь это проза, значит, нужное уже сказано и не требует повторения. Это его логика».

²¹ Теперь уже все эти посвящения раскрыты — Цветаева, Ваксель, Арбенина, Петровых.

²² Сведения из воронежской газеты «Коммуна».

²³ См. мою публикацию «Забывшие рецензии О. Мандельштама» в «Вопросах литературы», 1980, № 12.

25 октября.

«Сейчас много работаю над О. Стянул копию анкеты, им заполненной (Напоминаю, что О. Э. Мандельштам служил в театре с 7 октября. — Э. Г.). Родился 3 января 1891 г., и интересное изложение своего социального происхождения. Документик!.. Н. старается ублажить меня диктовкой его биографии. И то благо, но освещение событий у нее с претензией, с наглостью и пошло по окраске, не в пример О.»

26 октября.

«Н. систематически диктует его (и свою) биографию. Есть 19-й, 20-й, 21-й и начало 22-го года».

27 октября.

«О. все сходит с ума о своем положении. Об этом у меня копяты записи».

28 октября.

«Из О. постепенно выкачиваю дело. То же (активно весьма) из Н.»

2 ноября.

«Вот ты пишешь, что я не хочу, не говорю тебе о литературной жизни своей (и О.), — боишься, что это сознательно. Кит, мой маленький, да разве это может быть? Просто тот кусочек разговоров был малым островком, это во-первых, а во-вторых, то, что теперь удавалось выудить, это чистые комментарии, и они сразу вставали на свое место в блокноте и, естественно, не дублировались в письмах, не пересказывались. А бытовым образом (особенно с его болезнью) мы бесконечно замотаны. Само по себе это даже повод для писем, но последние дни я как-то лишен способности наблюдать, может быть, нет деталей, а одна полоса нервов. А главное, что пишу тебе всего себя без нарочных утаек. Театр, болезнь etc. как комментарий должны воплотиться в тетради № 2. В этом смысле их обдумываю. И тут проклятое его фонбаронство: во всем видеть фабулу, фабульность своей судьбы. Это ложно, надуто и вместе безумно вяжется с его образом. Болезнь, как интервал, дала убеждение, что служить больше нельзя, это есть самоожжение, это вредно. Упадки сменяются скандалами с Н. (с терминами: дура, дурак, скотина, сволочь и т. д. в рамках мещанско-комнатной ругани с психологическими экскурсами в область этики поведения в общежитии). Деньги у них почти последние: тревога, а все к мысли, что он устроен (служит), привыкли и не беспокоятся. Н. тоже нездорова (сильная простуда). И я сегодня звонил ее брату... Ответ от Евгения Яковлевича, что “общее не время”, а деньги, может быть, еще достанет (это у них называется независимость от родни...). Богомоллов мил, внимателен и сам одинок и задавлен... О. стал ему о своем величии доказывать... Хорошо, что я успел Богомоллова предупредить (не столько о величии О., сколько о мании величия как о следствии жизненной загнанности при фактически первоклассных литературных данных, — ведь яснее ему втолковать нельзя, в большее со слов не поверит). Это все для 2-й тетради. Пусть не звучит сплетней. Стыдливые многоточия всегда можно будет вставить. Психованья — это налет, а впрямь они больны, и сейчас не грех с ними возиться. Сегодня оговорено: в день полчаса литературной работы (комментарии насильственно, как лекарство)».

4 ноября.

«Сегодня у меня день поворотный. Именно — начало литературной работы. Мы почти час работали по Tristia, и, кроме того, я массу у него вытянул попутно. Я лукавыми

разговорами (после должного выяснения данных по анализируемому стихотворению) свожу Оськину мысль на общие вопросы. Метод такой. Я говорю о своей (или чьей-нибудь) точке зрения, а он возражает и плывет по данному направлению, себя проявляя. Далее: выматываю сведения о писателях. Сегодня: Рукавишников, Сологуб, подробно Дм. Петровский и стихи последних номеров («Знамя», «Звезда», «Новый мир»). А фон — расспросы о теоретической работе — о его Данте. При этом он чувствует, что фиксирую только комментарии к стихам!»

5 ноября.

«Много и хорошо работаем — через 3—4 сеанса кончится книга 1928 г. Масса ценнейшего укладывается в блокнот с примечаниями. И опять тупик: понял, что примечания сам, т. е. из О., выматываю и огромную долю своих мыслей апробирую и с его изволения фиксирую. Сам это всегда отделить сумею, но делать двойные примечания нелепо сейчас. А тут игра: если это М. — ему все верят, а если это я — сомнения. А выдавать все за М. — значит себя “затирать”. Все это нормально должно утрястись и в боковых и предисловных словах должно быть где-то названо. Верно? А техника растет. Как он станет менее подробен, я ему чего-нибудь вопросительно-раздражающего, и он оживляется, и едем дальше.

Н. сплошь обыгрываю — шахматы и семечки — нагая вольность: вопреки вкусам О.»

6 ноября.

«А днем — по покупочным делам — бега бестолковые. Просветы разума у О., с ним почти хороший разговор о Хлебникове, об акмеистах, а после (часов с 6) психованье — страх за болезнь, и я тащусь к Богомолу, с ним обратно, он разговорчив и сидит вечер. Пусто и бессмысленно. О. не замечает, что собеседник не в курсе его дел, и тонко плетет ему о своей политике, а тот ушами хлопает. Пусто, и нет все оправдывающей работы, напряжения, при котором О. из маниакального больного делается человеком, собой.

Попробую записать кое-что о Хлебникове и ложусь».

7 ноября.

«У О. разговоры о нашей форме жизни, о ее беспредельности узаконенной. Вдруг, как пишется, осозналась нелепость этого. Почему? Зачем это? И как в письме, что писал тебе в конце первого нашего лета (еще на “вы”, еще до всего), стало ясно настоящее с высот будущего. Как изумительна встреча с М. И через все бытовые дебри его (их) изломанного лица пробираемся мы к историческому и неповторимому. Он говорил о моих стихах, как о будущем, о своем автопротесте на них и о изумительной моей выдержке к нему, к его стихам. Линонька моя, когда это кончится, будем вместе, я буду писать о нашей воронежской свободе, о мире, открытом в будущее за счет ненормального настоящего.

Написали план работы. Именно: кроме примечаний составить письма (до десятка): в Секцию поэтов, Щербакову, Пастернаку, М. Шагинян, Селивановскому, в редакции журналов. Снабдить их стихами и пояснениями к стихам (а мне это и комментариями будет). Это должно создать оживление вообще, а для О. “внутреннее движенье”. Пусть утопия, но работа и нужная по существу, как анализ. Сейчас кончаем Tristia. Лина, характер записей углубился невероятно. Боже, сделать бы так Гумилева! Самому или с Анной Андреевной! А там и теория поэзии сложится сама.

Интересные дополнения.²⁴

Нет покоя, и сонет не тронут сегодня.²⁵ Примечания же идут очень хорошо».

21 ноября.

«Пока начал его тормошить: записана забытая вещь 1930 года».

(С 25 ноября Рудаков лежит в больнице)

8 декабря.

«От Н. записка — посылаю: храни для истории (все-таки оценка Оськой)... Троша принес Посмертный сборник Гумилева. В нем — спасенье — святой гений».

26/27? XII.

«Днем опять залез в пустую палату: там занимался лозунгом и писал об О. Пока немного. 18 таких страничек (это не считая конспективной части работы — плана)... Минутами мне кажется, что делаю что-то не то. Но когда перечел вчерашнее и подумал, что бы я сказал, если бы мне дали такие записки о Гумилеве, хотя бы, решил, что обсудить это можно будет после, а сделать необходимо, были кусочки неверия в свою литературу, но это только тень».

26 декабря.

«Свежие фактические данные должны найти себя, встать на место, воплотиться. А это великая тяжесть. Можно ее обойти. Это то самое, что подчеркивает Эйхенбаум в последней газетной статье о Толстом, это тяжесть творческой необходимости. Без нее нельзя. С нею ух как невесело бывает. Кажется, что мог бы сейчас это все (материалы) диктовать, рассказывать, превратить в ряд мелких докладов-сообщений. Но писать одному, молча, на этих листках мучительно. Это же чувство бывает, когда новые стихи намечаются, но неясно, это же чувство, когда они не ловятся. И вместе с тем работаю.

Писал вот что. Рассказываю, хотя это тайна, т. е. полная еще неосуществленность. Рассказываю, хотя тебе, может быть, было бы интереснее видеть готовое.

Так вот. В беспорядке на большом листе набросал иероглифические факты: так эпизодов на 30. Затем на этих листках стал их (факты) группировать. Принцип: пороки. Так сказать, дантовский ад. Хотя номенклатура грехов моя собственная, получилось введение (трехчастное) и пять групп эпизодов. Разумеется, что все это останется рабочей канвой, а то, что расскажет, будет нитью случаев из нашего Воронежа, случаев, освещенных некоторым единством (цель!). Все это — продуманная схема тетради № 2 (т. е. того, что оно могло стать, продуманная сейчас, заранее, в противоположность тетради № 1, которая на первые две трети делалась стихийно). Живопись, фактура, может быть, частично в духе тех двух отрывков, что в начале болезни тебе послал (отрывков, так тобою одобренных)²⁶. Но вообще, конечно, манера в каждом отдельном случае будет, очевидно, диктоваться частными условиями».

²⁴ Приводятся варианты, теперь уже опубликованные в издании «Библиотеки поэта», к стихотворениям «Я изучил разлuku расставанья» и «Чуть мерцает призрачная сцена».

²⁵ Рудаков подразумевает свое новое, трудно завершаемое стихотворение.

²⁶ Эти отрывки в архиве Л. С. Финкельштейн не обнаружены.

29 декабря.

В предыдущих письмах Рудаков посылал жене цикл из трех стихотворений о сверчке, а в ответ на ее критику и советы прислал такое:

В ночи блужданье светлячка,
Несущего слепой фонарик,—
Ступеньки арии сверчка;
Ступенчатых окружных арий.

Долбленье нашего жилища —
Работа сонная горька:
Она и музыка, и пицца
Степного, нежного зверька.

28—29 декабря 1935. Плехановская больница.

«О. по композиционной аморфности это сделал бы “IV”, а я знаю, что материал тот же (около), но в цикла не входит. Любопытно как параллель к “I”, но самостоятельная». 30 декабря.

«Мои писания об О. растут, но так хочется работать литературно, вполне официально и спокойно. Иметь среду (ведь Григорий Моисеевич — “Пятница”, извини за несвойственное мне острение)».

К письмам Надежды Яковлевны в больницу надо прибавить еще одно, до нас не дошедшее. О нем рассказывает Рудаков 3 января 1936 года: «Н. мне прислала письмо из Москвы... она мне привезет кучу (часть перечисляет) материалов... Сама же просит ей прислать кое-что, что есть у меня, а у нее нет. Будет она в Москве до 10—12-го. Я не успею... хочу попросить тебя... посылая, объясни, что я просил это сделать, т. к. сам не успел бы, и у тебя тексты проверенные... надо ей: восьмистишия (кроме “Шестого чувства”, “бабочек”, “чертежника”, “голуботвердого глаза”, о Белом большие длинные стихи и воронежские, кроме Чернозема, Стансов, Скрипачки, Венка (подразумевается стихотворение «Не мучнистой бабочкою белой». — Э. Г.), и “День стоял о пяти головах”».

5 января Осип Эмильевич вернулся из тамбовского санатория раньше срока («Вот тебе и приглашение», — горько замечает по этому поводу Рудаков). О. Э. тотчас звонит по телефону в больницу, нетерпеливо спрашивает, когда выпишут Сергея. Поэт один, Надежда Яковлевна в Москве. О. Э. объявляет по телефону, что его стихи приняты «Красной новью». 11 января Рудаков возвращается домой. 15-го ждут Надежду Яковлевну — «с материалами! — добавляет Рудаков. — О. троекратно говорил, что будем работать». В тот же день докладывается о ее приезде: «Все московское до гибели неутешительно. “Новь” — миф утешающий. Нервно О. очень плох, а о Москве всего не знает».

«Н. Я. привезла мне столько, что жутко и торжественно стало на душе. Потом подробно. Просто сокровища... Потом Н. мне потихоньку о радостях московских. А я эгоисти-

чески рад привезенному. У Н. формула: “Я хочу сохранить имеющееся”, т. е. написанное, не заботясь о том, сможет ли он еще писать. Тут доза риторики, но это искренно, и мне действительно все переходит, кажется».

16 января.

«Сегодня забрался домой рано, в 7 часов, и весь вечер буду работать, читать “Разговор о Данте” и еще всякое. Мне с моей тягой к пейзажу в графике безумное наслаждение доставила Надин: Оськины рукописи. Это и лес, и парки, и луга, и даже безводные пустыни. До 300 листков, от мазаных черновиков до беловых редакций, оформленных изумительно (в простоте, конечно). Неимоверно расширен круг стихов 1907—1920-х годов. Просто непредставимо. А варианты!.. Только бы свершить задуманное.

Если Н. не врет, в Москве многие знают о этой моей работе через Ленинград, т. е. помимо Н. самой (через Степанова и Тынянова).

...Оськин Дант — ключ ко многому, если не ко всему: положения, там трактуемые, очень четко формулированы, но это все есть в его новых (1930—1935 гг.) стихах. Почти каждый абзац имеет себе стихотворную параллель. Он (О. Э.) будет в ярости, когда я так разложу его работу на элементы. В целом она есть лицо его ереси и, может быть, гениальности (она, собственно, не в этом)».

18 января.

«Успокоение могла бы принести О. работа, но они, как курицы на яйцах, — на рукописях сидят. Т. е., дают мне на анализ, но систематически еще не наладилось, т. к. у них работать нельзя, а О. умоляет не уходить. Завтра твердо днем начну работу над ранними годами».

19 января.

«Вот я рано дома. Со мной стихи Осипа Эмильевича за ранние годы (кончая 1911-м), всего 61 лист (а на иных по две пьесы вариантов...) По изданию 1928 года за эти годы всего 25 пьес. Сажусь работать с настоящим волнением. Это — бумага нового специально купленного блокнота (речь идет о бумаге, на которой написано письмо: в клетку, очень плохая, пропускает слегка чернила. — Э. Г.). Пусть на ней к тебе уедет то, что хотело быть абиссинскими стихами. Творчески почти заумно, стиховно, почти продиктовано каким-то голосом мне:

Она святого Иордана
Полдневный зной, безводный луг,
Веселости, любви, обмана
Неиссякаемый досуг,
Она долина Ханаана,
Непокоренная пока —
Веселости, любви, пожара
Глубоководная река.

Январь. 1936. Воронеж.

3-й и 7-й стихи — очень членораздельны, с четкими запятыми. Линуся, простите, что стихов стало так много, — хватит ли любви на все? И они стоят ли? Эти, кажется, стоят».

20 января.

«У М. какая-то тупая примиренность, приглушенность, бесхитростность. Где все бури и полемики прошлых месяцев? О. Э. очень постарел и осел как-то. Может быть, они действительно куда-нибудь на юг уедут, может быть, все лопнет. Мне и трудно там сидеть, и жаль их, и деться самому, в сущности, некуда. Очень радуют рукописи, но хочется работы шире: комментарии его самого и проч. Может быть, это будет».

20 января.

«Н. массу мне по рукописям помогает — не всегда толково, но сердечно».

21 января.

«С 10 ч. дома и все работаю: предварительному анализу (с копией) подвергнуто до 40 пьес (1907-8-9-10-11). Есть вещи хорошие, а интересно и ценно все. Лучше всякой исповеди».

22 января.

«В портфеле Осынкины материалы, и такие живые, мы вместе сегодня работали черновики “Соломинки”. Он к концу вечера сильно успокоился. Все эти дни в вечном кипении его забот о болезни. А тут наступило просветление».

23 января.

«Утро, оказывается, вот какое. Очень поздно проснулся. На комод открытка из Москвы... Бумажка вот такая:

Прокуратура СССР

Б. Дмитровка, 15 а 19/1-36

№13/20591 а

По распоряжению Прокурора отдела по специальным делам т. Линсон (вот уже глупая игра фонетики — почти твое имя!) сообщается, что ваша жалоба о пересмотре дела Прокуратурой СССР оставлена без последствий.

Секретарь... (подчеркнутое напечатано)».

Итак, все усилия оказались бесполезными, надежды рухнули».

«Пока продолжаю работать над рукописями, — пишет Рудаков. — Очень интересно. Но жить без будущего трудно. Будем рассчитывать на лучшее, но одновременно надо подумать, может быть, это бесконечно?..²⁷ Боюсь, что Воронеж (особенно стихи, да и все) был настолько литературен, что не смогу, как лет пять назад, отказаться от необходимости литературной деятельности».

24 января.

«...Кити, как Иорданские стихи? У них, у первой строфы, смешное происхождение. В “Грешнице” у Ал. Толстого (поэта) есть строка: “А он по онпол Иордана” — это значит нечто “славянское” — церковное — а что — черт его знает (м. б., даже пишется “поонпол”??). Знаю эти стихи с голоса, с детства — и так зауемью и остались. Ну, а в больнице за дежурным столиком сидя, я увидел лежащие на ватке ампулы. После чего твердил какие-то ряды с “ампулами Иордана” — которые (ампулы) за бессмыслие исключены, а раз они “церков-

²⁷ Лина Самойловна продолжала хлопоты, они увенчались успехом только в июле, в предшествующие два месяца Рудаков измотался в ожидании.

ные”, т. е. не они, а их генетическая фাগотная, — пришло слово “святого”. А толстовские “А он” — превратились в “она” — отсюда дивная поэма моих восьми стихов — вот, забавно, а?»

25 января.

«Сейчас бесконечно интересна работа над рукописями».

31 января.

«Сегодня просмотрел с О. Э. с 1907 по 1912 год. Подробно проверили даты и места написания вещей. И кое-что по примечаниям записали. А затем читали с ним по-итальянски XI песнь «Чистилища» Данте — он читал по одной книге, я по другой. Он делал замечательный глубочайший перевод, в то же время объясняя грамматические формы и фонетику, я вникал и, может, зачитаю по-итальянски. Главное же, близость его “толкования” со стихом — это похоже в филологическом смысле на отсебятину, но очень своеобразную, глубочайшую, если понять, присмотреться. Об этом надо записать отдельно, но, к сожалению, не записал дословно перевода».

1 февраля.

«По текстам кончил 1920 год».

3 февраля.

«Чудо, что с О. что-то наладилось, что исписано 15 текстологических тетрадей... День у М. (и вечер, конечно) — работа, Дант — вакханалия...»

6 февраля.

«Мы с Анной Андреевной просматривали куски моей текстологии²⁸. Она вроде Оксмана²⁹ в смысле авторитета. Она, кажется, не ждала увидеть то, что нашла».

7 февраля.

«Пушкинский Дом хочет купить О. архив. Он не дает, оставляя его мне для работы, но собственность сохраняя за собой».

14 февраля.

«По О. кончил 1932 год, виден конец рукописей».

19 февраля.

«Сейчас 9 часов вечера: один в комнате. Пачка тетрадей передо мною — буду работать, ты будешь довольна работой этой: она уже переходит на принципиальные вопросы, текстология как таковая близится к концу».

20 февраля.

«Чем хуже обстоятельства, тем лучше и естественнее Н. С ней “био-канва” (с 19-го года) доведена до 30-го — т. е. до нового стихотворного периода».

22 февраля.

«Сейчас вернулся от О., где долго работал над 1932 годом».

23 февраля.

«По О. кончаю 1932 год. 1933 — 1934 — пустяки по объему».

²⁸ С 5 по 11 февраля у Мандельштамов в Воронеже гостила Анна Андреевна Ахматова (ночевала в семье агронома Фед. Маранца). О приезде Ахматовой см. ниже.

²⁹ Юлиан Григорьевич Оксман — русский советский литературовед. В 1933—1936 гг. зам. директора Пушкинского Дома (ИРЛИ).

29 февраля.

«Сейчас бесконечно изводит О. и тревожит текстология. А к вечеру такой усталый, что нет сил сидеть. Кипа тетрадей передо мной, но боюсь, что уберу их в чемодан и пока буду читать Волкова³⁰, это тоже общественно-полезное занятие».

Отказ Прокуратуры, возбужденное и упадочное состояние Осипа Манделъштама, длительное молчание приревновавшей Лины Самойловны — все это создало перерыв в работе. Упоминания о занятиях становятся реже, последние письма посвящены ожиданию конкретного возвращения Рудакова в Ленинград.

2 марта.

«Очень много работал: посылаю тебе один листок с “Волком”, это единственное умыкание. Спрячь его. Интересный вариант последней строфы»³¹.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

3 марта.

«К твоему приезду текстология будет (надеюсь) закончена».

³⁰ Волков А. Поэзия русского империализма. М., 1935.

³¹ Варианты заключительной строфы стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков» приведены в кн: Манделъштам О. Стихотворения. С. 288.

16 марта.

«Как мало мы с тобой ценили, что я так упорно и, в сущности, хорошо работал здесь литературно: сейчас как-то и следа этой силы не осталось. Углубляется это состояние и тем, что чистая текстология почти кончена, а на большее сейчас не способен».

22 марта.

«Тетрадь уже раскрыта... буду работать... Занимаюсь “Разговором о Данте” (собственно “о Мандельштаме” — т. е. Данта там нет — очень мало, если есть)».

1 апреля.

«Сейчас лег рано (нет 12). На стуле рядом Оськин “Дант”, его прочитываю, строятся к нему примечания. А насколько мне было легче это в живой беседе, в разговоре. С ним это нелегко. Даже на Гришку был бы рад».

14 мая.

«С О. даже литературствовали: записывал о нем суждения современников — в эпиграмматических локальных фразах — забавно».

10 июня. *Перед отъездом Мандельштамов на дачу в Задонск и возвращением Рудакова в Ленинград он сообщает:*

«С рукописями решили так: я отдаю сейчас отработанную часть, остальное проездом оставлю в Москве. Отдал 1908—1924. А поездка отложилась».

20 июня.

«Вчера по традиции был с ними весь день — сюда включились отправка багажом их вещей, отобрание мною еще кое-каких бумаг, его пометки и подписи на некоторых материалах (в частности, на “Камне” 1913 года). В записях, что получил от них, — несколько Надькиных упоминаний обо мне (о нашей с О. полемике, время — сентябрь 1935). Вообще сделано все, чтобы документальных доказательств моей роли не осталось».

8 июля (*вернулся из Задонска, куда ездил прощаться с Мандельштамами*).

«...В письме, данном для матери Надин, — просьба дать мне его (О. Э.) старые фотокарточки. Это и вчерашний Дант — просто чудные достижения... В Москве забрать можно нужные бумаги. И это, и общий тон встречи оставят лучшее, а не худшее ощущение».

Осенью Осип Эмильевич посылает Рудакову свое доверительное дружеское письмо из Задонска (см. выше, № 13).

Надежда Мандельштам описывает дружескую поддержку, оказанную Рудаковым Мандельштамам в 1937 году в Москве. Описана в «Воспоминаниях» Надежды Мандельштам. Тогда же, по словам Н. И. Харджиева, Осип Эмильевич представил ему Рудакова, светясь отцовской нежностью. «Я продиктовал ему “ключ” ко всем моим стихам», — объявил он и удовлетворенно закивал головой при напоминании Николая Ивановича о единственном предшественнике Мандельштама в этом жанре — Г. Р. Державине. Рассказывая об этой встрече, Николай Иванович добавил: «Оба они — и Мандельштам и Рудаков — выглядели так, как будто их связывает какая-то радостная тайна».

Увы! «Ключ», стоивший столько трудов, восторгов и ссор, пропал. Утрачена и биографическая канва, составленная Надеждой Яковлевной, ее записи.

Зато в авторском экземпляре «Стихотворений» 1928 года остались поправки, сделанные в результате пересмотра, затеянного совместно с Рудаковым. Они сделаны Осипом Эмильевичем тушью, несомненно взятой из рук Рудакова (его любимая принадлежность письма).

Неизвестно, осуществилась ли задуманная Рудаковым «Тетрадь № 2». Но для нее содержится богатый, хотя и сырой, материал в письмах Рудакова. Просачиваются в них и некоторые элементы «ключа». Попытаемся же собрать их воедино.

III. ОТГОЛОСКИ «КЛЮЧА»

Неизвестные стихи О. Мандельштама.

Авторские толкования

Выделим из писем Рудакова неизвестные стихотворные тексты Мандельштама. Тут встречаются двустушия, обрывки забытых стихотворений, шуточные басни, сочиненные совместно с Рудаковым, но одна принадлежит только Мандельштаму. В письмах приводятся также варианты напечатанных стихотворений, тогда еще неизвестные, но теперь уже опубликованные в издании стихотворений О. Мандельштама «Библиотеки поэта» и отчасти в американском собрании его сочинений. Разночтений с копиями Рудакова нет, поэтому здесь они не приводятся.

Незаурядный историко-литературный интерес представляет изложение Рудаковым выступлений Мандельштама о своих новых стихах. Это — живой комментарий к только что написанному. Среди таких авторских высказываний, возникавших независимо от готовящегося «ключа», выделяются беседы о стихотворениях «Чернозем», «День стоял о пяти головах», о реалиях стихотворения «Мне кажется, мы говорить должны», указание на поэтику стихотворения «Да, я лежу в земле» и творческая история стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой».

В одном из ранних писем Рудакова, 17 апреля 1935 года, читаем: «Сегодня опять о рельсах, что видны с балкона, и о том, скоро ли нас повезут поездом. А он говорит:

Я семафор со сломанной рукой
у полотна воронежской дороги

(у него сломана правая рука выше локтя)».

Стихи, известные с некоторыми разночтениями по мемуарной литературе, Рудаков цитирует 21 мая 1935 г. с комментарием Осипа Эмильевича. Ирония Рудакова обращена здесь на бурное отречение Мандельштама от акмеизма, вызванное ежедневными спорами на эту тему: «Проклятый акмеизм в 1912 году у него выковал такие стихи о бедном художнике, живущем на чердаке и имеющем специфические “легкие”, “тяжелые”, “упрямые” etc. вещи даже в быту

...художник.

Чтобы кофе варить на спирту,
Он купил себе легкий треножник.

Стихи писались серьезно, но потом отвергнуты и стали анекдотом».

В припоминаниях и разговорах Мандельштама с Рудаковым немалое место занимал Гумилев. С этим связаны и два стихотворных текста. Вот уже упоминавшийся выше осколок забытого сонета 1915 года, записанный 18 августа 1935 года:

Автоматичен, вежлив и суров
На рубеже двух славных поколений,
Забыл о бесхарактерном Верлене
И Теофиля принял в сонм богов...

.....
И твой картонный профиль, Гумилев,
Как вырезанный для китайской тени.

С воспоминаниями о Гумилеве связано еще одно четверостишие, приведенное в письме от 3 апреля уже 1936 года:

«В публичной библиотеке достал “Гондлу” (поэма Гумилева, напечатанная в “Русской мысли” № 1 за 1917 г. — Э. Г.), “Аполлон”, где “Америка” Гумилева (“Открытие Америки”. — Э. Г.) и его и Кузмина портреты... С О. все это смотрели, читали.

Жильца-соседа (из “Коммуны”) зовут “карлик”, как и всех культработников газеты (в отличие от столичных “гигантов”). О. сочинил четверостишие, долженствующее пародировать Гумилева:

Карлик-юноша, карлик-мимоза
С тонкой бровью — надменный и злой...
*Он питается только Елозой*³²
И яичной скорлупой.

Началось так. Он сказал: он питается Елозой (сказал в разговоре прозаически). А я:

Он питается Елозой
И яичной скорлупой.

Через несколько минут О. вопил четверостишие (сперва несколько иное — не запомнил его)».

³² С. Елозо — редактор воронежской газеты «Коммуна» и член редколлегии журнала «Подъем».

12 июня 1935-го, очевидно, после каких-то прений, оба собеседника коллективно сочинили басню:

Случайная небрежность иль ослышка
Вредны уму, как толстяку одышка.
Сейчас пример мы приведем:
Один филолог,
Беседа с невеждою вдвоем,
Употребил реченье «идиом».
И понаделали они друг другу челок.
Но виноват из двух друзей, конечно, тот,
Который услышал оплошно «идиот».

Этот текст Рудаков послал вместе с текстом другой басни Григорию Моисеевичу Леокумовичу, добавив, что препровождает еще «...другие из жанра его “дурацких басен” и моих двустий». Но в конверте, адресованном Леокумовичу и сохранившемся у вдовы Рудакова, оказались тексты только двух басен. Вторая сочинена Манделъштамом единолично. Она замечательна тем, что написана по дороге из Москвы в Чердынь, через две недели после первого ареста Осипа Эмильевича. Знаменательно, что она послана Леокумовичу 15 июня 1935 г., т. е. накануне того дня, когда Манделъштам вместе с Рудаковым отмечали годовщину их отъезда из Чердыни — 16 июня.

Один портной
С хорошей головой
Приговорен был к высшей мере.
И что ж? — портновской следуя манере,
С себя он мерку снял
И до сих пор живой.

*Свердловск.
1 июня 34.*

«31 мая 1935. Ночь: — Недавно пришел от Манделъштама... Был гость, некий Стефан. Ему читались стихи (10 шт.). Реакция: ему безумно нравится “Чернозем”, остальное звучит политически, а он сторонник “чистого искусства” и не может мириться с “тенденцией”. И тут огромное выступление Манделъштама (обращено не на меня, мне легче передать). Передаю не порядок разговора, а итог.

“Чернозем” — вещь реакционная: акмеистическая строфика с обновленной инструментальной, весь из “Камня”, источники — “Адмиралтейство” etc. (вещь, угнетающая сейчас Манделъштама). Это вещь 1001-я и прекрасная, а остальные — вещи первые, и после них будут так (по-новому о новом) написаны тысячи. Основное — вещь о Пушкине

не и Чапаеве. Она говорит о русском фольклоре, о сказке, о стране и впервые о новом “племени”, о ГПУ, о молодежи, у которой будущее, о пленном времени, вечности, и материально, на основе реального бреда при поездке на Урал, образы безумного пространства, расширяющегося, углубленного и понятого через “синее море пушкинских сказок, море, по которому страдает материковая, лишенная океана Россия” (она же “воздушно-океанская подкова” в предыдущей вещи)...

Далее Мандельштам говорил, что его всю жизнь заставляли писать “готовые” вещи, а Воронеж принес, может быть, впервые открытую “новизну и прямоту”.

На следующий день были у Як. Як. Рогинского, московского доцента, читавшего в воронежском университете курс антропологии. После обмена мнениями о привезенных им книгах (“Гамбургский счет” В. Шкловского, два тома Хлебникова и “Встречи” Пяста) — масса о вчерашнем разговоре и планах издания собрания сочинений или новой книги стихов. А главное — рассказы о себе последних пяти лет — о стихах. И так до половины второго часа».

Як. Як. Рогинский был хорошо знаком с Осипом Эмильевичем, так как дружил с братом Надежды Яковлевны Евгением Яковлевичем Хазиным. В 1979 г. я показывала ему эти записи Рудакова, надеясь, что они разбудят его воспоминания. Но он только признал достоверность передачи Рудакова, а сам воспроизвести слова Мандельштама не смог.

Под стихотворением о Чапаеве и Пушкине подразумевается «День стоял о пяти головах», а «предыдущая вещь» — это «Мне кажется, мы говорить должны». Привожу два эти стихотворения полностью, так как они не вошли в издание «Библиотеки поэта» (1973) стихотворений О. Мандельштама.

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах,
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, — слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.

День стоял о пяти головах, и, чумяя от пьеса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса,
Расширением аорты могущества в белых ночах — нет, в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо...

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо...
Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка — ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов,
Молодые любители белозубых стишков...
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко...

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины сказал звуковой.
За бревенчатым тыном, на ленте простынной
Умереть и вскочить на коня своего.

Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,

Что ленинское-сталинское слово
Воздушно-океанская подкова,

И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,

И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.

Итак, «воздушно-океанская подкова» символизирует в авторском представлении образ России, рвущейся к морю. Между тем, так же как и в стихотворении о Чапаеве, этот образ порожден реальной ситуацией. Читая «Чапаева», мы всегда воспринимали стих «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко» как чистый лиризм, выражающий тоску по югу высланного на Урал Мандельштама. А оказывается, это одновременно и море пушкинских сказок, и историческая тяга России к морским путям. Для этого художественного приема Мандельштама характерно его замечание по поводу одного из стихотворений Г. Санникова, на книгу которого он писал рецензию. 16 июня, уже ночью, Рудаков пишет:

«Вот конец дня: у Мандельштамов дико пишется рецензия... Сегодня год их отъезда из Чердыни. Мы сложились и купили бутылку вина. За рецензией оно простояло неоткрытым...

И мечетей суровые скулы
Проступали арабской резьбой.

Надин: “Мечеть на скулы не похожа”.

Ося: “Надя, это и лицо и мечеть сразу, поэт так хотел сказать”».

Такой же двойной смысл содержится, по Рудакову, в стихе «воздушно-океанская подкова». Это и Россия, и злободневный отклик на потрясшее Мандельштама событие. Забывая о генетической связи этого стиха с лермонтовским «На воздушном океане», Рудаков уверенно указывает на происшествие, послужившее толчком к возникновению мандельштамовского

стиха. Он недоумевает, зачем Мандельштам вставляет в «законченнейший цикл» «чужеродные, размашистые куски, делает антикомпозиционные вставки». Не без самодовольства он сообщает жене 21 мая (1935 г.): «В четырех местах мне удалось вернуть идеальный вариант, но места два сохраняются в стиле барокко, не идущем к целому. Так:

войны и мира гнутая подкова

заменено:

воздушно-океанская подкова

(влияние катастрофы с “М. Горьким”), по мне это безлепица, оттеснившая классику. Называется: “борьба с акмеизмом”».

Катастрофа с огромным агитационным самолетом «Максим Горький» произошла 18 мая, то есть за три дня до этого письма. Самолет разбился над Москвой, на улицах города можно было наблюдать, как от него отваливаются части. Возможно, что таким свидетелем был Як. Як. Рогинский, о котором 22 мая Рудаков еще глухо упоминал как о «заезжем москвиче, очень милом знакомом Мандельштама». В таком случае Рогинский мог подробно описать Осипу Эмильевичу аварию, о которой было сообщение в «Правде» 19 мая. Катастрофа вписалась в мандельштамовскую картину современного мира. Она отразилась не только в данном стихотворении, но и в дальнейшем творчестве поэта — в стихотворении «Не мучнистой бабочкою белой» (в домашнем обиходе Мандельштамов называемом «Летчики») и в «Стихах о неизвестном солдате» 1937 года. В этих последних «воздушно-океанская подкова» преображена уже в «воздушную могилу» и «воздушную яму», снова возвращая нас к Лермонтову. В одном случае он назван прямо: «И за Лермонтова Михаила Я отдам тебе строгий отчет, Как сутулого учит могила И воздушная яма влечет», в другом — цитата из «Демона» Лермонтова («На воздушном океане Без руля и без ветрил») изменена, несомненно, с оглядкой на московскую воздушную катастрофу: «Как мне с этой воздушной могилою Без руля и крыла совладать». Весь этот путь разъяснен в беседе Мандельштама о развивающемся «зародыше», приводимой нами несколько дальше. Таким образом, мы видим, что стих «воздушно-океанская подкова» имеет даже не двойной смысл, а несет нагрузку нескольких смыслов, как бы вмурованных в одну строку. В дальнейшем мы покажем, как сопротивлялся этому методу Рудаков, наблюдавший за процессом работы Мандельштама. Кстати говоря, уже во время войны, в Москве, Рудаков иронически восклицал, беседа с одной о «Неизвестном солдате»: «При чем здесь Лермонтов?»

Интересно, что уже после «Стихов о неизвестном солдате» «воздушно-морская» тема снова откликнулась в новом стихотворении, и на этот раз в своем государственном значении. Оно принадлежит к циклу, написанному в Савелове 3—5 июля 1937 года, обращенному к Сталину и его апологету Е. Е. Поповой-Яхонтовой. Без приведенного выше комментария оно оставалось бы непонятым. Оно скопировано Рудаковым с автографа Мандельштама, трудно сказать, с позволения ли поэта или укладкой. Возможно, что это было

сделано в Ленинграде, когда уже скитающиеся Мандельштамы ночевали у Рудакова, а может быть, он навестил их в Савелове. Вероятно, стихотворение нельзя считать завершенным. Об этом свидетельствуют приводимый Рудаковым вариант третьей строфы и затемненный смысл последнего стиха, впрочем, переписанного Рудаковым недостаточно разборчиво: он писал простым карандашом на листках, вырванных из школьной тетради в одну линейку. На второй странице стихотворение «На откосы, Волга, хлынь...», напечатанное мною в 1980 году в журнале «Вопросы литературы» (№ 12). Вторично опубликовано П. Нерлером в журнале «Дружба народов», 1987, № 8, и в других изданиях с ошибками. Там же он напечатал «Пароходик с петухами...». Привожу оба стихотворения и вариант третьей строфы к первому стихотворению.

Пароходик с петухами
По небу плывет,
И подвода с битюгами
Никуда нейдет.

И звенит будильник сонный—
Хочешь, повтори:
«Полторы воздушных тонны,
Тонны полторы...»

И паяльник, звуков море
В перебой взяв,
Москва слышит, Москва смотрит,
Зорко смотрит в явь.

Только на крапивах пыльных,
Вот чего боюсь,
Не изволил бы в напильник
Шею выжать гусь.

3 июля 37. Савелово.

Вариант третьей строфы:

И, полуторное море
К небу припаяв,
Москва слышит, Москва смотрит
В силу, в славу, в явь.

* * *

На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь,
Гром ударь в тесины новые,
Крупный град по стеклам двинь — грянь и двинь, —
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком...

Как досталась — развяжи, развяжи —
Красота такая галочья
От индийского раджи, от раджи —
Алексею что ль Михайлычу, —
Волга, вызнай и скажи.

Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные,
И летают — по верхам, по верхам —
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи...

Ах, я видеть не могу, не могу —
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу —
Косари умалишенные...
Косит ливень луг в дугу.

Савелово 4 июля. 37.

И еще одно стихотворение савеловского цикла, вероятно, неизвестное Рудакову, но, к счастью, сохранившееся. Оно обращено, как уже было сказано, к Елекониде Поповой.

С примесью ворона голуби
Завороненные волосы.
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе с голоса,

Как я люблю твои волосы,
Душные черноглубые.

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена...

Тени лица восхитительны:
Синие, черные, белые,
И на груди удивительны
Эти две родинки смелые.

В пальцах тепло неслучайное,
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное.

Мчится, летит, с нами едучи,
Сам ноготок холодающий,
Мчится, судьбу свою знаючи,
Сам ноготок холодающий,

Славная вся безусловная,
Здравствуй, моя оживленная,
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, ласкою.

8 июня 1935 г. Рудаков передает «разговор о последних вариантах “Да, я лежу в земле”». (Это стихотворение напечатано с вариантами в издании: Мандельштам О. Стихотворения. С. 180 и 300.)

«М: — Сказал “Я лежу”, сказал “в земле” — развивай тему “лежу”, “земля”. Только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой более реальным, его — реальнейшим, потом сверхреальным. Каждый зародыш должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом, идя (одно слово неразборчиво. — Э. Г.), перекрывая одно движение другим. Будь рифма, ритм... все недостаточно, если нет этого. Получится канцелярская переписка, а не стихи. Надо не забывать, что был Хлебников, что у меня были хорошие стихи... Этого правила не понимали некоторые акмеисты, их последыши, вся петербургская поэзия, вся официальная советская поэзия (пауза). Сергей Борисович, давайте писать книгу о поэзии!..»

Я: — Нет. Так как вы на некоторые вещи смотрите иначе, чем я. (Пауза.) Согласившись, я должен был бы сплясать индейский танец на Гумилеве.

М: — (Пауза.) Он отвечал... этому... правилу.

Опять пауза. Сидим мы у стола. Пожевав губами, он поднимается, идет к кровати и ложится носом к стене. Я записываю этот листок».

Вернемся к истории стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой». Напоминаем его текст:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну —
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои —
С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки,
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные круглые венки.

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.
И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно — люди, люди, люди —
Кто же будет продолжать за них?

21 июля 1935 г.

Однако указанная Надеждой Яковлевной дата окончания не сходится с фактическими данными писем Рудакова. В этот день он действительно пишет об этом стихотворении как о законченном. Но Мандельштам еще не раз возвращался к нему и только 30 мая следующего года, как мы видели, изменил последний стих (было «Продолжение зорких тех двоих»). Прочтем записи Рудакова о «Летчиках», или о стихотворении о гибели летчиков, как называет его Надежда Мандельштам в своей «Второй книге».

21.VII.1935.

«...к Мандельштамам. Там только Н. — играли в шахматы. Она говорит: “Оська ругал вас самым пышным образом всю ночь и мне не давал спать. В результате стихи доделаны. Вы огромный молодец. Без вас он бы их не доделал”. Когда О. пришел — мне поднесены варианты на 7 страничках и напечатанный на машинке окончательный текст. Стало лучше, тверже. Он, входя, смеялся, что пишет полушедевры. Сейчас вместо половины, т. е. 50%, — стало, м. б., 80%. Есть, например, стих: “Как венок, шагающий в покое...”. Всего не посылаю, так как это еще не конец, и вся история текста слишком многообразна».

3.VIII.1935.

«Идет и переписывание стихов о летчиках».

6.VIII.1935.

«Сейчас (только что) он закончил мучившие его строки летчиков. Веселый бегаёт по комнате, подпрыгивает, машет руками, говоря, что боль сломанной руки отошла, так как рука только функция психики, а сейчас он доволен и спокоен».

Ночь. Дома.

«...еще раз я умудрился понять огромность мандельштамской встречи. И расставанье страшно. Откидывая все авторские распри, мы очень полюбили друг друга и загрустили при мысли (мною искусственно подогретой) о разлуке. Ведь сознание вот какое: не было бы, ну, скажем, Института или сейчас Оси — у меня представление о мире было бы скуднее и хуже. И жаль себя отрывать от настоящего общения: мы вот сегодня дошлифовали “Летчиков”. Он подкис да и говорит: “А мы правительству заявление подадим, что отдельно не можем”. — Это не только шутка».

21.VIII.35.

«...сейчас три часа, только что вернулся от Мандельштамов. Там были артистки. О. читал, говорили, ели кекс, колбасу. Это с 12-ти. А раньше доделывали “Летчиков”. Еще раньше — О. был в редакции, мы с Н. играли и разговаривали...»

Итак, «Летчики» перерабатывались еще и в августе 1935 г. А последний стих — «Продолжение зорких тех двоих» — был заменен только в мае следующего года. Очевидно, этот отмененный стих — остаток не дошедшей до нас первоначальной редакции «Летчиков» (семь страничек вариантов!). Характер этого стиха не оставляет сомнений в общей направленности утраченной ранней редакции. Это было, очевидно, еще одно «ленинско-сталинское» стихотворение, связанное с первым воронежским циклом прямых политических стихов. А заложено в нем совсем другое: «воздушно-океанская» тема, требовав-

шая еще новых разработок. Пока Мандельштам не создал в 1937 г. свои «Стихи о неизвестном солдате», он мучился этой ненаписанной поэмой в не удовлетворявшем его первоначальном стихотворении «Не мучнистой бабочкою белой». Начатое как завершение «большевистского» цикла, оно вырывалось из него, звало к еще не услышанным ритмам «Солдата», предвещало его. (Об этом говорит и Надежда Мандельштам, опирающаяся на упоминание Н. Е. Штемпель о словах самого Осипа Эмильевича. — Вторая книга. С. 541.)

Характерно, что в одном из самых ранних вариантов поэмы, озаглавленной в рабочем порядке самим Мандельштамом «Солдат № 3»³³, есть отброшенная впоследствии строфа, связанная тематически с первым воронежским циклом:

Но окончилась та переключка
И пропала, как весть без вестей,
И по выбору совести личной,
По указу великих смертей.
Я — дичок, испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все, кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной, и семьянином
Всяк живущий меня назовет...³⁴

В трагической картине мира XX века, изображенной в «Стихах о неизвестном солдате», эта строфа выглядит как остаточный элемент. Понятно, почему она осталась незавершенной и была отвергнута автором.

Интересно, что сказал бы Мандельштам, если бы он знал «Поэму воздуха» Марины Цветаевой, написанную в 1927 году «в дни Линдберга», т.е. в дни знаменитого беспосадочного перелета американского летчика через Атлантический океан. Эта поэма, напечатанная в 1930 г. в эмигрантском журнале «Воля России», оставалась у нас неизвестной. Перелет Линдберга вызвал целую бурю ассоциаций и идей в творческом сознании Цветаевой. Между прочим, несмотря на триумф авиатора, в ее поэме тоже присутствует мотив воздушной катастрофы:

... — зачем петля
Мертвая? Полощется...
Плещется... И вот —
Не жалейте летчика!
Тут-то и полет!

³³ Сохранившийся в архиве Рудакова черновой автограф — лист, разделенный вдоль пополам: на правой стороне рукой Мандельштама, на левой — Надежды Яковлевны. Данная строфа написана его рукой.

³⁴ Датирована 27 марта — 5 апреля 1937 г.

Не рядите в саваны
Косточки его.
Курс воздухоплавания
Смерть, где все с азов
Заново...

Так два поэта на разных точках мира, один в Медоне в 1927 году, другой через десять лет в Воронеже, откликнулись каждый по-своему на наступление грозной космической эры. В этих двух столь разных и по идее и по достоинству произведениях можно заметить некоторые переключки. Если Цветаева говорит далее о первом, третьем и пятом воздухе, то Мандельштам призывает воздух в свидетели и судьи; Цветаева дает образ «одиночного заключения» в Медоне, Мандельштам в Воронеже говорит о «затоваренном сознании» и «полуобморочном бытии»...

По поводу смерти Горького, пережитой Осипом Эмильевичем с огромным волнением, Рудаков вспомнит одно из первых воронежских стихотворений Мандельштама, где рифма «горький — дальнзоркий» в «Большевике» (это в примечаниях)».

Речь идет о стихотворении «Мир начинался страшен и велик».

Привожу его по публикации в «Russian Literature», 1977, № 3.

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный —
Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, бесспорный,
Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель дальнзоркий
Трудящихся. Твой угольный, твой горький
Могучий мозг, гори, гори стране!

Создавая первый цикл, Мандельштам начинал понимать, что наложил на себя неудобносимые вериги заданной политической темы. Это вызвало у него взрыв отчаяния, описанный Рудаковым 2 и 3 августа. Тут важно учесть реальное обстоятельство этих дней. 22 июля Мандельштамы уехали в Воробьевский район — Осип Эмильевич получил командировку от газеты «Коммуна» для подготовки очерка об областных совхозах. 31 июля Мандельштамы вернулись в город. 2 августа Рудаков рассказывает:

«Теперь об Оське. Но все записать очень трудно.

Он не может написать очерк.

Об этом Надин: “Это медленное выживание человека — давать ему работу, ему чуждую, но по сравнению с Москвой и рецензии, и радио, и статья в газету — невероятная свобода. Все это рано или поздно приведет к тупику. Но каков он? Опять бросаться в окно? Те годы разлада кончились стихами и... Воронежем... Ося цепляется за все, чтобы

жить, я думала, что выйдет проза, но приспособиться он не умеет. Я за то, чтобы помирять...” — это мне без него. Его утешаем. Он: “Я опять стою у этого распутия. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают, — не могу. Я не могу так: “посмотрел и увидел”. Нельзя как бык на корову уставиться и писать. Описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать, почему это радиус зрения начинается за одиннадцать часов ползучки от Воронежа. Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд, а Москвы не могут увидеть. Эти “понятники” меня с ума сведут, сделают себе же непонятным. Я трижды наблюдал: написал подхалимские стихи (это о летчиках) — бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому: “Ах! Ах!”, и только; написал рецензии — под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортунистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало опять большой пустоты. Я думал, что при доброжелательности жизнь придет, подхватит “фактами” и понесет. Но это была бы не литература. Я пробиться сквозь эту толщу в завтрашний или еще какой день не могу, нет сил. О полной жизни говорить еще рано, надо действовать. Можно уже стихами, и то потому, что они свое знание вкладывают, привносят.³⁵ А давать черновики, заготовки прозы я не умею. У меня полуфабрикат ужасен, я или ничего не даю, или уже нечто энергетическое. Я хотел очерком подслужиться. А сам оскандалился. Стихами — кончил стихи; рецензиями — наплеал глупостей и отсебятины; очерком — публично показал свое неумение (он его показывал в редакции, и там сказали, что плохо). Это губит все. И морально, и материально. И бросает тень сомнения на всю мою деятельность и на стихи”. И т. д. и т. д.

Киса, это запись почти дословная, только очень сокращенная. В жизни это причитания, почти слезы. Но не психованье. Все трезво, и есть вывод за целый период. Надеюсь, что оно минет. Что ни нового безумия, ни самоубийства не будет. Но по тому, как подтянулась Надин, и по ее словам о сходстве состояния с первым случаем, да и по собственному наблюдению, — вижу, что скверно. Вся его “деятельность” не выход. Положение скверное и упирается в тупик материальный. Но беда не так близка, дело не в ней, а в том, что Мандельштам взвыл от халтуры. Не тот Осип Эмильевич (или Ося), что с нами обедал, а гениальный, равный Овидиям и чувствующий, что стихи трещат. Здесь даже ирония не напрашивается, и Оськой зову его только по привычке... Если б не было неловко (немыслимо), записывал бы все при нем. Много блестящего, но это было бы кощунство — человек чуть ли не вены вскрывать себе (в 3-й раз) хочет, а я с карандашиком каждое словечко уловляю. Может быть, он хвалил свою “Скрипачку”. О всем воронежском периоде говорил как о сломленном и недостроенном. Корректуры рецензии отнесены в “Подъем” после

³⁵ 23 июня Мандельштам закончил бурную дискуссию с Рудаковым о рецензии на книжку метростроевцев двумя сходными афоризмами: «Поэтическая мысль — вещь страшная, и ее боятся» и «Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся».

мучений: “Может быть, их снять?” Мы с Надин уговорили не снимать. Через несколько часов я нашел на полу четвертушку бумаги: конец рецензии о метро. Оська к Н.: “Надюша, убери этот селедкин хвост— он воняет и перетух”. Это совсем не смешно. Теоретически сложность какая! Все, он (и я) об этой самой жизни, а вот прямо описывать ее нельзя.

Все это утомительно и на такой высоте, как сегодня, держаться не может. Но бежать от этого и беречь себя не хотел».

3 августа.

«У Оси “пожар сердца” почти кончился. Т. е. начинается залгание действительного положения вещей (это от слов “зализывание” и “лгать”)... Деталь ко вчерашнему. К вопросу о “описании”. Он: “Почему это санкция, поощрение должны быть двигателями литературы! Меня в рай пусти, я его не опишу, хотя меня и будут просить это”.

А сегодня: “Отобраны, заложены жизнь и смерть — выданы ломбардные квитанции. То же у других людей. И идет разговор с помощью квитанций, а настоящее все спрятано, концы в воду. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь — это же движение, событие— его нельзя описать. Я должен писать белые стихи, но не обычные без рифм пятистопные ямбы, а мои, вроде “Нашедшего подкову”, где все держится на прозаическом дыхании, кусками, члененно, за нумерами. Чтобы эпитеты стояли, как в оде, на своих местах: бум, бум и БУМ!” Я: “А отчего нельзя это в обыкновенных стихах?” (я-то ведь ненавижу “Нашедший подкову” etc.). Он: “Все от обмеления словаря, а это от воронежского оскудения интеллекта. Не читаю книг, не спорю, и вы-то (т. е. я) со мной не говорите, не спорите”.

Дальше опять о том, что обмелело, есть только квитанции, а не смысловые слова. Все это параллельно попыткам писать большую прозу, где “очерк”, может быть, будет как эпизодический момент. Идет и переписыванье стихов о летчиках. Благо, что мир воцаряется».

Видимо, речь идет о каких-то подступах Мандельштама к новой большой прозе. В этом ряду представляет интерес беседа Осипа Эмильевича с Рудаковым, происходившая 3 апреля следующего года. Мы уже обращались к записи этого дня, рассказывая о совместном чтении «Гондль» и «Открытия Америки» Гумилева, о пародийном стихотворении «Карлик-юноша, карлик-мимоза». Этот день был в своем роде юбилейным. Рудаков пишет: «Сегодня (а может быть, вчера, но мы решили, что сегодня) год нашего с О. воронежского знакомства. Он купил колбасы, сыру и конфет (всего понемногу, так как денег нет), и мы пили чай и говорили друг другу нежные вещи... Разговор же о конце года стал невольно итоговим. А разговоров не было давно»

Пересказывая этот диалог, Рудаков, как всегда, подробнее передает свое выступление, чем ответы и вопросы Мандельштама. Но мы уже знакомы с его манерой и можем сами извлечь из коротких реплик Мандельштама смысл его открытых признаний о своем творческом тупике.

«О. Э.: — Сергей Борисович, как вы предсказали и заделали мои воронежские стихи, скажите, что же теперь должен я делать. Заниматься старым я не могу, а что новое?»

Я: — Осип Эмильевич, мне кажется, что теперь по ряду показателей можно судить, что будет проза. Говорю это вот почему. Все с 1930 года по воронежские стихи включительно, все стиховое было вокруг “Разговора о Данте”, причем до него или после, но все смотрело

на него. Или в “Данте” оправдываются готовые стихи, или стихи последующие его распространяют и оправдывают. Это “Разговор” о вас. Т. е. все, что вы думаете теоретически, вы изложили в порядке доказательств того, что Дант “хороший”, “настоящий” (я упрощаю, но это значит, что “Дант и есть поэзия”), по смыслу же это было обсуждение вашей практики. И хотя Дант является сюжетом работы, его там меньше всего. Я ее понимаю до конца, не зная итальянского. (О. Э.: Да, это все говорят, что это понятно и не знающим Данта.) Но это надо понять не как полноту, Данта разъясняющую, а как то, что смысл не в Данте, хотя он и не случаен, т. е. что и о нем многое, видимо, характерно. Итак, в моих примечаниях (которые я хочу “кончить”, т. е. сделать полно уже сейчас) должна быть раскрыта связь стихов с тем, что было в вас тогда помимо их. Привлечение (неразб. — Э. Г.) и музыки тоже произвольно. Вам нужна была структурность. Подошли бы и естествознание, и математика, и архитектура. Вы доказывали так: музыка структурна (оркестр, etc.), и она музыка! а Дант ей подобен, как он хорош! А получается совпадение тех формул поэзии, которые вы выверяли с вашей практикой, с практикой Вагинова, моей и еще очень немногих. В чем же суть дела? В том, что поэзия понимается как наложение рядов одного на другой, как отказ от твердых форм значения за счет углубления роли сочетаний. Здесь куча частных. Программа: все это в движении. О нем, о движении, написан “Дант”.

Но сейчас нет ни накопленных новых точек зрения, ни обновленных стихов. То и другое samozакончено. А опыт большой, и он начинает не обсуждаться или углубляться вами, а бродить словесно. Т. е. рецензии, радио, театр, колхоз, “Глюк” и все, все сможет ожить прозаически по типу реформированной “Египетской марки”. Признаки этому — попытки записывать кусочки, самоцельно обыгрываемые...

О. Э.: — Очень, очень все похоже, но надо тогда на все начать смотреть как на лагерь, как на работу. Увидим, смогу ли я это сделать. Надо жить и жить. Буду всегда помнить о себе, а быт свой, метанья — отстраню.

Я: — Такая проза пойдет, может быть, как раньше “Путешествие в Армению”. Вообще о деталях и рано, и не нужно еще говорить.

О. Э.: — Для такой работы будут годны все удачи и неудачи, но она должна быть не обобщающей.

Я: — Как “Египетская марка” — уводящей, разнонаправленной, разлагающей.

О. Э.: — Может быть, может быть. А вы стихи должны писать, и скорее, скорее — примечания к “Данту” для начала.

Я: — Остальное будет кончаться в Ленинграде.

Когда я уходил, на “Египетской марке” он сделал подпись:

“3 апреля. 1936. О. Мандельштам.

Поживем — поглядим, С. Б.!

М.”

Все вместе безумно напомнило тот год, его начало. Как давно не было, шел домой и поздно и радостно — такой легкой походкой по сухому асфальту проспекта с левой стороны Петровского спуска».

Однако этот просветленный день снова затмился длительным периодом бытовых забот и болезней для Мандельштамов, а для Рудакова — изнурительным ожиданием решения своей участи. Но вот — взрыв. Эпизод одного дня дал нам возможность в последний раз узнать со слов Рудакова о творческом самочувствии Мандельштама и увидеть, до какой патологической крайности доводило Сергея его болезненное самолюбие непризнанного поэта. Следы этого были уже заметны в предыдущей беседе; вопросительный знак, которым он снабдил выражение Осипа Эмильевича о «заделе» Рудаковым его ранних воронежских стихов: не «задел», а соавторство! — угадываем мы между строк любимую иллюзию Рудакова. А назойливое упоминание в одном ряду с Мандельштамом и Вагиновым себя? Теперь Рудаков меряется с Пастернаком.

Затись 30 мая 1936 г.:

«И вот новость... “Карлик” (сожигатель Мандельштамов) в небрежном тоне (вчера) рассказывает, что в № 4 “Знамени” новые стихи Пастернака. О. взволновывается. Умоляет меня купить.

Потом: “Надюша, 500 рублей, это я за стихи гонорар получил? Вернуть деньги!” Н. на обе половинки мысли двоекратно ответила: “Да”.

В конце дня я журнал купил, но ему не понес, а стал читать сам (сперва в магазине, потом в кафе).

Такие разговоры устно (для тебя) угнетающи. Но в письме пусть все звучит более историко-литературно, научно, как остановка времени под уздцы, чтобы его лучше рассмотреть. И другим показать.

Так вот. Губительность того, что я непечатаемый, вернее, даже, что меня не знают.

Стихи его до одури напоминают мои последние. Именно вещь № 3 (у него) идет в ритме “И шкандыбает мною”... (№ 1 и № 2 были опубликованы в “Известиях” за 1 января)³⁶. А дальше переосвещенный подбор тем и слов, легших в основу моих вещей (тут — Дант, революция как осознанный поворот; тон речи, языка поэта; стройки, как мотив современности, соотнесенные с временем в смысле категории будущего etc.). Все очень личное. И все это пересыпано очень твердыми поэтическими кусочками, а в целом нуда, мерихлюндия, рефлексия, скулеж — словом, Пастернак. Пробовал и вчера, и сегодня себя перечитывать, и, ей-ей, лучше, хотя, может быть, схематичнее (но нет, это неверно, это мне кажется от близости собственной вещи, звучит ее понятность). Время пройдет, и ни одна собака не поверит, что я написал раньше. Но суть не в том. Как и ждал, у М. судороги от восторга (“Гениально! Как хорош!”). Сам он до того отрезвился, что принялся за стихи!! Именно, исправил стих последней воронежской вещи...» (поправка к стихотворению «Не мучнистой бабочкою белой», см. выше. — Э. Г.).

«Он: — Я раскрыл то, что меня закупило, запечатало. Какие теперь просторы. А Пастернак установил связь между: “конем, окном и небом” (см. стихи). У меня теперь

³⁶ В цикле, напечатанном в «Знамени» № 4 за 1936 г., порядок стихотворений таков: 1) «Я понял, все живо», 2) «Мне по душе строптивый норов», 3) «Немые индивиды», 4) «Все наклоненья и залогии...», 5) «Как-то в сумерки в Тифлисе», 6) «Скромный дом, но рюмка рому», 7) «Он встает. Века. Гелать».

новые “у” потянуло. Чуть ли не восемь месяцев был перерыв. А звание надо носить, правда, Сергей Борисович? — Стихи у Пастернака глубочайшие, о языке особенно... Сколько мыслей... А вы что скажете?

Я: — У меня дело особое. Они очень по-худому близки к моим новым стихам.

Он: — Стихи другие стихи никогда не отменяют. (А в том же номере “Знамени” Шкловский пишет, что Блок Маяковскому сказал: “...вы нас отменяете, но мы, конечно, этому не можем радоваться”).

Все это произошло у Мандельштамов спешно. Пришла одна их радиознакомая, и я уехал к Юлию. В прихожей О. Э.: “Сергей Борисович, оставайтесь... а нет, то завтра будете читать стихи”.

Я ушел переволнованный. К чему этот хамский период, если О. опять восстановится? Я к нему по-старому не буду относиться. И стихов читать не буду. Вот уже конец Воронежа. Он создал такую обстановку, что я не мог радоваться на свои стихи, легко без скандала их читать. А я знаю законы истории и знаю, что силой вещей могут быть загублены дивные даже произведения. И со мной неизмеримая вина Мандельштама. Я буду и жить, и работать, но с пользой. Воронеж принес глубочайший вред.

Вчера не писал нарочно. Будут потом стихи и историческая работа, но сейчас было гадко: это какие-то формы проигрыша. Понятно ли пишу? Все с Пастернаком лишь пример, что близкое ко мне котируется как гениальное (у Мандельштама и у критики) за известность. Перечитывал стихи — нет, не разочаровывают. Какие скоты люди!

Рад, что внутренне от Мандельштама свободен, что не буду читать, так как астрономически точно знаю, что будет бред брани. Довольно этого. И не хочу его баловать тем, что о нем в стихах есть. Пойми, все это может быть лучшее проявление силы. Но может не быть плохо и сильному».

Эти две последние записи — ключевые. Осип Эмильевич радостно встречает у Пастернака родственные мысли. Слова Мандельштама об установленной Пастернаком «связи между конем, окном и небом» напоминают его более ранние высказывания об обрастании каждого «зародыша» своим словарем, т. е. необходимости развития заложенной в стиховом слове темы. В стихотворении Пастернака «Он встает. Века. Гелать» тема «коня» впервые дана в четвертой строфе: «Разве въезд в эпоху заперт? Пусть он крепость, пусть он храм, Въеду на коне на паперть, Лошадь осажу к дверям», — развивается в следующих строфах и исчерпывается в восьмой: «Твой поход изменит местность, Под чугун твоих подков, Размывая бессловесность, Хлынут волны языков». Эти строки перекликаются с мыслями Мандельштама, зафиксированными Рудаковым еще 23.VI.1935: «Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся». Под «связью между конем, окном и небом» О. Э. подразумевает, вероятно, весь цикл, напечатанный в «Знамени». Так, в стихотворении «Немые индивиды» в последних строфах вновь откликается тема «коня», сопряженная с названными Мандельштамом темами: «Теперь темнеет рано, Но конный небосвод С пяти несет охрану Украин, рош и вод. Из комнаты с венками Вечерний виден двор И выезд верхами В сторожевой дозор».

Эти соприкосновения вызывают у Мандельштама новый прилив поэтической энергии, однако вскоре заглушенный. Следующий творческий период начался только в конце 1936-го, когда Осип Эмильевич остался совершенно один, без собеседников. Вопреки предсказаниям Рудакова он не обратился к прозе, а создал свой последний цикл воронежских стихов. Надежда Яковлевна, приезжая в Москву, внимательно подбирала книги по искусству или истории, которые привозила в Воронеж Осипу Эмильевичу. Они питали творческую мысль поэта.

IV. МАЛЕНЬКИЙ «САЛЬЕРИ»

1. Двадцать дней

Как это началось? Обратимся к первым письмам Рудакова из Воронежа. Здесь мы увидим пейзаж, сыгравший такую большую роль в новых стихах Мандельштама (особенно в «Я должен жить, хотя я дважды умер...»), встретимся с Осипом Эмильевичем в комнате, воспетой им в стихотворении «Я живу на важных огородах», взглянем глазами Рудакова на Мандельштама, сочиняющего стихи.

«30.III. — Вот и я в Воронеже.

31.III. — Воронеж — удивительный в топографическом отношении город. Центр ровен, как стол. Проспект Революции — уменьшенный Невский, стрела, а не улица (и дома хорошие и в новом, и в старом роде). А от этой улицы в сторону, тут же, киевско-московские кручи, обрывы, прямо овраги; в просветах между домами этих боковых улиц виден стокилометровый горизонт и речка внизу у города. Ни дать ни взять вид поверх Подола в степи. Этот местный Подол — деревня, и совершенно буквальная: все на холмиках и оврагах.

2.IV. — Если бы я вчера не вернулся домой в 10 минут второго (а в 1/2 2-го гасится свет), вчера было бы написано замечательное письмо. Но так даже лучше. Все расскажу дома, когда приеду. Все — это вид на степь, на железную дорогу и непомерно разлившуюся Ворону, это очень быстро наступивший вечер, наступивший и тянувшийся в полусумраке долго. Потом ночь.

Шницель и какао в кафе, а потом сиденье на самодельном диване в покосившейся комнате, примус, необыкновенно легко разжигавшийся, хождение вдоль покосившегося пола. В крошечную черную ночь уход домой через заднюю балконную дверь домика, стоящего на окраине железнодорожного поселка...

Линуся, понятно или нет? Лина — это Мандельштам.

А дела идут своим чередом. Захожу в учреждения насчет службы. Не думай, что Мандельштам мешает этому (мы ходили вместе).

Линуся, спиши для нас (!) хотя бы немного Вагинова, что передаст тебе Ирина³⁷.

³⁷ Ирина — старшая сестра Рудакова (18...—1942), была замужем за родным братом поэта К. Вагинова Алексеем, умершим, как и она, в блокадном Ленинграде.

Пришли хоть 1—2 вещи. Еще — «Опыт соединения слов»³⁸ — только без автографа... Потом Осип Эмильевич очень просит, если есть «Современник» с Тыняновым³⁹, здесь его не достать.

Чувствую себя изумительно. Кончилось молчание. Можно говорить, думать. А думать молча я не умею.

Зима вчера кончилась, и на главной улице асфальт сух. Воронеж напоминает океан, а улицы маленькие и боковые тонут в грязь. Но ручьев уже нет.

Сейчас 11 ч. утра, в 1/2 12 — служебное свидание в Утюжке (Утюжок — здание, являющееся средоточием всех учреждений города, стоит в конце проспекта и имеет форму утюга — название официальное).

4 апреля

Это первый раз в жизни (не считая Кости Вагинова, с которым это тоже было немного), когда я по-настоящему чувствую себя с другом (с женщиной). Его увидишь, когда приедешь. А сейчас важна схема отношений: мы вместе обедаем, читаем Щербину и Сумарокова, его необычайнейшие новые стихи (доворонежские...). На мои о нем, о моей концепции с Коневским и Гумилевым — споры, в которых, Кити, чувствую свою огромную силу и правоту (вот бы это повторилось с Тыняновым!).

Углублять споры нецелесообразно, ввиду его нервности и потому, что на 26-м году литературной деятельности не обязательно он должен быть перевоспитан; — это даже невысказано. Я просто смотрю, как он мыслит, как говорит о других, судит. Это новая высокая стадия.

Особый вопрос о моих стихах, которые стоят в сущности в итоге исторической концепции. Моя сила — ее сознание, это очень много, достаточно, чтобы жить. Но я всегда с собою и буду с тем, кто будет жить. Он мне так напоминает минутами Костеньку, что боюсь за него. А здоровье очень плохо. Лиана, а стихи, стихи — они будут у нас (написанных у него тут с собой нет, он запишет или продиктует), — изумительны, восьмистишия.

Это не разговоры в Европейской⁴⁰. Это жизнь равная, ровная и со всеми своими качествами, с деньгами, калошами, комнатами и всем, всем человеческим.

Надо всем, со всем и несмотря на все — гениальный поэт, написавший Соломинку, Венецианскую жизнь. — И не на эстраде, не в артистической. — Важно в этом только одно: каждый человек, в известном смысле, настоящим бывает не 24 ч. в сутки, и вот такая близость дает видеть эти настоящие минуты, уловить которые у других не хватило бы охоты.

А я, кроме всего прочего, вижу в нем глубоко несчастного человека, привычки и манеры — все объяснимо.

³⁸ «Опыт соединения слов» — книга Константина Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма» (Л., 1931).

³⁹ В «Литературном современном» с первых номеров за 1935 год печатался роман Ю. Н. Тынянова «Пушкин».

⁴⁰ ...разговоры в Европейской — В конце 1933 г. Мандельштам приезжал из Москвы в Ленинград, где провел несколько выступлений. Он остановился в «Европейской» гостинице, там его посещали ленинградские писатели, пришел и Рудаков. Он читал свои стихи и был жестоко раскритикован Мандельштамом.

Я заставляю его бриться и чистить на улице ботинки (это я-то, свинушка-то).

Ему 43 года, выглядит старше (и старше), но когда спокоен — это тот Мандельштам, который нарисован в «Аполлоне» с хохолком (бороды нет, он бреется!).

6 апреля 35.

У меня есть комната, т. е. те 1/2 комнаты с артистом, о которых писал. Вещи уже там, сегодня первый раз буду спать дома. Эту ночь спал у Осипа Эмильевича. Уже достал макинтош — тут весенняя жара. Теперь только забота о службе и деньгах: комната, и сказочно дешевая, есть.

Вчера были на концерте скрипачки Бариновой⁴¹ (с Мандельштамом, бесплатно) — у нее невероятный, цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистичная живость. (Когда я это сказал, О. Э. удивился, откуда я мог так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не видел. А ритмы-то стихов!) А вот и мое достижение. После года или более Мандельштам написал первые 4 строчки. О ней, о Бариновой, после моих разговоров —

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту —
Три черта было, ты четвертый,
Последний, чудный черт в цвету.

Это должно стать концом шестистрофной вещи, у которой дома появилось и начало —

За длиннопалым Паганини
Бегут цыганскою толпой
Все скрипачи —

Я говорю, что лучше «длиннопалым» (пал — в смысле пальцы слишком близко к беспалым, трехпалым и etc.).

Пишу сейчас у Мандельштама. Балконная дверь раскрыта, против нее стоит семафор (?). Осип Эмильевич говорит, что это ненаписанная картина Рафаэля — готов фон.

Дом на горе. Вид на «Подол» и невероятно разлившуюся, но уже мелеющую Ворону. Время от времени проходит поезд. Пишу на Сумарокове. О. Э. переводит «Иветту»⁴² (и злобствует от нелюбви).

7 апреля.

Спасает О. Э., у которого и с которым масса забот. Он чувствует себя ужасно плохо и выдумывает все болезни, не исключая, кажется, женских. Он просто ребенок. Подробно — расскажу устно. Забыть это нельзя... Сегодня водил О. Э. к профессору-терапевту. Тот ему

⁴¹ Скрипачка Галина Всеволодовна Баринова (р. 1910 г.) в настоящее время профессор Московской государственной консерватории.

⁴² «Иветта» — повесть Ги де Мопассана.

ничего толком не сказал, а дитя успокоилось. Вечер я сидел у Т. А. и К°, а он, наверное, нервничал один. То ругает, то хвалит Иветту — и страшно гладко и быстро ее переводит, но скоро утомляется.

Я счастлив, что взял VIII т. Сумарокова. Еклоги — одно успокоение (именно они). — Пастушья любовь всегда по одной схеме... Мандельштам злится, а я в восторге.

8 апреля.

Читал Осипу Эмильевичу Вагинова, он страшно протестовал против него, кроме последнего стихотворения⁴³ (про ветер, снег и умиранье соловья), которое ему чрезвычайно понравилось: «Вот это настоящие посмертные стихи».

Лица, даже страшно и жутко от огромности моих мыслей, от масштабов планов. Мандельштам сперва лез в бутылку («Что это, карманная история литературы?»). Но тут-то и начала вскрываться моя сила, его (как ни странно) консервативная беспомощность. В деталях я его бью его же стихами! Вот — речь о Сумарокове, которого он, в сущности, как и все, кроме меня и Гуковского, не знает. По моей концепции, Сумароков в атмосфере 60-х гг. XVIII в. по-своему аналогичен Гумилеву, т. е. работает не на речевых новшествах (как Хлебников или, условно говоря, Державин и фольклористы 70—80-х гг.), а на игре готовыми и прозрачно литературными элементами и приемами (романс, песни, эклоги, етс.). Мандельштаму это не ясно. А вот его стихи:

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль⁴⁴

⁴³ ...последнего стихотворения — из сборника стихов К. Вагинова «Звукоподобие»:

Норд-ост гнул пальмы, мушмулу, маслины
И велингтонию, как деву, колебал,
Ступеньки лестниц, словно пелерины,
К плечам пришиты были скал.
По берегу подземному блуждая,
Я встретил соловья, он подражал,
И статую из солнечного края
Он голосом своим напоминал.
Я вышел на балкон подземного жилища,
Шел редкий снег, и плавала луна,
И ветер бил студенным кнутовищем,
Цветы и травы истязал.
Я понял, что попал в Эдизиум кристальный,
Где нет печали, нет любви,
Где отраженьем ледяным и дальним
Качаются беззвучно соловьи.
(Цит. по: День поэзии 1967. Л.: Советский писатель, [1967]. С. 78-79).

⁴⁴ Из стихотворения О. Мандельштама 1914 года «Есть ценностей незыблемая скала».

Я говорю: «Видите, вы сами стиховно, правда, порицая Сумарокова в пользу Озерова, поняли его литературствующую роль. Теперь ясно, что это надо проверить лучше и уязвить исторически». Ответ? Ясно.

9.IV. — Воронежский быт уже устойчив. В ожидании моего документного оформления, а следовательно, разговора о службе — живем «беззаботно», а именно так: часам к 12 я прихожу к М. (это от моего дома три хороших трамвайных остановки; причем третья остановка уже пригородная, за полотном ж. дор.). Там повторный чай после первого утреннего. Его перевод, мое чтение (вчера Языкова, которого он вместе с Батюшковым привез из Москвы; Языков 1833 года). На балкон выходим без пальто. Дерево, растущее рядом с балконом, наклоняет свои ветки, а на них огромные почки — из которых торчат зеленые, еще свернутые в трубку листы. Пока зелени нигде нет.

Потом идем гулять. Пешком до Петровского сквера (путь к моему дому). Там стоит идиотский Петр с простертой рукой; в другой руке якорь; у подножия еще якорь. М. зовет его Петр-якорник. Сад маленький, за ним спуск к реке, видна заречная часть; перед Петром неработающий фонтан. Из садика деловые походы М. с совместным походом на почту за моими письмами (если с вечера письмо запоздало — я захожу утром до М.). Походы к знакомым, в магазины, на телефонную станцию (его разговоры с Москвой). В середине дня обед. Иногда вместе, иногда раздельно, т. к. он ходит в диетическую столовую.

10.IV. — М. взял Современник и ранее всего кинулся на Степанова⁴⁵, а у него и вообще-то вздор написан, да к тому же дважды и беззубо обруган М. (правда, периода 20-го года). Он совсем скис. А от Тынянова пришел в раж от отвращения. Я его чуть-чуть понимаю: Тынянов — это языковая работа со старыми пластами (20—30 гг.), а многим тут тесно и душно становится. М. — подобно мне — любит его малые вещи — Кижэ и Витушишников⁴⁶. А тут с тетками, правда, понакручено. Но целиком мне доставило радость, а М. неугомонен.

Переводя Иветту, он разъярился окончательно и сказал бессмертную фразу: «Что французы? о чем можно говорить с французом? Это кошка, опившаяся валерианом. У них один Мериме чего-нибудь стоит».

⁴⁵ ...взял Современник... кинулся на Степанова... — В «Литературном современном» за 1935 г. в № 1 Н. Степанов в заметке «Углубление темь» (общее название статьи «Заметки о стихах») остановился на провинциальных претенциозных альманахах и сборниках стихов начала 20-х гг. Напечатанные там стихи, «написанные по всем правилам хорошего акмеистического или футуристического тона», по мнению Степанова, «отличались главным образом удивительной способностью их авторов “не заметить” время, в котором они жили». Эпиграфом «ко всей эпигонской поэзии, выставившей на почве литературных реминисценций в распадае буржуазной дореволюционной поэзии», можно было поставить, согласно Степанову, «известное стихотворение О. Мандельштама “Я слово позабыл, что я хотел сказать”... о теме, потерявшей свою плоть и кровь». Касаясь далее стихов Мандельштама, где темой «являются вторичные и далекие ассоциации, лейтмотивом проходящие сквозь стихотворение», Степанов называет их «беспредметной лирикой».

⁴⁶ ...Кижэ и Витушишников — повести Ю. Н. Тынянова «Подпоручик Кижэ» (1928) и «Малолетний Витушишников» (1933).

Далее вечером вышел с ним грандиозный разговор о моих стихах. Хуже, чем в Европейской гостинице. В чем дело? — Не понимаю. Он обо мне говорит с таким непониманием, как худшие читатели мира о нем самом. Единственная истинная истина, что 90% моих вещей о стихах и в узком литературном мире ассоциаций. Это (и мы согласны) близит нас с Вагиновым. Но дальше, прости, но вздор. Много блеска, ума, но все зря. Это сейчас говорит моя святая вера в себя. А он вроде барана — уперт. Поверить, что стихи плохи или даже далеки от его стихов, — невысказано. Он меня «пугает» Тихоновым (что я на него похож). Если бы он был М., но не О. Э., или О. Э., но не М. — я его послал бы к лешему. А сейчас надо воспитать, обратить. Он меня дополнительно шлет к Ахматовой и... Пастернаку (вот за последнее спасибо?!).

13.IV. — Ждем № 3 Современника. В первых № № отчаянные стихи, которые ожесточенно читали вместе.

15.IV. — У М. день шел в ожидании телефонного разговора (Москва, с 4 до 6). Была перегружена линия, и ему не дали — он так изнервничался, что чуть с ума не сошел. К его счастью, удалось зайцем проскочить вечером, и он договорился. Приезд дам⁴⁷ из Москвы еще отложен — теперь до 18.

Дома коллективно сжарили яичницу из 6 яиц, напились сладкого чаю с булкой и маслом, и — увы! — оказалось 11 1/2 час. веч. А у нас подошло чудное разговорное настроение. Начали с Комаровского, кончили мною. Важно, что я пришел в раж и стал на нем (на М.) демонстрировать свои позиции: эволюцию поэзии от Надсона (от нуля до Гумилева и Мандельштама). Небо его сознания проясняется. Но увы! не без наивностей: он говорит: «Так скажите, в чем же общая суть в 2-х словах». А надо для этих двух слов написать тома.

17.IV. — У М. — тревоги: переезд на новую квартиру и ссоры с хозяином, а Н. Я. еще нет (будет 20). Я его утешаю, а он с ума сходит. Пишу сейчас, сидя у него. Жаль, что ты не увидишь этой комнаты, в новой будет не то.

О Заболоцком молчит, а потом мрачно ругается.

М. сейчас хочет писать доклад (он же статья) о формализме. Вот уж тут я — порочный ученик Тыннинова, Эйхенбаума и К°, или продолжатель их дела, или создатель новых отношений, — даже после всех наших разговоров не ясно ему. Консерватизм — ужасная вещь.

18.IV. — ...Да, а Иветта (или Иветтка, как говорит О. Э.) — Мопассана. Она уже кончена. В мае он уже не хочет переводить, а будет писать о помянутых формалистах.

Близость М. столько дает, что сейчас не учесть всего. Это то же, что жить рядом с живым Вергилием или Пушкиным, на худой конец (какой-нибудь Баратынский уже мало). Масса мыслей вокруг этого. Важно нечто неуловимое, а не сами литературные мелочи. Хотя есть и они (то, что надо вспомнить для анекдота, для биографической детали).

Тут был вечер памяти Маяковского (с Яхонтовым). Резонанс ужасный, и Яхонтов не звучал. Он был перегружен выступлениями, а М. еще его адрес спутал, и лично его не видели. Сегодня были в Летнем театре на Гауке (Брамс и Вагнер, с которого удрали, т. к. на дневное «представление» набились дети, которые не давали слушать).

⁴⁷ Анны Андреевны Ахматовой и Надежды Яковлевны Мандельштам.

20.IV. — 17, 18, 19, 20 — дико работает М. Я такого не видел в жизни. Редко можно увидеть.

Итог — точный: или ничего (кроме стихов) не будет — или будет книга моя о М. Или сейчас уже статья в местном журнале. На расстоянии это несоизмеримо и нерасказуемо. Я стою перед работающим механизмом (может быть, организмом — это то же) поэзии. Вижу то же, что в себе, — только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас. Больше нет человека — есть Микеланжело. Он не видит и не понимает ничего. Он ходит и бормочет: «Зеленой ночью папоротник черный». Для четырех строк произносится четвереста. Это совершенно буквально.

Он ничего не видит. Не помнит своих стихов. Повторяется и, сам отделив повторения, пишет новое.

Еще предстоит великислепная жизнь. И такая работа, какой свет не видел. Я изучаю дивную конструкцию, секрет которой сокрыт для смертного, изучаю живого Мандельштама.

21.IV. — Он сегодня переехал в центр. Я простился с комнатой, с балконом и неповторимым видом за реку через полотно железной дороги. Знаешь, эти 20 дней — такая эпоха, что не оторваться от пейзажа».

РАБОТА НАД СТИХАМИ

Манделштам не переносил одиночества. Это было его болезнью. В длительные периоды ее обострения он не мог ходить по улицам без сопровождающего, избегал оставаться один в комнате.

Однажды, в начале тридцатых годов, он пришел ко мне на службу и умолял, чтобы я бросила работу и пошла с ним гулять — немедленно! Я бывала с ним в гостях у его знакомых, если Надя почему-либо не могла или не хотела туда идти.

Когда после смерти ее отца в 1930 г. она надолго уехала в Киев, Осип Эмильевич писал ей из Москвы: «Со мной один Апель ходит». Я не помню, кто это Апель, вероятно, один из сотрудников «Московского комсомольца», но дело не в этом, а в потребности Манделштама в поводыре.

В Воронеже, оставшись на время без Нади, он прилепился к Рудакову. Уже на четвертый день знакомства, описывая свой визит к каким-то воронежским старожилам, Рудаков добавляет: «А в кафе изнывает, меня дожидаясь, Манделштам».

Осип Эмильевич был заядлым спорщиком. Словесное и интеллектуальное состязание (с мужчинами) его вдохновляло. Вспомним, как он жаловался на обмеление словаря и оскудение интеллекта, упрекая при этом Рудакова за спад его энергии оппонента.

Самое удивительное, что он и стихи так сочинял. В своем описании знаменитого общежития писателей в Доме искусств Виктор Шкловский отвел Манделштаму целую страницу. Там читаем: «По дому, закинув руки, ходит Осип Манделштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно»⁴⁸.

⁴⁸ Шкловский Виктор. Сентиментальное путешествие. Л.: Атений, 1924. С.136.

Наблюдение это, относящееся к 1920 году, совпадает с записью Рудакова, сделанной через 15 лет. Вспомним: «Для четырех строк произносится четыреста... Он ходит и бормочет».

Женившись, Мандельштам диктовал стихи Наде. Это не было диктовкой готового текста. Он проверял каждое слово, заставляя читать себе написанное, требовал ее суждения, для того чтобы с негодованием отвергнуть его. Надя признавалась мне, что при этом он бранил ее последними словами. И тем не менее такой процесс писания был ему необходим, а Надя рассказывала об этом с нежностью. Вот почему она говорила Рудакову, как бы любуясь этой манерой Мандельштама: «Оська ругал вас самым пышным образом всю ночь и мне не давал спать. В результате стихи доделаны. Вы — огромный молодец. Без вас он бы их не доделал». Эти слова уже приводились мною в другом контексте. А вот нижеследующий характерный диалог еще не фигурировал здесь, между тем он иллюстрирует неизменность творческой манеры Мандельштама. Жена выразила это в форме веселого парадокса. Разговор возник в процессе совместной работы для радио.

«Доругался я тогда до того, что с ним нельзя работать», — пишет Рудаков 10 октября 1935 года.

«Он: — Неужели я так мелочен, что за то, что вы вели меня в работе над стихами, я буду в иной работе умышленно себя выставлять?! Я самый советуемый человек.

Нади: — Да, но только в стихах. В остальном ты уверен, что все делаешь лучше всех».

Не надо думать, что это только остроумие Надежды Яковлевны или самодовольное преувеличение Рудакова («вы вели меня»). Потребность Мандельштама в собеседнике во время творческого процесса выражена даже в его стихах позднего воронежского периода. Они написаны в январе 1937 года, когда он остался без работы в театре и без квалифицированного слушателя своих новых стихов. В стихотворении «Я нынче в паутине световой», посвященном проблеме взаимосвязи поэзии и народа, выделяются два стиха:

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли...

то есть найдет ли то, о чем сказано: «Народу нужен стих таинственно-родной», как «хлеб и снег Эльбруса», как «свет и воздух голубой».

К этому стихотворению примыкает «Куда мне деться в этом январе?», где одиночество Осипа Эмильевича почти физически ощутимо. «Голубому воздуху» предыдущего стихотворения противопоставлен «мертвый воздух» глухой изоляции. Построено это стихотворение на простых и ясных реалиях, завершаясь двустихием:

Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей разговора б!

Несмотря на конкретность этих трех, даже четырех условий, это стихотворение обычно трактуется более узко: оно приводится в доказательство стремления Мандельштама к «широкому» читателю, «большому» читателю, говорится о «поиске» читателя. Но о каком читателе

можно говорить, если стихи не напечатаны? Новые стихи, остающиеся в столе, это бомба замедленного действия, взрывчатый материал, исподволь разрушающий творческую личность. Нужно ли удивляться, что Мандельштаму был так необходим врач? Ну а как нужен был ему «советчик», мы уже видели по его неоднократным признаниям. Однако «советы» были нужны Мандельштаму вовсе не для того, чтобы слепо ими руководиться, напротив, ему не хватало «колочих разговоров». Вот что вызывало у него прилив творческой энергии. Это очень верно определено Рудаковым в продолжении его рассказа о пресловутой заказной работе для радио:

«В стихах мы (т. е. я) спорили до конца, так как была абсолютная ответственность за стихи лучшего, может быть, в мире поэта. И я спорил до смерти, а в халтуре это просто невежливо, так как низкая выработка будет. А кроме того, меня не поколеблет в стихах его брань (*а брань — фон творчества у него*). (Выделено мною. — Э. Г.) Он всеми словами ругает строку, и кажется, ее заплевал полноценно, а потом она же остается, а ряженный гений в итальянских переводах да в радио непонятно авторитарен».

Интересно, что в совместной работе над литературными поделками Рудаков был для Мандельштама совершенно неприемлем: его педантизм, рационализм и склонность к строгой логике парализовали Осипа Эмильевича. Рудаков описывает этот процесс:

«Когда я показал список учтенных цитат, Ося “хвалил” и умилялся, но платонически. Когда начали вместе работать, стоял вопль на мои куски и линии, их связывающие. Вопль: дайте готовые две страницы для радио (аналогично: дайте готовую строфу — в том переводе). А я не успокаивался, как раньше, а орал на него, как за стихи, и методически твердил о своей концепции. Я чертил на стене кривую действия. Он кидался ничком на кровать со стоном, что устал и ничего не понимает, Надин кусалась, а я долбил.

Кончалось тем, что Ося слюной (как пчела) склеивал кусочки (а без кусочков — только брызганье слюной!). Работа шла от тупика к тупику, а там и на столбовую. Работаем. Манометр показывает давление, близкое к стиховому... Здесь Вилли Ферреро.⁴⁹ Он по сто раз репетирует с оркестром одни и те же куски: пять репетиций. Этого никто не делает. Ося был на репетиции. И в восторге от его упорства. Мы работаем, как Вилли».

Претензии, предъявляемые Рудаковым к Мандельштаму в этой халтурной работе, относятся и к стихам: «Ося не имеет чувства объема, композиции, и все его удачи в этой области — случайности. Он и стихи, и все делает “строчками”, а они лепятся друг к другу, это не архитектоника. А у меня (от Гумилева или с Гумилевым) главное — чувство соотнесенности, функциональности вещей».

Но Мандельштам объяснил Рудакову, на чем строится архитектоника его стихотворений. Имею в виду разговор 8 июня 1935 г. о стихотворении «Да, я лежу в земле». Но Рудакову, видимо, была органически чужда поэтическая система Мандельштама. Вспомним его отрицательные высказывания о свободном белом стихе «Нашедшего подкову» (3 августа 1935 г.). Впоследствии, беседуя со мной, он с недоумением отзывался о «Стихах о

⁴⁹ В газете «Коммуна» за 1935 г. были объявлены «два концерта большого симфонического оркестра Облрадиокомитета под управлением Вилли Ферреро в Большом Советском театре 12 окт. (утром) и 13 окт. (вечером)». Ферреро, Вилли (1906—1952) — знаменитый итальянский дирижер.

неизвестном солдате», а «Разговор о Данте» характеризовал как гениальную «ересь» Мандельштама. И это при том, что он был способен понимать, комментировать и толковать этот трактат. По его словам, Осип Эмильевич очень хотел, чтобы Рудаков это сделал. Доказательством может служить рукописная авторизованная копия «Разговора», подаренная Рудакову Мандельштамом при прощании в Задонске. (Копия рукой Рудакова, исправленная и дополненная рукой Надежды Яковлевны.)

За время такого тесного общения с Мандельштамом Рудаков развился, вырос. При первой встрече он воспринимал Мандельштама как акмеиста, автора «Камня», «Тристии» и «Второй книги». Он ведь не знал большинства новых московских стихотворений Мандельштама, напечатано было меньше половины. Поэтому переход к новой манере, отталкивание Осипа Эмильевича от акмеизма было для Рудакова неожиданностью. Со своими теориями, возвращенными на трудах Тынянова и Эйхенбаума, пропитанный теоретическими построениями Гумилева о стихе, Рудаков был подходящим собеседником Мандельштама для спора. В первых своих письмах Рудаков неоднократно иллюстрировал, как Мандельштам «отрекается» от акмеизма. Так, 12 мая 1935 г. он пишет: «...читали Вагинова. Он злобствует, говорит, что это звукоподобие (речь идет о рукописном сборнике стихов К. Вагинова «Звукоподобие». — Э. Г.), на отдельные вещи восхищается. Хвалит прозу его. Но, в сущности, боится сам себя. История здесь астрономически та же, что со мной. Именно, где он видит вещи, близкие себе, эпохи 1908—1925 годов, он лезет в бутылку. А похожим ему мерещится любое упоминание Петербурга (Петербурга в широком смысле, с целым пластом, ему присутшим)».

Может быть, назойливые возвращения Рудакова к разговорам об акмеизме и о боготворимом им Гумилеве, вызывая сопротивление Осипа Эмильевича, спровоцировали ряд его отрицательных высказываний о поэзии главы акмеистов. Вместе с тем эти разговоры помогали Мандельштаму в его работе над принципиально новыми стихами. Рудаков налетал на зрелого поэта с критикой его новых стихотворных строк, а Мандельштаму только того и нужно было. «Каждые полстиха читаются мне, — пишет Рудаков 26 апреля 1935 г., — а здесь (см. мое письмо к Григорию Моисеевичу) куча моих требований, ориентированных на мою стиховую практику, несколько объективированную. Опять спор (жена боится)». Видимо, в опубликованном посмертно позднем интервью Н. Я. Мандельштам упоминается о той же манере Осипа Эмильевича сочинять вслух, обращаясь к собеседнику. На вопрос, говорил ли он с нею, когда писал свою эпиграмму на Сталина, Надежда Яковлевна ответила: «Конечно, говорил: он мне каждую строчку показывал. У меня, наверное, хороший слух на стихи». (Каждый вменял себе в особую заслугу обращение к нему, расценивая это как соучастие в творческом процессе Мандельштама.) Но вот прошло более полугода тесного общения Рудакова с Мандельштамом, и он уже с нескрываемым раздражением дает пародийное описание этой манеры Осипа Эмильевича. 23 ноября (1935 г.), когда Мандельштамов посетил приехавший в Воронеж на гастроли дирижер Лео Морицевич Гинзбург,⁵⁰ Рудаков сообщает:

⁵⁰ В «Коммуне» были объявлены два симфонических концерта в помещении Большого Советского театра — 24 ноября дневной и 25-го — вечерний. Лео Морицевич Гинзбург (1901—1979) — московский дирижер.

«У “осек” Лео Гинзбург. Осип перед ним извивается, читает стихи. При этом сам все говорит, а потом вопит: “Так? да? да? да. Так? Вы правы. Так? да...” А тот жмется (он к тому же заика)».

Но Рудаков не «жался».

В первом же воронежском стихотворении Мандельштама, наваянном концертом скрипачки Гаины Бариновой, Рудаков самонадеянно находит следы влияния своих разговоров. Но своими «поправками» Рудаков показал, что совсем еще не проникся поэтической системой Мандельштама. Осип Эмильевич пренебрег предложенной им заменой: декоративным эпитетом «длиннополый» вместо эпитета «длиннопалый», рисующего волшебную силу пальцев великого скрипача. Однако, вернувшись к этому стихотворению через два с половиной месяца, Мандельштам сажает рядом с собой Рудакова. «Сегодня кончена “Барина” (23 строки), — пишет Рудаков 18 июня. — Во время работы Надин вмешалась (оттирая меня и смазывая мои разговоры). Он: — Надюша, мы должны побыть одни, это может только Сергей Борисович. — Она примирилась и по-своему счастлива».

Можно ли верить подобным заявлениям Рудакова? Думаю, что можно. Вспомним, что в протекший период Мандельштам интенсивно работал над созданием циклов своих «большевицких» стихов. Рудаков подчеркивал бурный характер этого процесса, начало которого совпало с переездом на новую квартиру, ссорами с хозяином. «Он с ума сходит, — фиксирует Рудаков, — я его увещеваю». Вот из какого хаоса выростали стихи, которые, к великому гневу Мандельштама, многие критики называли «ювелирными».

Период «бурь и натиска» продолжался в присутствии Лины Самойловны, приехавшей в Воронеж на майские праздники. 10 мая (1935) Рудаков пишет ей уже в Ленинград. И тут мы узнаем, какими сомнениями и колебаниями давался Мандельштаму первый воронежский цикл.

«Еще при тебе он выкинул “Стансы”. Потом он (с Надин) уничтожили все записи “Стансов” и начатого Чапаева. Он говорил, что они бред, и покушался на черновики, что у меня (не догадываясь, что они скопированы?). Надька называла его “мой Гоголь” (в смысле уничтожения “порочащих” рукописей) и радовалась. Я “Стансы” запомнить не успел. Сейчас осторожно — по строчке — косвенными вопросами вытягиваю из него их. Запоминаю и дома записываю (уже есть 32 строки из 46). Есть 9 строк Чапаева. А когда у меня нащупывается текст, вижу, что он не так плох, но требует переработки в сторону *удаления расхлябанности*. Под мою диктовку он к вещам возвращается и *закончил* их, а у меня сохранится “проклятый” первый вариант, необходимый в своей обнаженности для моей работы. Пишу о том, чего ты не видела, так как был период потускнения нервов (квартира, камни коктейльские, психозная жена)».

Выделенные мною слова наглядно показывают характер «помощи» Рудакова. Он восстанавливает отброшенные Мандельштамом стихи, и Осип Эмильевич завершает их, выслушав советы Рудакова. Следует ли он этим рекомендациям? — Нет. Они его раздражают, но, повторим это еще раз словами Рудакова: «брань у него — фон творчества». Такой характер сотрудничества отчетливо вырисовывается из дальнейших писем, особенно из выделенных мною фраз.

18 мая — «...огромная работа с Мандельштамом... из обрезков и черновиков, прибавленных к “Чернозему” и “Каме”; из “Большевика” мы (я, а затем он) сделали немного больше ста изменений стихов. Тут мною переработаны: “Стансы” (первоначальный текст “спасен и отвергнут”)».

Казалось бы, все ясно: это — типичная работа редактора с автором. Странно, что такой мастер и зрелый поэт, как Мандельштам, нуждается в редакции. Но ведь это — стихи особого назначения. Пусть в исповедальной форме, но это прямые политические стихи. Они должны «доходить», должны быть поняты! И Мандельштам мечется, проверяя на Рудакове, соответствуют ли этой задаче его новые стихи. Рудаков утверждает: «Страшно то, что это уже не “советы”, а работа моя (моя) настоящая... На его материале я делаю такие уточнения, от которых нельзя отказаться, делаю такие (строчные, полустрочные) вставки и замены, до существования которых материал был мертв. А главное — *весь багаж расположил в порядке, дающем логически единственное целое*. Черновики все у меня, когда увидишь, узнаешь, что это такое. А мне даже жутковато, ведь будут читать гениального Мандельштама, а без меня, клянусь, были бы “Кама”, “Чернозем” (уже мною довершенный же) да куча мелочей неживых и грязноватых».

Кажется, Осип Эмильевич был того же мнения о своем цикле, несмотря на «помощь» Рудакова. 24 мая, когда Рудаков в воскресный день поехал в Сосновку к родственникам, он попал к Мандельштаму только в 10 часов вечера.

«Депрессия, — пишет он. — Лежит и скулит, что написал только “Каму” и “Чернозем”, а остальное чепуха. Цикл его гнетет, и он слабеет... Беру бумаги и читаю ему подряд (читаю воспитательно), — после каждой вещи: “Видите — хорошо, а не чепуха, и хорошо тем-то и тем-то”. Он молчит, а у него вертятся какие-то полуварианты, интересные, но к делу (цикла) не идущие. В целом он колеблется. Говорит, что я изумительно читаю (это лучше диплома). Я так люблю, когда ценят мое чтение, может быть, больше всего, так как в душе не всегда бываю уверен. А главное только начинается: идучи на телефон, говорю ему: “Слушайте — период “мне кажется, мы (т. е. я) говорить ДОЛЖНЫ” — кончен, т. е. кончен цикл *открытых* политических стихов. Теперь вы — вольноотпущенник и не должны, а вольны. Последние вещи живут отдельно, а в этом сейчас самое главное». Он счастлив, поняв это. Эти полуварианты будут новой вещью — о детях — и все. Хорошо?.. Покойной ночи... Это письмо выразило все очень полно».

Очевидно, речь шла о новом стихотворении Мандельштама «Еще мы жизнью полны в высшей мере», в каких-то списках называемое Надеждой Яковлевной «Стрижка детей». Увы! Оно принесло Рудакову огорчение. Но мы не можем ему сочувствовать.

26 мая он пишет:

«Пишу утром на службе (здесь и далее — наглядное опровержение позднейшего свидетельства Надежды Мандельштам о безделье Рудакова. — Э. Г.). Сегодня спал у Мандельштамов. Часов в 8 на почту, получил два твоих письма... рад твоей свободе от статьи. А вот у меня беспокойство в смысле расценок. Скоро конец месяца, подведение итогов, а у меня ушло много времени на составление и утверждение проекта, который сам начал быстро, и я не знаю, как будет оплачиваться это при сдельной работе. Все это не страшно,

но важно и показательно в отношении моего положения тут. Дело не в деньгах, которых мне хватит, а в тоне.

Сейчас жарко, конец мая, и весь город в белом. (Реальный комментарий к строкам из стихотворения «Еще мы жизнью полны в высшей мере»: «Еще гуляют в городах Союза Из мотыльковых лапчатых материй Китайчатые платица и блузы». — Э. Г.)

Бедный, бедный перед великой исторической перспективой твой счастливый мальчик. Уже налицо у мальчика гениальные... ученики, а сам он только Фриде пока известен.

Слушай:

Еще стрижей довольно в мире и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

Это конец хорошего в целом нового 12-стишия Осипа Эмильевича. Лиана, Лиана, тут лучше всего:

Толковые
Лиловые
чернила

Источник?

Привычными
Кирпичные
заборы!!!

Лиана, что делать!?! Нельзя же встать на Невском и всем это рассказывать. Мое он знает наизусть».

Трудно согласиться с Рудаковым насчет превосходства именно последнего стиха над остальными в мандельштамовском стихотворении. Возможно, что внутренняя рифма и ритм его действительно навеяны структурой приведенного стиха Рудакова. Но что с того? Стихотворение «Еще мы полны жизнью в высшей мере» не теряет от этого ни гармонического совершенства, ни насыщенности далекими ассоциациями, свойственными поэтике Мандельштама, до которой Рудакову далеко, как до небес.

Ученик формалистов, он не может отделаться от убеждения, что искусство — это сумма приемов. Поэтому, отвлекаясь от литературного произведения в целом, он наивно ищет конкурентов и ревниво защищает свой приоритет, сравнивая стихи выдающихся современников со своими опытами. При первом соприкосновении с новой работой Мандельштама он восклицает: «И здесь — вещь непомерная, необъяснимая, но непререкаемая. Лиана, он делает то, что я начал делать полтора года назад». О том, как он горевал, что

его «обогнал» Пастернак, мы уже читали. Если бы Рудаков нормально развивался, то есть печатался бы, выступал со своими стихами в профессиональной среде, он бы вскоре сам убедился, что дело не в изобретенных «приемах», что он не поэт, а призвание его — история литературы, теория стиха и анализ текста.

Все его стихи придуманные, и большей частью он был не в силах осуществить свой замысел, особенно живя рядом с Мандельштамом. «Сонет не сонетится», «сонет на полшага продвинулся вперед», — пишет он. — «Стихи будут, и, может быть, сегодня». На следующий день: «Стихи даже не начаты... стихов еще нет». «Линуся, стихов новых не создалось. А с тобой хочется поделиться новым ритмом, движеньем. Посылаю сонет Петрарки, один из 3 1/2 переведенных О. Э. в 34 г.».

Рудаков теряет чувство дистанции между собой и Мандельштамом, границы стираются, он думает стихами Мандельштама. Мало того, он и характер Осипа Эмильевича пропускает через себя и начинает даже приписывать ему свои пороки. Рудаков был завистлив, это его слабость, но Осип Мандельштам был от природы лишен этого чувства. Весь этот комплекс ярко отразился в письме от 26 мая.

«...сейчас — только найти какие-то внутренние опоры, и будут стихи, которые пока живут без слов.

Сегодня во сне видел Хлебникова. Вчера мы о нем говорили. Мандельштам его видел перед самым отъездом в Новгород, где он умер.⁵¹ Перед отъездом он два раза был у Мандельштама.

У Мандельштама к Хлебникову огромное почтение. А боится как конкурента он только Гумилева, но это дико скрывает. Побаивается Цветаевой и Вагинова, но по-другому... Линуся, уже лето, а мне никуда не хочется, все сижу у Мандельштама и не тягочушь стенами, потому что без тебя непривлекательны зелень и река. Линуся, пиши чаще. Помни белые ночи, вчера мы вспоминали, что в Ленинграде светло, и жутко стало. Я сочинил еще полстиха с белыми ночами в Чапаеве».

«Чапаев»! Сколько сил было потрачено на этот цикл, от которого нам остались известными только два превосходных стихотворения — «День стоял о пяти головах» и «От сырой простыни говорящая». Оба они датированы Надеждой Яковлевной июнем. Но уже 31 мая Мандельштам читал первое из них Стефану, дав пространное и глубокое его толкование, а о втором Рудаков почему-то ни разу не упомянул в своих письмах. Зато мы узнаем от него, что Мандельштам уже при первом приступе к работе написал целый «чапаевский» цикл, уничтоженный в начале мая вместе с первоначальным вариантом «Стансов». Что касается стихотворения «День стоял о пяти головах», то письма Рудакова дают нам возможность нам установить, что оно было написано в течение двух-трех дней в конце мая. 27-го Рудаков рассказывает:

«Он пишет новое, по-моему, плохо. Что делать? Хвалить — мне цены нет, потому что это будет поддакивание бесценное. Ругать (отговаривать) — мешать тому, что, может быть, сильнее меня. Мы друг для друга представляем *всю русскую литературу* (его слова) — и это очень трудно. Вот стих:

⁵¹ Велимир Хлебников умер 22.VI.1922 г. в деревне Санталово бывш. Новгородской губ.

Сон был больше, чем слух, слух был больше, чем сон — слитен, чуток.

Ну, Лина, извини меня, а, по-моему, это риторика, Мандельштам запутался в словах, под них подставляет “смыслы” и не чувствует резины на зубах. Или:

Расширением аорты могущества в белых ночах — нет, в ножах.

Даже в отрыве от целого (т. е. «Чапаева», который при тебе, неразб. — Э. Г.), это абсурдная тянушка. Он расстроен чуть ли не до слез. А я хвалить не имею права. Он в волнении (без психований) сказал, что сейчас “до конца нам договариваться нельзя, надо это делать в конкретном литературном процессе”, т. е. это значит: “Сергей Борисович, не ешьте меня живьем”, а сам целый день натаскивал меня на “откровенность” по поводу злосчастного Чапаева. Я уверен, что прав, если даже он этого не поймет.

Удивительно, что Рудаков не воспринял ни важности для психологии творчества мотива сна и слуха, ни противоборства белых ночей и ножей в сознании вышедшего из тюрьмы поэта. Поодиночки ощущения колеблющегося равновесия между сном и слухом Рудаков так и не почувствовал. «Из-за последней редакции Чапаева (о строках, о которых тебе писал) дикие споры», — пишет он 29 мая. И только 1 июня, уже после чтения Стефану своих новых стихотворений (10 штук, по выражению Рудакова), Мандельштам поправил спорную строку. «А с Мандельштамом последняя победа, — пишет Рудаков. — В длинной строке про сон и слух, которая считалась законченной и мной опротестовывалась, изменение, нарушающее мертвую игру словами того варианта:

Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон: слитен, чуток».

В этой эфемерной победе Рудакова все же остается неясным, кто предложил замену слова «больше» словом «старше». Вероятно, сам Мандельштам, в противном случае Рудаков не преминул бы похвастаться этим по образцу недавнего «я сочинил полстиха о белых ночах в Чапаеве». Где они, эти полстиха? В стихотворении «День стоял о пяти головах» мы видим только один стих о белых ночах, именно тот, который так возмущал Рудакова. Не были приняты Мандельштамом его «полстиха». Такая же участь постигла стих «Как венки, шагающий в покое», придуманный Рудаковым для стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой». В окончательном тексте такого стиха нет. Поэтому мы можем оставить без внимания утверждение Рудакова, что не только 50 %, но даже все 80 % принадлежат в этом стихотворении ему. Это он хорохорился перед женой, но ни один человек никогда не слышал от него подобных заявлений впоследствии.

Умалчивает также Рудаков о небольшом уточнении в стихотворении «Бежит волна, волной волне хребет ломая». Он так привык присутствовать при работе Осипа Эмильевича, что мерял ею свою жизнь. 27 июня он пишет:

«Сегодня вроде оживления. Именно: О. написал 10-стишие. О море и Стамбуле. Первый стих:

Бежит волна волны, волне хребет ломая.

Я в спор: “волна волны” (что это такое?), хотя сам факт употребления одного слова троекратно в падежном изменении очень интересен и, в частности, дает интереснейшее ритмическое движение здесь, раскачку. Еще несколько замечаний. О. на дыбы. Н. рада, что спор со мной, и похваливает. Он ушел чинить сапоги и долго один бродил по городу, терзаем сомнениями. К вечеру сделано:

Бежит волна, волной волне хребет ломая,

т. е. нарушена связь “волна волны”, а зависимость с изменением падежа дала смысловую связь между всеми тремя волнами. И натурально, и принципиально здорово (вот где слава Хлебникову!). Сохранен чудный черновик. Вещь очень хороша. Н. во время конца изгнана (“Надюша, это дело семейное, оставь нас!?!”).»

Стихотворение о Стамбуле решительно выпадает из предыдущих циклов воронежских стихов Мандельштама. В знак их завершения еще в начале месяца была сделана попытка переписать их в виде небольшого сборника. 3 июня Рудаков пишет: «Вечером вчера диктовали машинистке его стихи. Это способ подчеркнуть, что стихи кончены, иначе он еще и еще потрошил бы. Отпечатана тетрадошка “О. М. Одиннадцать стихотворений. Воронеж. 1935” + 3 вещи отдельно». Вероятно, в эти три вещи входили «Пусти меня, отдай меня, Воронеж» и «Это какая улица», третью трудно угадать.

На следующий день Осип Эмильевич написал стихотворение памяти Ваксель. Рудаков скучал: его помощь и обсуждение с ним в этом случае не были нужны Мандельштаму. И Рудаков совершает бестактность: он заставляет Мандельштама тут же обсуждать его, рудаковское, стихотворение «Железная дорога» («Караим»). 4 июня он пишет: «Пишу днем от Мандельштама. Вчера вечер такой. Остался у него и лег очень рано (в 10), а он писал новую вещь. Я так заснул, что узнал эту вещь только утром, он не мог меня добудиться (или не хотел? — Э. Г.). Вещь “новая и неожиданная” в его терминологии, в моей — вторичная *Tristia*, с учетом Чернозема etc. Об этом споры с Рогинским. Очень интересны к ней варианты, которые, по-моему, живут как 12-ти строчное стихотворение. Но это все частности. Главное обо мне. Читал ему “Караима”. Лиана, тут двухчасовой перерыв: прения по “Караиму”. Теперь письмо дальше. Он говорит, что нужна несколько большая детализация темы. И я почти восстановил, почти написал заново — вставь, пожалуйста:

6	Тюремный корпус глухо
7	Приезжих бережет.
8	Для неживого слуха
9	Лишь вентилятор сухо
10	И сетует и жет.
11	Бессонницы etc.

Лиана, вывод его “хорошо, очень хорошо”, но у него живут те же возражения о “неясности”, что раньше. Господи, это тупость... Кидается с восторгом на вентилятор, наизусть бубнит про кровать и самого караима, а в заключение разводит руками: “Тово...”, дескать. Вы, говорит, “пишете по-японски, а я по-китайски...”»

Новые стихи Мандельштама для Рудакова на этот раз частности (потому что это чистая лирика и обсуждать в ней нечего), а между тем это одно из лучших стихотворений Мандельштама, особенно любимое Ахматовой: «Возможна ли женщине мертвой хвала?...». Что касается «двенадцатистрочного» варианта, то это «На мертвых ресницах Исакий замерз».

Необходимость обсуждать стихи Рудакова легла, конечно, бременем на Мандельштама. Мне кажется, что Осип Эмильевич жалел его, понимая, что его тяга к стихотворчеству непреодолима, приближаясь к мании. Но иногда Осип Эмильевич проговаривался, не знаю, умышленно или нечаянно. Так, 6 августа 1935 г. Рудаков жалуется жене: «Нет темперамента спорить из-за стихов, их О. не показываю, и он верит, что я писать не умею. Так, очевидно, спокойнее. Сказал фразу: “В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и П. Васильев”. А меня, наверно, кошки съели». Свое подлинное отношение к стихам Рудакова Мандельштам выразил в короткой эпиграмме, написанной уже после его отъезда. О ней вспоминает Н. Е. Штемпель: «Источник слез замерз, и весят пуд оковы/ Обдуманых баллад Сергея Рудакова».

Пора подвести черту под тайной распрей Рудакова с Мандельштамом, к которой сам Осип Эмильевич остался равнодушным, уважая в Рудакове своего будущего биографа и редактора. Лиана Самойловна хранила секрет, как часть интимной супружеской переписки (я, например, в годы последующей дружбы с Рудаковыми никогда не слышала от них об этой мании Сергея Борисовича). Нам не следовало бы и читать его письма, если бы не были уничтожены все другие важные материалы, касающиеся этих литературных взаимоотношений.

Мне кажется, что Анна Андреевна совершила ошибку, вмешавшись в эту историю. А Надежда Яковлевна, представив карикатуру, вернее, пасквиль на Рудакова, исказила картину пребывания в Воронеже главного героя своих книг — поэта Осипа Мандельштама. Между тем письма Рудакова дают неоценимый материал. Фиксируется круг чтения Мандельштама в годы изоляции, умножено, по сравнению с уже приведенными, число его отзывов о прочитанном, об отдельных писателях; особый интерес представляет описание пребывания в Воронеже Анны Ахматовой, и, наконец, освещена бытовая сторона поведения Мандельштама в пору его стиховой немоты. Иными словами, письма С. Б. Рудакова являются важным материалом к задуманной и не реализованной им «Тетради № 2». Постараемся составить ее за него, перечитывая его письма под этим углом зрения.

8.V.1935. — Сегодня уехала Надин. На вокзале она совсем расчиховалась и бедного О. извела до того, что он дрожащим голосом говорил: «Наденька, не сердись, ты ведь уезжаешь». И потерял палочку, которая, правда, нашлась в буфете. Его жалко страшно. Он притих и варил мне и себе какао. Перепачкал руки о кастрюлю, вытер их об лоб и ходил зеброй весь вечер.

9.V. — У О. заминка с паспортом, и он весь день мечется между воронежскими и московским телефонами. Страдает из-за глупости, сыпет на себя куски горящих папирос, горит, пугается, тушится, проливает чай и чуть не плачет. Я, сколько могу, его успокаиваю: целый час рассказывал эпизоды из строительной практики, и он вошел в норму и протрезвел. Пошел один на телефонную станцию, а я домой...

10.V. — ...Паспорт утрясся. Надин в Москве, и он постепенно успокаивается. И опять началась чудесная полоса.

12.V. — О. все волнуется по поводу дел, и прояснения минутны. Огромная отрада от игры в шахматы с Калецким. Читаю Коневского и буквально подавлен его изумительнейшими стихами.⁵² Читаем его вместе с М. Он делается тише. Днем спал у М. с 1 до 3. Потом читали Вагинова...

13.V. — О. просто с ума сходит. У него дня два началась какая-то перегруженность практическими делами. Опять у него все болезни мира: воспаление челюсти, 37, 0°; несуществующий туберкулез; на почте его какая-то гражданка пихнула ручкой двери в правый бок (почти в живот), он стал стонать, бодро дошел до Петровского сквера, все собирался ложиться по этому поводу в больницу, решил, что у него будет или перелом ребра, или воспаление легких от ушиба. Бодро дошел до дома, все говоря, что ходить не может (вечером он стоваривался быть у мадам Айч, а идти расхотелось). Дома устроил самоосмотр, вертяться с необыкновенной бойкостью и абсолютным здоровьем; в течение 50 минут мерил температуру, получил 37, 1 и переволновался. Протестует на мои успокоения. В 11 ч. будет звонить Надине.

С Вагиновым происходят любопытнейшие явления: «Преподобие» «оказывается» замечательной книгой. Я читаю ему вещи с перерывами, по одной, он вслушивается, запоминает, хвалит и наслаждается. Расспрашивает меня о нем. Между делом (между разговорами по поводу Вагинова) я читал свои вещи. «Лицо, как стеарин, прозрачно»⁵³, «От книги начинается движенье»...

⁵² Коневской Ив. Ив. (наст. фам. Ореус; 1877—1901) — один из замечательнейших представителей раннего русского символизма. В Воронеже у Рудакова было его посмертное собр. соч. с предисловием В. Я. Брюсова — «Стихи и проза» (М., 1904).

⁵³ Лицо, как стеарин, прозрачно

Не потому, что хороша,

А потому, что неудачно

За ним прикреплена душа etc.

(Прим. Рудакова.)

21 мая. — Беда, что я не записываю всего, что вижу и слышу, но письма многое сохраняют. Он опять читал стихи памяти Белого. Он с ним был последнее время очень близок. Говорит, что стоял в последнем карауле, а до этого «стояли пильняки — вертикальный труп над живым». В суматохе Мандельштаму на спину упала крышка гроба Белого.

О Вагинове разговоры нескончаемые. Сегодня (когда я ночевал у него) он видел во сне Вагинова. Видел, что он утверждает как гениальный поэт. И сам добавляет: «Иначе и быть не может. Это так и есть». Его сравнивает с Бодлером, Новалисом.

22 мая. — В ночь на сегодня пережил удовольствие — повидал Воронеж после 3-х часов ночи — сонный и огромный, расширенный ночью Воронеж, воздухом уходящий в мандельштамовские поля ЦЧО. Было так: лег спать. Сплю. Слышу стук в парадные двери. Голос хозяйки, и ответ из-за двери: тут Р. С. Б.? Представляешь мою радость?! И оказывается, это... Осюк, который не дозвонился Надине и, перепуганный, прибежал ко мне (по дороге забежал на телеграф, но телеграммы не дал, а только перепачкал 3000-й костюм о свежееккрашенный маслом барьер). Я свел его на телеграф — отправил Надине молнию и до утра с ним сидел у него; утром свел к одному заезжему москвичу (его — очень милому — знакомому), а сам пошел на работу. Пришел ответ о благополучии, и он днем отсыпался, а я буду сейчас.

1.VI. — (У Як. Як. Рогинского.)

...Рассматривали привезенные им из Москвы книги, среди них 2 тома Хлебникова и «Гамбургский счет» Виктора Шкловского.

Я им читал вслух 3-й парус «Детей Выдры». Восторг. Потом у Мандельштама скука на лице: «У Хлебникова такое же, как гениальность, огромное уродство: он не умеет кончать. Это ему никогда не простится. Стих — канитель...» Интересно дальше. У Шкловского большие цитаты из Бабеля. Мандельштам почитал, почитал и говорит (еще раньше он хвалил Бабеля, говоря: «Он из лучших»): «Что Зозуля, что Бабель — одно и то же, только один получше, другой похуже, а оба не очень хороши: не по-русски (?)».

.....

«Трамвай» НГ⁵⁴. «Иллюзия. — Представьте себе — значит, уже (нрзб.) нельзя представить. Все время помнишь, что действие в П[етрограде], путешествие за гривенник. А он считал, что это лучшее; я говорил, что “Колчан” — очень плохая книга, а он, что лучшая. Я говорил ему: поменьше Бога в стихах трогай (то же у Ахматовой: «Господь», а потом китайская садовая беседка). А понимал он стихи лучше всех на земле, но ценил в себе не это, а свои стихи». Это запись того небольшого, что он говорил о Гумилеве.

8 июня. — На днях говорили о утерянных произведениях. Я сегодня ему говорю: «Вот еще “Дракон” Гумилева. Известно шесть, а было 12 (глав)». Он: «Это его (Гумилева) счастье, т. к. вещь плохая». При мне, кроме «У цыган» (условно), он не похвалил ни одной строки Гумилева.

11 июня. — Эпизод. Калецкий играет в шахматы со мной. О. психует, что на него дешенные литераторы не обращают внимания. «Вот Есенин, Васильев имели бы на моем

⁵⁴ Речь идет о стихотворении «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева.

месте социальное влияние. Что я? — Катенин, Кюхля... Вот Бонч-Бруевич за архив мой предложил 500 р. и, когда я поднял шум, написал мне честное письмо: “Я-де и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом, не обижайтесь и на нас не сердитесь — другие и даром дарят...” Я не Хлебников (по Калецкому), я Кюхельбекер — комическая сейчас, а может быть, и всегда, фигура. Оценку выковывали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех и у других...»

(Он убежал на улицу.) Калецкий вякает о том, что высшая оценка его стихов «понижающими» не совпадает с оценками масс. Я (играя в шахматы):

Коль не совпадает,
Масса не читает,
Значит, он страдает целый век.
На других похожий,
Полноте, он тоже,
Тоже настоящий человек.

12.VI. — У Мандельштамов волнения: Осип Эмильевич проходит медобследование на предмет установления нетрудоспособности (рука) и установления необходимого объема лечения. Волнения. Но все это сейчас снято. Сегодня умерла жена Калецкого. Надежда Яковлевна говорила, что ее (Н. Я.) отец был единственным человеком, перед которым Ося не хорохорился. Тоже по-человечески он жил то время, что были у Калецкого сегодня.

Похороны, наверное, завтра.

20 июня. — (Рудаков налетает на Осипа Эмильевича из-за рецензии на книгу стихов Г. Санникова):

«Вы боитесь поверить Вагинову, называете Багрицкого “подпоэтом”, а тут выхваляете четверостепенное. Кто, судя по Вашей манере делить на сорта и ранги, выше — Багрицкий или Санников?» (Пауза.) О. Э.: «Санников». — Я хвалю «Победителей», говоря, что это стихи, какие дай Бог писать всякому(!), он мне возражает, что это «Гумилев на революционной романтике».

«Вы делаете нехорошее дело (и недаром до сих пор от меня по секрету — ведь рецензию мне не читали). Вы должны были бы писать о Багрицком, Вагинове». Он после большой паузы: (лежа) читает и — носом к стене.

27 июня. — О. знает, что я сейчас работаю над стихами (дома). Увидел в блокноте, тобой присланном, «Осенние приметы» Заболоцкого⁵⁵. Попросил прочесть. Я чудно прочел. Он и Н. охали и оживлялись. В конце... он стал многословно ругать. Ругань такая:

«Обращение к читателю, как к идиоту, поучение (“И мы должны понять”) — тоже, Тютчев нашелся... Многословие... Подробности... А что мы узнаем? Что корова — существо на четырех ногах. Природа-то перечислена. Тоже, Гете нашелся... Это капитан Ле-

⁵⁵ 18.XI.1934 г. напечатаны в газете «Известия». В издании стихотворений Н. Заболоцкого (М.; Л., 1965) — под названием «Осень» («Когда минует день и освещенье...»), с датой «1932».

бядкин, а не стихи... В хвост и в гриву использован формалистический прозаический прием отстранения (я поправил: остранения)... Все на нездоровой основе. И стихи-то это не Заболоцкого, а ваши». Я сказал, что они из «Известий». Н. вспомнила об этом... «Ну, тогда на вас похоже, сказанное больше относилось к вам. У Заболоцкого тоже все так же, но я думал — это вы».

5.VII. — Сегодняшний мой день такой: дал деньги хозяйке, потом М. (в дом дня на 4), и у них устроили обед. Надин готовила по многу купленным продуктам (суп овощной, яичница, блинчики с земляничным компотом — вышло рубля на три с хвостиком на нос; в заключение О. сбежал за 300 гр. мороженого). Потом дождь. Шахматы с Надин: если она не берет назад ходы, я не проигрываю, но сам от переигрываний воздерживаюсь с трудом — привык. Здесь Камерный театр. О. знаком там, и решили идти на «Сирокко»⁵⁶. Пошли. Опоздали. Сидели в оркестре (очень весело, и видно). Артисты Осипа уважают. Вчера у них дома была Ефрон⁵⁷, завтра будет несколько.

Пьесу не досмотрели: они по неуравновешенности, я за компанию... Они все пишут Гете (для радио). За вечерним чаем — я: «А помните Кузмина стихи о Гете? (в “Нездешних вечерах”». О. морщится: «Наверное, плохие». Я читаю (а стихи хорошие); он читает что-то из «Сетей» и добавляет: «Гумилев говорил, что поэт К. плохой». Я говорю: «Это почти так, т. к. лучшее — “Гуль” и “Форели”⁵⁸ — написаны много времени после оценки Гумилева». Несколько общих фраз о произнесении некоторых слов, и я говорю: «А как надо “Конквистадор” произносить, об этом спорят все знающие Гумилева». О.: «О нем рассуждает много народу, которому этого не надлежит делать. А книга первая не такая плохая, я ему всегда говорил, что он хорошо начал...» Лиана, все это есть (неразб. — Э. Г.) Гумилева (об нем-де никто не должен говорить теперь), и полемика (начал хорошо), а кончил, не плохо ли? Ай да Оська!

У М-ов внутренний междуусобный полумир.

6.VII. — У Мандельштамов либо сегодня, либо завтра артистки Камерного на варениках. Рад, что (сознательно) отсутствую.

9.VII. — М. погружен в радио (Гете, которого просят еще переправить; это три недели работы Надин и О. пляса вокруг). Он собирается от газеты ехать в колхоз. Его это оживляет и занимает. Стихов нет. Он самопогружен. Я получил Сумарокова, когда его не было дома, показал Надин Сумарокова, та в восторге! пришел О. — тоже, оба зачитали.

11.VII.35. — День длинный. И, прежде всего, паспортный. В отделении милиции — очередь, часы — и паспорт (трехмесячный). Заходы на почту и к Мандельштамам в перерыве стояния. У Мандельштамов некоторое успокоение. Хотя Ося огорчен (ошелом-

⁵⁶ «Сирокко» — музыкальная комедия, музыка Л. А. Половинкина, либретто В. Г. Зака и Ю. Б. Дандлигера по новелле А. Соболя «В голубом покое». Шла в Гос. Камерном театре с 28.I.1928 г. с участием А. А. Румнева и Церетели. Художники Д. А. и В. А. Штернберги.

⁵⁷ Наталья Григорьевна Ефрон (ум. 14.XI.1973) — артистка Камерного театра, впоследствии выступала с литературными концертами (художественное чтение).

⁵⁸ Имеются в виду сборники стихов М. Кузмина «Новый Гуль» (Л., 1924) и «Форель разбивает лед. Стихи 1925—1928» (Л., 1929).

лен) приходом «полковника» (объясню, что это такое), смертью котенка и некоторыми неладями с Гете. Это днем, а сейчас вечером — мир и благодать и планы.

22.VII. — Теперь о М. Сейчас ночь (1 ч.). Луна уже полуудлиненная, а в 12.05 они уехали к станции Калач на декаду, м. б., более. Боже, какая сразу пустота, т. е. отсутствие назойливого фона ста с лишним дней. Расстались более чем нежно. В вагоне (они внутри, я снаружи) ели куриные котлеты, запивая их вишневым морсом с нарзаном. Говорили нежные вещи. Обещали писать. Поняли и сказали, как привыкли друг к другу. Совсем расставаться будет очень трудно. О. последних дней поглощен моей литературной легализацией. Умоляет писать стихи; хотя бы легкую статью о Кюхельбекере; рецензии. Все чуть шало, но искренно и проникновенно (хотя это и порыв). Н. держит себя ультрачуждо (поняв и приняв мою роль в О.). Получается немного трогательно, особенно после того, как я его так ругал, но невероятное счастье — наша встреча. В конечном счете ждать лучших результатов и нельзя, может быть. Протест на меня в работе — лучшая похвала, а уступки в работе над его стихом, его согласия — даже оценки не имеют. Надо работать и жить! И верить в столичные встречи.

31.VII. — Утром (в 9) разбудили Мандельштамы. Записываю тебе первое и главное. Они бодры. О. весел. Там было так. Жили они в Доме крестьянина. О. пленил партийное руководство и имел лошадь и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60—100 с партийцами знакомиться с делом. Надин говорит, что он их очаровал, но чем, не признается, т. к. это было не в ее присутствии. Говорит, что произошло это потому, что под боком не было любящей жены, которая при его взлете сказала бы: «Молчи, дуралей». О. мне говорит: «Два с половиной часа чувствовал себя Рябининым (секр. обкома), который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель, расшатанный, с провалами, а я им... я им... дал до 12 важных указаний и без числа мелких...» На вопрос мой — каких же — он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновение. По-сути, он распустил перед ними хвост и действительно пленил личным обаянием, которое при подобающей настроенности излучается им здорово. Покрутит и напишет очерк. Это внешнее. А фактически это может быть материал для новых «Черноземов». Говорит: «Это комбинация колхозов и совхозов, единый район (Воробьевский) — целый Техас с очень сложной картой чересполосиц. Люди слабые, а дело делают большое, настоящее искусство, как мое со стихами, — там все так работают».

О яслях рассказывает, о колхозниках. Их там (М-ов) заели клопы и блохи. Он говорит, что эти звери для клопов мелки, для блох велики, назвал комбинированно: блохохотам. Говорит, это новая разновидность. Факт тот, что он, не зная деревни, видел колхоз и его воспринял. Но сам добавляет: «Вот все ошибаюсь, скажу про какого-нибудь председателя, что он молодец, что ему дивизией бы командовать, а секретарь райкома мне скажет, что тот отменно плохой работник; то же с отдельной колхозницей. Видите, как обманчиво!»

Как ребенок, мечтает поехать еще туда. Глупости; газета туда же не пошлет, а если сам приедет, не будет той короны, что венчала его сейчас.

1.VIII. — О. пишет очерк и вроде рецензий, по секрету. Я и рад, т. к. ценю в нем только стихи, остальное интересно только как материал к ним или пути от них вовне. Но тут одиночество снова...

6.VIII. — О. — псих и маниакальный человек. Помнишь, как у него была эпопея болезни — так сейчас колхозной поездки. Он может думать и говорить только об этом.

14.VIII. — От Надин сегодня письмо. Ося занят новой волной наблюдений. Приедут к 20-му.

(Очевидно, Манделштамы выезжали куда-то в район.)

Перетиска Рудакова с женой обрывается до 25 сентября: Лина Самойловна в сентябре была в Воронеже.

25.IX. — У «Осек» депрессия. Наташа (хозяйка) через третьи руки прослышала, что Осипа стадия долговечна... и они с ума снова сходят. О. абсолютно подавлен и, между прочим, говорил о рукописи. «Кому бы Л. С. передала, куда бы ее направить». Мы с Н. немного отвлекли его злое внимание. Читали они Багрицкого с дикой руганью, а я не спорю, дабы не ругаться.

26.IX. — У «Осек» новое волнение... хотя финансы налаживаются, он взялся делать передачу Гулливера у великанов (образы “У лилипутов” сделаны Н. Заболоцким!). Там стихи:

Мы настоящие солдаты
Даты-даты-даты-даты.
Мы лилипуты
Путы-путы-путы-путы
etc.

О. ругается злобными словами: мерзость, пошлость, отвращение и все такое...

Я тщетно объяснял, что «даты» и «путы» — монотоннейший припев, очень вяжущийся с детскими песенками (передача была ведь детская).

28.IX. — С «Оськами» дела мои плохи. Надька, что называется, бабью склоку заводит. Нет того чтобы успокоиться на том, что не хочу вместе питаться. Она чувствует обиду. Оську подзуживает на мелочи разные. А он умнеет только в минуты прозрения (как тогда).

У них не хватает назавтра денег. А послезавтра он получит на радио. Я предложил на день деньги. А она: «Что вы? что вы? никаких денег, никаких взаимных услуг!» А до этого, когда я предложил принести воды, делала вид, что вовсе не слышит моих слов и т. д. Оська уговаривает обедать, все это сеть таких бытовых пакостей, что слов нет. Это мелкая месть за то, что тогда они ничего не могли ответить. Я не приспособлен к такой кухонно-лакейской и там дворницкой войне. Помнишь химер из кино «Сплетня» — вот бы их с Надькой свести...

2.X. — Весь день (с 2-х ч.) у М. С Н. опять биографические разговоры, раскрытие посвящений etc. Если откинуть денежно-хозяйственную дурь ее, все всегда могло бы быть хорошо...

3.X. — Сегодняшний день лишен О., и как-то стало легко.

4.X. — День нарочно плохой, у О. ремонт, психованье, дождь.

5.X. — Днем распсиховался О. ... У них ремонт, грязь, хотя и сносная. Н. едет в Москву, а я боюсь оставаться с О. Оба с ума сойдем, вернее, он меня сведет.

6.X. — У «Осек» ко мне подлизывания, так как О. остается один без Н. на время. Ремонт смешно изменил комнату...

7.X. — У О. назначение на эфемерную должность в театр. Он юн и весел. Где они, психования, отчаяние? — Остались так только, крошечные...

9.X. — Сегодня ходил менять паспорт. Вольника довольно длинная, но я спокойный теперь и прохожу все стадии смиренно и тихо.

Как о рае, мечтаю о хоть более или менее сносной службе, о 200 р. в месяц, чтобы и тебе было легче... да и чтобы с О. не кооперироваться.

11.X. — Здесь продолжает завариваться «Сталь»⁵⁹. Момент тормозящий (новый) в том, что Н. боится за политическую четкость передачи и страшит Осю, что будет идеологический провал. Это вздор, но он частично поддается. Настоящая же причина некоторой прохладности к «закаливанию» в том, что он зачисляется в театр на 400 рублей, и его сразу обуяла лень к работе.

14.X. — О. уже перебрались из Бристоля. Ферреро уехал, и ремонт окончен...

Вечер: были у Шваба, флейтиста («Мариинский», а с 18 г. здесь), он шахматист I кат. Проиграл ему 3 партии. Покой и семейный чай, разговор почти по-немецки. Играл на флейте Моцарта и куски из Баха. Немного на рояле (Бах). О. читал свои стихи, преимущественно где есть о музыке.

Днем произошло одно травматическое событие. Споткнулся, упал, разодрал немного левую ногу, подвихнул правую. К Швабу пошел, но после сидения весь вечер нога разболелась. «Оськи» хотели меня оставить у себя, но доехал третьим номером.

15.X. — Сегодня день провел дома, даже лежа... Часа в 4 О. принес обед: мясо и блинчики.

16.X. — У О. благополучно с театром, но это требует времени, и он нервничает и ищет повода опорочить работу, чтобы избежать ее.

Утром зашла Н. Вместе пошли к ним. Играли в шахматы (счет 4 1/2 — 15 1/2 в мою пользу). А к вечеру они готовили сокращение пьесы «Платон Кречет»⁶⁰ — сокращение для передачи по радио (это служебное задание). Вечером же Гольдони «Слуга двух господ» — премьера. Сидели все врозь на свободных местах. А в конце Ося, изумленный и побледневший, подошел к нам: «Со мной феномен произошел: я забыл, кто я, это раздвоение личности...» А Н. острит — «слуга двух господ» (т. е. театр и радио).

23.X. — О. в театре и уже начинает там скандалить. Ему не дают «ходу», а он лезет.

...Сегодня О. принес анкету для театра.

26.X. — 1 ч. («Как закалялась сталь») сделана так. Монтаж из его кусков, но т. к. они Осю не удовлетворяют художественно, он многое пересказал в своем вольном стиле, приукрасил бедного автора своей манерой, так сказать, подарил ему свои красоты. II часть сделана мною. Честный сбор цитат.

Сегодня он читал свою первую часть на радио. Там испуг. «Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически?!...» Передача снята. Деньги идут только

⁵⁹ Описанная выше заказная работа для радио — композиция по роману Н. Островского «Как закалялась сталь».

⁶⁰ Пьеса А. Е. Корнейчука.

под первую главу. Похоже, что на радио (не наверно еще) не будут больше давать работу. О. гора: «Опять я не смог принять чужой строй, дал себя, и меня не понимают» (я-де гений)... Там один из радиоработников в кабинете зава стал его утешать: «Это не ваше амплуа». Он раскричался: «У меня нет и не было моего амплуа...» (т. е. я молод и много обещаю и безграничен). Все буффонство...

Н. опять собирается продавать квартиру. Это перманентно.

27.X. — Вечером с О. были в Музтехникуме. На 2-х ролях. Моцарт и Григ.

28.X. — Из изд-ва письмо о расторжении договора на книгу о Воронеже. Срок ее 1 сентября. С него требуют авансовые 1800 р. М. б., это только формальность. Требуют и оплату почтовых расходов. О. острит, что предложит немедленно погасить половину задолженности, т. е. 30 коп. за марки. При этом мрачные проклятия литературе и всем издательствам. Его полубуффонская речь: «В Воронеже я благополучен: должен писать книгу о городе, колхозные очерки, передачи о Гете, Павке (“Сталь”), Платоне etc, объяснять всех музыкантов мира для радиоконcertов, давать советы руководителям радиоцентра, исправлять для Большого театра переводы Шекспира Сокольского и Радловой, создавать итальянские песенки, сочинять на нем. и фр. языках приветствия Коминтерну, режиссировать в театре — поддерживать связь театра с союзом (хочет выхлопотать союзу бесплатную ложку, а с союза теарецензии), поддерживать неугасимо хорошее настроение, готовить собрание сочинений; при всем этом не мозолить глаза общественности, а быть в рамках вспомогательной работы, черновых ролей».

...А между тем я в миниатюре: он все хочет и боится писать письмо, а вдруг ответа не будет?! Что тогда?!

29.X. — Утром за мной прибежала Нюра (прачка) с запиской от Н., что у Оси дизентерия. Я за Богомоловым. Еще дома меня застала сама Н. Вид бледный и перепуганный. Пошла от меня к Елозе в газету. Богомолов обещал быть в 2 часа. Дома у них: Ося как ангел — весел, бодр и собирается ехать в Москву. Последние дни мечтал о болезни и скуляще-плаксивым голосом пищал: «Наденька, дай мне бюллетень». Болезнь — аргумент старый, один из основных поводов возврата. Теперь сбилось. Н. как львица носится по Союзу и редакции, требуя устройства умирающего поэта в отдельную палату обкомовской больницы... Я иду на радио за деньгами, там их нет до 31-го, и вместо 150 только 100, т. к. работа недоделана... Елоза Надьку принял вполне сочувственно, дал 100 рублей и обещал все сделать. А нужно-то Мандельштамам не «все», а только «вольную». Н. преувеличенно рассказывает о своих победах в Союзе, о том, как она вопила на всех. Богомолов опоздал немного. Раньше пришел врач, вызванный Елозой (без меня, к сожалению). По его словам — колит. Прописал английскую соль. Случай легчайший. Лежать дома; встать дней через 5. Богомолов нашел, что это уже грань между колитом и дизентерией, но в облегченной форме: Ося скис. Н. обещает везти его в Москву для поправления. Брату уже послана телеграмма. Дизентерия — громкое слово. Для них лафа — шум хоть куда. Масса деталей комичных. Богомолов говорит, что 38 или 37,8 нормально и хорошо даже для его состояния, а О. все свое, что т°, значит, надо в Москву. Эта тенденция настолько оголена при всей своей тонкости, что даже Н. ему говорит: «Будь приличен, не говори неловкос-

тей». Если это откинуть, ничего веселого во всем этом нет. Болен хоть пустяково, но на самом деле.

3.XI. — У О. денежные волнения, которые к тому привели, что я должен был еще раз звонить Евгению Яковлевичу и Шкловскому (!). Но пришла телеграмма, что за Мопасана высылают 500, и они успокоились. Болезнь фактически кончилась... А О. все хочет болеть, чтобы жить льготами. Пустое дерганье и усталость. Это надоело и уже скоро кончится, я надеюсь.

Читали «Марко Поло» Шкловского. О. говорит, что это начало отмены всякого чтения, как кино. А по-моему, минутами просто нестерпимо: особенно набор цитат про татар. Решено было все это рассказать Шкловскому параллельно с устройством для Н. перевода в ГИХЛе. Есть идея звонить Пастернаку. Все это мандельштамовские штучки, а мое участие мотивировано тяжелой болезнью героя.

4.XI. — О. почти здоров: легкие волнения из-за того, что t° доходит до 37,2, но все мирно.

5.XI. — У «Осек» мир, т. е. он встал: не выходит еще. Читаем Шевченко (по-украински и в переводе Сологуба)⁶¹, Медведева о формалистах⁶².

8.XI. — Сегодня — обыкновенный день. У О. чуть-чуть осложнилось его здоровье, м. б., утомление после первого выхода на улицу и неумеренной подвижности: t° и головная боль. Вечером капризы и постель. Не занимались из-за этого. Но, читая «Новый мир», обсуждали журнальный вздор...

О себе говорит, что казенный период кончился. Что больше не хочет ни театра, ни радио. А рупор на улице кричит «Кречета», но не в его переделке.

Для Шевченко, кажется, начну читать по-украински. Уже знаю наизусть и читаю:

І день іде, і ніч іде,
І, голову сховавшє в руки,
Дивуюся: чоґо нийде
Апостол правди науки.

(м. б., правописание еще не точно). А какая фонетика! М. б., это будет первым моим иностранным языком.

9.XI. — ...Ем опять у «Осек» с минимумом оплаты (обеда), остальное дома (папирос больше не покупаю).

10.XI. — Вот и скандал, если это нужно. Дело такое, сегодня поругался с Оськой. Обстоятельства и источники такие.

С давних времен (до тебя и при тебе) гипертрофия его биографии, работы etc. С моей стороны одно объективное наблюдение. Работа наша идет по чайной ложке в пятидневку

⁶¹ Эти переводы изданы посмертно в книге: Шевченко Т. Г. Кобзарь. Избранные стихотворения в переводе Ф. Сологуба. Л.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1934; 2-е изд.: Л.: Художественная литература, 1935.

⁶² Медведев П. Н. Формализм и формалисты. Л., 1934.

и все такое прочее. У меня настроение под давлением тыняновского молчания и всего ленинградского прошлого с Гуковским, Пушкинским Домом, etc. А здесь из-за него литературная безработица — закрыт «Подъем», радио и т. д. Ты все знаешь, но повторяю как мысли последних дней. Сегодня был в Публичке. «Литературный Ленинград» о выходе малой серии «Библиотеки поэта». Опять XVIII век (Ломоносов, Сумароков и все проч.). Т. е. еще ускользание одной возможности. Действуют такие радости нехорошо... Придя к О., почему-то решил об этом, т. е. о сборниках, сказать. А он бойко: «Вы тут работайте. Занят тот материал, работайте на новом. Если мысли есть, всегда выбьетесь, и все получится хорошо». Я стал опять говорить, как вредно отражаются эти тормоза, как я мог еще в 29-м году работать официально и все (ну, ты знаешь), а он опять свое. Но гадко именно тупое равнодушие, прикидывающееся благими советами. Скандал начался с того, что я сказал: «Будь у меня конченная и изданная работа, и вы по-иному относились бы к моим сегодняшним планам, не говоря уже о отношении Тынянова и литературоведов вообще ко мне». Он взбеленился, что я его обвиняю в низкопоклонстве перед литературой, его! ниспровергателя авторитетов!! и т. д. Злоба перешла в ругательства почти обычные, но чрезмерные. Все предыдущее и последующее я говорил очень спокойно, но вполне злобно, так что его корчи понимаю. Не надо было этого начинать, но, начав (т. е. обратив нескромно внимание на себя), не нужно было смягчать. Пусть это заложено в его характере, и пусть это повод и причина всех его ссор (от Горнфельда через Саргиджана до Вдовина⁶³), но мне от этого не веселее. Он опять (как тогда при тебе) вопил, что я его обвиняю в хамстве (теперь уже обнаженно, а тогда стоически). Н. вмешалась, говоря, что, если бы его лишили Данта, как меня всей литературы, он не написал бы «Разговора» своего, а без Гумилева, Ахматовой, Г. Иванова и К°, м. б., его и не было бы вовсе. Он совсем очумел от этого. Стал орать, что все настоящее всегда пробьется, и т. д. и т. д. У меня нет темперамента пересказывать все; да это «все» и не так многообильно. Важно же, что я перехожу для него в разряд его «не понимающих» людей.

11.XI. — На фронте дела такие. Пришел к ним часа в 2. О. старается говорить об электричестве, погоде, в виде вставок о переводах Пастернака, но все слишком вежливо, хотя благопристойно в высшей мере. Н. рассыпается, мила etc. О. при этом сдержанно нервничает.

12.XI. — С О. мир. Читаем Шевченко, все трое одновременно. Мы с О. ритм и интонацию, а Н. произношение и перевод. Чудный базар.

13.XI. — Мотивы дня такие. У О. Веня (мой сожитель — бухгалтер) проводил настольную лампу, теперь уютно. О. здоров и бодр. Со мной нежен etc. Концепция его быта такая: не хочет (не может?) брать всех халтурных нагрузок, их боится; бюллетень не оформлен, и для поправки (осмотра и т. д.) он направлен в обкомовскую клинику. Говорить хочет так: я переутомлен, хотя и здоров формально, перегружен, и легко возбудима психика, работы умственного напряжения делать не могу, мне начисто несвойственна работа, какую выполнял последние четыре месяца, знаете — нервы и слабость сердца,

⁶³ Вдовин — сосед Мандельштамов по квартире.

сильно реагирующего на нервное возбуждение, т. е. отчипитесь и дайте спокойный отдых, не отнимая театральных денег. Позиция и откровенная, и хитрая, и вполне соответствующая действительности. Бюллетень дадут на основе истории болезни Богомолова, а вот дадут ли «отпуск» такой?

Пока — мир и Напареули (сорт вина. — Э. Г.). Немного разговоров вокруг переводов и Шевченко. Я (и он) читаю историю архитектуры. Очень интересно...

Все-таки привыкли мы с О., и нас не разгонишь сейчас. Никакие посторонние собеседники его не заменят никогда.

14.XI. — Сегодня — неожиданный Ленинград: Калецкий. Он за вещами приехал. Служба в библиотеке Академии Наук и все прочее (рекомендации Эйхенбаума, Оксман, Пушкинский Дом etc). Его явление рецидивно. В нас возбуждает зависть и еще что-то. А он еще корежится, что 350 ему и материально, и морально мало, что то да се. Но это пустое. Собираемся сыграть турнир по 5 партий (он, Н. и я).

15.XI. — В университетской библиотеке взял книги по истории шахмат и Вельфлина «Историю искусств» (название как-то иначе)⁶⁴. Об этой книге с О. разговоры, сводящиеся к проклятиям Запада как системе наций. Сам он «лечится» через клинику обкома. Знакомит психиатра со своим творчеством. Дизентерия кончилась.

17.XI. — Калецкий едет 20-го, а я решил выпотрошить его по части О. К тому же он засуматошен и выбит из колеи воронежским одиночеством. Я ночевал у него...

Дело оформилось так: *он мне надиктовал сведения об О. периода раннего Воронежа*. Тут отношения его с Союзом, планы etc, etc. Между прочим, планы организации рабочего университета по литературе с утопическими программами, планы фольклорной работы (по этой части у К. есть Оськина записка, копию ее обещает прислать из Ленинграда или тебе передать). Сведения не многообильны, но пополняют запас. Кроме того, К. отдал мне № «Подъема» со статьей О⁶⁵.

19.XI. — Теперь обстановка у «Осек». В прямом смысле последствий ругани нет, но некая лживость извечна. Объясняю грубо: Н. ясно видит необходимость моего присутствия (ну, как минимум хотя бы, чтобы «общество» было), она и старалась тогда все сгладить. И это все с оглядкой на свои удобства. Ведь она едет в Москву, а О. один скис бы. Вот она и понимает, что меня надо задобрить. В этом все ее поведение. Один сахар, один мед. А О. поглупее да попроще, так он прямо (бесцеремонно) ляпнул: вот месяц подождали бы с работой, а там на весь день загружайтесь.

Я весьма учтиво сказал, что загрузка мне очень вредна, что время гибнет, но это вполне необходимо, что случай редкий — войти, м. б., в регулярный заработок. Н., учтя неудобство О. выступления, стала сокрушаться обо мне. А он (о, дитя!) перемежает сетования (в тон мне) о гибнущем времени со вздохами: «...Подождали бы все же загружаться до...»

⁶⁴ Имеется в виду книга Генриха Вельфлина (1864—1943) «Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве» (пер. с нем. А. Франковского; вступит. статья Р. Пельше. М.: Academia, 1930).

⁶⁵ Вероятно, подразумевается не статья, а рецензия на «Дагестанскую антологию» (см. мою публикацию «Забывтые рецензии О. Мандельштама»).

Все это проще, я обобщаю, конечно... Сейчас идут хлопоты вокруг врачебной комиссии: желание получить «должную» оценку. Сегодня вечером у психиатра.

Это передает Павел Исаакович (Калецкий). С ним провел весь сегодняшний вечер. М. к 8 ч. собирались к психиатру, а мы с шахматами ретировались к П. И. домой. Несколько сжато, но додиктовано кое-что об О. Очень было бы хорошо, если бы в мирной обстановке он тебе что-нибудь заполнил или уточнил (вне связи даже со сделанным), а ты запиши и пришли...

Шахматы наши кончились 7 1/2 — 2 1/2... С Н. почти не играю, т. к. О. нервничает при этом. Шахматы и семечки он с трудом переносит.

20.XI. — С Мандельштамами были в кино. На «Вражьих тропах». Местами очень и очень правдиво, т. е. портретно, натурально. В целом ложно и мерзко. А впечатлительный О. по окончании, как свет зажегся и все встали, на весь зал изумился: «Надюша, как же это может быть такой конец? это плохая фильма?.. Как же?» Публика на отчаяние его интонации стала хихихать. А он и взволнован, и взъерошен, как воробей.

Вчера у психиатра заключение: истощение нервной системы. О. откровенно уже говорит, что цель «исканий» медицинских — быть на глазах, вертеться, а не лечиться. И похоже, что особых льгот не дадут.

...Сегодня проводил Калецкого. Боже, когда же я поеду?

22.XI. — Зашел к О. Он в деморализованном состоянии. Не верит в болезнь как в путь, а это было, может быть, из последних вер. Н. едет 24-го... В быту он потускнел, ничего более или менее твердого, четкого. Нытье одно.

23.XI. — Н. передо мной заискивает — это предотъездно. У О. состояние рассеянно-подавленное. Она его называет все время: «Мой ребенок, мой дурак». (И так все время: «Дурак, хочешь чаю?» etc.) И это «тон», ласковость. Или еще. О. сидит с ногами на кровати, а Н.: «Видала, что детей и стариков ссылают, но чтобы обезьяну сослали — первый раз вижу». А О. улыбается с видом дурачка. Н. «заботится» о моем состоянии, здоровье. Это время (после его болезни, главным образом) я у них обедаю, а вечер и утро — дома, денег даю мало (т. е. в меру). Сейчас Н. пишит: «Не покиньте О. в мой отъезд».

27.XI (Из больницы). — Еще 24-го врачаха из Красного Креста была, но решила (как и я), что это ангина. Полтора дня я пролежал у М. Они были изумительно заботливы. Когда 25-го я обнаружил красноту кожи, началась паника. Пришла Кедрина (помнишь?), должен был быть Леонид Иванович, но по вызову Кедриной меня увезли в больницу... Осипу Эмильевичу оставил доверенность на письма... Троша и Веня очень трогательны. Н. Я. пока в Москву не едет, так как Осип Эмильевич боится захворать, один остаться не может.

1936 ГОД

5.I. — Сейчас входят в палату из дежурок и зовут к телефону сестру. Ее нет. Тогда говорят мне: «Справляются о вас, подходите сами». В телефоне: «Можно Богомолова? Говорит писатель Мандельштам, хочу справиться о здоровье Сергея Борисовича Рудакова». — «Осип Эмильевич, здравствуйте». И, так сказать, поцелуй. Он вернулся ввиду «резкого ухудшения». Обо мне заботы, нежность etc. Все вполне человеческое (хочет бежать

разыскивать ту посылочку, что затерялась, и все такое). И тут же нотка (его узнаваемым голосом, все остальное голосом тревожным): «Эх, а я-то рассчитывал, что вы уже дома». Т. е. «черт тебя держит в больнице, когда нет Надюши и я один». Уверен, что он сегодня же начнет Надин вызывать из Москвы телефонно.

8.I. — Звонил О. Его стихи приняты «Красной новью». Я ему сказал, что в «Правде» были пастерначьи стихи и что печататься надо осмотрительно, продуманно.⁶⁶ И сразу ни тени искусственности в разговоре... У него (речь ведь идет о стихах... о его стихах) — опять жизнь, работа. М. б., это только телефон. Больничный гипноз слабо нарушен этим звонком.

10.I. — Выписываюсь завтра... К 4 обедать к Леон. Ив. К О. не рекомендует заходить — лучше 2 дня побыть на воздухе, проветриться, чтобы на обангинить его. Троша ему передал.

11.I. — От О. телеграмма (запоздалая из Тамбова, дескать, «скупаю, пишите»). К нему — его нет. Никого нет. В парикмахерскую стричься. По дороге Троша. Чуть не обижается. Он ждет меня, пока стригусь. Рассказывает, что Пановы заняли Оськину комнату. Он на них к прокурору, а они на него пасквилянством. Живет О. у Пескова, это один из подъёмовцев. Где его взять? Дело далекое, за Вдовиным где-то, завтра поеду искать. Троша пойдет провожать, адрес неопишем.

12.I. — ...А вот с самим О. трагедия. Он очень слаб, еле ходит. Затем нервы. Ночует по писателям. Разыскал я Пескова сегодня. Его видел раньше. Он посвежее здесь других. Молодой очень. Делал что-то столярное во дворике. С ним бегло об О. поговорил. Вернее, его послушал. О. у него две ночи ночевал, одну у Вольфа (директора театра), одну у Сергеевко (писатель). Сперва был бодр, немного они пили. О. читал стихов массу. Следующие дни психованье, Н. не едет. В Москве три дела: а) стихи в «Красной нови», в) затруднения с той квартирой и с) вопрос о заезде О. в Москву на показ врачам. Песков вполне сочувственен, но говорит, что по вопросу о пановской квартире воронежцы мало энергичны (и сам тоже), сочувствует.

13.I. — Китуся, не потому, что почитаю себя особо грешным, а потому, что знаю о своем отличии от массы людей, отличии, не всегда всех радуящем, снова вижу свое триумфальное прощенье на том свете, да (и это главное!). А логика такая: кто много умеет дать, тому многое и можно. По Пушкину «Моцарт и Сальери»: «Гений и злодейство — вещи несовместные». Все это — обобщенная реакция от новой (первой-второй) встречи с О. Э. Пусть он сто раз псих. Кто не может его вынести, только слаб. А кто может, с тем стоит разговаривать. Меня-то он изводил достаточно, а кому бы был я к чертям годен, если бы из-за этого только перекис. Видел его дважды: днем 15 минут в «Коммуне» и весь вечер у Маранцев. Жаль, что отдельно не записал первую встречу.

Вот она сейчас. Вхожу в комнату Союза писателей. О. Э., небритый, энергичнейший, кричит в телефон (логически) по тому поводу, что милиция заволынивает решение прокурора вернуть комнату, отогнав Панова. Мне глубочайший кивок и улыбка. Сажусь на диван. Он подходит на шаг — боится здороваться. Идем в коридор. Он возбужден и

⁶⁶ 3 янв. 1936 г. Рудаков писал жене: «А Пастернак в “Правде” или “Известиях” за первое дрянь напечатал. Тоже “большевет”». (Стихотворения Пастернака «Я понял, все живо», «Мне по душе строптивый норв» см.: Известия. 1936. 1 марта.)

развинчен, он совершенно сбит с толку: моей болезнью и страхом инфекции, поездкой в Тамбов, комнатой. Первые три минуты разговор не находит тона. Решаем встретиться у Маранцjev в 6—7 ч. Впечатление полного разложения психики, глаза блестят.

Маранцьи. Собственно их квартира с О. Э. Он почти в норме. Вот событие — прибежал Панов в Союз с раскаянием: клянется, что «больше не будет...», завтра водворенье. Боже, как дивно Мандельштам говорит. Вот это язык и мысль. Хотя общее нервное беспокойство. Интересно, что эта тамбовская нервно-санаторная формула терминологии совпадает с моими тетрадными записями. Теперь рассказ.

В Тамбов он кинулся от страха скарлатины. Там психовал. Сдружился с одним трактористом, который ему говорил: «Ты уезжай, они (больные) тебя не любят, они тебя избить хотят». А поводы были такие. О. Э. все искал покоя и кочевал из палаты в палату (изводя персонал). Нашел пустую. Лег. Человек восемь больных стали в нее барабанить. Он выскочил и стал орать, зовя всех сволочами и etc; вызвал главного врача; пять убежали, три остались, один из трех обиделся за ругань на О. Э., а тот — «назвал сволочами и правильно сделал...». Тогда, как О. Э. рассказывает, тот устроил краснопартизанский припадок. О. Э. в полубелье бежал в кабинет врача, а под сводами санаторного особняка громыхала партизанская брань. Утром — мир. Вот его оценки: врачи казенные, только ухудшают в больных веру в болезни, больные серые: 15% нервных, 20% — утомленных, остальные премированы путевками. Один учитель, начальник отделения милиции — уже высшая интеллигенция. Кончилось все тем, что О. Э. вернули деньги (!) и отпустили, «вследствие резкого ухудшения». Сам он говорит, что психоз прогрессировал, что создалось чувство, будто он не может сам уехать оттуда etc, etc. Похудел, подхватил гриппок, а тут еще Панов. Детали, Тамбов как город безумно понравился. Вот его картина: «Чудный губернский город. Река. Снег далеко-далеко. На нем точки путей.⁶⁷ Лес. Перелески под снегом. Движенья никакого. Только баба в платке пройдет. Сугробы. Чудные дворянские особняки, какие могут быть и в германском старом городе, и в Тамбове; деревянная, по Щедрина, каланча. Один автомобиль на весь город. Лавок не мог обнаружить: мне нужно было пуговицу купить. Воронеж — столица простор».

В мытарствах товарищи из Союза помогали ему прожить: возили на машине к прокурору, давали у себя ночевать, беседа каждый о своих твореньях до трех часов ночи. Он верит в поездку на юг, в Москву лечебно ехать не хочет. В театре, если не врет, делал дело реально. Чувствует «перелом» в отношении к себе. Говорит: «Фабула двигается».

...Пили чай. Очень хорошо радовались встрече. Все-таки такого другого человека не знаю. Пусть бы только стихов побольше писал. О том, чтобы они были хороши, видно, черти заботятся.

...Деловое дополнение. Пока был болен — меня вызывали в НКВД. Говорил около двух часов с каким-то дядей в чутких тонах о Кюхле, о Юр. Ник., о моем нежелании исследовать

⁶⁷ Эта деталь решает вопрос о правильном тексте стихотворения «Вехи дальние обоза» (редакция Н. И. Харджиева в «Библиотеке поэта»), по спискам Н. Я. — «Вехи дальнего обоза». «Точечкам путей» из рассказа О. М., конечно, соответствуют дальние вехи, а не дальний обоз.

в Воронеже Кольцова и Никитина (С. Б. Рудаков рассказывал мне, что его убеждали там, что, занимаясь Манделъштамом, он сделал неправильный выбор. — Э. Г.). Толку не добьешься — сами это они или из Москвы со мной лично знакомятся. Говорит, что о заявлении еще ничего не знает. Вроде как пожелал скорого возврата. Рассказывал я про Кюхлю и рукописи очень интересно. Расспрашивал о ленинградской жизни. Ушел я в чудном настроении.

15.I. — Думал о тебе, когда ехали на извозчике с О. Э. на вокзал Н. Я. встречать. Снег, ветер легкий, тепло. Конечно, мы так покатаемся по Ленинграду, по островам. О. Э. вспоминал блоковское «Елагин мост и храп коня. И голос женщины влюбленной...».

У О. Э. ужасные минуты почти безумия сменяются ясностью. Циклы, циклы! И сердце реально плохое минутами. За два часа до вокзала скис. Припадок <? — нрзб.>. «С. Б., а я часом не умираю? Со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает...» Короткое отлеживание, пауза и улучшение.

18.I. — У О. волнения и всякие тревоги, планы и их крушения. Все на тупик похоже, и, кажется, все правда плоховато у них.

20.I. — У М. какая-то тупая примиренность, приглушенность, бесхитрость. Где все бури и полемики былых месяцев? О. Э. очень постарел и осел как-то.

21.I. — Очень скверно с О. Сегодня даже ставился вопрос о том, чтобы я писал Пастернаку о безнадежном в смысле здоровья состоянии О. Э. Это — кадры нескончаемой киноленты. И я не за всякие хлопоты: но он меня страдал своей смертью. Все это хорошо (т. е. мои возражения), но он-то ведь правда слаб и плох. Решит это время. Пока же остро тревожно.

...Вечер будет неопределенно какой. Они (О. и Н.) у врача, сижу у них.

22.I. — Он к концу вечера сильно успокоился. Все эти дни в вечном кипении его забот о болезни. А тут наступило просветление. Между прочим, они оба дико хвалили мои профили-силуэты и даже робко молвили о «пересмотре» точки зрения на мои пейзажи. Все это мне тем интереснее, что он дается рисоваться. Знаешь ли ты альбом писателей (профилей) работы Кругаиковой? Манделъштамы говорят, что у меня лучше. Вот сделаю своего О. как следует.

23.I. — В этот день Рудаков получил официальный отказ из Прокуратуры СССР в пересмотре его «дела».

24.I. — «Оськи» допсиховались до того, что Анна Андреевна уже выезжает... Но посмотрим, что из этого получится. О. ставит вопрос так: «А привезет ли она денег?» А я о Гумилеве (рукописях) забочусь — все это коммерция. На языке моих сожителей это зовется «соображать» (нечто среднее между «жульничать», «красть», «обманывать», «устраиваться» etc). Считают они, что все люди «соображают...». А дела Манделъштамов — сплошное «соображение».

28.I. — Сегодня «Оськи» мне устроили скандал из-за профилей. Им они в первые показы нравились. А сегодня, по О., — «нет разговора линий», а, по Н., «нет лепки черепа и центра (!?)». Кончилось это тем, что в вежливых формах переругались... Это впервые, может быть, имело такое действие, что он привык, что я «скрываю свои работы и мысли», и он «корректно меня не тревожит». Это позиция! Т. е. он, забирая у меня массу сил, от ответственности за остальное в наших отношениях (и жизни) отгородился вежливейшей

формулой... не хочется идти к ним завтра... А уж читать стихи тем более. Я ведь знаю реакцию, что ж зря нервы портить.

Нельзя ли через папиного знакомого узнать подробнее историю отказа? Это существенно.

То, что ты, между прочим, написала об отрицательном влиянии Оськиной близости, мне кажется нереальным. А кроме того, местный Союз высказывает охоту со мной познакомиться и, в частности, по вопросу о работе над Мандельштамом. Знают они об этом давно, а заговорили сейчас. Я говорил с Кретовой (зам. ред. «Подъема»). Она просила позвонить З. Это, по-моему, правильно, раз вслух об этом (давно всеми зримом) заходит речь. Пиши, что ты об этом думаешь. Боюсь, что будешь недовольна (в связи с той оговоркой)⁶⁸.

1. II. 36. — Вот с О. отношения ровнее, и все за счет моей сдержанности, выдержки. У них сидя, работать почти нельзя, да и «болести» их меня занимают. Сейчас по-сумасшедшему ждут Аннушку, а та застряла в Москве. Начну уходить — уговоры. Хорошо, что сожителей вечерами почти нет дома. В комнате тепло. А на улице мороз до 30° уже два дня...

2. II. — Пошел к М. Они бодры, хотя и надрычны. Ем у них, т. е. с ними, а т. к. Н. уже начала яичницу, мне были отложены два яйца, на которых О. написал: «Личная собств. СБР. 2. II. 36. Воронеж».

...Разговоров, слово за слово, много, а сумею ли их передачей рассказать состояние, настроение, которое сущность всего?

Необычность дня в том, что у них плотно лежал, что не работал, что острилы и дурака валяли с О. Читали Пастернака, обсуждали будущий Воронеж, и все в шуточных красках. Выдумали (и это постепенно из фраз), что станем служителями «культы» (увы, почти это непередаваемо), важно, что это рассматривалось на фоне речистого Елоза, Союза, Пастернака, Калецкого, «хозяев», Вдовина etc. Заставили Н. нам сделать гоголь-моголь, т. к. «приход» будет яйца поставлять. И все с серьезным видом, с настоящими серьезнейшими отступлениями.

О. раньше захваливал Пастернака. Говорит, что прочел его один раз в 1924 году, а остальное хваленье — инерция. Сейчас разочарован. «Набор звуков по методу пародии. Лицемерие. Кухарка за повара. Стихи одного <нрзб. — Э. Г.> уровня, безголовые: он моралист. Человек здоровый, на все смотрит как на явления: вот — снег, погода, люди ходят... А если плохо, это чудно, это руда, надо разрабатывать. Все равное, все законное. Все личное. О стихах я ему часто говорил антипастернаковские вещи. Что это ничему не учит, не помогает работе над стихом. Что это буддизм. Он бы вот на моем месте вел себя достойнее. Не копошился бы. Молчал бы».

Говорили о Заболоцком, Ходасевиче и Цветаевой, он (и я) очень хочет их перечесать. Вернее, я ему. Если можешь, привези их. А Заболоцкого, кроме «Столбцов», и рукопись «Деревья», что в столе. Пусть Гр. М. снесется с Шадриним⁶⁹ и отберет у него «Поэму конца» Цветаевой (моя рукопись и часть, Шадриним перепечатанная)...

⁶⁸ Недомолвки, связанные с хлопотами о возвращении Рудакова в Ленинград, расшифровке не поддаются из-за отсутствия конкретных сведений.

⁶⁹ Известный советский переводчик А. М. Шадрин в начале 30-х гг. принадлежал к числу участников ленинградского литературного кружка, названного по начальным буквам их фамилий — ШПроты: Шадрин, Петров, Рудаков и др.

Неплатово посмотрели Данта.

...На коробке папирос «Норд» О. написал «Шенгели» (по имени его книги), вспомнили, что «Планер» и Шенгелевы стихи, и папиросы⁷⁰. Я на коробке прочел сорт: «Шенгели — I сорт. В!» Стали примерять для папирос названия. Вот «Tristia» подходит. «Камень» — нет, а «Египетская марка» — чрезвычайно. «Сестра моя жизнь» — гильзы.

Тут же была подписана карточка: «Снимок сделан в Воронеже директором театра Вольфом в декабре 1935 г. Переснят С. Б. Рудаковым и ему как будто принадлежит, т. е., очевидно, его собственность. О. Мандельштам. 2.II.36».

Вынесли решение на другом экземпляре карточки записать все диагнозы последних 2 месяцев (их много).

Стали считать заработки их за 18 месяцев. Воронеж — 7200, Москва — 14700, учитывая «подарки» родственников и знакомых, сумму оформили до 25000. Что дает 1400 в мес. на круг, а Н. уверяла, что 700. Цифры были подсчитаны детально.

ПРИЕЗД АХМАТОВОЙ

5.II. — Основное событие дня — приезд Анны Андреевны. Весь день очень похож на прежние: «Оськи» все ждали из Москвы отмены приезда, сопровождая эти догадки всяческими ругательными выступлениями о низости друзей etc. Все это, т. е. предыстория, — очень смешной материал для тетради, для введения в «тетрадь».

...Важнейшее событие: из Москвы (через Литфонд) разрешение и средства Оське ехать на юг лечиться (Крым, Кавказ etc). Пока это бесформенно и, м. б., позадержится из-за Анны Андреевны.

Приезд таков. О. оставили дома (и ходить ему утомительно, и, главное, он «тяжело» болен, судя по телеграмме, Аннушке посланной, нельзя же ожить), а мы с Н. поехали на вокзал. Перрон. Толпа.

Анна Андреевна — в старом-старом пальто и сама старая. Вид кошмарный. Сажу их на извозчика. О. полупомешался от переживаний.

Она снимает шляпу и преображается. Это то, о чем говорил тебе на пушкинодомской встрече, когда она оживлена, лицо прекрасно и лишено возраста. Чудные волосы. Очень похудела, что дает стройность (!). Пока не привык, минуты потускнения просто страшные, почти безобразные. В мандельштамовской квартире в Москве живет брат Наппельбаумов, его жена прислала Оське альбом Щукинской галереи. О. в суматохе так заврался, что, радуясь альбому, стал говорить какую-то чушь про французскую архитектуру и Корбюзье, которого только что мы читали.

А. стала переодеваться, а мы с О. пошли в магазин. Выйдя за дверь, он стал охать и стонать, что ее, а не его надо лечить. «Сергей Борисович, чем помочь ей тут?» Уверен, что завтра начнет с этим бегать к Стоичеву, Подобедову и К°. Он помешан на лечении.

Сейчас добролюбовский карнавал. Чтобы дать А. отдохнуть, мы с О. пошли в музыкаль-

⁷⁰ Книги Г. А. Шенгели: «Норд», 1927; «Планер», 1935.

ный техникум на Добролюбовский вечер. И действительно: О. накинудся на Стоичева и стал бормотать: «Она приехала, не хочу, чтобы это было только для меня, вы хотите организовать ей встречу?.. Вы ей помогите тут устроиться, жилья ей нет, удобств...» Тот едва отвязался.

Что чудно — это поведение Н. Все дурачества спали, никакой фанаберии, а, наоборот, подлизыванье к Аннушке.

Все немного суматошно. О. мне говорит: «Я потерял чувство действительности». И правда, он расчумелый весь.

...Надолго ли А. — неизвестно еще.

б.П. — У Мандельштамов: О. все психует. Для него приезд Анны Андреевны — общественный шаг. Занят уже тем, возымеет ли это действие на дальнейшее.

Уже нет тени натянутости. Мы с Ан. Анд. просматривали куски моей текстологии. Она вроде Оксмана в смысле авторитета. Она, кажется, не ждала увидеть то, что нашла. Ки, я не люблю, когда осознают величие и трепещут (как Есенин, в первый раз узрев Блока), но когда в разговоре со мной, вспоминая чтение О. стихов в Цехе, сказала «Коля», мне холодно стало. Лиана, как она изумительно красива! Ты можешь себе представить, что идешь под руку с Гумилевым? Все то, что представишь, я испытывал, когда ее провожал к Маранцам. Звучит это глупее и хуже, чем есть на самом деле. О. психует. В остальном вечер чудный. Она говорит, что пушкинисты ее дразнят по поводу ее дома, его историчности:

А мы живем как при Екатерине...

Дальше вышло весело. Я говорю:

Многооконный на Фонтанке дом.

А оказывается, О. ее раньше коверкал:

Целует мне в гостиной руку
И бабушку на лестнице крутой.⁷¹

Много смеялись.

⁷¹См. стихотворение «Течет река неспешно по долине» из книги Анны Ахматовой «Подорожник»:

Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем,
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

7.II. — День был такой. Утром зашел к Маранцам за Анной Андр. У «Осек» уравнивание постепенное. Подача заявления о лечении на Сочи etc. Они жизнерадостны. Я немного позанимался текстологически. Видимо, сговорившись, Н. и Анн. Оську опекают, т. е. Н. его зря не волнует, и он тих.

Здесь начинается О-но благородство. Он рассказал Ан. Андр. о моих стихах, и они организованно стали устраивать мое чтение. Оживилась Н., которая их не знает.

После обеда уселись О. на кровати. Н. под часами в том углу, где сидел Цветаев. Ан. Ан. и я на низком диване. Внимание. Ожидание.

Решил начать с неизвестной никому «Скарлатины». Между просьбой читать и началом чтения немного не верил голосу, боялся, что буду волноваться и плохо читать. Для созерцания избрал визави — т. е. Н. — светлый, умный и ласковый глаз, и так хорошо в пустой палате напетированный (голос) зазвучал ровно, и с первой строфы Н. возгорелась, узнала больницу; 2 и 3 пьесы видели и О., и Ан. Ан., т. к. они шевелились, т. е. слушали более чем активно. Он забубнил и заахал, а по тону (при благородстве-то!) ждал, что готовит он атаку.

...«Миргород» О. заставил читать три раза подряд. Читал абиссинские, «Как хорошо бродить», «Жел. дор.», «Державинскую ношу» («Анты» почему-то не стал), еще «Лицо как стеарин», «Соображение овладевает...» и уже после разговоров «Вагинова». А разговоры заставляли читать еще больничные (о, человеческое, женское уменье!), Ан. Ан., севшая хотя и на диване, но против меня, смотрела в упор, мне в глаза, и последняя строфа — нет не просто, а как у Сумарокова, как у меня — опустила ресницы. Это иллюстрация, оценка, словами не рассказуемая. А как я второй раз читал!.. О. во время второго чтения сказал: «Сумароков тут пришел в своих настоящих правах». Помнишь, у него о Сумарокове ругательно, то, от чего он «отрекся». Сказал и о Зареме, слышимой в первой строфе. Какими фугами, ступенями ложились стихи. Оценен — общая и единоголосная радость на «Миргород» и «Сумарокова». Затем «Абиссиния», а дальше все, не разберешь уже. Конкретнее, после встрясок и вскакиваний О., конечно, пустился в полемику, но что получилось? Речь была обращена к Ан. Ан., т. е. «подтвердите», дескать. Тезисы: «несвобода, самоурезанье замечательных возможностей, мир под гипнозом, в статике, хотя и трудно шел для воплощения» etc. И что же? «Нет, это только законно. Это то, что и нужно, что органично. Вы, Осип Эмильевич, свою точку зрения, свою позицию навязываете другому поэту». Ки, ведь это почти даже моими словами.

И дальше совсем весело. О. пустился доказывать, что «пряжа» — нечто множественное и голосу не «подобна». И запутался в понятиях пряжи и тканья. Нет, всего не рассказать, но все обернулось хорошо, без тени сомнения с моей стороны, победой. Т. е. я четче и распространеннее повторил слова Ан. Ан. о его органической неспособности согласиться с тем, что вне его стихов. Он все вопил, что большинство из читанного просто прелестно, но нужен еще выход, что если я прав, то это уже готовое свершение, но он ищет другого (ну, и на здоровье, но я-то при чем...).

Ан. Анд.: «Удивительная работа над словом, полнота, которая создает, м. б., излишнее затруднение, вещи кажутся длиннее, чем есть, огромнее».

О.: «Редкая пригнанность слова, нет повода для частной поправки. Изменения. Возражения мои общепhilософские».

«К Вагинову», — сказала А. А. то, что я тебе уже писал: дом Вагинова, и Дом Театра, и Дом Культуры друг другу мешают. Я, м. б., сумею переделать средние два стиха. Это нужно действительно.

Пушкинский Дом хочет купить О. архив. Он не дает, оставляя его мне для работы, но собственность сохраняя за собой.

Вечер: чтение Данта, разговоры, шуток много. Вместе они очень веселые. Между прочим, в полемике со мной О. заврался и прутковское «В соседней палате Поет армянин» приписал Лермонтову.⁷² Хохот. Он, смутясь, выдал в этом А. А. расписку: «7.И. открыл у Лерм. такие-то стихи. — О. М.»

Стихи, кажется, прошибли Н. К ним часто возвращались. Огорченье: А. А. уже собирается домой. М. б., задержится, но неопределенно.

8.И. — День замороченный. Анна Андреевна уже собирается ехать. Это вчера дало трещинку в спокойствии. Сегодня хуже — все переволнованы. Чудно, что в воззрениях на О. мы очень с ней согласны. Она страшная умница, сегодня мы с ней обед готовили: варили щи, вышло очень вкусно. Минус то, что много времени и сил уходит на О., политики и планы. А с другой стороны, его жаль, он тоже скис, предчувствуя ее отъезд.

Из достижений — корректное поведение Надьки. Сейчас это вспомнил к тому, что злость на нее стоит за записками об О. — сейчас уже смягчилось.

9.И. — Сегодня О. (дополнительно) читал стихи 1930 etc., причем дамы его ублажали; просили еще, расточались в хвалах...

Едет А. А., очевидно, 11-го, сперва в Москву.

С О. обсуждаем ее молчание стиховое.

Он: «Она — плотоядная чайка: где исторические события, там слышится голос Ахматовой, и события — только гребень, верх волны: война, революция. Ровная и глубокая полоса жизни у нее стихов не дает, это сказывается как боязнь самоповторения, как лишнее истощение в течение паузы».

Ей сказал, что вреден Пастернак, что он раньше целостнее других натворил то, во что другие пустились массово, всем скопом, безвкусно. Это почти все, кто что-либо писал за 15 лет. Это и «Грифельная ода» О. Э., в этом ее боязнь (т. е. А. А.). М. б., это было слишком резко, там и дружба и уважение к Пастернаку.

Она ругает Брюсова, Блока... да почти всех. При всей прелести «Ночи в окопе» и «Ладомира» О. накинулся на Хлебникова, а я его раскрутил, показав незнание им Хлебникова. Он снова залился. Я говорю: «Так говорить о стихах не полагается». Он: «Стихи вообще положены быть не должны, мы — должны (это любимый его звуковой, не всегда даже корневой путь афоризации)». Я: «...говорить так не следует, если вас устроит синонимическая замена. Следовать — значит двигаться, жить, а меняет ли это дело? У вас чистая полемика, на грани придирки». Он: «Анна Андреевна, вот Сергей Борисович меня всегда берет в логическую проработку и начисто сминает, что я говорю, он умерщвляет ход моего доказательства».

⁷² Речь идет о стихотворении К. Пруткина «Романс»: «В соседней палате Кричит армянин».

Теперь главнейшее. Сажу на диване с А. А. И думаю, как сформулировать вопрос о работе над Гумилевым. Ей Мандельштамы об этом еще не говорили. Так сидели молча... Она оборачивается и говорит: «Когда будете в Ленинграде, я ознакомлю вас со всеми» etc... Это — гипноз.

10.II. — С А. А. много говорил о работе. Доверие беспредельное, только время и Ленинград, — и все задуманное будет сделано. Мы друг друга с полуслова понимаем, будто я с ними в Цехе Поэтов был... даже мелочи: называет в какой-то связи Комаровского, начинаю о нем говорить, о «Франческе», пополам или, вернее, вместе читаем вслух друг другу слово в слово:

Или под самым потолком,
Где ангел замыкает фреску,
Рисую вечером тайком
Черноволосую Франческу.

Она: «Да, знать Комаровского — это марка. А знаете, Коля говорил: “Это я научил Васю писать, стихи его сперва были такие четвероногие...” И правда, он, конечно...»⁷³

Еще: «...когда Коля приехал из Парижа, я сказала ему, что мы будем разводиться. Мы поехали к Левушке в Бежецк. Было это на Троицу. Мы сидели на солнечном холме, и он мне сказал: “Знаешь, Аня, я чувствую, что я останусь в памяти людей, что жить я буду всегда”».

Может быть, к ней надо было мне подойти уже давно, но без тех прямых условий, в которых встретились сейчас, может быть, не получилось бы нужного. В Ленинграде будут простые и чудные отношения, вот увидишь, и будет работа, в которой она другим не поможет. Верит в это и она.

Лиана, познанный О., все с ним связанное, — это очень много, но спокойная, вечная гениальность Ахматовой мне дала столько, сколько мог я сам придумать. Высшая награда — получить ожидаемое, желаемое. Так, как с ней, говорил впервые в жизни. Это необъяснимое сочетание: я говорю, сообщаю, понимаю силу этого и одновременно знаю, что она все это понимает сама. Говорит она, мне все ясно до глубины; а весь разговор — и неожиданность, и новизна. Удивительная форма: о любви так можно говорить с любимой, как мы о поэзии.

Боже, как бы со мной говорил и Он: «Анна Андр. завтра едет».

11.II. — Сегодня уехала Ан. Андр. Киса, всякие поклонения великим — вещь глупая и безвкусная. Об Ахматовой известно, что это адресат целого культа. И что же? Шесть дней знакомства сделали так много... Я сделал покражное преступление. Взял у сестры Толмачева «Anno Domini», дал А. А., а она сделала мне надпись, книга останется у меня, никакие черти ее не отнимут. Карандашом:

⁷³ Цитируется строфа из стихотворения В. А. Комаровского (1881—1914) «Возрождение» из книги «Первая пристань» (СПб., 1913). Н. С. Гумилев считал, что Комаровский дал не только специальный царскосельский пейзаж, но и царскосельский круг идей. Он назвал Комаровского «мастером», но «отнюдь не учителем», т. к. его «скупое и одинокое» творчество мешает этой роли. (Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль, 1923. С. 180—181.)

Сергею Борисовичу
Рудакову
на память
о моих Воронежских
днях

Ахматова.

11 февр. 1936. Вокзал.

...Билет, как и тебе, через Таллера, сидячий, в вагоне «Воронеж — Москва». Сидели в буфете, поезд опаздывал на 2 часа. Как подали вагон, безумные Мандельштамы усадили ее где-то на 4-м пути — и домой. Одному мне оставаться было нелепо. И чувство, что она так и сейчас не уехала, а с чемоданчиком и сумкой для провизии сидит в своем вагоне, что вагон так и стоит вне состава. Звериная нежность. У О. так пусто стало, просто до слез. Утешенье — надпись...

Н. с похоронно-воспоминательными репликами, мы с О. в разных углах комнаты, почему-то злые друг на друга (ревность?!). К вечеру зашевелились, стали разговаривать. Он получил из Литфонда подтверждение — телеграмму: «Забронирована путевка Старый Крым». И нет уже и А., ничего, планы, психованье. А потом опять о ее молчанье (языком диагнозов собственных хвороб): «Словарный склероз и расширение аорты мировоззрения, ее недостаточная гибкость — вот причины молчанья». А после Н. вслух читала статью Дынник о Зенкевиче⁷⁴ и частично о нем, вообще дрянь с проблесками... Союз пока обо мне отмалчивается, но не окончательно.

13.II. — У О. наступила тихость разочарования отъездом Аннушки и тревоги собственных Крымов, которые оформляются медленно.

14.II. — Получил письмо, где ты уже знаешь об А. А., а ее уже нет. Так привык возвращаться до Петровского сквера не один. И у М. все в разброде сейчас. О. нужно сидеть и ждать, а он без повода бесится. Все же его психованья многое в нем (и в стихах) портят для меня.

17.II. — У О. ад неопикуемый (обида на отъезд А. А., курортная неопределенность, болезни и реальные, и мнимые, т. е., вернее, желательные, и денег отсутствие).

19.II. — О. раздобыл в театре денег — и снова мир.

...Не только Аннушка, никто не сумел бы и меня «упрекнуть» в несамостоятельности. О. пророчит другое: «изошренность и неправдоподобие». Этого не боюсь. Ты пишешь о книжке. Это единственный выход. Но мыслимо ли? Почитай стихи в «Лит. газ.». Смотри, что было на пленуме в Минске.

20.II. — ...Н. попросила за О. в театр зйти, слабость у него, и он все норовит поехать от Утюжка на извозчике.

...Анна Андреевна еще в Москве...

...Надпись повергла О. в истерику: на «Анно Domini», в 1936 году! Ах, ах!

Он сильно сдал, но все же в этом есть доля политики, т. е. здоровье-то плохо, но оно обгрызается еще.

⁷⁴ Дынник В. Поэт и спец // Красная новь. 1936. № 1. С. 217—227.

21.II. — Снег и снег, но такой сухой и мягкий. Не холодно. Мандельштамы пошли на концерт (бас Стешенко из Чикаго).

«ТЕТРАДЬ № 2» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вечный иск

21.II. — С Союзом дело обстоит так: Кретова должна со Стоичевым решить, как (беседа, доклад etc) ознакомиться с работой моей. Пока же дело ограничивается звонками и откладыванием «ответа», м. б., они чего и перерешили, м. б., это «не сов...», то есть пока волокита.

24.II. — Только что сбежал с 3 акта «Отелло». Был с Мандельштамами. Сильно невыносимо, а они патриотически смотрят в третий раз. Вокруг этого много интересных разговоров: «Оська сростается с театром!» Это, конечно, издевательские слова.

26.II. — Вышла книга Волкова «Русская поэзия эпохи империализма» (Брюсов, Гумилев, Ахматова, Мандельштам etc). Там об О. непочтительно и бестолково (ограничиваясь концом 1916 года!). Впрочем, самой книги я еще не видел. О. скис и расстроился чуть ли не до истерики.

Ложусь спать, чувствуя себя победителем после ухода из психокотла.

27.II. — Сейчас масса мерзких деталей с квартирохозяевами у О. Сюда относятся: крики, вопли, выключение света, снова крики, на них ответные психованья — все очень подробно.

28.II. — О. пока не говорит о карточке тебе, т. к. он опять боится своих автографов и даже мне больше не пишет. Дикие волнения в связи со скандалами хозяев. Вообще же ожидаются грандиозные перемены, и где-то в глубине они бодры.

29.II. — Пошли с ним слушать квартет им. Глинки, а он сбежал, т. к. концерт для слета ударников полей и программа его не устраивает.

1.III. — ...жаль, что нового Заболоцкого не знаю еще наизусть. Его Осипу Эмильевичу не показывал, так как биографические психованья так глубоки, что переключиться он не в силах. Жалко комкать Заболоцкого.

Встал я очень поздно. Опять лежал раскисши почему-то, а к М. пришел только часа в 4. Вспомнил:

Не спите днем — пластается в длину
Дыханье парового отопления, —
Проснувшись, вы окажетесь в плену
Гнетущей скуки и смертельной лени.
(Б. Пастернак. Спекторский)

О. Э.: «Вот пустословие. И все это вместо того, чтобы кашлянуть, потянуться. И это не Пруст, не Джойс, не анализ».

А дальше о том же дневном сне:

Моим рожденные словом,
Гиганты пили вино

Всю ночь — и было багровым,
И было страшным оно.
.....
И стало мне вдруг так больно.
Так жалко стало дня,
Своею дорогой вольной
Прошедшего без меня.

Это стихи из «Костра» («Творчество»).⁷⁵

О. Э.: «Хорошо. Очень».

.....

Н. купила О. книгу по архитектуре Китая. Она в футляре. О. футляров не любит, и я его унаследовал и ношусь с безумной мыслью его на большую книгу приспособить.

4.III. — Вот пишу на той бумаге, в которую был завернут Дант⁷⁶. Посылка чудная, а они, в особенности О. (и Н.), на него яростно изругались — они ненавидят переводчика Эфроса.

...При нем ему сочинил:

А Мандельштам настойчиво
Набрасывается на Стоичева,
Набрасывается на Стоичева
И потрошит его...

Это по поводу того, что от меня Союз (Стоичев) сможет при желании отвязаться легко, а О. гоняется за ними за всеми и поедом ест. И нечитанное продолжение:

А после точит слезы
В жилеточку Елозы...

5.III. — Эпизод. Психования О. с термометром. Воскликанье: t° 37,8 (вместо привычной 37,2—37,3). Молниеносные гипотезы о новых болезнях, планы хлопот. О. хватается за голову, Н. поддерживает. О. бежит к окну, к свету: «Надюша, я обманул тебя на градус— 36,8!» Они двое хохочут, я сидел отдельно за текстологией, не ужаснулся вначале, не восхитился в конце. О.: «С. Б-ч заранее знал, что в этом роде, вы знаете, что все у нас такое, и не реагирует». Я: «Да, только не всегда есть контроль, так сказать, не всегда к свету подходите». О. хохочет: «Да, да. Просто не пишутся стихи — вот все и есть».

6.III. — Сегодня первый весенний (не предвесенний уже) день. Пасхальная погода, ручьи, солнце. Выходной. Я намылся, начистился, побрился. Письмо от Аллы. У «Осек»

⁷⁵ И Пастернака, и Гумилева Рудаков цитирует по памяти, с неточностями. Здесь даются тексты, сверенные по книгам.

⁷⁶ Данте Алигьери. Vita Nuova /Перев. А. Эфроса. М.: Academia, 1934.

пьянство хозяев. О. нервничает. Здесь в культкомандировке на железнодорожный узел поэты Кириллов и Богданов (?) уже давно; но сегодня О. ринулся их искать: Бристоль (гостиница), телефон (Междугородная телефонная станция), Москва—Донбасс (Управление Московско-Донбасской железной дороги находилось на месте нынешнего управления Юго-Восточной ж. д.). Все тщетно. Он скис. Мои утешения, уговаривания. Хозяйева позаснули. Полумир. Ушел от них гулять.

7.III. — Н. пишет для «Коммуны» консультационные письма стихотворцам — 3 р. за 10 шт., в день можно сделать до 10 шт. Дают их ей партиями штук в 30—40. Всего пока рублей на 250—300. Этого «мало», и «делиться» она не может. И, главное, это подряд. Рассказал о Т., они бурно возмутились, а сами тут же замяли вопрос с письмами. Точный повтор того, что было при тебе, когда Н. обручала С. за то, что тот не торопился с рисунками мне, а сами не желали по радио помочь работу.

8.III. — Не могу сидеть у М. — там тупейшая самозанятость. Не могу больше. Часа полтора сидел в библиотеке над газетами. Все механически. Умер Кузмин. Такая боль от этого. Его очень люблю, и не мелочность, а правда была в том, что хотел с ним познакомиться. Вспоминал его «пароходик» из «Нового Гуля»:

Уходит пароходик в Штеттин,
Остался я на берегу.

10.III. — Заходил в Союз. Практическая новость. Они устроили со мной предварительный разговор. Его течение было ознакомительное. К Мандельштаму отношение непоправимо отрицательное, даже пренебрежительное (вопреки его о них рассказам). Отсюда скепсис по отношению к моей работе, но одновременно и интерес: решили 14-го на правлении поставить вопрос обо мне — при этом предварительное пожелание было сформулировано Кретовой так: устроить мой доклад для Союза и Пединститута (профессора, доценты и студенты старших курсов). Боюсь, что это утопия (непроверенного чужого человека пускать на студентов).

14.III. — Вчера М. переехали в новую комнату в хорошем доме специалистов. Комната как настоящая городская.

16.III. — Что с Союзом? Вот что.

Было общегородское совещание работников искусства с докладом Плоткина (специально для этого из Ленинграда приехавшего) о формализме. Это (ты знаешь, наверно) отклик на статью в «Правде» etc. Был и я; такая дичь и тупость, что мне лезть с работой немислимо.

...Сидеть с О. не могу. Новая комната (очень благоустроенная, с ванной etc) подействовала на них огрубляюще, озлобляюще и все такое. Может быть, потому, что жаловаться на неустроенность труднее. О. совсем как помещанный, говорит только сам с собой, а Н. — сплошная макетная дуря, а не собеседница.

17.III. — Из дому пошел на телефон, звонить в Москву брату Н., чтобы он им денег прислал. Они для вящей убедительности притворились больными и уговорили звонить меня. Противно немножко все это.

...Следишь ли ты за «Правдой» etc по вопросам искусства? Это все очень значительно и окончательно. С О. почти переругался. Он хочет готовить речь на дискуссионно-покаянное собрание.

19.III. — О. поташил меня в театр на ученический балет.

21.III. — Отношения с О. выродились в бытовую манную кашу.

27.III. — Сегодня О. напугался какими-то прописочными формальностями. Потом я провожал его в театр (он относил свои тезисы-замечания по пьесе «Мольба о жизни»⁷⁷). На обратном пути (ублагодотворенный):

О. Э.: — Сергей Борисович, у вас прошла тревога?

Я: — Тревога была у вас. А у меня, если бы она и была, пройти ей было не с чего, т. к. ничего для меня не случилось.

О. Э.: — Да? Разве... а? (Пауза.) Вы ко мне относитесь чисто по-бытовому. А я вам завидую: вы сумели себя сохранить, пронести. Вы окружающих (!) не цените.

Я: — А вы?

О. Э.: — Я отношусь не с точки зрения бытовой, а нравственной. Вы вот ничего не потеряли, а я изломан.

Сказать на это о его «безнравственности» — зачем?

31.III. — Сегодня год Воронежа.

Вчера... у М. вечер замотался разговорами об Орфее... Сейчас сижу у М. Они на радио. Введение «ничего», но наивно. Забавно мнение О., когда он вернется. Читала его дикторша, дико коверкая стихи, цитируемые о Глюке (из «Моцарта и Сальери»).

Днем зашел в книжный магазин. «Город Эн» Добычина (ругаемый в дискуссии рядом с Шостаковичем)...

...с О. разговор — обсуждение «Орфея». Тихость и деловитость почти былая. Ушел от них в 1 час.

...О. вопит, что Добычин написал под него, а «Литгазета», что под Джойса. О. заключает: «Этакую мерзость от Джойса производить». Логика говорит, что «от М. можно производить»

2.IV. — А вот новое впечатление от «Гондлы». Дивные места, развитые потом в «Синей звезде», лирический Гумилев; а очень многое, долженствующее быть эпосом, очень риторично, сухо, часто даже несуразно. При этом эпическое, разметное целое удалось. Беда, значит, за деталями эпоса.

Н. пишет (в который раз! — все переделывает) статью для газеты о школах. Она этого делать не умеет, как не умеет рисовать. Для самоободрения опять «привлекает» меня. Но в тонко-вежливой форме.

Следующий день — просветленный и значительный, посвященный годовщине встречи Рудакова с Мандельштамом, Осип Эмильевич говорил о своих новых литературных задачах, сомнениях и колебаниях, выслушивая соображения Сергея Борисовича об этом.

⁷⁷ Пьеса французского драматурга Ж.Деваля.

4 апреля. — Григорию Моисеевичу письмо написал (о его стихах. — Э. Г.). Тебе могу сообщить — О. сказал: «Пусть он скрывает, что пишет. Это военный капельмейстер: сюита-воспоминания о Шуберте, Листе, Венявском и Балакиреве. Исполняет красноармейский хор».

Из событий очень важных — речь Заболоцкого (см. «Литературный Ленинград»). По данным «Литературной газеты» я подумал, что это примитивное у него получилось. По сути же человек говорит о своем пути и о том, как ему мешали. На все его объяснения, рассказанные мною О., последовала рецензия: «Врет. Написал памфлет на сухотку мозга, а объясняет как... Это вроде Зоценки, который пишет памфлеты невероятной силы, а выдает их за душеспасительное чтение». Правда ли это? — Не знаю я, но тону Заболоцкого поверил.

У О. краткое безденежье и как вывод — безумствования. Н. три раза переделывала статью для «Коммуны», и ее три раза браковали. Журнально-газетных шедевров не получилось. Она оправдывается: «Я забыла о своих основных чертах — тупости и ипохондричности — и хотела работать». В результате она и консультативных писем не пишет. Идут бесстыдные разговоры о гибели и необходимости скандалов, демонстраций, объявления голодовки etc. В «нервах» расшвыряла шахматы на проигранной партии. О. то стонет, то мечется, придумывая утопические средства — вроде всяких писем с жалобами и упреками. Злит их и моя малая реактивная живость. Н. хочет ехать в Москву квартиру продавать (т. е. это пока болтовня).

7.IV. — Вечером был с О. на четвертой симфонии Бетховена.

9.IV. — У меня сейчас дурацкая отрешенность от мира. Она вызвана тем, что у Н. болит печень, а О. (в силу психоза — боязнь пространства) не может ходить один, и я бессмысленно таскаюсь с ним в театр, на радио, к Елозе etc. У них сцены и драмы. Проекты скандалить из-за безденежья. А вся ситуация такая: театр — 400, «Коммуна» Надине за «письма» 200, но в театре вычеты за авансы январские, а в «Коммуне» за забракованные статьи не платят. Домашние диспуты готовы разразиться в скандал по поводу моего малого соответствия. Вдобавок сегодня метель и снег мокрый и густой. «Не хочу писать писем», — орет Н. «Не пиши, Надюша», — заключает О., а там жалобы и ругательства.

12.IV. — Пишу у М. Были только что на дневном концерте под управлением Паула Рейзаха, Бетховен (2-я симфония).⁷⁸

13.IV. — А сегодня еще О. Э. подстроил номер. Шли мы с ним из театра: посреди проспекта бледнеет, хватается за сердце. Я едва втаскиваю его в «Коммуну». Он кричит: «Умираю, умираю», — держится за сердце. Кладем его на стулья (под голову мое пальто). Он вскакивает, пьет воду и кричит: «Наденьку. Наденьку...» Везут извозчика. Едем. На лестнице опять остановка с воплями и страхом. А дома облегченье. Я бегу за врачом в поликлинику. Ему делают укол камфоры. Больничный листок (с комедией: «Нет справки о работе...»). Врач за дверь — полегчанье, и начинается юродство и спекуляция. (Письма к брату, Пастернаку, телефоны etc., весь веер разговоров, что деньги давать должны, а

⁷⁸ Вероятно, они были на репетиции, так как, согласно объявлению в «Коммуне», концерт был назначен на 13.IV, вечером.

работать ни О., ни Н. (!) не должны. Кроме того, письма в театр, в райком. При этом как дети радуются камфоре («Держат на камфоре!» или «Спасли камфорой»). Фразы радуют, как оружие, как некие долбилые молотки»).

[Тут большой перерыв в переписке, так как Лина Самойловна вскоре приехала в Воронеж. Как уже говорилось, на майские праздники приезжала я. Мандельштамы были разочарованы из-за краткости моего пребывания. Они не встали рано утром, чтобы проститься со мной. На вокзал я поехала с Рудаковым.]

6 мая. (Первое письмо С. Б. после нашего отъезда.) — У О. волнение в ожидание меня (придет ли?) и мирное подлизывание. О. ожил и говорит, что Эмма сейчас больше присутствует, чем когда лично, что нет чувства отъезда.

7.V. — У «Осею» только на минуту и потом с ними на Бетховена. Дивно слушал девятую симфонию. С Ойстраха О. убежал, жалуясь на сердце (извозчик, поликлиника). Сидели мы разное, и я об уходе узнал в антракте. Застал их в поликлинике. Алчно хочет врачебной активности в вопросе освещения своего положения. Опять много декораций (если не все они).

8.V. — О. психует... О. сам подчеркивает, что очаг болей, плацдарм, так сказать, — места казенные: «Коммуна», театр. Посмеивается, что-де «сердце знает, кого пугать, пусть начальство видит».

11.V. — Сейчас еще рано (часов 8). Вечером обещал зайти к М.. Н. таинственно дала мне письмо, отправить Жене (ее брату), добавив: «Прочтите». Вот оно:

«Женюша! После припадка Ося очень плохо поправляется. Очень слаб. И самое тяжелое, что предположение Герке (склероз мозга) подтверждается: появляются дополнительные признаки. Еще можно лечить, если поддастся лечению.

Но скоро будет поздно.

Сообщи Ане (т. е. Анне Андреевне Ахматовой. — Э. Г.). Пусть добиваются лечения (Мацеста). Сейчас откладывать нельзя. Нужна летом дача и, если июнь и июль пройдут благополучно, то Мацеста в августе. Нужны большие деньги. На даче — курс ванн. Что будет?

Выглядит он отлично, но это ничего не значит.

Я, очевидно, подниму вой. Я жду еще несколько дней Пастернака и Аню. Пусть торопятся. Если опять обман, то буду действовать я. Ося не умирает. Это, конечно, может разочаровать всех. Но он может протянуть, обреченный, еще 2—3 года. Может умереть внезапно, и это в нашем положении, пожалуй, самое лучшее. Я не буду просить в Союзе денег. Дача — не лечение, но так, что-то вроде отдыха. Просто немножко замедлить... А они скажут, что уже все сделали, а то, может, ничего не дадут. Ну их к черту.

Надя.

Пиши. Н.»

Мои примечания: о хорошем виде для меня, чтобы я не думал, что вид (вижу его только я) решает дело. Для этого письмо велено мне прочесть... О деньгах: я получил в театре, а Н. в Союз звонила вчера, и Кретова прислала 50 р. (с бумажкой, на ней Н.

расписалась: «Мандельштаму из лечебных средств “Коммуны”»). О. бодр, говорит благоглупости и придумывает формы деятельности (сесть в сумасшедший дом, или на дачу поехать, или написать Майе Роллан⁷⁹, чтобы патефонных пластинок прислала).

12.V. — Вот у них сижу. Мир и условно восстановленное процветанье. Реакция на Шуру (А. Э.)⁸⁰ еще хуже, чем на А<хматову> или Э<мму>. Он расценивается даже не как рупор, а как почтальон. С ним грубоваты. Он привез 800 р. за перепечатку О. перевода Важа Пшавела (грузинского поэта, перевод 21-го г.)⁸¹. И психи бурно тратят деньги, чтобы скорее завить от голода.

15.V. — Чувствует он себя лучше — некоторое повеселенье. Твое присутствие в пору их желанья разыгрывать театр перед Эммой и вообще вселенной их злило, и все их поведение того стиля как-то сейчас лопнуло. Н. подлизывается и не заедается, не выхамывается. Деньги тратят радостно...

27.V. — О. инвалидничает, т. е. комиссию хочет пройти. События эти изложены в письме Н. к Б<орису Леонидовичу Пастернаку>. Вот оно:

«Б. А. Вчера состоялся консилиум при 2-й поликлинике. О. Э. признан нетрудоспособным и направлен в комиссию по инвалидности. Будет признан инвалидом.

Эта комиссия должна была иметь медицинский лечебный характер. Но на самом деле это было издевательством: мне не ответили ни на один вопрос медицинского характера, чтобы не взять на себя обязательств. Мне предложили в случае сердечных припадков обращаться за помощью к дежурному врачу, который прыскает камфору. И рекомендовали регулярно ездить в психиатрическую: проверять состояние. Это очень любезно. Дело в том, что все эти врачи в отдельности говорили о наличии склероза сосудов мозга и необходимости немедленного лечения, режима и т. д. Фактически О. Э. без медицинской помощи. Казенная медицина только боится. Частные врачи не хотят такого пациента. Был здесь проф. Гетье. Он лечил, несмотря на социальное положение, но сейчас его нет: он заболел и уехал в Москву.

Комиссия написала следующую бумагу:

“Поликлиника № 1 Месткома Большого Театра — Мандельштам О. Э., 45 лет, страдающий кардиологией, артериосклерозом, остаточными явлениями реактивного состояния, шизоидной психопатией, должен быть направлен в ВТЭК на предмет определения степени потери трудоспособности. Подписи: Азорова, Шатойло, Земгель. 27.V.36”.

Через неделю О. Э. будет признан инвалидом: это почетное звание: он может спокойно умирать. Так полагается инвалидам. Он будет получать 8 р. 65 к. инвалидного пособия. Он может торговать папиросами — это инвалидное право. А Союз писателей до сих пор

⁷⁹ Майя Роллан — жена французского писателя Романа Роллана (урожденная Кудашева Мария Павловна), знакомая О. Э. Мандельштама по Коктебелю в 1915—1916 годах.

⁸⁰ Александр Эмильевич Мандельштам (1893—1942), брат Осипа Эмильевича, библиограф.

⁸¹ Пшавела Важа. Гоготур и Алпшина. Поэмы. М.: ГИХЛ, 1935. Первоначально опубликовано в журнале «Пламя» (Тифлис), № 1, май.

рекомендует М. зарабатывать на собственное лечение. И выезд из области отказан. Врачи молчат, потому что в области нет лечебного заведения нужного типа. Все очень прилично. При всеобщей пассивности — вполне сознательной и твердой — Осю обрекают на смерть. Вас я прошу к прокурору Лейкевитову не ходить. Этот ход — пустая формальность. Все к нему ходят и уходят ни с чем. Мне известны десятки таких случаев. Я предпочитаю упрощенное положение: для О. Э. никто не сделал того, что мог. Без самоослепления вроде визита к прокурору. Надеюсь, что моя просьба будет уважена. Над. М. Только в Москве я могла бы получить настоящий диагноз. Мне отказано в разрешении поехать в Москву для медицинской консультации».

Получив это дерзкое требовательное письмо, Борис Леонидович тотчас пошел с ним к Евгению Яковлевичу. Это видно из письма последнего к младшему брату Мандельштама, жившему в Ленинграде⁸²:

«Евгений Эмильевич! Ехать в Воронеж совершенно необходимо. Болезнь превращена в форменный бред. Вместо лечения писание бредовых бумажек во все стороны. О. Э. в крайне психически-возбужденном состоянии. В последнем присланном сюда медицинском свидетельстве к сердечным болезням присоединились «остаточные явления реактивного состояния, шизоидная психопатия». Если это будет так продолжаться, дело кончится или разрывом сердца, или сумасшедшим домом.

Хуже всего то, что Надя полностью заражена бредом. Боюсь, что она и является теперь активным двигателем. То есть двое людей на грани помешательства, причем О. Э. действительно серьезно болен, предоставлены всецело самим себе.

Совершенно необходимо проконсультироваться на месте с врачами, установить характер и размеры заболевания. И тогда будет ясно, что делать.

Мне думается, что сейчас нужен будет санаторий, даже воронежский. Самая обыкновенная больница была бы теперь спасительна, лишь бы вырвать О. Э. из обстановки домашнего бреда.

Хорошо было бы Вам проехать через Москву.

Евг. Хазин...»

Забегая вперед, с удовлетворением заметим, что 17 июня Е. Э. Мандельштам приехал в Воронеж, очевидно, повидавшись в Москве с Анной Андреевной и привезя новости и, по всей вероятности, деньги.

Теперь нам придется вспомнить день 30 мая, когда новый цикл стихов Пастернака так по-разному взволновал Осипа Эмильевича и Сергея Борисовича. Для Мандельштама это был толчок, заставивший его вернуться к стихам (правда, ненадолго). Казалось бы: трудно ли опытному мастеру заменить одну строку другой в своем стихотворении? Но выключение из своего поэтического мира обрекало Мандельштама на полную стиховую немоту. В этой немоте его месяцами мучил последний стих так называемых «Летчиков» — «Продолженье

⁸² Евгений Эмильевич Мандельштам (1898—1979) — санитарный страховой врач. Во время Великой Отечественной войны — армейский эпидемиолог. После войны сценарист научно-популярных фильмов. Письмо хранится в его архиве, любезно предоставлено мне Евгенией Павловной Зенкевич.

зорких тех двоих». А стихи Пастернака «раскрыли то, что его закупило, запечатало» (слова Осипа Эмильевича в передаче Рудакова). И Мандельштам с торжеством заменяет в тот же день стесняющий его стих другим: «Кто же будет продолжать за них».

А с какой непосредственностью Осип Эмильевич устыдился «получать гонорар» Пастернака! — так прямолинейно он оценил денежную помощь, оказанную ему Борисом Леонидовичем, очевидно, по инициативе Анны Андреевны. Эти дни просветления, взлеты, когда вступало в свои права чувство собственного достоинства, составляли главную прелесть в личном общении с Мандельштамом.

Хотелось бы думать, что Надежда Яковлевна тоже устыдилась своего дерзкого требовательного письма к Пастернаку. Было ли оно послано, получил ли он его? — Неясно. Но оно чрезвычайно характерно для натуры Надежды Яковлевны.

Еще бесцеремоннее отношение к Ахматовой. Приехала, с таким трудом. Всего три месяца прошло после освобождения Левы и Пунина — все-таки решилась. Прислала 500 р. (в дополнение к присланному Пастернаком. Очевидно, Анна Андреевна собрала эти деньги у нескольких человек, имена которых никто не должен был знать: это было очень опасно). Но вот освободить Мандельштама ни она, ни Пастернак не могли. И Надежда Яковлевна бессовестно обвиняет Анну Андреевну в обмане и патетически заключает: «Для Осипа Эмильевича никто не сделал того, что мог». При этом не надо забывать, что упреки ее направляются к самым совестливым, самым уязвимым, понимающим все значение Мандельштама для русской поэзии.

Вернемся к письмам Рудакова.

31.V. — ...Зашел к Мандельштамам. Там опять радиодама (бывш. жена Гаука, тоже из Ленинграда). Она о своих делах тараторит. Мандельштамы чего-то напряжены и недовольны. Оказывается, они пошли в обком, и там О. дал полуприпадок, и его привезли на машине (хоть это два шага от них). Он поясняет: «Надюша показала, как мне может быть плохо» (а после «была слабость, пульс участился, так, даже не припадок. Сергей Борисович, опять я втягиваюсь в возню»). Н.: «Я не виновата, что у тебя душа мэнады и ты оживаешь при мысли о любимых хлопотах» (это для дамы, чтобы объяснить живость его порыва снова куда-то бежать. Это внешне неудобно, после «машины» надо лежать).

Что же было им надо? — Все. И сейчас стоны о даче (уехать на просаженные недавно 1500 они могли), о новых деньгах.

Тогда дама в наивности говорит: «Как? такая комната, такие условия жизни, а вы еще дачу хотите?»

Он: — На траве валяться, по тропинкам ходить, это полезно.

Дама: — А там вы чего захотите, у золотой рыбки чего начнете просить?

Все (Н., О. и я) — очень развеселились бойким проникновением в суть «хлопот». Оживленье. Улыбки (у О. и Н. чуть смущенные).

Он: — Как вы угадали, это ведь суррогат деятельности, активности литературной.

Я: — Жизнеупорства дух (!!).

Он (весело): — Да, да...

7.VI. — Приехал Саратовский оперный театр. Немецля пошли на «Кармен». Конечно, опоздали и увертюры — нам такой знакомой и хорошей — не слышали.

10.VI. — После ряда метаний и стонов они решили ехать на дачу в район. Сперва в Павловск (городишко тут), потом в Задонск. Оформили так: Елоза дает Н. газетную командировку на месяц, а дальше они остаются там инерционно, живя на театр и присылы из Москвы (дружеские и довольно частые, по 500—600 в месяц). Еще перед отъездом накупили книг. Ехать должны были с домработницей и ее дочкой.

С дочкой (помнишь — она плакала, когда я ее садил на кровать?) игра в семью: ей купили куклу, сказку о рыбаке и рыбке и за костюм, купленный матерью, доплатили 10 р. Во время еды и все время вообще идет сплошная буффонада: делается вид, что Оля заказывает обед, что Оля и Ося — самые капризные дети, что Ося, что Оля etc. А та заявила матери, что «ходить не будет, так как скучно». Это они полувесело, полусмущенно рассказывают. Я присоединяюсь к Оле и за себя, и за нее. Особенно противен противоестественный тон с ребенком. А Н. все подчеркивает (через призму «господства» Оли), что они должны ценить, быть благодарны. Какое счастье, что с твоего отъезда я там не ем. И между прочим, домашнюю работницу взяли в большей мере из-за того, так как я механически перестал их «обслуживать» базаром etc.

14.VI. — У «Осек» опять мракобесные сборы в «район».

15.VI. — Вот он лепечет опять о своей политике. И смысл такой: на инвалидность не пойдет, чтобы все на него рукой не махнули — «инвалид», что-де вышел в отставку, а бумажки, «что посылают на инвалидность» <нрзб.>, они — тревога, они сигналы, «вечный иск, накопление документов определенной тональности». Лина, вот коммерческие дэбри! Это, переданное о нем людьми, он считает клеветой, а с «ближними» по творческой болталивости «делится».

16.V. — Затмение в Воронеже, говорят, будет довольно ощутимо. 20-го утром Мандельштамы едут в Задонск. В театре он снят с 1 августа, уже расчет получил.

17.VI. — Бомбой на один день принесся младший брат О. Все сугубо деловое. И О. размяк. Тут и Аннушка, и все такое (она пока все в Москве).

18.VI. — Он был у нового профессора (фамилию забыл). Тот сказал, что «сердцу 75 лет, но жить еще можно». В деталях отвергал своих диагностических предшественников, парадоксален, и О. веселился.

В 9 час. вечера слушали передачу о смерти Горького. Век уходит. Много о нем говорил очень глубоко и проникновенно. Союз собирался звонить в Москву о здоровье О. За час до известия о Горьком О. Э. звонил Стоичеву: «В дни тревоги за Горького прошу обо мне снять вопрос».

Дома: «И как страшно умер, накануне затмения. Горький в гробу — и затмение». Потом хватает меня за руку и тащит к окну: «Смотрите, босяк. Горький умер, и идет босяк, таких теперь нет...»

Вопрос — послать ли телеграмму? Сочтут, что хочет о себе напомнить. Решил послать брату: «Дни траура Горького прошу снять все личные вопросы “дела”». Но опять испугал-

ся, что звучит как коммерция: де, придержи. А выразить хотел свое уважение. Еще давно, в октябре, когда я вспомнил о препирательстве Брюсова с Толстым⁸³, он сказал: «Глупо. Это то же, что я с Горьким стал бы — то да се, вот мы не поделили...» Для него Горький (как вообще настоящий писатель) все вопросы о том, «хорошо ли» писал, снимаются: Горький — это Горький. Об этом же, где рифма «горький — дальнзоркий» в «Большеви́ке» — это в примечаниях.

Утром действительно затмение. Есть у меня черная киноленточка, чтобы не обжечь сетчатку.

20.VI. — Сегодня, 20-го, утром, в часы, ровно совпадающие со вчерашним затмением, уехал на автомобиле в Задонск О.

...Затмение хотели смотреть вместе, но я сознательно уклонился, так как был уверен, что они или просят, или бросят смотреть на середине. Смотрел с обрыва реки один. Проголодался, у прохожей молочницы купил полбутылки молока, выпил тут же с диким удовольствием. Мандельштамы уезжали суетно, барахлово, с визгом и тревогой. Где отдели жизнеспособности у этого умирающего?

Ко всем свободам прибавилась еще одна — от Мандельштама, от Мандельштамов. Так сказать, город свободен. Это есть избавление от лицемерия последних недель наших отношений. И жаль, и отрадно, облегченно как-то.

21.VI. — Линуся, что же такое — жить без «Осек»? Это прежде всего некоторое успокоение, роздых. А главное — ощущение пустоты проклятущего Воронежа. Просто невыносимо. День какой-то стеклянный и безжизненный.

26.VI. — Взял раздел «Онегина» для юбилейной пушкинской выставки в Публичной библиотеке. Сейчас в форме отъезжающего ленинградца я их не устрашаю. А было время, что и говорить не хотели (почти ровно год назад).

28.VI. — От Мандельштамов получил письмо, где говорится о двух (!) телеграммах до востребования. Они цветут и меня зовут отдыхать.

1.VII. — Запаковываю вещи, сдаю «Онегина», получаю за него 100 руб., на день еду проститься с Мандельштамами и по заказанному билету домой.

«Онегин» мой хотя и удешевленный, но настоящий. Это компиляция литературы о нем в моей обработке... Важно, что на пустяке, но я заработал, пришел в действие. — Ли, может быть, это переход от застоя воронежского к Пушкинскому Дому?

6.VII. — Думал, что к сегодняшнему дню буду уже «от Мандельштамов», а сам только завтра еду к ним. Они шлют телеграммы и устраивают «тревогу из-за моего здоровья».

⁸³ Об этом см.: Уралов Э. Брюсов и Толстой // 1) Брюсовские чтения 1963. Ереван, 1964. С. 255—269; 2) Записки ОР Гос. Библ. им. В. И. Ленина. Вып. 25. М., 1962. С. 80—142. — В конце января 1898 г. Брюсов написал письмо Л. Толстому с требованием сделать примечание или поместить письмо в редакцию с извинениями. Причина — совпадение во взглядах на искусство в 1-й части трактата Толстого об искусстве, напечатанной в «Вопросах философии и психологии», 1897, № 5, и предисловии Брюсова к своей книге «*Chef d'oeuvres*», вышедшей в 1895 г. Толстой не ответил Брюсову и никаких писем в редакцию не написал. (Этими сведениями я обязана Эдуарду Григорьевичу Бабаеву.)

8.VII. — Вот я из Задонска. Прощанье более чем трогательное. Все-таки и на будущие дни эта задонская встреча очень положительна. Как-то лучше будет на расстоянии. В Москве забрать можно нужные бумаги. И это, и общий тон встречи оставят лучшее, а не худшее ощущение. Пусть это будет напутствием от Воронежа, напутствием дружелюбным.

ЭПИЛОГ

Итак, воронежская эпопея Рудакова окончилась благополучно. Для Мандельштамов, напротив, настала самая тяжелая пора их пребывания в Воронеже. Тяжелая, но прекрасная, озаменованная неслышанным подъемом творческой энергии Осипа Эмильевича, увенчанная его эпохальными «Стихами о неизвестном солдате».

О трагическом пути и гибели Мандельштама много уже известно, будет и еще описано, обсуждено, проклято, воспето.

Судьба Рудакова была обрисована беглыми чертами в вводной части. Но поскольку мы воспользовались его воронежской хроникой как источником для одной из глав биографии Осипа Мандельштама, не грех будет еще раз остановиться на фигуре самого «летописца». Обратимся к переписке военного времени, всегда представляющей исторический интерес, не только своей героической стороной, но и частной, бытовой.

25 февраля 1945 г. Ленинград. Лина Самойловна, извещая о гибели Сергея Борисовича его первую жену и свою бывшую подругу, пишет:

«Все светлое, радостное, творческое в жизни кончилось для меня. Пожалуй, и жизнь кончилась, так как жизненные заботы и самый факт существования не есть еще жизнь...

Сережа был ранен еще в ноябре 41 г., ранен под Ленинградом смертельно. Чудом выжил. В страшную блокадную зиму лежал в госпитале. А в это время умирали сестры. Умерли Ирина и Алеша. Потом Людмила. Выжила одна Алла, потом эвакуировавшаяся в Молотовскую область.

Я была в это время на Урале, куда Сережа отправил меня в самом начале войны.

Весной 42-го года Сережу отправили в запасной полк на Ладогу. Оттуда, как ограниченно годного офицера, в Москву. Там он работал в военкомате. И именно в Москве окончательно расцвел. Должен был защищать диссертацию. И вот снова на фронт, и убит в первом бою.

Боюсь, что даже ты не знала, как он талантлив, какой в нем бесконечный запас творческой энергии. И по целому ряду обстоятельств ни одна его работа не увидела света. Только теперь должна печататься в “Пушкинском Временнике” его работа о Катенине. И он уже об этом не узнает.

Вот еще есть дело у меня в жизни — напечатать все Сережины работы...

В Ленинград я вернулась осенью 44-го г. Здесь уцелели только Сережины книги и рукописи. Папа мой умер в финскую войну. Мама сейчас со мной. В Киеве все погибло...»

Вот и документальное подтверждение времени возврата Лины Самойловны в Ленинград — осень 1944 г. Рукописи были в сохранности. Она могла передать эту весть Анне

Андреевне только при случайной встрече: известно, что более полугода после своего приезда из Ташкента Ахматова жила в Ленинграде не на Фонтанке, а у Л. Я. Рыбаковой. Лина Самойловна не могла об этом знать.

Судьба рукописей волновала Сергея Борисовича при всех обстоятельствах его военной службы. В Москву он приехал 23 июня 1942 г. А 11 июля, в день своих именин, писал жене:

«Сегодня, если хочешь, от твоего имени сделал себе книжные подарки: VII том Творений Хераскова и сборник 28-го г. Осипа Эмильевича!! Без него скучал, но ведь он неотделим от рукописного, по объему превосходящего этот сборник. Очень трудное ощущение — естественное физическое удовольствие — и тоска, что все то может пропасть».

6 августа 1942 г.: «Мое московское пребывание — одно везенье. Если бы не то, что мы врозь, и не ужас за рукописи и книги, — сегодняшним был бы доволен».

В декабре произошла занимательная встреча Рудакова в военкомате, где он жил на казарменном положении. Помещался райвоенкомат в Марьиной Роше. Неудивительно, что именно там промелькнуло у Рудакова воспоминание о Мандельштамах и Ахматовой. Это отражено в письме от 13 декабря 1942-го:

«Пошел в соседнюю часть военкомата за одним бланком. Там у барьера посетители. Один держит книгу “Маяковскому”... Движимый своей общительностью и тем, что по книгам и книжным разговорам соскучился, попросил ее посмотреть... Он вроде Щербины — полноватый, коричнево-желтый, с большими глазами; вот только, может быть, немного потрепанный, захудалый, если не похудалый. Вот такой, что от бед книгой спасается... — Как же ваша фамилия? — Харджиев. — А меня не узнаете? и т. д. Схватил мою руку обеими руками (“Как приятно...”). Ко мне зашел: Аннушка, Надя, Оська... У него библиотека цела. Рукописи эвакуированы. Живет не дома (не в Роше, где у него была Цветаева), так как там холодно... Обменялись телефонами. Сговорились видаться. Он только что приехал из Алма-Аты. У него холод, у меня вроде, решили встретиться у Эммы... Он самовольно и живо решил подарить мне те рукописи О. Э., что у него (пара страничек)».

Намерение Харджиева характерно для его представления о Рудакове как о будущем редакторе стихотворений Мандельштама. К собственному же поэтическому творчеству Рудакова Николай Иванович отнесся, как и все, прохладно. 28 января 1943 г. Рудаков сообщает: «Относительное развлечение — вечер у Эммы с Харджиевым: читал ему стихи о Марине, ленинградские, о пространстве ладожском. Говорит, что понравились, но, как сказано в “Горе от ума”：“Однако кто же радуется этак...”⁸⁴».

Неизвестность о судьбе рукописей Мандельштама и Гумилева продолжает мучить Рудакова. Еще 1.VI.1943 он рассказывает Лине Самойловне: «Звонил Харджиев: от Надьки письмо с вопросами обо мне. Просит меня написать. А о чем? Вот мука».

⁸⁴ Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». У Грибоедова: «Однако искренне кто ж радуется этак?»

Между тем из Ленинграда вскоре пришло уже упоминавшееся письмо управдома с сообщением о сохранности библиотеки и рукописей. Реакция на это известие была чрезвычайной сильной.

2 июля 1943-го: «Еще раз о вещах. Нелепо, что они “все” распроданы? Но это надо и попробовать объяснить, не находясь в условиях той зимы. Дядя Саша, например, сказал что-то вроде того, что не понимает, как можно топить стульями и проч. А что бы он сказал на месте Аллы, с которой рядом при выбитых стеклах (едва прикрытых фанерой) в стуже и мраке последовательно лежат мертвые Ирина и Людмила. То, что не были сожжены книги, объясняется только фетишизацией моей коллекции и старинной мыслью, что от нашей семьи только и осталось, что моя литература... Звонил Эмме, Эфрон, просто не знаю, кому еще говорить об этом, ведь надо перестать мучиться, что нет книг и рукописей. Это удивительно, и даже сразу не понять».

Лина Самойловна ревновала Сережу ко всем его знакомым. Этим объясняется слегка оправдывающийся, подчас насмешливый тон при упоминании в письмах к ней моего имени и имени невестки Марины Цветаевой — Елизаветы Яковлевны Эфрон. 17 июля 1942 он писал: «Эмма сегодня свела меня к сестре мужа Марины. Та — пожилая (старая) высокая седая дама, режиссер художественного чтения... Ее сразу разоружил и к себе расположил, прочитав три вещи о Мише». Речь идет о Мише Ремезове, умершем от голода в блокадном Ленинграде на глазах у Сергея Борисовича. Это описано Рудаковым в сочинении свободной формы в подражание «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева. В этом «трактате», носящем заглавие «Калинин», Рудаков по канве событий (от своего первого ранения до Москвы) вышил разнообразные философские и эстетические узоры. В частности, там приведены три стихотворения («три вещи») о гибели Ремезова: одно — его самого, предсмертное (почти посмертное), и два — Рудакова. Рудаков скорбит, что не мог похоронить Мишу: «Не взял топор, не взял пилу, Не сплотничал для друга гроба». Но особой пронзительностью отмечено стихотворение Ремезова. Оно так потрясло Елизавету Яковлевну, что она попросила меня прочесть его Марии Вениаминовне Юдиной, которую я застала у нее спустя несколько дней. Наша выдающаяся пианистка тоже нашла это стихотворение замечательным. Вот оно:

Садись к окну. Готовь себе обед —
Овсяный суп, стакан пустого чаю,
Смотри на мир. Подумай, сколько лет
Ты прожил бы, его не замечая.

Зато теперь, когда пришла беда,
Ты видишь все, ты стал самим собою.
Будь благодарен ей, она всегда
Была твоей единственной судьбою.

Она решила: что тебе терять?
И эту жизнь, слепую и глухую,
Оборвала. И вот уже опять
Тебя ведет, уча и указуя.

Вернемся к письму Рудакова о первом визите к Е. Я. Эфрон:

«Даму до слез взяло. Вытащила два десятка фото Марины, а в следующий раз обещала рукописи и книги ее с ее пометками... Надо учесть мое (может быть, необоснованное) отношение к Цветаевой. Отсюда — она любая была бы для меня замечательной. А тут оказалось (со слов Анны Андреевны и Эммы, готов был на разочарование), она просто прелестна, хоть в лице есть в некоторых поворотах головы что-то не очень хорошее». Далее Рудаков описывает фотографии Цветаевой: на первой она одна, на другой с мужем, на третьей с детьми, на четвертой отдельно с сыном на пляже и т. д. Теперь эти фото уже неоднократно репродуцированы. Радует точность записей Рудакова, что представляет для нас особый интерес как мерило достоверности его писем о Мандельштаме. Он продолжает:

«Словами можно передать (это же говорит эта дама): везде та порывистость и устремленность движений, которых ждал вне вопроса о “качествах” лица etc...

Это смотрение на мои нервы подействовало опустошающе. Чего хочу? С кем из людской массы быть надо? Где права? Если надо, чтобы любил (в данном случае ее), — то больше меня трудно; если надо, чтобы знал (Пушкина для Томашевского), тоже дело неплохо. А ничего не выходит...

Ощущение, что если бы где-то признали, что я есть я, а не инструктор, не учитель, не студент, не чертежник, то успокоился бы. Дело в этом именно».

Через три дня Рудаков возвращается к мыслям о портретах Цветаевой: «Фотографии весь день в памяти, перед глазами... Такое же, как у Осипа Эмильевича, своеобразие движений, и откинутые волосы, даже несколько закинутая голова, следы особенной подвижности, естественной живости — “ненаучно”, бездоказательно? но это то самое, что в стихах. Читал ее последние письма и самую последнюю записку.

Сейчас днем как-то спокойнее. Вот только стихи некому читать. Не капитану же. А это так важно. Но они есть и будут, будут! Эфрон просит их показать Журавлеву⁸⁵, с которым она работает».

И здесь все сказанное соответствует реальности: и описание драгоценных цветаевских реликвий, и постоянный припев о готовящихся стихах, и неудовлетворенность своим положением, и реакция Елизаветы Яковлевны на разговоры Рудакова.

В другом письме (6 февраля 1943 года) он описывает общую обстановку в Москве: «вроде прошлогоднего февраля (в Ленинграде. — Э. Г.). При мне Эмма старается интере-

⁸⁵ Д. Н. Журавлев — народный артист СССР.

соваться литературой. У Эфрон — то же самое. Трогательно и мне безмерно приятно, что при мне это если не сглаживается, то замалчивается или отходит (отводится) на задний план». Вот тут Рудаков, как это ему свойственно, преувеличивает свою роль. Е. Я. Эфрон не переставала заниматься своим делом и особенно много внимания уделяла детям, по стечению обстоятельств не эвакуированным из Москвы. Она с ними занималась и ставила спектакли детской самодеятельности, Дмитрий Николаевич Журавлев давал концерты, я продолжала свои исследования по биографии Лермонтова, а в Институте литературы и в ВТО протекали научные заседания.

Правда, Рудаков свидетельствует, что на Лермонтовское едва собралось человек двадцать, но для военного времени в голодной и затемненной Москве это не так мало.

Рудаков — мастер реферировать слышанное. Вот он пишет о заседании Пушкинской группы 2 июля 1943 г. Доклад Николая Павловича Анциферова. «Тема: Пушкин в Царском Селе. — На удивление — очень хорошо. Толковая мысль, что поэзия Царского Села проникнута мотивами воспоминания, а потом (ретроспективно) и совести. Т. е., возвращаясь к обстановке детства, Пушкин как бы оценивает, что же произошло с ним после расставания с “отечеством”. У Анциферова там осталась или погибла дочь⁸⁶. Доклад деловой и вместе лиричный».

Продемонстрируем запись Рудакова беседы с Виктором Борисовичем Шкловским. Прослышав о выступлениях Рудакова в прениях на заседаниях Пушкинской группы и в ВТО, узнав о его собственной диссертации о «Ритме и стиле “Медного всадника”», Шкловский пригласил его к себе для обсуждения своей новой «теоретической статьи». Рудаков описывает этот вечер 4 июля 1943-го.

«Линуша, пишу ночью, т. е. фактически 5. 07. Около двух, или, по Маяковскому:

Уже второй,
должно быть,
ты легла.

Ночь почему-то белая. Состояние возвышенно-огорченное. Ты не смейся — это не противоречие. Только что пришел от Шкловского. Ему 50 лет. Он необычайно красив. Не в том смысле, что его портрет подходил бы к витрине парикмахерской или ателье готового платья, а красотой осмысленной думающего человека.

Сюжетно рассказывать трудно. Кратко так. В. Б. лежал в восточном халате. Сидел Казанский. Статью Ш. принялся не читать, а рассказывать. Но скоро все переехало на “Медного всадника”. Тут было немного непристойно: еще был элемент недоверия, проверки, — особенно у Казанского. Однако они уже знают, что это диссертация. И — стыд и позор — опять решили, что докторская. Это после того, как порассказал кое-что.

⁸⁶ Насколько мне известно, сын Н. П. Анциферова умер в блокадном Ленинграде, а дочь застряла в Царском Селе, пережила немецкую оккупацию, после многих мытарств очутилась в Америке замужем. Если не ошибаюсь, приезжала в Советский Союз и виделась с отцом.

Потом (конспективно) пришел один начинающий автор. Говорили о стихе, об Осипе Эмильевиче. Пришел некий киношник. Виктор Борисович варил манную кашу. Ели ее с маслом. Еще говорили. Разошлись. Условились встретиться в среду (7.07). Устал. Но необходимо кое-что записать. Да, я огорчен оттого, что слышу в ушах свист времени.

Виктор Борисович говорит, что сверчки любят слушать чтение. Так вот — можно так работать, что сверчок в углу визжать от радости будет.

Теперь — вот о “Медном всаднике”. Это не он и не я, а сумма разговора, взаимного понимания.

В “Капитанской дочке” Екатерина II не сама, а ее изображение на портрете Боровиковского (отсюда — фон — бюст, собачка etc); во “Всаднике” не Петр, а монумент, не Параша, а ива и ворота (снесенные), не ??, а Нева; не ??, а белые ночи etc. Это потому, что сами явления в многообразии не нужны. Нужен их алгебраический знак. Сами явления тихи. Звучат они в столкновении. Вот лбами и сшиблись. Петр и Евгений.

Каждый строфический период — это этап повествования. В нем и сталкиваются противоположные силы. Период — наиболее крупная единица. Он ограничен всячески: синтаксически, графически, строфически. Все градации меньшего порядка частичны и обнаруживают малые движения темы, упорядочивают ее составные элементы (элементарные строфы — говоря о ритме).

Период — это минимальное сюжетно и максимальное ритмически членение.

У других авторов поэмы рассыпаются. У Маяковского “Про это” и “Облако” держатся не на уживчивости, вживчивости противоположных элементов, а на чередовании их господствующей роли. “Четыре крика — четырех частей”; долой вашу любовь, ваше искусство, вашу религию, ваш строй... У Сельвинского “Челюскининеана” — 20.000 или 40.000 строк. Это потому, что нет внутренней организации материала: диффузии — взаимного проникновения (Пушкин) или поочередной взаимоподчиненности (Маяковский).

Эпиграфы в этом случае (“Медный всадник”) должны удовлетворять требованиям двух пластов: предметно-словарного, непосредственного, и того — переносного, второго, соотнесенного, цитатного, стилизующего, намекающего, единственного.

Столкновение стилей не в том, что они шлейфами тянутся за героями, а в том, что эффект их встречи закреплен модификацией смыслов и рождением нового полученного смысла. Мостовая не просто, а та мостовая... по ней скачет Медный всадник. *Задача — проследить оживление неодушевленного и побронзовение жившего.*

Все эти показатели проходят в пределах строфического периода. Это узлы, шарниры. Единые в своей подвижности и противоположности.

Метафорический характер мышления Шкловского передан Рудаковым удивительно хорошо. Но его собственные слова о строфике «М. В.» не сливаются с блестящей речью Шкловского. Как собеседник Рудаков, очевидно, играл роль идеального стимулятора. Этим он и был дорог в свое время Мандельштаму, всегда предпочитавшему «свежий ветер вражды и сочувствий современников» «унылому комментарию».

Письма Рудакова заставляют вспомнить В. В. Гиппиуса — учителя словесности, с такой любовью описанного О. Мандельштамом в «Шуме времени»:

«Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье...»

И еще:

«Я приходил к нему разбудить зверя литературы... Вся соль заключалась именно в хождении “на дом”, и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литература не была уже домом, квартирой, семьей...»

Эти домашние и литературные встречи похожи на взаимоотношения с Рудаковым с той разницей, что на этот раз старшим был Мандельштам, а учеником, при этом дерзким, Рудаков. Любовь к нему Осипа Эмилевича несомненна.

Простимся же с несчастливым Сергеем Борисовичем, читая его прощальное письмо ко мне:

«2 декабря 1943 г.

Милая Эмма Григорьевна, как хорошо, что хоть часть стихов Вы слышали. Ведь сочиняя, всегда представляешь себе слушателя, т. е. ближайшего соучастника. За тот цикл о Марине моя признательность в посвящении Вам⁸⁷, может быть, самого любимого и удачного (Всеобуч и Марина! то-то живая конкретность, которая жила по тел. И 1-25-33 в Марьиной Роще и В 1-43-39 <номер моего домашнего телефона. — Э.Г.>).

Как жаль, что Вы переехали в другую комнату — так любил Вашу. Говорю о ерунде, а за этим смерть папы вашего. Я очень ценил, что он ко мне, кажется, очень хорошо относился. Казалось, что не только Вы, но “дом” ко мне расположен.

Спасибо за уверенность, что все кончится хорошо. Но сам (по секрету) физически чувствую себя убийственно. И, не хуже Лермонтова в его последний проезд через Москву, думаю, что с передовой не вернусь.

У Лины записаны почти все стихи (увы, почти). Какое счастье ее приезд. Вы это должны понять особенно остро на фоне всех наших телефонных разговоров.

Вам еще благодарности за Эфрон. Она (они) мою Москву сделали такой уютной и домашней. Бога ради напишите, что с вещами Марины в связи с приездом Мура. Я не спросил. Цело ли все? А мой “роман” с Мариной — чудо. Вы — свидетель. Хорошо, что тут тепло. Эх, еще бы стихов о Смоленщине в духе Случевского сочинить! А? Пока их нет, но не перестаю быть ни поэтом, ни офицером.

Привет маме и Мерзляковцам⁸⁸.

П/п 44698-А. Ваш Рудаков.

⁸⁷ У меня сохранилась подаренная мне Рудаковым книга Марины Цветаевой «Версты» (М.: ГИЗ, 1922) с дарственной надписью: «Ее — я услышал от вас — Вы видели в Марьиной Роще». (Заключительные строки стихотворения С. Рудакова «То кладбище Марьиной Рощи...»).

⁸⁸ «Мерзляковцы» — Елизавета Яковлевна Эфрон и Зинаида Митрофановна Ширкевич, жившие в Мерзляковском переулке (д. 16, кв.27).

Вот две пьесы — первая (27 августа) и последняя (16 — 20 ноября). Обе связаны со «Словом» — вторая как бы ответ на «Плач Ярославны» (поют — паровозы).

1

Я знаю, что все-таки свидимся мы,
Окончатся сроки проклятья,
И ты меня заключишь после этой тюрьмы
В живые, родные объятия.
А я, как увижу тебя наяву —
Такою хорошей, смеющейся, славной, —
Стихи сочиню, где тебя назову
Звездой моей Ярославной.

2

Тебя мне ветер обещал,
Под осень дующий с востока,
И стал уступчивей Урал,
Похитивший тебя до срока,
И, верно, твоего Днепра
Вновь обнаженные пороги:
Пора, давно-давно пора, —
Журчали о твоей дороге...
Им солнца вторили лучи,
Когда несносны стали люди:
— Не жалуйся, молчи, молчи,
Она с тобою скоро будет. —
Уральской вяло зимой,
До наступающих морозов
Приветствовали поезд твой
Гудки московских паровозов.
Так примиришь и ты, острог
Святой столицы православной,
Чтоб после адской тьмы тревог
Я вновь соединиться мог
С моей голубкой Ярославной.

Здорово, что вторая — исполнение обещания, данного в первой.

Спасибо за заступничество перед Журавлевым за первую, а вторую Линуша просила не читать, верно стесняясь прямого посвящения.

Привет Наде и Аннушке».

Письмо пришло за десять дней до гибели Рудакова.

II

ЛИШНЯЯ ЛЮБОВЬ

— У вас ужасный вкус! — ответил он после долгого молчания. Мое беглое упоминание об одной его гадкой фразе ввергло его в эту глубокую задумчивость. Она была обращена ко мне давным-давно. Теперь я была умиротворена этим поздним покаянием, что же другое мог обозначать его ответ, как не признание не столько моего дурного вкуса, сколько его ужасного характера? Оглянемся далеко назад.

Шел последний год войны. Он вернулся в Москву, откуда уходил в 1941 году в ополчение. Из ополчения попал в госпиталь, после госпиталя был эвакуирован в Среднюю Азию и вот пришел домой. Комната его была заморожена, дров не было, чай вскипятить не на чем. Я приютила его у себя. После смерти моего отца в нашей обжитой и кое-как нагретой квартире нашелся угол для моего старого приятеля.

Каждый день он отправлялся на другой конец Москвы, обзирал свою пустую комнату, брал с книжной полки одну, только одну, книгу, ходил с ней по делам и очередям, читая на ходу. Вечером читал ту же книгу, ни за что не давая ее мне в руки. Но однажды вошел в мою комнату, раскрыл заветный томик и прочел: «Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом, оно отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он». С отменным мастерством он прочел вслух всю новеллу Эдгара По «Бочка амонтильядо»⁸⁹. Вспомним ее сюжет. Герой встречается на карнавале своего врага, одетого шутом — «плотно облежавший его костюм, частью полосатый» и «конический колпак с бубенчиками» на голове. Мститель заманивает его в подземелье и коварным способом замуровывает в пропитанную селитрой нишу. Адская процедура сопровождается садистски методическими разъяснениями каждого жеста, приближающего врага к смерти. Реплики, прорывы, жалкий смех и стоны жертвы протекают под звон бубенцов на его колпаке.

Мне казалось, что моя комната уже вся пронизана этим звуком. Тонко чувствуя оттенки каждого слова, мой собеседник повторил еще раз «и бубенчики его звенели», обдал меня пламенным взглядом и произнес: «Я его ненавижу... люто!» Тут полился нескончаемый рассказ о соре старшего и младшего, Шкловского и Харджиева, длившейся уже пятнадцать

⁸⁹ В современных переводах на русский заглавие звучит, как «Бочонок амонтильядо». Но до войны, конечно, мы читали Эдгара По в переводе К. Бальмонта.

лет, всегда находившей новые поводы, чтобы разгореться на самых разных путях, иногда таких, о которых и рассказывать было неудобно. Тогда он говорил: «Ну, вы понимаете...» — и я понимала, потому что по давнишнему наблюдению Осипа Эмильевича отличалась «ужасающим пониманием». Мандельштам, как известно, отвергал «всеядность».

Были дни, когда, несмотря на уютное тепло печки, между нами рождалось отчуждение. В один из таких вечеров, холодно глядя на меня, он и сказал те слова: «Вы стали похожи на свою тетю, которую я никогда не видел». За это его надо было выгнать, но он сам ушел из моего дома, тихо прикрыв за собою дверь. Оставшись одна, я выдвинула ящик письменного стола. Он был пуст. Когда же он успел вынуть оттуда свою рукопись? Она лежала там под моим благословением с тех пор, как ее вернуло издательство. Просвещенные редакторы передавали ее от стола к столу, увлеченно читали, а потом отказались печатать. Слишком хороша? Вероятно. В довоенное время у нас еще были отдельные писатели, которые брались за исторические темы не раньше, чем производили самостоятельное научное исследование, работали по целине, вырабатывали собственную концепцию и только тогда садились к столу как прозаики, ставя перед собой чисто литературные задачи. У моего друга такие книги были боковыми по отношению к основной теме, которой была посвящена вся его жизнь. Но он всегда в таких «проходных» книгах выбирал какого-нибудь оригинального, не обязательно гениального, героя и погружался в разные эпохи и страны. В данном случае это был, кажется, Ближний Восток и приключения какого-то ученого авантюриста, может быть, шпиона. Несколько таких биографических книг у него вышло из печати, но эта почему-то не была принята. Мало ли найдется причин у издательства, чтобы отвергнуть хорошую книгу? А потом рукопись, в которую вложено столько умения, находок, воли и таланта, валяется в домашних столах как лишний балласт, перекашивая весь ход жизни автора. В отравленном воздухе расцветают странные вкусы и ужасные характеры.

Война не давала долго задуматься над личными отношениями. Я примирилась с отсутствием друга, даже, по правде сказать, отдыхала от его причуд. Неожиданно в телефоне я услышала его голос. Он окликнул меня как ни в чем не бывало и возбужденно сообщил: «Я только что видел Леву».

Между тем Николай Иванович после этого дня как-то незаметно снова укрепился в моем доме. Мы привыкли друг к другу. Бурные события за окном — идем к Берлину! — и ни на что непохожий быт внутри квартиры создавали особый уют, в просторечии называемый дружбой. Иногда я дежурила ночью в музее. Как-то, вернувшись домой, нашла на столе записку:

«Эмма

Книгу кончил, но почему-то она мне напоминает почти мертвеца. Настроение убийственное. Не сплю. “Болова голит” — и проч. Ночью кто-то меня окликнул: “Как поживаете, Ваше одиночество?”

Ах, Эмма. Вчера в вашей комнате, между постелью и шкафом потерял зеленый камень от запонки. Грустил чрезмерно.

Чтобы доказать самому себе, что я живу во времени — проявил упорство и вдохнул жизнь в часы — они бормочут со вчерашнего утра. *Остальное — устно.*

Найдите зеленый камень (когда будете мести)».

Вот какого рода записочки я находила у себя в комнате в последние недели войны.

Мы много времени проводили вместе. Однажды пришел почтальон, принес письмо. Николай Иванович ахнул, вскричал: «Лева меня не любит!» Письмо было от Гумилева, но адресовано не ему.

Один литератор, попав на фронт после ссылки, писал, что во время наступления перед его глазами промелькнул ангел в облиции Левы Гумилева. Между тем Лева все время войны был вначале в лагере в Норильске, а потом в качестве вольнонаемного работал на норильском же комбинате. Оттуда никого не выпускали до конца войны. Не далее как в сентябре я получила от него письмо, отправленное с последней навигацией из Туруханска. Он писал:

«Дорогая Эмма, я был очень рад получить Ваше письмо.

Приятно было узнать, что я не забыт старым другом, несмотря на долгую разлуку. Приятно также было узнать, что Вам повезло в научной работе. Это, безусловно, благороднейшее дело в мире, и из всех моих лишений тяжчайшим была оторванность от науки и научной академической жизни. Я сейчас завидую всем живущим на западе от Волги. Сибирь надоела. Моя жизнь течет по Джеку Лондону — лыжи, палатка, лодки, снег, вода, комары и т. д. Вы спрашиваете о друзьях и близкой женщине. Мужчин со мной двое рабочих, а женщин за год видел трех: зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку.

Нет также книг и вообще ничего хорошего. Мама, видимо, здорова, я из телеграммы Надежды Яковлевны узнал, что она вернулась в Ленинград, но мне она не пишет, не телеграфирует. Печально. За все мои тяжелые годы я не бросал научных и литературных занятий, но теперь кажется, что все без толку. Больше ничего нет и не было в моей тусклой жизни.

Трудно писать письма, насколько легче было бы поговорить, целуя при этом Ваши пальцы. Искренне Ваш Л».

Письмо, как видно из текста, ответное. Я написала ему в мае (1944), когда Анна Андреевна приехала из Ташкента в Москву.

Она привезла мне рукописи Мандельштама, сказав: «Это передает вам Надя», — и показывала последние фотографии Левы. В полосатой тельняшке, волосы коротко острижены, угрюмый взгляд красивых серых глаз. Мне захотелось его известить, что я существую, невредима, несмотря на бомбежки Москвы и невзгоды военной тыловой жизни. Но Анна Андреевна не дала мне точного адреса сына.

Тогда я совершила недостойный поступок. Как только она вышла зачем-то из моей комнаты, я открыла ее сумочку, где она хранила заветные письма (всегда носила с собой), и списала адрес, вернее, номер почтового ящика. Именно этот длинный номер Анна Андреевна два раза произнесла неразборчивой скороговоркой.

Отослав письмо, я забыла о нем, потому что ответа не было.

Треугольник, появившийся в щели моей двери, поразил меня неожиданностью, а само письмо показалось голосом с того света. Это было уже в сентябре, а в декабре

Лева оказался в Москве? Я ничего не могла понять. Но тут явился Николай Иванович Харджиев, и все объяснилось. Однако его достоверный рассказ не помешал мне на следующий день услышать в Литературном музее сенсационные рассказы о проезде сына Ахматовой через Москву на фронт. Он, мол, едет добровольцем, но добился этого, только вскрыв себе вены. Хотя трудно было представить себе, как можно тащиться в теплушке из Сибири до Москвы со вскрытыми венами, но, как ни странно, эти рассказы были не так далеки от истины. Впоследствии, уже после войны, я слышала от самого Лева подробности этого эпизода. Он действительно рвался на фронт, несколько раз подавал заявления — безуспешно. Наконец явился к коменданту, держа на запястье бритву, и пригрозил: «Вот я сейчас вскрою себе вены, своей кровью твою морду вымажу, а тебя будут черти жарить на сковороде» (тот боялся Страшного суда). «Вот так меня и отпустили».

В современной «ахматовиане» есть еще одно описание этого события. Но в нем использованы уже избитые детали военной и тюремной литературы. Поэтому его нельзя считать достоверным свидетельством. Пишет Зоя Борисовна Томашевская, дочь известных литературоведов Бориса Викторовича Томашевского и Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской.

«Никогда не забуду, как он (Н. И. Харджиев. — Э. Г.) зимой 1943 года примчался к нам ночью на Гоголевский бульвар, требуя теплые вещи для Льва Николаевича Гумилева, которого везли из лагеря на фронт. Брошенный из окна теплушки треугольничек письма чудом дошел до Харджиева.

Нужны были теплые вещи. Но Николай Иванович их никогда не имел. Он вообще ничего никогда не имел, ходил даже без шапки. И вот кинулся их собирать, потом искать на запасных путях полутюремную теплушку и... нашел!»⁹⁰ Сравним этот рассказ с воспоминаниями самого Харджиева. Они напечатаны в виде комментария к письму, полученному им от Л. Н. Гумилева уже из армии. «Большой мой привет Ирине Николаевне, — писал Лева, — благодаря Вам и ей я доехал до места относительно сытым». По-видимому, люди, следовавшие в воинском эшелоне на фронт, нуждались не в теплых вещах, а в деньгах, чтобы прикупить еду к скудным казенным харчам. Это стало ясно с самого начала встречи на железнодорожной платформе. Хотя первой фразы Гумилева Харджиев и не воспроизвел в своей мемуарной заметке, но я ее хорошо помню, потому что, приехав ко мне прямо с вокзала, он рассказывал по горячим следам. «Николай Иванович, денег!» — воскликнул Лева. Так можно обращаться только к близкому человеку, каковым Николай Иванович и был в доме Ахматовой и Пунина. Нашел он Леву, разумеется, не по письму, брошенному из окна вагона наугад. Письма бросают только осужденные, которых везут по этапу в лагерь. Лева же имел возможность позвонить на московском вокзале по телефону-автомату. Ему удалось разыскать В. Б. Шкловского и В. Е. Ардова. Они тотчас приехали к поезду. Лева просил Шкловского известить о его приезде Харджиева.

⁹⁰ Томашевская З. Б. Я — как петербургская тумба // Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма / Сост. М. Кралин. Л.: Лениздат, 1990. С. 431.

Николай Иванович получил записку от Шкловского в писательской столовой и немедленно поехал на Киевский вокзал. К нему присоединилась обедавшая с ним за одним столом Зоина мать — друг Ахматовой. Харджиев вспоминает:

«Это было зимой 1944 года. С большим трудом нам удалось добраться до пятого пути. Выход на пятый путь охраняли часовые. Я объяснил им, что нас привело в запретную зону, и они участливо разрешили нам пройти вдоль глухих безоконных вагонов. Часовой выкрикивал: “Гумилев” — и у каждого вагона отвечали: “Такого нет”. И наконец из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Л. Гумилева. Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум. Слушая этого одержимого наукой человека, я почувствовал уверенность в том, что он вернется с войны живым и невредимым».⁹¹

В этом последнем утверждении ранние впечатления Харджиева сдвинулись с поздними. И он и Томашевская, напротив, вынесли самое мрачное впечатление от встречи севой. Им казалось, что он едет в поезде для штрафных, и ожидали для него всего самого худшего.

У Харджиева было при себе шестьдесят рублей, тотчас врученные им Леве. А Ирина Николаевна быстро сориентировалась в обстановке. Она отошла куда-то за угол и продала первой встречной хлебные карточки всей семьи Томашевских на целую декаду, успела отдать деньги Леве, поцеловала и благословила его.

С этого дня в моей душе поселилась тревога. Я решила повидаться со всеми, кто видел Леву в тот день. Мой приход к Томашевским на Гоголевский бульвар показался им чрезвычайно эксцентричным. Напротив, Ардов, которого я встретила в метро, самым будничным тоном обманывал меня, говоря, что Лева едет в Иран, где будет переводчиком. Еще более удивил меня тон Ирины Николаевны. Она повторяла: «Поприщун... Поприщун...» На мысль о гоголевском сумасшедшем ее навел Левин рассказ о сделанном им открытии. По своему значению он приравнивал его к теории Маркса. По-видимому, он спешил рассказать о своей пассионарной теории, впоследствии так обстоятельно им развитой. Но о чем совсем неодобрительно отозвалась Ирина Николаевна, так это об одном ироническом выражении Левы. «Подальше от богоносца», — заметил он, уводя Томашевскую и Харджиева в тихое место на платформе. Ирина Николаевна была шокирована. Она вздумала учить Гумилева любви к русскому народу?! Прошло два месяца. У меня сидел Харджиев. В это время почтальон принес письмо — с фронта.

На треугольнике дата — 5 февраля 1945 года (обратный адрес п/п 32547-6). Лева писал:

«Дорогая Эмма. Вы вряд ли сможете себе представить, как мне было обидно уезжать из Москвы, не повидавшись с Вами.

Посредственным утешением может быть только надежда, что война скоро кончится и я знакомой дорогой приду веселый и живой.

⁹¹ А. А. Ахматова в письмах к Харджиеву (1930 — 1960-е гг.) / Вступит. статья, публ. и коммент. Э. Бабаева // Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 242.

Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет, пищи — подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижения в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное — это разнообразие впечатлений. Мама мне не пишет, это грустно. Напишите, я буду рад получить письмо от Вас. Целую Ваши руки. Л. Гумилев».

Я, конечно, сейчас же написала, но ответ от Левы был помечен уже апрелем. Дни благополучия всегда были короткими в его жизни. В армии с ним произошли очередные неприятности, какие именно — я так никогда и не узнала. Но намек в апрельском письме ясен:

«12 апреля 1945

Дорогая, милая Эмма, я получил Ваше письмо только сегодня. Причина та, что я после многих приключений переменил адрес, но ребята пересылают мне письма. Ваше письмо вывело меня на несколько часов из мизантропии. Я отвык от хорошего отношения, не ждал его и был взволнован и расстроен. Однако пишите. Мой адрес: полевая почта 28807-г.

Воюю я пока удачно: наступал, брал города, пил спирт, ел кур и уток, особенно мне нравилось варенье; немцы, пытаясь задержать меня, несколько раз стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне понравилось, в тылу гораздо скучнее.

Мама мне не пишет. Я догадываюсь, что снова стал жертвой психологических комбинаций. Я не удивляюсь этому, ибо “спасение утопающих есть дело рук самих утопающих”.

Я понял это своевременно. Николаю Ивановичу я не писал, потому что потерял его адрес. Прошу Вас передать ему привет.

Помимо этого у меня к Вам просьба. В. Б. Шкловский посетил меня в поезде и предложил прислать ему рукопись моей трагедии, на предмет напечатания. Я послал, но адрес также утерял. Очень Вас прошу узнать у него о судьбе моей рукописи и написать мне. Вам я посылаю свои стихи, отчасти рисующие мое настроение и обстановку вокруг меня.

Простите за нескладность письма, колбасники мешают сосредоточиться.

Целую Ваши ручки. Л».

Война скоро кончилась. Лева, как известно, вернулся домой невредимым. Оставшиеся до демобилизации четыре месяца он провел в Германии, под Берлином. Мы переписывались. Его стихи я раскритиковала, о чем и сейчас жалею. Он, конечно, не поэт, но в те волнующие дни победы и перспективы свободы для Левы не следовало об этом говорить. В. Б. Шкловский тоже не то разочарованно, не то огорченно отозвался о Левиной трагедии (она, кажется, была написана стихами) и не стал устраивать ее в печать.

Нельзя пройти мимо обиды Левы на мать, простиупающей так настойчиво в приведенных письмах. Чем объясняется отсутствие писем от Ахматовой в этот период, я точно не знаю. Вернее всего, это результат недоразумения, шуток почты или цензуры.

А может быть, и преувеличенной настороженности Левы. Письма начали приходить после победы. Позволю себе высказать такое предположение. Молчание Анны Андреевны было как бы заклинанием, пока шли бои за Берлин. Ей казалось, что в каждом написанном ею слове заключены суеверные приметы.

Когда опасность миновала, открытки матери посыпались на Леву. Еще из Берлина он мне писал: «От мамы я получил открытку предельно лаконичную. Я сержусь на нее настолько, насколько можно сердиться на мать, и помирюсь, вероятно, не раньше чем через полчаса после встречи» (21 июня 1945).

«От мамы я получил 3 открытки столь лаконичные, что рассердился еще больше. Ну, увидимся — помиримся» (12 июля 1945). «На маму больше не сержусь и надоедать вам не буду» (14 сентября 1945). Лаконизм писем Анны Андреевны раздражал Леву и впоследствии, когда в 50-х годах он опять сидел в лагере.

Вообще говоря, Анна Андреевна перестала переписываться с родными и друзьями, вероятно, после расстрела Гумилева, когда в 1925 году она была негласно объявлена опальным поэтом. Это длилось многие годы с перерывом только на время войны. Постоянный надзор грубо давал себя чувствовать.

Особенно травмировала Ахматову перлюстрация ее переписки.

Это ее угнетало до такой степени, что она начала писать письма почти телеграфным слогом. К тому же кто-то ее надоумил, что лагерные цензоры быстрее читают открытки, чем запечатанные письма. Поэтому она писала Леве на двух-трех, а то и четырех открытках подряд. Это оскорбляло и раздражало его. Тем более что Анна Андреевна писала, по его мнению, сухо, а она не могла выражать свои чувства, помня о чужих и враждебных глазах. Но тут я забежала вперед, в другую уже эпоху. Возвращаясь к сорок пятому году, повторю, что с наступлением победы на Леву посыпались открытки матери.

После многих перипетий он вернулся в Ленинград, где его ждала на Фонтанке отдельная комната рядом с материнской.

Любовь и согласие между ними, изредка нарушаемые неизбежными бытовыми стычками, длились до его последнего ареста в 1949 году. Новая семилетняя разлука породила множество недоразумений между ними. К несчастью, они завершились полной ссорой, омрачившей последние пять лет жизни Ахматовой.

Пока что мы находимся в середине этого пути. Но прежде чем двинуться вперед, ко многим годам моего общения с Ахматовой, нам придется вернуться назад, к той эпохе, которая уже описывалась мною в прежних публикациях. Ведь даже самые талантливые «шестидесятники», при всех своих заслугах и достоинствах, не могут представить себе повседневную жизнь людей 30-х годов. У них все сливается в один мутный поток «советского образа жизни», как будто все семьдесят лет он был одинаков.

С левой мои отношения на протяжении этих долгих лет, разумеется, менялись. Бывали длительные периоды полного отчуждения, даже вражды, но как бы итогом их я воспринимаю дарственную надпись на его прославленной книге «Этногенез и биосфера Земли»: «Милой Эмме на память от Левы. 2/II 1991. Л. Гумилев». На фоне его последних интервью по телевидению и в журналах эти простые, человеческие слова звучат для меня как просветление в затемненном сознании. Они говорят мне не о тех 50-х годах, когда в память прошлого я спасала Льва от заброшенности в долголетнем лагере, а о тех же 30-х, о которых, повторяю, так мало знают новые поколения. И с первозданной яркостью вспыхивают в моей памяти интонации и жесты некогда любимых мною людей.

«Вы будете говорить, а мы будем слушать и понимать, слушать и понимать...» (из приветствия Мандельштама Ахматовой, приехавшей в Москву погостить в Нащокинском).

«Где мой дорогой мальчик?» (Мандельштам, не застав дома Левы, тоже гостившего в Нащокинском).

«Лева, не горбись... Никогда больше так не говори...» (Ахматова).

Когда расстреляли Гумилева, Леве было девять лет, школьники немедленно постановили не выдавать ему учебники — тогда они выдавались в самой школе, где самоуправление процветало даже в младших классах (из устных рассказов Ахматовой).

«К таким людям особый подход» (мое профсоюзное начальство о Леве, за которого я хлопочу по просьбе Мандельштамов). И все-таки отказали.

«Он у нас» (телефонный звонок из ГПУ к Ахматовой в 1933 году, когда Лева попал в облаву в доме ученого-востоковеда Эбермана. Рассказала Ахматова).

«Вы — саддукеи» (Лева, полемизируя с Надей, которая утверждает, что мы — бессознательные марксисты, и хвалит ЛЕФ).

«Мамочка, когда ты умрешь, я тебя не так буду хоронить» (Лева, выслушав рассказ о похоронах Эд. Багрицкого). «Йок...» (Лева с наслаждением произносит тюркские словечки, беседуя с Кузиным и Леоновым — биологами, связанными в своей работе со Средней Азией.) «Во всем Советском Союзе только два человека понимают Хлебникова — Николай Иванович и Лева» (Ахматова).

«Марию Лев преследовал в пустыне... был Иосиф долготерпелив...» (из «Сонета» Мандельштама о Марии Петровых, за которой оба ухаживали).

«Как это интересно! У меня было такое с Колей» (Мандельштам вспоминает свое любовное соперничество с Гумилевым из-за Ольги Николаевны Гильдебрандт-Арбениной. См. его стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать...» и гумилевскую «Ольгу»: «Эльга, Эльга! — звучало над холмами»).

«Что ж она — сирена?» (Ахматова о Марии Петровых).

«И ха-ха-ха, и хи-хи-хи...» (общая атмосфера в доме).

«Моей же девы красит стан аршин трико иль шевиота» (Мандельштам поправляет и дополняет акростих Левы, обращенный ко мне).

«Лева, как вы дорого мне стоите» (он просит у меня три копейки, не хватающих на кружку пива).

«Это — вам» (продавец подает Леве полную кружку вне очереди, что-то поняв в сочетании веселого, умного взгляда с нищенской одеждой).

«Счастливым смех...» (Ахматова горловым сдавленным голосом, услышав, как я болтаю с Левой в соседней комнате).

«Наденка, как хорошо, что она уехала. Слишком много электричества в одном доме» (Мандельштам после отъезда Ахматовой из Москвы).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как-то возвращаясь от Мандельштамов, я ждала 18-го трамвая у Кропоткинских ворот, а Леву Надя послала за керосином. Он стоял рядом со мной на трамвайной остановке с бидоном в руках и говорил что-то на философские темы — просто, искренне и заинтересованно. Это напомнило мне тех «мальчиков», о которых писал О. Мандельштам в «Шуме времени» в главе «Тенишевское училище»: «Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадах, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых». В то время в Москве почти не было одухотворенных юношей. Мы встречали только маленьких бюрократов и бдительных комсомольцев, в лучшем случае — честных, симпатичных, но безнадежно ограниченных юношей и девушек. Я поверила в ум и духовность Левы независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не талантов папы и мамы.

С этого дня Лева стал приходить ко мне в гости. Это поразило Мандельштамов и насторожило Анну Андреевну.

Он пришел ко мне в мартовский субботний вечер. В руке небрежно держал за уголок какое-то письмо и протянул его мне, как трамвайный билет контролеру. Это оказалась повестка ГПУ, которую в панике переслала ему, вероятно с оказией, Анна Андреевна из Ленинграда. Гумилева приглашали явиться.

— Проводите меня, пожалуйста, на вокзал. Меня никто никогда в жизни не встречал и не провожал, — попросил он.

Уверяя, что утром был на Лубянке, показал повестку и потребовал, чтобы его отправили в Ленинград: ему не на что купить билет. Его прогнали. Я не усомнилась в правдивости его рассказа, потому что не раз наблюдала на улицах и в трамвае его вызывающее поведение.

Левина новость привела меня в смятение. Уже давно я была потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места. Так же, как пушкинская красавица, спрашивавшая у зеркала: «Я ль на свете всех милее...» — а зеркальце неизменно отвечало: «Ты прекрасна, спору нет, но...» — так и я, спрашивая себя, «я ль на свете всех несчастней», говорила себе «но...» и вспоминала о благородстве, с каким Лева нес убожество своей жизни заживо погребенного... Он ушел от меня только утром. А в сердце у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него как сокровенный вздох словах: «мой папа...»

Вечером я зашла за Левой к Мандельштамам, чтобы ехать с ним на вокзал, как обещала. Они были в бешенстве. Надя успела мне шепнуть что-то вульгарное до отворачивания. Мы ушли, сопровождаемые косыми взглядами Осипа Эмильевича.

Трамваем ехали до грязного, многолюдного вокзала. Лева говорил о своем состоянии обновления: «Я чувствую, как отталкиваюсь от земли ногами». Я спросила, простился ли он с Марусей Петровых, он не понимал, зачем это нужно. Я настояла, чтобы он позвонил ей с вокзала. В телефонной будке он стоял лицом к аппарату, а я смотрела на его тонкую шею, выглядывавшую из-за мехового воротника, на склоненную голову в фуражке, я любила его.

Дешевый бесплaцкaртный поезд стоял на каких-то дальних путях. Мы нежно прощались на платформе. А из заколоченного на три четверти окна почтового вагона кто-то чужой внимательно смотрел на нас сверху. Черный, жесткий, цепкий глаз.

Никаких известий из Ленинграда не было довольно долго. Не зная, что там происходит, я написала Лева на Фонтанку, а в это время Мандельштамы созвонились по телефону с Анной Андреевной и узнали, что Лева благополучен и поехал в Бежецк навестить бабушку. Надя, зная, что я ему написала, стала рисовать картину, как мое письмо валяется на Фонтанке и что говорит при этом Пунин и что Анна Андреевна.

Только недели через три соседка принесла мне открытку, якобы провалявшуюся в конторе больницы все это время. Лева писал:

«...погода плохая, водка не пьяная... Если пожелаете, я могу скоро вернуться... мой приятель уехал в командировку в Сибирь на пять лет». Потом оказалось, что Лева вызывали в ГПУ лишь для того, чтобы вернуть ему документы. А друг, попавший вместе с ним в облаву, был осужден на пять лет.

Стоял апрель. Шел снег с дождем. На дворе была непролазная грязь. Я была больна ангиной, руки были завязаны (нервная экзема). Несколько лет спустя мой маленький племянник неожиданно вспомнил: «А где тот человек, который все перевязывал тебе руки?» Этот человек был к тому времени уже вне досягаемости. Трудно было себе представить, что он где-то живет. И как живет? Теперь он живет в Норильске, он — зэк. Это — Лева. Но пока еще у нас апрель 1934 года. Он явился в Москву без предупреждения и как-то некстати. С собой он привез стихотворение, написанное в поезде после отъезда из Москвы. Я помню его так:

Дар слов, неведомый уму,
Мне был обещан от природы.
Он мой. Веленью моему
Покорно все. Земля, и воды,
И легкий воздух, и огонь
В одном моем сокрыты слове.
Но слово мечется, как конь,
Как конь вдоль берега морского,
Когда он бешеный скакал,
Влача останки Ипполита
И помня чудища оскал
И блеск чешуй, как блеск нефрита.
Сей грозный лик его томит,
И ржанья гул подобен вою,
А я влачусь, как Ипполит
С окровавленной головою,

И вижу: тайна бытия
Смертельна для чела земного,
И слово мчится вдоль нея,
Как конь вдоль берега морского.

Мандельштамы были недовольны приездом Левы. Вообще в первые дни после отъезда Анны Андреевны и у Нади, и у Осипа Эмильевича прорывалось какое-то раздражение против нее. Надя с оттенком недоброжелательности указывала, что Ахматовой легко сохранять величественную индифферентность, так как она живет за спиной Пунина. Как бы запутанно ни было ее семейное положение, говорила Надя, но жизнь ее в его доме хоть и скудно, но обеспечивала ее, в то время как Мандельштаму приходилось вести ежедневную борьбу за существование.

Зашел у меня разговор с Осипом Эмильевичем о книгах Ахматовой, и в его одобри-тельных словах мелькает замечание о ее манерности, впрочем, заметил он, «тогда все так писали». Сквозь обычное его бормотанье проступает слово «аутоэротизм». В другой раз Надя резко осуждает безвкусные, по ее мнению, завершения в некоторых стихах Ахматовой: «Как можно так писать? “Даже тот, кто ласкал и забыл...” или “Улыбнулся спокойно и жутко”...» Что ж, взятые вне контекста, эти строки и вправду звучат пошлово.

Осип Эмильевич сочинил на меня и Леву злую эпиграмму, которую мне сам Лева и прочел. В этой эпиграмме говорилось о герое кузминской повести, восемнадцатилетнем красавце, которого любили все женщины и особенно мужчины.

Очаровательный авантюрист этим очень хорошо пользовался.

Эпиграмма Мандельштама начиналась словами «Эме Лебеф любил старух...», далее следовало нечто вроде «но любили ли старухи его...», а дальше я совсем не помню. Я со своей стороны открыла Лева, что Надя называет его дегенератом. Этот обмен любезно-стями не помешал нам мирно и дружно закончить вечер, поругивая Мандельштамов.

Я и виду не показывала Осипу Эмильевичу, что знаю эту злую эпиграмму. Но он сам сделал мне аналогичное подношение в виде вырезки из журнала «Огонек». Там был напечатан очерк о львенке Кинули, которого приручила известная укротительница зверей В. В. Чаплина. Осип Эмильевич подчеркнул в очерке несколько фраз так, что проступил новый сюжет рассказа. Первую страницу я потеряла, но вторая сохранилась, и этого достаточно, чтобы понять смысл мандельштамовской выходки:

...схватив его за шиворот, тащит к себе в комнату...

...львенок стал ко мне ласкаться...

...бывший ненавистник самоотверженно проводил ночи...

...производя эксперимент...

...взяла я львенка не просто для развлечения. Мне хотелось проверить свой двенадцатилетний опыт...

...оказалось, что лаской можно сделать многое...

...буду продолжать работу...

Между тем отношения с Левой, бывшие прекрасными в момент опасности (к счастью, миновавшей), превратились теперь постепенно в пошлую связь, что было мне не по душе.

Расставанье прошло как бы по ритуалу стихотворения Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью...» с его нарочито равнодушными заключительными строками.

Несмотря на разрыв, я должна была еще раз вызвать к себе Леву: у него оставались рукописи из литературной консультации Госиздата. Я получила их на отзыв для заработка. Этой работой я поделилась с Левой. Он пришел, но объявил, что рукописи доморощенных поэтов у него украли в пивной из кармана. Зато он принес мне собственное новое стихотворение, явно рассчитанное на успех. Но оно не могло возместить утраты, сулившей мне большие неприятности в Госиздате. Я отозвалась о его стихотворении холодно. Он ушел, кусая губы.

Через несколько дней Надя упомянула в разговоре, что Ося весьма одобрил второй стих этого стихотворения:

Ой, как горек кубок горя,
Не люби меня, жена...

Не успела я вымолвить, что это «мое» стихотворение, как Надя резко меня оборвала: «Глупости! Все — только Марусе!» Она ревниво оберегала жалеющую и нежасьую ее любовную игру четырех: Надя — Осип — Лева — Маруся.

Разговор наш происходил буквально за несколько дней до ареста Осипа Эмильевича. Но мы были как никогда далеки от мысли о почти неминуемом событии, на сто восемьдесят градусов перевернувшем жизнь Мандельштамов.

Между тем это же Левино стихотворение, по-видимому, вспоминала Ахматова, но в более позднюю эпоху, когда и Осипа Эмильевича уже не было в живых, и Лева только что был отправлен за Полярный круг в лагерь. Об этом свидетельствует запись в дневнике Лидии Корнеевны Чуковской 17 января 1940 года. Излагая содержание своей беседы с Анной Андреевной, цитируя ее слова, она завершает свою запись словосочетанием, оторванным от предыдущего текста: «Кубок горя».

Обычно такие мнемонические заметки служили в «Записках...» Л. Чуковской сигналом, как бы фигурой умолчания, подразумевающей разговор об арестах, ссылках и казнях. Впоследствии такие места не всегда удавалось расшифровать и самой Лидии Корнеевне. Подготавливая в 70-х годах свою книгу к печати, она прокомментировала эту запись так: «Название, придуманное Ахматовой для какого-то из ее стихотворных циклов. Для какого — не помню»⁹². Надо сказать, что стилистически такое заглавие не очень подходит к поэзии Ахматовой: оно слишком вычурно. Если для этого образа не существует какой-нибудь обций литературный источник, можно быть уверенным, что Анна Андреевна вспоминала «кубок горя» Левы.

⁹² Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1976. Т. 1. С. 62. Ср. Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. М.: Книга, 1989. С. 55.

ГЛАВА ВТОРАЯ

После ареста Осипа Эмильевича, когда мы еще гадали о его причине, я да и Надя по инерции иногда возвращались к нашим суетным интересам. Надя то неприязненно присматривалась к Марусе Петровых, то мимоходом упомянула о Леве, который, уезжая, оставил у Ардовых чужую книгу, но ни за что не хотел сказать, кому она принадлежит. Нина передала ее Наде. А это была моя книга — роман Эренбурга «Москва слезам не верит».

Я продолжала работать в ЦК профсоюза работников просвещения, занимая там скромное место секретаря бюро секции научных работников. По вечерам приходила в Нащокинский. Анна Андреевна оставалась там вплоть до отъезда Мандельштамов в Чердынь. После этого я стала собираться в отпуск. ЦК нашего профсоюза выдал мне бесплатную путевку в Петергоф.

Срок ее действия начинался 30 июня (1934). Но я приехала в Ленинград за несколько дней до того. Иными словами, это происходило непосредственно после проводов Мандельштамов в Воронеж... В первые же часы приезда я была взволнована. А самое главное, я стремилась увидеть Анну Андреевну, чтобы рассказать ей про Мандельштамов, об их возвращении в Москву из Чердыни и переезде в Воронеж. А с нею ли теперь Лева? Анне Андреевне я позвонила сразу. «Приезжайте сейчас», — ответила она. А я ухитрилась заблудиться на Невском (точнее, на проспекте 25-го Октября). Почему-то попала на Староневский, спохватилась не скоро, повернув обратно, шла по левой стороне Невского и каким-то образом пропустила Фонтанку. Как замороженная я шла вместе с потоком прохожих по широкому тротуару, влекомая ровной линией домов все вперед и вперед, к мерцающей в дымке жаркого дня Адмиралтейской игле. А в это время Анна Андреевна ждала и ждала меня. Ей не терпелось узнать подробности о Мандельштамах.

Усталая и взволнованная, добралась я наконец до Фонтанки и до дома № 34, где удивленно остановилась перед решеткой Шереметевского дворца — ведь в Москве никто ни разу не упомянул об этой красоте. Обшарпанный флигель во дворе я нашла уже быстро, поднялась по запущенной лестнице, нашла квартиру № 44, не помню, кто меня впустил. На вешалке мелькнул знакомый мужской плащ с темной полосой на сгибе воротника и вылинявшая фуражка. Я открыла дверь в большую столовую с затененными окнами. По комнате заметался Лева, держа обеими руками электрическую кастрюлю с кипятком.

«Я знал, что это Эмма, я знал... как только в саду залаял Бобик», — лепетал он. Он растерянно кружился в своей застиранной ковбойке, от смущения и радости у него сделалось совсем детское лицо. По внимательному и пронизательному взгляду Анны Андреевны я видела, что и на моем лице было написано счастье. «Лева, поставь кастрюлю на стол», — сказала она.

Мы сели с Анной Андреевной на маленький диванчик, стоявший в углу, и я рассказала ей об Осипе Эмильевиче, каким он вернулся из Чердыни и как уезжал в Воронеж. Лева слушал, сидя поодаль с учебником в руках. Оказывается, за этот месяц в его жизни

наметилась перемена. Появился шанс поступить в университет. До тех пор этот путь был для него наглухо закрыт. Но теперь ввиду перемены политики (к классовому чутью пролетариата надлежало прибавить еще более сильный импульс — патриотическое чувство) понадобилась русская история — предмет, замененный в 1917 году в нашей стране историей движения хлебных цен на мировом рынке. И тогда Киров выступил на каком-то съезде, говоря о безобразном преподавании истории в школе. Очевидно, на этой волне у Левы приняли заявление, он был допущен к приемным экзаменам на исторический факультет. Я простилась с Анной Андреевной, и Лева молча встал и пошел меня провожать. Анна Андреевна тоже молчала.

Остановилась я на Васильевском острове, в квартире брата Осипа Эмильевича — Евгения. Семья его была на даче, он вечером тоже уехал туда, в доме оставалась старенькая домработница. На следующее утро Евгений Эмильевич, зайдя домой перед работой, слышал, как я звоню на Фонтанку. «Вы говорили с сыном Анны Андреевны? — заметил он. — Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства... Вообще... я бы не хотел... из моей квартиры...» Я переехала к моим друзьям детства, которые жили тогда на Фонтанке, рядом с Аничковым дворцом. Как только глава этой семьи узнал, что я была у Ахматовой, он отозвался ходячей газетной фразой: «А, эта старая ведьма, которая ничего не забыла и ничему не научилась?» (Кстати говоря, вспоминаю, что при следующем моем приезде в Ленинград — это было уже в 1937 году — я жила у моих родственников-врачей, там произошел подобный же разговор: «Ты бываешь в Шереметевском дворце? Там живут одни черносотенцы. Мы знаем — у нас там есть кое-какие знакомые. А ты у кого бываешь? У Ахматовой? О, избегай ее сына...»)

В ту пору ленинградцы — питерские рабочие, по всеобщему мнению, отличались от пролетариата других городов. Было принято отмечать их вежливость, обычай носить костюмы, белые воротнички и даже шляпы, словом, их характеризовали как европейский рабочий класс, а Ленинград считался самым европейским городом в России. Когда я была в Ленинграде в первый раз в 1927 году, я была ошеломлена величием этого города с его дворцами, памятниками, даже вид большого завода на Охте, который мне показывали с моста, — все наводило на мысль о необычайной силе Октябрьской революции, свалившей такую могучую цитадель царизма. Теперь я уже пригляделась к дворцам, но воспринимала ленинградский люд по Достоевскому. Эти худошавые мужчины с землистым цветом лица и острыми глазами, сбегаящие по ступенькам в пивную, казались мне или студентами-революционерами, или все сплошь Раскольниковыми. Они и вправду были совсем другими, нежели москвичи. Но в центре, на Фонтанке и Невском, я этого уже не ощущала так ясно. А в Петергофе я прикоснулась к ленинградской жизни еще и с другой стороны.

Дом отдыха для учителей помещался в Английском дворце. Это было обыкновенное жилое здание с высокими потолками и просторными комнатами. Я попала в четырехместную. Две «койки» занимали подруги, мало отношения имевшие к педагогике. Одна, лет тридцати, любила повторять: «Вот я некрасивая, не знаю, за что меня любят мужчины?» Другая, помоложе, внимала ей, учась умело устраивать жизнь. Они говорили о

свиданьях в Таврическом саду, о поездках на Острова, на Стрелку. Спутниками их были директора магазинов или ответственные работники из числа хозяйственников. Приятельницы сравнивали, кто из них был щедрее, хвалились подарками.

Третьей в нашей комнате — немолодая учительница. Когда наших веселых соседок не было, она говорила о политике. Особенно ее огорчало, что мы отдаем маньчжурам КВЖД. «А русский Иван за все отдувается», — приговаривала она. Сидели мы с ней на террасе в плетеных креслах. По аллее прошла колонна пионеров. «Какие они бледные, худые, — заметила моя собеседница. — Если бы вы знали, сколько они болеют, бедные дети...»

Я в это время читала газету. Сенсация: Гитлер убил Рема. Фашизм захватывает власть в Германии. Между тем учительница рассказывает о знакомом профессоре. Его арестовали, на допросах в НКВД «ставили носом в угол, как провинившегося мальчишку».

Она описывала самодеятельные спектакли в Доме ученых, по-обывательски выделяя среди актеров-любителей жену профессора или сына академика. Ей это импонировало, а мне становилось скучно. Вспоминались дореволюционные провинциальные любительские спектакли — я успела послушать о кипящих там страстях и интригах от старших сестер. Да разве можно было забыть чеховские рассказы, где так часто описания подобных эпизодов вплетаются в фабулу рассказа и в психологические портреты действующих лиц. Неужели еще продолжается это мещанство? Оно не продолжалось, а только начиналось. Я вспоминала, как еще совсем недавно (в 1929 году) Мандельштам говорил о нашем будущем: «Это будет такое мещанство!.. Мир еще не видел такого...»

Лева приезжал ко мне в Петергоф. Мои бойкие соседки окрестили его малахольным. Ненадежный он был поклонник, по их мнению. Мы гуляли по саду, и он читал свои стихи, насыщенные ахматовскими словами «беда» и другими, не помню сейчас какими. Голос его модулировал. Мы уходили гулять и отдыхали на траве под забором санатория ученых (КСУ), куда нам входа не было. Там как раз отдыхал профессор Н. К. Пиксанов, которого я терпеть не могла. Когда я была студенткой МГУ, я занималась у него в семинаре по Карамзину. У меня осталось к нему неприязненное чувство, потому что он кисло отнесся к моей работе. Я считала его педантом. Может быть, я тогда и не была права, но вот когда он громил Бахтина на защите его диссертации о Рабле, тут уж консерватизм педанта Пиксанова не вызывал сомнений. Дело происходило уже в 1947 году, то есть непосредственно после постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой, на долгие годы наложившего печать мракобесия на всю нашу культуру. Тарле в своем письменном отзыве писал о мировом значении книги Бахтина о Рабле, Дживелегов назвал эрудицию Бахтина сокрушительной и беспощадной, один молодой аспирант, ломая руки от смущения, говорил, что работы Бахтина несут свет, а Пиксанов, густо ссылаясь на Чернышевского, негодовал: Бахтин, мол, загоняет гения эпохи Возрождения назад в средневековье! А Бахтин так разошелся, что, опираясь на костыли, ловко прыгал на своей единственной ноге и кричал оппонентам: «Всех пора на смену!» Дживелегов, пытаясь разрядить атмосферу, объявил: «Еще одна такая диссертация — и у меня будет инсульт». Все это я как бы уже предчувствовала в тот день в Петергофе. В саду академического санатория важно прогуливался по дорожкам напыщенный Пиксанов, а под забором смиренно грелся на травке

сын знаменитых русских поэтов, будущий видный ученый Лев Гумилев. Зрелище имело свою историческую выразительность.

Вернувшись из Петергофа в город и придя на Фонтанку, Анну Андреевну я застала не совсем здоровой. Она лежала на диване в истоме, ладони ее были влажны. Я впервые заметила изогнутость линий ее рук, локтей и плеч. Несмотря на жару, казалось, что от всего ее существа веет прохладой и тайной. Возможно, такое определение покажется кому-нибудь вычурным, но я не подберу другого. Вероятно, это ощущение усиливалось от растущих за окнами деревьев. Тени ветвей причудливо двигались по потолку и стенам, завешанным рисунками Бориса Григорьева. Мы перешли в столовую. Анна Андреевна сказала: «Николай Николаевич уехал с Ирочкой и Анной Евгеньевной в Сочи. Он оставил нам паек, но у нас нет денег, чтобы выкупить его».

Они оба ослабели от голода, даже курево не на что было купить. Потом они, видимо, заняли у кого-то из знакомых немного денег. Тем не менее Лева сдал последний экзамен на тройку, потому что у него от голода кружилась голова. Тогда я вплотную столкнулась с особенностями домашней жизни Ахматовой. Николай Николаевич Пунин жил на две семьи. Несмотря на совместную жизнь с Анной Андреевной, он не оставлял заботы о первой жене (Анне Евгеньевне, урожденной Аренс) и дочке Ире. Все жили в одной квартире на общем хозяйстве.

До отъезда в Москву я еще несколько раз виделась и с Анной Андреевной и с Левой. Однажды я зашла в аптеку на углу Невского и Фонтанки, смотрела из окна на противоположную сторону Невского и неожиданно увидела среди двух встречных потоков прохожих одинокую фигуру. Это — Анна Андреевна, она так спокойно шла в Публичную библиотеку. Без шляпы, в белом полотняном платье с украинской вышивкой, которое ей привез из Киева Николай Николаевич. Она идет своей странной неуверенной походкой, как бы отгороженная чем-то надежным от торопливо проходящих мимо чужих людей. Я почувствовала, что люблю ее. Это так легко определить, когда неожиданно видишь родного тебе человека на улице, в толпе. Он кажется таким незащищенным... затолкают, передут... неужели они не видят, что с ним надо бережно обходиться?

Понимая, что с отъездом Мандельштамов из Москвы моя жизнь как-то переменится, Анна Андреевна спросила меня, что я намерена делать дальше. Услышав, что я непременно хочу заняться историко-литературной работой, и узнав, что я еще не наметила себе определенной темы, она предложила мне начать изучать жизнь и творчество Гумилева. При этом Анна Андреевна назвала две фамилии — Лукницкий и Горнунг, которые я должна была запомнить. Эти два человека, по ее словам, давно уже этим занимаются.⁹³ Анна Андреевна обещала мне передать некоторые библиографические материалы, собранные ею и ее помощниками. Воодушевленная всем слышанным и виденным в Ленинграде, я вернулась в Москву.

Отпуск мой еще не кончился, в моем распоряжении было несколько свободных дней. Мы пошли с Евгением Яковлевичем в парк культуры и отдыха. Мне хотелось пойти в Зеленый театр, но у него не было денег на входные билеты. У него никогда не было денег.

⁹³ Только теперь, через полвека, мы видим в печати плоды трудов П. Н. Лукницкого и Л. В. Горнунга.

Мы зашли в зал, где проигрывались пластинки. Зал был набит. Одни слушатели кричали, чтобы ставили Карузо, другие требовали Шаляпина. Незнакомые между собой люди спорили о достоинствах голосов и исполнения двух этих великих певцов. Я впервые видела болельщиков. Были, конечно, такие же любители футбола. Они даже в быту делились на «спартаковцев» и «динамовцев». Но эти страсти были вне поля моего зрения. В любителях пенья я узнавала особый контингент москвичей. Это были историки, бросившие преподавание в школах, чтобы стать или бухгалтерами, или стенографистками, инженеры, сменившие суматошную службу на спокойную деятельность чертежника-конструктора, все те, кто искал выгодную и непыльную работу, свободную от давления идеологии. Они были страстными слушателями радио (оно еще было внове), у многих появились патефоны, женщины увлекались до безумия пением Козловского и Лемешева. Лет десять-пятнадцать спустя у меня стало возникать ощущение, что их всех убили, кого на войне, кого в тюрьмах и лагерях. Этот тип советских людей надолго исчез.

Наслушавшись пенья, мы с Евгением Яковлевичем пошли в танцевальный зал. Один рабочий паренек, небольшого роста, ладно скроенный, с таким изяществом и каменным лицом (тогда так требовалось) танцевал на русский лад фокстрот с девушками, что мы залюбовались им. «Принц крови», — решили мы. (У меня был дядюшка-врач, работавший на Тульском патронном заводе. Он тоже говорил, что среди молодых рабочих попадают люди, отмеченные особой породистостью.)

На следующий день я явилась в свое бюро СНР. Меня будто только и ждали, чтобы уволить. Мне пришлось предстать перед самим Литвин-Седым — членом президиума ВЦСПС. Я попросила два дня для сдачи дел, так как очень дорожила своей картотекой и папками. «Не нужно сдавать дела. Уходите сегодня же», — был ответ. Причины увольнения он мне не объяснил.

Я попросила характеристику. Руководитель политечебы, бывший инспектор, как бы сошедший со страниц «Мелкого беса» Сологуба, написал бумажку: работник хороший, но не занималась общественной работой. Как же так? Я была, например, членом экономкомиссии месткома. Что мы там делали, убей меня Бог, не вспомню. Но все-таки я попросила объяснения у инспектора. «У вас высшее образование, с вас требуется больше», — объявил он. Я вспомнила, как ЦК профсоюзов поручил мне под Новый год ходить по квартирам школьных учителей и проверять, нет ли у них елки. Я решительно отказалась от такого дикого поручения. Не за это ли меня окрестили плохой общественницей? Выданная мне характеристика имела определенный политический подтекст, но какой категории? Этого я не знала. Я обратилась к своему непосредственному начальнику. Он откликнулся: «Мне всегда на вас указывали, но я ссылался на то, что вы хороший работник». Только теперь, в 90-х годах («Известия», 1992, № 121), выяснилось, что, называя меня среди слушателей своего «крамольного» стихотворения о Сталине, Осип Эмильевич очень точно определил место моей работы: «Секция научных работников ВЦСПС». Что же удивительного, что президиум ВЦСПС меня немедленно уволил?

И опять я стала безработной. Числюсь иждивенкой отца. Хожу в Ленинскую библиотеку читать книги Н. Гумилева. Они выдавались только в хранилище. Заниматься там

было приятно. На первом этаже среди стеллажей с книгами в окно виден старый Каменный мост, еще такой легкий, и Кремль — Потешный дворец и верхи куполов соборов. Решетка палисадника перед Пашковским домом еще выдавалась далеко на теперешнюю мостовую, образуя спокойный полукруг. Шел снег. Это была настоящая Москва. Я ее забыла, езда каждый день на 19-м трамвае через Устьинский мост в ВЦСПС.

Лева прислал мне письмо. В университет его приняли, и вчера он уже был на студенческом субботнике.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Папа — член консультации профессоров при Кремлевской больнице. Он лечил Шверника. Высокопоставленный пациент послал ему приглашение на какой-то торжественный вечер, кажется, в самом ВЦСПС. Папа, свежевыбритый, в новом галстуке, с удовольствием поехал туда на машине Санупра Кремля. Он вернулся неожиданно рано. В столовой, стоя у печки, сказал, потрясенный: «Кирова убили». Об этом сообщили на вечере с трибуны. Папа передавал подробности. Когда он сказал, что Кирову выстрелили в затылок, у меня вырвалось: «Это свои». «Только ты можешь так сказать!» — закричал оскорбленный отец и быстро вышел из столовой, хлопнув дверью.

Приехала из Воронежа Надя и рассказывала, как она встретилась с кем-то из «возвращенцев», живущих в зоне, не менее ста километров отдаленной от Москвы. Эти «столятники» описывали, как они узнали об убийстве Кирова. Ночью стали хлопать все двери, люди бегали из дома в дом, слышались встревоженные голоса. Административно высланные были уже опытными людьми и понимали, что это несчастье коснется и их.

Между тем папа рассказывал новости о похоронах Кирова. Сталин, приехав в Ленинград, так кричал на тамошних заправил, что у них кровь стыла в жилах и они буквально немели и тряслись от страха. И этому можно было поверить, достаточно было заметить прижатые уши Молотова на правдинской фотографии похорон Кирова.

20 января начинались студенческие каникулы. Лева приехал в Москву — мрачный-мрачный. От первоначальной радости по поводу приема в университет не осталось и следа. Я была больна гриппом, несколько дней не могла его пустить к себе. Когда пришел, сказал: «Я уезжаю». Ему нужно было захватить перед возвращением домой в Бежецк к бабушке, у которой он воспитывался до шестнадцати лет. «Ничего не поделаешь — семья», — заключил он. «А что вы делали всю неделю?» — «Лежал у Клычкова на диване и курил».

Клычковы — и Сергей Антонович и Варвара Николаевна — полюбили Леву, еще когда он жил у Мандельштамов. В тот первый год знакомства Лева наивно мне признавался: «Вот я, который в Бежецке гонял по огородам, теперь сижу у известного поэта, он мне читает свои стихи, а я их критикую, покачивая ногой. И он мне рассказывает, как его ругал Гумилев, когда он пришел к нему со своими первыми стихами». В свою очередь Лева читал Сергею Антоновичу свои стихи. Клычков мне потом говорил: «Поэта из Левы не выйдет, но профессором он будет».

В марте начались массовые выселения бывших дворян из Ленинграда. Старушек, не приспособленных к современной жизни, выселяли из насиженных коммунальных берлог и выпроваживали в течение сорока восьми часов куда-нибудь подальше, куда глаза глядят.

Я все еще была безработной. Помогла мне устроиться моя ближайшая подруга, еще со школьной скамьи, — Елена Константиновна Гальперина, жена художника Александра Александровича Осмеркина. Мы с ней вместе учились и в университете (МГУ), но она параллельно увлеченно занималась художественным чтением. В 20-х годах эта отрасль актерского искусства сыграла большую роль в просветительном движении. Литературные вечера — от спектаклей видных мастеров «Театра одного актера» до тематических лекций в рабочих клубах с участием профессиональных актеров-чтецов.

Лена работала в лекционном бюро моно (московского отдела народного образования). По ее рекомендации меня приняли туда на работу, но на административно-организационную. Ведь марксистских лекций о литературе я не могла читать. Я стала помощницей одной очень энергичной и опытной дамы, популярной среди актеров. В функции отдела входило помимо чисто культурных «мероприятий» устройство больших сборных концертов с народными артистами, балетными и вокальными номерами. Начала появляться новая категория исполнителей — лауреаты. Устанавливалась постепенно новая табель о рангах. Подхалимство становилось привычным и почти обязательным. Если моя начальница в домашней обстановке еще позволяла себе посмеиваться над общим рефреном «только товарищ Сталин», то на работе о подобных вольностях не могло быть и речи. «Я им дал Гугу» — произнес один из инструкторов, имея в виду вечер, посвященный Виктору Гюго. Однажды я позволила себе посмеяться над его благоговейным упоминанием ЦК партии. Он отрезал строго и недоуменно: «Мы Цека любим и уважаем». А на какой-то демонстрации, не то майской, не то ноябрьской, другой инструктор, шибко грамотный, обстоятельно и строго объяснял мне, как плох, пуст и безыдеен буржуазный фильм «Под крышами Парижа», который тогда только появился на наших экранах. А я, смотря эту картину, как будто оттаяла душой, так она мне понравилась.

Еще одно заметное изменение. В Москве началась реконструкция города. Знаменитые круглые площади превращались в бесформенные пространства. Сами собой исчезли клумбы в их центре. Естественно, не было больше асфальтовых дорожек, прочеркивавших площадь по диагонали, так что человек не терялся в большом пространстве. Мосты перекидывали через сушу. Такое здание, как бывший Лицей, оказалось где-то внизу, под Крымским мостом.

Партийное начальство меня не любило. «Не понимаю, чего хотят от Эммы наши партийцы», — говорила Лене моя непосредственная начальница.

Но была и здесь у меня отдушина. Это массовики-затейники, которых посылали на гулянья, экскурсии, в дома отдыха и т. п. Среди них были и баянисты, и фокусники, и жонглеры-любители. Их репутация среди артистов, лекторов и администраторов была самой низкой — рвачи. А у меня с ними установились весьма своеобразные деловые отношения. Начали они с того, что стали доносить друг на друга и даже на мою начальни-

цу, уверяя, что она берет взятки, а это было совершенно невероятно. Про одного из лучших массовиков мне было сказано по телефону прямо: «Он — рвач». «Бы тоже, — спокойно ответила я. — Не сплетничайте». Звонивший осекся, пораженный.

Постепенно я завела совсем другой тон, и этот процесс воспитания меня очень увлек. Например, такой эпизод. Я говорю напрямик: «Пришли из клуба ГПУ. Заказали массовку на целый день, где-то далеко. Платят мало. Сами понимаете, ни торговаться, ни отказывать я не могу. Выручайте. Бросайте жребий (я имела в виду трех-четырёх сильнейших), и кто возьмется, тому я дам первый же поступивший к нам выгодный наряд. А на этот смотрите как на бесплатный». И так как я свое слово всегда держала (в такой среде это самое главное), путевки распределяла по очереди, то установился строгий порядок. Было такое ощущение, что под моим началом действует добросовестная рабочая артель. Это и взбесило наше начальство. «Что за отношения?» — подозрительно вопрошали они, и вскоре под благовидным предлогом меня уволили. Я не прослужила в этом моно и года. И опять я стала ходить в Ленинскую библиотеку. Встретила на улице биолога Бориса Сергеевича Кузина. Приятно было увидеть ближайшего друга Осипа Эмильевича, постоянного и желанного посетителя Мандельштамов.⁹⁴ Теперь, когда их дом был опустошен, я с особенным дружеским чувством звала Кузина почаще заходить ко мне. Но он как-то странно отнекивался и почти бежал от меня. Я с удивлением смотрела ему вслеп и заметила, как мучительно напряжены его спина и затылок. Так и запомнилась мне эта фигура, спешащая на фоне Александровского сада под стеной Манежа. Очевидно, за ним следили, и он это знал. Вскоре он был арестован. Больше никогда в жизни я его не видала, хотя мы однажды и обменялись с ним письмами. Это было аж в 1973 году, незадолго до его смерти.

Когда Кузина арестовали, Надя пошла к его ближайшему другу и соратнику в науке, талантливому энтомологу Смирнову. Ее сопровождала приехавшая из Ленинграда Анна Андреевна. Она не особенно была связана с Кузиным, да и он чтил ее гораздо меньше, чем Осипа Эмильевича, но она пошла с Надей, чтобы быть рядом с ней в трудную минуту. Вместо того чтобы дружески обсудить положение Кузина, Смирнов закричал с порога: «Это вы его погубили! Это из-за вас!» — и захлопнул дверь. (Может быть, я передаю не совсем точно, ведь меня не было при этом, но так мне рассказывали Анна Андреевна и Надя.) Кузин тогда был отправлен в лагерь, из которого он вышел на поселение через два-три года благодаря системе зачетов, то есть сокращению срока в зависимости от перевыполнения норм выработки. Надя ездила к нему в Казахстан, где он работал в совхозе, кажется, агрономом. Она привезла его фотографию — в тулупе, с изменившимся до неузнаваемости лицом.

Я не могу выстроить хронологический ряд последующих редких встреч слевой. Вот он сидит у моего секретера и пишет небольшое стихотворение, слишком напоминающее раннего Лермонтова. Помню только заключительную строку «И уж ничто души не весе-

⁹⁴ См. публикацию писем О. Э. Мандельштама Кузину и воспоминаний последнего о поэте в журнале «Вопросы истории, естествознания и техники» (1987. № 3. С. 127—144).

лит». В другой раз переписал очень сильное, несмотря на архаичную лексику, стихотворение и подарил мне, сказав, что и посвящает его мне. Я помню его так:

Земля бедна, но тем богаче память,
Ей не страшны ни версты, ни года.
Мы древними клянемся именами,
А сами днесь от темного стыда
В глаза смотреть не смеем женам нашим,
Униженный и лицемерный взор
Мы дарим чашам, пьяным винным чашам,
И топим в них и зависть и позор.

В другой раз он пришел из церкви грустный и разочарованный. Заказал панихиду по отцу, но священник не согласился назвать Николая Гумилева «убиенным».

Время от времени появлялась в Москве и Анна Андреевна. Однажды ночевала у меня и занята была мыслью о моих отношениях с Левой. Говорила только о нем. Или смотрела на меня: «Какая вы беленькая»; а то вдруг ни с того ни с сего исступленно: «Эмма, я хочу внука». Или начинала разговор о том, как ей плохо живется у Пунина, одна надежда на Леву. Когда он кончит университет, она будет жить вместе с ним, «но Лева так безумно, так страстно хочет...», она нагнетала определения и, когда я наконец бледнела, заканчивала: «...уехать в Монголию».

Напрасно Анна Андреевна беспокоилась. Наши отношения не были задуманы ни на ближайшее, ни на далекое будущее. Вообще не были обдуманы.

Анна Андреевна часто останавливалась в Москве в квартире Мандельштамов. Там ее принимала мать Надежды Яковлевны. Я, конечно, навещала Анну Андреевну и раза два заставала у нее Пастернака. Однажды это было уже «под занавес». Заканчивая беседу, он перевел разговор на свое домашнее. Недавно умер тесть. Пастернаку досталась его шуба. Теплая. «Сейчас пойду проверю», — он ловко прощается, быстро надевает в передней шубу и уходит в морозную ночь. Странно было видеть его уютную светскость в этом жилище беды.

В другой раз мы собрались с Анной Андреевной на вокзал — она возвращалась в Ленинград. Неожиданно зашел Борис Леонидович, пожелавший ее проводить. Мы поехали вместе. По дороге Пастернак сошел с трамвая — «я вас догоню», — мы несколько недоуменно переглянулись, но в зале ожидания он действительно нас настиг, держа в руках бутылку вина (ничего другого в ту пору в магазинах не нашлось), и преподнес ее Анне Андреевне.

До отхода поезда оставалось еще время, они разговорились об Андрее Белом, отзывались критически о его последней прозе и принадлежности к обществу антропософов. Но когда речь зашла о статье Л. Б. Каменева, как утверждала Надя, убившей писателя, Борис

Леонидович сразу: «Он мне чужой, но им я его не уступлю». Дело в том, что в предисловии к последней книге Белого «Между двумя революциями» Каменев охарактеризовал всю его литературную деятельность как «трагифарс», разыгранный «на задворках истории».

После некоторого молчания Борис Леонидович заводит щекотливый разговор. Он уговаривает Ахматову вступить в Союз писателей. Она загадочно молчит. Он расписывает, какую пользу можно принести, участвуя в общественной жизни. Вот его пригласили на заседание редколлегии «Известий», он сидел рядом с Карлом Радеком, к его, Пастернака, словам прислушиваются, он может сделать что-нибудь доброе. Анна Андреевна постукивает пальцами по своему чехмоданчику, иногда многозначительно, почти демонстративно взглядывает на меня и ничего не отвечает.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром телефонный звонок. Лева: «Можно сейчас заехать?» Такие его внезапные появления и исчезновения вызывали в моей памяти роман Горького, где один из братьев, кажется, по имени Яков, странствовал по России. Иногда он приходил домой, о чем извещал стук в окно. Поужинает, поговорит с родными о чем-нибудь важном, переночует и снова уйдет, неизвестно — надолго ли, навсегда?..

Он стоял в коридоре в невозможном пиджаке и в брюках с огромными заплатами на коленях. Смутился, здороваясь со мной в нашей как-никак приличной квартире. Отрастил усы — татарские, тонкие, спускающиеся по углам рта. В Москве он проездом, на один день: возвращается из экспедиции откуда-то с Дона.

Мы решили поехать в Коломенское. Тогда это был долгий путь — на трамвае, потом на автобусе, а затем еще пешком. На нем был все тот же плащ с короткими, не по росту рукавами и засаленным воротником. Мы долго ждали трамвая.

Кругом люди. На нас посматривали.

Пока шли пешком, Лева рассказывал, как ехал в экспедицию. Всем участникам университетская администрация дала деньги на проезд, ему — нет. Он пошел в учебную часть. «Гумилев, ты чего нервничаешь?» — «Да вот жить не дают, — он швырнул на пол стопку книг, — в экспедицию не пускают». В конце концов он поехал на свой счет, а там на месте М. И. Артамонов взял его к себе на раскопки. Очень хорошо рассказывал Лева. У него было так же весомо каждое слово, как у Анны Андреевны. Повествование всегда было эпическим, а в нем заключалась трагедия, но на это не нажималось ни словом, ни интонацией. (Потом он утратил этот стиль.)

Мы осмотрели церковь Вознесения и хоромы, про которые почему-то неверно было сообщено, что это дворец царя Алексея Михайловича. Какие низкие потолки и двери. «Рассчитаны на человеческий рост, а в XVIII веке стали строить выше». Лева все осмысливал исторически.

По дороге мы видели, как женщины-рабочие копали землю.

«Зачем заставляют женщин делать эту тяжелую работу? Ведь они рожать не смогут».

Был последний октябрьский солнечный день. Мы сели на скамью под вязами против Казанской церкви. Где-то вдали прошел человек. «Который час?» — «Пять часов».

Ни слова не говоря, мы дружно вскочили. (Все у нас было ладно, несмотря на то что мы не виделись несколько месяцев.) Как быстро пролетело время, ведь сегодня же вечером ему ехать в Ленинград, а он хотел еще зайти к Клычковым.

В автобусе Лева вел себя вызывающе, почти что подставлял подножку рабочим, возвращавшимся домой с какого-то заводика.

В своей мятой фуражке он выглядел бывшим офицером. Его ненавидели, но боялись из-за его дерзости. Он вообще любил препираться в трамваях, чтоб последнее слово оставалось за ним.

Дома пообедали. Мрачен он был со своими татарскими усами.

Помолчав, заявил:

— Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют.

— ?

— Уж мы знаем. Летом была допрошена наша приятельница.

Ее выпустили, но она все подтвердила.

— Что подтвердила?

— Были у нас дома разговоры при ней.

Я не спросила, какие разговоры — вероятно, «петербургские», «дворянские», «ихние». Я плакала.

К Клычковым он уже не поспел и не звонил, а прямо от меня поехал на вокзал. Опять мы прощались в той же моей комнате, с той же перспективой никогда больше не увидеться. Эта встреча больше походила на благословение, чем на любовное свидание. Прощальным словом Левы было: «Прими православие».

Что я делала в последующие дни? Не знаю. Вестей из Ленинграда не было.

Своей тревогой я поделилась с Леной. Она милостиво признала: «Да, вы связань», — но все-таки прибавила: «Не люблю романы каторжников, не нравятся они мне». А вот Анне Андреевне они «нравились». Нет, ее растрогала не наша слевой встреча. Она, вероятно, и не знала о ней. Но двадцать лет спустя, когда на наших экранах появились знаменитые итальянские фильмы, она настояла, чтобы я поехала с ней в один из дальних кинотеатров, где повторно показывали «У стен Малапаги». Анна Андреевна уже видела эту картину, но готова была смотреть ее еще и еще. Напомню, что на экране героиня и герой встречаются и прощаются перед его арестом. Неминуемое наказание ждет его не за выдуманное, а за настоящее уголовное преступление, но все равно, говорила Анна Андреевна, это — «наше», это — про нас.

В середине 30-х годов в нашем кинематографе можно было видеть только фильмы вроде ненавистных мне «Веселых ребят» и «Цирка». Именно в эти тревожные, неопределенные дни меня вытащил кто-то на предвечерний сеанс подобного фильма. Я пошла нехотя и с досадой вернулась домой. Вижу — в передней на маленьком угловом диване сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. Заходим в мою комнату. «Их арестовали». — «Кого их?» — «Николашу и Леву».

Она переночевала у меня. Спала на моей кровати. Я смотрела на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее запали глаза и возле переносицы появились треугольники. Больше они не проходили. Она изменилась на моих глазах.

Потом я отвезла ее в Нащокинский — она еще сама не знала, к кому она пойдет. Ведь неизвестно, кто как ее примет. Целый день я ждала ее звонка. Она меня вызвала только на следующее утро. В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется, у Булгаковых. Мы встретились у ворот дома. Она вышла в синем плаще и в своем фетровом колпаке, из-под него выбились и развевались длинные пряди волос. Она ничего не замечала. Она смотрела по сторонам невидящими глазами.

Мы пошли искать такси. Кропоткинская площадь и Волхонка были перерыты и в нескольких местах перегорожены из-за строительства метро «Дворец Советов» на месте взорванного храма Христа Спасителя. Осенняя грязь. Она боялась перейти улицу. Вдали показалась машина. «Нет, нет, ни за что». — «Машина еще далеко, идемте». Она ставила ногу на мостовую и пятилась назад. Я ее тянула. Она металась. Машина приближалась. Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Они заметили нас и, казалось, посмеивались. Приближаясь, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и... узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь... Вот эта безумная мечущаяся нищая — знаменитая Ахматова? Вся эта физиономическая игра промелькнула перед моими глазами. Вероятно, некогда этот человек был ее поклонником, влюблялся в нее на вечерах поэтов. (А теперь и себя не узнаешь, милый мой, в кожаной куртке, рядом с водителем, в казенной машине.) Они проехали.

Кое-как мы перешли улицу и нашли такси.

Шофер двинул машину со стоянки, спросил, куда ехать. Она не слышала. Я не знала, куда мы едем. Он дважды повторил вопрос, она очнулась: «К Сейфуллиной, конечно». — «Где она живет?» Я не знала. Анна Андреевна что-то бормотала. В первый раз в жизни я услышала, как она кричит, почти взвизгнула сердито: «Неужели вы не знаете, где живет Сейфуллина?»

Откуда мне знать? Наконец я догадалась: в Доме писателей? Она не отвечала. Кое-как добились: да, в Камергерском переулке. Мы поехали. Всю дорогу она вскрикивала: «Коля... Коля... кровь...» Я решила, что Анна Андреевна лишилась рассудка. Она была в бреду. Я довела ее до дверей квартиры. Сейфуллина открыла сама. Я уехала.

Через очень много лет, в спокойной обстановке, Ахматова читала мне и Толе Найману довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым. «Мне кажется, что давно вы мне его уже читали», — сказала я. «А я его сочиняла, когда мы с вами ехали к Сейфуллиной», — ответила Анна Андреевна. Я предполагаю, что из этого стихотворения напечатано одно четверостишие, измененное самой Ахматовой для цензуры:

...За ландышевый май
В моей Москве к р о в а в о й
Отдам я звездных стай
Сияние и славу...

(Напечатано «с т о г л а в о й», но в автографе для эпитета оставлено пустое место.)
Но вернемся к 30-м годам, к тем напряженным дням.

Я не заметила, сколько времени прошло — два дня? четыре? Наконец телефон, и снова одна только фраза: «Эмма, он дома!» Я с ужасом: «Кто он?» — «Николаша, конечно». Я робко: «А Лева?» — «Лева тоже».

Она звонила из квартиры Пильняка. Я поехала туда, на улицу Правды. Там ликование. Мы с ней сидели в спальне. Из соседней комнаты доносится музыка. Приехали гости. Какой-то важный обкомовец и еще кто-то. «С тремя ромбами», — шепчет мне Анна Андреевна. Все они хотят видеть Ахматову — поздравлять... с «царской милостью»? Но Анна Андреевна должна мне многое рассказать. Пильняк заходит, нетерпеливо зовет ее. Она говорит: «Борис Андреевич, это Эмма!» Но ему ни до чего, ему нужно торжество с гостями в столовой. Он неохотно нас оставляет.

Что же мне рассказала Анна Андреевна?

Все было сделано очень быстро. Л. Н. Сейфуллина, очевидно, была связана как-то с ЦК партии. Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое. Она р у ч а л а с ь, что ее муж и сын не заговорщики и не государственные преступники.

Письмо заканчивалось фразой: «Помогите, Иосиф Виссарионович!» В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется, ничего никогда для себя не просит. «Ее состояние ужасно», — заканчивалось это письмо.

Пильняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину.

Для себя я отметила разницу в отношении писателей к Мандельштаму и Ахматовой. Там чувство долга по отношению к замечательному поэту, здесь тот же долг, но согретый непосредственным чувством любви.

Рассказ Анны Андреевны был прерван Пильняком. Он торопит. Она вышла в соседнюю комнату показаться. Зазвучал туш — это Пильняк завел новую пластинку, торжественно провозглашая: «Анна Ахматова»

Тем временем, дожидаясь в спальне Анну Андреевну, я написала короткую записку Лева.

Анна Андреевна вернулась на минуту из столовой, чтобы проститься со мной. Я прошу ее взять мое письмо. «Что вы, что вы! Какие там письма! Не возьму ничего». Она всего боялась: писем, обыска в поезде... И правильно сделала. Мало ли как я могла написать в этой записке про Сталина. «Ну, — говорю я, — тогда скажите на словах: Лева должен воспользоваться чрезвычайными обстоятельствами и просить разрешения сдавать курс экстерном. Он не вынесет обстановки. К нему будут приставать студенты. Он как-нибудь не так скажет: меня, мол, Сталин выпустил. Это опасно, его обвинят в хвастовстве и упоминании имени “божества” все».

Я уходила домой. Она пошла за мной в переднюю. Я открыла входную дверь. Неожиданно она нагнулась, высокая, гибкая, и быстро нежно поцеловала меня.

Через некоторое время приехала из Воронежа Надя. Я, конечно, пришла в Нащокин-ский. Застала у нее ленинградского брата Осипа Эмильевича, Евгения, и Николая Ивановича Харджиева. Они продолжали начатую без меня беседу. Евгений Эмильевич досказывал о своих встречах с Анной Андреевной. Видимо, они были посвящены совместным хлопотам об Осипе Эмильевиче. Затем он стал говорить о трудной жизни Ахматовой, и под конец в его рассказе промелькнула фраза: «...и с сыном эта история...» — «Ничего не вышло?» — озабоченно спрашивает Николай Иванович. Я встрепенулась: «Что случилось?» — «Так его же исключили. Какая-то глупая университетская история». Я вскочила с места и в волнении стала ходить по комнате. Как в воду глядела! Надя подошла ко мне и тихо спросила, удивленная: «Вы его любите?»

Вскоре Осмеркин поехал в Ленинград (он руководил там мастерской в Академии художеств, а в Москве в Институте имени Сурикова). Я передала через него записку Леве.

Вернувшись недели через две, Александр Александрович привез мне ответ. Это было историческое письмо. Лева подробно описал всю картину преследований его в университете. К сожалению, через два года Анна Андреевна своими руками бросила это письмо в печь в моей же комнате. Сделано это было при чрезвычайных обстоятельствах — при аресте Левы в 1938 году.

В сообщениях Левы мне запомнились только два эпизода, из них один лишь в самых общих чертах. Он касался Петра Великого, которого Лева характеризовал не так, как это внушалось студентам на лекциях. Студенты жаловались, что он считает их дураками. Другой эпизод по своей глупости и подлости резко запечатлелся в моей памяти. «У меня нет чувства ритма», — писал Лева и продолжал: на военных занятиях он сбивался с шага. Преподаватель заявил, что он саботирует, умышленно дискредитируя Красную Армию. Заканчивал Лева письмо фразой: «Единственный выход — переехать в Москву. Только при Вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать».

В самом конце января 1936-го в Москву приехала Анна Андреевна — хлопотать, конечно, о Леве, может быть, и о Мандельштаме. Она готовилась к поездке к Осипу Эмильевичу в Воронеж. Я уже писала, что провожали ее на вокзале Евгений Яковлевич и я. Перед ее отъездом я показывала ей Левино письмо. Дочитав до конца, она произнесла железным голосом: «Лева может жить только при мне».

С тех пор Анна Андреевна не пускала его в Москву. Я не знала, как он провел зиму. Впрочем, мне смутно припоминается еще один эпизод.

Дело, вероятно, шло уже к весне. Я получила от него письмо с просьбой. Оказывается, для того чтобы поехать в археологическую экспедицию, ему, как исключенному из университета, нужно было окончить хотя бы какие-то краткосрочные агрономические курсы. Его и туда не приняли. Не помню, то ли он просил меня обратиться к покровительству Пастернака, то ли я сама додумалась до этого. Во всяком случае я надела вязаную кофточку моей двоюродной сестры и пошла к Борису Леонидовичу домой, он жил тогда на Волхонке. Мне понравилась комната — прохладная и пустоватая. Он отнесся к моей просьбе благожелательно и сочувственно, но никаких последствий это не имело. Почему? — Не помню.

Летом Анна Андреевна опять приехала в Москву. Я рассказала ей о моем обращении к Пастернаку. Она мягко заметила: «Это не самое умное из того, что вы сделали в своей жизни».

После этого она уехала гостить в Старки, то есть в имение Василия Дмитриевича Шервинского под Коломной. Советская власть оставила ему эту собственность во внимание к его выдающимся заслугам в медицине. Знаменитый терапевт с мировым именем в наших кругах славился тем, что лечил еще И. С. Тургенева. Анна Андреевна дружила с сыном Шервинского, Сергеем Васильевичем⁹⁵.

Что касается меня, то впервые за много лет я поехала в этом 1936 году вместе с нашей семьей на дачу под Москвой, в деревню Черепково по Рублевскому шоссе. Ко мне приезжал туда часто Евгений Яковлевич.

В июле Анна Андреевна вернулась из Старков и встретила меня по-женски, как победившая соперница. «Лева так хотел меня видеть, что по дороге в экспедицию приехал из Москвы ко мне в Старки», — объявила она. А я и не знала, что Лева был в Москве и что он все-таки попал в экспедицию. Меня это озадачило и больно задело. Но ведь я не оставляла ему своего дачного адреса. Эта простая мысль как-то не приходила мне в голову. Впрочем, осенью, вернувшись из экспедиции, он пришел ко мне и говорил о своем крайне подавленном состоянии в ту пору.

Между тем в моем образе жизни и направлении интересов за протекшее время много изменилось.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Разные эпизоды тех лет сливаются в моей памяти в один период времени — середина 30-х годов. Но некоторые даты в силу внешних обстоятельств устанавливаются с точностью до одного дня. Вот я не помнила, когда именно происходили описанные выше события — поездка слевой в Коломенское, долгое ожидание Анны Андреевны в нашей прихожей, поездка с ней до дома Сейфуллиной, торжество у Пильняка... Теперь, через полвека, появились документальные свидетельства, касающиеся этих событий. Из записи в дневнике Е. С. Булгаковой мы узнаем, что Анна Андреевна пришла к ней 30 октября 1935 года и вместе с Михаилом Афанасьевичем обдумывала редакцию своего письма к Сталину. Из других публикаций мы знаем дату освобождения Левы и Пунина — 3 ноября того же 1935 года. По письмам С. Б. Рудакова устанавливается время пребывания Анны Андреевны у Мандельштамов в Воронеже — с 5 по 11 февраля 1936 года. Значит, мы с Евгением Яковлевичем провожали ее на московском вокзале 4, а может быть, 3 февраля. Все эти дни я была взволнована и подавлена семейным несчастьем, вернее, тяжким горем, обрушившимся на моего отца.

⁹⁵ См. его очерк «Анна Ахматова в ракурсе быта», напечатанный в книге «От знакомства к родству» (Ереван, 1986).

8 февраля 1936 года скончалась Александра Юльяновна Канель — друг и спутница жизни моего отца с самых первых лет революции. Она умерла при странных обстоятельствах, почти скоропостижно. В том году на дворе стояла вьюжная, морозная погода — типичный московский февраль. Александра Юльяновна простудилась, но у нее был обыкновенный насморк. Неожиданно он перешел в острый менингит, и в течение двух-трех дней она спорела.

Мой отец потерял друга — опору в жизни и любимую женщину, излучавшую для него свет. Еще недавно, когда он был тяжело болен и я навещала его в Кремлевской больнице, к нему в палату вошла Александра Юльяновна. Какими преданными, полными любви и надежды глазами смотрел на нее отец! А на гражданской панихиде, указывая мне на открытый гроб, он произнес с невыразимой нежностью: «Посмотри, какая она красивая!..»

Я была поглощена чувством тревоги за него и состраданием к его горю. Но на происходящее вокруг смотрела спокойными глазами. Конечно, я жалела Дину и Лялю, которых знала с детства, знала, как горячо они любили свою мать, но все взрослые годы мы были так далеки друг от друга, что они стали мне совсем чужими. Я холодно отмечала для себя, что доктор Лев Григорьевич Левин процитировал Надсона в своем надгробном слове и что среди множества венков выделялся один, присланный лично от Молотова. Тогда еще нельзя было предвидеть, какой бедой обернутся через три года для дочерей Канель ее дружеские связи с семьями Молотова, Каменева, Калинина... Она ведь была их домашним врачом и, конечно, знала много тайн кремлевского двора. А наша семья была так далека от этой стороны папиной жизни, что, сочувствуя его горю, мы не задумывались о загадочном течении болезни Александры Юльяновны, не помышляли о событиях и фактах, которые сжигали тревогой душу моего отца. Постепенно эти события становятся все более известными.

Вот в какой связи упомянул о смерти А. Ю. Канель профессор Я. Л. Рапопорт в своих «Воспоминаниях о деле врачей» (см.: Дружба народов. 1988. № 4. С. 227): «Возьму на себя смелость предположить, что подлинной причиной осуждения Д. Д. Плетнева и Л. Г. Левина было не мнимое их участие в “умерщвлении” А. М. Горького, а совершенно реальное событие 1932 года — самоубийство жены Сталина Н. С. Аллилуевой, покончившей с собой выстрелом из револьвера в висок. Истинную причину смерти знали: А. Ю. Канель, главный врач Кремлевской больницы, ее заместитель Л. Г. Левин и профессор Д. Д. Плетнев... Всем троим было предложено подписать медицинский бюллетень о смерти, последовавшей от аппендицита, и все трое отказались это сделать. Бюллетень был подписан другими врачами, судьба же строптивых медиков сложилась трагически (А. Ю. Канель, правда, “успела” умереть в 1936 году)».

Еще определеннее высказалась старшая дочь Александры Юльяновны Дина (Надежда Вениаминовна). Но она рассказывала и о своей трагедии — о своем аресте в 1939 году, о своем «деле», которое вел Берия, об издевательствах и побоях на допросе и дальнейшей своей судьбе. Она была окончательно реабилитирована лишь после смерти Сталина. Еще страшнее оказалась судьба младшей сестры — Ляли (Юлии Вениаминовны). Она уже не

вышла на волю и, очевидно, была расстреляна в 1940 году. Лаконичный рассказ Дины напечатан в сборнике «Доднесь тяготее» (Вып. 1. М.: Советский писатель, 1989. С. 496):

«Думаю, это было predetermined еще в 1932 году, когда моя мать — главный врач Кремлевской больницы, а вместе с нею доктор Левин и профессор Плетнев отказались подписать фальсифицированное медицинское заключение о смерти Н. С. Аллилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не простил этого ни одному из троих: судьба Левина и Плетнева, обвиненных в преднамеренном убийстве Горького, известна; моя мать в 1935 году была отстранена от должности главврача Кремлевки. Она скончалась в 1936 году».

Очерк Надежды Канель озаглавлен «Встреча на Лубянке». В нем рассказывается о встрече в тюрьме с Ариадной Сергеевной Эфрон. Вот почему более подробный рассказ дочери Александры Юльяновны передан в книге Марии Белкиной «Скрещение судеб», посвященной судьбам Марины Ивановны Цветаевой и ее детей Ариадны и Георгия Эфрон (М.: Книга, 1988. С. 351—352). Тут болезнь и смерть А. Ю. Канель изложены со слов Дины гораздо подробнее. Эти подробности, конечно, остро волновали и угнетали моего отца, но я в ту пору понятия о них не имела.

Когда Александра Юльяновна была больна легким гриппом, сообщала Дина М. И. Белкиной, неожиданно пришел Юра Каменев, которому было тогда лет двенадцать. Его прислала мать, Ольга Давыдовна Каменева, из Горького, куда она была выслана после первого ареста. Ее муж, Лев Борисович Каменев, уже сидел. Процессы уже начались. «Юра пробыл недолго в комнате у Александры Юльяновны, — продолжает М. Белкина, — он торопился на обратный поезд. Александра Юльяновна вышла к ужину взволнованная, с красными пятнами на лице, она была рассеянна, нервна и, посидев немного, удалилась, сославшись на плохое самочувствие. Дина допытывалась, что произошло, что сказал ей Юра? Но Александра Юльяновна уверяла, что он зашел только передать привет от Ольги Давыдовны». Именно после этого визита подростка насморк больной перешел в менингит, и через четыре дня после этой встречи она скончалась.

Только в 1941 году в орловской тюрьме Дина узнала, почему приход Юры сыграл роковую роль в жизни Александры Юльяновны. В этой тюрьме она оказалась в одной камере с Ольгой Давыдовной. Здесь не место рассказывать, в каком трагическом положении она ее застала. Лев Борисович и их старший сын, летчик Александр Львович (Лютик), были расстреляны. А после долгих запросов о судьбе Юры она получила извещение о смерти юноши, как было сказано, от тифа. В это время немцы подходили уже к Орлу, и Ольга Давыдовна в числе других политических заключенных была расстреляна. Ее увели на расстрел при Дине. Но незадолго до казни она успела ответить на Динин вопрос, что же именно сказал Юра Александре Юльяновне.

По поручению Ольги Давыдовны Юра предупредил Александру Юльяновну, что о ней много расспрашивали. Особенно интересовались, кто сообщил Каменевой о самоубийстве Аллилуевой. (Невестка О. Д. Каменевой, то есть жена Лютика, указала, что это была А. Ю. Канель, приехавшая к ним домой в день смерти Аллилуевой. Александра Юльяновна уже знала об этом от Жемчужины, которая вовсе не думала, что это станет государственной тайной.)

Страх и волнение Александры Юльяновны, получившей такие известия, вполне понятны. Впоследствии Дина только благодарила судьбу, что мать умерла дома, в своей постели, не пережив кромешного ужаса последующих репрессий. Когда Дину и Лялю арестовали в 1939 году, от них добивались признания, что мать была шпионкой трех государств, ведь она, как врач Кремлевской больницы, сопровождала ездивших за границу для лечения О. Д. Каменеву в Берлин, Ек. Ив. Калинину в Париж, а П. О. Жемчужину — на разные курорты.

Мы с сестрой старались облегчить горе отца, не догадываясь о всей остроте его переживаний. Между тем в той среде, к которой мы не имели отношения, многие искренне сострадали моему отцу, казавшемуся постаревшим на десять лет. Среди сочувствующих был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Желая выказать внимание моему отцу, он принял меня на работу в недавно организованный им Литературный музей. До этих пор мне было это недоступно: как уже не раз говорилось на страницах этой книги, я не попала в надеждащую колею после окончания университета, а теперь, через десять лет, дело казалось уже безнадежным. Но вот большое потрясение нарушило стереотипный порядок. На волне несчастья моего отца я получила работу, значительно изменившую мою жизнь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Это была договорная работа в отделе комплектования рукописей. На такого рода аккордные задания по описанию, систематизации и аннотированию архивных документов были отпущены специальные средства во все музеи и публичные библиотеки, имеющие соответствующие отделы. Большая группа интеллигентных людей занималась этой работой вплоть до самой войны, переходя из одного музея в другой по мере увеличивающейся потребности в разборе накопившихся бумаг. Очень поощрялось приглашение на эту работу старых дам, знающих языки, так как эпистолярная и мемуарная часть дворянских архивов почти всегда велась по-французски, реже по-английски и по-немецки. Хотя я плохо знала иностранные языки, я попала в эту группу и в годы 1936—1940 разбирала рукописные фонды Литературного, Исторического музеев, Библиотеки имени Ленина, а в 1946 году и ЦГАЛИ.

В Литературном музее, выросшем на энтузиазме его директора Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича и его сотрудницы Клавдии Борисовны Суриковой, я попала в особую атмосферу. Все сотрудники любили музей как родной дом. Среди них было много родственниц старых профессоров и дореволюционных писателей или помощниц и домочадцев ныне действующих литераторов. Громкие фамилии — Тургенева, Бакунина, Давыдова — так и пестрели в ведомостях на зарплату и в наших повседневных разговорах. Старик Давыдов пел под гитару цыганские романсы и был олицетворением той усадебной культуры, о которой напоминала своим искусством и своим происхождением великая Н. А. Обухова. Часто появлялся в музее К. Пигарев — внучатый племянник Ф. И. Тютчева. Он работал в Муранове, где был хранителем и научным сотрудником дома-музея Баратынского и Тютчева. С. И. Синябрюхов конкурировал со знаменитым Н. П. Чулковым в доскональном знании

дворянской генеалогии. А еще была дочь поэта Фофанова, немножко странная, с большими мечтательными глазами, в обеденный перерыв она рассказывала у камина (в музее и эта ритуальная часть трудового дня была обработана изящно, со своей сервировкой и с использованием всех возможностей уюта старинного особняка), — так вот, она рассказывала свои ужасные сны — кровавые, преступные. Всегда доброжелательный, всем интересующийся и любящий популяризаторскую работу Николай Павлович Анциферов был одним из самых уважаемых персонажей в этом коллективе. Он был вдохновенным «градоведем», достаточно вспомнить его известную книгу «Душа Петербурга», и был совершенно романтически влюблен в Наталью Александровну Герцен, являясь страстным апологетом любви к ней самого Герцена. Когда он читал лекции о «Демоне», он пробуждал у слушательниц высокие чувства проповедью любви как особой духовной категории.⁹⁶

В разговоре он иногда к слову поминал Соловки, где успел отсидеть несколько лет. Однажды говорили об особой этике уголовников. Но, продолжал Николай Павлович, теперь уже этого нет, они теряют свою приверженность к нелепым, уродливым, но своим железным законам. Другой раз речь шла о религии, как она поддерживает стойкость духа. И в пример привел эпизод из своей жизни заключенного. Чем-то он навлек на себя особый гнев своего непосредственного начальника. И тот послал его чистить нужники. Это тяжелое испытание Николай Павлович вынес с достоинством. И помогло ему в этом особое внутреннее состояние. Он описал его в нашем разговоре как религиозное, но я не помню подробностей.

Очень активная и добрая дочь профессора У-го была нежно привязана к своему парализованному отцу и к брату. В буфете она всегда покупала на свой скудный заработок конфетки, чтобы побаловать отца. Мы знали о подробностях ее домашней жизни. Бывшую профессорскую квартиру, конечно, уплотнили, но была оставлена проходная комната, служившая им столовой. И как только семья садилась завтракать, соседи пронесли через эту столовую свои ночные горшки. Видимо, поведение подобного рода, которому все мы подвергались в большей или меньшей степени, было способом самоутверждения для тех, кто двадцать лет тому назад не смел входить в господские комнаты без зова или садиться в присутствии «благородных» хозяев.

У. собралась в командировку в Ленинград, и я попросила ее передать мое письмо Ахматовой. Она взяла, но на следующий день вернула: «Не могу. Знаете, ее сын... Гумилев!» В таком же духе отзывался о Леве Борис Садовской, которого часто навещал в его квартире в Новодевичьем монастыре Николай Павлович. «Непримирим!» — отзывался Садовской о Леве в разговоре с Анциферовым. Эх, дворяне, дворяне! Они были особенно напуганы и соблюдали осторожность, но зачем же самим искусственно создавать атмосферу политической неблагонадежности вокруг несчастного сына Гумилева? (Кстати, я не уверена, что Лева заходил к Садовскому.)

⁹⁶ Обнаружение любовных писем жены Герцена Гервегу потрясли Николая Павловича. Злые языки утверждали, что эта измена убила его. Он действительно умер вскоре после появления в печати этой сенсации.

Сотрудники этого музея, как, впрочем, и всех других, вели, или делали вид, что ведут, какую-нибудь научно-исследовательскую работу для повышения своей квалификации и улучшения материального положения. Одни брали себе тему и корпели над ней годами, не способные к активному научному мышлению. Другие смотрели на штатную работу в музее как на необходимую базу, а в оставшееся время работали не за страх, а за совесть в какой-нибудь любимой области. Среди людей этой категории, помимо Анциферова, выделялась скромная, бедная, образованная, с глубоким сияющим взором и седыми пышными волосами Ольга Геннадиевна Шереметева. Это была настоящая подвижница. Она сотрудничала с Дмитрием Ивановичем Шаховским по изучению наследия Чаадаева. Это она выделила в хранилище Ленинской библиотеки книги, принадлежавшие русскому мыслителю. На полях было нанесено его рукой множество пометок. Короче говоря, она собрала библиотеку Чаадаева. К сожалению, как мне говорили, эти книги, числящиеся в библиотеке по фамилиям их авторов и отмеченные разными шифрами, были после войны вновь расставлены по старым местам, и вряд ли найдется теперь человек, который способен был бы их разыскать. Впрочем, я не осведомлена, каково положение дела в настоящее время.

Ольга Геннадиевна охотно помогала мне в работе: переводила с французского нужные мне письма из архивных фондов и сама приносила выдержки, относящиеся к теме моей исследовательской работы. Этой темой являлась биография Лермонтова.

Началось это так.

В квартире Мандельштамов в Нащокинском переулке остановился Борис Михайлович Эйхенбаум, приехавший из Ленинграда в Москву с женой и всегдашним спутником этой семьи Александром Осиповичем Моргулисом — героем мандельштамовских «моргулет». С Эйхенбаумом я мечтала поговорить, с тех пор как прочла в журнале «Литературная учеба» (1935, № 6) его увлекательно написанную статью «Основные проблемы изучения Лермонтова». Это была не обыкновенная историко-литературная статья. Она вся была проникнута пафосом новизны. Б. М. Эйхенбаум выделил «белые места» таинственной биографии Лермонтова, неожиданно и изящно группировал факты, открывая этим новые пути для поисков истины. Одной из поставленных им проблем был вопрос об адресатке раннего лирического цикла Лермонтова. Тут же Эйхенбаум указал, что этим энергично занялся Иракий Андроников. Года через три его поиски воплотились в известном рассказе «Загадка Н. Ф. И.». Об этом молодом человеке (ему было в те годы двадцать шесть — двадцать восемь лет) я уже много слышала от людей, бывавших в Ленинграде. Рассказывали о его необыкновенном даре имитации, об абсолютном музыкальном слухе, неумном артистическом темпераменте и импровизированных устных рассказах в домашней обстановке.

Какое-то шестое чувство подсказало мне, что тут я найду себя. В занятиях Гумилевым я очень быстро дошла до слишком близкого предела: книги и журналы были прочитаны, но получить рукописные архивные материалы по Гумилеву было невозможно.

Я была хорошо знакома с Моргулисом и попросила его представить меня Эйхенбауму. Моргулис доброжелательно болтал, как всегда, обо всем: о том, как их принимает Вера Яковлевна, и о том, какое значение имеют рисунки Гр. Гагарина, привлеченные Эйхенбаумом к своим работам о Лермонтове, и об Иракии с его визитами к родственникам Натальи Федоровны Ивановой.

Эйхенбаум принял меня так, что я потом вспоминала декабриста Батенькова, который сравнивал два типа государственных деятелей — Аракчеева и Сперанского. Царский фаворит и тиран Аракчеев придавал чрезвычайную важность всему, что он делал, давая понять, что обыкновенному смертному это недоступно. А преобразователь Сперанский все делал с таким видом, как будто это очень легко, всякий может, если захочет, составлять новый свод законов, готовить реформу образования, быть председателем Государственного совета...

По этой классификации Б. М. Эйхенбаум принадлежал к типу Сперанского. Его не смутила моя неискушенность в исследовательской работе, не отпугнуло отсутствие у меня навыков библиографической работы. Он сразу предложил мне заняться розысками материалов о «кружке шестнадцати», участником которого был Лермонтов. Кроме самого этого факта, о «шестнадцати» ничего больше не было известно. «Как же к этому подступиться?» — сомневалась я. «Очень просто: вначале нужно покопаться в именных указателях “Русской старины”, “Русского архива”, “Исторического вестника” и т. п. изданиях, затем сделать выборки из “Библиографического словаря”, а там пойдет само», — любезно обьяснил Борис Михайлович.

Да, все пошло само, но каждый шаг вперед оказывался в Ленинской библиотеке скачкой с препятствиями. Стало легче, когда я получила билет в специальный читальный зал. Он размещался на хорах блистательного общего зала. Не надо забывать, что Ленинская (бывшая Румянцевская) библиотека занимала знаменитый дом Пашкова. С хоров можно было заглядеться на длинные черные столы, выделявшиеся на фоне белоснежных колонн, на сиянье хрустальных люстр, на безукоризненный ритм в расположении лепнины на потолке и карнизах. Пропуск в спецзал мне помог получить Иракий Андроников, переехавший в то время из Ленинграда в Москву. Мы с ним подружились.

Все это вместе давалось в цельное ощущение чего-то нового, вошедшего в мою жизнь. Я убеждена, что любовь к своему делу, помимо прямого содержания работы, питается еще влюбленностью в аксессуары, сопровождающие этот труд. Такое сочетание и создает чувство призвания, найденной дороги.

Между тем проблема «шестнадцати» была исключительно трудна. В литературе были названы только десять участников этого кружка, и то по одним фамилиям, без инициалов и званий. Даже такие знатоки дворянских родословий, как корифеи Литературного музея Николай Петрович Чулков и Степан Ильич Синебрюхов, утверждали, что установить их личность совершенно невозможно. Тем не менее, посоветовавшись с Иракием, я решила обратиться к «Высочайшим приказам», так как, по суммарной характеристике этих товарищей Лермонтова, многие из них успели уже повоевать на Кавказе. Однако опять — препятствие: переплетенный том «Высочайших приказов» читателям Ленинской библиотеки не выдавался. Выручила библиотека Исторического музея. Там меня надоумили, что высочайшие приказы печатались также и в военной газете «Русский инвалид». В Историческом музее сохранились номера за все годы. И тут счастливая находка: оказалось, что в конце номера регулярно печатались мельчайшим шрифтом списки приехавших и уехавших из Петербурга. Когда из этих скучных столбцов стали выныривать имена Лермонтова, его друга и родственника Монго Столыпина или князя Александра Долгорукого, знакомого нам по его рисунку к стихотворе-

нию Лермонтова, трудно передать охватившее меня волнение: я как будто дышала особым воздухом удачи. Думали ли современники, что эта казенная рубрика может кого-нибудь заинтересовать, кроме отставных военных чинов? Поэт Ив. Ив. Дмитриев, например, сочинил на эту тему ироническую эпиграфию, напечатанную в начале прошлого века:

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах.
Вот жребий наш каков!
Живи, живи, умри — и только, что в газетах
Осталось: выехал в Ростов.

Но мне эти десять дней, проведенных с самого утра до позднего вечера на пятом этаже здания на Красной площади, открыли дорогу к новым находкам. Так началась моя многолетняя работа в архивах, расширявшаяся с каждым годом. Официальные отношения в государственные архивы мне любезно предоставлял В. Д. Бонч-Бруевич. Жизнь моя проходила теперь между Литературным музеем, рукописным отделом Ленинской библиотеки, где я занималась такой же договорной работой, как в музее, и Военно-историческим архивом.

Этого направления моей работы не могли понять ни Надя, ни Евгений Яковлевич. По их представлениям, занятия историей литературы сводятся либо к высказыванию критических, подчас экстравагантных, суждений, либо к писанию мемуаров. Как только я начала заниматься Лермонтовым, Надя стала бояться, что я буду писать мемуары о Мандельштамах. Я слишком много знала, по ее мнению. Как я уже писала, эти опасения сказались с полной силой в Воронеже, где Осип Эмильевич упрекал меня, конечно инспирированный Надей, в намерении писать о нем мемуары после его смерти. Эти подозрения казались мне смешными, мои занятия были очень далеки от составления мемуаров, а отношение к Осипу Эмильевичу и Анне Андреевне было чисто личным, далеким от любопытства к знаменитостям.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вернувшись из Старков, Анна Андреевна провела дней десять — четырнадцать в Москве. Она жила у меня, все наши были на даче или в отпусках, у меня тоже был перерыв в работе. Хотя она окрепла и загорела в Старках, где купалась в Москве-реке и чувствовала себя хорошо среди любящих ее людей, в городе она опять страдала от разных недомоганий. Мы много времени проводили дома.

Внешний вид Ахматовой этих дней с замечательной выразительностью и точностью запечатлен на фотографии, сделанной в Старках Л. В. Горнунгом. Это известный портрет: Анна Андреевна сидит с ногами на диване, обитом полосатым тиком. Фигура, руки, шея, челка, само лицо удивительно верны. На другой, маленькой любительской карточке Ахматова, повязав голову косынкой, сидит на лавочке против Маринкиной башни. Она мне подарила обе фотографии с надписями: «Милой Эмме — Ахматова — на память о моих

московских днях 1936 г. 26 июля»; в тот же день надписана другая: «Эмме в знак самых нежных чувств. Анна. Я — в Коломне».

С первых же дней Анна Андреевна стала звонить по Левиным делам разным влиятельным лицам. В пустующем кабинете моего отца стоял добавочный телефонный аппарат, и она звонила оттуда.

Напряженно выпрямившись, она сидит в плоском ковровом кресле и держит возле уха трубку. Она набрала кремлевский номер и ждет, пока к аппарату подойдет Осинский. От унижения ее всю с ног до головы начинает сотрясать крупная дрожь. Я гляжу на нее со стесненным сердцем: какое породистое, гибкое и нервное существо, думаю я.

На досуге мы много болтали, Анна Андреевна охотно вспоминала 10-е годы. Рассказывала о своих увлечениях, показывала какие-то фотографии, намекала, кому что посвящено в «Четках» и «Белой стае». Я все тут же забываю, потому что не понимаю ни типа мужской красоты того времени, ни тогдашнего характера любовных отношений. 10-е годы для меня «отдаленней, чем Пушкин». Но один из ее рассказов врезался в память.

Она возвращалась с Гумилевым в Царское Село. На вокзале в Петербурге им встретился «некто» (Анна Андреевна всегда говорила таинственно), завел разговор с «Колей», «а я дрожала, как арабский конь». «Знаю, видела, какой ты горячий и гордый человек», — с нежностью думаю я и от этого двойного впечатления запоминаю сцену на Царскосельском вокзале на всю жизнь, как будто была там сама. (Через тридцать лет узнаю: «некто», заставивший так вздрогнуть Ахматову, был Александр Блок. 5 августа 1914 года он отметил в своей «Записной книжке» встречу на Царскосельском вокзале с Ахматовой и Гумилевым. А она назвала Блока в своих воспоминаниях, описывая совместный обед трех поэтов на том же вокзале в первые дни войны.)

Осинский или кто другой поддержал Ахматову, не помню, но направили ее в Комитет по высшей школе. Она была на приеме, ей предложили позвонить по телефону дней через пять, затем еще через три дня и так откладывали решение, между тем Анна Андреевна явно заболела, надо было возвращаться домой. Она уехала и просила меня позвонить в комитет. А там все то же самое: позвоните через пять дней, через три, через неделю и т. д. Естественно, что я не могла бросить это дело, и на целый месяц звонки в комитет управляли моим образом жизни.

В сентябре ко мне в Литературный музей неожиданно явился Лева. Он вернулся из экспедиции. Мы вышли с ним на улицу, я ему рассказала, как обстоят дела в комитете. Прощаясь, он так крепко жал мне руку и благодарно смотрел в глаза, будто я рисковала для него жизнью. Меня удивляло, что он придает такое значение поступкам, считающимся в моем кругу естественными. Неужели он мог себе представить, чтобы кто-нибудь, взявшись выполнить поручение дружеской семьи, бросил бы его на поддороге?! Вечером у меня дома он говорил, что теперь у него атрофированы все чувства, кроме благодарности.

Это было наше первое свиданье после его ареста и освобождения прошлой осенью. Тут он мне кое-что рассказал. Дело велось так, что, казалось, ему и Пунину грозила суровая кара, чуть ли не вышка. Особенное внимание следствия привлекло то, что среди той роковой беседы за ужином Лева побежал на кухню за ножом, чтобы нарезать хлеб. Доносчик преподнес это «кому

следует» как символический жест, намекающий на подготавливаемый ими террористический акт против Сталина. Поэтому Лева испытывал чувство благодарности к освободившему его Сталину. Тут же он мне сообщил: «Имейте в виду, что на вопрос, у кого я бывал в Москве, я назвал Ардовых — это все равно известно — и вас. Больше никого я назвать не мог».

И вот прощенный Сталиным, но опять неприкаянный, Лева сидит на подоконнике моей комнаты и рассуждает: «Знаете, какая разница между евреями и русскими? Евреи делают всех людей на своих и чужих. Чужим они горло перегрызут, а для своих готовы на все. Вот вы считаете меня своим. Русские тоже делают людей на своих и чужих. Чужим они тоже горло перегрызут, а про попавшего в беду русского подумают: “Он, конечно, свой брат, а все равно — наплевать!”»

Лева относился к евреям «с любопытством иностранки».

Впрочем, с таким трудом добываясь высшего образования, он, по словам Анны Андреевны, часто повторял: «Теперь я понимаю евреев», имея в виду процентную норму для евреев при поступлении в университет в царской России.

А решения в комитете все еще не было. В хлопоты вмешался Ардов. Он воспользовался обвинениями против Зиновьева, чтобы преподнести начальству из комитета ходячую версию о смертном приговоре поэту Гумилеву. Ленин, мол, его помиловал, но Зиновьев по собственному разумению приказал его расстрелять. Развязный и авторитетный тон Ардова производил впечатление в кабинетах начальников.

Ардов в те годы жил хорошо, водил Леву в «Метрополь», катал на такси, в комитет приходил вместе с ним. Лева каялся мне: «Я здесь для вас, но я не могу устоять перед красивой жизнью».

Дом Ардовых импонировал ему своей, как ему казалось, артистической светскостью. Там бывают только блестящие женщины: Вероника Полонская, или дочь верховного прокурора, или жена Ильфа... Над тахтой Нины Антоновны портреты влюбленных в нее знаменитых поэтов, например Михаила Светлова... а в ногах вот сидит Гумилев. Вероятно, мое изображение этого дома — кривое зеркало, но таким я его получила из рук Левы, Нади (Анна Андреевна говорила об Ардовых иначе, но тоже с беспокойным пристрастием). Нина Антоновна кокетничала с Левой, и он откровенно признавался: «Я не могу оставаться равнодушным, когда она лежит с полуоткрытой грудью и смотрит на меня своими блестящими черными глазами».

В один из вечеров прибежал ко мне с Ордынки вне себя. В комитете окончательно отказались восстановить его в Ленинградском университете, так как тамошняя администрация решительно протестовала. Предложено было, однако, поступить в Московский университет, но не на третий, а на первый курс и не на исторический, а на географический факультет. По-видимому, это выхлопотал Ардов. Лева был смертельно оскорблен. Он чувствовал себя прирожденным историком, а вовсе не стремился числиться студентом, готовящимся к любой специальности. Да еще начинать сначала в двадцать четыре года! А Нина Антоновна подходила к этому вопросу практически. Ей мало были понятны проблемы призвания, и не догадывалась она об одаренности Левы. Она настойчиво убеждала его смириться и пойти по указанному пути, который как-никак сулил относительное благополучие. Так как, убеждая его, она не

скупилась на нравоучения, он в крайнем раздражении убежал через площадку к Клычковым, где к нему так хорошо относились и где он в этот свой приезд жил.

Вообще говоря, Лева очень смешно рассказывал об этом доме. Как-то к Клычкову зашел знакомый актер. Услышав Левину фамилию, он так испугался, что стал пятиться. Клычков рассердился и накричал на него, притопывая ногами: «А ты поп! поп!» Этот актер был сыном священника⁹⁷.

Но на этот раз ни деятельное доброжелательство Ардовых, ни горячая дружеская поддержка Клычковых не могли успокоить Левину тревогу. Он переживал свою неудачу как катастрофу. Я страдала вместе с ним, так как верила в его призвание, но все же почувствовала, что сейчас эту напряженность нужно снять. «Черт с ним, Левушка, — сказала я. — Необязательно учиться в университете. Раз это идет с таким скрипом, то и не надо. Все равно будете историком».

Это оказалось именно тем, что было нужно в настоящую минуту. С чувством величайшего облегчения Лева вскричал:

«Эммочка, вы единственная женщина, которую я по-настоящему люблю!»

Но на следующее утро, умиротворенный и отрезвленный, заплакал: «Маму жалко».

Хлопоты в комитете продолжались, однако, еще недели две-три. Лева начинал примиряться с возможностью учиться в Москве, хоть и на первом курсе и на географическом факультете. Но где ему жить в Москве? В общежитии? Мы все понимали, что это невозможно для него. Ардовы нашли ему какую-то комнату или угол, но я не считала, что знакомые из их круга — подходящее соседство для Левы. В конце концов все утряслось. Лева поехал в Ленинград за вещами, чтобы вернуться в Москву и поселиться в предложенной Ардовыми комнате.

Прошел ноябрь, декабрь — о Леве ни слуху ни духу. Вначале я просто тревожилась за его судьбу. Но от Анны Андреевны не приходило никаких известий о какой-нибудь беде. Пришлось убедиться в невеселой истине: Лева меня бросил. Я вспоминала Женевьеву — прачку из романа Золя, от которой уходил любовник, удаляясь по знакомой парижской улице, и так больше никогда и не вернулся.

Только много времени спустя я случайно узнала, что Лева поступил точно так же с Клычковым, которому неловко было кого-нибудь спрашивать, куда он исчез. Я-то узнала, что он благополучно живет в Ленинграде. Мне об этом рассказала моя Лена, ездившая туда встречать Новый год. Я передала через нее письмо к Анне Андреевне с библиографическими справками и выписками о Гумилеве. Лена привезла мне ответ Анны Андреевны, где гумилевские материалы условно названы лермонтовскими:

«31 декабря 36 г.

Милая Эмма, я до сих пор не поблагодарила Вас за Ваше осеннее гостеприимство и заботы обо мне. Простите меня. Уже четыре месяца я болею, сердце мешает мне жить и работать.

Сейчас мне принесут Вашу статью о Лермонтове, и я буду читать ее в новогоднюю ночь.

⁹⁷ Вдова С. А. Клычкова Варвара Николаевна Горбачева (ее литературный псевдоним), рассказывая в своих воспоминаниях о том же эпизоде, заметила, что этот актер не был сыном священника.

Меня сняли с пенсии, что, как Вы можете себе представить, сильно осложняет мое существование. Надо бы в Москву, да сил нет. Целую Вас крепко. Ваша Анна».

Письма Ахматовой надо уметь читать. Написанная карандашом, эта записка сообщала «белым голосом» о важных событиях ее жизни. Болезнь сердца, разумеется, усугублена душевным расстройством, о котором мне предоставляется догадываться. Я понимала, что мои выписки о Гумилеве она не будет читать под Новый год, но зато узнала, что она проведет новогоднюю ночь в полном одиночестве. Жизнь у Пуниных становится невыносимой, так как Анна Андреевна лишилась пусть небольшой, но все-таки с в о е й пенсии (она получала персональную пенсию «за заслуги перед русской литературой»). О Леве ни слова.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

А жизнь шла своим чередом. Я встречала много новых людей. Не нарушались и привычные дружеские связи. Мы много смеемся, потому что моя Лена прекрасно рассказывает анекдоты, я тоже не лишена чувства юмора, хотя Лена называет его щедринским.

С сотрудниками музея мы свободно обмениваемся в курилке критическими репликами. Когда вечером, выйдя из музея, мы переходим на другую сторону Моховой и оказываемся в рукописном отделе Ленинки, там скрип наших перьев то и дело прерывается каким-нибудь веселым замечанием.

Многие из штатных и внештатных сотрудниц отдела рукописей тоже носили громкие имена художников и философов прошлого века. Свояченицы, внучатые племянницы или троюродные сестры уехавших знаменитостей были сокрушительно бедны, поэтому все слегка сумасшедшие — или надрывно веселы, или одержимы бурными любовными страстями, зарождавшимися и развивавшимися тут же в библиотечной среде. Меня тоже иногда кто-нибудь из немногочисленных сотрудников мужского пола или даже читателей провожал домой, на этот счет сплетничали, но все это не имело никакого отношения к моей душе.

Административные функции в отделе рукописей выполняла очень строгая и педантичная женщина, по-видимому, коммунистка, с русыми, гладко причесанными волосами, стянутыми на затылке в пучок. Много лет спустя мне сказали, что в юности она была личным секретарем М. О. Гершензона. Обо мне она говорила, что работник хороший, «но, — прибавляла, — очень капризная». «Капризная» — это еще ничего. «Трудный характер» — вот что неизменно фигурировало во всех моих служебных характеристиках. Очень поздно я поняла, что это был условный термин для отдела кадров. За свою жизнь мне приходилось выслушивать от окружающих самые разные претензии, но слова «трудный характер» не произносились с тех пор, как я перестала служить.

В памяти мелькает несколько эпизодов той поры, но я не могу восстановить хронологическую связь между ними. Впрочем, одно, в сущности мимолетное, впечатление датирован-

ется сравнительно точно, потому что связано с конкретным политическим событием. На общем собрании сотрудников отдела нам сообщают, что всем необходимо прослушать чтение текста новой Конституции Советского Союза. Кто будет читать вслух? Одна из сотрудниц, держа в руке карандашик, изящно указывает им на меня. Мне это лестно, потому что она хорошая женщина, молчаливая, хрупкая, держится особняком от остальных. Ей не о чем болтать с ними, она не вспоминает о вечерах в Политехническом музее, где однажды выбрали «королем поэтов» незабвенного Игоря Северянина, не вспоминает «Навыи чары» Сологуба. Она не рассказывает о забавных находках в переписке давно ушедших дворянских семейств. У нее совсем другой материал под руками. Она работает в другом помещении над уникальным собранием древнееврейских рукописей. О том, что в библиотеке хранятся ценнейшие документы чуть ли не времен древних пророков, я услышала от одного из администраторов отдела рукописей, П. И. Воеводина. Он говорил, что эти реликвии некому описывать — никто не владеет древним, мертвым языком. А вот теперь я воочию увидела ту, которая обладала столь высокой и редкой квалификацией. Ее фамилия была Шапиро.

Потом была война, и сокровища Ленинской библиотеки были эвакуированы далеко на восток. А после войны, когда они были возвращены на свои места, началась губительная полоса государственного антисемитизма. Вряд ли кто-нибудь вспоминал тогда о ценнейшем собрании древнееврейских рукописей в Ленинской библиотеке.

Еще один эпизод, относящийся к моему пребыванию в отделе рукописей, датируется довольно точно. Речь идет о знаменитом кардиологе Дм. Дм. Плетневе. Напомню, что еще до страшного судебного процесса и казни Плетнева, обвиненного в убийстве А. М. Горького, против этого знаменитого врача была развернута разнузданная кампания в печати. Некая «гражданка Б.» (хороший псевдоним!) написала в «Правду», что Плетнев, к которому она обратилась по поводу болезни сердца, во время приема кусал ее грудь, отчего она заболела хроническим маститом. Все это обсуждалось на страницах «Правды». Плетнева, в частности, винили и за то, что он обращался в милицию, прося защитить его от приставаний безумной. А та действовала по всем правилам: звонила по телефону, писала угрожающие письма, подстерегала на улице, приходила со скандалами к нему в клинику. Наконец, на страницах центральной прессы появились статьи, подводящие убийственный итог этой травле. Помню, как Анна Андреевна, прекрасно знавшая и понимавшая окружающую реальную жизнь, заметила, что «Правду» читают вслух на политчase в школах. Как будут воспринимать подростки, почти еще дети, грязные подробности, уснащавшие эти статьи? Но наши дамы, владевшие французским, английским и немецким, всецело взяли сторону «гражданки Б.».

Они возмущались извращенным сладострастием старика Плетнева, обсуждали фельетон, цитировали отдельные места. Тут я не выдержала и выпалила: «Вранье!» На это полетели гневные реплики: «Но это напечатано в “Правде”! Мы привыкли верить “Правде”». В ту же минуту из-за стеллажа с книгами вышел человек с тусклой и жесткой физиономией (один из тех, кого Евгений Яковлевич называл «серенькими»), внимательно оглядел нас и, не проронив ни слова, снова скрылся за стеллажами. Это был заведующий

только что организованным архивом Горького. Он занимался в Ленинской библиотеке отбором материала, передававшегося в этот архив.

Год спустя наши образованные дамы с таким же простодушием отнеслись к сообщению, что Ягода «изменил Родине». «И чего ему не хватало? Ведь у него все было», — удивлялись они, впервые почувствовав свое моральное превосходство над этим страшным человеком. Гораздо непосредственнее откликнулся на суд над Ягодой милиционер, стоявший у входа в рукописный отдел. В те времена устав службы выполнялся неукоснительно. Часовой проверял пропуска, но ни одним живым словом не позволял себе обмениваться с мелькающими в вестибюле читателями. Однако тут он не выдержал: «Подумайте только — сам Ягода!! Даже слово “Лубянка” было страшно произнести, а вот он какой оказался. Фашист. А как он жил... Я дежурил у него на даче: какие пруды, кукурузу туда напустили — зеркальный карп, караси...» В Литературном музее старая большиевичка, пригретая Бонч-Бруевичем, кое-как писавшая карточки на литературные рукописи, валилась в сердечных припадках, вскрикивая: «А Ягодка-то, Ягодка!..»

Литературный музей уже терял свой уют «дворянского гнезда». Одна из сотрудниц сказала мне с горечью, что и собираться компаниями теперь нельзя — это вызывает подозрение. А бедная У. теперь покупала в буфете не только лакомства для больного отца, но и то, что подходило для тюремной передачи. Ее обожаемый брат был арестован. Вскоре она стала ездить в «Матросскую тишину» и даже два попадала под трамвай при этих безумных поездках, к счастью, выскакивала из аварии невредимой. Однажды она мне сказала мужественно и скорбно: «Моя жизнь кончена», — так сильно она любила своего брата. Потом она перешла из Литературного музея в другой, где работала много лет, была любима и ценима. Какова была судьба ее брата, не знаю.

Другая сотрудница Литературного музея, носящая фамилию великого русского писателя и состоящая в родстве с одним из блистательных писателей «серебряного века», подала заявление в спецотдел. Она сообщала, что в фондах Литературного музея хранится номер эмигрантских «Последних новостей», где перепечатано частное письмо Бухарина политического содержания. Незадолго до этого меня поразила ее реплика, не совсем уместная в устах старой московской интеллигентки. Дело было в коридоре, где мы курили. Заговорили о том, как безобразно новое здание Ленинской библиотеки. Я сболтнула: «Даже Сталин сказал...» — и привела приписываемые ему критические слова по поводу этой новостройки. «Почему “даже”?» — поправила она меня с какой-то двусмысленной улыбкой.

А в Ленинской библиотеке молодая сотрудница из так называемых коммуноидов, то есть беспартийная коммунистка, с омерзением сказала о предсмертном слове Бухарина: «Фигляр какой-то».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Каждый думал, что боится он один. Но боялись все. Люди старались себя убедить, что их арестованный товарищ, родственник, знакомый действительно очень плохой человек; собственно говоря, они всегда это замечали. Подобной реакцией самозащиты объясняется

добровольное распространение дурных слухов об очередной жертве. Помню, как ухватились в театральных кругах за версию, объясняющую арест Мейерхольтда. Его якобы поймали на аэродроме при посадке на самолет, летевший за границу. «Я верю», — с апломбом прибавляли главным образом женщины, не замечая нелепости, на которую мне сразу указала Анна Андреевна: «Что ж, они думают, он собрался бежать из Советского Союза без Райх?» Всем было известно, как страстно привязан Мейерхольтд к своей жене — актрисе Зинаиде Райх. Между тем арестован был он один, а Райх вплоть до рокового дня ее убийства в собственной квартире оставалась на свободе. Некоторые успокаивали себя мыслью, что система репрессий якобы строго продумана и логична. «Ну что? Что у вас может быть? Вы не крали, не участвовали в оппозициях. Сын ваш — рабочий, устроился на хороший завод, комсомолец. Что ему может угрожать? Не паникуйте». А собеседница, не в силах справиться с тревогой, признавалась — сын скрыл в анкете, что его отец был священник. Потом новые муки: зачем проговорилась, о чем и вспоминать не следует?

Я начала бояться еще до 1937 года. Страх налетал внезапно. В один из таких приступов я изливалась Лене. Она успокаивала меня. Возвращалась я от нее очень поздно. Как всегда, и даже больше, чем всегда, нервничала на улицах. Город показался мне военизированным. В центре мчались с невероятным тарактеньем один за другим мотоциклы. Я шарахалась от них по перекошенным площадям. Вспомнила слова сестры. Она проходила мимо Дома Союзов во время какого-то съезда (или суда?). «Полно шпионов», — сказала она, придя домой. Она не стеснялась в выражениях, потому что помнила Бутырскую тюрьму. В начале 20-х годов наша семья ходила туда на свиданья с нашим родственником, осужденным по процессу эсеров.

Доехав на трамвае до нашей улицы Щипок, я немного успокоилась, но предстояло еще пройти через огромный больничный сад, пустынный и темный. Уже издали я с облегчением увидела свет в окнах административного корпуса. Я подошла к нему как раз в ту минуту, когда с пристроенной крытой галерейки быстро сбежали по лестнице два человека. Я повернула направо, к нашему дому. На крыльце стояли двое. В одном я узнала завхоза больницы, очень любезного поляка, а в другом... но что говорить о другом, если из-за темного угла дома выдвинулась фигура часового с ружьем наперевес, с надвинутым на глаза козырьком фуражки и с жестким ртом. «Это к вам», — осторожно предупредил меня завхоз. — «Ко мне?»

«Вот видишь, Лена», — подумала я с каким-то даже удовлетворением.

Но завхоз уже спрашивает нервно: «Почему не открывают?» «Спят, наверное», — отвечаю, пожав плечами: я очень старалась сохранить достоинство. А чувство было такое, будто после трудного дня я добралась наконец до теплой постели, укладываюсь, но под одеялом встречаю направленный на меня острый нож.

Я повернула ключ в замке, но дверь оказалась закрытой на цепочку. Это уже фокусы соседей. Не шлэйся, мол, по ночам. Когда же наконец дозвонились и достучались, я, все так же стараясь держаться гордо, направилась по коридору к своей комнате, но с удивлением обнаружила, что за мной никто не идет. «Они» остались в прихожей и начали стучать — вот оно что! — в комнату моего отца. Тут я испугалась. «Предупредите его!» — обратилась я к завхозу. Все посмотрели на меня хмуро и насмешливо. Когда «они» вошли

к папе, в передней на деревянном диванчике остался сидеть часовой, вероятно, не тот, который появился из-за угла. Этот оказался простым парнем. Правда, когда я попросила у него огонька, чтобы закурить, он протянул мне коробок спичек и тотчас отдернул руку, будто прикоснулся к жабе: «Не положено». Я разбудила наших. Но, очевидно, у «них» был ордер только на папу, а из-за глупых дряг жильцов и больничных служащих каждому из нас завели недавно отдельные лицевые счета на жилплощадь. Это было очень выгодно нам и совсем невыгодно больничной администрации. В данном случае это спасло меня от обыска. А обыск у папы длился.

Встревоженные и напряженные, мы засновали друг к другу из комнаты в комнату. Вдруг мама своим нежным, мелодичным голосом спрашивает: «Эммочка, как ты думаешь, это не может нам повредить?» — и показывает на экземпляры «Уроков Октября» Троцкого, хранившиеся у нее в комоде. Оказывается, когда мы, взрослые дети, как благо-разумные советские граждане, выбрасывали эти книги, мама их аккуратно подбирала. Как это — уничтожать книги! Что было делать? Выходит, у нее целый склад запрещенной литературы! Каждую минуту, думала я, «они» могут войти к маме, поскольку у нее не было отдельной жировки: обе комнаты числились за папой. Я вырывала из книг плотные листы, мяла их и время от времени ровным шагом отправлялась спускать их в унитаз. Часовой не обращал на мое поведение никакого внимания.

Уже рассвело, а «они» еще здесь. Сидя в своей комнате, с ужасом слышу, как открывается папина дверь, кто-то выбежал на улицу, подъезжает машина... Сейчас выведут папу? Я подсказываю к его двери... «они» исчезли, а папа выходит к нам с глубоким вздохом облегчения, держа руку на груди с левой стороны. Очевидно, искали некий конкретный документ, не нашли и уехали.

Что им было нужно? Папа ничего нам не говорил, а наши предположения вертелись вокруг Кремлевской больницы, но было еще одно обстоятельство. Я уже упоминала о нашем родственнике-эсере. Это Лев Яковлевич Герштейн. Он уже отбыл десятилетний срок тюремного заключения и жил в Сибири на поселении. Его жена время от времени появлялась в Москве и часто останавливалась у нас. Приходя, соблюдала всевозможные предосторожности. «Кажется, я никакого хвоста не привела с собой», — озабоченно говорила она, причем по каким-то признакам всегда была уверена, что ориентирована правильно. Адреса и телефоны нужных людей запоминала наизусть. Записной книжки не имела совсем. Но в доме она разговаривала очень свободно.

В 1936 году она прожила у нас довольно долго. Привезла печальную весть: Лев Яковлевич умер. Она наивно надеялась, что папе удастся устроить в «Известиях» некролог и объявление о смерти бывшего члена ЦК эсеров.

Маргарита Робертовна, латышка по национальности, была эсеркой с юных лет. Она вела революционную агитацию среди рижских рабочих. В партии она познакомилась с Львом Яковлевичем. До самого 1936 года (в 1937-м она исчезла, и мы ничего не могли узнать о ее судьбе, старался ли папа, я не знала) она оставалась живым воплощением типа эсерки. И терминология, и внешность, и манера спокойно говорить о перенесенных страданиях, и умение входить в простые жизненные интересы окружающих — все вместе

делало ее образцом человека высокой внутренней культуры. С выпуклыми голубыми глазами (у нее, вероятно, была базедова болезнь), с гладкими бесцветными волосами и почему-то вставными зубами, хромая, она производила впечатление учительницы. Хорошей учительницы, потому что улыбка освещала все ее лицо. Терминология в ее речи не изменилась с дореволюционного времени. Например, она говорила «публика» вместо современного советского «масса». С беззлобным юмором вспоминала разные эпизоды своей жизни в подполье и ссылках. То расскажет что-то смешное об англичанах во Владивостоке, то о трогательно-примитивной жизни сибирских крестьян, где она жила в ссылке в царское время. Гораздо страшнее были ее рассказы о тюрьме начала 20-х годов, где ей отбили почки и выбили зубы (вот откуда вставная челюсть). Эпически описывала она женщину-следовательницу. Она вызывала солдат, которые избивали арестованных у нее на глазах. Она смотрела «и делалась такой красивой, вы не можете себе представить». «Она была садисткой, ее скоро убрали с этой работы», — миролюбиво прибавляла Маргарита. А Льва Яковлевича, когда он сидел, изводил часовой. Без перерыва поворачивал он в коридоре выключатель от электрической лампы, освещавшей камеру. Мельканье света изводило заключенных. Маргарита полагала, что часовой делал это от скуки, но можно думать, что это был умышленный прием. Она так мало говорила о перенесенных ею страданиях, что только из одной ее случайной реплики я узнала, что она сумела отбыть какой-то срок в лагере. Когда это было, я не успела определить. Во всяком случае в 1922 году, когда был суд над эсерами, ее в Москве не было. Теперь, в 30-х годах, Маргарита нередко рассказывала о том, как жили осужденные эсеры. В тюрьме они сидели по двое в камерах. Они так надоедали друг другу, что подавали просьбы о переводе в одиночку.

Рассказывала об условиях сибирской ссылки эсеров после выхода из тюрьмы, то есть в первой половине 30-х годов. Они болели, ходатайствовали о перемене местожительства из-за климата, но безрезультатно. Лев Яковлевич тоже хлопотал, но и ему было отказано в переезде. В ссылке он работал на очень ответственном посту, но страдал от постоянного неусыпного надзора. Однажды он так разозлился, что, увидев на улице идущего ему навстречу шпика, показал ему язык. Вместе с тем Маргарита уверяла, что мужа боялись все взяточники и воры, потому что он был хранителем государственного золотого запаса (кажется, в оренбургском банке?) и славился своей неподкупной, даже прямолинейной честностью. Я верила этому, потому что помнила еще старые семейные истории о его нраве. В отрочестве, когда он жил дома, на Украине, в каком-то местечке, он сидел однажды у окна и читал. А напротив на той стороне улицы загорелся дом. Его тушили. Юноша ничего не слышал. А когда дочитал, увидел: вместо знакомого дома напротив — пожарище. Такова была семейная легенда.

Выйдя на поселение после тюрьмы, очевидно, в начале 30-х годов, он жил с женой сначала в какой-то деревне. Маргарита говорила, что в их сибирское село приезжали по санному пути молодые крестьяне километров за шестьдесят-семьдесят. Спрашивали, что надо делать. Они были готовы на политическую борьбу. Но эсеры отговаривали их от действий, уверяя, что борьба бесполезна и приведет только к новому кровопролитию и напрасным жертвам. Маргарита, сокрушаясь, добавляла, что молодежь в деревне спивается.

Может быть, я не соблюдаю хронологическую последовательность в чередовании этих рассказов. Дело в том, что я мало интересовалась политической борьбой эсеров. Я была к ним равнодушна еще с тех пор, когда Лев Яковлевич, увидев у меня, шестнадцатилетней, книгу «Так говорил Заратустра», немедленно откликнулся: «А ты прочла уже, как Ницше пишет “ты идешь к женщине, возьми с собой плеть”? Тебе это нравится?» Мне показалось это старомодной узостью взгляда. Дальше любимых им «Исторических писем» П. Л. Лаврова Лев Яковлевич, по моему тогдашнему мнению, ничего не видел.

Овдовев, Маргарита довольно долго жила у нас. Вероятно, после смерти мужа в Москве у нее были дела. С кем она виделась, нам было неизвестно. Но дома она охотно говорила на политические темы. От нее я впервые услышала, как Сталин подбирался к власти, постепенно заменяя на местах весь партийный аппарат своими людьми. Разительным примером был Урал, на который Троцкий полагался как на свою цитадель. Но когда приехал туда выступать, не нашел ни одного из прежних партийцев. В Москву на съезд приехали уже совершенно новые делегаты, и голосование в пользу «генеральной линии» было предрешено. Так приблизительно она рассказывала.

Однажды, сидя со мной на диване, она рассуждала о бесполезности политической борьбы в настоящий момент. «Кокнуть Сталина, конечно, можно, но...» На этой фразе дверь открылась, и в столовую вошла наша домработница Поля. Я вздрогнула, испугалась, а Маргарита, не меняя ленивой позы, закончила фразу на той же интонации, тем же ясным голосом: «...так что вы, Эммочка, покупайте этот шелк, не сомневайтесь. Разве вы не заслужили новое платье?» Когда Поля вышла, Маргарита дополнила свой наглядный урок наставлением: «Никогда не подавайте виду, что вас застали врасплох. Нельзя также ходить крадучись, нельзя беспокойно оглядываться».

А мы с Евгением Яковлевичем понижали голос, опасаясь соседей и считая себя уязвимыми из-за дела Мандельштама. Между тем беды постигали именно окружающих, мы еще не понимали почему. У моей невестки Нади (жены старшего брата) на все такие случаи было одно объяснение. Каким образом, например, угодила в лагерь девочка из честной трудовой семьи? Ответ был прост: из-за неподобающих знакомств с иностранцами. Сама Надя работала участковым врачом в районной поликлинике и жила впечатлениями каждого рабочего дня: что сказал «Гришка», то есть заведующий поликлиникой, или «Райка» — коллега-врач. Это было главным в ее рассказах о работе. Она тянула своего мужа в бытовое болото, но его не интересовало ничего, кроме своего дела. Он строил электротехническую часть метрополитена с энтузиазмом изобретателя и высокого специалиста.

Мой младший брат учился на одном из последних курсов Высшего технического училища имени Баумана. В это время инженеров готовили по ускоренной программе: шла индустриализация страны, не хватало специалистов. А мой брат по характеру своему изучал любое дело досконально. Он не шел сдавать зачеты, пока не подготовится основательно. За это его травил студенты. Именно по настоянию комсомола и студенческого самоуправления он был исключен из училища за «саботирование реформы высшей школы». Так он и работал лет пятнадцать инженером без диплома, пока в сорокалетнем возрасте не поступил опять в вуз и окончил его, начав с первого курса. Вся эта история сделала его психику чрезвычайно ранимой. Наша Надя взяла власть и над ним.

За эти годы она стала законченной сталинисткой. По моему глубокому убеждению, главной социальной базой и моральной поддержкой власти Сталина были городские советские служащие. Я тогда уже понимала, что место, занимаемое ими в структуре тогдашнего общества, было аналогично месту мелкой буржуазии, которая, по марксистскому политическому анализу, поддерживала фашистские режимы в Италии и Германии.

Мне запомнились кадры кинохроники первомайского парада, когда появившаяся в небе воздушная эскадрилья в сочетании с наземными войсками создала впечатляющую картину военной мощи Советского Союза. Присутствовавший на параде один из высоких японских военачальников не мог скрыть внутренней дрожи и завистливого восхищения, а Ворошилов, подойдя к нему для прощального рукопожатия, в свою очередь не мог скрыть торжествующей улыбки. Подобные кадры преисполняли гордостью нашу Надю. Особенно импонировал ей приезд Идена в Москву для переговоров со Сталиным. «К нам едут», — повторяла она. Если английский премьер приехал сюда первым, значит, считала она, он явился на поклон. «Это европейцы, деловые люди, вот и все», — заметил по этому поводу Николай Иванович Харджиев.

Другая наша родственница, Ида, принадлежала к малоинтеллигентной среде. Отец ее был владельцем часовой мастерской, и жили они в помещении за магазином. Это положение ее угнетало. Окончив гимназию, она не могла поступить на Высшие женские курсы и стала, как это водилось, фармацевтом. Только после революции она смогла окончить медицинский институт и получить диплом врача. Не было границ ее удовлетворенной гордости. Она по праву считала, что стала «человеком» благодаря советской власти. Но в 1936 году ей пришлось первой из нашего окружения столкнуться с арестами, судами и тюрьмой.

Квартиры у Иды не было. Она жила в бывшей дворницкой, то есть в деревянном домике без удобств и даже без канализации. Это вынудило ее вступить в фиктивный брак с одним инженером из Вильно, который работал на строительстве нового дома и, как застройщик, получил квартиру в подвале. К несчастью, инженер был человек несдержанный и однажды на работе сказал в сердцах: «Ах, разве с русским пролетариатом можно что-нибудь сделать?» На него сейчас же донесли, и наша родственница получила боевое крещение, нося передачи, посещая тюрьму для свиданий со своим фиктивным мужем. Она присутствовала и на суде. Нет, это не было временем Особых Совецаний и троек, побоев и пыток в застенках. Инженера судили обыкновенным народным судом, но это не помешало ему пробыть в лагерях и ссылках двадцать лет. На этих открытых судах Ида наслушалась и насмотрелась на быт заурядных московских людей. Вот жена, ревновавшая мужа, донесла на него, что он, мол, читая «Правду», улыбался. Вот соседи дружными усилиями топили «жиличку». Они подсмотрели, что она читала только классиков, пренебрегая советской литературой. И вот ее уже судят за антисоветские настроения. И как странно: кузина Ида, обязанная высшим образованием советской власти, сумела рассмотреть ее угрожающие тенденции, а невестка Надя, происходящая из очень интеллигентной семьи, сумела в несколько лет растерять все ее духовные заветы. Она превратилась в типичную городскую обывательницу-сталинистку.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Каждый январь в договорных работах бывает перерыв перед новым бюджетным годом. С официальными направлениями из Литературного музея, которые мне любезно предоставлял Бонч-Бруевич, я поехала обследовать ленинградские архивы — Пушкинский Дом, Публичную библиотеку и хранилища, подчиненные Главному архивному управлению. Поездка обещала быть интересной. Было где остановиться — я вспомнила о родственниках, живущих в Ленинграде. Мне предстояло явиться к Эйхенбауму и похвастать своей добычей из Военного архива (ЦГВИА) в Москве. Я знала, что встречу с Рудаковым, он уже вернулся из Воронежа. Наконец я увижу Ахматову и этим утолю свой душевный голод. Но как я встречу слевой? Я надеялась, что у него хватит ума не быть дома, когда я приду к Анне Андреевне.

В условленное время я постучала в квартиру Пуниных. Дверь открыл Лева. Он бросился ко мне и, не дав снять шубы, стал осыпать поцелуями лицо, плечи, ноги: «Кая я рад, как я рад».

Он учился на третьем курсе Ленинградского университета. Как удалось ему восстановиться, я не знаю. Впоследствии мне сказали, что благодаря хлопотам Николая Николаевича Пунина. На Фонтанке Лева уже не жил, его впустил к себе приятель по имени Аксель, о котором я ранее никогда не слышала. Лева жил у него до самого ареста в марте 1938 года. Я спрашивала у него, что представляет собою Аксель. «Надо же кому-нибудь быть беспутным. Вот он — беспутный», — отвечал Лева. Пока все не устроилось, Лева был в тяжелой депрессии и ездил куда-то не то в деревню, не то в маленький городок гостить к своему... брату. Да-да, к своему единокровному брату. О его существовании Лева и Анна Андреевна узнали совсем недавно. Это было так. Неожиданно к Ахматовой пришла немолодая женщина — бывшая актриса Театра Мейерхольда Ольга Высотская. Она объявила, что у нее был роман с Н. С. Гумилевым и в 1913 году она родила от него сына. Вот он сейчас войдет — она позвала молодого человека: «Орест!»

Анна Андреевна сразу признала его сыном Гумилева. «У него руки как у Коли», — утверждала она. Лева был счастлив. Ночевал с Ориком вместе и, просыпаясь, бормотал: «Brother». Откуда мне известны эти детали? Понятия не имею. Вероятно, рассказывала Анна Андреевна.

Обедать Лева приходил на Фонтанку.

- ...Мамочка, мне пора принимать пищу...
- ...Лева, не закрывай глаза, когда ты ешь...
- ...А это мое лекарство...

Обеды назывались «кормление зверей».

В первый же день меня пригласили к столу, где собрались все: Николай Николаевич, его жена Анна Евгеньевна с Ирой, Анна Андреевна и Лева. Еще входя в квартиру, я заметила на двери записку «Звонок испорчен» с орфографическими ошибками. «Это ты писала?» — спросила я Иру шутливо, слегка покровительственным тоном, как обыкновенно говорят с подростками. Но эта девочка совсем не походила на обычных детей. Она посмотрела на меня зло, ехидно и промолчала.

Ира хозяйственно осматривала подливку и жаркое, которое внесла на блюде домработница. С этой женщиной Ира дружила и постоянно сидела в кухне на столе, болтала ногами и грызла семечки.

Анна Евгеньевна была женщиной лет сорока пяти, гладко причесанная, с затянутыми висками, но с опускающимися на шею локонами, с грубыми чертами лица. У нее был свой друг, врач «Скорой помощи». За общим столом я его ни разу не видела.

Анна Евгеньевна с Ирой сидели на одном конце очень длинного стола, а Лева с Анной Андреевной на другом. Анна Евгеньевна молча опрокидывала в рот полную рюмку водки и только изредка подавала своим низким прокуренным голосом реплику — как ножом отрежет.

В один из вечеров за чаем Анна Андреевна рассказала, как Лева беседовал на бульваре с проституткой. «Он ее не нанимал», — добавила она неестественным голосом. Лева дополнил рассказ Анны Андреевны, уточняя какую-то примечательную фразу проститутки. «А за такие слова вам дадут десять лет», — раздался мрачный голос Анны Евгеньевны с другого конца стола.

В другой раз по какому-то поводу говорили о бездельниках. Анна Евгеньевна вдруг изрекла: «Не знаю, кто здесь дармоеды». Лева и Анна Андреевна сразу выпрямились. Несколько минут я не видела ничего, кроме этих двух гордых и обиженных фигур, как будто связанных невидимой нитью.

Пунин, познакомившись со мною, удивлялся: «Я думал, вы мадам Рекамье, а вы тихая». Потом предложил: «Выпьем за Эммину тишину».

В одно из моих посещений прибежал очень оживленный Лукницкий. Все были возбуждены, потому что в газетах уже появились огромные полосы, заполненные обвинениями в адрес партийной оппозиции. Их читали, обсуждали и делали вид, что «ничего, это нас не касается, авось пронесет мимо». Может быть, уже начались процессы, не помню точно. Это был январь-февраль 1937-го. Лукницкий острил, что он вне подозрений, совершенно ортодоксален. Пунин, тоже шутя, возразил. «А вот я сейчас докажу!» — вскричал Лукницкий и бросился в переднюю. Он вытащил из своего портфеля том сочинений Ленина и торжественно принес в столовую: только что получил по подписке.

Обед еще не был готов, все сидели где попало, Анна Андреевна в углу на диванчике. Лукницкий сказал: «Я написал роман, который никто не будет читать». Лева не хотел от него отставать и заявил, что он написал рассказ, который никто не будет читать. Даже Пунин вступил в это смешное соревнование и указал на одну из своих статей, которую тоже никто не будет читать. Тогда из угла раздался звучный и мелодичный голос Анны Андреевны: «А меня будут читать».

Подали блюдо с уже нарезанными кусками жаркого. Каждый должен был класть себе в тарелку сам. И Пунин угрожающе вскрикивал: «Павлик!», «Лева!» Не думайте, что он приглашал их угощаться, не стеснясь. Нет. Он «трепетал», как бы они не увлеклись и не положили себе на тарелку слишком большие куски. Пунин содержал большую семью!

Мне удалось сразу взять с ним правильный тон. Зная о его невероятной скупости, я поняла, что его надо как-то ошеломить, и в ответ на приглашение к обеду и на вопрос, что

приготовить, я заказала роскошные по тому времени блюда, в том числе свиную отбивную. Он был в восторге. А когда званый обед состоялся, первое, что он изрек, было: «А Лева уехал в Царское». Ну что ж, будем обедать без Левы. На третье был заказан компот, но Ира опоздала и не принесла его вовремя. Мы пили его уже после окончания обеда, опять сев за стол. Николай Николаевич грозно покрикивал: «Ира!» Девочка молчала, поджав губы. Очевидно, этому обеду предшествовал домашний скандал. Не потому ли Лева уехал в Царское?

Экспансивный, со своим тиком и хозяйственными дрызгами, Николай Николаевич ни на кого не был похож. Он часто сиживал за столом в красном халате и раскладывал пасьянс. А то запирался в кабинете, выходил проглотить стакан чая, приговаривал: «Как хорошо мне пишется, уже целый лист накатал».

Анна Андреевна переводила ему из французских и английских книг по искусству. Она и сама с большим интересом их читала. Она очень любила Валю, соседского мальчика, сына дворничихи. Демонстрировала мне, как они читают хором «Золотого петушка». Так же как, читая Данте три года тому назад с Осипом Эмильевичем, она умеряла свой восторг, стесняясь увлечения стихом. Вид смущенной Ахматовой очень трогал меня.

Анна Андреевна охотно переводила мне французские выписки из архивов.

Если я заставала на Фонтанке Леву, он всегда уходил вместе со мной. В общем, он был в развинченном состоянии. Подвыпив, скандировал за столом: «В Петербурге мы сойдемся снова... В черном бархате январской ночи. В бархате всемирной пустоты...» Анна Андреевна послала его к Лидии Яковлевне Гинзбург за пятьюдесятью рублями (взаймы, конечно). Мы вышли вместе через двор на Литейный. Он только что не плакал от стихов, нервов и водки. Мрачно было. А Лена Осмеркина мне рассказывала в Москве, как весело она только что встречала здесь Новый год, про пивные на Васильевском острове, куда отправилась в компании художников, и все было легко, блестяще, остроумно. Неужели в Ленинграде есть нормальная жизнь? Для меня этот город был окрашен Фонтанным домом. Впрочем, бывший Шереметевский дворец в ту пору никто, ни сама Ахматова, так не называл.

Остановилась я у моей двоюродной сестры лет на двадцать пять старше меня, у родной сестры эсера Льва Яковлевича. Она жила с мужем и двумя дочками-студентками в холодной просторной петербургской квартире в большом доходном доме на Греческом проспекте (сметенном с лица земли во время войны). Муж по виду типичный русский ученый и земский врач одновременно. Как у всех ленинградцев, их квартира была прекрасно обставлена дворцовой мебелью, продававшейся по дешевке в комиссионных магазинах. А в книжных шкафах комплекты «Современника» и «Отечественных записок» — традиции дореволюционного петербургского студенчества. Моя кузина — врач-общественник — предостерегала меня от «черносотенства» Левы. Он ничего этого не замечал, приходя несколько раз ко мне в эту холодную чистоту квартиры идейных разночинцев.

Анну Андреевну положили ненадолго в Обуховскую больницу — для обследования по поводу шитовидки. Я ее навестила однажды вместе с Левой. Ждала своей очереди пройти за барьер, где был прием посетителей, и видела, как Лева нежно льнул к матери, жалел ее, видя в этом больничном желто-буром халате. К ней пришла еще и жена А. М. Энгельгардта — блестящего литературоведа и философа. Это был единственный раз, когда я ее

видела. Она мне понравилась изяществом фигуры, чистотой черт лица и взгляда. Лева называл Энгельгардтов «лучшими людьми России». Они оба умерли в блокаду. Они состояли в каком-то родстве с В. Г. Гаршиным, патологоанатомом, давним почитателем поэзии Ахматовой. Если не ошибаюсь, он познакомился с Анной Андреевной именно тогда в больнице, навестив ее под предлогом устройства консультации со знаменитым эндокринологом Барановым. Может быть, это было и не совсем так, но какая-то связь между пребыванием Анны Андреевны в больнице и ее первыми встречами с Гаршиным была.

Я привела Леву к Рудаковым — моим воронежским знакомым, друзьям Мандельштамов. Теперь Рудаков опять жил с женой в студенческой комнатке коммунальной квартиры на Колокольной улице (в Ленинграде). Сергей Борисович и Лева целый вечер читали стихи, щеголяли знанием Сумарокова, читая его наизусть вслух, обсуждали русский XVIII век. Мы засиделись очень поздно. Когда вышли, Лева меня благодарил за это знакомство. «Я отошел, — говорил он, — а то в университете я совсем заскучал без стихов».

Пройдя несколько шагов, Лева заявил: «Вот вы пойдете по Чернышеву мосту и выйдете на Фонтанку». (Я опять переехала к своим друзьям, жившим близ Аничкова дворца, так как мои родственники не успели меня прописать и очень боялись моих ночевок.) Шел второй час ночи. Я плохо ориентировалась на улице вообще, а ночью тем более трусил, да еще в чужом городе. Я ужасно рассердилась и, поругавшись с Левой, пошла в указанном направлении, в душе робея. Он стал меня догонять и громко звать. Какой-то пьяный, проходя мимо, сказал мне одобрительно: «Так его, так его». Но, взглядевшись в безбородое лицо бегущего Левы, его меховую шапку, смахивающую на капор, и хлопающую по коленям дурацкую куртку, воскликнул: «Да это ж не мужчина, а баба какая-то!» Лева отрезал: «А ты холуй!» Тот сразу замолчал, совершенно обескураженный. Я это запомнила, взяла себе на вооружение и испробовала после войны. Когда пьяный дворник грозился меня убить, я обозвала его точно так же, как Лева. Подействовало безотказно.

Махнув рукой на трамвай, которым он надеялся еще успеть добраться до Коломны, Лева довел меня до дому. Ворота были закрыты. В подъезд нельзя было проникнуть. Дворник в тулупе подозрительно нас оглядывал, допрашивал, куда я иду, а ведь я и там не была прописана. Наконец дворник пропустил меня. Лева ушел, но на мои звонки очень долго никто не откликался. Когда соседи впустили меня в квартиру, я быстро проскользнула в комнату и улеглась на диване, а за портьерой моя хозяйка жеманничала со своим мужем: «Я думала, это Ягодка проклятый».

Ее муж, товарищ моего детства, в эти дни часто выступал на пушкинских музыкальных вечерах. У него был замечательно хорошо подвешен язык, он обладал абсолютной памятью, легко сыпал именами и цитатами, зная всегда, что именно нужно говорить сегодня. В музыку он был влюблен и хорошо ее знал.

Он обладал обаянием внешне культурного, начитанного человека и, владея иностранными языками, часто принимал заграничных гастролеров. Рассказывая о беседе в артистической со знаменитым французским дирижером, он мимоходом вспомнил такую сценку. Подошел к ним один из администраторов Филармонии. Как только он удалился, дирижер понимающе взглянул на моего приятеля и спросил: «C'est un agent de police?» Подобные

отступления от бодрой, заученной повседневной речи советского лектора произносились тихим голосом, будто человек очнулся от наваждения.

Мой преуспевающий приятель рассказал о рабочем-стахановце, которого послали с делегацией за границу. Он был поражен материальным благополучием рабочих в капиталистических странах. Вернувшись домой, он запил и кричал в пьяных слезах: «Обманули! Обманули!» И уж совсем тихо мой приятель коснулся особенности нашей сегодняшней работы: «Вот мы все рассказываем на лекциях, как высочайший цензор мешал Пушкину писать. А у нас что делают с писателями, разве не то же самое?» Но такие мысли наплывали и исчезали, вернее, их старательно гнали от себя.

Моя мать, совершенно не приспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма. Она не могла забыть о нанесенной ей обиде при окончании гимназии в 90-х годах: вместо золотой дали серебряную медаль из-за того, что она еврейка. Держась за свое достоинство советской гражданки, она не замечала нелепостей нашего быта. Взрослые дети, сгрудившиеся в родительской квартире, пытались вести самостоятельное хозяйство каждый в своем углу. Привычным взглядом мама наблюдала, как мой старший брат, тридцатипятилетний инженер, принимал в своей единственной комнате уважаемого гостя. Спавший тут же ребенок заплакал, жена тщетно его успокаивала, брат выбежал с чайником на коммунальную кухню и, выслушав там ехидное замечание соседки и чувствуя за спиной косые взгляды, возвращался к своему гостю, стараясь сохранить улыбку на лице. Глядя на эту напряженную и жалкую процедуру, мама неожиданно для себя очнулась. «В старое время, — вздохнула она, — Боря был бы несколько раз за границей, совершенствовался бы в своем деле, дома имел бы свою квартиру, где жил бы, как полагается уважаемому главе семьи». И уж совсем робко она высказалась после одного выдающегося события в нашей музыкальной жизни. По каким-то политическим соображениям в консерватории два раза прозвучали запрещенные «Колокола» Рахманинова и «Страсти по Матфею» Баха. Мы слушали «Страсти». Уже дома мама как-то робко сказала: «Как теперь звучат эти слова — “И предаст брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их”». Особенное впечатление произвела на нее сцена предательства Петра, когда он, осознав свое падение, «вышел вон, плакал горько».

Отец мой, вообще говоря, вел себя как член ЦК, то есть не позволял себе никогда, даже дома, критиковать советскую власть или толковать о членах правительства, которых ему приходилось лечить. Он только жалел их, замечая, как они одиноки — боялись друг друга. Он одобрял реконструкцию Москвы, радуясь расширению проезжей части — ведь он ездил на машине. Я, как уже говорилось, с ума сходила от бесформенности новых площадей. А. А. Осмеркин, пожимая плечами, говорил насмешливо: «Харьков». Лева не сравнивал древности обоих городов, но заметил: «Мало ли в России пустырей». Я предупредила его, что у нас за столом нельзя так говорить. И когда папа спросил его за чаем, как ему понравилась новая Москва, он ответил нейтрально, так, как я его научила: «Просторно».

Это было очень дурно с моей стороны, потому что я позволила Лева относиться со снисходительным неуважением к моей семье. Он даже заметил, что в нашем доме «чувствуется какая-то пустота». «У нас хоть черти водятся», — сравнивал он наш Щипок с их

Фонтанкой. Это было несправедливо и очень ненаблюдательно. В нашем семействе было достаточно своих чертей и своих ангелов-хранителей, обид и слез раскаяния, жестоких ссор и трогательных примирений.

Папе рассказали, что один из думающих еврейских молодых людей, знакомый еще по Двинску (где я родилась), живет теперь в Москве, устроен, но вот пристрастился к вину, просто-таки пьет... и неожиданно папа сказал тем тихим голосом: «Это его хорошо характеризует. Значит, не удовлетворен».

А когда мой старший брат получил наконец две комнаты в общей квартире служащих Метростроя и невестка Надя рассказывала, как хорошо они ладят с новыми соседями и как те хвалят нашего восьмилетнего Сережу за то, что он уже выносит мусорное ведро и всегда тушит свет в уборной, папа вздохнул: «Ужас, какое мешчанство».

Через десять лет та же Надя была ошеломлена всплывшей антисемитизма в той же квартире, в эпоху так называемой борьбы с космополитизмом. В 30-е годы, несмотря на то что тридцать седьмой год так жестоко ударил по евреям-коммунистам, в быту антисемитизм формально был еще изгоняем. Один случай заставил меня задуматься обо всем этом.

Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного, который недавно вернулся из астраханской высылки. С собой он привел приятеля, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Он жил в буржуазной Латвии. Почему оказался в Советском Союзе, не знаю. Я шутовски спрашивала: «Вы гонимые?» Оба отрицали это и даже обижались. Туган-Барановский рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи — для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах. А ведь я могла не удивляться. Когда в лето 1914 года мы тоже жили на Рижском взморье, в Дуббельне, рядом, в Мариенгофе, владелец этой территории запрещал селиться там евреям. Однако с началом первой мировой войны черта оседлости в России была отменена.

Но вернемся в Ленинград, в февраль 1937 года. Я пришла к Лева в гости полюбоваться его холостяцкой комнатой. На стене — портрет Гумилева, принадлежащий Акселю. Его же противная грязная кровать. Лева спал на полу на медвежьей шкуре, уверял, что каждый день она вытряхивается во дворе. Сомнительно. В ящике комода валялись две заржавевшие вилки и такой же нож. Аксель отсутствовал, я с ним столкнулась в коридоре, уже уходя. Больше никогда в жизни я об этом Акселе ничего не слышала. Кстати, года два спустя, разбирая чей-то архив, я натолкнулась на дореволюционную открытку от Н. Ключева, на которой поэт указал свой петербургский обратный адрес. Это была та же квартира по Садовой.

Мой приход туда совпал с днем столетия гибели Пушкина. Только в Москве я узнала, что Анна Андреевна провела его в полном одиночестве. Вечером на Фонтанку пришла В. Н. Аникиева и застала ее одну дома, очень грустную. Ахматовой даже не прислали приглашительного билета на торжественное заседание 10 февраля. Я узнала об этом у Осмеркиных и горько сожалела, что не навестила ее в тот вечер, вместо того чтобы проводить время с Левой в этой гадкой комнате.

От поездки в Ленинград у меня остались смутные, но очень насыщенные воспоминания. Там все было другое, чем в Москве, начиная от низких ступенек трамвайных вагонов и ровной линии рельсов на плоской, как будто вдавленной в землю мостовой. Высокие и широкие окна с ровными переплетами рам. Большие, холодные квартиры ленинградцев с перегородженными комнатами. Каменные полы и голландские печи в Архиве, помещавшемся в бывшем здании Сената. Сквозняки в домах и на площадях. Метанье под ленинградским ветром и вьюгой на Исаакиевской площади. Втискиванье себя на Невском в трамвай, пустеющий по мере приближенья к Мальцевскому рынку. Чувство зверского голода из-за полного отсутствия столовых в городе. Какая-то тоска на Фонтанке. Недовольство Левой. Еще из Ленинграда я писала Лене: «Ты для меня самый интересный человек... Лева живет здесь очень обыденно... С Анной Андреевной иногда не знаю, о чем говорить». И вместе с тем постоянное чувство удачной работы в архивах — в низком первом этаже Публичной библиотеки, где еще царствовал старенький хранитель — знаменитый И. А. Бычков, называвший меня «госпожа Гершштейн» (а ведь «господ теперь нет!»), в Пушкинском Доме, где в одной картотеке Б. Л. Модзалевского можно было найти кладезь сведений о персоналии пушкинской и лермонтовской эпохи. И наконец, толстенные папки с рисунками Гр. Гагарина в Русском музее. И все — не зря. Каждое обращение к материалу давало чувство роста, потому что это была нетронутая целина. И так весело было приходиться в Эйхенбауму и встречать у него живой интерес и поощрение.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вернувшись в Москву, я продолжала прежний, так увлекший меня образ жизни. Архивы, рукописный отдел Библиотеки имени Ленина, Литературный музей... Однако вскоре я лишилась благоволения Бонч-Бруевича. Что же произошло? Я уже говорила, что в музее я работала в отделе комплектования. Через наши руки проходили материалы, предлагаемые музеем для приобретения. И вот как раз через меня стали поступать рукописи Сергея Антоновича Клычкова. Приходили они частями. Проданы были также и некоторые письма к нему знаменитых и именитых людей, в частности письмо от Ворошилова. Но все это приносил не сам Клычков, а поэт Пимен Карпов.

Очень расположенная к Клычкову, я пришла к нему спросить, поручал ли он Пимену Карпову продавать свои рукописи. Мое известие произвело ошеломляющее впечатление. Оказывается, нищенствующий и бродяжничающий Пимен Карпов постоянно ночевал у Клычковых, и стелили ему на сундуке, где хранились рукописи. Вот он оттуда и таскал украдкой бумаги Клычкова и понемногу продавал их в музей. «Только что, — восклицал Клычков, — я собирался пойти в “Красную новь” и говорить там о дружбе и доверии, необходимых в нашей писательской среде! Теперь не пойду».

Тогда-то и выяснилось, что Клычковы слегка уязвлены исчезновением Левы. Сергей Антонович как-то неуверенно спросил меня, правда ли, что Лева Гумилев в Москве. Пимен Карпов утверждал, что видел его в читальном зале Ленинской библиотеки. Клыч-

ков облегченно вздохнул, узнав, что это недоразумение: Лева, как мы знаем, не приезжал из Ленинграда. Но не удосужился известить о своем восстановлении в Ленинградском университете не только меня, но и Клычковых. Хорош был, однако, и сам Клычков. Он пошел в Литературный музей и устроил там грандиозный скандал. Это он сделал, не согласовав со мной, и, очевидно, открыл источник своей информации. Бонч-Бруевич и воспитанные им секретарши поняли, что в моем лице они получили сотрудника, не умеющего хранить ведомственные тайны, или, если угодно, секрет фирмы. Впрочем, может быть, до Бонча дошло, что я была причастна к делу Мандельштама?

Когда мне сказали, что музей не располагает более средствами, чтобы заключить со мной договор на следующий квартал, я настойчиво стала добиваться приема у директора. Но в течение месяца, кроме «Владимир Дмитриевич занят» или, что еще хуже, «подождите», а после трех часов ожидания «Владимир Дмитриевич уже уезжает», — ничего не добилась. Я поняла, что моя карьера в этом учреждении оборвалась навсегда.

Зато в Ленинской библиотеке мои дела пока шли хорошо. Там у меня была более интересная работа, чем в музее. Так, я почти целый год занималась разборкой и описанием огромного фонда Елагиных. Хозяйка знаменитого московского литературного и политического салона Авдотья Петровна Елагина была окружена многочисленным семейством. Старшие ее сыновья от первого брака (братья Иван и Петр Васильевичи Киреевские, как известно — вожди славянофильства) и остальные дети от второго брака (студенты Елагины и младшая дочь Лиля) постоянно переписывались. Особенно часто молодежь писала отцу в деревню, подробно рассказывая, кто был у них в очередное «воскресенье», кто, что и как говорил, о чем спорили. Так я прониклась духом московской духовной жизни 40-х годов прошлого века, представляя себе обстановку этих собраний в живых красках. Но до того как я надолго погрузилась в атмосферу московских интеллектуальных споров, мне поручали для обработки другие фонды, меньшего объема. Среди них была коробка, может быть, отколовшаяся от большого архива историка С. М. Соловьева. В ней были его незавершенные рукописи и переписка. Вероятно, эту коробку никто до меня еще не открывал, потому что я обнаружила там два ценных неопубликованных письма. Одно от Н. А. Некрасова, другое от Льва Толстого.

В Ленинской библиотеке установился обычай предоставлять право первой публикации тому, кто нашел неизданный документ. Это правило кажется мне неразумным. Во-первых, никакой заслуги нет в том, что без всякого предварительного труда мне, например, посчастливилось первой протянуть руку и вынуть из коробки драгоценные письма. Во-вторых, чтобы комментировать письмо Некрасова о печатании в «Современнике» статьи Соловьева или запрос Л. Н. Толстого о некоторых подробностях царствования Петра I, надо досконально знать предмет. А стоит ли погружаться в специальную литературу ради одной эпизодической публикации? Обычно неспециалисты отделяются общими местами, списанными из уже напечатанных работ. Эта перспектива меня не увлекала, и я, к удивлению окружающих, отказалась от публикации письма Толстого. А за письмо Некрасова взялась. Но и тут оказалось, что без квалифицированной помощи мне не справиться с этой задачей. Я попросила Евгения Яковлевича хотя бы оснастить мой комментарий словами из обязательного марксистского лексикона, но он тоже не был силен в этом жанре. Однако с легкостью надиктовал мне

какие-то общие фразы, но они были так поверхностны, так мало вскрывали сущность дела, что в полном отчаянии я поехала к Николаю Ивановичу Харджиеву. Мне уже давно хотелось встречаться с ним не только у Надежды Яковлевны, где он всегда приветствовал меня очень дружелюбно. Однажды я даже попросила Леву прийти ко мне вместе с ним. Это было уже поздней осенью, очевидно, 1936 года. Оба приехали в летних полотняных туфлях за неимением другой обуви. Тем не менее были очень веселы. Теперь, спустя полгода, я поехала к Харджиеву в Марьину Рошу показывать ему наметку комментария или вступительной статьи к публикации неизвестного письма Н. А. Некрасова. Он просмотрел ее и стал задавать вопросы. Как вообще проходили в некрасовском «Современнике» исторические статьи? Часто ли печатались такой материал? Что представляла собой статья С. Соловьева, о которой шла речь в письме? Была ли она напечатана и когда? Почти ни на один из этих вопросов я не могла ответить. «Уберите с моего стола этот вздор», — сказал Николай Иванович в заключение. Программа работы для подготовки публикации была им начертана. Да и вообще приоткрылась дверь в мир исследовательской работы, совершенно незнакомой публицистам, пропагандистам и авторам исторических романов.

Я стала работать в читальном зале Ленинки. По мере накопления нужных данных приезжала советоваться с Николаем Ивановичем. (В один из таких приездов я и встретилась с бежавшими от шпиков Мандельштамами.) Оказалось, что в специальных трудах, посвященных некрасовскому журналу, вопросам русской истории уделялось еще очень мало внимания. В конце концов у меня была готова статья «Русская история в “Современнике” Некрасова», которая заканчивалась новонайденным письмом. Когда она была напечатана, Евгений Яковлевич отозвался о ней скептически: само письмо было загнано в конец статьи. Да, она была сделана не по-журналистски, но зато новый материал был правильно осмыслен.

Николай Иванович стал для меня самым необходимым человеком. Я терпела его капризы и причуды, знала, как с ними обходиться, и была вознаграждена общением с образованнейшим человеком оригинального ума, уже много сделавшим в литературе и влюбленным в свою работу. Он тогда готовил своего неизданного Хлебникова. Это требовало каких-то сверхспособностей — тонкого текстологического анализа и наития, бешеного трудолюбия и окрыленного натиска.

Приближалась шестидесятая годовщина со дня смерти Некрасова. Николай Иванович посоветовал мне снести мою статью в журнал «30 дней». «Безусловно напечатают», — утверждал он. Так оно и вышло. Статья появилась в первом номере журнала за 1938 год. Не дожидаясь его выхода, я поехала сразу после Нового года в Ленинград — работать в архивах.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В первый же день в Ленинграде я пошла к Анне Андреевне. Конечно, Лева был там и ждал меня, конечно, он пошел меня провожать («Как я рад, как соскучился, я уже хотел ехать в Москву»). Мы пошли на Васильевский остров. Осмеркин дал мне ключ от своей мастерской в Академии художеств, а сам оставался еще в Москве. Я там хорошо жила,

никто нам не мешал. Лева повзрослел, поумнел, ему уже было двадцать пять лет. И разговоры стали интереснее. «Я целый народ открыл за Байкалом», — радовался он. А я тревожусь в ожидании моей первой публикации — не пропустила ли я что-либо в верстке?

В университете Левины дела теперь были хороши. Староста курса подошла к нему, посмотрела на него («своими черными глазами — она еврейка») и предложила напечатать статью в курсовом журнале. Он охотно согласился. Говорили мы о Мандельштамах. Ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как Осип Эмильевич приехал в Ленинград за денежной помощью. Лева не совсем одобрительно отозвался о нем: «Слишком цепляется за жизнь». Мы недостаточно хорошо понимали, что последние месяцы жизни Мандельштама на воле были уже его агонией. Поэт чувствовал верхним чутьем, что он погибает, но не хотел этого знать. Все его поступки в этот год были не поступками, а судорожными движениями.

Разговор перешел на религиозное чувство смерти. Лева говорил о монистическом сознании Мандельштама, а христиане — дуалисты. Дух — это одно, плоть — другое. Только при таком понимании могло и явиться учение о бессмертии души.

Каждый день кроме архива я ходила один раз к Эйхенбауму, другой раз к Рудаковым, третий — на Фонтанку к Анне Андреевне. В конце недели мне предстал совершенно свободный вечер. Я звоню Лева, зову его прийти пораньше и слышу ошеломивший меня ответ: «Я не могу, я иду в гости». — «Как это в гости?!» Я прямо зашлась от негодования и обиды. Чем дальше, тем больше. Удовольствие — сидеть в чужом городе, в пустой мастерской, в полном одиночестве. Я была вне себя. Наконец ему пришлось сказать: «Ну, я не в гости иду, я иду в церковь». Оказывается, дело было 6 января, то есть в Сочельник. Я хорошо знала эту дату, но тут, в Ленинграде, потеряла счет дням. Потом, когда мы помирились, он меня нежно корил: «Эх, заставила меня по телефону сказать про церковь».

Да, опасности подстерегали его со всех сторон. Прочел мне свои стихи из какой-то поэмы или даже исторической трагедии: «Наши руки сильны...» — и так далее, я не помню слов, это был какой-то монолог пленного воина. Рассказывал: «Ребята кулаки сжимают, когда я им это читаю». Вот как, он студентам такие свои стихи читает. У меня холодок пробежал по спине. Это уже не те шалости, о которых он мне рассказывал еще в Москве. Студенты распевали хором стишки, обращенные к их командиру, ведущему в университете военное дело. В те годы обращение к такому чину в Красной Армии было, кажется, «товарищ командир». Ну а Лева сочинил: «Господин полковник Мей, Водки ты себе налей..... И селедок не жалея». Или куплеты с припевом: «Шабаша нам нужны». Упомянул он об одной востоковедке. Она его учит японскому языку, а он ей за это читает стихи Анненского, Гумилева и Ахматовой. Не понравилось мне это. Вообще, как он тут живет, я не спрашивала. Правда, в Москве в первые годы я как-то спросила, с кем он видится в Ленинграде. Он назвал имя какого-то детского писателя. «Хороший писатель?» — «Нет, плохой». Бывал также у одного художника. «Хороший художник?» — «Нет, плохой». Посещал какую-то даму. «Интересная?» — «Нет, не очень». — «Левушка, почему ж такие бесцветные знакомые?» — «Таких Бог послал».

Впрочем, мне смутно помнится, что Лева навещал Евгения Павловича Иванова — друга Блока. Если это так, то шестидесятилетнего человека, вероятно, связывал с юношей Гумилевым общий интерес — религия, вернее, православие. Может быть, они были прихожанами одной церкви и там встречались.

Теперь в мастерской на Васильевском острове Лева в свою очередь спрашивал меня, как я живу в Москве, но спрашивал ревниво, а я уклонялась от ответов на примитивные вопросы. Он часто глубоко задумывался: «Какой у нас длинный и благополучный роман — целых четыре года». «Это не роман, — возражаю. Объясняю: — Мы редко видимся, поэтому между нами не стоит ничего раздражающего, повседневного. Если бы мы жили в одном городе, все было бы иначе». А он будто и не слышит, думает о своем и вот о чем заводит речь: «Как глупо делают люди, которые рожают детей от смешанных браков. Через каких-нибудь восемь лет, когда в России будет фашизм, детей от евреев нигде не будут принимать, в общество не будут пускать, как метисов или мулатов».

В другой раз, лежа в дальнем углу на кровати Осмеркина, молчал, молчал и проронил: «Я все думаю о том, что я буду следователю говорить». А я, как всегда, не задаю вопросов.

Прошло недели три. Я стала собираться домой. Лева просил меня остаться еще. «Не могу, — отвечала я, — в ленинградских архивах все уже сделано». А на самом деле у меня денег больше не было. Не могла же я сказать об этом Лева, у которого с Акселем была одна рубашка на двоих.

Тут приехал Осмеркин. Он меня пригласил: «Поживите у меня в гостях». Я, конечно, согласилась. Мастерская большая, помост ее перегораживает. Александр Александрович меня кормил. Неплохо мы с ним жили. Он человек шумный, открытый, компанейский. Вечером гостей приглашал. Лева приходил ко мне днем, когда Осмеркин был в академии.

Позвали мы с Александром Александровичем Анну Андреевну вместе с Пуниным. Я заехала за ней. Пунин должен был прийти прямо из академии. Мы с Анной Андреевной много прошли пешком через один из больших садов, потом по Невскому. И опять я остро чувствовала город. Эту плоскую мостовую, мягкую зиму, серое небо, влажный ветер и необычайно угрюмые, озабоченные, даже изнуренные лица прохожих. Анна Андреевна никого не замечает. Она думает о своем, вернее, продолжает какой-то разговор сама с собой. Мы идем по бульвару Большой линии, а она говорит о Блоке, о моем любимом стихотворении «Своими горькими слезами...». Анна Андреевна сердито и остроумно ругает его. «Какое противное стихотворение, — говорит она. — Скажите пожалуйста, она плачет и клянет его, а он — “но ветром буйным, ветром встречным мое лицо опалено”». С непередаваемым юмором, даже сарказмом, она цитирует заключительную строфу, комментируя: «Какое мужское самодовольство: “Не знаю, я забыл тебя”». Вероятно, Анна Андреевна думала в эти дни о Пунине — не далее как осенью того же года они окончательно разойдутся. А еще недавно в Москве, долго говоря о нем, она как бы вскользь заметила: «...которому я так надоела» — и провела рукой у горла.

Мне рассказывал Харджиев, как в том же январе 1938 года в Ленинграде Пунин прочел свой новый рассказ о любви. «Вы думаете, это про меня? — спокойно обратилась Анна Андреевна к Николаю Ивановичу. — Это совсем про другую женщину». Но когда

мы ужинали в мастерской Осмеркина, никаких шероховатостей между Пуниным и Ахматовой не было заметно.

Напротив мастерской был рынок, кажется, Андреевский. Я там что-то купила, приготовила закуску под водку. Сделала это неумело, но все отнеслись ко мне снисходительно. В разговоре вспомнили Леву, говорили о нем как о мальчишке. Я подло поддерживала этот тон. Когда они уходили, я состригла: «Александр Александрович, вы пойдите проводить гостей, а я пока уберу наше гнездышко». Прибраться в этом гнездышке было невозможно. Прямо на полу в углу возле печки была сложена поленица дров, сборная посуда хранилась в простецком деревянном шкафу, выкрашенном в черный цвет. Над изголовьем железной койки висел огромный амур, на котором под слоем пыли поблескивала позолота, и так далее. Но пошутила я неосторожно, забыв о миазмах, пропитывавших атмосферу вокруг Ахматовой, так же как раньше у Манделштамов в Нащокинском. Каждое слово подхватывалось и фигурировало в пересказе в нужном контексте. Имею в виду только сферу личных отношений.

На следующий вечер был у нас Лева. Он пришел с приятелем-ровесником Вовкой Петровым (в будущем известным искусствоведом). Очень розовенький мальчик. В хорошеньком тепленьком пальто с дорогим меховым воротником. Чем больше пил, тем бледнее становился. Наконец стал белым как скатерть. Когда они ушли, мы хохотали, представляли себе, как Вова в других разных случаях выглядит. Осмеркин повторял: «А он все бледнеет и бледнеет...» Хохотун на нас напал. А ведь юноше, вероятно, просто нельзя было пить. Я говорю: «А у Левы какой землястый цвет лица по сравнению с Вовой, прямо испитое лицо». — «Что ж вы хотите? Ведь он прошел огонь, и воду, и медные трубы». Не знали мы тогда, что это только начало Левиного пути, самое страшное еще впереди. «А что это за клок у него висел на куртке?» — «Это его старая-старая куртка, из нее вата вылезла». — «И никто не зашьет?» Осмеркин все возвращался к внешности Левы, оценивал ее как художник: «У него капризная линия рта, как у Анны Андреевны».

Ни с того ни с сего Осмеркин вздумал ухаживать за мной, и очень настойчиво. У нас с Леной этого не водилось никогда: ее муж был для меня как брат или родственник. Но у него в это время были какие-то счеты с женой. Недаром он меня уговаривал: «И с Леной будут интереснее отношения». (Может быть, ему было бы интереснее, но мне эта перспектива была совсем неинтересна.) Мой равнодушный отказ его обидел, и, увы, он стал с тех пор моим врагом, и это имело для меня неприятные последствия.

Пора было ему в Москву, и, естественно, я с ним уезжала. Накануне отъезда условилась слевой, что он придет в 10—11 часов утра. Он запаздывал, и я с непонятным чувством облегчения решила уйти. Предварительно позвонила Николаю Ивановичу, он остановился у своих знакомых. Я хотела с ним повидаться. Но он стал кривляться, капризничать: «Зачем вы меня разбудили?» Я рассердилась и ушла в Эрмитаж. Сегодня уезжать, а я не успела даже походить по музеям, посмотреть хотя бы Рембрандта. Я ушла.

После обеда у Осмеркина был какой-то художник, скучный-скучный. Пришел Лева — нас провожать. Я ушла с ним за помост поговорить на прощание. Он злился: «Я мчался, торопился, не завтракал, и что же? — поцеловал замок». Говорил бледный, злой, а Осмеркин поглядывал на нас ехидно.

Поехали на вокзал. Лева держал в руках черный жестяной поднос с яркими цветами, который Осмеркин высмотрел и купил на базаре. Когда мы сели в вагон, а Лева стояла на перроне под окном вагона, я вышла на площадку, хотела с ним проститься. А Осмеркин — за мной. Лева увидел — бросился ему на шею с преувеличенной нежностью. Пришлось мне слевой проститься при Осмеркине. Так мне и запомнилось широкое белое лицо Левы, кривая лицемерная улыбка и дурацкая куртка.

В купе Осмеркин дразнил меня под видом сочувствия: «Вы грустная, вам жалко расставаться слевой, да?..» А в Москве говорил Лене: «Эмма так влюблена в Леву! А он даже со мной нежнее прощался, чем сней».

Все-таки я была своей довольна последней встречей слевой, несмотря на неудачное прощание. Шероховатости, неизбежные при его характере — да и при моем, — не заслоняли своеобразного и глубокого чувства, связывающего нас. Когда-то, в юности, я мечтала, что встречу мужчину, который будет опорой, духовным руководителем, другом и защитником. Эта мечта давно была забыта. Не было вокруг меня мужчин, живущих большой и ровной творческой жизнью. Все, с кем можно было найти общий язык, были неврастениками, уставшими и неудовлетворенными людьми или застывшими, подменяющими условными рефлексами движение живой души. А главное — все они были заняты только собой. А если так, то Лева со своими порывами и бестактностями, даже и не претендующий на то, чтобы проникнуть в мою внутреннюю жизнь, был гораздо приемлемее для меня, чем эти странные создания. Он мне был дорог как друг, которого я любила, редко видя. Я любила его мысль, высказываемую всегда с изящным и своеобразным лаконизмом, унаследованным от матери, его мужественную, как у отца, поэтическую взволнованность, благородство, с каким он нес свое тяжкое бремя, сравнимое с исторической судьбой преследуемых малолетних претендентов на престол. Я жалела его и про себя называла почему-то по-французски *victime* (жертва). Впрочем, на этот раз, повторяю, я была обнадеедена, казалось, что и его жизнь и моя меняются к лучшему. Какое странное легкомыслие! Я много раз потом наблюдала подобное явление. Перед катастрофой почему-то охватывает чувство счастья. Например, в ночь на 22 июня 1941 года мне снился особенный, блаженный сон.

Осмеркин опять уехал в Ленинград. Я пришла к Лене ночевать. К ней набежало на огонек несколько знакомых. Мы ужинали, смеялись, веселились. На этой волне мы держались и по возвращении в Москву Александра Александровича. Когда в начале марта Лена опять проводила его в Ленинград, не прошло и двух-трех дней, как она сообщила мне по телефону: «Только что звонил из Ленинграда Шура и велел тебе передать, что Лева уехал». Куда уехал, спрашивать не надо было: это — арест.

Вечером я ринулась к Николаю Ивановичу. Застала его на кухне, одного в пустой маленькой квартире. Он жарил себе картошку. Посадил меня на чистый табурет, выслушал мою новость, вскрикнул, но потом сказал: «Вы знаете, я должен все-таки поесть — я целый день ничего не ел».

Недолго он подкреплялся. Затем повернулся ко мне: «Это его невеста. Вы ведь знаете, что у Левы была невеста?» Мы перешли в комнату. Николай Иванович молчал, думал, смотрел своими огненными глазами. «Он пропал». Я собрала все свои силы: «А какая же

у Левы была невеста?» — «Как же. Он позвал меня и Анну Андреевну и пригласил ее. Это были как бы смотрины. (Николай Иванович вернулся из Ленинграда позже меня дней на десять.) Она в очках, довольно красивая, нам очень не понравилась. Мы ему сказали это, и он как-то очень скоро согласился с нашим мнением. Он за ней ухаживал, но не видно было, чтобы уж так сильно был в нее влюблен. Зато она монгольская княжна. Хоть и монгольская, но все-таки княжна».

Через много лет Николай Иванович напомнил мне о вырвавшейся у меня в тот вечер фразе: «Вы не знаете, Лева мне очень близкий человек». Но я не напоминала ему о его тогдашних словах: «Эмма Григорьевна, вы его больше никогда не увидите». Строго он это сказал.

Он ошибся. Мы видели на протяжении многих лет человека, носящего имя Лев Николаевич Гумилев, но хотя мы продолжали называть его Лева, это был не тот Лева, которого мы знали до ареста 1938 года. Как страдала Анна Андреевна от этого рокового изменения его личности! Незадолго до своей смерти, во всяком случае в последний период своей жизни, она однажды глубоко задумалась, перебирая в уме все этапы жизни сына с самого дня рождения, и наконец твердо заявила: «Нет! Он таким не был. Это мне его таким сделали».

Николай Иванович жил в Марьиной Роще. Возвращение от него трамваем через весь город было длинным, продолжалось чуть ли не час. Я все думала, думала и не могла прийти в себя. Жалость, гнев на ГПУ, а вместе с тем эта невеста... В глубине души я догадывалась, что весь этот спектакль со смотринами был нарочно устроен, чтобы отомстить мне за несостоявшееся последнее любовное свидание. Я была уверена: для того он и пригласил Николая Ивановича, чтобы тот, вернувшись в Москву, тотчас рассказал мне об этом. А он и не подумал. Совсем другие у нас с ним были разговоры.

Приехав домой, я опустила голову на ручку кресла и заплакала открыто, горестно, как не плакала с самого детства.

Вскоре Осмеркин вернулся в Москву и, по словам Лены, говорил: «Анна Андреевна и Анна Евгеньевна так растерялись, что все торопили меня: немедленно сообщите Эмме. А чем Эмма могла им помочь?» Он два дня просидел у них. Анна Андреевна была совершенно в бреду. Все время называла какую-то женщину: «Зина, Зина, что ли?» Моя Елена категорически отказала мне в своем сочувствии. «Все это к тебе не имеет никакого отношения. Эта невеста, Зина какая-то. При чем тут твоя случайная связь с ним? Забудь про все это».

Был март, двадцатые числа. Я с ума сходила, так хотела знать, что происходит в Ленинграде. Между тем меня пригласили в Лермонтовскую комиссию сделать доклад. Николай Иванович помогал готовиться. Заседание было назначено на 9 апреля. Незадолго до этого я встретила на улице Иракия Андроникова, он только что вернулся из Ленинграда. Я была еще в зимнем пальто, а стало неожиданно по-весеннему тепло. Я шла рядом с Иракием, еле-еле дослушала его рассказы о Пушкинском Доме и вдруг спросила: «Вы не знаете, что там слышно с сыном Ахматовой?» Он посмотрел на меня изумленно. Он ничего не знал. И мы продолжали говорить дальше на наши веселые темы. Я изнемогала от жары и тревоги.

В это время Мандельштамы уезжали в санаторий в Саматиху, все еще на что-то надеясь. А Надина старшая сестра Аня тяжело болела в Ленинграде, где она жила в полупетельной комнате в квартире родственника Хазиных. У нее был рак.

В иконе Евгений Яковлевич поехал к ней. Вскоре Анна Яковлевна умерла. Похоронив сестру, Евгений Яковлевич вернулся в Москву. Позвонил мне в тот же день. Как всегда — «увидимся д н я м и , перед вечером я к вам приду». Я не могла ждать. Стала настаивать — сегодня же, сейчас! «Встретимся на улице, я с вами пройду». Он волей-неволей согласился.

В это лето на бульварах сняли все скамейки. То ли их взяли в ремонт, то ли сняли в наказание за то, что москвичи оплакивают бульвары — Сталин вздумал их снести по плану реконструкции Москвы. Поговаривали шепотом, что он боится баррикад. Был такой эпизод: какой-то старичок сидел на бульваре и жаловался, жаловался — неужели и скамейки снесут? Его арестовали за это.

Итак, мы с Евгением Яковлевичем встретились на Б. Дмитровке, пошли ходить по бульварам, он, естественно, был потрясен своей утратой. Все рассказывал и рассказывал, как страдала Анна Яковлевна, как за ней ухаживала Анна Андреевна, как умирающая подарила ей свои бусы и как сестру хоронили: «Только мы трое: Надя, я и Анна Андреевна. Был еще тот дядюшка, но это не в счет». И вскользь, говоря об Ахматовой, Евгений Яковлевич обронил несколько слов: «А так как Левино дело передано в Военный трибунал...» Я покачнулась. Стала его выспрашивать, но он упорно продолжал о своем, не хотел добавить ни одного слова о Леве и все говорил об Ане, которую и я знала и любила, но не могла сейчас о ней думать. Ноги подкашивались. Мне казалось, что я упаду. И мы ходим и ходим по бульвару, и нигде ни одной скамьи.

Так прошло все лето. Я жила воображением, рисовавшим физические пытки и нравственные муки Левы. То вдруг на меня находило облегчение, казалось, что вот сейчас, в эту минуту, ему лучше, что-то произошло. Каждая женщина знает это сумасшествие бессилия, когда сидит кто-нибудь из близких. Только мне никто не сочувствовал.

1 октября 1938 года у Лены в семье произошло огромное несчастье: скорострительно умерла ее двадцатипятилетняя сестра. После похорон мы все сидели в большой мастерской Александра Александровича, поминок не было, у евреев не полагается, и это ужасно. Родители сидели с мрачными, безжизненными лицами, Лена иногда принималась громко рыдать, Шура ее успокаивал. И вдруг, находясь в углу этой большой комнаты, когда я сидела на помосте в другом углу, Лена громко и ясно обратилась ко мне: «Да, Эмма! Лева осужден на десять лет, но московский прокурор опротестовал приговор, он нашел его слишком мягким, так что его, наверно, расстреляют».

Голова у меня закружилась, я вышла в соседнюю комнату. Через некоторое время туда пришла Лена. Я: «Леночка», — но она ответила жестко и громко:

«Я сейчас не желаю об этом говорить. И какое тебе дело? Это не твое горе». Оказывается, для горя тоже существует табель о рангах.

Вскоре в Москву приехала Анна Андреевна — хлопотать.

Нет, конечно, Анну Андреевну я видела в Москве несколько раз до того, как услышала о протесте прокурора. Она пришла ко мне, и по ее требованию мы вместе бросали в мою маленькую кафельную печь Левины письма и стихи. Анна Андреевна опасалась, что

ко мне придут с обыском, а «они» не должны были иметь в своем распоряжении ни одного лишнего слова, хотя бы самого невинного содержания. На такую удочку попадались много наивных людей. «Мне нечего скрывать, я ничего такого не говорю, не пишу и не делаю», — говорили честные советские люди. А «такого» и не надо было «органам». Им бы хоть за что-нибудь уцепиться, а потом ошеломить подследственного именем далекого знакомого или упоминанием совсем мелкого события из его повседневной жизни. Выдержав такое собеседование, допрошенный думал: «Они все про нас знают!» Опытные люди выработали в ответ на это свое правило самообороны: «Они вообще ничего не должны о нас знать».

Анна Андреевна сама кидала в печь Левины письма ко мне — их было не так уж много. Полетело то, которое я назвала уже историческим, описывающее травлю его в университете, и то первое, которое я запомнила из-за выражения «погода плохая, водка не пьяная», и то, которое запомнила моя Лена, потому что в нем Лева с большим пониманием и одобрением писал о пушкинском спектакле, поставленном А. Д. Диким и оформленном А. А. Осмеркиным. С трудом горели и толстые листы из альбома для рисования, это была вся «Отравленная туника» Н. Гумилева, переписанная рукой Б. С. Кузина. Он когда-то одолжил мне этот альбом, но вскоре и его арестовали, рукопись осталась у меня. Теперь она тоже сгорела. Когда было это аутодафе, я не помню точно. Вероятно, уже после того, как я ошарашила Андроникова своим упоминанием об аресте сына Ахматовой, но до того, как Евгений Яковлевич, его мать и приехавшая в Ленинград Надя шли вместе с Анной Андреевной за гробом Анны Яковлевны Хазиной. Осип Эмильевич уже не мог приехать на эти похороны. Он сидел в Бутырской тюрьме.

Ужасный 1938 год казался в моих воспоминаниях гораздо длиннее, чем это было в действительности. Только по некоторым своим документам я устанавливаю, как было спрессовано для меня время в ту пору.

9 апреля я делаю доклад в Лермонтовской комиссии Института мировой литературы. Сообщаю о новых найденных мною документах. Оказывается, друг Лермонтова князь С. В. Трубецкой совсем не тот великосветский хлыщ, стереотипный образ которого создал П. Е. Щеголев в блестящем, но неверном очерке «Любовь в равелине».

Меня называют «поэтом архивов», и я прошу командировку в Алупку, в Воронцовский дворец. Дело в том, что С. В. Трубецкой в конце своей короткой жизни породнился с графом С. М. Воронцовым — сыном пушкинского «полумилорда, полуподеца». Институт (ИМЛИ) даст мне командировку, но только глубокой осенью, уже в ноябре, чтобы, не дай Бог, я не провела на казенный счет лето или бархатный сезон в Крыму.

А в начале октября, как мы уже знаем, я услышала у Осмеркиных о протесте прокурора на десятилетний приговор Лева. До этого протеста у Анны Андреевны было свидание слевой в тюрьме. Она мне рассказывала. Лева сказал: «Мне, как Радеку, дали — десять лет». И еще: «Мамочка, я говорил, как Димитров, но никто не слушал». Он не хотел убивать мать своим видом и надел на шею чей-то шарф, «чтобы быть красивее», как он выразился. Прощаясь, сказал блоковское:

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна...

В течение своего рассказа Анна Андреевна обронила: «Лева вам кланялся». Таким деланно-небрежным тоном говорят дамы при коротком светском визите. Трудно было понять, сказана эта фраза из снисхождения ко мне или из опасения за гордость угнетенного сына. Поэтому когда пришло время отправления Левы по этапу в лагерь и Анна Андреевна дала мне адрес пересыльной тюрьмы со словами: «Теперь вы можете ему написать», я долго сидела перед листом чистой бумаги и не могла найти нужных слов. Потому что любовь моя была поругана. Так я ему тогда и не написала.

Слова утешения я нашла значительно позже, в сороковом году, и я послала их в Норильск. Но до этого утекло еще много воды.

Надя все еще (проклятый 1938 год!) мучается вопросом, за что Осю взяли. Она ночует у меня и все думает, думает: почему же ее, Надю, не арестовали вместе с ним? В последние дни в Саматихе у них в комнате, признается она мне, было какое-то приключение с пришедшей к ним в гости отдыхающей. Гостья была не более не менее как секретарь райкома партии. Если причиной ареста был ее донос, то взяли бы и ее, Надю... Мучается Надя, тоскует.

А я еду в Крым. Поездом до Севастополя. Езды больше суток, может быть, двое суток. Все места, конечно, заняты. Мужчины ходят в вагон-ресторан, возвращаются пьяные. Заводят фамильярные знакомства с попутчицами, но почему-то быстро сорятся с ними. Сварливые люди! Я вне этого всего. Лежу на своей нижней полке и читаю книгу. А мой визави косо смотрит на меня, подозрительно смотрит. Наконец возмущенно произносит: «Разве можно такую книгу читать лежа? Ее надо изучать, конспектировать. Это такая глубина мысли». А дело в том, что я решила эти пустые двое суток потратить на чтение обязательной литературы. И взяла с собою только что вышедшую «Историю ВКП(б)».

В Севастополь мы приехали ночью. Вокзальный буфет был ярко освещен, народу за столиками довольно много, но не слишком. Однако в зале царило странное оживление. Официант был явно возбужден, перекидывался репликами с проезжающими, но главное его внимание сосредоточено на служебном помещении, куда он бегал за едой. Потеряв всякий контроль над собой, он горячо кричал буфетчице: «Ты только ничего не подписывай! Главное — не подписывай!».

Среди пассажиров за столиками много военных — это Севастополь. И во всей этой привокзальной суете выделялись две скромно одетые девушки, вернее девочки, спокойно пьющие за столиком пустой чай. Это были явно местные жительницы, вышедшие на свой привычный ночной промысел. Тоска!

До Алупки мы ехали автобусом. Он тоже был набит военными. Из штатских ехали только женщина с молоденькой дочкой и я. С девушкой заигрывали.

Проехали знаменитые Байдарские ворота. Для меня название служило горьким напоминанием. В 20-е годы, во время нэпа, советские служащие ринулись в Крым и на Кавказ проводить там отпуск. Сколько я помню гордых и самоуверенных секре-

тарш, ездивших к Черному морю «со знакомым». Мой старший брат ездил с женой, а целый год они копили для этого деньги, экономя на трамвайных маршрутах, где оплата была в зависимости от расстояния. По возвращении в Москву с восторгом рассказывали о Байдарских воротах, об удивительном открывающемся оттуда виде. И моя сестра, которую наш отец отправлял в Ялту в дом отдыха Совнаркома, рассказывала о них. И папа рассказывал, когда возвращался с юга, привозя великолепные фрукты и плоды — виноград, груши дюшес, абрикосы, дыни... Я же не ездила никуда, ведь я всегда была безработной.

Въезжая в Алупку, мы уже издали услышали шум. Хоровое пенье, какие-то причитания... Оказывается, в ближайшем доме отдыха был день отъезда одной из групп. Остающиеся устраивали им проводы по установившемуся ритуалу. Плакали, притворно утирая слезы, не давали двинуться машине с уезжавшими — в общем, кривлялись. Другие не участвовали в проводах, а прогуливались неподалеку и пели любимые советские песни. Увы! Это был дом отдыха ГПУ.

Но состав отдыхающих был явно третьеразрядный. На дворе стоял мороз. Женщины гуляли по пустому пляжу в фетровых ботах и зимних пальто, на мерзлых дорожках изредка появлялись одинокие фигуры мужчин в военных шинелях. Об утеси безостановочно и неотвратимо бьет темная и высокая волна. Дует норд-ост. Я смотрю на это грозное море и думаю о «плавающих и путешествующих».

В музее я сижу в большом холодном зале, уставленном высокими застекленными запертыми шкафами. На столе лежат проработанные уже издания из богатейшей воронцовской «Rossica» — коллекции иностранных книг о царской России. Я переписываю от руки письмо Трубецкого, которое опубликовала только через полвека.

Неожиданно за дверями слышится громкий говор. В библиотеку стремительно входит невысокого роста плотный человек, с ним жена. Сотрудник музея достает из шкафа книгу, очень любезно подает ее вошедшему и уходит в соседнюю комнату. Новый читатель, не снимая пальто, стоя разглядывает книгу, бурно радуется, показывает какие-то страницы жене. Затем обращается ко мне, незнакомому ему человеку, и с энтузиазмом объясняет, в чем заключается интерес и значение этой редкой книги. В глазах его светится напор внутренней энергии и доброжелательность к людям. Через минуту я понимаю, что со мной беседует Самуил Яковлевич Маршак. Но он уже порывисто уходит, увлекая за собой жену. Внизу их ждет машина. Очевидно, они в Алупке проездом, возвращаются из Крыма в Москву.

Мне подают письма императрицы Александры Федоровны к сестре Трубецкого, с 1851 года она графиня М. В. Воронцова. Я не могу переписать их самостоятельно — мелкий почерк, скоропись, по-французски. Я не настолько хорошо знаю язык. «Есть ли еще материалы?» — «Есть. Но они хранятся в башне. А кто же туда полезет, когда такой норд-ост!» Бедному жениться и ночь коротка. Моя поездка в Алупку в такое позднее время года оказалась наполовину бесполезной.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В моем распоряжении несколько опорных дат на документах, свидетельствующих о фоне, на котором протекали такие важные события, и общие и мои личные.

1. На копии письма С. В. Трубецкого, снятой мною в Алушке, штамп Воронцовского музея с датой — 17 ноября 1938 года.

2. А уже 20 ноября в том же году я в районном народном суде выигрываю гражданский иск, поданный клиникой ВИЭМа (Всесоюзный институт экспериментальной медицины) на всю нашу семью об изъятии у нас двух комнат. На суде выяснилось, что мы живем не общим хозяйством, а каждый из нас самостоятелен и имеет свою отдельную жировку на комнату. Суд отказал ВИЭМу.

3. Но ВИЭМ подал на кассацию. 30 декабря 1938 года я являюсь к районному прокурору Москворецкого района по его вызову.

Оказалось, прокурор — женщина, злая, кровожадная, грубая. Объявляет, что, как не имеющая никакого отношения к ВИЭМу, я подлежу выселению в административном порядке.

4. Мы все заняты писанием справок о том, что в 1920 году мой отец сдал домоуправлению пятикомнатную квартиру на Малой Дмитровке (теперь улица Чехова), и с этими справками в руках мой отец обходит жильцов этого дома, которые подписывают их как свидетели.

5. В эти же дни я получаю повестку из Пушкинского Дома на 20 января 1939 года. Там я впервые буду читать большой доклад о лермонтовском «кружке шестнадцати». Следовательно, я еду в Ленинград, где, само собой разумеется, побываю у Анны Андреевны. Второй раз в тридцать девятом году я приезжаю туда в ноябре. Но я много раз до того видалась с Ахматовой в Москве. Она приезжала хлопотать о Леве. А «процесс» о выселении длился еще два года и закончился в 1940 году тем, что мы сдали одну комнату.

Больше всего страдали мой отец и я. Отец — морально, а я в постоянном трепете из-за преследований и перспективы поселиться в одной комнате с мамой. Сестра, живущая с мужем и маленьким сыном в одной комнате, практически была в безопасности, хотя и ее таскали по судам и прокурорам. Мой младший брат, в сущности, не жил с нами, так как переехал вместе со старшим братом в его новое двухкомнатное жилье. Он, как говорится, прикипел ко всей этой семье, а комната на Щипке за ним только числилась.

Все они нормально где-то работали, имели соответствующие справки. Я же была совершенно беззащитна. У меня не было удостоверений, которые давали бы мне какие-нибудь права. Меня считали неработающей. Вот уже 10 декабря 1938 года заведующий отделом рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина выдает мне «для представления прокурору Москворецкого района» справку, что я работаю «по договору» над обработкой рукописей и веду самостоятельную научно-исследовательскую работу. Никакой юридической силы такая справка не имела. А другой у меня нет! Вот уже год спустя я получаю отношение в райжилотдел Москворецкого района с просьбой о переводе меня на срочный учет и удовлетворении меня жилплощадью в 1940 году. Это пишет Областное бюро секции научных работников, куда меня, очевидно, приняли в начале 1939 года.

Но членство в секции научных работников имеет деловое значение только для состоящих в штате какого-нибудь научно-исследовательского учреждения.

На заседании народного суда адвокат ВИЭМа, оценив мою бесправность, наседав в своей речи на то, что я не замужем. Он подчеркивал свое уважение к моей сестре, законной жене благополучного мужа, матери законного сына, в то время как я, по его мнению, существо второго сорта. Он всласть иронизировал и был уверен, что и судьбы разделяют его взгляды. Про женотделы и прочие свидетельства равноправия женщин в нашем социалистическом обществе он будто и не знал. А я на этом построила свое выступление, очень твердо напомнив, что время бесприданниц и старых дев прошло, что я самостоятельный человек, у которого есть профессия, и поэтому имею право на отдельную комнату. Запомнила брошенный на меня взгляд народной заседательницы, полный уважения и даже благодарности.

Вообще профессиональный уровень юристов был очень низким. В какой-то момент этой двухлетней эпопеи мы подавали челобитную в ЦК ВКП(б). Ее писала я. Но перед подачей решили проконсультироваться с квалифицированным юристом-жилищником. Читая наше заявление, он поражался: «Кто это писал? Как все правильно, как логично». А это было всего-навсего толковое изложение дела.

Помню посещение уже в 1940 году какого-то важного прокурора. Там была полная разнузданность, уже с антисемитской ноткой. Прокурор, издаваясь над чадолюбием моего отца, вселившего всю свою семью в больничную квартиру (а куда ж было ее девать?), желчно поминал библейский патриархальный инстинкт.

Моего отца не сняли с работы в консультации профессоров Кремлевской больницы ни когда Александру Юльяновну Канель за год до ее кончины лишили места главного врача, ни после ее смерти. Но его все реже и реже стали приглашать на консультации. Папа ездил теперь часто не на служебной машине, а на метро и троллейбусе на Новодевичье кладбище вместе со своим старшим внуком, нашим Сережей, или в тот же Мамоновский переулок к Канелям, потому что был очень привязан к дочерям Александры Юльяновны Дине и Ляле и даже к ее внуку, старшему сыну Ляли, — Юре Герчикову. В этом доме, конечно, постепенно все рушилось, пока не завершилось известной катастрофой — арестом Дины и Ляли летом 1939 года (см. в кн.: Доднесь тяготеет. М.: Советский писатель, 1989. С. 495—499). Но еще раньше одно происшествие в нашей семье показало моему отцу, как меняется время.

Жена брата сталинистка Надя была неисправимой демократкой. Сережину няню, глупую и уродливо некрасивую Аришу, она опекала как родную. Надо было видеть, как нянчилась она с этой нянькой. Та завела роман с молодым парнем, дворницким сыном. Надя уходила из дому, чтобы устроить их счастье. Возмездие не заставило себя ждать. Однажды Ариша пришла к своей хозяйке и в слезах сообщила о беременности. Между тем парнишку призвали в армию. И Надя, полная сочувствия к одинокой женщине, дала ей деньги на аборт. Ариша уехала в отпуск.

Неожиданно раздался междугородный телефонный звонок.

Подзывают брата. Я видела, как он разговаривал с выражением полного недоумения на лице. Это была Ариша. Она обращалась к нему на «ты» и кричала. Вскоре посыпался

град безграмотных писем, кем-то написанных по установленному опытными вымогателями образцу. Для вящей убедительности указывалась точная дата, когда произошло мнимое происшествие. Мой брат отнесся к этой истории чрезмерно спокойно. Получив повестку в народный суд, он пошел к судье до заседания и установил свое алиби, кажется, показав справку об отсутствии в Москве в указанный день. Но защитница Ариши не смугилась: «Бедная неграмотная женщина, разве она может помнить дни и числа при таких переживаниях?» — и вычеркнула дату из иска гражданки Грачевой. Суд, конечно, присудил брату платить алименты до достижения новорожденной восемнадцати лет. Потянулось длительное, выматывающее нервы дело. У Грачевой появился новый образованный адвокат. Он даже Достоевского читал. Указание на безобразную внешность Грачевой ловко отвел, ссылаясь на Федора Карамазова, польстившегося на Елизавету Смердящую. Так или иначе, история, воспринятая нами вначале как анекдот, закончилась тем, что из зарплаты моего брата долгие годы вычиталась третья или четвертая часть на содержание девочки Грачевой, которая была названа матерью в честь своей бывшей хозяйки Надей.

Эта история оказала гнетущее действие на моих родителей. От последних иллюзий светлой новой жизни волей-неволей приходилось отказываться.

Папа стал делать промах за промахом в меняющихся условиях жизни. У него сохранялись хорошие отношения с Екатериной Ивановной Калининой до самого ее ареста. Я наблюдала это, когда уже после смерти Александры Юльяновны папа опять лежал в Кремлевской больнице из-за двустороннего воспаления легких. Я приходила к нему туда, и при мне его навестила Екатерина Ивановна. Я видела, как хорошо она к нему относилась, как поцеловала его, прощаясь. Но когда она ушла, папа мне сказал, что он совершил неловкость: спросил, где сейчас Михаил Иванович. Спрашивать о местонахождении такого государственного деятеля, как Калинин, не полагается.

Несколько лет подряд папа проводил летний отпуск на даче (или в имении?) Калинина — Мещеринове. Там он как врач наблюдал за здоровьем престарелой матери Михаила Ивановича. Однажды папа мне сказал, что неудачно выступил на каком-то юбилее Калинина, вероятно, это было не официальное, а домашнее еще празднование. Он произнес тост, непонятный для присутствующих и несколько витиеватый.

В другой раз, желая обогнать свой почти преклонный возраст, он начал свою речь словами: «Я здесь как самый старший...» Это не понравилось Поскребышеву. Было страшновато: кто не знает, что Поскребышев близок к Сталину, он исполнитель тайных приказов. Но пронесло...

Еще одно неудачное выступление, и отец оказался на положении пенсионера, не дожив до семидесяти. Для его энергичной натуры, да еще придавленной горем, совершенно невозможно было существовать в бездействии. И тут выход был найден моей верной подругой Леной Осмеркиной.

Вообще говоря, она была необыкновенно экспансивна в своих домашних разговорах. То произносила речи о необеспеченной старости советского человека. То замечала, что в нашем обществе «нет завоеванных положений». То едко высмеивала провизию, продающуюся в магазинах, особенно ее возмутили семенники быка, появившиеся на прилавках мясных отделов.

Ее домработница нередко вмешивалась в наши разговоры: «Елена Константиновна, ну скажите, кто у нас доволен? Вы недовольны (она имела в виду интеллигенцию), крестьяне недовольны, рабочие недовольны, служащие недовольны... Кто же доволен? Партийцы?» Она была простодушна, эта няня, приехавшая в столицу из Московской области. Пожалуй, не менее простодушна была и Надежда Исааковна, мать Лены, но только ее простодушие было направлено в обратную сторону. Как и многие советские люди, она старалась не верить тому ужасу, который происходил кругом, рядом... Это обнаружилось, когда Лена рассказала о письме, полученном из лагеря от одной из ее товарок. Несчастливая актриса писала, что на ее лице уже никогда не появится улыбка. Надежда Исааковна вспылила: «Ах, это красивая фраза!» Возник шумный спор между матерью и дочерью, как всегда, в повышенных тонах, но не враждебных. Они кричали, причем Елена прекрасным, поставленным голосом.

Мой отец старался не понимать сущности происходящего — полного перерождения той системы, которой он сознательно и идейно служил с 1918 года, хотя и был беспартийным. Помню, он был ошеломлен моей репликой по поводу выступления Сталина, очевидно, на XVIII съезде партии. Я обратила внимание на фразу генсека о немцах, в которой сквозила какая-то новая интонация. «А у нас будет союз с Германией», — сказала я. Папа был поражен. Больше того, он был оскорблен. Но его реакция не была уже такой острой, как пять лет назад, когда я сказала, что Кирова убили свои. У папы уже не было сил противиться моей ереси. Однако пока не арестовали Дину и Лялю, он допускал, что обвинения в адрес «врагов народа» могли быть справедливыми.

И это в то время, когда «в воздухе чувствовался треск раскалываемых черепов», по слову Николая Ивановича Харджиева, и «люди стали похожи на червей в банке». Николай Николаевич Пунин сказал тогда впавшим в апатию друзьям: «Не теряйте отчаяния!»

Лена видела хроникальный фильм, снятый в Доме Союзов на одном из знаменитых кровавых процессов над троцкистами. Кстати, там был и Крестинский, отказавшийся на суде от своих показаний. На следующем заседании суда он почему-то стал плохо слышать. Было ясно, что в промежутке он подвергся энергичной физической обработке. Лена говорила, что особенно поразили ее конвойные, караулившие обреченных. В них не было ничего человеческого. О том же говорила ей Ирина Валентиновна Щеголева, хлопотавшая об облегчении участи своей родной сестры Муси (Марии Валентиновны) Малаховской, высланной из Ленинграда как жена «врага народа». «Ни молодость, ни красота, ни ум, ни сердце, ни талант — ничто не действует на этих людей», по чьей воле был приговорен к десяти годам без права переписки, то есть к расстрелу, Б. Малаховский — талантливейший художник-карикатурист, обаятельный, артистичный, чрезвычайно остроумный человек; Александр Александрович Осмеркин его просто обожал.

Мы с Леной называли Сталина Антихристом. Но для нее главным в Сталине были кровожадность и жестокость, а для меня то, что он — растлитель. Конечно, он такой же вампир, как и фашистский фюрер, но если идеалом Гитлера был белокурый зверь, то Сталин стремился сделать всех подлецами. Злодеев и тиранов история видела немало, но развратителями были не все. Сталин погубил нравственно не только тех невинных, кого оставил в живых, но и людей из «органов». Конечно, на эту работу шли люди, имевшие склонность к

садизму, но были и такие, которые были доведены до звериной жестокости всей системой и круговой порукой всех сотрудников. Я считаю, что и такие являются жертвами Сталина.

Так мы разговаривали у себя дома. Много было таких домов. Жили тесными кружками, никого постороннего к себе не допускали. «Sans secsautes»⁹⁸, — любил каламбурить на французский лад покойный Малаховский.

В поликлинике Наркомпроса, где работал отец Лены — врач-терапевт, прекрасный диагност, кстати говоря, очень любимый больными, открылась вакансия директора. Там же работала в зубном кабинете мать Лены. По их инициативе моему отцу было предложено это место, которое он и занимал до самой своей смерти в 1943 году.

Но именно эта работа, не связанная с ВИЭМом, где раньше работал отец, и поставила его под удар. Ему стали угрожать выселением. В ВИЭМе появился новый невропатолог, приехавший, кажется, из Харькова, и ему позарез нужна была квартира в Москве. Был выкопан указ или декрет 20-х годов, который практически никогда не выполнялся. Медицинское учреждение получало право выселять, без предоставления жилплощади, лиц, посторонних данному учреждению. Естественно, что когда в 30-х годах все углы и закоулки в больнице были забиты бежавшими от колхозов, выполнить этот указ не было никакой возможности.

Но новоявленный заведующий неврологическим отделением привез с собой нового завхоза, и они решили взять отцу измором. Невропатолог распускал клеветнические слухи о прошлой деятельности моего отца, а его помощник вел с папой переговоры, намекая, что этому невропатологу надо многое прощать: если бы папа знал, на какой нервной работе он был раньше! Нам всем уже давно было ясно, что он служил в «органах», и когда он наконец вселился в нашу квартиру, то не только не скрывал этого, а, наоборот, афишировал.

Но пока еще завхоз задушевым тоном убеждал папу отдать свой кабинет: «Вам не надо больше работать».

Когда папа возвращался домой усталый после целого рабочего дня и поездки на трамвае, у ворот больничного сада его уже встречал завхоз и не отставал до самого крыльца нашего дома. Всю дорогу он бормотал что-то, придумывая все новые и новые доводы.

Папа не сдавался. Тогда они придумали такой трюк. Прислали папе официальную бумагу с требованием в указанный срок погасить задолженность за квартиру, которой он пользовался бесплатно в течение пятнадцати лет. Сумма долга получалась астрономическая. Они прекрасно знали, что квартира была бесплатной на законном основании, но понимали, что этот иск заставит папу много волноваться. Дело было летом, стояли очень жаркие дни, и отец со своим больным сердцем таскался по учреждениям и архивам, чтобы это доказать документально. Их психологический расчет был верен. Папа сказал нам: «Я больше не могу», — и сдался. Его кабинет был отдан в распоряжение ВИЭМа, что-то там перегородили, и квартира для невропатолога с женой и маленькой дочкой была выкроена. У них оказалась большая родня в Москве. Все, по-видимому, работали в НКВД. Даже тесть невропатолога работал в переплетной этого учреждения. Он переехал сюда к

⁹⁸ Без сексов. (фр.)

дочери, а другие родственники звонили к ним по ночам и в ответ на мое замечание — мол, час поздний — нагло отвечали: «Это звонят из органов».

Мы как-то потеснились. Я осталась в своей комнате, но меня не оставили в покое. Им хотелось и ее получить. Моей единственной надеждой был расчет на октябрь 1939 года, когда исполнялось 125 лет со дня рождения Лермонтова. Я предполагала, что к этой дате выйдет из печати специальный сборник, в который была принята моя большая работа, полная новаций (как любил говорить профессор Николай Леонтьевич Бродский). Тогда, думала я наивно, меня примут в Союз писателей и я не буду такой полубесправной и беззащитной, как сейчас. Но выход сборника решили перенести на 1941 год, к столетию со дня гибели Лермонтова. Значит, ждать еще два года...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Прямая угроза расстрела Левы отпала. Очевидно, прокурор должен был отказаться от занятой им суровой позиции. Весь этот год говорили о судебных заседаниях по студенческому делу. Среди обвиняемых был и Лева. Поэтому Анна Андреевна встречается с родителями его соделъцев. Таковы известный невропатолог академик С. Н. Давиденков и его жена и другие, менее известные несчастные родственники арестованных мальчиков.

Насколько я помню, среди них был также и Орест Высотский, единокровный брат Левы, учившийся, если не ошибаюсь, в Лесотехническом институте. Кстати говоря, в день ареста Левы, 10 марта 1938 года, он ночевал у него на Садовой. Наутро именно он пришел к Анне Андреевне сообщить о случившемся. Мне кажется, что он тоже проходил по этим студенческим делам, но либо был оправдан, либо выпущен из-под ареста до суда. Тут я плохо осведомлена.

Среди других обвиняемых, помимо одаренного и выдающегося, как говорят, Коли Давиденкова, был еще аспирант крупнейшего арабиста академика И. Ю. Крачковского, его фамилия была Шумовский (или Шамовский). И Анна Андреевна нередко горестно замечала, что взяли весь цвет молодого поколения, будущих звезд русской науки.

Я вспоминаю, что в Москве мы искали двоюродную сестру Шумовского, которая работала в родильном доме на Молчановке (его потом разбомбило во время Отечественной). Я разыскала в Мосгорсправке ее домашний адрес, и мы с Анной Андреевной ездили к ней в Дорогомилово. Мы ее не застали, но я долго хранила эту справку с адресом как напоминание о тех безумных годах. Когда Лева вернулся, он с такой кривой и ехидной улыбкой выслушал мой рассказ о наших поисках, что я не стала беречь эту жалкую реликвию.

В больших хлопотах Ахматовой я тогда не участвовала. Для этого она обращалась к своим влиятельным знакомым. Нередко ей оказывал в этом содействие Виктор Ефимович Ардов. Кто-то другой свел ее со знаменитым адвокатом Коммодовым, очевидно, специалистом по политическим делам, но он отказался от дела Льва Гумилева. Это был удар для Анны Андреевны. В другой ее приезд в Москву она мне сказала, что Коммодов просто хотел большого гонорара за ведение этого дела. А о каких гонорарах могла идти речь у нищей Ахматовой?

Мне иногда казалось, что она недостаточно энергично хлопочет о Лева. Я предлагала ей решиться на какой-то крайний поступок, вроде обращения к властям с дерзким и требовательным заявлением. Анна Андреевна возразила: «Ну тогда меня немедленно арестуют». «Ну что ж, и арестуют», — храбро провозгласила я. «Но ведь и Христос молился в Гефсиманском саду — «да минет меня чаша сия»», — строго ответила Анна Андреевна. Мне стало стыдно.

В Ленинграде я была занята в январе своими лермонтовскими делами и успехами. А все, что касалось встреч с Анной Андреевной, воспринималось мною совершенно отдельно. Со странным чувством я звонила ей на Фонтанку по телефону-автомату из помещения... райкома партии. Там в конференц-зале состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный «Слову о полку Игореве». С каким восторгом прочел там вступительную лекцию Сергей Борисович Рудаков, как серьезно и вдохновенно читал сам текст великого произведения артист-чтец Г. Артоболевский, а на рояле играла его жена Анна Даниловна Артоболевская, близкая подруга Лины Самойловны Финкельштейн-Рудаковой. Как мало осталось тогда жить на земле обоим мужчинам. Г. Артоболевский погиб в 1943 году на Курской дуге, куда поехал выступать на передовой, а С. Б. Рудаков был убит в сражении под Могилевом в январе 1944-го. Что касается Анны Даниловны, то она после Великой Отечественной войны переселилась в Москву, где пользовалась известностью как выдающийся музыкальный педагог и концертмейстер.

Позвонив Анне Андреевне, через десять-пятнадцать минут я была уже у нее, так как райком находился рядом, на противоположном углу Невского и Фонтанки.

Попадаю в совершенно другой мир.

Я уже писала о, так сказать, прифронтовой, вернее, притюремной обстановке этого нового жилья Ахматовой. О незакрывающемся нижнем ящике какого-то шкафа, набитом сухарями, об одиночестве Анны Андреевны, оставшейся на попечении дворничихи Тани. Таня водит ее в баню, тянет за руку при переходе на другую сторону улицы, понукая: «Ну иди, да иди же». Анна Андреевна собирается нести передачу в тюрьму, и я покупаю банки стуженного молока и еще что-то и, кроме того, даю Анне Андреевне двести рублей для Левы. Но, оказывается, его нет в тюрьме, его почему-то еще до приговора отправили на Беломорканал. Мы ничего не понимаем. Я говорю, деньги можно у них затребовать назад, поскольку Лева их не получил. «Какие там требования?» — с ужасом отвечает Анна Андреевна, а мне жалко денег, я с таким трудом оторвала их от себя. Но тотчас мне делается стыдно, и я замолкаю.

Анна Андреевна почти все время лежит и, не приподнимаясь даже с подушки, читает мне, почти бормочет новое стихотворение «Тихо льется тихий Дон...». Мне в голову не приходит, что это будущий «Реквием». И она еще не помышляет об этом. Я не задумываюсь над тем, почему в ленинградском стихотворении откликнулась река Дон. Только значительно позже, в Москве, я спросила Анну Андреевну об этом. Она ответила уклончиво: «Не знаю, может быть, потому, что Лева ездил в экспедицию на Дон?..» Она сказала также, что «Тихий Дон» Шолохова был любимым произведением Левы. «А вы не знали?» — удивилась она. Я действительно не знала этого.

Остановилась я опять в мастерской Осмеркина, он дал мне ключ. Но какая там тоска на этот раз! Я чувствовала себя как на пепелище. Заглянул туда один из учеников

Александра Александровича и почему-то рассказывал, как вольготно они проводили здесь время в отсутствие мастера.

У меня там были Рудаковы. Сергей Борисович завистливо восхищался строкой Ахматовой «Входит в шапке набекрень». Он слышал это стихотворение («Тихо льется тихий Дон...») от самой Анны Андреевны еще до моего приезда. А вот стихотворение Мандельштама о Сталине он не знал наизусть. И заучивал его теперь с моих слов. Я их не повторяла, боялась соседей, а показывала жестами — «его толстые пальцы, как черви, жирны», «и слова, как пудовые гири», «тараканьи глазища», «и сияют его голенища». С особым наслаждением мы хлопали себя по икрам, чтобы Рудаков не забыл этой строки.

Потом я там заболела, и соседка Осмеркина, совсем чужая женщина, принесла мне горячего чаю или супу...

Больная я ехала в поезде в Москву. А там, как я уже рассказывала, меня ожидало сокрушительное известие о смерти Осипа Эмильевича, и я послала по почте письмо Анне Андреевне, в котором писала, что моя подруга Надя овдовела.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Когда я еще раз приехала в Ленинград — в ноябре, меня хорошо приняли в Пушкинском Доме, и В. А. Мануйлов, уже известный лермонтовед, приходил ко мне в Дом ученых на улице Халтурина, где я остановилась. Мы говорили о своих делах, и я опять приходила на Фонтанку, как будто попадая в другую страну.

Лева уже был отправлен в лагерь всего на пять лет, это считалось очень легким приговором, и объясняли его тем, что Ежова уже убрали, а на его место пришел «добрый и справедливый» Берия.

Анна Андреевна читала мне так же лежа стихи из будущего «Реквиема». С тех пор я помнила «красную ослепшую стену», и «бледного от страха управдома», и «Распятие», о котором Анна Андреевна сказала мне после возвращения Левы, что эти стихи ему читать не надо было.

В 1939 году я впервые увидела у Анны Андреевны Владимира Георгиевича Гаршина. Он пришел часов в семь вечера, принес пачку чая и какую-то еду. Анна Андреевна сидела с ногами в глубоком кресле и немножко поеживалась, а он заботливо расспрашивал ее о здоровье. Воздух наполнился атмосферой уюта, как это бывает в беде, когда крайняя подавленность немного рассеивается под влиянием человеческой душевной теплоты.

Когда он ушел, Анна Андреевна сказала, что так он всегда заходит к ней, возвращаясь домой с работы, что живет он на улице Рубинштейна. Сейчас (1991) я проверила это и убедилась, что Гаршин действительно жил на этой улице, в доме, стоящем на углу Фонтанки, а больница, где он работал, помещалась на Петроградской стороне. Вероятно, он сходил с трамвая на Невском, переходил Фонтанку по Аничковому мосту, после чего ему оставалось только повернуть направо, чтобы дойти до своего дома. Но он сворачивал налево и шел к Шереметевскому двору, где во дворе жила Анна Андреевна.

Этот маршрут, превратившийся в ритуал, отражен в «Поэме без героя»:

Гость из будущего! Неужели
Он придет ко мне в самом деле,
Повернув налево с моста?

Скажут, что в образе «гостя из будущего» выведен совсем другой человек. Имя его известно, оно указывается в комментариях, в мемуарах и научных исследованиях. Но одно другому не мешает. «Поэма...» не документальная хроника и не докладная записка топтуна, следящего за всеми посетителями Ахматовой. В художественных произведениях мы привыкли встречать синтетические образы, составленные из черт разных прототипов. На одно такое «заимствование» из воспоминаний своего детства мне указала сама Анна Андреевна, говоря однажды в 40-х годах о «Поэме...». В частности, она остановилась на эпизоде самоубийства влюбленного корнета. Речь шла о стихе «Уж на лестнице пахнет духами». Оказывается, в Царском, в доме Шухардиной, в одном подъезде с Горенками жила некая дама — франтиха и модница. Когда она выходила из дому, на общей лестнице долго сохранялся запах ее духов. О подобном запахе Ахматова упомянула и в прозаической полемиической заметке, написанной уже в 60-х годах: «Ни в одном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов проходящих дам и сигар проходящих господ». Эти две приметы укоренились в воображении девочки-подростка как знак заманчивой жизни взрослых, а следовательно, и ее будущей жизни приливами и отливами счастья и страдания. Вторая примета присутствует и в строфе, из которой я привела выше три заключительных стиха. Перечтем начало:

Звук шагов, тех, которых нету,
По сияющему паркету
И сигары синий дымок,
И во всех зеркалах отразился
Человек, что не появился
И явиться сюда не мог.

Подозреваю, что «сигары синий дымок» сопрягается с образом Б. В. Анрепа — героя лирики Ахматовой шестнадцатого года. В реальной жизни он приехал в Петербург лишь в конце 1914-го и для «петербургской повести» Ахматовой «Девятьсот тринадцатый год» (так называется первая часть «Поэмы без героя») тоже является «гостем из будущего».

Вторым прототипом «гостя из будущего», как уже сказано мной, я считаю В. Г. Гаршина. Надо сказать, что приведенные только что строки появились в известных нам машинописных экземплярах «Поэмы без героя» только в варианте 1945 — 1946 годов. Между тем после разрыва с Гаршиным летом 1944 года Анна Андреевна тщательно изгнала из «Поэмы...» все прямые посвящения ему, вплоть до того, где даже не было названо

его имя. Имею в виду третью часть триптиха — «Эпилог». В ташкентской редакции (1942) он был посвящен «Городу и другу», в позднейших — только «Городу». Однако Гаршин не исчез отсюда. Вспомним, что он присутствует, но в другом качестве, сравним первоначальный текст с окончательным.

Было:

Ты мой грозный и мой последний
Светлый слушатель темных бредней,
Упованье, прощенье, честь,
Преодо мной ты горишь, как пламя,
Надо мной ты стоишь, как знамя,
И целуешь меня, как лещь.
Положи мне руку на темя,
Пусть теперь остановится время
На тобою данных часах...

Стало:

Ты не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?
Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глубины —
Это нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя —
Пусть навек остановится время
На тобою данных часах...

В этой редакции, оставшейся без изменений до самого конца работы Ахматовой над «Поэмой...», изображена вся сущность ее взаимоотношений с Гаршиным.

Сейчас же для нас важна строка «Ты не первый и не последний...».

Третий прототип образа «гостя из будущего» — сэр Исайя Берлин. История его знакомства с Анной Андреевной известна из мемуаров современников и воспоминаний самого героя. Замечу прямо, что лучше всего обстановка первой встречи отражена в поэзии Ахматовой, но не в «Поэме...», а в стихотворении «Ты выдумал меня. Такой на свете нет...» из цикла «Шиповник цветет», обращенного непосредственно к И. Берлину (естественно, без указания его имени). Там читаем:

Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,

Все было в трауре, все никло от невзгод
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.

Из воспоминаний И. Берлина мы точно знаем, когда это было: в конце ноября 1945 года. То есть сразу после окончания войны. Автор, давно уже обосновавшийся в Англии, увидел Ленинград, откуда был увезен подростком. Утром в день приезда он еще не знал, жива ли Ахматова, автор «Четок» и «Белой стай», «Подорожника» и «Anno Domini». А уже в три часа того же дня его проводили к ней на Фонтанку. Ну какое значение могло иметь для этой напряженной встречи, в какую сторону он свернул с Аничкова моста? Никакого. И если в своем эссе И. Берлин очень точно описал свой маршрут, то, вероятно, это было сделано под влиянием стихотворных строк Ахматовой. Впоследствии Анна Андреевна сама сделала его героем строфы «Звук шагов, тех, которых нету...», прибавив к ней ряд опознавательных стихов. Она сделала это при существенной переработке «Поэмы...» в 1954 году, дописав также содержащийся в ней образ «паладина» «Коломбины десятых годов», используя для этого мотивы лирики А. Блока. Теперь Ахматову под влиянием разных соображений и обстоятельств влекло к более точным указаниям на прототипы. В позднейшей своей «Прозе о поэме» Анна Андреевна прозрачно намекнула на реального прототипа «гостя из будущего» — И. Берлина. Об этом читателю еще предстоит узнать в последующих моих воспоминаниях о встречах с Ахматовой в 40 — 60-е годы.

Что же касается моего знакомства с В. Г. Гаршинным в 1939 году, мое эмоциональное впечатление о его драматичной и повторяющейся дороге к дому Анны Андреевны, отраженной в стихе «Повернув налево с моста...», остается в силе.

Но вернемся к событиям этого года, повлиявшим на мою жизнь. 1939-й еще не кончился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В день отъезда из Ленинграда я обедала в столовой Дома ученых. Официант был так же возбужден, как прошлогодний севастопольский, подходил к клиентам, обменивался с ними взволнованными репликами... Я сидела за столом одна и не могла понять, в чем дело. Только когда я вышла на улицу и увидела группы людей, бледных и суровых, молча слушавших голос из радиорупоров, я узнала: началась финская война.

Вечером я шла с Рудаковым к Московскому вокзалу пешком с Колокольной улицы, где они жили и откуда я уезжала. Мы шли посредине мостовой. На улице был полный мрак, даже из витрин магазинов и окон квартир не пробивалось ни луча света. Это был первый день затемнения.

Потом, в январе и феврале, как известно, ударили необычные сорокаградусные морозы, и наши красноармейцы замерзли на фронте, не имея соответственной экипировки, и узнали всю силу ненависти к нам финских снайперов.

Сергей Борисович написал об этом одно из лучших своих стихотворений. Я услышала его только во время Великой Отечественной, когда он, тяжело раненный под Ленинградом, был переведен в 1942 году на тыловую службу в Москву. Мне кажется, его стихотворение нигде не записано. Привожу его по памяти:

Одна тысяча девятьсот сороковым в январе
Кого хлеб-солью будем встречать?
Зима еретическая на дворе,
Сургучная на губах печать.
Морозу чухонскому крестный брат,
Онежским сугробам названный кум,
Кого ноне трижды изболчат
Твои непечатные словеса, Аввакум?
Луна, невзирая на штраф, серебром
Арктическим город студит,
Танкист молодой
 с ножом
 под ребром
Окоченел, недобит.

Когда уже после победы над Финляндией я зашла зачем-то к Надежде Исааковне, у нее работал слесарь из домоуправления. Он очень волновался и возмущенно говорил: «Еще бы, когда такая махина набросилась на маленькую страну, конечно, мы ее задавили, а сколько своих людей мы положили». Было известно к тому же, что Выборг брали в тот день, когда уже было заключено перемирие с финнами (12 марта 1940 года). Этот штурм стоил нам тоже многих жертв.

Вернулся с финской родственник нашего невропатолога. Когда он появился в нашей квартире, все соседи его обступили, ожидая рассказов о войне. Он сильно распалился и вдруг бросился на пол и заорал: «Разве Сталин вождь? Маннергейм — вот это вождь!» Я не успела понять, что происходит, как увидела полную пустоту в коридоре и услышала зловещую тишину. И как они словчились так быстро разбежаться по своим комнатам и там затаиться? Дерзновенный выкрик против Сталина был подготовлен не только финской войной, но и отчасти рискованной для НКВД акцией замены Ежова Берией. Ведь те немногие, которых тогда выпустили, рассказывали близким о застенках и лагерях. Вспо-

минаю, как в одной нервной ссоре и примирении моем с нашей работницей Полей я сказала ей о заключении Левы, и она вскрикнула: «О, вы его никогда больше не увидите!» Один ее знакомый, вернувшийся из лагеря, сказал ей: «Там трупов больше, чем у тебя волос на голове». А Поля была очень кудрявая.

Среди вернувшихся был друг моей сестры и ее мужа-художника. Рассказ его представляет собой не только еще одно свидетельство о зверствах тюремщиков, но приоткрывает психологические глубины и жертвы и палача.

История одного циника

Назовем его Георгий. Он был другом молодости моей старшей сестры. Он женился на ее подруге, обе учились в Консерватории по классу фортепиано у профессора Гольденвейзера. По окончании преподавали в музыкальных школах. Он окончил, кажется, два высших учебных заведения. Одно техническое, другое гуманитарное. Но не остановился ни на одной специальности, хотя интересы у него были самые разнообразные. И не только интересы, но и незаурядные способности. Для собственного удовольствия изучил санскрит и после войны работал на Институт востоковедения. Когда он еще не знал английского, взял урок — учить этому языку мальчика. К каждому уроку готовился по самоучителю и так постепенно овладел языком. Потом усовершенствовался, много читал на английском. Одно время служил выпускающим в «Крестьянской газете», это большая газета, кажется, даже издательство, там халтурить было нельзя. Справлялся со своей работой хорошо. Дружил с художниками, работавшими в этом издательстве. Одного из них познакомил с моей сестрой. Они поженились. Бывший друг моей сестры бывал у них. У меня с ним личной дружбы не было, вернее, не было большого интереса к нему. Но изредка он заходил ко мне в комнату — поболтать.

Жил он с женой и сыном в квартире ее родителей, в прошлом владельцев известного магазина готовой одежды на Кузнецком мосту. Квартира тоже в центре города, в доходном каменном доме с высокими потолками, прочными стенами. Но в 20 — 30-е годы квартира была уже коммунальной, осталась одна большая комната, недалеко от кухни. Хозяйки галдели, готовя на своих керосинках, мешали ему заниматься. Он уходил в Ленинскую библиотеку. Никаких специальных билетов в научные залы у него не было. Читал в общем зале. В то время достаточно было московской прописки и паспорта, чтобы записаться в знаменитую публичную библиотеку. Был вполне удовлетворен этим положением. Он уже давно был равнодушен к жене, сына не любил, был принципиальным эгоистом.

Году в тридцать пятом или тридцать шестом он уехал на Колыму за длинным рублем. В 1937-м его там арестовали. Обвиняли в том, что он собирался продать Советский Союз Японии. Когда в 1938 году Ежова расстреляли и его сменил Берия, Георгий попал в число освобожденных, очевидно потому, что ничего не подписал. Он вернулся в Москву. Наши говорили, что он очень изменился после пережитого. Я его не видела. Однажды только случайно услышала его беседу с моим зятем-художником. Они сидели, выпивали и говорили по душам. Художник показывает ему свои работы. Слышу голос его друга: «Ты что же это, Сталина рисуешь?» А у того была очень удачная композиция, сделанная по заказу:

«Сталин ведет занятия с рабочими в кружке». Мой зять отвечает эдаким задушевым голосом: «Понимаешь, я не могу не верить. Я утром не могу вставать, если не верю». «А ты, сукин сын, не верь, а вставай», — заключает многоопытный экз.

Однажды Георгий постучался ко мне. Первое, что бросилось в глаза, — у него нет передних зубов. Я спросила просто: «Это вам там зубы выбили?» Он как-то весь размяк. Вначале откликнулся еще неуверенно: «За одного битого двух небитых дают?» — но тут разговорился. Вообще-то он предпочитал молчать о том, что с ним делали, но на этот раз много рассказывал. Стоял «статуйей», из ног текла уже лимфа, его морили голодом, а он был большой, рослый мужчина, но ничего не подписывал. Однажды следователь, издеваясь над его зверским голодом, дал ему тарелку шей, поставив ее прямо на пол. Но и этого показалось мало. Он смачно харкнул ему в тарелку. «И что вы думаете? — продолжал мой собеседник. — Достоинство? Гордость? Я осторожно отодвинул ложкой харкотину и стал есть».

(Очевидно, на четвереньках? А ведь это предвидел Мандельштам. Вспомним: «Если б меня смели держать зверем. Пищу мою на пол кидать стали б...» Когда я говорила с Георгием, я не знала этого стихотворения.) Его спустили в подземелье, это в краю вечной мерзлоты! А в этой подвальной комнате еще стоял сейф для хранения золота.

Заставили раздеться, в одном белье заперли в этом сейфе и продержали там тридцать шесть часов. Когда его вынули оттуда, он был почти без сознания, помнит только, что кричал: «Голгофа! Голгофа!» Его привели к следователям, а эти в своих белых воротничках и сверкающих мундирах нос воротят, ведь он был весь в своих испражнениях.

В другой раз его вызвали на допрос, а он был уже так слаб, что не мог идти. Он полз по заплыванному, окровавленному полу каменного коридора. Женщина, валявшаяся на полу с женским кровотечением после стояния «статуйей», бросила на него взгляд, полный сострадания. «Понимаете, она была мне как сестра! — вскричал Георгий, рассказывая. — А часовой, видя, как я ползу, не выдержал и пробормотал сквозь зубы: “Сволочи, звери!” И я заплакал».

И вот он опять в Москве. Ездит в Ленинскую библиотеку. Году в сороковом врывается однажды ко мне: «Я не могу. Я должен рассказать». Рассказ такой:

«Иду я по улице Горького, слышу, кто-то меня настойчиво окликает по имени-отчеству. Догоняет, просит остановиться».

Смотрю, это мой колымский следователь. И мы, можете себе представить, заходим вместе в “кафе Филиппова”, занимаем столик. И я не знаю, не беседа ли это с Порфирием Петровичем из Достоевского? А он говорит, что забыть меня не может. Стоит, мол, человек, качается, ноги распухли, из них жидкость течет, а он твердит одно: “Я только статистический случай”. Долго мы с ним сидели, он все злодеяния сваливал на приказ свыше. А я его спрашиваю: “А харкотину в суп тоже по приказу свыше?” — “Знаете, распалешься”...»

Во время войны Георгий появился у нас в Москве. Проездом на фронт. Говорит: «Везу мясо». Несколько раз повторил эту фразу. Я не могу понять, какое такое мясо. Оказывается, пушечное мясо. Он вез в полк или в часть пополнение.

Долго не было от него известий. Война есть война. Может, убили? Потом выяснилось. На каком-то вокзале у него украли пистолет. Его судили и отправили в штрафной батальон. Но он и оттуда вернулся живым. Не хотел оставаться в Москве ни одного дня. «Я не

могу, я должен ехать к Соне, рассказать ей все, что со мною было». А Соня, казалось бы, нелюбимая его жена, оставалась еще где-то далеко в эвакуации. И теперь он к ней рвался как к самому близкому человеку.

После окончания войны он, как я уже говорила, был связан с Институтом востоковедения, работал по проблемам Индии или переводил с санскрита, не помню точно. Но когда началась кампания по борьбе с космополитизмом, то есть попросту антисемитский разгул, он, как еврей, не мог больше работать на институт Академии наук, уехал в Куйбышев на строительство гидростанции. Там он работал инженером. Приезжал оттуда в Москву и описывал спокойным тоном всякие ужасы. Нет, это не был спокойный тон, а леденящий тон человека, который смотрит на жизнь беспощадными глазами. На этом строительстве работали зэки. Однажды они играли в футбол или во что-то вроде этого. «Я смотрю, — рассказывал он, — у них какой-то странный мяч. А когда они закинули его поближе ко мне, я увидел, что это человеческая голова. Они пинали ее ногами». Он уверял, что много человеческих трупов забетонировано в блоках нового моста через Волгу. От его бесстрастных слов веяло ужасом.

При всей моей любви к Волге я с тех пор и подумать не могла о прогулке на теплоходе по великой реке. Тем более что от Жигулей, как говорят, остался один фасад, что-то вроде макета.

В 50 — 60-х годах он разошелся с женой, которая опять стала чужой и нелюбимой. Они перегородили свою комнату. Он обедал в ресторанах, ел хорошо и дорого, особенно любил заказывать жареного гуся. По вечерам слушал радио в своей ставшей маленькой комнате. Может быть, он любил хорошую музыку? О нет. Он пристрастился к песням и романсам, которые с таким чувством пели Виноградов и Нечаев.

Однажды, слушая в который раз сентиментальный романс, в одночасье умер. Моя сестра рассказывала: он лежал на столе очень красный, а бывшая жена и сын всю ночь при помощи верных знакомых разбирали перегородку, чтобы им не вселили постороннего жильца в освободившуюся отдельную комнату.

Сын был в большом замешательстве. Мать посылает его в похоронное бюро, а на следующий день — на кладбище. Но ведь ему надо на службу. Как быть? Он никак не мог понять, что на похороны отца отпускают даже с работы.

И если покойник в последние годы жизни производил, по словам моей сестры, впечатление совершенно опустошенного человека, то сын его являл собой образец механического, заторможенного человека. Что лучше? Не знаю.

После союза СССР с Германией идеологическая монолитность в советском обществе была слегка нарушена. Ведь сколько лет подряд над нами довлела угроза немецкого фашистского нашествия. Я не могу забыть одного общего собрания сотрудников Ленинской библиотеки. Оно проходило в саду, перед входом в старое здание. Вероятно, дело было вскоре после Мюнхенского соглашения. Выступали главным образом женщины. Как они нагнетали обстановку, почти кликушествовали, напоминая о книге Гитлера «Майн кампф». И вдруг в августе 1939-го надо было совершить резкий поворот на 180 градусов. Между

прочим, с тех пор до 22 июня 1941 года мы прожили как-то без лозунгов. Нас не призывали, не угрожали, не пугали, не подталкивали, ничего особенно героического не требовали. Все как будто замерло. Фанфары раздавались только по поводу присоединения к Советскому Союзу Прибалтики, Бессарабии и Западной Украины.

Я была в Верее в тот день, когда началась вторая мировая война. Местные жители были до крайности встревожены, считая, что большая война началась и для нас. Они говорили, что «лошадей забирают». А это был пока еще только раздел Польши.

Я так волновалась, что одна из верейских женщин спросила меня: «У тебя кто пойдет — муж, брат?» У знакомой соседки в доме в углу комнаты сидел бледно-зеленый от страха мужик — ее сожитель с подозрительным социальным положением.

Те, которые еще не совсем разучились думать, были растеряны.

Крайне подавлен был мой отец. Его бы совсем доконал этот невероятный союз с Германией, если бы так не терзало все, что случилось с его близкими. Когда обвинили Плетнева и Левина в «умерщвлении» Горького, папа не хотел признаваться сам себе в чудовищности этой кампании против двух известных врачей. Но когда на одном из процессов фигурировал уже Ягода, который заявил на следствии, что был в связи со знаменитой Тимошей, женой сына Горького, папа был поражен.

«Вот подлец!» — вырвалось у него. А когда Горький умер и стали передавать подробности о роли его личного секретаря, вообще о темном окружении писателя, папа сказал: «Начал как босяк и кончил как босяк».

Весь остаток жизненных сил у отца сосредоточился на внуках, особенно на четырехлетнем сыне моей сестры, его любимейшей дочери. Лето они провели в Верее, куда ездила и я на август. Сохранилась групповая любительская фотография, где снята вся наша семья (кроме братьев) и моя Елена Константиновна — летняя старожилка и патриотка Вереи. На фотографии видно, как удручен и как стал стар мой отец. Сестра сказала, что там, в Верее, когда меня не было, его вызывали к следователю, и он вернулся домой еще более удрученный.

В то время в Верее жили также знакомые и сослуживцы Елены. Она часто выступала на литературных концертах с одним литературоведом-популяризатором, преуспевающим в этом деле. Без единой осечки он читал в клубах лекции о литературе с марксистской точки зрения и объяснял доверчивым слушателям, что такое социалистический реализм. Я была чрезвычайно удивлена, что на свободе летнего отдыха, в компании, в которой был уверен, он оказался вполне понимающим суть происходящего. Он рассказывал с большим сарказмом о собраниях в Союзе писателей и поделился с нами своей, как ему казалось, замечательной находкой: написал другу в провинцию об арестах общих товарищей, обыгрывая для конспирации гоголевское заглавие «Мертвые души». С большим сочувствием и интересом выслушивал от меня другой приятель Осмеркиных, очень скромный и тихий художник, самое крамольное стихотворение О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...». Теперь, когда Осип Эмильевич умер и дело его было уже известно в тесном литературном кругу, а имя мое уже было названо на следствии самим Мандельштамом, я могла

спокойно познакомить хорошего человека с этим феноменальным стихотворением. Но все-таки для этого мы уходили с ним в лес.

В самой Москве, где лошадей не забирали (во всяком случае об этом я не слышала), раздел Польши откликнулся взрывом мародерских настроений. Поехал туда и наш сосед, врач-коммунист, и привез много вещей жене. Кое-что из этих даров она показывала на кухне. Однако врач был идеологически выдержан и рассказывал, как плохо жилось полякам при буржуазном правлении. Оказывается, в университете для студентов-евреев в аудиториях были отведены специальные места, но те принципиально их не занимали, а весь учебный срок от первого до последнего курса прослушали все лекции стоя. Доктор, чистый русак, рассказывал об этом с большим уважением к этим студентам — тогда еще наши коммунисты решительно отвергали антисемитизм. А я рада, что услышала от соседа о выдержке и чувстве национального достоинства у моих соплеменников.

О счастии побывать в Польше, еще хранившей следы буржуазной жизни, рассказывали многие. Говорили, что Алексей Толстой привез себе оттуда... фонтан! И поставил его у себя в саду. Не знаю где — в Москве ли, Ленинграде или за городом. Да и вообще не знаю, правда ли это. Но слух такой был. А вот что правда, так это вопрос, который задали в Польше моей приятельнице: «Объясни, пожалуйста, почему в магазинах ничего не стало, с тех пор как пришли русские?» О Прибалтике я ничего не слышала, туда как будто еще не ездили, но очень интересно рассказывала о Западной Украине одна талантливая фольклористка из Литературного музея. Она была восхищена достоинством и вежливостью тамошних жителей, особенно в деревнях. При встречах на улице с приезжими незнакомыми им людьми крестьяне обязательно здороваются — все, и старухи, и особенно приветливо дети. Ходят в церковь, соблюдают праздники, украшая в эти дни свои жилища. Все чинно, благовоспитанно. Ее поразила разница между ними и советскими крестьянами. Она участвовала в экспедициях во многие советские республики и автономные области и постоянно уверяла меня, что там растет национальная культура и это принесла туда советская власть. Я не спорила, поскольку могла судить только по официальным казенным декадам, пышно проходящим в Москве. Она очень любила свое дело, Вера Юрьевна Крупянская. Милейшая женщина, та самая, которая убежала в музей на вешалку и там, скрывшись за одеждой, рыдала, узнав о начавшемся голоде в блокадном Ленинграде.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Надя металась. Она избегала быть в Москве у матери, в квартире в Нащокинском, испоганенной наглым соседством. Но видела я Надю часто. Вот она ночует у меня — я уже упоминала об этом; вот мы сидим втроем в Марьиной Роще у Николая Ивановича, и она рассказывает, как работает у станка на прядильной фабрике и живет в подмосковном поселке Струнино. Мне прочно запомнился один эпизод из ее рассказов. Она подымалась по внутреннему лифту на фабрике. В лифте оказался только один рабочий. Он смотрел, смотрел на нее и проговорил: «С таким лбом — и у станка?»

Я, конечно, навещала Веру Яковлевну, когда она оставалась одна в Нащокинском. Но я почему-то совершенно не помню, как она выехала из этой квартиры и переселилась с Надей в Калинин. А ведь этому предшествовала такая процедура, как обмен этой московской комнаты на постоянное жилье в Калинин. Очевидно, после смерти Осипа Эмильевича Надя решила окончательно порвать с опасной для нее Москвой и жить с матерью до конца ее дней в Калинин. Но война перевернула все планы. Надя с матерью была эвакуирована, их довезли до Казахстана, оттуда, как известно, Ахматова выхлопотала им переезд в Ташкент, Вера Яковлевна умерла там в 1943 году, а жизнь Нади потекла по совсем новому руслу.

Вероятно, переезд из Москвы в Калинин произошел в то время, когда я была в Ленинграде, поэтому я и не помню подробностей. Между тем в самом конце декабря 1939 года Надя послала мне первое письмо из Калинина. Вот оно:

«Эммочка!

Пишу наугад, не помня адреса.

Приехать мне нельзя, хотя я фактически сижу дома. Долго ли просижу — не знаю. Могут вызвать в любой момент на работу.

Я знаю, что вы не способны приехать.

Это очень обидно. Возьмите старого друга и попробуйте приехать. Я бы, например, обрадовалась. Вы просто не люди, а башни, и я вас всех ненавижу.

Еще: Женя счел неязвным забрать у вас керосинку. Моя вконец испорчена. В результате нам не на чем вскипятить чай. Очень прошу, привезите ее мне. (Вот предлог для приезда.) Либо, соединив с Женей усилия, отправьте мне ее почтой, только запакуйте в бумагу, чтобы она не разбилась.

Пишите.

Спросите у Ник. Ив., что он думает.

Я хотела вам или ему позвонить по телефону, потом решила, что это подействует вам на нервы, и отказалась от этой идеи.

Раскачайтесь и приезжайте.

Надя.

Женя даже не пишет. Я привыкла, а мама нервничает».

Вероятно, Надя ждала, что ее вызовут на работу в школу.

Вообще говоря, у нее было там два занятия. Она делала игрушки, вступив в какую-то артель, и преподавала в школе немецкий язык. Я помню, с каким увлечением она рассказывала, приезжая в Москву, о своем методе обучения. Она читала со своими учениками вслух «Лесного царя» Гете (в подлиннике, конечно) и таким способом улавливала интонацию классического немецкого языка, приучала к ней своих юнцов и одновременно приоткрывала им тайны поэзии.

Что касается керосинки, то Надя дала мне в Москве свою лишнюю, чтобы избавить меня от кухонных склок, а о приобретении новой и думать было нечего. В те годы страна переживала очередной дефицит всего необходимого нормальному человеку.

Керосинку в конце концов повез Наде в Калинин Александр Эмильевич. Вообще говоря, на его долю легла значительная часть забот в связи с арестом Осипа Эмильевича. Он делал передачи в Бутырскую тюрьму, когда Нади не было в Москве, и наводил справки на Кузнецком, где помещалось управление ГПУ (не знаю точно, как оно называлось). Об этом свидетельствует и последнее письмо Осипа Эмильевича, обращенное прямо к брату «Шурочке».

Моим «старым дружкойм» Надя называет Николая Ивановича Харджиева. Да, действительно, мы были знакомы уже пять лет, и сколько сухого вина мы выпили вместе, и вдвоем, и втроем, то есть с Надей, и сколько раз закусывали сыром. Но вот в чем дело. Николай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы (что было бы ужасно!), если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил: «Это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам». Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. Однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась.

Приехала я к нему с шуткой насчет того, что, получив подтверждение о его привязанности ко мне, я меняю свое поведение. «Да, — отвечал он мне в тон, — вы совершаете благодеяние, но тут же открываете свой портфель. А из него вынимаете корректуру, которую я должен читать». И это было истинной правдой. В то время я ни одной публикации не отдавала в печать, пока Николай Иванович не просмотрит и не пройдетя поверх текста рукой мастера. Так я научилась деловому лаконизму своих исследовательских статей, чем горжусь по сей день.

Памятью об этом времени у меня осталась книга Николая Харджиева «Янычар», вышедшая в свет в 1934 году. Вначале он мне подарил только превосходную гравюру В. А. Фаворского, помещенную на фронтисписе этой книги, с дарственной надписью, свидетельствующей о скромности автора:

«Эммма! Если бы Фаворский иллюстрировал всю книгу — вещь пострадала бы. Н. Х. 25.XI.39». В скобки Николай Иванович заключил знаменательную приписку: «(накануне полного сумасшествия)». А уже в декабре он подарил мне и всю книгу, испещренную его стилистическими поправками. Этим он занимался все время моего пребывания у него. И успокоился, в чем можно убедиться, прочитав уж совсем дурашливую надпись: «Эмме Григорь-Евне, чтобы берегла в сухом месте и сохранила в Вечности. Н. Х. декабрь 1939».

Почему же Николай Иванович был в таком сверхэкспрессивном или, наоборот, депрессивном состоянии? Во-первых, мы все были полусумасшедшими. У каждого кто-нибудь сидел или уже был застрелен, когда близкие еще тревожились о нем. А во-вторых, я ясно видела, что его терзает какой-то мучительный роман. Мне не было интересно, с кем. Такова была связывающая нас «души высокая свобода, что дружбою наречена» (Ахматова).

Впоследствии, лет через двадцать, Анна Андреевна высказала ту же мысль устно: «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала». Вот эту дистанцию в дружбе я соблюдала инстинктивно еще до знакомства с Ахматовой.

Другое дело, когда люди сами рассказывают о себе. Николай Иванович Харджиев — редактор первых двух томов собрания сочинений Маяковского, то есть раннего Маяковского, то есть лучшего, на мой взгляд, — исповедовал еще культ дома Бриков. Осипа Максимовича он считал умнейшим человеком, а Лилю Юрвену!.. Муза Маяковского была в ту пору для Николая Ивановича вне критики. Об этом крыле своего существования у него не было потребности разговаривать со мной, да и я мало интересовалась футуристами и всем подчеркнуто левым искусством. Конечно, я много знала наизусть из Маяковского и Василия Каменского, читала Асеева, посещала выставки и ходила в Театр Мейерхольда, но остальных поэтов и художников авангарда, как теперь говорят, просто не знала.

Однако иногда Николай Иванович жаловался мне на своих друзей и соратников, задетый чьим-нибудь поступком или словом. Это давало исход его раздражению и было совершенно безопасно. С большинством из них я даже не была знакома. Один его рассказ о Мейерхольде нельзя забыть, хотя я не помню подробностей. Дело было, вероятно, после закрытия Театра Мейерхольда, незадолго до его ареста. У него на квартире собралось несколько человек, среди них был и Николай Иванович. Трагическая атмосфера дошла до высшего накала. Всеволод Эмильевич хотел открыть газ — уйти из жизни.

Об Александре Ивановиче Введенском Харджиев отзывался как о большом поэте, самобытной личности, но чуждой ему. Тем неожиданнее был его внезапный приход в Марьину Рошу. Он объявил, что сочинил новое стихотворение и хочет прочесть его. И прочел теперь уже известную читателям «Элегию». Николай Иванович сказал, выслушав: «Я горжусь, что живу в одно время с вами». Введенский сел к столу, записал текст стихотворения и подарил листок Харджиеву.⁹⁹ Не выпуская из рук драгоценный автограф, Николай Иванович прочел мне всю «Элегию» вслух. Я была совершенно потрясена беспощадным и пронзительным воплощением в слове нашего трагического времени. Эти поистине гениальные стихи оказались пророческими. «На смерть, на смерть держи равненье, поэт и всадник бедный». Смерть не заставила себя ждать.¹⁰⁰

Всю эту зиму Николай Иванович готовил к сдаче в издательство свой многолетний текстологический труд по собранным им рукописям неизвестных стихотворений В. Хлебникова¹⁰¹. Как часто я слышала его ликующий голос, когда, быстро переходя своей легкой походкой из кухни или ванной в коридор и комнату, он повторял прочитанные им впервые строки Хлебникова:

⁹⁹ Так рассказывал мне тогда сам Николай Иванович Харджиев.

¹⁰⁰ В 1941 году Введенский был арестован. В первую неделю войны он был выслан из Харькова и, не доехав до Тамбова, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как и Пушкин, как и Хлебников, он не дожил нескольких месяцев до тридцати семи лет.

¹⁰¹ Хлебников Велимир. Неизданные произведения. Поэмы и стихи /Ред. и коммент. Н. Харджиева; Проза /Ред. и коммент. Т. Грица. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1940.

...В пеший полк 93-й,
Я погиб, как гибнут дети...

или:

...Я черный ворон,
Я одинок...

Особенно сильное впечатление осталось у меня от этих стихов:

Россия, хвора, капли донские пила
Устало в бреду.
Холод цыганский...
А я зачем-то бреду
Канта учить
По-табасарански.
Мукденом и Калкою,
Точно большими глазами,
Алкаю, алкаю.
Смотрю и бреду,
По горам горя
Стукаю палкою.

Нервов и капризов Николая Ивановича в нашей декабрьской идиллии тоже было достаточно. О какой поездке в Калинин можно было тут думать? Между тем Надя прислала ему гораздо более красноречивое приглашение, чем мне. Привожу его по машинописной копии, которую он мне предоставил в 70-х годах:

«Дорогой Николай Иванович!

В моей новой и очень ни на что не похожей жизни я часто вспоминаю вас и очень по вас скучаю. Суждено ли нам увидиться? Трехчасовое расстояние — очень трудная вещь. Боюсь, что ни мне, ни вам его не одолеть. И еще поезд и вокзал, а для меня — невыносимость трехчасовых поездок, напоминающих мне о последних трех годах моей жизни.

А я часто придумываю, что бы мы делали, если б вы ко мне приехали. Вы, конечно, не могли бы пойти ко мне в школу и увидеть, как мои тридцать львят (у меня всего триста) сидят на скамейках, а я, как настоящий жонглер, орудую с немецкими глаголами у доски. Знаете — подбрасываешь, ловишь, все разноцветные и т. д.

Но зато мы пошли бы с вами на базар, где покупают свинину, печенку, мед и сухие, а также мороженые яблоки. Мы бы, конечно, долго торговались и с медом на ладошках вернулись домой. По дороге бы снялись у балаганного фотографа — верхом на деревянном коне, в лучшем матросском костюме, либо на корабле, или — самое простое — на

автомобиле во время переезда через Дарьяльское ущелье. Затем — артель “Возрождение”, где продают случайные вещи, и через реку Тьмаху домой — варить и топить печь.

Так я принимаю своих гостей. А с вами я бы была особенно гостеприимна — почтительна. Я бы уступила вам лучшую комнату в своем палаццо, с видом на все сараи и домики во дворе.

Ведь я зазывала — но заранее знаю, что мое зазыванье — обречено на неудачу. Сосисок здесь нет. Зато есть голуби. Они чересчур хороши. Кроме голубей, у меня нет ничего. Только голуби — чужие. Как его, того самого, который писал голубей? Того, которого вы мне показывали? Это его голуби.¹⁰²

Мне было легче, пока я не работала. Сейчас я тоскую, как зверь. По утрам я себе почти не представляю, что можно встать и начать жить и, главное, — прожить день: это самое трудное. Такой я еще не была. Совсем дикая. Вы знаете, время — совсем не целебная вещь. Наоборот. Вначале как во сне. А потом все встает с полной реальностью. И думаю — чем дальше, тем будет реальнее. Я не пробую от себя уходить. Я только начинаю сейчас понимать. Мне раньше приходилось столько ходить просто физически — ногами, что в мозгах было что-то вроде сотрясения. Теперь — нет. И это хуже.

Из моих немногих подруг пишет иногда только Эмма. Иногда она сообщает, что хочет приехать; иногда зовет меня к себе. Вот и все. Она — женщина сырая, куда ей выбраться. А я была бы ей очень рада. Об Анне А. не слышу ничего. И это тоже наверняка навсегда, т. к. я живу чересчур далеко.

И еще: никогда я так сильно не чувствовала, что есть родные и знакомые. Знакомых много. А родных ужасно не хватает, например, вас. Я точно не могу определить степень родства. И мамы наши нам не помогут — забыли. Как выяснить?

Целую вас. Надя».

Николая Ивановича Надя не попрекает. Рядом с искренним, валящим с ног горем у Нади еще столько нерастраченной жизненной силы. В ней ключом бьет творческая энергия. Даже попреки мне она облекает в изящную литературную форму:

«Уважаемая Эмма Григорьевна!

Я давно уже не получаю от вас никаких известий. И вообще — ничего из Москвы, и очень беспокоюсь. Не могли ли бы вы мне сообщить о себе и обо всех моих родных и бывших друзьях? Была бы вам очень благодарна. Рада была бы, если бы вы приехали на праздники. Я, конечно, приеду в Москву, но боюсь, что к тому времени, когда я смогу освободиться, вы уже будете в Верее. А поездка в Верею столь же неосуществима для меня, как для всякого нормального москвича в Калинин.

¹⁰² «Сосиски» и «голуби» — намек на первые дни после ареста Осипа Эмильевича и после известия о его смерти, проведенные Надей у Харджиева: «Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть...» (см.: Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 333). Художник, рисовавший голубей, — Макс Эрнст (указано Н. И. Харджиевым на моей копии).

Посему, Эмма Григорьевна, нам остается только надеяться на небеса, где мы после смерти облюбим какое-нибудь комфортабельное облачко для воздушных заграничных путешествий.

Целую, до встречи. Н. М.»

Вскоре Надя наладилась сама приезжать в Москву. Дружба ее с Николаем Ивановичем ничем не омрачалась. У меня она несколько раз ночевала. Часто мы встречались втроем. У меня в глазах и ушах до сих пор видятся и звучат разные сцены — то мы трое у меня на Щипке, то в Марьиной Роще. Атмосфера этих встреч хорошо отразилась в письме ко мне Нади от 7 декабря 1940 года:

«Эммочка!

У меня прояснилось в голове. Надеюсь, и у вас.

Напишите мне, пожалуйста, обо всех своих делах, в частности к чему привело мое очередное сватовство.

Я хочу получить Хлебникова. Просто решительно хочу. Это неправда, что редактора получают по 2 экз. Хотела бы посмотреть договор.

Если он с вами дружит (т. е. вернул вас на свое ложе), — дерите с него Хлебникова — для меня, разумеется.

А в общем, я зла на сумбур и кашу. Плохо обращалась со мной Москва. Лучше всего было у Жени и у вас. В последний день, разумеется, когда вы не рыдали, а провожали меня. Неужели вы ко мне не приедете? Как я вас ненавижу.

Надя».

Я пригласила ее приехать ко мне встречать Новый год. Но почта работала тогда плохо. Ответное письмо Нади украшено тремя почтовыми штемпелями с промежутком в семь-девять дней: 1 января 1941 — «Калинин-областной» и 8 и 9 января — «Москва». Надя писала:

«Эммочка!

Спасибо за приглашение.

К сожалению, оно пришло поздно: для того чтобы мне устроиться с билетом, надо было бы бегать, просить и хлопотать добрую неделю.

Так что не вышло.

Очень устала. Болезненно. Жду с нетерпением развязки со школой.

Соседи по целым дням и ночам развлекаются радио. Работаю по 24 часа в сутки. Хорошо, что не бросила игрушки.

Интересно, когда я увижу вас.

Все-таки когда-нибудь, может, увижу.

Целую. Надя».

Бедная Надя! Она, как мы видели по ее письмам, держалась на юморе, на вспышках свойственного ей фейерверка шуток. Но какие у нее должны были быть приступы тоски,

когда она в какие-то паузы вспоминала, что живет на земле, на которой уже нет Оси. Об этом уже не говорилось никогда. Этого еще нельзя было касаться. Срок еще не настал.

Следы пережитого давали себя почувствовать в самые неожиданные моменты. Когда я ее провожала (о чем она вспоминает в предыдущем письме), на вокзале мы попали в облаву. Искали спекулянтов, так называемых мешочников, на этот раз одних баб. При выходе на перрон проверяли не только билеты, но и вещи. Надю охватило что-то вроде тика. Она стала дрожать крупной дрожью с ног до головы, зуб на зуб не попадал. Я собрала всю свою волю, чтобы ее успокоить. А для этого надо было самой сделаться благодушно-спокойной. Это подействовало на обыскивающих. Они даже не притронулись к нашим вещам. В вагоне мы оказались рядом с простыми парнями, и спокойная общительность меня уже не покидала, так что Надя решила, что эти люди мне каким-то образом знакомы.

Больше я почему-то не помню Надю в Москве в том 1941 году, когда мы, не политические люди, как по какому-то наваждению начисто забыли о возможности участия нашей страны во второй мировой войне. Конечно, мы следили с состраданием и волнением за событиями в Европе, но все казалось далеким от нас. Мы, наш кружок, если хотите, назовем его так, были так озабочены своими горестями, страстями и делами, что не замечали или старались делать вид, что не знаем о том, что находимся на краю пропасти.

В это время тяжба всей нашей семьи с администрацией ВИЭМа продолжалась. Они становились все наглее и наглее. К числу выселяемых присоединили жильцов из других корпусов. Мне приходилось встречаться для составления общих жалоб с незнакомыми до тех пор людьми. Среди них был один инженер, давно порвавший связь с больницей. Как все не очень умные люди, он подбадривал себя и нас уверенностью в нашей общей победе над администрацией ВИЭМа. «Их дело — Франция!» — восклицал он. Меня больно резануло по сердцу это холуйское глумление над побежденными. Потом, когда наши войска потерпели оглушительное поражение в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда Москву бомбили, хотелось ему сказать: «Ну а наше дело как назвать?» — но это было уже невозможно. Он был призван в ополчение и погиб в окружении. И даже этого жизнерадостного пошляка было жалко.

А Надя до самой войны продолжала свою трудную жизнь в Калининe. Некоторая отдушина у нее все-таки была. Не говоря о том, что с ней была мать и к ним приезжали Евгений Яковлевич и брат Осипа Эмильевича Александр, она приобрела в Калининe нового друга. Это была жена арестованного крупного коммуниста, высланная из Москвы с двумя детьми и матерью. До своей катастрофы она принадлежала к высшему кругу Москвы, то есть к советско-светскому обществу. Ей приходилось быть хозяйкой на больших приемах с иностранными гостями, она знала языки, одевалась со вкусом, была очень красива. Рядовые советские женщины любовались ею как «звездой», когда она подкатывала к подъезду своего дома в большом черном автомобиле. Перемена судьбы заставила ее трудиться в Калининe сверх сил, но она не теряла твердости духа. У нее было в высшей степени развито то, что называется умением жить, то есть здоровый практицизм и разумная доброжелательность к людям. Говорят, что за всю свою жизнь она ни с кем ни разу

не поссорилась. Такой характер был замечательным противовесом Надиной экзальтации и колючести, служил примером выдержки и спокойного непоказного героизма. Дружба их продолжалась до самой Надиной смерти.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Анна Андреевна подарила мне новый сборник своих стихов «Из шести книг» с дружественной надписью, датированной 8 июля 1940 года. Но, вероятно, она надписывала свои экземпляры еще в Ленинграде: в середине лета я не помню ее в Москве. Зато никогда не забуду ее августовский приезд в том 1940 году.

Я зашла к ней прямо из поликлиники после довольно болезненной процедуры. «Как вы терпите?» — участливо расспрашивала меня Анна Андреевна и, как всегда, без всякого перехода прочла мне еще два новых стихотворения. Одно на падение Парижа («Когда погребают эпоху...») и другое о бомбежке Лондона («Двадцать четвертую драму Шекспира»). Я была ошеломлена, опустила голову, уткнувшись лицом в стол. «Не притворяйтесь, что вы плачете», — сказала она, скрывая под иронией удовлетворенность произведенным впечатлением. Я не притворялась и не плакала. Я как бы задохнулась от налетевшего шквального ветра, оставившего в комнате сплошной озон. Такое ощущение часто возвращалось ко мне во время этого короткого августовского пребывания Анны Андреевны в Москве. Первые дни протекали в дымке надежды, а последний день в отчаянии.

Лева писал Анне Андреевне мрачные письма. Больно мне было услышать от нее о такой его фразе: «Все на меня плюют, как с высокой башни». Совсем недавно я спросила у Анны Андреевны, помнит ли он меня. «Да, да, он называл вас среди тех, кого я должна помнить, если он умрет». А между тем многим казалось, что теперь его оправдают и освободят. Если после семнадцатилетнего перерыва в советском издательстве выходит новая книга Ахматовой, эта сенсация свидетельствовала, по общему мнению, о внезапном благоволении Сталина к Ахматовой. Очевидно, не только к ее поэзии, но и к судьбе. Но судьба Ахматовой не могла быть облегчена никакими дарами, если сын остается в заключении за Полярным кругом. Вот почему Борис Леонидович Пастернак спрашивал Анну Андреевну 28 июля 1940 года: «С Вами ли уже Лев Николаевич?»¹⁰³ В этом письме он подробно описывает свои впечатления почти от каждого стихотворения из нового сборника Ахматовой, отзываясь о его выходе как о «великом торжестве, о котором говорят вот уже второй месяц».

Разговоры эти не были беспредметными: Фадеев, Алексей Толстой и Б. Пастернак намеревались представить книгу Анны Ахматовой к Сталинской премии. Мне кажется, что именно тогда Анна Андреевна написала свое второе письмо Сталину. Я сама не помню его содержания, но мне рассказала Лидия Корнеевна Чуковская, какой довод она привела в своем прошении. Анна Андреевна писала, что ее сына обвиняли в намерении убить Ждано-

¹⁰³ См. в кн.: Пастернак Борис. Избранное в двух томах. М., 1985. Т. 2. С. 464.

ва и якобы она, его мать, подговаривала его совершить этот террористический акт. Ахматова просила снять с нее и ее сына это чудовищное обвинение. Позже Анна Андреевна пришла к убеждению, что ее письмо не было никуда передано и до Сталина не дошло.

Но пока это было еще неясно. В положении Ахматовой уже были заметны колебания. Они отражены в подневных записях Лидии Корнеевны¹⁰⁴. Вначале ленинградская администрация пребывала в эйфории от легализации имени опальной поэтессы. 5 января 1940 года ее торжественно приняли в Союз писателей. Два издательства сразу начали готовить к печати ее книги. Журналы просили стихи для ближайшего номера. Шел разговор об увеличении пенсии, о предоставлении ей квартиры и т. п. Потом эти восторги стали умеряться.

Уже в июле в «Литературной газете» появилась ругательная рецензия В. Перцова на сборник «Из шести книг». Правда, писательская общественность не увидела в этом факте ничего рокового. Пастернак писал Анне Андреевне в том же письме: «Тон Перцова возмутил нас всех, но тут думают (между прочим, Толстой), что кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о Вас в журнале, а не в газете». Такая статья не появилась. Сталинской премии Ахматовой не дали. Пенсию не увеличили. Квартиру дали только после войны. Тем не менее Анна Андреевна поехала в Москву хлопотать о Леве. Лидия Корнеевна записывает 31 августа 1940 года, то есть сразу после возвращения Ахматовой в Ленинград: «Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень лобезно и сразу сделал все от него зависящее. (В последние дни перед отъездом она твердила: “Фадеев меня и на глаза не пустит”.) Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую премию». Лидия Корнеевна не могла даже в своих стенографических записях рассказать полным голосом, что происходило в Москве в последний день пребывания там Анны Андреевны. Это помню я.

После беседы с Фадеевым Анна Андреевна направилась в Прокуратуру СССР на Пушкинскую улицу. Я пошла с нею. Когда ее вызвали к прокурору, я ждала ее в холле. Очень скоро, слишком скоро, дверь кабинета отворилась, показалась Анна Андреевна. А на пороге стоял человек гораздо ниже ее ростом и, глядя на нее снизу вверх, грубо выкрикивал ей в лицо злобные фразы. Анна Андреевна пошла по коридору, глядя вокруг невидящими глазами, тычась в разные двери, не находя дороги к выходу. Я бросилась к ней. Уж не помню, как и куда я ее отвезла.

Без промедления она поехала в Ленинград. Я провожала ее, посадила в поезд. А вернувшись домой, тотчас села писать письмо Леве в Норильск. До этого дня я, как уже говорилось, ему в лагерь не писала. Что же меня заставило прервать молчание?

Почему-то Анна Андреевна обязательно должна была сообщить ему об отказе прокурора. Это ее страшило. У Левы и так рождалось подозрение, что мать за него не хлопочет или делает это неумело. Нашлись люди и за Полярным кругом, которые раздували эту искру в большой огонь. Я видела, что Анна Андреевна не в силах написать ему о крушении их надежд, но не может ни солгать, ни промолчать. Положение становилось катастрофическим. Тут сердце мое не выдержало, и я импульсивно начала писать Леве сама.

¹⁰⁴ См.: Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. М.: Книга, 1989. С. 50, 51, 55, 91, 99, 154 и др.

Я писала всю ночь, задумываясь над каждым словом. В конце концов поняла, что не надо никаких намеков и обиняков. Какие тут секреты? Анна Андреевна открыто была в Прокуратуре, постоянные наши наблюдатели, конечно, видели меня с нею на перроне Ленинградского вокзала. Я подписалась полным именем, на конверте обозначила свой почтовый адрес и начала письмо сразу с сообщения, что только что проводила Анну Андреевну к поезду, она была в Прокуратуре и возвращается в Ленинград.

Далее я прямо сообщила о мрачном результате этого посещения, разумеется, без душераздирающих подробностей. Затем следовали слова утешения и надежды. Так как я писала от всего сердца, то и слова находились нужные. Несмотря на то, что я вижу много новых людей, писала я, я никогда не забываю о нем, он — мое горе. Главная цель моего письма была в том, чтобы просить его не писать Анне Андреевне сердитые письма, «она делает все что может» — помню хорошо такую мою фразу. Ответа я не получила, но эффект от моего письма был. Анна Андреевна мне говорила, что Лева стал писать ей мягче. Я считала, что это служит признаком того, что мое письмо дошло до него. Только после войны я узнала от самого Левы, что он мне ответил тогда, но его письмо, видимо, где-то в дороге пропало. В то время это было обычным делом. В 50-х годах, напротив, почтовая связь с лагерем работала бесперебойно, даже еще при жизни Сталина.

Возвратимся к сороковому году.

Когда после исправлений, вычеркиваний и дополнений я переписала начисто свое письмо и опустила его в почтовый ящик, у меня закружилась голова от страха... перед Анной Андреевной. А вдруг она будет меня винить за этот поступок?! Впрочем, ведь она сама дала мне его норильский адрес. Надо было бояться другого. Дело в том, что за полгода до того мне пришлось заполнять одну анкету, содержавшую некий неслыханный для меня вопрос: «Кто из Ваших родных или з н а к о м ы х (?) подвергался репрессиям?» Я указала на двух покойников — О. Э. Мандельштама и моего родственника, эсера. А о Лева не упомянула. Если б два этих документа были сопоставлены, могли бы быть неприятные последствия. Но я пренебрегла этим то ли по легкомыслию, то ли по соображениям здравого смысла. Я считала, что эти материалы шли по разным каналам и мало шансов, чтобы они сошлись. И не такая уж я персона, чтобы кто-то специально мною занимался и разыскивал мои документы. Однако моя анкета все-таки всплыла год спустя. Но это уже особая история.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Для меня сороковой год начался несчастливо. В марьинорощинскую идиллию вторгся резкий диссонанс. Николай Иванович внезапно сорвался с места и ушел встречать Новый год, очевидно, со своей роковой возлюбленной, которая неожиданно его позвала. Разумеется, он мне не открыл истинной причины своего поступка, тем обиднее он мне казался. Я провела новогодний вечер дома, и это поставило меня

в неловкое положение перед моими родными. Оно было тем более некстати, что я опять была безработной. Не помню почему, моя договорная работа в Историческом музее кончилась.

Положение мое становилось все невыносимее. Неудивительно, что я ухватилась за единственную представившуюся возможность устроиться на работу. Речь идет об учреждении, название которого укладывалось в безобразнейшую аббревиатуру ГАФКЭ (Государственный архив феодально-крепостнической эпохи). В действительности это был старейший и богатейший национальный исторический архив. Он помещался на Пироговской улице, в районе Девичьего поля, и мне представлялось, что в этом же здании служили «архивные юноши» пушкинской поры, а Александр Иванович Тургенев именно здесь окончательно испортил себе зрение, уже подорванное его неустанными розысками документов по истории России во всех архивах Европы.

ГАФКЭ славился своей свирепой и невежественной начальницей — коммунисткой из когорты латышских стрелков. А сам архив находился в ведении НКВД. Эти обстоятельства заставляли меня колебаться. Я не решалась связываться с ними, когда они объявили в начале года набор договорных сотрудников. Но жизнь уже так напирала, что в марте я пошла туда наниматься. Несколько раз я приходила к этой начальнице, пока мы не договорились. Я заполнила анкету и по ее указанию пошла к кому-то за подписью и печатью.

Я попала в большую канцелярию, где стояло несколько рабочих столов, а у окна — большой письменный стол, за которым сидел одетый в форму начальник. Он попросил меня обождать, я заняла свободный столик, рассеянно глядя по сторонам. В это время в комнату стремительно вошла молодая сотрудница в форменной куртке и направилась прямо ко мне. Со словами: «Вам дали не ту форму анкеты» — она кинула мне на стол другой образец и торопливо удалилась. Я начинаю лениво заполнять сызнова анкету, но постепенно замечаю, что вопросы все усложняются и усложняются. Тут и вышеупомянутый вопрос о репрессированных знакомых, и вопрос, не был ли кто-нибудь из моих родных на территории, занятой белыми, и, наконец, знает ли меня кто-нибудь из сотрудников «органов». Никто, никто, отмечаю я с удовольствием, но появляется снова та же сотрудница и подкидывает мне еще один отпечатанный типографским способом бланк. Это расписка о неразглашении. Я подписываю: занимаясь в архивах как исследователь, я часто подписывала подобные обязательства. Подобные, но не такие. Потому что здесь выходило так, что я сотрудница «органов», правда, графа «В каком отделе?» осталась незаполненной. Впрочем, у меня от волнения двоилось в глазах, и я не помню точных формулировок в этих злополучных документах. Я предположила, что мне хотят поручить работу над каким-нибудь секретным фондом. Но, с другой стороны, какие же документы я оставляю о себе?! Разумеется, я могла бы попросить объяснения у начальника, но на меня украдкой поглядывали не менее шести сотрудниц, работавших за своими столами. Я побоялась при этих свидетелях обнаружить свое истинное отношение к НКВД. Мало того, оказалось, что мне еще надо было принести две рекомендации от коммунистов. Я решила, что должна выполнить и это требование, чтобы не произвести впечатления человека с дурной репутацией. А после этого, думала я, под каким-нибудь предлогом я откажусь от работы в ГАФКЭ.

Пока я была занята добыванием рекомендаций, я пребывала в смятении. Советовалась снова со своим старшим братом. Он отнесся к моему рассказу равнодушно: в Метрострое, где он работал старшим инженером-электриком, он был засекречен и заполнял всякие подробные анкеты. Моя Елена, напротив, осыпала меня упреками. Помню, как, оставшись одна в ее комнате, я сидела с бритвой на запястье и решала, перерезать ли мне себе вены или выйти на лестничную площадку выброситься из окна пятого этажа высокого доходного московского дома. Ничего такого я, однако, не сделала.

Постепенно я как будто даже успокоилась. Но когда я принесла рекомендации и тот же начальник радостно меня спросил: «И телефончик свой оставили?» — я поняла, что попала в ловушку.

Больше я в эту канцелярию не являлась, а недели через три пришла к твердокаменной директорше и сообщила ей, что серьезно заболела и работать в ГАФКЭ не буду.

Трудно передать, в какое бешенство она пришла. Приводила в пример каких-то самоотверженных женщин, работавших скрючившись от боли, но не покидавших своего поста. На меня это не подействовало. Тогда она стала сулить мне такие материалы, какие они даже Тарле не показывали. Это было заманчиво, но я не уступала. Она продолжала наседать на меня, и только тогда я задала ей вопрос, который надо было задать с самого начала там, в канцелярии: «А что, разве все сотрудники архива заполняют такую анкету?» — «Нет, — закричала она с пеной у рта, — не все! Надо войти в систему!» На этом наше собеседование окончилось. Больше я в этом проклятом ГАФКЭ не была ни разу, пока все архивы не переконструировали, и уже после войны и XX съезда я часто занималась в том же полюбшемся мне здании в нормальных условиях в архивах ЦГАДА и ЦГАОР.

Постепенно я стала забывать об этом отвратительном приключении, как будто прошедшем бесследно. Между тем в Москве и Ленинграде уже шла интенсивная подготовка к столетнему юбилею Лермонтова. Я опубликовала в газетах и журналах ряд исследовательских статей, среди них две большие, получила за них неплохой гонорар. Материальное положение мое несколько улучшилось. Редакция «Литературного наследства» пригласила меня участвовать в подготавливаемом ими лермонтовском двухтомнике.

Это была интересная работа. В редакции царил дружная, деловая атмосфера, при этом очень веселая, благодаря темпераменту и неиссякаемому остроумию Ильи Самойловича Зильберштейна — вдохновенного инициатора этого известного издания. Его соратниками были Сергей Александрович Макашин и Иван Васильевич Сергиевский. Последний вел лермонтовские тома. Он очень хорошо ко мне относился.

У всех троих были свои тонкие тесные отношения с архивами. После многих хитроумных, скрытых от меня переговоров с архивом Наркоминдела мне были предоставлены уникальные документы по делу о дуэли Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом. Я и без того уже опубликовала ряд новых материалов по этому делу, причем некоторые из них хранились в том же архиве. Но самое главное они предусматривательно от меня скрывали, пока не договорились более основательно с редакцией. Теперь на страницах «Литературного наследства» я могла опубликовать более полное исследование. В этом были заинтересованы и архив, и редакция, и я.

В процессе общей работы Иван Васильевич Сергиевский однажды обратился ко мне: «Хочу поговорить с вами как мужчина с женщиной». Разговор начался с вопроса: «У вас нет хвостов?» — «Нет». Оказывается, в редакции есть намерение поручить мне еще одно исследование, построенное на еще более значительных материалах. Но для этого надо засекретиться. Могу ли я? Согласна ли я? Я чистосердечно рассказала Ивану Васильевичу о прошлогоднем инциденте. «Это известно», — сказал он с величайшим спокойствием. Я взяла несколько дней на раздумье.

Страсть исследователя взяла надо мной верх. Я пришла к Сергиевскому и заявила о своем согласии. Надо было видеть, какой взгляд он бросил на меня. Взгляд, полный упрека и разочарования. У меня упало сердце. Но отступать уже было поздно. Пошел конкретный разговор об оформлении. Простившись с ним, очень подавленная, я пошла к выходу. Но только я взялась за ручку двери, Сергиевский меня окликнул: «Эмма Григорьевна, вернитесь». Заняв прежнее место против него за столом, я услышала: «Туда не надо идти». Он объяснил: «Это дело темное, сегодня вам поручают архив, а завтра могут дать другое задание». У меня будто камень свалился с сердца. Но все-таки я растеряна: «А как же Лебедев-Полянский и другое высокое начальство? Ведь это очень плохо...» «Плохо», — не спорит со мной Иван Васильевич. Но все уже решено. Я отказываюсь. Возвращаюсь домой совершенно счастливая. Только ли оттого, что я избавилась от ложного шага? Нет, не только. Меня охватывает ликующее чувство радости за Сергиевского. Он, тривиальный и третий советский литературовед, раскрылся передо мной с другой, подлинно человеческой стороны.

Я не могла тогда предвидеть, что имя Сергиевского будет связываться с его участием в травле Ахматовой в 1946 году, когда вышло мракобесное постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это уже новая глава послевоенной истории. Но я не забывала никогда о том, как он меня спас.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В декабре 1940-го я опять стала сотрудником Государственного литературного музея, но не для работы в каком-нибудь его отделе, а для участия в подготовке Всесоюзной Лермонтовской выставки к столетию со дня гибели поэта 15/27 июля 1841 года. Это та самая уникальная выставка, которая была открыта всего один день. Ведь с 23 июля Москву уже бомбили. На следующий день после открытия мы стали сворачивать выставку, готовить к эвакуации драгоценные экспонаты, собранные со всех музеев Советского Союза. Не успели даже сфотографировать экспозицию, не был подготовлен каталог, не было откликов в печати. Никто не помнит этой выставки, как будто ее и не было. Между тем она являла собой некое новое слово и по своей структуре, и по оформлению, и по научному методу. Постараюсь, насколько это возможно при полном отсутствии письменных материалов, рассказать о том, что сохранилось в памяти.

Лермонтовский юбилейный комитет состоял при Совнаркомме, но административной и научной базой служил Литературный музей. Бонч-Бруевича там уже не было: как старо-

го большевика и соратника Ленина, его затравили и «ушли» из созданного им заповедника уникальных рукописных и живописных материалов по истории русской литературы.

Владимир Дмитриевич собирал и покупал архивы еще здравствующих писателей. В деньгах нуждались все и охотно откликались на предложения музея.¹⁰⁵ Связной между писателями и директором была обаятельная и красивая Клавдия Борисовна Сурикова, преданная Владимиру Дмитриевичу.

Писатели радушно принимали ее у себя дома, а приходя в музей, обращались к ней как к очаровательной хозяйке этого уютного особняка. Такой я застала ее еще в 1936 году. И какую же перемену я наблюдала теперь, через четыре года!

Случайно я узнала, что Клавдия Борисовна не может провести свой отпуск в доме отдыха. Зарплаты технического секретаря не хватало, чтобы оплатить путевку, а на льготы от профсоюза она уже не могла рассчитывать. Она жила одна с маленькой дочкой. По словам сослуживиц, фасадная сторона ее теперешнего существования была единственной ее утехой. Но и этой деятельности пришел конец.

Я была свидетельницей такого эпизода. Придя утром на работу, Клавдия Борисовна нашла на спинке своего стула чужой жакет. Вначале она не обратила на это внимания, потом стала удивляться, так как никто не приходил за своей вещью. Открыла ящик стола. Там лежали чужие папки. Она задала недоуменный вопрос оказавшейся рядом сотруднице. Та с тайным злорадством посоветовала ей подойти к доске приказов. Оказалось, что Клавдия Борисовна уже не секретарь, а переведена в какой-то другой отдел. Он помещался на втором этаже, в комнате, куда никто из писателей не заглядывал.

Этот способ снимать с должности неугодного сотрудника отвечал, видимо, особенной страсти начальников унижать людей. Такие приемы были в ходу в нацистской Германии. По крайней мере в послевоенном немецком фильме «Мы — вундеркинды» есть точно такая сцена. Разница только в том, что героя, служившего в издательстве редактором, отправили не наверх, а в подвал таскать и упаковывать книги.

Интересно знать, кто у кого перенял этот метод изодрванного хамства — нацисты у нас или мы у них.

Самое же удивительное, что Зинаида Федоровна Иловайская, так нагло занявшая место Клавдии Борисовны, оказалась впоследствии милейшей женщиной с трудной и даже героической судьбой. Я имею в виду ее самоотверженные дежурства на крыше музея во время войны.

Странно, что с обеими этими секретаршами у меня установились теплые личные отношения, а с научными сотрудниками общих интересов не было. Главное расхождение относилось к методике устройства литературных выставок. Они делали основной упор на словесный материал. Когда этим приемом пытались раскрывать «идейное» содержание сложных художественных произведений великих писателей, получался монтаж цитат. При таком принципе изобразительный материал — душа и ум всякой выставки — невольно оказывал-

¹⁰⁵ В одном из ранних зарубежных изданий мне встретилось крайне наивное толкование этих взаимоотношений, будто писатели сдавали свои архивы в музей с целью сберечь их от всевидящего ока ГПУ (или НКВД?). Не то место, дорогие комментаторы.



Эмма Герштейн. 1910.



Эмма Герштейн. 1919.



Г. М. Герштейн, отец Э.Г. 1936.



Л.Н. Гумилев. 1932.



Э.Г. Герштейн. 1947.



Э.Г. Герштейн. 1937.



А.Э. Мандельштам , М.С. Петровых, Э.В. Мандельштам , Н.Я. Мандельштам,
О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова.1932.



Н.Я. Мандельштам. 1937.



Н.Я. Мандельштам. 70-е.



А.А. Ахматова и Б.Л. Пастернак. 1946.



Е.Я. Хазин. 60-е.



Б.Л. Пастернак. 1942.



А.А. Ахматова. 1950.



А.А. Ахматова и Б.Я. Бухштаб. 1965.



А.А. Ахматова. 1959.



А.А. Ахматова, Н.Я. Мандельштам, Э.Г. Герштейн. 23 июля 1965.



С.Б. Рудаков. 1943.



Е.Я. Эфрон. 40-е.



Н.И. Харджиев. 40-е.



С.Б. Рудаков. 1931.



Э.Г. Герштейн. 1980.



Б.М. Эйхенбаум. 1958.



Э.Г. Герштейн. 1959.

ся в подчиненном положении. Пейзажи и портреты, «тексты» и мелкие предметы развешивались не только на стенах, но и на дверях, на изразцах голландской печи, на боковой стенке шкафа или на выступе стены, и все это подчинялось только логике тематического развития. Такая художественная слепота вызывала резкий отпор у опытного музейоведа и страстного коллекционера Николая Павловича Пахомова. Особой его специальностью был Лермонтов — живописное наследие и автографы. Естественно, что работник такого профиля с трудом мирился с тусклой экспозицией Литературного музея, а те в свою очередь обвиняли его в непонимании смысла творений Лермонтова. Известная доля правоты была в их утверждении. Пахомов придерживался традиционных правил развески живописных экспонатов, совершенно не считаясь с содержанием произведений поэта. Эту междоусобную войну я застала в самом разгаре, когда пришла в 1940 году. Но вскоре непримиримые противники были ошеломлены совсем новым веянием, ворвавшимся в их застарелую распря.

Для оформления Лермонтовской юбилейной выставки были приглашены ученики и последователи К. С. Малевича — Николай Михайлович Суетин и Константин Иванович Рождественский. Они только недавно завоевали признание в административных кругах благодаря, как говорят, блестящему оформлению советского павильона на Всемирной парижской выставке 1937 года. Пахомов выходил из себя. Привыкший к стилизованному оформлению в ампириных московских особняках или усадебных домах, он насмешливо фыркал, знакомясь с проектами новых художников: «made in USA» и проч. Он персонально ненавидел Суетина и Рождественского, считая, что они «на ходу подметки режут». С другой стороны, бывшие сотрудницы Бонч-Бруевича вспоминали с презрением, как Суетин приходил в музей совершенно нищим: «Отвороты брюк превратились у него уже в бахрому». Зато полную поддержку новые художники нашли у Иракия Андроникова — члена правительственного юбилейного комитета. «Если бы вы знали, какого труда мне это стоило!» — признавался мне Иракий, как бы извиняясь за такой скачок в своей карьере.

До тех пор мы были с ним на равных правах членами Лермонтовской комиссии при Институте мировой литературы имени Горького, оба начинали с разработки проблем, поставленных Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, делились друг с другом своими находками. У нас образовалось как бы разделение труда. Сферой его поисков были живые потомки лермонтовских современников, моей — архивные материалы, которые я разыскивала только в государственных хранилищах. У него уже было три публикации в журналах и газетах, у меня тоже. Но Иракий был очень популярен в артистических и литературных кругах благодаря своему уникальному дарованию имитатора, пародиста и рассказчика. Тогда оно считалось любительским. Он еще не пробовал свои силы в публичных выступлениях в Ленинградской филармонии и в Зале имени Чайковского в Москве. Но вся его ежедневная жизнь была работой актера. В каком бы учреждении он ни появлялся, он всегда шел прямо в кабинет директора. Очаровав по дороге всех сотрудников и секретарш своими показами и рассказами, он разворачивал их полностью в избранном кругу в директорском кабинете. Возвращаясь на выставку из командировки, он так расскажет и покажет прения в Пушкинском Доме, что скучное подчас литературоведческое слово начинало светиться пестрыми красками и согреться тонким юмором. Такие рассказы Андро-

никова очень любил Николай Павлович Анциферов, и не только за искусство артиста, но и за умную и компетентную информацию. Андроников был прекрасным референтом.

Анциферов не примыкал ни к одной музейной партии, но с живейшим интересом относился ко всем. Я иногда миролюбиво попрекала его: плохо, мол, он разбирается в людях. «Вы оптимист», — говорила я, но он возражал с грустной и мудрой улыбкой: «Нет, я пессимист». Он был снисходителен к людям, потому что слишком часто сталкивался с нравственными уродами, например на следствии и в Соловках, где провел в заключении несколько лет.

В противоположность ему наши музейные литературоведы, уверенные в том, что новые художники-оформители ничего не понимают в литературе, сомневались: смогут ли воспринимать великие идеи русских гениев эти деловитые мастеровые американской складки? Но оказалось, что они проникали во внутренний образ произведений Лермонтова лучше, чем профессиональные знатоки литературы. Помню, как К. И. Рождественский заметил в поэме «Монго» автохарактеристику поэта, которую никто из нас до тех пор не выделял из шуточного и флиртового текста этой гусарской поэмы:

Слова он весил осторожно
И опрометчив был в делах;
Порою трезвый — врал безбожно
И молчалив был — на пирах...

А Суетин, рассматривая портреты вдохновительниц лирики Лермонтова и вникая в характер отношений поэта с этими женщинами, заметил, что в любовных увлечениях Михаила Юрьевича преобладало психическое начало. Суетин выразил свою мысль косноязычно, вернее лаконично, потому что был вдумчив и медлителен в противоположность ловкому и обходительному Рождественскому. «Бык со скрипкой», — назвала я как-то Суетина в разговоре с Н. И. Харджиевым. Рассмеявшись, он ответил, что у Малевича есть картина «Корова и скрипка».

Больше всего мне приходилось разговаривать с третьим художником-оформителем — Борисом Владимировичем Эндером. Он не работал в Париже на Всемирной выставке и не был учеником Малевича, а шел в живописи своим путем. Начинал как ученик Матюшина, был абстракционистом. Суетин и Рождественский пригласили его участвовать в работе на нашей выставке как единомышленника и друга. На его долю выпало оформление моего зала.

Тут были представлены центральные произведения Лермонтова — «Герой нашего времени», «Демон», «Дума», «1-е января»... Добиваясь соответствия оформления глубинной тональности произведений Лермонтова, мы с Эндером часто беседовали о поэзии и искусстве. Между прочим, он много рассказывал о художнице и писательнице Елене Гуро, одной из первых кубофутуристов. С нею у него была совсем особенная духовная связь. Он все доискивался, где проявлялась «детскость» Лермонтова, без чего, по его мнению, нет поэта. А я, посвящая его в сущность моих находок, находила у него больше понимания, чем у специалистов-литературоведов, часто склоняющихся к догматическому мышлению в своей области.

Борис Владимирович, так же как и я, не умел разговаривать с начальством. Видимо, он нигде не мог ладить с администрацией и не умел добиться своевременной выплаты по предыдущему договору. Поэтому он приходил работать на выставку голодным. От меня он это скрывал, но при Андроникове однажды упал в обморок, и только тогда выяснилось, что он не обедает.

Суетин и Рождественский старались, чтобы он не попадался на глаза руководящим лицам, опасаясь, как бы он не вступил с ними в принципиальный спор об искусстве. Сами они легко обходились с идейными товарищами. Надо было видеть и слышать, как красноречиво защищал Рождественский проект оформления своего зала перед членами очередной комиссии. «Это будет художественно» — вдохновенно говорил он, и те, как замороженные, таяли и верили ему. А он в своих оригинальных живописных работах добивался совсем другой художественности. У него была своя мастерская, где он работал с восьми часов утра до ухода на выставку. Это мелькало в разговорах художников, так же как и упоминание о «сумасшедших картинах», которые он по утрам пишет и будто даже «ищет секрет разложения тканей» (?).

Так же, как и для предшествовавшей знаменитой Пушкинской юбилейной выставки 1937 года, Лермонтову были предоставлены залы Государственного исторического музея. Но Пушкинская была богаче и по материалу, и по накопленному научному опыту. «Пушкин» занимал весь второй этаж с круговым маршрутом осмотра от главного входа с Красной площади до выхода через служебный подъезд напротив Никольской башни Кремля и ворот Александровского сада. А мы должны были расположить свою выставку в трех (или четырех?) залах на самом верхнем, пятом, этаже. Залы были огромные, потолки высокие, а окна узкие. Это давало неровный свет и мешало осмысленному, свободному размещению экспонатов. Наши художники решили эту задачу так: окна были защищены. Свет был только электрический, кстати говоря, для верхнего света были куплены роскошные люстры XVIII века. Но дело не в этом. Получившееся ровное пространство очень длинных стен было перерезано наложенными на него деревянными рамами. Внутри этих геометрических фигур выгодно выделялись предметы искусства прошлого века. Вообще-то проблема сочетания современных форм и материалов со старинной бурно дискутировалась среди сотрудников Литературного музея. Они, по традиции, стремились к стилизации, вернее, к имитации пушкинской и лермонтовской эпохи во всем — в интерьере, в обрамлении акварелей и рисунков... Так ли это обязательно? Эндер свободно и изобретательно выбирал любые формы, подчеркивающие достоинства экспонатов. Он умел гармонически сочетать предметы разных стилей.

Зал, оформленный самим Суетиным, особенно выделялся своей структурой. Это был последний зал, куда, по традиции, включались обязательные казенные темы о значении русского писателя для мировой литературы и о влиянии его творчества на советских поэтов и прозаиков. Я эти сюжеты терпеть не могла. Поэтому плохо помню подробности разработок в этом зале. Помню только, что Суетин создал блестящий в архитектурном отношении финал всей выставки. Это был подлинный апофеоз.

Первые два зала были оформлены по тому же принципу наложенных на стену рам, но это не бросалось в глаза. Там было царство цвета.

Зал первый — детство в Тарханах, Москва, юнкерское училище в Петербурге — оформлял К. И. Рождественский. Этот зал производил впечатление залитого солнцем. Стены переливались нежными акварельными красками. Я говорю об общем впечатлении, а не о реальном материале. Среди экспонатов, конечно, была не одна акварель, там были и масло, и графика, и карандашные рисунки, но общий тон зала был светлый, вернее, радужный в буквальном, а не переносном смысле этого слова.

Мне казалось, что Рождественский был особенным любителем дневного света. Я случайно слышала, как он говорил по телефону с соседкой по квартире, уточняя время чьего-то прихода к ним. Но ни слово «время», ни «который час» ни разу не прозвучало в его речи. Он только выяснял, где тогда было «солнышко».

Художники думают глазами. Цвет и линии говорят им раньше, чем логическая мысль. Я в этом убедилась, когда в первые дни войны делала с Рождественским передвижную выставку на тему «Отечественная война 1812 года». Изобразительные материалы мы выбирали из богатого фонда лубков Литературного музея. Я выбрала лист, изображающий Наполеона на берегу Немана, то есть перед началом наступления на Россию. «Нет, — возразил Константин Иванович, — возьмем этот». Тут было изображено то же самое, но на берегу стояло одинокое дерево. Я не обратила внимания на эту деталь. Между тем все ветви дерева были обращены в сторону Наполеона. «Видите? Дует противный ветер. Тут уже есть все...» Отступление из Москвы, бегство из России... — словом, неудача, поражение.

А Эндер по-своему читал «Героя нашего времени». Когда он решил украсить наш стенд восточным ковром, он исходил не из банального представления об убранстве комнаты кавказского офицера — над диваном персидский ковер, на нем красуются кинжал, пистолеты и прочее искусно отделанное оружие. Он не повторил этот стандарт, а шел от свежего впечатления, перечитывая роман. Борис Владимирович так защищал свое намерение: «Ведь Печорин умер в Персии, а на Кавказе покупал в лавке персидский ковер, вы помните?» (Я ли не помнила!) И вот два небольших персидских ковра служили предметом декора, а не иллюстрацией к фабуле «Княжны Мери». Они были помещены наверху горизонтально и симметрично, дополнительно закрепляя форму всего отгороженного деревянными рамами пространства. Центром этого стенда служил портрет Лермонтова, окруженный портретами участников «кружка шестнадцати». Качество портретов было невысоким, но Эндер и тут нашел выход. Он тонко тонировал паспарту, выбирая оттенки цвета для картона, на который наклеивались рисунки и гравюры. В сочетании с пестрыми изображениями маскарада в Зимнем дворце да еще с акварельными портретами «графини Эмилии» и С. М. Виельгорской, олицетворявшими излюбленный Лермонтовым тип мягкой, женственной красоты, весь этот стенд воспринимался как симфония красок. Но общий колорит оставлял впечатление не яркого, а мерцающего света. Это соответствовало моему восприятию гениальной прозы Лермонтова. Ни то, ни другое не интересовало постоянных сотрудниц Литературного музея, и одна из самых влиятельных среди них заметила, поджав губы: «Слишком красиво».

Если бы речь шла о выставке, посвященной Некрасову, или Л. Толстому, или Достоевскому, такое замечание могло бы быть оправдано. Резкое падение эстетики быта в поре-

форменной России известно. Но в лермонтовское время, когда не только он, но и ближайшие его друзья хорошо рисовали, многие были музыкально одарены, когда сам Лермонтов в некоторых своих произведениях уделял особое внимание архитектуре и интерьеру, наконец, если вспомнить такие роскошные его баллады, как «Три пальмы», «Дары Терека», «Свидание» и «Спор», упрек в излишней красоте покажется совсем неуместным. Впрочем, мнение музейных «кадров» уже не имело влияния на судьбу юбилейной выставки. Гораздо хуже обстояло дело, когда еще до завершения работы нас посещали высокие руководители. Так, когда пришел Фадеев и увидел, что для стенда «Мцыри» я выбрала ведущим мотивом такой:

...да! рука судьбы
Меня вела иным путем!
Но нынче я уверен в том,
Что мог бы быть в краю отцов
Не из последних удальцов, —

он возмутился. Он твердо помнил, что герой рвался «от келий душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв». Фадеев повторял уже заезженные романтические строки: «Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть...»

И было удивительно смотреть на Андроникова, всегда такого взрывчатого и воинствующего, когда он со смирением школьника выслушивал замечания своего высшего начальника — генерального секретаря Союза советских писателей. Он даже не пытался защитить мою версию, хотя в ту пору обычно шумно меня хвалил. Конфигурация стенда «Мцыри» мало переменилась из-за перемены эпитафии. Но вот стенд «Героя...» пришлось весь перестраивать из-за резких идеологических нападок В. Я. Кирпотина — ведущего марксистского критика, руководителя Лермонтовской комиссии. Он возмутился близким соседством автора «Героя нашего времени» с портретами «шестнадцати». «При чем здесь эти аристократы? А где Белинский? где Герцен? где “Отечественные записки”?» — гневно вопрошал он. Конечно, они все были у нас, но не в центре стенда. У нас был другой замысел. Мы стремились отразить процесс зарождения образа Печорина, а не его историко-литературное значение. Ведь понимание романа Лермонтова с течением времени, естественно, отдалялось от толкования Белинского. Не прошло и двадцати лет, как новейшая критика причислила Печорина вместе с Онегиным и Обломовым к разряду «лишних людей». Потом и это толкование уступило место другому. Нужно ли на выставке отражать весь этот исторический процесс? А мы хотели избежать казенной скуки, добиваясь воплощения нашего сегодняшнего современного понимания «Героя нашего времени». Честно говоря, я предлагала не н а ш е современное понимание, а только м о е толкование романа Лермонтова. Проникнуть в тайну движения подтекстов гениальной прозы Лермонтова я сумела несколько позже, уже во время войны, а додумать до конца и опубликовать свою концепцию мне удалось только через тридцать лет (в кн.: «Герой нашего времени» Лермонтова. М., 1976). Но выставка — дело коллективное и официальное. Спорить с руководством у меня не было возможности. Мы смирились.

Эндер перестроил нашу экспозицию с новой изобретательностью. Общий вид стенда мало пострадал, но пропала идея, моя идея. Уверена, что, рисуя в «Думе» образ «нашего поколения», а в прозе — «современного человека», которого он «слишком часто встречал», Лермонтов отталкивался от «шестнадцати». Однокружковцы, или одноклубцы, встречались почти ежевечерне как раз в ту пору, когда поэт написал «Думу» и работал над своим знаменитым романом. Мне не удалось высказать и доказать эту мысль со всей определенностью даже в 70-х годах. Этому препятствовало и болезненное отношение нашего общества к бывшей российской монархии и ее титулованной знати. А ведь большинство «шестнадцати» были сыновьями именно тех царедворцев, которые, по выражению того же Лермонтова, стояли у трона «жадною толпой». Наше общество до сих пор (1992) относится к этой знати с непонятной остротой, будь то ненависть, выражающаяся в глумлении, будь то любованье, доходящее до холопства. Я не теряю еще надежды написать в новом ракурсе о «шестнадцати», то есть о типе «русского денди» XIX века, образовавшемся после поражения декабрьского восстания («...богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом»). Это не те «русские денди», о которых писал Александр Блок в 1918 году под влиянием беседы с одним из своих младших современников. Лермонтовские «денди» почти все сгинули, не раскрыв себя, кто не дожив до тридцати лет, кто едва перешагнув через свое сококалетие. Трое из них сражались рядом с Лермонтовым при реке Валерик. По рассказам очевидцев, они как будто сами искали смерти (Н. А. Жерве, князь А. Н. Долгорукий, барон Д. П. Фредерикс). Некоторые русские публицисты и мыслители улавливают тягу к гибели и в поведении самого Лермонтова на его последней дуэли с Мартыновым...

Вернемся, однако, к 1941 году. В первых числах июня, как мы помним, я видела Анну Андреевну Ахматову и Марину Ивановну Цветаеву в Марьиной Роще у Николая Ивановича Харджиева. Но вот какая странность. Вспоминая об этом, я всегда была уверена, что это было в 1940, а не в 1941 году. Как-то я спросила у Николая Ивановича, когда же это произошло, и он уверенно тоже назвал 1940 год. Чем объяснить такую аберрацию памяти? Ведь только после специальных изысканий, сопоставлений разных косвенных данных и, наконец, после опубликования точно датированной записи Ахматовой всякие сомнения были отброшены. Первая, и последняя, встреча двух поэтов происходила за две недели до начала Великой Отечественной войны. Объяснение нашей с Харджиевым ошибки очень простое. До войны у нас была другая психология, и все тогдашние события слились в нашем сознании в одну эпоху.

Странное было это предвоенное время. В Москве установился какой-то притихший, выжидательный политический климат. Да, конечно, мы следили за событиями европейской войны. Достаточно вспомнить стихи Ахматовой о «погибшем Париже» и «Лондонцам», да еще об осаде Тобрука в Ливии (названной в «Поэме без героя», чтобы отвести от нас неволью возникающее обвинение в равнодушии и беспечности). Но как-то инстинктивно я, да и не только я, уговорила себя, что после финской кампании у нас войны не будет. Помню, как к нам на выставку пришел профессор Николай Леонтьевич Бродский и озабоченно заметил, не идет ли дело к войне Гитлера с Совет-

ским Союзом, — мне показалось, что я слышу голос из подземелья или откуда-то с далекой стороны.

Между тем работа над выставкой вступила в свою завершающую фазу. В залах Исторического музея стало появляться много новых людей. Приходили художники, интересующиеся новой работой Суетина и Рождественского. Конечно, часто заглядывал Николай Иванович, поощрительно рассматривающий находки своих единомышленников и личных друзей. Нередко посещал меня здесь и Евгений Яковлевич; дома в эти дни меня трудно было заставить, не забудем также, что генеральные репетиции и вернисажи были его стихией.

Предвернисажная суета шла своим ходом. Шрифтовики спешно что-то меняли в надписях под экспонатами, плотники и столяры подгоняли настенные рамы и мебель... Пахло деревом, краской, клеем, стучали молотки, пела пила — мы находились как будто в большой производственной мастерской. Это веселило. Вот Андроников и Рождественский вздумали изменить конфигурацию уже, казалось бы, законченного стенда. Они тащат лестницу и, хотя оба довольно солидной комплекции, по очереди лезут под самый потолок с молотком в руках, оставшийся внизу поддерживает лестницу и корректирует перевеску большой картины. Они перекидываются шутками, в которых Иракий, стоя наверху, выступает как актер и режиссер, увлеченный экспозиционер и энергичный и точный рабочий.

Иракий называет меня Емма по примеру домработницы моих соседей, а я его Андрон. Здесь мы были с ним не только коллегами-ремонтоведами, но и соратниками по борьбе с нашими экстаичными музейными дамами. Наша сплоченность с художниками делала из нас особую партию в музее. Что греха таить — мы позволяли себе лишнее в борьбе со своими «идейными» противниками. Мы попросту их третировали, что не делает нам чести.

Однажды Андроников вместе с художниками нечаянно перешли границу дозволенного. Я даже обрушилась на них чуть ли не с выговором. Они так небрежно отнеслись к необходимому совместному обсуждению одной из тем выставки, что забыли о научной сотруднице, являвшейся автором экспозиции этого стенда. Она не без волнения готовилась защищать свою концепцию, разложив на полу все свои экспонаты в уже готовом порядке. А оппонентов нет, оказалось — их нет в музее. Невозможно было смотреть на жалкую фигуру этой женщины, обычно такой заносчивой и самоуверенной. А отойти от ценнейших экспонатов, разложенных на полу, она не могла ни на минуту. Наконец все трое вернулись в музей, заметно приободрившиеся и повеселевшие. Видимо, они были в ресторане, где пообедали, как полагается настоящим джентльменам. Правда, Андроников никогда не брал в рот спиртного. Он говорил, что ему не нужно пить, он и так как пьяный — пьян от жизни. Когда другие пили, он вдохновенно импровизировал. А когда Андроников разыгрывал свои рассказы, слушатели забывали о времени. Очевидно, так случилось и на этот раз. Кстати говоря, это было слабым местом его блистательного дарования. Он иногда затягивал процесс своих перевоплощений. В этом сказывался его дилетантизм. Я не раз наблюдала, как он не мог вовремя выйти из образа. Не он управлял своими гротескными персонажами, а они владели им. Иногда даже жутковато было смотреть на него во время таких «сеансов». Надо думать, что после войны, когда он стал выступать публично в больших концертных залах, он приобрел чисто профессиональное мастерство. Темп и

ритм работы ему диктовала заполненная до отказа аудитория. Это уже не то что вызывать восхищенную благодарность маленького кружка знатоков.

Вот какой полной жизнью я жила эти полгода. Мне даже приснился незабываемый по ощущению сон как «предчувствие блаженства», по слову Лермонтова.

Предметного его содержания я не помню. Но возник он на необычном фоне. За окном что-то происходило. Шли машины. Наступавшая на минуту тишина прерывалась нестройным хором грубых мужских голосов, и опять этот однообразный грохот тяжелого транспорта, Бог знает как попавшего на нашу глухую улицу. Он меня будит и опять убаюкивает. Я просыпаюсь окончательно уже полным утром. Лежу, не встаю, стараясь удержать еще несколько минут непонятное чувство смутной радости, владевшей мною всю ночь.

Внезапно дверь без стука распаивается. В комнату стремительно входит мама, никакого «С добрым утром», она произносит только два слова:

— Германия напала!

...Почему перед бедой часто снятся счастливые сны? Не знаю.

А стихи Лермонтова звучат так:

...Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

(«Мой демон»)

Каждый помнит, как он прожил день 22 июня 1941 года. Один сразу получил повестку в военкомат и с этого дня больше не принадлежал себе. Другой не получил, но сам явился в военкомат или в райком партии, требуя, умоляя, настаивая, чтобы его послали на фронт. Третий был ошеломлен и испугался. А некто узнал о войне, когда еще все спали, потому что жил на даче и слушал по радио иностранные передачи. Он добрался до Москвы самой ранней электричкой и оказался первым перед еще запертой дверью сберкассы. Ровно в восемь часов утра он успел снять с личного счета весь свой вклад. Это был смысленный человек. Распоряжение заморозить сбережения населения до окончания войны пришло позже.

Всякие я слышала рассказы об этих первых днях войны, но ни в устных передачах, ни в документальной хронике, ни в художественной литературе мне не случалось прочитать об одной подробности. Говорилось и о добровольцах, о зенитчиках и дирижаблях, устанавливаемых на улицах... Но нигде не было сказано, что все молодое поколение вышло на улицу.

В хорошее лето в Москве бывают в конце июня и в июле свои белые ночи. Темнота наступает на какой-нибудь один час, и он не оставляет следа в сознании. Спать не хочется. В одну ночь юноши и девушки поняли, что пробил их звездный или смертный час. От волнения они не могли оставаться дома. Им хотелось быть вместе, но не в семье.

В первый день какие-то группы организованно пошли на Красную площадь. Только что они принимали здесь поздравления с окончанием средней школы, праздновали начало новой

жизни. Но на этот раз их никто не встретил. Не до того было. Следующие группы растеклись по всему городу. К ним присоединялись новые. Но они не строились в колонны, не связывались руками в цепи, не пели, не несли плакаты. Постепенно они заняли все мостовые на улицах и просто шли, кто по двое, кто по трое, а больше в одиночку, молча, изредка перекидываясь словами с идущим рядом. Вдумчивые и взволнованные, они прощались с московскими улицами, дворами, друг с другом. Поколение шло навстречу своей судьбе.

В один из таких первых дней я вышла из Исторического музея вместе с Харджиевым. Мы мало разговаривали.

— Сегодня умер один писатель, — прервал молчание Николай Иванович.

— Кто же это?

— Зоценко.

— Как?!

— Зоценковский человек умер. А другой писатель возродился:

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

Это были строки из стихотворения Н. Гумилева «Наступление» (1914 год).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На дне воронки

Та научная сотрудница, третируемая недавно художниками, в молодости, как говорят, была балериной. У нее остались «изящные» манеры, чего у профессиональных балерин в повседневной жизни не бывает. В музее она нашла себе преданного помощника. Это был новичок-мальчик с женственными повадками. Он охотно, с любовью и рвением выполнял поручения бывшей балерины и будущей писательницы о Лермонтове. Но у него самого будущего не было. В первый же день войны он исчез — его призвали, отозвали, отослали? Скоро, очень скоро нам как-то невнятно сообщили, что он уже убит. Промелькнул и сгинул — мальчик с извивающимися движениями и открытой улыбкой.

Больше никого из наших выставочных пока не призвали. Но, конечно, мы не могли отгородиться от событий. Постепенно они становились все более грозными, но мы продолжали свое дело с таким напряжением, что даже находили место шуткам: «есть только две цели — взять Берлин и открыть выставку». Нам казалось, что Берлин возьмут без нас, и очень скоро. Сводки «От Советского информбюро» еще не убили этой надежды. Но постепенно мы стали слышать, как наши войска оставляли один населенный пункт за другим. А Эндер пришел в музей с сообщением, что только что через Красную площадь к Замоскворечью проехал грузовик, набитый людьми. На их лицах было написано неверо-

ятное напряжение. Не из боя ли они вырвались? Такие новости пока что действовали на нас так, что мы еще более остервенело работали. «Вы что, железные?» — с удивлением спрашивала меня вахтерша, дежурившая в наших залах. Стояла необычная для Москвы жара. Окна, как мы помним, были у нас защиты наглухо, в других залах музея уже ввели затемнение окон. Мы задыхались от неимоверной духоты. А экспонаты наши хранились внизу в подвале этого огромного здания. Оттуда мы таскали их в тяжелых ящиках на самый верх, под раскаленную крышу, взбираясь по лестницам (лифтов там не было), переходя в другой подъезд через анфиладу залов третьего этажа.

Вахтерша рассказывала о встрече со старым товарищем-коммунистом. Он описывал немецкие танки как надвигающееся огромное стадо чудовищ. Бороться с ними нет никакой возможности. «Но, — говорил он, — нельзя же самим класть голову на плаху. Надо драться».

Необыкновенные события вызывали в памяти моей собеседницы годы ее юности, время гражданской войны. Родом она была из Астраханской губернии. Их деревня переходила из рук в руки. Женщины прятались. Когда красные стали брать верх, они вылезли из подполов. Побежали задаям навстречу победителям с криком: «Где наши коммунисты? Где наши коммунисты?» «Найдем», — отвечали им. Разыскали местных мужиков, под угрозами они довели их до берега Волги. Приказали им: «Раскапывайте!» «Мужики стали белыми, как ваш платок, — продолжала вахтерша. — Там в яме наши коммунисты все и лежали. И среди них одна женщина. При нас раскапывателей и расстреляли... А через Волгу такой мост... и так акации пахли!...»

Среди вошедших в деревню красных был ее будущий муж. Она с ним всю страну объездила, потому что он стал прокурором, его посылали в разные районы. А потом он начал ездить в командировки вместе с инспекторшей. «А я от горя заболела, лежала в больнице, он ко мне пришел. Да о чем говорить, если эта инспекторша уже заположила?»

Как всегда, в обеденный перерыв я выскочила из Исторического музея в летнее кафе под большими зонтами.

Недалеко от меня за столиком сидели двое. Один рассказывал что-то ровным голосом, без восклицаний и пауз: «...девки наши намазали лица углем, навернули на себя всякое тряпье, чтобы казаться старухами... Я иду, подошел к околице, а там... "он"...» Эпический тон выдавал его еще не утихшее глубокое волнение. Ему удалось выбраться из деревни, занимаемой немцами...

...Возвращаюсь из клуба, где читала лекцию милиционерам о войне 1812 года. Со мной передвижная выставка. Она тяжелая, поэтому меня на обратном пути провожает милиционер. Мы стоим у Белорусского вокзала, пережидая проезд транспорта. С Ленинградского шоссе мчатся машины — грузовые, легковые, мотоциклы. На некоторые мотоциклетки мне указывает мой провожатый: «Эти едут с фронта». Я обращаю внимание на другие машины и ошибаюсь. Мой спутник прекрасно разбирается в каждой по типу грязи, которой она заляпана, по лицам едущих. Он знает также людей, ныряющих в метро, — вот обычные известные в районе пассажиры, а этот кто-то чужой.

Да, фронт близко, бомбежка с воздуха стала чаще. С 23 июля она началась. Налеты были и днем и ночью. «О! Адольф прилетел» — хорохорится застигнутый на улице

молодой зенитчик. И мы прячемся под крышу открытого угла многоэтажного дома. До убежища не добежать. Клавдия Борисовна все еще служила в Литературном музее. Она пришла из своей верхней комнаты, одетая в какой-то тулуп, сапоги, она подошла к моему столу, чтобы проститься перед поездкой на грузовике рыть окопы на дальних подступах к Москве. Молча взяла лежащий на столе листок с планом лекций для ПВО и на обороте написала:

«Где она, волшебной Геспериды
Золотящаяся даль?»

1/9-41 Эмме»

Я так и не дозналась, откуда эти два стиха.

Впоследствии она была эвакуирована с дочкой в Казахстан, вернулась в Москву, много лет оставалась личным секретарем Вл. Дм. Бонч-Бруевича. Дочку вырастила одна, дала ей возможность получить хорошую специальность (врач).

Ждали нового «барина», как выразилась наша домработница Поля. Она сравнивала возможный вход немцев в Москву с опытом своей жизни. Когда уходишь на новое место, волнуешься, думаешь, каков он будет этот новый барин? А глядишь, и с этими хозяевами жить можно. С начала войны ее мобилизовали на трудовой фронт. Она поехала рыть окопы. Приезжая оттуда на один день, рассказывала, как работают одни женщины, а мужчина-надсмотрщик расхаживает вокруг них и погоняет. «Если бы кто-нибудь умный приехал и только посмотрел на это. Только бы видел!»

Вместо Поли у нас была другая домработница, чужая и временная. Во время бомбежек она брала свою корзинку с вещами и сидела с ней в обнимку во дворе, не обращая никакого внимания на оставшихся в доме. Но даже такая бездушная эгоистка очень верно высказалась о речах первого секретаря горкома партии. Они лились из репродукторов в промежутках между сводками Советского информбюро, воздушными тревогами и отбоями: «В такое время нужно говорить особенными словами, хочется услышать что-нибудь необыкновенное». Она, вероятно, имела ввиду нечто соответствующее исключительности момента. Что касается патриотического чувства, то русских людей не надо призывать к нему, оно у них в крови.

Однообразные радиопередачи перебивались еще и псевдонародной музыкой. Разухабистые песни под гармонику шокировали не только меня, «рафинированного интеллигента», но и народ, составляющий на улицах Москвы пеструю, не совсем понятную толпу. Один мужик со злой иронией и ненавистью насмеялся: «А гармошка-то хороша!..»

Я выходила из ворот нашего больничного сада. Сторож мне сказал: «Все. Ваша песенка спета. Немцы уже в Белых Столбах». Я представила себе, как танки будут давить моих родителей, но как-то подобралась вся и удивленно подумала: «Вот как это бывает. Идешь навстречу ужасу и не теряешь рассудка». Только с этого дня я перестала думать о наших лагерях, перестала воображать переносимые там мучения, тоску, голод и холод.

Насчет Белых Столбов сторож, вероятно, передавал неверный слух. С этой стороны немцы еще не подходили к Москве в тот первый период войны.

Литературный музей помещался почти под самым Кремлем (потом это здание занял музей М. И. Калинина). Фашистские асы с особой яростью бомбили эти места. Об этом свидетельствовала глубокая воронка в самом центре Манежной площади, появившаяся после ночного налета. Еще страшнее был провал в доме, непосредственно соседствующем с музеем. Там, прямо напротив станции метро «Библиотека Ленина», где потом мирно уживались «Пирожковая» и общественная уборная, находилась цельная секция четырехэтажного жилого дома. Ее вырвало прямым попаданием фугаски. А квартиры соседнего подъезда остались без четвертой стены. Особенно впечатляла пустая комната на последнем этаже. С улицы хорошо был виден узор обоев, картинка, трогательно висевшая над кроватью, сама эта кровать... Многие жильцы этого дома были погребены под обломками, их откапывали еще в течение нескольких дней.

Эту зловещую картину мы застали, придя утром на работу.

Зинаида Федоровна, та самая, которая так нагло держалась, занимая место Клавдии Борисовны, оказалась героической женщиной. Она провела трудную ночь на крыше, где дежурила. Держалась мужественно и бесстрашно, тушила «зажигалки». Жила она так же трудно, как и Клавдия Борисовна, но не с дочкой, а с мамой. Я несколько раз заходила к ней в ее небольшую комнату, где стоял деревянный крашенный шкафчик с завешенным пестрой занавеской застекленным верхом одностворчатой дверцы. Оттуда брали чисто вымытые чашки, угощали чаем — «чем богаты, тем и рады». К ней приходил друг, кажется нигде не работавший, может быть, страдавший запоями. Казалось, что эта комната была единственным пристанищем в Москве, где душа его оттаивала. Сослуживцы Зинаиды Федоровны смотрели на эту связь проще, ругали ее, жалели, ставили себя на ее место, уверяя, что никогда бы не позволили так себя эксплуатировать. Но разве можно отнять у живых людей тягу к душевному теплу, одинаково необходимому и берущему и дающему.

К концу войны или вскоре после ее окончания у Зинаиды Федоровны открылась мозговая болезнь, она обострила ее чувства и восприятие людей почти до ясновидения. Это тянулось несколько лет. От этой болезни она и умерла. И я не успела отдать ей десять рублей, взятые у нее взаймы. Как можно брать деньги у тяжело больной женщины? Видимо, можно, когда находишься в безденежной крайности и когда тебе так по-братски их предлагают. Ведь дело было уже в период «борьбы с космополитизмом», то есть безработицы евреев.

Вести от Советского информбюро становились все более угрожающими. Фашистские войска (или, как выражались бойцы, «немцы», в противовес прошлой «германской» войне) рвались к Москве. Отсюда уже вывозили детей. На нашем скромном музейном посту еще в здании Исторического настроение начинало падать. Кто-то из художников упомянул о своих «обнаженных нервах», Иракий не мог попасть на фронт, потому что Фадеев приписал его на флот, а ни один корабль еще не утонул. Иными словами, для Андроникова не открывалось вакансии. Вскоре художники отправили своих жен в эвакуацию, а затем Андроников проводил свою жену и дочку Манану в Казань. Я стала нервничать.

Мне смутно представлялось ожидающее меня существование: воздушные тревоги, полная изоляция, сидение дома. Ираклий попрекал меня за проблески уныния, говорил, что он меня не узнает. Конечно, в действительности я много ездила по госпиталям, но все четыре года войны я и вправду провела как бы на дне воронки.

Уже началась осада Ленинграда. Уже стали неприкрыто бояться коммунистические дамы с прошлой парижской выставки, приглашенные нашими художниками на Лермонтовскую.

Наконец, уехал Ираклий. Куда? В Казань, к своей семье. Мы прощались. Ему было невыносимо стыдно. Отвернувшись к стене, как провинившийся тринадцатилетний школьник, он расплакался, вытирая нос обеими руками. Он громко сморкался в большой платок, бормоча: «Я не могу... Манана...»

Через несколько лет, когда он уже давно вернулся с войны, где в конце концов работал в фронтовой газете, он обронил в совсем уже отчужденном нашем разговоре: «я помню...» каким-то словом и интонацией. Он намекал на то драматическое прощание. Мне этого «я помню» было достаточно.

В каждом доме, в каждой семье обсуждали — уезжать из Москвы или оставаться? О зверствах фашистов было еще мало известно.

У Елены в доме решался мучительный вопрос — уезжать ли всей семьей или отправить одну Елену с детьми — восьмилетней Таней и двухлетней Лилей. В один из таких дней у нее сидели друзья и одна соседка. Среди них были молодая интеллигентная еврейская женщина и приятельница актриса. Обе они уговаривали Елену никуда не бежать.

Языки развязались, соседка считала, что после ужасов 1937-го уже ничего хуже быть не может. Актриса Малого театра, родом с Волги, красавица с прекрасной русской речью ее поддержала.

— А каково будет переносить унижение, когда в Москве будут хозяйничать немцы? — сомневаюсь я.

— Ну так что? Будем унижаться вместе со всей Европой, — невозмутимо ответила волжанка.

В нашей квартире появился еще один из родственников нашего врага — врача-гэпэушника. Это был немолодой человек в военной форме с красным околышем на фуражке. Только что из Прибалтики. В коридоре он встретил моего отца и, потрясенный, рассказывал, как они уходили из Риги. «Из каждого окна в нас стреляли, в спину!» Я быстро ушла к себе в комнату. Вечером к папе пришел тот сосед-врач, сообщил, что надо уезжать из Москвы. Сам он с семьей едет в специальном поезде. Он предложил папе взять его с собой со всей нашей семьей. Кроме меня.

Папа отказывался. Я его убеждала, говорила, что он всюду найдет работу. Но он указывал, что оперировать он больше не может — руки дрожат и зрение отказывает — катаракта. А мы, его дети, в своем эгоизме этого до сих пор не замечали,

Я представляла себе, как немецкие танки будут давить моих родителей и упрашивала папу согласиться. «Но они уже под Можайском», — паниковала я. «Ну, если займут Москву, тогда в глубине Союза будет то же самое. Развалится все, и уже будет все равно, где быть». Папа решительно отказался двинуться с места.

У нас в Замоскворечье бомбежки были все чаще и попадания все ближе. Я ложилась спать не раздеваясь — боялась, а что, если нас накроет бомба, как же я буду в одной рубашке? Вот идиотка! Была озабочена тем, чтобы под развалинами сохранять приличие.

Впрочем, я знаю другой подобный случай. К нам приехали беженцы из Тулы. Знакомые старики, я должна была направить их в Саратов к детям и внукам. В тульской квартире над ними уже не было крыши. Они круглые сутки сидели под обстрелом — невымытые, замерзшие, голодные. Вдруг старик обратился к своей жене: «Франечка, ты бы в парикмахерскую пошла! Прическу сделаешь».

В общем, мы остались. Оба брата мои, не успев попрощаться с родителями, были отправлены в составе Метростроя в Магнитогорск и далее на заводы. Весь железнодорожный путь они проделали в вагонах московского метро.

В эти напряженные дни в Москве оказалась Ахматова. Как известно, ее отправили на самолете из осажденного Ленинграда. Хотя Москву бомбили, но все-таки это не артиллерийский обстрел, которого Анна Андреевна совершенно не могла переносить в Ленинграде. Она была в тяжелом состоянии. Предупреждала, что в Москве будет тоже голод и холод; ничего не будет, ни еды, ни дров, ни керосина.

Только потом узналось из устных и письменных рассказов Зои Борисовны Томашевской, в каком положении Анна Андреевна очутилась в осажденном Ленинграде. Пунин с Анной Евгеньевной, дочкой Ирой и внучкой Аней был эвакуирован вместе со всей Академией художеств в Самарканд. Ахматова осталась одна в опустевшей квартире на Фонтанке. Томашевские взяли ее к себе. Но они и сами не могли жить в своей квартире на пятом этаже, с испорченным лифтом, — от голода они уже очень ослабели. Их приютил у себя дворник, может быть, живущий в подвале. Там же Томашевские устроили и Ахматову. Она послала дворника за папиросами. А его тут же на улице убило артиллерийским снарядом. Нет ничего удивительного, что Анна Андреевна прилетела в Москву в растерянном и подавленном состоянии.

В самолете ее сопровождала чья-то родственница, которую ее попросили взять с собой в эвакуацию. Меня удивило, что она совершенно не беспокоилась обо мне. Ее приветствовали здесь как олицетворение мужества и твердости. Она остановилась у С. Я. Маршака. А потом была уже в Кисловском переулке у сестры Ольги Берггольц. Эти дни, как я уже сказала, все волновались, как ехать, куда, кто повезет? Очевидно, эта тревога дошла до кульминации, когда я к ней пришла. Там собралось много писателей. Говорили только об эвакуации. Где будет лучше? В речах мелькали названия городов — Чистополь, Свердловск, Казань, Куйбышев, Ташкент, Алма-Ата...

Пастернак был чрезвычайно возбужден. Рассказывал Анне Андреевне, как обучался в ополчении, и шутя угрожал воображаемому собеседнику — главному редактору издательства «Искусство»: «Я и стрелять умею» Дело в том, что Пастернак хотел заключить договор с издательством на пьесу — «новую, свободную», но редактор отказал: «Мы еще не знаем, как вы пишете драмы, вот если перевод — пожалуйста».

Анна Андреевна лежала на диване и обращала к нему слова чеховского Фирса: «Человека забыли». Это означало: «Я хочу ехать в эвакуацию вместе с вами, друзья мои». Обо

мне она как-то и не задумывалась. Но Пастернак, уже отойдя от нее, несколько раз тревожно взглядывал на меня и наконец подошел и тихо спросил: «А вы как едете?»

Вечером Анна Андреевна сообразила, что я не принадлежу к «золотому запасу» страны и поэтому ни в каком эшелоне мне места не предусмотрено. И тут оказалось, что ей ничего не стоило бы заявить в Литфонде, что ей нужна сопровождающая, и указать на меня. Она была настолько уверена в успехе, что мы успели условиться. Я должна была прийти к ней очень рано утром, взяв с собой только маленький узелок с самыми необходимыми вещами. Но мне надо было решиться еще расстаться с моими родителями. В такие экстремальные дни это тяжелое испытание.

Мне казалось, что им даже будет легче, если меня не будет с ними. Они оставались на попечение моей сестры с ее мужем и детьми. Муж — русский человек, родом из Вологды. Повторяю, мы были еще наивны, предполагая, что это родство поможет моей еврейской семье выжить при нацистах. Да и возьмут ли немцы Москву? Папа, повторяю, не верил в их победу. Разумеется, этот вечер был одним из самых тяжелых в моей жизни. Но в конце концов решение ехать с Анной Андреевной было принято.

В восемь часов утра я звонила в дверь квартиры Бергольц. Мне открыла хозяйка и сказала, что ночью прибежал Пастернак и объявил, что состав уже стоит на платформе и надо немедленно явиться на посадку. И они уехали.

Я шла по улицам и плакала. Кругом летали, разносимые ветром, клочья рваных документов и марксистских политических брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для клиенток, «дамы» выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут — надо прически делать.

Когда я пришла в музей, сотрудники собирались разойтись по воинским частям читать лекции или дежурить в ПВО. Взглянув на меня, Полина Львовна, наша директорша, сразу убедилась, что сегодня я не гожусь ни для какой аудитории. В этот день 16 октября многие были в таком же виде. День паники, неожиданных расставаний, трагических прощаний, попросту бегства.

В этот день все правительство уехало из Москвы. Папа рассказывал, что Сталин сказал остальным соратникам: «Вы как хотите, а я вернусь»

Вероятно, такие же сведения дошли и до Суетина. Он обращался к Харджиеву: «Неужели вы не видите, что Сталин — гений». Николай Иванович с ним спорил, но в конце концов согласился: «Да — гений, но со знаком минус». Художники не признавали, как они думали, брюзжания Харджиева, а он говорил разумные вещи. Он смеялся над камуфляжем, окутавшим все высокие и важные по своему политическому значению здания. У немцев есть давным-давно подробнейшая карта Москвы, и любой ас руководствуется ею при налетах на советскую столицу.

Тот же Николай Иванович говорил мне шутя в эти дни бегства: «Я хочу в Иран. Там англичане. Это прелестное иго». Тем не менее, несмотря на свой скептицизм, он в первые же дни недели предсказывал, что немцы обязательно потерпят поражение. «Коалиция всегда побеждает», — убежденно говорил он.

В ближайшие дни Полина Львовна собрала всех оставшихся в Москве сотрудников. Она произнесла трагическую речь, сообщив, что уходит из Москвы пешком. Советовала и

нам последовать ее примеру. Тем, кто не может идти или оставить семью, она дала последние наставления: «Сожгите партийные и комсомольские билеты, не забудьте уничтожить членские профессиональные книжки». Это уже показалось мне смешным. Неужели немцы имели такое нелепое представление о советской жизни? Ведь здесь каждый служащий механически вступал в профессиональный союз. Впрочем, в деревнях, то есть в колхозах, их, вероятно, не было, но были активисты-общественники, члены правления, агрономы и ветеринары, бухгалтеры и снабженцы, связанные с районным центром. На них-то крестьяне, очевидно, с удовольствием доносили. Первым признаком их положения, вероятно, был профсоюзный билет.

А в это время в отделе кадров музея спешно жгли и рвали личные документы сотрудников, в том числе и трудовые книжки.

Разве можно было скрыть, что мы терпим сокрушительное поражение, что наша армия окружена? Достаточно было открыть «Правду» и посмотреть передовицу, чтобы понять, что происходит на фронтах. Газета призывает к бойцам, чтобы они берегли свое оружие как зеницу ока, и уже понимаешь, что с фронта бегут. Садись в трамвай или троллейбус и, пока он тормозит, слышишь, что весь вагон гудит. Как только входишь со своим интеллигентным лицом, все замолкают. По отголоскам затихшего спора угадываешь, что шумят все о том же: смеет ли боец, бросив оружие, уходить с фронта. А вот и он, герой диспута. Он защищается, нападает на высокое начальство — нет никакой возможности воевать. Постепенно взволнованная аудитория перестает меня стесняться. Одни называют его дезертиром и изменником Родины, другие во всем винят власть, но, конечно, не Сталина. Я потом спрашивала бойцов, вышедших из окружения, как там вели себя командиры. «Какие командиры? Там все смешалось, в каждой группе решали все вместе, куда и как идти. Кто лучше сообразил, того и слушались». А как вообще шли в бой, с какими лозунгами? «С какими? — Нормально — за Сталина!»

У нас в больнице все корпуса были отведены под военный госпиталь. По «тревоге» ходячих раненых переводили в бомбоубежище. Однажды оттуда выскочил один командир, весь ходуном ходит, почти кричит: «На фронте в сто раз лучше. Тут сидишь взаперти, не видишь, где противник, сидишь сложа руки и ждешь, пристукнет тебя или нет. Хуже ничего нет». Большинство раненых отказывалось спускаться в бомбоубежище.

Лермонтовскую выставку пришлось свернуть. Грозные события давали о себе знать. Я ездила в части ПВО, в железнодорожные депо, словом, всюду, где мобилизованные жили на казарменном положении. С собой я привозила передвижную выставку о 1812 годе, о которой я уже упоминала. Там я читала патриотические лекции и имела от этого удовлетворение. Хуже дело обстояло с большой выставкой.

Свернув Лермонтовскую, нам оставалось только участвовать в упаковке экспонатов, возвращать их московским музеям (кому еще можно было, перед их эвакуацией), другие подготавливая прямо к отправке на восток. В опустевших залах мы устроили другую выставку, злободневную, посвященную войне. К счастью, она была основана на фотографиях, поэтому мы могли ее не сворачивать даже, когда с 23 июля началась бомбежка Мос-

квы. Теперь мы не подымались из подвала по лестницам с тяжелой ношей, нет, мы прятались там под могучими сводами типичного здания девяностых годов — купеческого, прочного, построенного в ложнорусском стиле.

На новой выставке много места занимал материал о прогрессивной зарубежной интеллигенции, которую я терпеть не могла за их восторженные пошлые речи о Советском Союзе. Особенно меня раздражал Ромен Роллан, приехавший в Москву в 1936 году. В «Правде» был напечатан его отзыв о закрытой колонии для несовершеннолетних преступников, учрежденной при НКВД. Роллан заявил, что она — живое воплощение заветной мечты Жан-Жака Руссо. После таких слов автор когда-то в юности столь любимой мной девятитомной эпопеи «Жан Кристоф», да и меньшей по объему «Очарованная душа», перестал меня интересовать. Я была очень рада, когда нам указали свыше, чтобы мы пореже о нем напоминали, потому что он живет в оккупированной немцами стране и наши похвалы могут ему повредить.

С Ролланом или без него, но мы делали патриотическую выставку, достаточно фальшивую и условную. Здесь я столкнулась еще с одним явлением, которое наблюдала в течение последующих военных и даже послевоенных лет. Имею в виду фотохронику ТАСС. Наши подлинно, а не условно, героические фоторепортеры делали замечательные снимки на фронтах Великой Отечественной войны. Я могла бы назвать их работы «Фронт с человеческим лицом». Не потому, что они приукрашивали жестокий лик войны, а потому, что среди снимков попадались портретные характеристики живых людей. Некоторые репортеры подбирали натуру с наблюдательностью истинных художников. Разумеется, это делалось не в пылу сражений, не во время отступлений и поражений и, конечно, не в окружении. Во всяком случае в фотохронике ТАСС такие зловещие снимки не встречались. Но много было изображений бойцов, предоставленных самим себе во время коротких передышек между сражениями или трудными переходами. Никаких выступлений столичных артистов на самодельной сцене, сооруженной перед бойцами, никаких плясок, а человеческие лица. Но сколько я ни отбирала оригинальных фотопортретов, начальство никогда их не утверждало. Привычный и пустой взор останавливался только на тех фото, которые были похожи на уже примелькавшиеся на страницах газетных полос. До сих пор нам слишком часто приходится их видеть в кино и по телевизору. Несчастные люди в неуклюжих шинелях бегут как оголтелые, подносят снаряды, кругом бухают выстрелы, взрывается земля, кто-то падает замертво, а вот и другой... убит.

В последующие годы появлялись на экранах картины, где действовали живые и не слащавые люди. Вспоминаются работы Чухрая «Баллада о солдате» и «Чистое небо», а позднее экранизация хорошей повести В. Кондратьева «Сашка» в инсценировке самого автора. Но ведь это игровые фильмы. А подлинная повседневная военная хроника не была своевременно показана. Значит, не сработала, не выполнила своего назначения. Напрасными остались усилия самоотверженных и бесстрашных фоторепортеров.

Часто воздушная тревога настигала нас на улице. Тогда забегаешь в первое попавшееся бомбоубежище. Однажды я очутилась в подвале чужого дома в полной темноте. Мой сосед, не видя моего лица, развлекает меня всякими байками: в деревне у нас одна

женщина умерла от смеха. — Как это? — А вот как: начала смеяться и не могла остановиться. Ее черт защекотал до смерти. Рассказ перебивают две девушки: «Пойдем шпионов ловить» — обращается одна к другой. Перед самым нашим декабрьским наступлением я укрылась от налета в хорошем убежище, в подвале высокого кирпичного дома. Там разглагольствовал человек типа «чуйки» — так в XIX веке различали всех мещан по названию и по одежде. Он уверял, что «немец» плавает, а портов у него нет, причалить некуда, потому он и рвется к Одессе и прочим портам в Черном море. Питается «немец» одной брюквой, а враг очень сильный. Беседу прервала толковая женщина, больше того, целенаправленная. Она ловко перевела разговор на Рокоссовского (дело было перед нашим декабрьским наступлением). Она рисует обычный сказочный портрет: он проверяет солдатские харчи, потом сапоги, а затем уже спрашивает по службе. «Чуйка» не выдерживает: «Вы что, влюбились в него?» — «В такое не влюбляются, влюбляются в тонкое, нежное». Она очень подтянута: косынка на голове аккуратно завязана, губы слегка накрашены, все в одежде ловко прилажено. Такие все чаще стали мелькать на улицах. Это казенные бодряки. Служба у них такая. Однажды я шла по Каменному мосту. Прохожих почти нет. Навстречу идет женщина. Порывнявшись со мной, произносит тихо на ходу: «Наши Порохов взяли».

Или называет какой-нибудь населенный пункт, о котором не далее как третьего дня Совинформбюро сообщало, что мы его оставили. Но обманывался только тот, кто хотел обманываться.

Четыре события одного военного года

Люди, прибывающие на побывку с фронта, поражали своей деловитой подтянутостью, они никогда не допускали охотничьих рассказов о военных подвигах и на все вопросы однозначно отвечали: «Мы работаем». А прощались они, говоря по телефону с другими военными, фразой: «Будь жив».

Уже в середине лета мы убедились, что овощи в Подмосковье и даже в самой Москве все-таки растут. Голод уменьшился.

Я как-то взглянула в окно и увидела, что по дорожке парка прямо по направлению к нашему дому идет какой-то военный. Он прихрамывал и ходил с палочкой. Постепенно я узнала в нем Сергея Борисовича Рудакова. Последний раз виделась с ним в первый день затемнения Ленинграда — 1 сентября 1939 года. Сегодня его глаза сияли. Ничего удивительного в этом не было. В лазарете его считали раненым смертельно, кроме того, у него была контузия головы. Это сказало на его речи. Он путал чередование слогов в слове. (Историю его чудесного спасения я не буду повторять, потому что он подробно описал свой путь от сражения на Малой Дубровке до тыловой Москвы в многолетнем трактате, напечатанном в ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома.)

И в Москве началось самое счастливое время его жизни, к сожалению, быстро прервавшейся. Я сама была свидетельницей, с какой радостью заключил его в широкие объятия Борис Викторович Томашевский, не ждавший увидеть его живым. Он так и спросил его:

«Вы с того света явились?» Это было в палисаднике Института мировой литературы, где собрались перед заседанием Пушкинской комиссии пожилые ученые и эвакуированный из блокадного Ленинграда Томашевский. Это уже было не первое появление Рудакова в литературной среде в новом облике храброго воина, раненого и при всем при этом с блестящей наследственной военной выправкой. Он все это время, до августа 1943 года, парил, как на крыльях, в прифронтовой Москве. О таком размахе своей деятельности и о таком бесспорном успехе ее он вначале и мечтать не смел. Это видно по первым его письмам к жене из Москвы. Здесь он радуется такому незначительному, с нашей точки зрения, событию, как посещение Союза писателей. «Был сегодня на заключительном заседании литературно-критического совещания Союза писателей. Попал туда через Сейфуллину (?!). Путь таков: через “Звезду” знаю ее племянницу, а она через тетку (собственно, с теткой) предложила пойти послушать дискуссию по моей рецензентской специальности».

Его радует пребывание в обществе известных писателей: «Видел впервые и частично слышал, — продолжает он, — Фадеева, самую Сейфуллину, Соболева, Щипачева, Кожевникова <...> повторно монументально потолстевшего с оторванными пальцами Уткина, Лебедева-Кумача, еще раз Эренбурга, впервые Эфроса, Нусинова, поленького в гимнастерке белой — как ты бы хотела мне — Кирсанова.

В перерыве любезнейший Иван Никанорович Розанов.

И знаешь — как гонец в “Князе Курбском”: вдруг едет гонец, “раздвигая народ — под шапкою держит посланье”. Так “раздвигая народ” ко мне ринулся Шкловский, громоглася: “С. Б., я написал теоретическую работу, которая не увидит свет, пока мы с вами ее не прочтем и не обсудим... И как ваше продолжение “Медного Всадника”?”

Словом, афишу (устную в данном случае) он сделать умеет. Толпящиеся заоборачивались. ...Чувствую себя изумительно. Кончилось молчание. Можно говорить, думать, а думать молча я не умею».

После такого начала была целая серия его триумфальных выступлений на ученых собраниях ВТО, в каком-нибудь музее, библиотеке, где собирались пожилые полугодные профессора. Они стеснялись того, что они не воюют, и поэтому с особенной отцовской любовью слушали ораторский напор молодого ученого. Но чем более его радовали успех и признание, тем более, к несчастью, его томил неудовлетворенность своим социальным положением. Он постоянно возвращался к этим мотивам в своих письмах к Лине Самойловне. А ведь я этих тайных огорчений не знала и видела его только добрым и окрыленным человеком. Только с восьмидесятых годов, когда я получила доступ к полному собранию его писем к жене, я узнала об этом грызущем его черве.

По поводу потрясшего его знакомства с рукописями и фотографиями Марины Цветаевой Рудаков, очень тонко характеризующий ее творчество и фотопортреты, все-таки возвращается к своей постоянной обиде: «Это смотрение на нервы подействовало опустошающе. Чего хочу? С кем из людской массы быть надо? Где права?» И он продолжает опять развивать свою заветную мысль: «Ощущение, что если бы где-то признали, что я есть я, а не инструктор, не учитель, не студент, не чертежник, — то я успокоился бы. Дело в этом именно — труд не люблю, готов редактировать чертей собачьих, лишь бы признали, не считали за чиновника».

Будучи сама приблизительно в том же положении, я не подозревала, до какой крайней степени это его терзало. Непосредственно отдавалась вместе с ним чувству радости, оттого что он остался жив, а я тоже не теряла надежду на будущее. По другим его письмам к Лине (при своей жизни она мне читала только выдержки из них) можно было узнать, как мы проводили время в прифронтовой Москве. Он не раз упоминает, как я его угощала замечательной порцией гуся, полученного по карточкам, как мы вместе продаем на рынке или распиваем выданную ему в военкомате водку. Немножко этим «радостям» мешал косой взгляд моей сестры. То ей стало жалко, что я кормлю его гусем, то она дала мне взаймы хлеб, но со строгим наказом — вернуть обязательно к обеду (она хозяйствовала от меня отдельно и с трудом кормила своих двух детей). Этот эпизод отразился в моей веселой записи под водку, заверенной подписью Сергея Борисовича.

Две четвертинки

«4 февраля 1943 г.

Я начинаю вести дневник, который мне лень было писать в 1942 г. Но я помещу задним числом сюда все записи 1942 года. Это будет потом.

Сегодня мы с Сергеем Борисовичем, который есть тезка моего любимого розовощекого племянника 14 1/2 лет, выпили пол-литра, а С. Б. поправляет: “Не пол-литра, а две четвертинки.” А разница есть. Ибо четвертинки великолепнее на 7 1/2 рублей.

Сергей Борисович сегодня впервые для меня с погонами. Он тот самый поручик. Я всегда любила поручиков, а со времен моего Лермонтова сроднилась с ними. А бедный Иракий (имеющий жену Вивиану Абелевну Робинзон и дочку Манану Вивиановну) в простоте своей оголтелой души вообразил, что все старшие лейтенанты — герои нашего времени. Как грубо! Нет, я ошиблась — плоско. Это — гостиница “Москва”.

Итак, 1 февраля (1.02 по-военному) дворник попросил у С. Б. пол-литра за погоны, а дама, обыкновенная дама средних лет, сказала, что именно такие поручики за ней ухаживали, когда она была моложе и красивее. см. “Евгений Онегин”, т. к. по Харджиеву между С. Б. и миром стоит литература. А по С. Б. между миром и Харджиевым, увы! ничего не стоит. Эта полемика произошла из-за того, что я со дня рождения была сплетницей, а Марьина Роща — местом пребывания поочередно Харджиева, Цветаевой и Рудакова. А я поправляю, что Цветаева была там в гостях. А С. Б. добавляет, словами Давыдова: “я был на Линде, но наскоком”.

При этом надо добавить, что безумный Михаил Матвеевич, достойный корреспондент, все спутал и принял ангела, явившегося на фронте, за Леву Гумилева. С. Б. требует, чтобы я написала, что у Марины об этом сказано: “есть с огромными крылами, а бывают и без крыл”. Между тем оказалось, что Лева давно уже не ангел, о чем забыл Михаил Матвеевич, а служит в Музее, не экспонатом, а, по-видимому, научным сотрудником. Пошли ему бог удачи и покладистого характера.

Самое главное же то, что ангелом, никем не узанным, оказался Сергей Борисович: он принес картошку, и много.

Хлеб желателен к обеду. (Эту приписку сделал С. Б. Рудаков)»

Так мы то ли развлекались, то ли отвлекались от всех бедствий войны. Впрочем, Сергей Борисович еще не отошел от радостного возбуждения, подогреваемый своим все возрастающим успехом. Надо признать, что он наслаждался не только успехом в литературной и научной среде, что было вполне законно для его работы, но и чисто декоративными моментами такой, в сущности, невинной деятельности в Московском Всеобуче. Уже в ночь с 30 апреля на 1 мая он описывает в очередном письме к Лине первомайское торжественное совещание: «И на нем, — радуется он, — мне торжественно же поднесли грамоту. От военкома такой тонкости даже не ожидал: организовать создание грамот, их издание и раздачу через меня, а потом специальным приказом мне и еще звонил нач. отд. поднести ее неожиданно».

Я упоминаю эти в высшей степени характерные детали, чтобы объяснить, почему он уже не удовлетворялся общением со мной. Дело в том, что я к этому времени осталась в очень тяжелом положении. Рудаков отзывался об этом эгоцентрично: ему нужна была собеседница и восхищенная слушательница. Вот как он писал об мне в июне 1943-го: «У нее очень плохи дела и не только не приняли в Союз, но открепили от каких-то, остаточных, промежуточных звеньев полунаучного снабжения. Она зарабатывала донорством — это тоже отчего-то кончилось. Она в дикой меланхолии и реальном отчаянии. Все это удивительно, так как у нее ослепительные рекомендации того же Цявловского, Эйхембаума, Бродского, Мануйлова и etc. И работает она существенно. Ее “дуэли” и “кружок 16” поминается с ее именем в любой паршивенькой статье и в томах “Литературного наследства” и проч. Но все без проку, — наивно заключает Рудаков, — ведь у нее более десятка напечатанных работ. В ней все же есть какая-то глупца, немочь и неприязнь к людям, фырчание мандельштамовского толка, очевидно все и портящее». Это объяснение так примитивно, что заменять его подлинной причиной такого остракизма, то есть политической, мне не хочется. Между тем из тех же писем выяснилось, что у мужа и жены уже давно выработалось отрицательное отношение к моим работам: «Вот об Эмме пишешь, что так мол и надо. Это не совсем так. Ее лермонтовские работы лучше, чем мы думали». По сути своей Рудаков был добрый и благородный человек, ему, видимо, было совестно так меня шельмовать, в то время когда мы так дружно проводили вместе тяжелые военные дни. Но все-таки привычный эгоцентризм тут же вступил в свои права: «У меня теперь нет чувства конкуренции. А мне все равно мало всех Союзов. Меня это не характеризует».

Это семейное скептическое отношение ко всем, кто не принадлежит к ленинградской школе, то есть работает не в замкнутом кругу формального метода, характерно для «последователей» хотя бы и «авангарда», но не для его творцов. А между тем сам Шкловский, назвав данные мне рекомендации «стихотворениями в прозе», со своей стороны дал мне такую ослепительную рекомендацию, которой я могла бы гордиться и по сей день. Успеха она не имела никакого, где находится ее подлинник — мне не известно, но у меня сохранилась официально заверенная копия.

Тов. Герштейн заново работает над Лермонтовым.
Она не пишет книги о книгах, а находит новый ход,
и без нее работать уже нельзя.
Это и есть писатель, то есть первоисточник, а не обработчик.

В. Шкловский
14 мая 1943 г.

Вот она.

Добавлю: он назвал «положительным фактором», что в упомянутых рекомендациях нигде не сказано, «что вы трудолюбивая».

Конечно, такое признание принесло мне чувство радости и успокоенности. Такому авторитету, как острый и беспощадный Виктор Шкловский, можно довериться.

Но, как я уже говорила, реального успеха аттестация Шкловского не имела.

Я медленно опускалась в яму отчаянного положения.

Николай Павлович Анциферов старался мне помочь, усердно подталкивая в число авторов Совинформбюро, самого официального органа.

Я не умела дать туда ни одной строчки, за исключением тех случаев, когда требуемая заметка предназначалась для ВОКСа. Тогда у меня напечатали две-три зарисовки. Вот почему я обрадовалась, когда в двух номерах «Красной нови» появились первые части новой повести Зощенко «Перед восходом солнца». Это пробудило во мне, казалось бы, совершенно угасший вкус к пониманию большой литературы. Я записала, может быть, беспорядочные мысли о состоянии современной советской литературы. С нетерпением ждала третьей части, чтобы сделать анализ этого нового злободневного произведения. И тут произошел обрыв, заставивший меня опять надолго онеметь: как известно, эта повесть была запрещена, продолжение ее не появилось. Это, может быть, беспорядочное введение мне дорого как память о состоянии пробудившегося на короткое время сознания.

«27 октября 43.

Так же как и все современные писатели, он интересуется психологией.

В прошлом веке великие писатели уже проложили эту дорогу. Но у них был другой материал. Замечательные люди, обогнавшие на несколько десятилетий своих современников, описывали незамечательных обыкновенных людей. Жизнь этих последних была стабильна. Она имела форму. Вместе с тем эта устойчивая форма открывала возможности для происшествий. На неожиданных событиях раскрывались обычные свойства людей. Обыкновенный средний человек имел характер, биографию. Писатель заглядывал в глубину его души и раскрывал в рядовой истории жизни необычайное внутреннее богатство. Читатель узнавал себя и был благодарен писателю. Он не замечал, что писатель дарил ему его самого, проведенного через фильтр изысканного тонкого искусства. О приемах этого ис-

куства почти не говорили. Писатель был одинок. Критики едва поднимались до понимания его мастерства. Личная жизнь и быт писателя резко отличались от жизни обыкновенного человека. Это было в порядке вещей. А писал он о том, что подсмотрел среди чужих. Было нечто, что делало этих чужих родными — отечество, Россия. О ней и писали.

Теперь все не так. Характера нет совсем. Есть рефлексy, вырабатывающиеся под давлением многотонной механизированной силы. Когда ритм этой огромной машины чем-нибудь перебивается, — иногда робко, иногда с необыкновенной силой вырываются наружу чувства, вкусы, надежды, страсти. Ужасно! Оказывается, они одни и те же, что были 50 лет назад. Ничего не изменилось. Ничем не обогатились. Современного вкуса, стиля, новой личности нет. Новая форма только в ритме. Современным стилем в искусстве должен быть — быстрый внешний темп и совершенно неподвижное внутреннее состояние. Но страсти, но чувство личности... они озаряют внезапно уже чужую не принадлежащую себе жизнь и исчезают под давлением непреодолимого. А эти зарницы, как знать — может быть, они-то и есть залог будущего. “Они когда-нибудь проснутся в далеком море как волна”.

Современный писатель не может без искусственного неестественного напряжения написать биографию, роман, описать жизнь, в которой события помогают гармоническому росту личности.

У нас нет даже самого элементарного. Нет возраста. Дети, молодежь, зрелые люди и старики живут одной и той же жизнью. Резкие, потрясающие перемены, выпавшие на нашу долю, никогда и не снились человеку прошлого века. А между тем как полна, как длинна была его жизнь, он перерождался несколько раз в своей жизни и принимал новую форму. А мы все те же при всех потрясениях. Поэтому описать современного человека — это значит вырывать отдельные эпизоды, не связывая их в протяженном во времени повествовании. Лев Толстой делал то же самое. Его “Детство”, “Отрочество”... это отдельные кадры, островки в его памяти о себе. А получается иллюзия связного повествования. Помогает воздух между главами. Современные кадры врываются из безвоздушного пространства.

Автор и не претендует на то, чтоб создать повесть, по которой можно проследить жизнь героя. Он идет в открытую и говорит только об отдельных случаях. Они разные, пестрые. По ним как будто и не поймешь жизнь общества, эпохи. Да и куда нам понять? Что мы видим?

Зоценко не рассуждает, не умозаключает. Он написал книгу о травмах».

Самое удивительное, что эта запись была сделано 27 октября (1943), а 14 ноября скончался мой отец.

Конца можно было ожидать каждый день. И действительно, 11 ноября у него произошло кровоизлияние в мозг, и через три дня он скончался в больнице.

В отце были противоречия. У меня есть документ, где его благодарит Красный Крест во время войны, что он относился к раненым как истинный христианин, хотя он был очень вспыльчив, резок и даже тяжел на руку.

Я все время помню, как умирал мой отец на моих глазах. Уже была война, уже все его близкие, вся его вторая семья, так сказать (там уже были и дети и внуки), — все арестованы, все разбито. А мы не уехали, не эвакуировались, потому что он говорил так: «Я не найду себе работы никогда, потому что я не вижу и у меня дрожат руки, и я не могу оперировать. А дело еще в том, что если немцы войдут в Москву, то там тоже все рухнет». Таково было его убеждение: «Тогда вообще все провалится и некуда бежать, надо оставаться». И он не захотел уезжать. Жили мы, конечно, ужасно, как все в Москве. Причем в первые месяцы войны, когда немцы подходили к Москве, здесь было почти как в Ленинграде. За исключением хлеба, который был бесперебойно всю войну. В Москве был хлеб, и очень хороший. Рабочие получали 800 граммов, служащие — 600, а иждивенцы — 400 граммов в день, каждый день. Я не помню перебоев. Но остальное — ничего. И не топят, и холода, и бомбежка началась, ну, хуже некуда. Нет никого из друзей, и в семье, и в доме напряжение. Уюта нет. И папа лежал и говорил: «Ни двора, ни кола, ни друзей, и куда мне отсюда бежать?» У него был склероз, но он еще служил в поликлинике директором. Больных он не принимал. Он не мог найти дорогу домой, несколько раз в Москве заблудился. И я за ним ходила, и его встречала... наконец, ему стало хуже, у нас был дикий холод, его положили в больницу. Однажды при мне у него сделалось еще одно кровоизлияние. И он посмотрел в угол и увидел смерть. Это безусловно. И в его глазах было: «Предаю свою жизнь в руки Твои», вот такое выражение. Смирение — это не то. И тут ему стало совсем плохо, врачи стали с кислородом что-то делать, а я не могла к нему подойти: у меня было такое чувство, что я буду мешать ему умирать, что он уже ушел.

А потом мне говорили нянечки, что, когда он очень страдал, он стонал: «О, мои бедные деточки, мои бедные деточки...», предвидя все то, что нас ждет.

И когда он умер, то все знавшие его говорили: «Это был большой человек», «Умер большой человек».

Это была, конечно, полная перемена нашего семейного быта.

Менялось все кругом.

Стали возвращаться с фронтов раненые и демобилизованные по инвалидности.

Они также мало рассказывали о жизни на войне, но сводили между собою какие-то таинственные для меня счеты.

Очутившись на московском рынке, фронтовики восклицали: «Когда ж мы вас давить будем!»

Проходя в сумерки по бульвару Чистых прудов, я обратила внимание на двух танкистов, которые молча, не произнося ни звука, резались короткими ножами. Это была какая-то зверская дуэль.

И редкие прохожие от них шарахались, в том числе и я.

Средь бела дня, в мирной обстановке, в самом начале очереди в пивную стоял молчаливый моряк. В конце — веселый парень, который все балагурил. В один момент моряк

покинул свое место и также молча подошел к парню и дал ему сильный подзатыльник. Тот только закричал: «За что?!»

Я замечала собачьи глаза смущенных воинов, полные стыда при встрече с любимыми женщинами: они радовались тому, что они остались живыми, а те думали про себя — какими будут мужьями и любовниками, стыдясь своего калечества.

А пока в подмосковных госпиталях медленно умирали первые защитники Москвы, так никогда и не увидевшие столицы.

Но вот на моих глазах в трамвае два выписанных из госпиталя воина рассматривали никогда не виданные улицы и здания. Они были в такой эйфории, что перемежали свои восклицания восторженным матом. На переднем сиденьи вагона сидела комсомолка с книжкой в руках. Она одергивала шумных юношей, но они не унимались, и в конце концов, она разразилась возмущенной нотацией: «Видите себя прилично в общественном месте». Один из ликующих собеседников вскипел: «Прилично? А молодой человек с одной рукой — это прилично, скажите?!» И только тут я заметила его пустой рукав от самого плеча. И тут он как бы очнулся, поняв свое навек испорченное будущее.

С другой стороны, чем дольше длилась война, тем больше было людей, на которых был след кровавых и мучительных взаимных счетов между собой.

В булочной был безногий человек, всем по пояс, который вел себя с потерянными отчаянием, истерически, и к нему окружающие относились милосердно, но я приметила худощавого мужчину, который очень внимательно всматривался в физиономию этого калеки. Узнав его, он подошел, наклонился и что-то тихо сказал ему. У несчастного волосы встали дыбом.

Сняли затемнение, и шли по Совинформбюро победные репортажи, и мы видели по кинохронике Ялтинскую и Тегеранскую конференции. И второй фронт воевал. В воздухе предчувствовалось окончание войны. Это было время оплакивания погибших и предвкушения скорого свидания с оставшимися в живых, уже выписанных из армии по ранению. На улицах появилось гораздо больше людей, вернулись эвакуированные. Много было командированных с фронта. Московские улицы стали оживленными. Иногда можно было видеть среди толпы остановившихся влюбленных. На их лицах было написано только счастье, но чаще мне приходилось замечать у мужчины собачий взгляд. В нем говорило беспокойство за судьбу будущего счастья. Он стеснялся своего увечья. А она еще об этом и не подозревала. Слишком скоро мы убедились, что окончание войны и нам не принесло счастья. Не буду описывать смену потрясающих событий, скажу только о себе лично, что для меня наступило время десятилетий «пустынных, как зевотка людоеда», как сказал Пастернак о тридцатилетней войне.

В январе, вскоре после смерти отца, пришло известие о гибели Рудакова, с августа арестованного. Но приезд Анны Андреевны из Ташкента в Москву внес как всегда свежую струю в мое существование; в частности, две новости имели ко мне непосредственное отношение. Весть об освобождении из лагеря Левы и, что еще важнее, передача мне от Надиного имени рукописей Мандельштама на хранение. О Левиним добровольном уходе на фронт и о возобновившейся моей переписки с ним во время войны будет на

протяжении этой книги еще не раз упомянуто. Но сейчас я перечту последнее письмо из Берлина от него. Весьма содержательное.

Последнее письмо из оккупированной Германии

14 сентября.

Милая, очень милая Эммочка,

получил я Ваше сердитое письмо и воздержался от ответа (чем очень доволен), а получив приветливое, отвечаю немедля и даже по пунктам.

а) Установил, что лучше Вас ко мне никто не относится. Бог знает, за что Вы меня любите? Ведь я плохой, злой и старый, с тяжелым характером.

б) Если собрать всех моих «невест», то получится неплохой невольничий рынок, хотя меньше Стамбульского, но с Трапезундский или Яффский. Об них я никогда не вспоминаю, а Вам пишу. «Вы чувствуете разницу?»

с) Смотрины, которые действительно были, имели совсем не те цели, которые Вы предполагаете. Аберрация возникла, как я сейчас понимаю, вследствие сексуальной неполноценности Ник. Ив. Но подробно я расскажу Вам об этом при свидании. Тогда Вы поймете, что Вы кругом не правы, обижаясь на меня, хотя я понимаю, что вам тогда было горько и обидно.

д) Составлять стихи из одних только полноценных выражений нельзя, ибо они, т. е. выражения, не выделяясь из фона, проигрывают сами в композиционном отношении и превращают стихотворение в театр Гиньоль или антикварную лавку. Пример: неудачи Осипа Эмильевича.

Мне неоднократно приходилось искать банальностей и штампов для фона, и это, подчас, более трудно, чем загнуть что-либо несусветное. Действительно, «мертвых светов сброд», явление необычное и локальное, возникшее среди привычного неба, не обращающего на себя внимания. Так было задумано, так и получилось. Значит, удачно. Но это стихотворение я считаю слабым и надеюсь, что в дальнейшем покажу Вам нечто более интересное.

е) Мысль о многотемности «Героя нашего времени» нова, но чтобы принять ее, надо ознакомиться со всей Вашей аргументацией. Это слишком новая и смелая мысль.

ф) Что за идеи у Вас в голове, будто я сравниваю женщин с слонихами и т. п. Разумеется, у животных есть пол и род, но не больше. Нельзя же придирается к литературным приемам, да еще для того, чтобы обижаться на них. Никогда этого больше не делайте.

г) О моей жизни ничего веселого не скажешь. 3 часа в неделю я обучаю любознательных офицеров истории и литературе, а прочее время они обучают меня, кажется, с равным неуспехом. Европа надоела до чертиков. Читать нечего, говорить не об чем. Пишите чаще.

h) На маму больше не сержусь и надоедать Вам не буду. Целую Ваши ручки и Вас.

Leon.

На следующий день после получения этого письма вышел долгожданный указ о демобилизации. Настали одни из самых возбужденных дней. Я, естественно, стала ждать обе-

щанного приезда Левы. Время шло, его не было, и никаких от него вестей. Вокруг бродили рассказы о разных катастрофических случаях, связанных с демобилизацией. Постепенно я заражалась тревожными настроениями. Наконец пришлось остановиться на мысли, что с ним что-то случилось. А мирная жизнь начинала уже входить в свои права. Осмеркин уже получил первый пропуск в послеблокадный Ленинград, это было глубокой осенью, он пробыл в Ленинграде в Академии художеств не менее месяца. Он вернулся в Москву еще через месяц. Я была в это время у Елены, и он долго возбужденно рассказывал о своих впечатлениях. Я его спросила: «Ну как же там сейчас живет Ахматова, абсолютно одна? Как она переносит свое одиночество?» — «Почему одиноко, с ней Лева живет, он уже работает в Институте востоковедения, сдал экзамены за университет».

Я была поражена. Я была уверена, что больше никогда не буду с ним ни встречаться, ни переписываться. Но так же как он исчез неожиданно, так же внезапно пришла от него открытка. Он рассказал мне, сколько он успел сдать экзаменов за это время, закончил университет, сдал кандидатский минимум, восхищая этим Анну Андреевну. «Мама удивлена, — писал он, — и называет меня осьминогом».

АННА АХМАТОВА И ЛЕВ ГУМИЛЕВ

РАНЕННЫЕ ДУШИ

В журнале «Звезда», № 4 за 1994 год, впервые напечатаны фрагменты переписки Ахматовой с сыном — известным историком-востоковедом Львом Гумилевым. Публикаторы — вдова Льва Николаевича Наталья Викторовна Гумилева и академик Александр Михайлович Панченко. В последние годы обоих ученых разных поколений связывала личная дружба. Об этом свидетельствуют появившиеся в печати их общие выступления и вдумчивый некролог Льву Николаевичу, написанный А. М. Панченко («Известия», 19 июня 1992 г.) и озаглавленный «Он был настоящий вольнодумец».

К сожалению, в комментарии и вступительной статье академика теплое чувство дружбы взяло верх над требовательностью ученого. А. М. Панченко полностью доверился рассказам Льва Николаевича о своей матери, не ставя перед собой задачи проанализировать творческую биографию Анны Ахматовой в традициях филологической науки. Им так и заявлено по поводу реального комментария к отдельным письмам: «Его основа — наши со Львом Николаевичем разговоры». Жаль, что это заявление не было вынесено в заглавие. Оно бы сразу обозначило истинную тему публикации, которая тем самым стала бы бесценным психологическим материалом для знания о даровитом человеке исключительной судьбы — Лье Гумилеве.

Мемуарный элемент занимает большое место и во вступительной статье. Для этого использован тот же источник. Но одностороннее освещение такого большого явления в русской поэзии, как литературная деятельность и судьба Анны Ахматовой, не могло не привести к искажению ее образа и даже к прямым ошибкам.

Начать с того, что в распоряжении публикаторов был неполный материал. Они и сами это заметили, найдя в тексте печатаемых писем упоминания о предыдущих открытках Ахматовой. Таковых не оказалось ни в ее фонде, хранящемся в РНБ, ни в «домашнем архиве Л. Н. Гумилева», как сообщает Наталья Викторовна. Их и не могло быть нигде. Основной состав писем матери Лев Николаевич сжег. Об этом он поведал пораженной Анне Андреевне в первые же дни возвращения из ГУЛАГа. «В лагере нельзя ничего хранить, бывают переезды, там шмоны...» — объяснял он. А когда об этом аутодафе заговорила с ним я, он ответил благородным негодованием: «Что, я буду торговать мамиными письмами?» Тем не менее, как видим, несколько писем у него сохранилось. Вскоре после его освобождения мы узнали об этой дружеской беседе. Присутствовали Надежда Яковлевна Мандельштам, я и один бывший экз. Лева выхватил из кармана «мамины письма», чтобы показать нам, как злобно она уклонялась от

ответов на его прямые вопросы. Он размахивал той самой открыткой, которая напечатана теперь в «Звезде». Там на запрос о любимой женщине, с которой он расстался пять лет тому назад из-за своего ареста, Анна Андреевна ответила в завуалированной форме на хорошо знакомом ему условном языке. Даму она назвала пушкинской «девой-розой», дыхание которой, как известно, могло быть полно «чумь». Надеюсь, современному читателю не нужно объяснять, что под «чумой» подразумевается не какой-нибудь сифилис или СПИД, а то, о чем сказано в одном из стихотворений Ахматовой — «Окружили невидимым тьном Крепко сглаженной слезки своей». Подобного рода проблемы сопровождали всю жизнь Ахматовой и Льва Гумилева, особенно в первый послевоенный год, начавшийся для них в Ленинграде бурно и весело. Ну а после беспрецедентного постановления ЦК партии об Ахматовой и Зощенко — нечего и говорить, что на Фонтанке относились с подозрением к каждому посетителю. Я не решусь утверждать, что приведенная характеристика Левиной подруги была точна, но Анна Андреевна была в этом уверена и выдвигала много убедительных доводов в пользу своей версии¹⁰⁶. Между тем, сбитый с толку многолетней изоляцией, Лев Николаевич уже не хотел понимать смысл ее слов. С таким упрямым непониманием мы еще встретимся не раз.

Нет сомнения, что десять писем Ахматовой, сохраненные Л. Гумилевым, превратились в выборочный документ, предназначенный для увековечения образа дурной матери, который Лева создал и лелеял в своей растерзанной душе. Можно ли на таком скудном и тенденциозном материале вылепить психологический портрет Анны Ахматовой? А именно это и пытается сделать А. М. Панченко.

В отличие от сына, Анна Андреевна бережно сохранила все его письма. К сожалению, из всего большого их собрания, находящегося в РНБ, публикаторы воспользовались только пятью самыми горькими и несправедливыми. В «Звезде» Левина часть открывается письмом от 5 сентября 1954 г., где он учит мать, как надо за него хлопотать: «Единственный способ помочь мне — это не писать прошения, которые будут механически передаваться в прокуратуру и механически отвергаться, а добиться личного свидания у К. Е. Ворошилова или Н. С. Хрущева и объяснить им, что я толковый востоковед со знанием и возможностями, далеко превышающими средний уровень, и что гораздо целесообразнее использовать меня как ученого, чем как огородное пугало».

Почти невозможно переписываться по почте, подлежащей цензуре! И как доверчивы некоторые читатели, положившиеся на гладкую версию измученного Гумилева о причинах своей беды. Анна Андреевна не могла объяснить ему, при каких обстоятельствах она получила отказ из Прокуратуры СССР. А это был ответ не на «механическое» заявление или «прошение» гражданки Ахматовой А. А., а на ее личное обращение к Кл. Еф. Ворошилову в начале февраля 1954 года. Ее письмо было передано в руки адресата в тот же день его адъютантом. Посредником в этом важном деле был архитектор и живописец Л. В. Руднев, заканчивавший тогда строительство нового здания университета на Ленинских горах. Как известно, Кл. Ворошилов считался с его мнениями. Но, несмотря на полу-

¹⁰⁶ Калугин Олег. Дело КГБ на Анну Ахматову. // Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М., Рудомино, 1994.

чение двух писем — от Ахматовой о Льве Гумилеве и от Руднева об Анне Ахматовой, ответа на письма не было ни от Ворошилова лично, ни от Верховного Совета СССР, председателем которого он был в то время. После почти полугодового томительного ожидания пришло извещение прямо из Прокуратуры СССР на имя Ахматовой А. А. о том, что оснований для пересмотра дела Гумилева Л. Н. нет.

Это был сокрушительный удар. Но Ахматова была не только «поэтом Божьей милостью», как назвал ее А. М. Панченко, но и очень умным человеком. Она сразу поняла: при все еще действующем постановлении ЦК об Ахматовой и Зощенко Ворошилов не возьмет на себя ответственности за решение судьбы ее сына, к тому же носящего фамилию своего отца — поэта Н. Гумилева, расстрелянного ЧК в 1921 году. Значит, Ворошилов «советовался» с президиумом партии или с самим Хрущевым, и новое правительство не собирается давать Ахматовой никакой поблажки. Поэтому всяческое обращение от ее имени будет для Льва не только бесполезным, но и губительным. Значит, надо действовать кружным путем. Эту единственную правильную позицию А. М. Панченко понял как основную черту характера Ахматовой: «Она не протестовала, она страдала». Между тем об этом важном эпизоде в печати существуют два свидетельства, описывающие, как протекало обращение Анны Андреевны к Ворошилову.

Во втором томе «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской под датой 12 января 1954 г. упомянуто, как они совместно составляли письмо к Ворошилову. 5 февраля они уже читали письмо Л. В. Руднева, доставленное мною, чего Лидия Корнеевна не знала. Не знала она также, что оно вместе с письмом Ахматовой было передано адъютанту Ворошилова через указанное им лицо в комендатуре у Троицких ворот Кремля. 12 февраля Чуковская отмечает кратко: «Письмо Ворошилову она уже послала» («Нева», 1993, № 4, стр. 110, 111, 112). Более подробно об этом рассказано в моей статье «Мемуары и факты (Об освобождении Льва Гумилева)», напечатанной трижды: два раза в США в изданиях «Ардис» 1976 и 1977 гг. и один раз в Москве в журнале «Горизонт» № 6 за 1989 год. Прежде чем отдавать эту статью в печать, я послала ее в 1973 г. Леве. Он не возразил против ее напечатания, но промолчал. Трудно, однако, понять, почему промолчал и А. М. Панченко. Наши эти публикации остались неучтенными в его комментариях.

Таким же упущением приходится признать интерпретацию одного анекдотического рассказа Льва Николаевича, который автор предисловия оценил как «немаловажную для русской культуры беседу».

В ней Гумилев очень живо, но совершенно неправдоподобно изобразил, как он подсказал матери образ «серебряного века» для известных строк из «Поэмы без героя»:

На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.

В действительности эти стихи присутствовали уже в первой ташкентской редакции поэмы. В этом легко убедиться, заглянув в издание стихотворений и поэм Анны Ахматовой

«Библиотеки поэта» (1976). Там напечатан вариант с указанной строфой, датированной 1943 годом. В это время Гумилев еще отбывал лагерный срок в Норильске и не мог знать о существовании нового произведения Ахматовой. А термин «серебряный век» зародился в среде русской эмиграции первой волны. Насколько мне известно, его предложил в 1933 г. Н. А. Озуп, повторил в 1935-м Вл. Вейдле, затем истолковал Н. А. Бердяев, и, наконец, он лег в основу мемуарного романа С. К. Маковского «На Парнасе серебряного века».

Лев Николаевич, вероятно, присвоил себе авторство этого легучего определения под влиянием сдвига в своей памяти. Дело в том, что, съехавшись с матерью в Ленинграде после семилетней разлуки — тюрьма, лагерь, фронт, Победа, Берлин, он охотно слушал новые стихи Анны Андреевны. Это ее радовало. Особенно она гордилась его одобрением «Поэмы без героя». Но после недолгого периода совместной жизни (4 года, которые Анна Андреевна с горькой иронией называла «антракт») последовала еще одна семилетняя разлука — опять тюрьма, на этот раз Лефортово, оттуда лагерь под Карагадой, затем в Кемеровской области и напоследок долгие четыре года в лагере под Омском. Оттуда он никак не мог выбраться, хотя после смерти Сталина многие заключенные, в том числе и его друзья, освобождались один за другим. Последний год лагеря доконал его. «Проволочка его не то чтобы злила (он был добрый человек), она его обижала», — уверяет Александр Михайлович, приводя слова Льва: «От обиды я нажил язву». На кого обида? на Военную прокуратуру? на КГБ? или на ЦК ВКП(б)? Обижаются на своих. Лев Николаевич во всем винил свою мать.

«Пусть будет паскудной судьба, а мама хорошей: так лучше, чем наоборот», — писал он мне в одном из многочисленных лагерных писем из-под Омска. Знаменательные слова! Одной этой фразы достаточно, чтобы почувствовать, на каком психологическом фоне проходили разговоры Л. Н. Гумилева с А. М. Панченко, слишком молодым в первое послевоенное десятилетие, чтобы понимать всю уникальность и двусмысленность положения Ахматовой — положения, а не поведения, запомним это... Вообще обо всей нашей советской истории можно отозваться удачным афоризмом Виктора Ефимовича Ардова: «На этот поезд нельзя вскакивать на ходу».

Все, что говорит А. М. Панченко об Ахматовой, — это отражение Левиных слов. А ему зачем-то было нужно изображать себя эдаким сорванцом и гулякой (в тридцать пять лет, между прочим). Отсюда и рассказ о появлении в опальном Фонтанном доме Ольги Бергольц с закуской, водкой, деньгами и разухабистой речью. Отсюда пренебрежительная новелла об озорном выманывании у матери трех рублей, опять же на водку: «Пришлось разговаривать с мамой о поэзии». Как будто он с юных лет не знал наизусть всех стихов Ахматовой и Гумилева! В этом бесшабашном диалоге Лева якобы и высказал Анне Андреевне свои запоздалые соображения о «золотом» и «серебряном» веках русской литературы.

Эти краски резко дисгармонируют с теми, которые Лева употреблял, рассказывая в Москве о своем житье-бытье с Анной Андреевной на Фонтанке. Разговор наш происходил у меня в 1948 году, то есть по свежим следам происходившего. «Мы кончали пить чай. На столе лежала шкурка от колбасы с маленьким остатком жира на ней. Мама бросила ее кошке. “Зачем ты это сделала? Я хотел его съесть”, — воскликнул я. Мама рассердилась ужасно. Стала кричать на меня. Долго кричала. А я сижу напротив, молчу и думаю:

“Кричи, кричи, значит, ты еще живая”. Ведь каждому человеку надо когда-нибудь раскричаться». Как это не похоже на того Гумилева, который через сорок лет рассказывал академику Панченко свои байки.

Не замечая, что перед его глазами разворачивается горестный процесс отречения Льва Николаевича от собственной судьбы, А. М. Панченко включается в эту стилизаторскую игру. Если Анна Андреевна пишет единственному родному человеку сквозь все цензурные кордоны: «Я очень печальная, и у меня смутно на сердце. Пожалей хоть ты меня», — комментатор вторгается в разговор двух близких людей с назидательными замечаниями, выдержанными в раздраженном тоне позднего Льва Николаевича: «Сын тоскует о жизни на воле, хотя бы о реальном ее знании. Мать-поэтесса пишет о “состояниях”, отсюда его упреки и обиды... Как сытый голодного не разумеет, так и “вольный” — “узника”». Наоборот, возражу я, — это узник не разумеет вольного. Он не может себе представить, во что превратились город, улица, комната, люди, которых он оставил семь, десять, а то и семнадцать лет тому назад. Какая бы она ни была, но там шла жизнь, а у арестанта только мечта, тоска и неизбежная в его положении тяга к прошлому, которого нет и никогда не будет.

Если обычные корреспонденты пишут друг другу, желая что-нибудь сообщить, то переписка с заключенным диаметрально противоположна: основной ее задачей становится необходимость все скрыть. Заключенный скрывает от вольных самое основное, что происходит с ним — ежедневные унижения и постоянную опасность. С воли же ему невозможно писать ни о его деле, то есть о его шансах выйти на свободу, ни о собственных затруднениях, болезнях или бедах, чтобы не нагружать его дополнительными тяжелыми переживаниями. Поэтому письма Анны Андреевны, так же, как и Левы, носят иногда отвлеченный и скучноватый характер. Особенно когда они пишут о литературе и героях Востока. Ведь это камуфляж! Это пишется только для того, чтобы не молчать, не оставлять без писем своих близких, чтобы они увидели почерк дорогого им человека. Лева прямо мне об этом писал 12 июня 1955 года: «К предыдущему письму я приложил письмо маме в довольно резком тоне. Возможно, вы его не передали — из-за тона, разумеется. Поэтому я повторю его частично о даосизме и переводах и т. п.» Эти длинные профессиональные письма служили только заслоном от кипения страстей, болезненных и почти невыносимых.

А. Панченко говорит об этом интересе как о «семейном увлечении». Но для Ахматовой это не увлечение, а органическое тяготение. Достаточно вспомнить ее ташкентские стихотворения, такие, как «Я не была здесь лет семьсот...», и особенно стихи про «рысьи глаза» Азии, что-то «высмотревшие» и «выразившие» в ней:

Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

Что касается Льва, то в молодости он поражал сходством с азиатским типом — и чертами лица, и движениями, и характером. Перефразируя Шекспира, о нем можно было сказать: «каждый вершок — азиат». Это было в 1934 г., т. е. до его арестов, поэтому у меня вызывает сомнение мысль А. М. Панченко о зарождении евразийства Л. Гумилева в тюрьме. Мне кажется, что Лева знал сочинения творцов этой теории раньше. Достаточно вспомнить, что Н. Н. Пунин был передовым образованным человеком, дома у него была хорошая библиотека. Лева, конечно, брал оттуда книги. Во всяком случае я помню, как он называл имя кн. Трубецкого в связи с жизнью этого мыслителя в Праге и постигшими его там бедами из-за прихода нацистов.

В тюрьме он научился выуживать необходимые сведения из научно-популярных книг. Несколько выдержек из его писем продемонстрируют спокойный ход его работы. 10.1.56: «Пожалуйста, пришлите мне еще книг, так как эти я почти отработал». 22 февраля: «Еще раз благодарю Вас за книгу. Я прочел ее с удовольствием, ибо, хотя в ней нет взлетов, но нет и спадов; она выдержана на уровне академической посредственности и поэтому может служить пособием для моей темы пока достаточным». 11 марта: «Из Вашей книги (“Танские новеллы”? — Э. Г.) я прочел пока только один рассказ и сразу сделал ценное примечание к “Истории...”». 14 марта: «Книги меня очень радуют безотносительно к моей судьбе. Если бы можно было достать две старых книги: Иакинф “История Тибета и Хухунора” и Вас. Григорьев “Восточный Туркестан”... Это последние крупные вещи, которых мне не хватает». 29 марта: «...Пока я принимаю сочувствия окружающих и изучаю Сымацяня». 5 апреля: «По Средней Азии у меня уже есть весь фактический материал, он очень скуден (по интересующему меня вопросу). К тому же Сымацянь поглотил все мое внимание, и надолго. Это книга очень умная, и быстро ее читать нельзя».

Уже освободившись и поселившись в Ленинграде, Лев Николаевич пишет мне оттуда 7 января 1957 г.:

«...Вы не можете себе даже представить, насколько благодарность моя к Вам выросла за это время. И вот за что — книги. Ведь если бы Вы мне их не посылали, мне бы надо было сейчас их доставать и читать, а когда?!»

Как видим, с получаемой литературой Лев Николаевич работал в лагере рассудительно, целеустремленно и увлеченно. Ко времени своего ареста в 1949 г. он был уже достаточно подготовлен (в частности, своей кандидатской диссертацией), чтобы не тонуть в избыточных идеях, нередко возникающих у одаренных людей в долгом одиночестве.

Но иначе обстояло дело с личными и родственными отношениями Льва Николаевича: «Я не знаю, ты богатая или бедная; скольких комнат ты счастливая обладательница, одной или двух, кто о тебе заботится...» — спрашивает он 21 апреля 1956 г. О жизни Анны Андреевны до него доходят невероятные слухи. Его интересует, сохраняется ли для него комната в квартире на Красной Конницы. Впрочем, он прекрасно знает, что Анна Андреевна живет на два дома, где Нина Антоновна Ольшевская-Ардова играет роль московской дочери, а Ирина Николаевна Пунина — ленинградской. Но сколько желчи и ехидства в выражении «счастливая обладательница»! Это все влияние советчиков Льва Николаевича, его лагерных друзей, так называемых «кирюх». Все они были трижды и четырежды пере-

волнованы слухами и событиями последнего года. Смерть Сталина, последующая амнистия, которая их не коснулась, общее движение к пересмотру дел — все породило точные рецепты, как надо действовать, чтобы ускорить освобождение. Лева неоднократно возвращался к их мнимо-надежной программе действий. Ни он сам, ни его друзья не могли вместить в свое сознание, что существуют нестандартные положения.

В Военной прокуратуре начальник приемной внешне лобезно дал мне общую справку о Левином деле, но доверительное письмо от Анны Андреевны не взял, а вернул мне. Почему? А потому, что Анна Ахматова была лицом, ограниченным в правах. Напомню, что постановление 1946 года продолжало действовать и в пятидесятых. Общениа с Ахматовой боялись именно служивые люди. Они помнили не только это постановление, но и то, что появилось еще до войны после выхода сборника Ахматовой «Из шести книг».

Самые видные писатели, даже высшая писательская администрация, не знали, какая гроза ждет их всех за выпуск «мистико-религиозной» книги Ахматовой. Пока Алексей Толстой выдвигал ее на Сталинскую премию в присутствии и при поддержке Фадеева и других членов комитета, управляющий делами ВКП(б) Д. В. Крупин подал в сентябре 1940 г. возмущенную записку секретарю ЦК А. А. Жданову. Жданов, ставший специалитом по творчеству Ахматовой, подписал 29 октября 1940 г. постановление секретариата ЦК об изъятии книги Ахматовой и строгом наказании виновных в выпуске этого, «с позволения сказать, сборника», воспевающего «блюд с молитвой во славу божию». Книгу Ахматовой раскупили мгновенно после ее выхода в мае 1940 г., изъять тираж уже было неоткуда. Однако директор издательства «Советский писатель» и его ленинградского отделения вместе с цензором получили строгие партийные выговоры. Все эти подробности стали нам известны только недавно.¹¹⁴ Но в коридорах Прокуратуры, конечно, знали о гневе высокого начальства еще до того дня, как записка Крупина была подана и закреплена постановлением секретариата ЦК. Теперь можно уяснить себе смысл эпизода, когда в союзной Прокуратуре Анна Андреевна была на моих глазах чуть ли не изгнана из кабинета прокурора в августе 1940 г. Точно такую же картину я наблюдала в 1955 г. в Военной прокуратуре.

Панченко и Лев Николаевич говорят о жажде заключенного «реального знания» сегодняшней жизни на воле. Но что же могла написать Анна Андреевна в лагерь о своей жизни? Что после прощания с Левой и благословения его она потеряла сознание? Что она очнулась от слов гэбэшников: «А теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск»? Что она не знает, сколько дней и ночей она пролежала в остывшей комнате? И когда в один из этих дней она спросила десятилетнюю Аню Каминскую: «Отчего ты вчера не позвала меня к телефону?», то услышала в ответ: «Ну, Акума, я думала, ты без сознания...» Что в этом тумане горя она сожгла огромную часть своего литературного архива, который оставался в беспорядке под рукой? А там были не архивные документы, а живые рукописи

¹⁰⁷ См. Литературный фронт. История политической цензуры 1932 — 1946 гг. Сборник документов. М., «Энциклопедия российских деревень», 1994. Ср.: А. С. Крюков. Уничтожение книг Анны Ахматовой (Филологические записки, вып. 3, Воронеж, 1994, с. 214 — 223)

ее ненапечатанных стихов! Она переживала это уничтожение как конец глубинного смысла всей своей жизни. Но и этого мало — она совершила свой порыв самоубийственным актом: написала верноподданнические стихи — вплоть до восхваления Сталина ко дню его рождения 21 декабря 1949 г. Весь следующий год журнал «Огонек» печатал за ее подписью стихотворный цикл «Слава миру», который всю оставшуюся жизнь жег Анну Андреевну как незаживающая рана. После этого выступления у нее навсегда появилась фальшивая интонация в разговоре на людях.

«...Я пожертвовала для него мировой славой!!» — выкрикнула она в пароксизме отчаяния и обиды на нескончаемые попреки вернувшегося через семь лет (!) сына. Она мучилась своим невольным обманом неведомых читателей, обволакивавших всегда ее поэзию тайным пониманием. В 1922 г. она имела право сказать:

Я — голос ваш, жар вашего дыхания
Я — отраженье вашего лица...

И была верна этому единству. Пока ее не скосила беда, она надеялась, что на «том берегу» «темнеет небесный простор», где она «не глохла» бы «от зычных проклятий». Но и это «блаженное где-то» ее обмануло. Когда железный занавес немного раздвинулся, оттуда послышался шепоток мещанской сплетни, и, что еще хуже, — повсеместные разговоры «иноземцев» об увядании ее таланта:

И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час.

Она отреклась от нравственной чистоты своей поэзии ради спасения сына, а получила одни плевки с разных сторон и от того же сына. Когда, негодуя, он в который раз приводил ей в пример других матерей, она повторила, не выдержав: «Ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я!» И получила в ответ катанье по полу, крики и лагерную лексику. Это было при мне.

Жертва Ахматовой оказалась напрасной. «Грехопадение», насколько мне известно, никто ей не заказывал и ничего не обещал. Но она помнила, что ей ставили в вину ее молчание после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» и исключили из Союза писателей. Леву, как мы видим, не выпустили, а надломленной Ахматовой предоставили право говорить с кем попало непроницаемым тоном и переводить на русский язык стихи своих иноязычных подражательниц. Если кто-нибудь думает, что это не попытка, он ничего не знает о радостях и страданиях творческой личности.

В первый год (1950) Анна Андреевна только ездила раз в месяц в Москву, чтобы передавать дозволенную сумму в Лефортовскую тюрьму и получать расписку арестанта, то есть убедиться, что он жив и находится еще здесь. После первого письма из пересыльной

тюрьмы она получала только лаконичные записки вроде той из Чурбай-Нуринского п/о в Карабасе Карагандинской области, которая хранится у меня:

«Милая мамочка

подтверждаю получение посылки почт. № 277 и благодарю; только
вперед вместо печенья посылай больше жиров и табак: дешевле и лучше.
Целую тебя».

Записка датирована 19 июля 1951 года, а пришла в Москву по адресу Ардовых в августе. Посылку от имени Ахматовой отправляла я (как и многие следующие). Поэтому Анна Андреевна и отдала мне эту открытку.

Что же можно было сообщать в лагерь при такой переписке? Что Арктический институт стал выживать из Фонтанного дома Анну Андреевну и Иру Пунину с ее семейством? Институт терпел их «проживанье» в своем ведомственном доме до ареста Николая Николаевича Пунина в августе 1949 г. и Левы — в ноябре. Но теперь, когда обе женщины остались такими беззащитными и уязвимыми, их буквально преследовали. Они жались друг к другу. В конце концов в начале 1952 г. Ирина позвонила в Москву к Анне Андреевне: «Ты как хочешь, а я больше не могу. Я беру квартиру на Красной Коннице». Анна Андреевна была поставлена перед свершившимся фактом. Вообще-то она не хотела расставаться с Ирой и Аней, но в этой новой квартире не было комнаты для Левы. На Фонтанке после войны у Ахматовой были две комнаты, в одной жил Лева. Теперь она сразу сжалась, подумав о его устройстве по возвращении, а на это она не теряла надежды, хотя он был осужден на десять лет. Могла ли она, уже перенесшая тяжелый инфаркт, остаться одна на съеденье грубых администраторов института? Борьба была безнадежной, и она дала свое согласие на переезд.

Когда вышло разрешение писать чаще и более длинные письма, она уже не посвящала Леву в тяжкие подробности своего существования. Впрочем, о чем бы она ему ни писала, он все равно отвечал брюзжанием и обидами. Они заглушали его ужас от непосильных ударов судьбы.

Известие об избрании Ахматовой делегатом на всесоюзный съезд писателей повергло в шок всех грамотных людей в лагере. Особенно волновались «кирюхи». Узнав из газет, что заключительным заседанием съезда был правительственный прием, они вообразили, что это и есть единственный удобный случай для «качания прав» Ахматовой. Им казалось, что она могла шумно-демонстративно протестовать против заключения невинно осужденного сына. В газетах не писали, что члены правительства сидели в президиуме на сцене, отгороженной от зрительного зала. В зале среди писателей, ужинавших за столиками, присутствовала и Ахматова с застывшей любезной улыбкой на лице. «Маска, я тебя знаю», — обронила проходящая мимо нее Рина Зеленая (они были знакомы по ардовскому дому).

На съезде в конце декабря 1954 года Анна Андреевна начала осторожно вести хлопоты о Леве. Она переговорила с Эренбургом. Он взялся написать лично Н. С. Хрущеву,

приложив к своему депутатскому письму ходатайство академика В. В. Струве. Но Лев уже никогда не мог освободиться от ложного убеждения, что на съезде его мать упустила единственную возможность просить за сына.

Я утверждаю это не голословно, а на основании писем Л. Гумилева ко мне из лагеря, встреч с вернувшимися ранее его «кирюхами» и примечательного письма одного из них, имевшего ко мне поручение от Льва Николаевича. Это люди, среди которых были и стихотворцы, и художники, и научные сотрудники, но, к сожалению, не искушенные в политике и дипломатии. Им казалось, что Ахматова купается в благополучии, что опала с нее снята, и они удивлялись, как при таком, по их понятиям, высоком положении она не может пальцем пошевелить, чтобы выхлопотать освобождение своему совершенно невинному сыну. Все это было иллюзией, стимулирующей в Леве развитие не самых лучших черт — зависти, обидчивости и — увы! — неблагодарности.

Образ Ахматовой порождал множество сплетен. Думаю, что не без помощи КГБ. Леве было невдомек, что его одинокая мать, живя годами в чужих семьях, не может есть, пить, болеть, принимать нужных людей и друзей, не участвуя в общих расходах своих гостеприимных хозяев. По этому поводу я вынуждена упомянуть об одном раздутом эпизоде, продолжающем до сих пор бросать незаслуженную тень на имя Ахматовой. Речь идет об автомобиле «Москвич», подаренном Анной Андреевной Алеше Баталову, старшему сыну Нины Антоновны, тогда еще не прославленному киноактеру, а скромному солдату, отбывающему воинскую повинность в Москве. Со своей молодой женой он занимал на Ордынке семиметровую комнату, из которой их выселяли, когда Ахматова приезжала в Москву. Она жила в их комнате не менее 4 месяцев подряд, а когда заболела — и дольше. Между тем в 1953 году она заработала большие деньги за перевод драмы Виктора Гюго «Марион Делорм», которая печаталась в пятнадцатитомном юбилейном издании, оплачиваемом по повышенным ставкам. Естественно, что, став такой, по нашим масштабам, богатой, она делала посильные подарки окружавшим ее друзьям. А Баталову — особенный. Он его заслужил. Маленький «Москвич», стоивший тогда 9 тысяч, доставил Алеше много радости, а Анне Андреевне нравственное удовлетворение.

Пока по России катились сплетни и анекдоты об Ахматовой (кстати: незаметно она стала для знакомых и незнакомых не «Анной Ахматовой», а «Анной Андреевной»), книги ее стихов не выходили, она продолжала тайно писать новые. В то же время она начала осторожно собирать ходатайства виднейших ученых-специалистов о пересмотре дела Л. Гумилева. Это были — академик В. В. Струве, членкор, впоследствии тоже академик Н. И. Конрад, доктор исторических наук, директор Эрмитажа М. И. Артамонов, а из писателей в хлопоты включились такие видные авторы, как М. А. Шолохов, И. Г. Эренбург и секретари Союза писателей А. А. Фадеев и А. А. Сурков.

Я сказала «осторожно», потому что еще недавно, в последние годы правления Сталина, можно было причинить большую неприятность собеседнику, произнося даже фамилию Гумилева и привлекая сочувственное внимание к своей «лежащей в канаве» «двусмысленной славе».

Могла ли быть Ахматова уверенной, что эти ученые откликнутся на ее просьбы, если и В. В. Струве и М. И. Артамонов считали Лева умершим? Ведь они могли спросить о нем

если не прямо Анну Андреевну, то осведомиться через кого-нибудь, но боялись даже посредника. Вот почему эрмитажники утверждали, что Лева якобы не пишет матери. Видимо, сегодняшний читатель не может почувствовать этот зловеющий смог тех лет. А если не может, то имеет ли он право судить Ахматову?

ПЫТКА ОЖИДАНИЕМ

Надо сказать, что заслуженные востоковеды и историки, уже включившись в борьбу за Л. Гумилева, делали это охотно, с умом и настойчиво. Струве писал дважды, а Конрад хотя и рассказывал мне, как доверенному лицу Ахматовой, что он потерпел фиаско, впоследствии добавлял, что мы не можем себе представить, какие он делал еще попытки, но все безуспешно.

Я хотела послать Леве копии блестящих рецензий ученых, но Анна Андреевна опасалась, как бы в его настоящем зависимом и унижительном положении это не вызвало бы у него нервного срыва. Она предполагала, что отзывы могут повредить Леве в глазах лагерного начальства. Так оно и случилось. «Значит, есть какая-то вина, если его все-таки держат здесь», — засомневались там и на всякий случай устрожили Льву режим. Его положение становилось уж очень неординарным. Он писал мне 22 февраля 1956 г.: «Жаль, что до сих пор нет ответа; это действует на нервы не только мне, но и начальству, которое никак не может понять, хороший я или плохой. Поэтому мое состояние вполне лишено стабильности, что причиняет мне массу затруднений».

Получив это письмо, я решила, вопреки опасениям Анны Андреевны, послать ему копии писем, переданных мною в Военную прокуратуру. 11 марта он отвечал: «Очень хорошо, что Вы прислали мне отзывы, а что они задержались по дороге — не беда». Но беда была сильнее, чем это сказано в письме. В апреле один из отпущенных Левиных друзей — униатский священник из Западной Украины — имел от него поручение прийти ко мне и рассказать подробно о сложившемся положении. Задержаться в Москве ему не удалось, но он написал мне письмо, к которому просил отнести как к «краткой и искренней исповеди» самого Л. Гумилева и «по силе возможности содействовать, чтобы облегчить тяжелое положение». Он сообщал: «На Льва Николаевича в последнее время был нажим, несколько месяцев имел спокойствие, но после последних отзывов, а последние не особенно нравятся нашим, и решили прижать. Видно, хотят сломить веру в свои способности и силы, а возможно, и другие причины, для вас известные».

Напряженное состояние Левы дошло до крайности: «...не получая писем, я чувствую себя на вертеле, обмазанном скипидаром и посыпанном красным перцем», — писал он 29 марта 1956 г., хотя я писала ему, что в марте, очевидно, дело уже решится.

Нет ничего удивительного, что слова именитых ученых о Леве заставили местное начальство призадуматься. «Удаление Гумилева из рядов советских историков является, по моему, существенной потерей для советской исторической науки», — пишет академик В. В. Струве. Он говорит о недавно умершем профессоре А. Ю. Якубовском, потерю которого нечем заменить, кроме как Л. Гумилевым, и смело указывает на его «глубо-

кие знания и зрелость мысли». Профессор Артамонов говорит о «незаурядном даровании» Л. Гумилева и о его «блестящих знаниях в избранной специальности». Кстати говоря, М. И. Артамонов свидетельствует, что «интерес к истории тюркских кочевых народов» определился у Льва, когда он был еще студентом.

Оба названных ученых были в той или иной степени его руководителями, то в экспедициях, то в Институте востоковедения. Но доктор исторических наук и лауреат Сталинской премии А. П. Окладников не знал начала пути Гумилева. Тем не менее его короткое и сильное письмо потребует от нас особого внимания.

Он подчеркивает, что соприкасался с Гумилевым только по ходу своих научных занятий. С большим нажимом сообщает, что не он один считает Гумилева «крупным, я бы сказал, даже выдающимся исследователем прошлого народов Центральной и Средней Азии», что многие ученые, читавшие внимательно его работы, разделяют его, Окладникова, мнение о «свежести мысли и подлинной историчности его взглядов». «Вместе со мной возвращению Гумилева к научной работе были бы рады многие другие специалисты», — страшется Окладников и в заключение просит по возможности ускорить пересмотр дела Л. Н. Гумилева «в надежде, что здесь во времена Берии могли быть допущены нарушения советской законности». Казалось бы, все сказано? Но неожиданно он добавляет фразу, идущую вразрез со всем вышеизложенным: «Во всяком случае, если и была вина, то много меньшая по объему, чем все то, что он уже перенес в заключении».

Окладников что-то знал о вине Гумилева? Что позволило ему соизмерять степень наказания с силой содеянного? Может быть, профессор проговорился? Или проговорился кто-нибудь другой? Конечно, это так...

Свой документ Окладников вручил надежному посреднику — Надежде Яковлевне Мандельштам. Когда она привезла из Ленинграда в Москву это письмо, она рассказывала: Окладников не решался давать Л. Гумилеву политическую характеристику и называть его невинно осужденным. «Струве 80 лет, он академик, он может, а я не могу...» — передавала Надежда Яковлевна его соображения. Но она могла заговорить кого угодно. Сила внушения была ее главным талантом. Это было доминантой в ее характере, сотканном из бешеного темперамента, возбудимости, иногда доходящей до кликушества, непререкаемого своеволия и, как ни странно, беспечного легкомыслия.

Разумеется, это не Окладников что-то знал о деле Л. Гумилева, а Надежда Яковлевна. Странно, что этого не знала я, так пристально занимавшаяся Левиными делами в это время. Но не прошло и двух недель, как я получила исчерпывающие сведения от Анны Андреевны. Это были совершенно не предвиденные мною подробности о запомнившемся мне надолго зресте Льва и Пунина в 1935 г. Толчком к откровенности Ахматовой послужило полученное мною письмо от Левы.

Он отвечал на вопрос, по какой статье он осужден и вообще какое обвинение ему предъявлено. В Прокуратуре почему-то мне ни за что не хотели это сказать, цинично парируя: «Спросите его самого». Ахматову, как я уже говорила, еле-еле впускали в кабинет соответствующего чина и не хотели с ней разговаривать. Именно из-за этого я стремилась приехать в Омск, чтобы получить свидание и поговорить наконец слевой лично.

Но это было невозможно. Мой вопрос о статье Уголовного кодекса поверг Лева в шок. Он увидел в этом лишнее доказательство равнодушия к нему матери. Однако сообщил: «Вот она: 17— 58— 8, 10. Содержание дела: дважды привлекался: в 1935 г. с составом преступления— разговоры дома— и в 1938 г. “без состава преступления, но, будучи осужден, считал свой арест ничем не оправданной жестокостью”; считал, но не говорил. Осужден в 1950 г. как “повторник”, т. е. человек, коему решили продлить наказание, без повода с его стороны (т. е. с моей)».

В связи с последним осуждением я напомним, что Ахматова, удостоившись личного приема у заместителя генерального прокурора, спросила его, можно ли два раза наказывать за одно и то же преступление? Ответ был лаконичен: «Можно».

Получив Левино письмо, я сказала Анне Андреевне, что теперь она может пойти в Прокуратуру с более определенной жалобой. Реакция ее была неожиданной: «Привлечено дело 1935 года? Тогда я не могу туда пойти».

Почему?

В своем письме Лева признает, что в 1935 г. преступление действительно было: «Разговоры дома». В таком случае Ахматовой, в ее тогдашнем письме-просьбе Сталину ручавшейся за сына и мужа (тоже арестованного за те же разговоры), нужно признаться и в своем участии в этом «преступлении». Но после того, как она напечатала в «Огоньке» свой пресловутый цикл «Слава миру», было невозможно теперь, в 50-х гг., напоминать о бывлом новым судьям. Этого мало. В «Славу мира» включено стихотворение «21 декабря 1949 года», то есть день рождения Сталина. Какую тяжкую роль сыграло это выступление в творческой и личной биографии Ахматовой, я уже говорила. Но это еще не все.

Тут я впервые узнала, что в том 1935 году Лева прочел вслух стихотворение Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны», то есть политическую сатиру на Сталина. От меня он это скрыл, хотя я тоже имела некоторое отношение к его тогдашнему аресту и делу Мандельштама.

И опять еще не все. За ужином сидел не совсем привычный в этом доме гость — студент, приглашенныйевой. Этот молодой человек, пораженный слышанным, немедленно донес обо всем «органам». Как известно, Сталин проявил неслыханную милость и оба арестованных были немедленно освобождены. И все-таки это «дело» фигурировало опять в обвинительном акте, по которому Лев был осужден на 10 лет в 1950 г.

И еще один удар — последний: следствие по делу 1935 года до помилования велось очень жестко. И в деле остался текст мандельштамовского стихотворения, записанный Левиной рукой.

А он все продолжал жаловаться в каждом письме: «Сколько же можно рассматривать пустое место?» Он явно хотел забыть о записи стихотворения Мандельштама, и забыл. Это отражено в примитивном и вместе с тем благородном письме одного из «кирюх», востоковеда Михаила Федоровича Хвана. 9 сентября 1955 г. он обратился к В. В. Струве с просьбой не о себе, а о срочном вмешательстве в судьбу Л. Н. Гумилева: «Все его несчастье в том, что он — сын двух известных поэтов-неудачников, и обычно его вспоминают в связи с именами родителей, между тем как он — ученый и по своему блестящему таланту не нуждается в упоминаниях знаменитостей, чтобы его признали».

«...Видите, Лева уже от нас отрекается», — с грустью сказала Анна Андреевна, протягивая мне бумаги, полученные от В. В. Струве. Да, конечно, Хван писал с Левиного голоса. Это было ясно.

В то время, как все ходатаи убедились в существовании какого-то затора, не дающего двинуться пересмотру дела Л. Гумилева, он сам только один раз, в минуту отрезвления, понял это: «Вся задержка от лукавого, — писал он мне 3 февраля 1956 г. — Она не нужна; она плод чьей-то злой воли».

Эту «злую волю» можно найти, если отвлечься от «двух поэтов-неудачников», от студентов-доносчиков и от профессоров-оппонентов. Для этого надо вернуться к тому злополучному дню 1934 года, когда Осип Эмильевич Мандельштам вдохновенно читал Анне Андреевне Ахматовой и Льву Гумилеву свое еще не обстрелянное стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...».

«...Особенно Лева не должен его знать», — вспоминается мне напряженный голос Нади, когда она появилась у меня с этим предостережением. Но поэт не смог удержаться в рамках благоразумия и доверил опальной «навечно» Ахматовой и неокрепшему молодому человеку свое конспиративное стихотворение. Мандельштам, выбрав на следствии позицию полной открытости, о реакции Левы на это чтение отозвался так: «Лев Гумилев одобрил вещь неопределенно-эмоциональным выражением вроде “здорово”, но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь ему была зачитана».¹⁰⁸ Конечно, мы не должны забывать, что редакция слов Осипа Эмильевича принадлежит следователю, но все-таки это и есть начало Левиного дела. Замечу, что в документах об окончательной реабилитации Льва Николаевича Гумилева заведенное на него «дело» помечено датой «1934 год». Как мы уже убедились, этот «хвост» тянулся за ним все последующие двадцать два года. Вот почему я назвала выше Надежду Яковлевну Мандельштам «легкомысленной» и «беспечной»: «Отделались легким испугом», — определила она положение всех слушателей сатиры на Сталина, названных Мандельштамом.

Отмахнулась она также и от прямого указания А. А. Фадеева на присутствие среди секретарей ЦК активного врага Мандельштама. Но тут мы должны обратиться к ее «Воспоминаниям».

В 1938 г., когда Осип Эмильевич скитался по Москве и Ленинграду, добиваясь своей легализации после воронежской высылки, Фадеев «вызвался поговорить наверху» и «узнать, что там думают», — сообщает Надежда Яковлевна. Сведения его были самые неутешительные: «Он рассказал, что разговаривал с Андреевым, но ничего у него не вышло. Тот решительно заявил, что ни о какой работе для О. М. не может быть и речи. “Наотрез”, — сказал Фадеев».

Во второй раз Фадеев опять сослался на то же высокопоставленное лицо, когда он встретился с Надеждой Яковлевной в лифте.хлопоты об издании стихов Мандельштама в то время уже начинались (Н. Я. пишет, что это было «незадолго до окончания войны»), но она ошибается, так как в первый раз она приехала из Ташкента в Москву летом 1946 г., а

¹⁰⁸ Огонек. 1991. № 1. С.19. Ср.: Известия. 1993. 26 мая.

останавливалась на квартире у Шкловских еще позже). Там-то в лифте писательского дома в Лаврушинском переулке она и встретилась еще раз с Фадеевым. «Едва лифт стал подниматься, — пишет она, — как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Манделъштаму подписал Андреев. Вернее, я так его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так: “Это поручили Андрееву — с Осипом Эмильевичем”. Лифт остановился, и Фадеев вышел...» Надежда Яковлевна, по ее словам, «растерялась — при чем тут Андреев? Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват».¹⁰⁹ В конце концов она пренебрегла полученными сведениями, воскликнув: «А не все ли равно, кто подписал приговор?»

Но мы не можем пройти мимо этих подробностей, потому что нам надлежит выяснить, почему задерживалась реабилитация Льва Николаевича Гумилева и виновна ли в том Анна Андреевна Ахматова. Это потребует от нас пересмотра многих уже известных версий. Если не перевернуть этот слежавшийся материал, мы останемся с застывшим представлением об Ахматовой.

Предположив, что в числе истоков дела Л. Гумилева большую роль сыграли антисталинские стихи Манделъштама, мы должны внимательнее отнестись к истории распространения этой сатиры и судьбе автора, так же, как и вовлеченных в это дело лиц. Первоисточников по этому вопросу сохранилось не так уж много. Это две неполные публикации следственных дел О. Э. Манделъштама (см. выше), воспоминания Надежды Манделъштам, «Листки из дневника» Анны Ахматовой, свидетельства о причастности Б. Л. Пастернака к облегчению участи О. Манделъштама, А. Ахматовой и Л. Гумилева. Есть еще и мои воспоминания, но к ним не любят обращаться, потому что они нет-нет да и соскальзывают с уже накатанной дорожки. Новых изданий, например такого содержательного первоисточника, как записи П. Н. Лукницкого, нам не придется касаться, так как они относятся к более раннему периоду биографии Анны Андреевны Ахматовой. Но ощутимый толчок в нашей трактовке проблемы производят появившиеся совсем недавно, уже в девяностых годах, неизвестные материалы о динамике отношения Пастернака к Сталину.

МОИ ДОГАДКИ

Ни Осип Эмильевич, ни его жена не сомневались, что в случае обнаружения этого стихотворения автора ждет расстрел. За это говорила горделивая обреченность, с какой Осип Эмильевич читал мне свою сатиру на Сталина, приговаривая: «Если узнает — расстрел».

Помилование Манделъштама произвело эффект совершенно исключительного события. Я говорю «помилование», поскольку высылка на трехлетний срок в один из средних русских университетских городов — наказание очень далекое от ожидаемой высшей меры. Загадочным был и сам способ разглашения этой «милости» посредством телефонной беседы Сталина с Б. Л. Пастернаком. Сам этот звонок породил множество толков в специ-

¹⁰⁹ Манделъштам Н. Я. Воспоминания. М., «Книга», 1989, С. 336, 338—339.

альной литературе. Но прежде, чем на них остановиться, надо напомнить текст записи этой беседы, сделанной Надеждой Мандельштам со слов Пастернака.

«...Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации или “ко мне” и не хлопотал о Мандельштаме? “Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь”...»

Ответ Пастернака: “Писательские организации этим не занимаются с 1927 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали”... Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова “друг”, желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятия дружбы, разумеется, не укладывались. Та ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: “Но ведь он же мастер, мастер?” Пастернак ответил: “Да дело не в этом”... “А в чем же?” — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. “О чем?” “О жизни и смерти”, — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел...»¹¹⁰

Некоторые предполагают, что Сталин не читал самой сатиры Мандельштама. Ему, мол, никто не осмелился ее показать. Мне кажется такое объяснение малоубедительным. Тот, кто мог бояться расправы за знание этого текста, должен был еще больше бояться доноса об его утайке от Сталина, который сам наложил резолюцию «изолировать, но сохранить». Правда, подлинника этой надписи никто еще не видел, но кто другой, кроме Сталина, взял бы на себя ответственность за такое решение? Вторая версия, особенно ясно выраженная в «Материалах к биографии Б. А. Пастернака», содержит предположение, что звонок Сталина был продиктован желанием узнать, известны ли эти стихи Пастернаку, и тем самым определить степень их распространения. Но такие задачи были по плечу следователям ГПУ, и незачем было самому Сталину заниматься подобным сыском. Третий взгляд на вещи приводил к предположению, что Сталин надеялся увидеть в Мандельштаме своего будущего апологета, вспомним позднейшую «Оду» Сталину О. Мандельштама. Четвертая версия связывает демонстративный звонок Сталина к Пастернаку с проходящей в это время интенсивной подготовкой к первому съезду писателей. Это мнение подкрепляется разрешением Пастернаку не держать в секрете ни самый факт этой телефонной беседы, ни ее содержания. Вполне естественно, что тактические соображения сопровождали поступок такого изолированного политика, как Сталин. Но достаточный ли это стимул для нервного и странного разговора, ставшего теперь уже знаменитым? Пастернак передавал его с одинаковыми деталями нескольким писателям. Надежда Яковлевна пересказывает его, как она сообщает, «с стенографической точностью». Боюсь, что Пастернак не был так же точен. Напрашивается мысль, что его рассказ был обработанной версией, обдуманной для передачи публике. В нем прощупываются некоторые несоответствия течению событий, ставших известными позже. Среди них успешное вмешательство Пастернака в дело освобождения Л. Н. Гумилева и Н. Н. Пунина в 1935 г., несмотря на то,

¹¹⁰ Там же, С. 137.

что финал телефонной беседы 1934 года Борис Леонидович считал своей большой неудачей. Прежде чем остановиться на важном эпизоде защиты Пастернаком Ахматовой, отметим неверную, с нашей точки зрения, мотивировку самого звонка Сталина именно Пастернаку. Надежда Яковлевна объясняет это сообщением Бухарина: «В письме Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мандельштама...» Однако звонок Сталина мог быть обусловлен и другими причинами. Вспомним, что его личное общение с Пастернаком было не первым. Первое произошло в 1932 году в особенной форме. С него и начинается история увлечения Пастернака Сталиным, безусловно отразившаяся и на положении Ахматовой и ее сына.

О первой записке поэта к вождю было напечатано в советской газете, но никто из нас, в том числе и Надежда Яковлевна, этого не помнил. Эпизод совсем не освещен в российской литературе. Он не нашел себе места ни в «Материалах...» к биографии Пастернака, ни в многочисленных публикациях его эпистолярного наследия, ни в мемуарных сборниках. Гораздо больший резонанс вызвал он в эмигрантской литературе и западной славистике. Начало положила статья М. Корякова «Термометр России», напечатанная в 1958 г. в «Новом журнале» (Нью-Йорк). В ней приводятся отклики в прессе на скоростижную смерть Надежды Сергеевны Аллилуевой — жены Сталина. Газеты были полны выражениями соболезнования от разных организаций, от членов ЦК, от сослуживцев покойной и родственников. В этом потоке видное место занимало сочувственное письмо, подписанное 33 писателями и напечатанное в № 52 «Литературной газеты» 17 ноября 1932 г. Но Пастернак не подписал вместе со всеми этот траурный адрес, а приложил отдельную записку. Она была напечатана там же:

«Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник — впервые. Утром прочел известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел».

18 ноября в «Правде» было помещено письмо в редакцию И. В. Сталина — общая благодарность всем выразившим сочувствие его горю. Реакция Сталина на удивительные слова Пастернака осталась неизвестной. Но когда через восемнадцать месяцев он позвонил Пастернаку начет Мандельштама, забыть о той странной и значительной приписке поэта он, конечно, не мог. Не забыл ее и Пастернак, но никогда никому о ней не напоминал, хотя она была напечатана. Надеюсь, не покажется натяжкой мысль, что в телефонном звонке Сталина содержался и его ответ на ту приписку Пастернака.

В фундаментальной монографии о Пастернаке¹¹¹ целая глава посвящена теме первого ареста Мандельштама в связи с пресловутым телефонным разговором. Однако ни автор книги, Лазарь Флейшман, ни кто-либо из цитированных им толкователей не пришел к определенному выводу. Да это и невозможно сделать, если рассматривать каждый эпизод изолированно. А это был процесс, длившийся три года. Завершился он в 1936 г. напечатанным 1 января в «Известиях» стихотворным циклом Пастернака, посвященным Сталину, и другими отдельными факторами. Сам поэт впоследствии охарактеризовал этот цикл как «искреннюю, одну из сильнейших (последнюю в тот период) попытку жить думами

¹¹¹ Флейшман Лазарь . Пастернак в тридцатых годах. Иерусалим, 1984, с. 153—196.

времени и ему в тон». ¹¹² Он не скрывал, что «Бухарину хотелось, чтобы такая вещь была написана, стихотворение было радостью для него».

Бухарину, по всей видимости, нужно было второе стихотворение этого цикла («Я понял: все живо...»). В нем содержится банальное и, в сущности, посредственное славословие вождя, даже вождей («...И Ленин и Сталин И эти стихи...»). Нужное стихотворение явно было таким же «чужим» для самого поэта, как и некоторые строки его, опять удивительного, письма, по времени предшествовавшего напечатанному циклу. Насколько первое стихотворение («Мне по душе строгтивый норов...») органично связано с запиской в дни смерти Алилуевой, настолько во втором ясно слышны отголоски одного из мотивов последнего письма: «Я сперва написал Вам по-своему с отступлениями и многословно, повинуюсь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое». Несомненно, советчиком поэта в данном случае был тот же Бухарин. Оба уже были связаны прежним общим делом спасения Мандельштама.

В промежутке было еще одно письмо. Имею в виду поддержку Борисом Леонидовичем просьбы Ахматовой к Сталину о помощи в постигшей ее беде. Удивительно, что за освобождение Л. Гумилева и Н. Н. Пунина благодарил Сталина Пастернак, а не Ахматова. Это говорит о многом. О том, что все эти три года между поэтом и Сталиным шел свой молчаливый диалог. Так говорит и сам автор письма: «Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию поблагодарить Вас за чудесное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно неведомым образом оно как-нибудь до Вас дойдет». (Подчеркнуто мною. — Э. Г.)

В письме содержался и злободневный мотив. Он относился к известным словам Сталина о Маяковском. Об этом Пастернак рассказал в своем позднем автобиографическом очерке «Люди и положения». Это освобождало его от жизни на виду в роли первого поэта, которую ему навязывали некоторые литературные критики. Но самого письма Пастернак в этом очерке, конечно, не приводит. Теперь, когда оно напечатано, ¹¹³ мы вправе взять из него слова, говорящие о существовании внутренней связи между этими двумя феноменальными личностями: «...я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.

Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам Б. Пастернак».

¹¹² Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Т. 2. Художественная литература, 1989, С. 620.

¹¹³ Гласность. Еженедельник ЦКВКП(б), 1990, 27 сент., № 16. Без подписи. Ср.: Русская мысль, 1991, 22 июля. Литературное приложение № 12, с. VI. Публикация Лазаря Флейшмана. Анонимный публикатор в «Гласности» относит письмо к марту 1936 г. Более убедительна датировка Л. Флейшмана, полагающего, что письмо предшествовало стихам в «Известиях» от 1 янв. 1936 г.

К сожалению, комментаторы и аналитики пытаются разменять эту подлинность духовного проникновения на мелкие подробности политической и литературной жизни. Вообще говоря, стремление рационально объяснить иррациональное, так же, как и видеть загадочное там, где налицо простая неосведомленность, мне всегда представлялось бесперспективным занятием. Не достаточно ли самого поступка Сталина, позвонившего Пастернаку? Не указывает ли это на установившееся доверие вождя к поэту? Рядом с этим такие слова, как «тайновидец», «провидец», «чертовщина» и «мистический ужас», предложенные Мих. Коряковым в связи с припиской Пастернака, не попадают в цель. Не точнее ли будет принять другой вариант размышлений того же Корякова: «Мне думается, что с того момента 17 ноября 1932 года Пастернак, сам того не ведая, вошел в личную жизнь Сталина, стал какой-то частицей в его душевном пейзаже».

Почему же «сам того не ведая»? Разве Пастернак не признал того же в отброшенной строфе известного стихотворения «Мне по душе строптивый норв...»?

Как в двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал.

Предвестником этого стихотворения были мысли Пастернака в ноябре 1932 года, когда он думал о Сталине «как художник — впервые». Слово «художник» выражает более емкое понятие, чем слова «тайновидец» и прочие подобные. Творец больше, чем существо пусть одаренное особой зоркостью, но лишенное любви. Рембрандтовские портреты не появились бы, если бы великий живописец не совмещал с созидательной энергией женской чуткости — того чувства, которое не взвешивает добродетели и пороки человека, а постигает его целиком. В такой почти женской любви Пастернак признается Сталину в своем письме. Это освобождает его от возможных упреков в сервильизме, литературном политиканстве или дипломатии. Пока художник занят творческим наступлением на сопротивляющийся еще материал, он находится вне категорий добра и зла, определяемых по-разному разными же судьями.

Для Пастернака Сталин «артист в силе», «гений поступка». Это слово перекликается с распространенным в двадцатых годах мнением о новой породе людей, появившихся в молодом советском обществе рядом с местными послевоенными неврастениками, пришибленными небывалыми событиями. Говорилось о людях, способных своими деяниями изменять течение больших и малых событий. Созерцатели и пониматели с жадным любопытством присматривались к этим уверенным пришельцам — веселым атеистам, ни перед чем не останавливавшимся, даже перед добровольной службой в ЧК. Слово «поступок» звучало в этой атмосфере весомо и многозначно.

Под поступком Сталина в стихах Пастернака можно подразумевать и дважды проявленную милость, в первый раз к Мандельштаму, во второй — к Ахматовой. В таком понимании это слово возвращает нас к первой записке Пастернака к Сталину. В тракто-

ке философа Бориса Парамонова, привлечшего этот эпизод к своей проблемной работе «Пастернак против романтизма»¹¹⁴, смысл ее раскрывается так: «Пастернак, связывавший с женщиной революцию, но амбивалентно трактовавший ее и как бунт против насилия, и как само насилие, увидел в Сталине — “убийце революции” — просто-напросто убийцу собственной жены. “Увидел” — конечно, не то слово: он, в собственной тайной глубине носивший подобные образы, об этом бессознательно догадался, а Сталин бессознательно же догадался об этой догадке Пастернака. В этой кремлевской сцене Пастернак, как страсть и свидетель, сидел в углу».

Попробуем распространить это «бессознательное» общение на три другие встречи — одну телефонную и две — письменные. Тогда мы не будем ни задавать, ни отвечать на вопрос, как это сделал Михаил Коряков и вслед за ним Борис Парамонов. В первой встрече они усмотрели «причину сохранения жизни Пастернаком: Сталин его мистически испугался».

Не поторопились ли два названных автора истребить в Сталине человеческое начало? Можно ли было еще до гибели Кирова и последующих чудовищных сфабрикованных процессов называть Сталина «убийцей революции»? При таком обобщении игнорируется процесс становления характера, в данном случае постепенного превращения человека в вурдалака. Пока что Сталин жестоко и коварно боролся только со своими политическими соперниками, способными отобрать у него власть (Троцкий, Киров). Это не то же самое, что в пылу гнева, может быть ревности, убить жену, мать своих детей. Кто-нибудь должен был если не простить, то пожалеть убийцу. Случай помог ему узнать об искреннем сострадании поэта. И не об одном соблезновании, а о потенциальном авторе славословия о нем. Стихи, как мы знаем, пришли позже. Но и после них была еще одна вспышка подчинения обаянию власти. Об этом рассказывает в своем дневнике Корней Иванович Чуковский: «22/IV <1936>. Вчера на съезде <ВЛКСМ> сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пришел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимался с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: “Часы, часы, он показал часы” — и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко заслоняет его (на минуту)».

Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью».¹¹⁵

¹¹⁴ Норвичские симпозиумы по русской литературе, Т. 1, Нортфилд, Вермонт, 1991. С. 11—25.

¹¹⁵ Чуковский К. Дневник 1930—1969. М.: Современный писатель, 1994. С. 141.

Вероятно, это был последний всплеск психической зараженности Пастернака мощной личностью Сталина. Обратное движение началось, вероятно, с отказа подписать коллективное требование писателей расстрела Тухачевского. А затем, разделяя общее чувство ужаса от разгула террора, Борис Леонидович пережил также личное потрясение — гибель грузинских поэтов, своих друзей — Тициана Табидзе и Паоло Яшвили. На знакомых страницах «Известий» он прочел предсмертные слова распластанного и раздавленного Бухарина... Пастернак пришел к отрицанию страшной фигуры Сталина.

Противоположным был путь Мандельштама — от острой политической сатиры до натужной «Оды Сталину». Это была конъюнктурная вещь, не заслуживающая внимания исследователя. Но в стихотворении «Меж народного шума и слеха» он так же поддался обаянию крупной исторической личности, как и Пастернак («...века могучая веха...»). Потрясенный милостью Сталина, Мандельштам говорит о нем эмоционально, благодарно («И ласкала меня и сверлила Со стены этих глаз журьба») и покаянно:

И к нему — в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину
Головою повинной тяжел...

Тут случилось непредвиденное: рядом с этими смиренными стихами, когда Мандельштам думал уже совсем не о Сталине, а о грядущих «крупных огтовых смертях» XX века, очевидно, из подсознания поэта, где он «медлил и мглил», всплыл почти рядом с пастернаковским «гением поступка» «пасмурный, оспенный, и приниженный гений могил» (См. «Стихи о неизвестном солдате». 1937 г.) Разве это не портрет Сталина?

Со всеми этими стихами интересно сопоставить первоначальный отклик Осипа Эмильевича на рассказ Надежды Яковлевны о разговоре ее с Пастернаком. К сожалению, в ее беглой передаче до нас донеслись только обрывистые, не всегда внятные фразы их домашнего разговора:

«...остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые “не занимаются с 27-го года разбором личных дел”».

“Дал точную справку”, — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: “Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться — он здесь ни при чем”. И еще: “Он совершенно прав, что дело не в мастерстве... Почему Сталин так боится “мастерства”? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить”... И наконец: “А стишки, верно, произвели впечатление, если так раструбил про пересмотр”»¹¹⁶

Что ж, поэт оказался прав. К мысли о силе, заключенной в стихах, Осип Эмильевич возвращался не раз в беседах с С. Б. Рудаковым в Воронеже.

Может быть, если верить точности записи Надежды Яковлевны, Мандельштам понял в этом же духе вопрос Сталина о его мастерстве? Но в первой устной передаче Надежды

¹¹⁶ См. Н. Я. Мандельштам. С. 139.

Яковлевны пересказа Пастернака я не уловила такого нюанса. Дело ведь не в прямом смысле слов, а в интонации и жесте. Они подают сигналы для толкования реплик Сталина, дважды лишившегося самообладания. Резкое прекращение разговора, вероятно, было вызвано не гневом, а внезапным смятением: просьба Пастернака встретиться, чтобы говорить «о жизни и смерти», прямо напоминала о трагической гибели Аллилуевой. А нервный повтор «но ведь он мастер? мастер?» указывает на желание Сталина услышать подтверждение компетентного собеседника о правоте Мандельштама. Мое толкование подкрепляется фразой из заявления Надежды Мандельштам, адресованного Берии уже после смерти Осипа Эмильевича, о чем она еще не знала. Среди ее претензий есть упоминание о мастерстве Мандельштама как о положительном для властей факторе:

«...И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожить поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности».¹¹⁷ (Подчеркнуто мною. — Э. Г.)

Когда Мандельштам еще жил в Воронеже, он как будто угадал, что «стишки» произвели впечатление на Сталина. Что же он «нашаманил» ему? Прежде всего сам образ властелина, карающего и милующего как Верховный судия. В изображении этой крупной фигуры тонут такие детали, как «жирные пальцы» и «тараканьи глазища». Даже «казни» не смущают вождя: и Ленин ратовал за расстрелы — революция, мол, должна защищаться. Но суть дела не в этом.

Тут мы снова должны оглядеться по сторонам. Вспомним, в какие дни прозвучал телефонный звонок в квартире Пастернака? Июнь 1934 года. А 28 января того же года открылся XVII съезд ВКП(б). Он завершился 10 февраля выборами центральных органов. Историки нам говорят, что Сталин не получил большинства голосов для утверждения его на посту генерального секретаря. Победил Киров, но результаты голосования были подтасованы.

Весь этот год, закончившийся убийством Кирова, Сталин был озабочен укреплением своей власти и расправой с врагами из числа членов высших органов партии. На этом фоне одна строфа из крамольного стихотворения Мандельштама должна была ласкать слух затаившего злобу Сталина:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Поэт как будто давал ему индульгенцию на будущие, еще не оформленные в сознании тирана преступления!

Такие слова можно повторять в укромных углах кремлевских палат, вытаскивая из этого «сброда» то одного, то другого из «тонкошеих вождей», и натравливать их друг на друга. Видимо, этот Мандельштам большой мастер. Надо о нем узнать... Глубже загляды-

¹¹⁷ Огонек. 1991, № 1. С. 21.

вать в душу и замыслы злодея я не берусь. Но всем известные события 1937— 1939 годов говорят сами за себя.

Обстоятельства последнего ареста Мандельштама не несут на себе следов брошенного на него убийственного взгляда Сталина. После моря пролитой крови, сфабрикованных процессов, массовых репрессий и высылки невинных людей, очевидно, было уже не до этого поэта. Он был бы забыт, если бы сам не напрашивался на внимание «братьев-писателей» в Москве и Ленинграде. Они боялись его. В любую минуту их можно было обвинить в знании чудовищного антисоветского стихотворения, а вместе с тем автор почему-то ходит на свободе. Когда-то сам Сталин обошелся с ним милостиво. А что теперь? Лучше с ним не связываться и потихоньку выпроводить подальше от Москвы. Принятое сейчас толкование причин его второго ареста в 1938 г. смехотворно. В то время как в Кремлевской больнице стаскивали с постелей послеоперационных больных и волокли их на Лубянку, кто бы стал заботиться о Мандельштаме, запрятав его в санаторий на Саматихе, чтобы комфортабельнее произвести арест? Что за нелепость! С какой стати Литфонд Союза писателей великодушно отпустил четыре бесплатные путевки в санаторий под Москвой Мандельштаму и его жене на два месяца? Когда они отдыхали там, несколько раз звонили из Союза и спрашивались о здоровье Осипа Эмильевича. Ясно, что была задумана какая-то интрига с целью избавиться от присутствия в Москве Мандельштама и его жены с их неясным положением.

Все это довольно откровенно описано в письме Павленко к секретарю Союза писателей, чтобы «по-сыновьему, по-братски» пожаловаться на беспокойство, причиняемое этим суетливым поэтом. Кто распорядился вторично судьбой Мандельштама, из опубликованных документов его дела не видно. Мы знаем только фамилию исполнителя этого распоряжения.

Надежду Яковлевну беспокоило подозрение, что тут сыграл роль частный инцидент с одной коммунисткой. Она так и писала в своей жалобе Берии, прося «проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке».

Надежду Яковлевну беспокоил еще один вопрос: почему взяли одного Осипа Эмильевича, а ее оставили на свободе, несмотря на то, что в инциденте были замешаны они оба? Пока мы не располагаем полным сводом документов, мы не сможем распутать этот узел. Гораздо яснее положение Льва Николаевича Гумилева, задерживаемого до 1956 года в заключении.

Он смог освободиться только после постановления XX съезда партии о культе личности и его вредных последствиях. Только тогда ослабла власть А. А. Андреева, который занимался делом Ахматовой с 1940 года. Ее сборник «Из шести книг» забраковали тогда три секретаря ЦК — А. А. Жданов, Г. М. Маленков и А. А. Андреев.

Отличившись в 1946 году как отменный мракобес, А. А. Жданов умер в 1948-м, Маленков после смерти Сталина очень скоро оказался не у дел. Остался один Андреев, бывший член Политбюро, член Президиума Верховного Совета СССР. Нет сомнения, что от него исходил запрет на пересмотр дела Л. Гумилева. По всей вероятности, он никогда не мог забыть и простить оскорбительную строфу из стихотворения Мандельштама. Это видно и из того, что, как только прошел XX съезд, Л. Н. Гумилев был реабилитирован. Но это не излечило его от болезненной и необоснованной обиды на мать.

К дням его освобождения можно применить русскую пословицу, только перевернув ее наоборот: «Не было б несчастья, да счастье помогло». Счастье заключалось в том, что в Омске работала так называемая «микояновская комиссия», созданная для ускорения пересмотра дел невинно осужденных. Такая комиссия освободила Льва Николаевича. Он явился в Москву, когда его дело еще лежало на столе у генерального прокурора Руденко и ждало его возвращения из Баку для оформления протеста. Кстати говоря, эта обязательность протеста именно генерального прокурора тоже указывает на сложность политического положения и А. А. Ахматовой, и судьбы Н. С. Гумилева, и их сына Льва Николаевича. Двуступенчатость процесса его реабилитации окончательно укрепила его ложную уверенность в том, что он сам себя освободил. Я помню его непредвиденную реакцию на мою фразу: «Лева, Вас освободил XX съезд». «Ага! Значит, мама вообще на подавала никакой просьбы!» — вскричал он, почему-то пораженный моей фразой. Последовал такой бурный взрыв, что мне стала ясной невозможность сдвинуть его с этого места.

Только иногда Лев избавлялся от этой навязчивой идеи и говорил о матери нормально, с нежностью и заботой, как относился к ней часто в молодости. Но самое печальное то, что этот легендарный образ дурной матери укрепился в воображении завсегдатаев окололитературных кружков (да и чисто литературных). Этим удовлетворяется непреодолимая страсть к мелодраме, укоренившаяся в нашем обществе, как ни странно, именно теперь, на фоне великих трагедий XX века, пережитых и переживаемых нами до сего дня. Давайте избавим одного из лучших русских поэтов от этого слащавого жанра. Вернем Анне Ахматовой то, что принадлежит ей по праву, — ее трагедийную Музу и трагическую биографию. А Лев Гумилев, прожив после смерти матери четверть века в покое и на свободе с преданной ему женой Натальей Викторовной, создал несколько фундаментальных книг по истории России и Срединной Азии. Их надо изучать, как и полагается в науке, — без слезливости, восторженности или усмешек.

КОРНИ ТРАГЕДИИ

В рукописном фонде Анны Андреевны Ахматовой (Российская Национальная библиотека — СПб) на полях черновика одной из ее статей о Пушкине притаились два стихотворных наброска. Тематически они не связаны с пушкинскими штудиями Анны Андреевны. Они принадлежат к числу так называемых бродячих строчек — определение, часто встречающееся в переписке Ахматовой и в «Письмах о русской поэзии» Н. Гумилева. Ни для кого и ни для чего не предназначенные, в сущности, они являются дневниковыми записями. Отсутствие дат и присутствие рифм такому толкованию не мешают. Время написания легко устанавливается по содержанию черновика основной пушкинской статьи. Это 1958— 1959 годы. А рифмы возникали легко у Ахматовой, писавшей стихи с 11 лет. Стихотворная форма точнее выражала ее сокровенное сознание, чем проза. Об этом часто говорила она сама, и письменно, и устно.

Оба наброска — двустрочный и шестистрочный — до сих пор не опубликованы. Первый, вероятно, отпугнул редакторов своей обнаженностью, второй — загадочностью. Не

находя смысловой связи в шести строках, ранние обработчики фонда Ахматовой расчленили их на два стихотворения. Вслед за первыми редакторами эти стихи так и печатаются — начальные четыре строки в одном издании¹¹⁸, остальные в другом¹¹⁹. К тому же между этими двумя публикациями пролет промежуток в десять лет. Ясно, что оба наброска нуждаются в новом прочтении и в реальном комментарии.

«Звон монет» — так начинает Ахматова, но строка обрывается и графически превращается в заголовок следующего двустихия:

И думы нет, и дома нет,
И даже дыма нет.

Оно выросло из рифмы «нет» к слову «монет», но наполненность его далеко оставляет позади формальную связь.

Крайнее выражение внутренней опустошенности соседствует с признанием своего бытового неустройства. Как ни странно, но неудобная жизнь возникла из-за непривычной для Анны Андреевны относительной материальной обеспеченности. Это внесло новый элемент в ее отношения с домочадцами и близкими.

«Звон монет» послышался после того, как Ахматова начала заниматься стихотворными переводами, а они-то и убивали творческую энергию поэта. Об этом Анна Андреевна не раз говорила с Лидией Корнеевной Чуковской. На вопрос, пишет ли она новые стихи, Анна Андреевна как-то ответила: «Конечно, нет. Переводы не дают. Лежишь и прикидываешь варианты. Какие стихи, что вы!»¹²⁰ Этот разговор происходил в 1952 году, а когда Ахматова стала переводить еще более систематически и профессионально, она снова жаловалась Лидии Корнеевне: «Я себя чувствую каторжницей. Минут на двадцать взяла сегодня своего Пушкина — “Дуэль” — и сразу отложила: нельзя. Прогул совершаю».¹²¹ Это говорилось в 1958 году. 19 декабря — дата записи Л. Чуковской. Приблизительно к этому времени я и приурочиваю обсуждаемые наброски.

Как же проходили дни Анны Андреевны в эти годы? Каждый, кто встречал ее в последние десять лет жизни, помнит, что она жила на два города и, естественно, на два дома. Возраст и болезни уже не позволяли ей селиться одной. Больше четырех месяцев подряд Анна Андреевна вообще не жила в Москве из-за чрезвычайно жестких правил прописки. Если «квартиръемщик» отсутствовал сверх этого срока, милиция имела право его выписать, то есть лишить возможности жить в родном городе. Легко себе представить, как опасалась этого Анна Андреевна. На частые уговоры обменять свою ленинградскую комнату на московскую она отвечала с тоской: «А где вы меня похороните?» Она боялась остаться вне Питера не только при жизни, но и после смерти. Как мы помним, в любимом городе она жила вместе

¹¹⁸ Нева. 1979. № 6.

¹¹⁹ Ахматова Анна. Сочинения в двух томах. Правда. 1990. Т. 2. С. 94.

¹²⁰ Нева. 1993. № 4, С. 90.

¹²¹ Нева. 1993. № 7. С. 77.

со своей падчерицей — Ириной Николаевной Пуниной и ее дочерью Аней (Анной Генриховной Каминской). Обе они выросли на ее глазах, и в доме царил совсем другой тон, более фамильярный, чем на Ордынке, иногда слишком бесцеремонный. Но Анна Андреевна находила в этом свою прелесть: «Ира — единственный человек — кроме Левы, конечно, — который говорит мне “ты”», — нередко замечала она. А Лева все еще был в лагере, присылал оттуда матери «трудные» письма, не знаю, как назвать их иначе. Он вернулся в 1956 году до такой степени оцетинившийся против нее, что нельзя было вообразить, как они будут жить вместе. Оба были больны, обоим надо было лечиться, а Лева не терпелось строить себе новую свободную жизнь. Кончилось тем, что он жил один, на отлете. Его приходы вносили большие напряжения в эту странную «семью». К сожалению, окружающие не старались смягчить это положение, напротив, только усиливали назревающий полный раздор.

Долгое ожидание возврата сына, завершившееся так убого, — одна из составляющих печального самораскрытия: «...и думы нет...» Ясно, что тут подразумевается не вялость мысли, а нечто подобное жалобам библейского Иова: «Думы мои — достояние сердца моего — разбиты».

Остановимся на третьем члене триады — «И даже дыма нет». Не только дома, но и хозяйства нет. В русской деревне долго сохранялось старинное употребление слова «дым». Оно означало «двор», «тягло», «очаг». Другими словами, в этой строке подразумевается — «нет семьи», и это вносило в набросок дополнительную краску тоскливой заброшенности в эти слова.

Свои бродячие строчки Ахматова на-гора не выдавала. Но то, что слышится в прикорнувшем на полях рукописи двустихии, вошло в законченное стихотворение, написанное тогда же. При жизни автора оно не было напечатано по цензурным соображениям. Но Анна Андреевна охотно читала его друзьям. Я даже помню, как остро я восприняла стих «Разве этим развеешь обиду?», вероятно, из-за гармонического движения в нем гласных, да и согласных («разве-развеешь»).

Перечтем это стихотворение целиком.

...вижу я:

Лебедь тешится моя.

Пушкин

Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Разве этим развеешь обиду?
Или золотом лечат тоску?
Может быть, я и сдамся для виду,
Не притронусь я дулом к виску.
Смерть стоит все равно у порога,
Ты гони ее или зови,
А за нею темнеет дорога,

По которой ползла я в крови.
А за нею десятилетия
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.
Что ж прощай, я живу не в пустыне,
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни,
В остальном я сама разберусь.

9 апреля 1958

В этом стихотворении много реминисценций.

В пору размышлений над восьмой главой «Онегина» Ахматова останавливается на строках: «А перед ним воображенья/ Свой пестрый мечет фараон». Она старалась припомнить, где же у Пушкина попадаетесь это выражение. Нашла. 5 ноября 1830 года Пушкин писал Вяземскому о злободневных политических событиях — «Мечут нам чистый баламут, а мы еще понтируем». Вот и появилось у Ахматовой выражение: «...под ноги мечешь». В той же ее первой строфе обнаруживается еще один источник, вернее, самоповторение, восходящее к «Молитве» пятнадцатилетнего Лермонтова: «...От страшной жажды песнопенья/ Пускай, Творец, освобожусь,/ Тогда на тесный путь спасенья К Тебе я снова обращусь». У Ахматовой в стихотворении 1913 года — «Я так молилась: Утоли/ Глухую жажду песнопенья» В нашем стихотворении — «Песнопения светлую страсть».

Интересный источник ахматовской строки «Не притронусь я дулом к виску» указан М. Кралиным в уже упоминавшемся двухтомнике издательства «Правда» (т. 1, с. 421): «Обиду стерла кровь, / И ты, ты думаешь, по нем вздыхая, / Что я приставлю дуло (я!) к виску?» Это строки из стихотворения акмеиста В. И. Нарбута «Самоубийца»¹²². Наконец, ахматовское «Ночь со мной...» корреспондирует с герценовской главой из «Былого и дум»: «Осеано пох» (встает из океана ночь).

Что же остается своего, несмываемого ахматовского в этом законченном стихотворении? «Всегдашняя Русь» как оплот и «гордыня», как непобежденная греховность.

Эти проявившиеся реминисценции помогут нам разгадать ребус второго черновика, набросанного на обороте того же листа из пушкинской рукописи Ахматовой.

Не с тобой мне есть угощенье,
Не тебя мне просить <о> прощенье,
 Не тебе я в ноги валюсь,
 Не тебя по ночам боюсь...
Зазвонили в Угличе рано,
У царевича в сердце рана.

¹²² Нарбут В. Плоть. Одесса, 1920. В издании 1919 г. под тем же заглавием напечатано по рукописи совсем другое стихотворение.

Какие подземные воды вынесли на поверхность эти строки, я догадалась сразу. Но я молчала: одними догадками никого ни в чем не убедишь. Однако не так давно моя тайная версия получила неожиданное подспорье. Оказалось, что в собрании коллекционера М. С. Лесмана хранилось еще много неопубликованных набросков Анны Андреевны. Их подверг анализу Р. Д. Тименчик в статье «Страницы черновиков Анны Ахматовой».¹²³

Несмотря на чисто случайное соединение в одном месте разрозненных листков, Р. Д. Тименчик сумел наметить в этих бродячих строчках основные темы, характерные для последнего творческого периода Ахматовой. Тут мотивы для незавершенной пьесы, и новые ходы для «Поэмы без героя», и тема сына — «тишина заполярных нар», попавшая в отделанном виде в стихотворение «Немного географии», и память о древней Руси... Но центральное место в этих набросках, по верному наблюдению Р. Д. Тименчика, занимает кружение вокруг двух лирических циклов — «Чинкве» и «Шиповник цветет». Известно, что они посвящены одному и тому же лицу и связаны определенным сюжетом. Речь идет о встрече в 1945 г. с приехавшим в Ленинград из Англии философом сэром Исайем Берлиным и об отказе Анны Андреевны встретиться с ним в 1956 году, когда он вторично приехал в Советский Союз. Очевидно, к тому же сюжету относится и наш второй набросок, связанный с «лесмановскими» строчками разнообразными переключками. Выделим их.

Для строки «Не с тобой мне есть угощение...» находится аналог в вычеркнутой строфе из третьего стихотворения цикла «Шиповник цветет»: «Мы с тобою, друг мой, неразделим/ То, что разделить велел нам Бог,/ Мы с тобою скатерть не расстелем,/ Не поставим на нее пирог». Следующая строка наброска — «Не тебя мне просить о прощении» рифмуется с бродячими строчками из лесмановского собрания: «И я поняла — это даже не мщенье./ А просто он молит, он просит прощенья». Тема «его» вины окрашивает также одиннадцатое стихотворение из «Шиповника...»: «Ты не знаешь, что тебе простили». Однако остановиться на этом мотиве Ахматова не может. Вина остается в этом сюжете, но в новом варианте она падает на другой персонаж — на «нее»: «Прощенье ли услышать ожидала,/ Прощанье ли вставало перед ней...» Но нет, «она» перед ним не виновата — «Не тебя я когда-то губила». Как в предыдущем наброске доминировала рифма «Нет» «Нет» «Нет», так и в «Шестистишии» слышится внутренний диалог, построенный на отрицании — «не»: «Он не друг, и не враг, и не демон». Вина есть у героини, но не перед ним — «Не тебе я в ноги валюсь,/ Не тебя по ночам боюсь...» Перед кем же такая страшная вина? — «У царевича в сердце рана».

Убиенный, по преданию, в Угличе царевич Дмитрий Иванович был виноват только в том, что он родился. Внук Иоанна Грозного не должен был существовать на земле, он мешал другим претендентам на русский престол. Таким же безвинным страдальцем стал

¹²³ В сб. «Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. Публикации». (М.: Книга. 1989, с. 375—379). Пользуюсь случаем, чтобы отметить ошибочное замечание этого автора относительно якобы пропущенной мною фразы в письме Н. Гумилева к Ахматовой от 16/VII 1915 г., опубликованном мною в «Новом мире», 1986, № 9. Очевидно, у Романа Давидовича Тименчика произошел обман зрения.

в том же девятилетнем возрасте сын Ахматовой и расстрелянного поэта Н. Гумилева. Он был обречен на несчастье самым фактом своего рождения и оказался центральной фигурой в трагической развязке остросюжетного конфликта.

Как ни странно, лучше всех катастрофичность его судьбы выразила Марина Цветаева в экзальтированных строках из цикла «Стихи к Ахматовой». Они были написаны в 1916 г., следовательно, задолго до расстрела Гумилева. Но как часто поэты бывают правы в своих прозрениях!

Я никогда не любила стихотворение («Имя ребенка — Лев...») из-за напряженной приподнятости тона этой «осанны маленькому царю». Цветаева оказалась пророчицей, сказав: «Страшное наследие тебе нести», но она же и надеется на его спасение в очень вольно выраженных молитвенных словах: «Бог, внимательней/ За ним присматривай:/ Царский сын гадательней/ Остальных сынов».

Но почему он оказался ключевой фигурой во внутренней борьбе Ахматовой? Речь идет во всех набросках, как и в цикле «Ченкве» и «Шиповник...», о встречах с заморским гостем, оставивших сильный след в творческом сознании Ахматовой. Зачем же вторгается в «старинный спор двух» третий? То он «в сумраке прогнивших нар», то в отзвук «давно погибших звонниц», то спускаясь «опять по каменным ступеням/ Древним, как сражение на Дону», словом, в лесмановских черновиках проступает еще одна «сквозная черта», так или иначе адресованная «пришельцу из Европы», — это мотивы «всегдашней Руси». Наблюдение Р. Тименчика согласуется с появлением одного из самых безответных героев русской истории — Дмитрия-царевича.

Тут нам пора перейти из области поэтических видений к «тьме низких истин». Обратимся к воспоминаниям сэра Исаяи Берлина. В главе, повествующей о ленинградских встречах и московской «невстрече» его с Ахматовой, он описывает события в трезвых, будничных тонах. Это-то нам и нужно.

«В следующий приезд в Советский Союз в 1956 году я не виделся с ней, — пишет И. Берлин. — Пастернак сказал, что хотя Ахматова и хочет меня видеть, но ее сын, который был вновь арестован вскоре после нашей встречи, только недавно вышел из заключения, и свидания с иностранцами были ей сейчас некстати, особенно потому, что она приписывала яростные нападки Партии на себя, по крайней мере частично, моему посещению в 1954 году. Пастернак сказал, что сомневается, что мой визит причинил ей какой-то вред, но так как она, очевидно, считает, что это так, ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она не может встретиться со мной».¹²⁴

Так и кажется, что разговор вели между собой не Поэт и Философ, какими мы привыкли считать носителей названных имен, а два респектабельных джентльмена. Да и то сказать, дружеская услуга, оказываемая Борисом Леонидовичем Анне Андреевне, ставила его в неловкое положение. Не менее неловко должен был чувствовать себя джентльмен, которому отказывают в приеме. Тем более что тут была замешана полити-

¹²⁴ Цитирую по переводу А. Наймана, напечатанному в его книге «Рассказы о Анне Ахматовой». (М., 1989, с. 262).

ка, совершенно фантастическая в глазах гражданина одного из самых правовых государств в Европе. Оба собеседника забыли о собственных наблюдениях над советской жизнью, в которой так явственно угадывали присутствие иррационального начала. Но тут верное чувство Истории им изменило, и они искали здравого смысла там, где его никогда не было и быть не могло.

Вероятно, я удивлю сэра Исая Берлина, если сообщу, что Лева очень жестко допрашивали о визите заморского дипломата к его матушке. В первые дни после возвращения, когда все в его сознании ходило ходуном, Лева не мог связно рассказывать о всем перенесенном за эти годы. Тем больше веры вызывали слова, вырывающиеся у него бесконтрольно. Так, например, его мучило, что он отозвался пренебрежительно об Анне Андреевне в связи с вопросом о злополучном визите: «Мама стала жертвой своего тщеславия». В другую минуту он вспоминал с надрывом, что должен был отвечать за пепел сожженных бумаг, лежащий в пепельницах. «Что она жгла?» — спрашивали его. А это были всем известные сожженные записочки, на которых Анна Андреевна записывала злоеущие новости, справедливо боясь подслушивающего аппарата, не замечая, как выдают ее эти сожженные бумажки, найденные очередным стукачом после ухода от Ахматовой кого-нибудь из ее близких друзей. Однажды Лев невольно вспомнил, как следователь, схватив его за волосы, бил головой о крепкую стену Лефортовской тюрьмы, требуя его признания о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. Слова следователя он не передавал мне с такой точностью, но совсем на днях (февраль 1995) я прочла сообщение Олега Калугина, где о этой версии КГБ говорится без обиняков.

Постепенно Лева отходил от политической стороны своей судьбы и переводил свои отношения с матерью в бытовой психологический план, при этом очень банальный. Помню, как редко плачущая Анна Андреевна прослезилась, жестоко уязвленная моим неосторожным рассказом. Речь шла о его стремительном уходе за одной из приятельниц Анны Андреевны, которой он жаловался: «Мама не любила папу, и ее нелюбовь перешла на меня». «Он торгует нами!» — вскричала в слезах пораженная Ахматова. Да, конечно, узнать из «достоверного источника» об отношениях знаменитых поэтов Ахматовой и Гумилева было жгуче интересно и повышало шансы их влюбленного сына на внимание дамы. Потому-то она и рассказывала мне об этих беседах.

Анну Андреевну угнетало это сознательное снижение масштаба ее общей судьбы с сыном. Ее поражал появившийся у него крайний эгоцентризм. «Он провалился в себя», — замечала она, или: «Ничего, ничего не осталось, одна передоношница». Она убежденно говорила, что «он таким не был, это мне его таким сделали!»

Но откуда же эта сильная нота вины: «...тебе я в ноги валюсь... тебя по ночам боюсь»?

Выслушивая не один раз тяжкие размышления Анны Андреевны о Лева, я не отдавала себе отчета, а может быть, и не знала, что у нее были реальные возможности уехать из России вскоре после казни Николая Степановича Гумилева. «А что бы было, если б он воспитывался за границей? — часто спрашивала она себя. — Он знал бы несколько языков, работал на раскопках с Ростовцевым, перед ним открылась бы дорога ученого, к которой он был предназначен».

Имеются два документа, где прямо говорится о ее намерениях эмигрировать. Так, Вл. Вейдле рассказывал о встрече с Ахматовой перед своим отъездом навсегда из России: «Анна Андреевна просила меня привести в парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы она решила отправить его в Париж... Сама она никуда не собиралась...»¹²⁵ Вейдле вспоминал об этом разговоре уже после кончины Ахматовой, когда ее отрицательное отношение к эмиграции было широко известно по ее стихам и поведению.

Но вот в другом документе, написанном в 1926 г., отражено уже прямое намерение Анны Андреевны уехать. Имею в виду письмо Марины Цветаевой из Бельвю от 26 ноября 1926 г.: «Пишу Вам по радостному поводу Вашего приезда... Хочу знать, одна ли Вы едете или с семьей (мать, сын). Но как бы Вы ни ехали, езжайте смело... Переборите “аграфию”... и напишите мне тотчас же: когда — одна или с семьей — решение или мечта. Знайте, что буду встречать Вас на вокзале...»¹²⁶

Вот это была единственная возможность спасти Леву. Многие матери покидают родную страну, чтобы избавить своих детей от преследований. Но отказаться от своего призвания Анна Ахматова не могла. Долг матери столкнулся с долгом Поэта. Вот где было заложено начало настоящей, невыдуманной трагедии. Это предрешило трудную судьбу Льва Николаевича Гумилева.

сентябрь 1995

РЕШАЮЩЕЕ ПИСЬМО

Любое впервые публикуемое письмо выдающегося поэта имеет важное значение для истории литературы. Но это письмо особенное.

Оставаясь неизвестным, оно тем не менее служило источником драматических переживаний Л. Гумилева. Он подозревал мать, что она, минуя высокие инстанции, обратилась прямо в Прокуратуру СССР; что в своей просьбе она не заявляла о его невиновности; в конце концов он пришел к выводу, что никакого ходатайства об его освобождении Ахматова вообще никуда не подавала. В более ранней статье «Мемуары и факты. Об освобождении Льва Гумилева» («Горизонт», 1989, № 6) я упоминала о предполагаемой причине задержки пересмотра его дела. На это мне намекнули в Военной прокуратуре, куда я ходила по доверенности Анны Андреевны. С начала 1955 года там находилось под особым контролем письмо И. Г. Эренбурга на имя Н. С. Хрущева по тому же делу. Но год назад Ахматова уже получила отказ из Прокуратуры СССР в ответ на ее письмо к Председателю Президиума Верховного Совета СССР — Кл. Еф. Ворошилову. Этот-то отказ и мешал Военной прокуратуре проверять дело Л. Гумилева. Только сегодня мы можем

¹²⁵ Цит. по изданию МПИ, М., 1989: Анна Ахматова. После всего.

¹²⁶ Цветаева Марина. Неизданные письма. Париж. УМКА-PRESS, 1972, с. 377—378.

ознакомиться с текстом и судьбой письма Ахматовой и с пространной мотивировкой: отказа, подписанного генеральным прокурором Руденко.¹²⁷

Архитектор А. В. Руднев — Кл. Ворошилову

624/К13

10.II.54

Многоуважаемый Клемент Ефремович.

Поэт Анна Ахматова очень тяжело переживает разлуку со своим единственным сыном, историком, находящимся в лагере уже 5-й год. И это нехорошо отражается на ее творческой работе.

Я Вас очень прошу, Клемент Ефремович, помочь в горе поэту Ахматовой.

Уважающий Вас

Архитектор А. Руднев

5 февраля 1954 г.

А. А. Ахматова — Ворошилову

625/1

10.II.54

Руденко Р. А.

Прошу рассмотреть и помочь.

К. Ворошилов

12-П-54

Глубокоуважаемый Климент Ефремович!

Умоляю Вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере (Омск, п/я 125) и стал там инвалидом.

Лев Николаевич Гумилев (1912 г. р.) был арестован в Ленинграде 6 ноября 1949 г. органами МГБ и приговорен Особым Совещанием к 10 годам заключения в ИТЛ.

Ни одно из предъявленных ему на следствии обвинений не подтвердилось — он писал мне об этом. Однако, Особое Совещание нашло возможным осудить его.

Сын мой отбывает срок наказания вторично. В марте 1938 года, когда он был студентом 4-го курса исторического факультета Ленинградского университета, он был арестован органами МВД и осужден Особым Совещанием на 5 лет. Этот срок наказания он отбыл в Норильске. По окончании срока он работал в качестве вольнонаемного в Туруханске. В 1944 году, после его настойчивых просьб, он был отпущен на фронт добровольцем. Он служил в рядах Советской армии солдатом, и участвовал в штурме Берлина (имел медаль «За взятие Берлина»).

¹²⁷ За предоставление мне ксерокопии с этого исторического материала из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, фонд 7523, опись 85, дело 251, листы 15—16) я сердечно благодарю В. А. Шенталинского.

После Победы он вернулся в Ленинград, где в короткий срок окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 г. служил в Этнографическом музее в Ленинграде в качестве старшего научного сотрудника.

О том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться у его учителей — директора Государственного Эрмитажа М. И. Артамонова и профессора Н. В. Кюнера.

Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей Родины, занимаясь любимым делом.

Дорогой Климент Ефремович! Помогите нам! До самого последнего времени, я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать — я перевела для юбилейного издания сочинений Виктора Гюго драму «Марьон Делорм», и две поэмы великого китайского поэта Цюй-юаня. Но чувствую, что силы меня покидают: мне больше 60-ти лет, я перенесла тяжелый инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы — это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины.

Анна Ахматова

8 февраля 1954.

Ахматова Анна Андреевна

Ленинград, ул. Красной Конницы, д. 4 кв. 3, тел. А2-13-42

Москва, Б. Ордынка, д. 17 кв. писателя В. Е. Ардова № 13, тел. В1-25-33

Копия с резолюции т. Ворошилова К. направлена т. Руденко Р. А.

12.2.54 (подпись)

Снята одна копия 12.2.54 г.

Секретно

экз. №

6 июля 1954

№ 2/6-50043-49

05445

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР

СОЮЗА ССР

Москва, Пушкинская, 15 а

Председателю Президиума Верховного Совета СССР

товарищу К. Е. ВОРОШИЛОВУ

Произведенной проверкой по обвинению ГУМИЛЕВА Льва Николаевича установлено, что он 13 сентября 1950 года бывшим Особым Совещанием при МГБ СССР был осужден за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет.

Ранее, 26 июля 1939 года он был осужден Особым Совещанием при НКВД СССР за участие в 1937 году в антисоветской группе к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет.

На следствии в 1949—1950 гг. ГУМИЛЕВ показал, что антисоветские взгляды у него возникали еще в 1933 году под влиянием антисоветски настроенных поэта МАНДЕЛЬШТАМА и отчима ГУМИЛЕВА — ПУНИНА. Он и ПУНИН сгруппировали вокруг себя единомышленников в лице студентов БОРИНА, ПОЛЯКОВА, МАХАЕВА и к 1934 году у них сложилась антисоветская группа. Практически они на его, ГУМИЛЕВА, квартире неоднократно высказывали различные клеветнические измышления в отношении руководителей Партии и Правительства, охаивали условия жизни в Советском Союзе, обсуждали методы борьбы против советской власти и вопрос о возможности применения террора в борьбе против Советского правительства, читали стихи контрреволюционного содержания. Он, ГУМИЛЕВ, читал сочиненный им в связи с убийством С. М. Кирова такого же характера пасквиль «Экабатава», в котором возводил гнусную клевету на И. В. Сталина и С. М. Кирова. Он же высказывался за необходимость установления в СССР монархических порядков.

По поводу антисоветской деятельности в период 1945—1948 гг. ГУМИЛЕВ показал, что после освобождения его из места заключения в 1944 году его взгляды оставались враждебными советской власти, он клеветал на карательную политику советской власти, и в антисоветском духе высказывался в отношении отдельных мероприятий ВКП(б) и Советского правительства.

Так, после опубликования постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», он осуждал это постановление, заявлял, что в Советском Союзе нет свободы печати, что настоящему писателю делать нечего, ибо нужно писать так, как приказывают — по стандарту.

Факты антисоветской деятельности ГУМИЛЕВА, изложенные в его показаниях, подтверждаются показаниями ПУНИНА, БОРИНА, ПОЛЯКОВА, МАХАЕВА, МАНДЕЛЬШТАМА и ШУМОВСКОГО.

В 1951 году ГУМИЛЕВ обращался с просьбой пересмотреть решение по его делу, указывая, что его осуждение явилось результатом отрицательного отношения к его матери — поэтессе АХМАТОВОЙ, а также отрицательного отношения к нему как к молодому ученому-востоковеду.

В пересмотре решения Особого Совецания Главным Военным Прокурором ГУМИЛЕВУ было отказано.

АХМАТОВА в жалобе на Ваше имя написала, что предъявленное ГУМИЛЕВУ Л. Н. обвинение на следствии не подтвердилось, однако это ее утверждение не соответствует действительности.

Исходя из того, что ГУМИЛЕВ Л. Н. осужден был правильно, Центральная Комиссия по пересмотру уголовных дел 14 июня 1954 года приняла решение отказать АХМАТОВОЙ А. А. в ее ходатайстве о пересмотре решения Особого Совецания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 года по делу ее сына — ГУМИЛЕВА Льва Николаевича.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

(подпись) Р. Руденко

К этим уникальным документам можно прибавить последнюю официальную бумагу по этому делу, уже печатавшуюся мною. Повторим ее, чтобы наглядно убедиться, как тот же генеральный прокурор Р. А. Руденко признал осуждение Л. Гумилева необоснованным. Для такого поворота на 180 градусов понадобился оглушительный доклад Н. С. Хрущева на XX съезде 1956 года.

Прокуратура
Союза Советских
Социалистических Республик
Главная Военная Прокуратура
30 июля 1956 г.
12 № 50043-49
Москва, Центр, ул. Кирова, 41
Гр-ке Герштейн Эмме Григорьевне
Москва Б-93. Б. Серпуховская д. 27 кв. 67
(для гр-ки Ахматовой А. А.)

Сообщаю, что дело, по которому в 1950 году был осужден ГУМИЛЕВ Лев Николаевич, проверено.

Установлено, что Гумилев А. Н. был осужден необоснованно.

По протесту Генерального Прокурора СССР от 2 июня 1956 постановление Особого Совецания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 г. в отношении ГУМИЛЕВА Льва Николаевича отменено и дело на него за отсутствием состава преступления прекращено.

*Военный прокурор отдела ГВП
Подполковник юстиции
П/п (Караскуа)*

Помимо прямого содержания этого крайне небрежно составленного обвинения внимание останавливается на датах прохождения по инстанциям приведенной переписки. Архитектор Руднев написал свою сопроводительную записку к Кл. Ворошилову 5 февраля 1954 г. Письмо Ахматовой написано 8 февраля. В секретариате Президиума оно зарегистрировано 10 февраля, а резолюция Ворошилова в верхнем левом углу письма Ахматовой начертана 12 февраля. Возможно, что Ворошилов использовал этот двухдневный промежуток для получения инструкции Н. С. Хрущева, как быть с Ахматовой, имя которой продолжало быть одиозным. Кстати говоря, Анна Андреевна, догадавшись о подобной заминке, вскоре имела случай убедиться в правильности своей догадки. В мае того же 1954 года на встрече писателей Зощенко и Ахматовой с оксфордскими студентами сидевший рядом с ней партийный литературный критик А. Л. Дымшиц успел шепнуть ей, что разгромное постановление 1946 года сохраняет свою полную политическую силу. Я помню, как сокрушалась тогда Анна Андреевна из-за того, что не могла предупредить об этом Михаила Михайловича: он был отделен от нее сидящими в том же ряду другими сановными писателями. Нельзя же было к нему подойти на виду у всей публики.

Дата письма Руденко свидетельствует о ничтожном влиянии Ворошилова на действовавшую тогда администрацию. Несмотря на начальственный тон резолюции Председателя Верховного Совета, генеральный прокурор отвечает ему лишь 5 июля 1954 г., то есть пять месяцев спустя. Что касается существа расширенного постановления Прокуратуры СССР о деле Л. Гумилева, то оно интересно как образец сочинений подобного рода документов. Так, говоря о том, что после возвращения из первого лагеря в 1944 г. Гумилев сохранял враждебные настроения против советской власти, они перевирают дату его освобождения — он вышел из первого лагеря в 1943 г., а главное, умалчивают о его добровольном участии в Великой Отечественной войне 1944 — 1945 гг. Уверяют, что у себя на квартире он произносил перед студентами контрреволюционные речи и т. д. Но у Льва Николаевича не было своей квартиры, он жил вместе с матерью у Пунина и лишь с 1936 года ночевал у своего приятеля Акселя (не знаю фамилии). Иными словами, он ушел из дома Пунина непосредственно после первого ареста в 1935 г., когда Пунин тоже был арестован, но оба были выпущены Сталиным. Об этом важнейшем эпизоде в отказе генерального прокурора вообще не сказано ни слова. Но о показаниях Н. Н. Пунина против Л. Гумилева здесь говорится. Пути их вновь скрестились в тюрьме только в 1949 г., когда Гумилева взяли в третий раз, а Пунина во второй, за два месяца до Левы. Тогда он был уже постаревшим, полуслепым человеком. В тот август Пуниных не было в городе, Анна Андреевна и Николай Николаевич оставались почти одни в квартире. Пунин предчувствовал или ждал ареста. Он говорил Анне Андреевне: «Они прячутся за деревьями...» Спускаясь уже под конвоем по лестнице, он произносил тоскливо: «Акума, Акума...» Так рассказывала мне Анна Андреевна. Она тяжело переживала арест Пунина, жалея его. Дополнительную тяжесть приносила ей явная напряженность в отношениях между сыном и Пуниным, возникшая уже после первого ареста. Очевидно, какие-то основания были, если в решении Прокуратуры глухо сказано о показаниях Пунина против Левы.

Но еще более тягостное впечатление производит упоминание о Мандельштаме, тоже свидетельствовавшем против Льва. Очевидно, тут имелись в виду показания Осипа Эмильевича при его первом аресте за политическую сатиру на Сталина. Среди благосклонных слушателей этого стихотворения Мандельштам называл Льва Гумилева («одобрил вещь неопределенно-эмоциональным выражением, вроде “здорово”»).

В перечислении Левиных преступлений мне представляется чистой выдумкой указание на его разговоры о свободе печати, о положении писателей и, особенно, о постановлении 1946 года. Лева клятвенно уверял меня и очень этим гордился, что ни разу ни с кем никогда ни слова не произнес об этом злосчастном постановлении. А о литературе он мало беспокоился. Все его помыслы были обращены на науку.

Как бы то ни было, публикуемые здесь документы имеют первостепенное значение. Помимо несомненного исторического интереса, они ставят точку на одной из центральных проблем биографии Ахматовой. Обвинения ее в бездействии в пору заключения сына беспочвенны. Спасти его было не в ее возможностях.хлопоты о нем она начала именно так, как ей указывал Лев, не подозревавший, вернее, нарочито забывавший о ее шатком

общественном и политическом положении. Теперь, я надеюсь, этот вопрос не будет больше ставиться в биографической литературе об Анне Андреевне Ахматовой.

Мне, как исследователю, дает огромное удовлетворение само появление таких завершающих и разъясняющих откликов на мою работу. К их числу принадлежит и небольшой мемуарный фрагмент, вызванный к жизни другой главой из той же моей статьи в девятой книге «Знамени» за минувший год. Речь идет в ней о сложных и отчасти загадочных взаимоотношениях Сталина и Бориса Пастернака. Я соединяю в одну линию несколько известных разрозненных фактов. В частности, это позволило мне по-новому осветить смысл телефонного разговора Сталина с Борисом Леонидовичем по поводу ареста Мандельштама. Напомню, что началом намеченной мною линии я считаю трагический эпизод 1932 года — убийство или самоубийство Аллилуевой — жены Сталина. Тогда Пастернак к общему соболезнующему письму писателей добавил свою отдельную записку, обращенную к Сталину не как к политическому лидеру, а как к страдающему человеку. В нашей литературе существует несколько толкований этого неповторимого по стилю и содержанию маленького послания. Однако мне не встречалось в этих обсуждениях признание о возможном влиянии этой записки на позднейшие случаи общения Пастернака со Сталиным. Но и тут ко мне пришел ободряющий отклик на выдвинутую мною версию. Он заключен в дружеском письме ко мне Татьяны Максимовны Литвиновой, дочери бывшего наркома иностранных дел. Переводчица и художница, жена скульптора И. Л. Слонима, она, естественно, была хорошо знакома с Эренбургом, бывала в их доме. Она передает свой разговор с писателем о характере заочных взаимоотношений Сталина и Пастернака. Разговор шел в пору преследования Пастернака за роман «Доктор Живаго». С разрешения Т. М. Литвиновой привожу выдержку из ее письма от 29 декабря 1995 года:

«...О Пастернаке. Эренбург как-то, когда мы обсуждали, отчего же все же его не посадили, говорил мне, что у самого Б<ориса> Л<еонидовича> была теория, что чекисты не могли поверить, что он давно не сидит, и что Пастернак, что живет в Переделкине, — не тот Пастернак, что давно ими сгноен. “На самом деле, — сказал Эр<енбург>, — дело может быть вот в чем”.

И рассказал мне об “аллилуевском” письме (аллилуйя!), но у меня от его рассказа сложилось впечатление, что это была не приписка, а длинное, пастернаковско-“муторное” (до-бухаринское?) письмо, и что в его описаниях своих бессонных размышлений фигурировала как основная мысль: как должен чувствовать личную трагедию надличный человек-Вождь. Главное же, что утверждал Э., — что это письмо лежало будто бы под стеклом письменного стола в кабинете Сталина. И что будто этого было достаточно для “тонкошеих” — не трогать П<астернака>.

Так ли все это фактически, не знаю. Но что психология холуев такова, свидетельствую. Когда папу выводили из состава ЦК (42-й г.) с какими-то вздорными обвинениями — он был в зале (Колонном? Нет, вероятно), а вся когорта во главе со Ст<алиным> — в президиуме, папа вскочил и закричал: “Вы меня за врага народа считаете?” — Сталин уже встал из-за стола и направлялся к кулисам, вся гусеница за ним. Он повернулся вполоборота, с трубкой в руках и ответил (медленно, раздумчиво, мне кажется из папиного рассказа): “Мы вас за врага народа нэ считаем”.

Вот эти золотые слова (на несколько лет) служили (в глазах “тонкошеих”) как бы индульгенцией: не считать/не сажать.

Так же — если это было так — на них должен был бы влиять факт письма под стеклом».

Дело не в том, лежало ли письмо Пастернака на письменном столе Сталина под стеклом, а в том, что в кругах, близких к власти, такое предположение существовало. Исторического значения этот эпизод, вероятно, не имеет, но психологически весьма значителен. В этой связи Татьяна Максимовна продолжает:

«...И еще к “Пастернаку”:

Когда я в дневнике К<орнея> И<вановича> читала об их (т. е. Чуковского и Пастернака. — Э. Г.) искренней любви к “вурдалаку”, я подумала — ведь это истерика. И еще, что подо всем этим все же был и страх — “страх Божий”. Сужу по себе, по своему впечатлению, когда — единственный раз слышала и видела Сталина, выступавшего на съезде (1936?) по поводу конституции. Я его обожала! Власть — всевластность — желание броситься под колесницу Джаггернаута. Отец, Бог — полюби меня!».

*Моя регулярная переписка с Л. Гумилевым возобновилась осенью 1954 г. По окончании войны я с ним встречалась редко, а после его ареста в 1949 г. ограничивалась организационной помощью Анне Андреевне, собирая и отвозя по пригородным почтам ее посылки сыну в лагерь — вначале в Карагандинскую область (Карабас, Чурбай-Нурынское п/о), затем в Кемеровскую область и, наконец, в лагерь под Омском, где он оставался до своего освобождения в 1956 г. Вот его письма, полученные мной с 1954 по 1956 год.**

14.IX.54. Спасибо, милая Эмма, за письмо. Очень приятный сюрприз. Продукты в посылках обаятельны и доходят вполне исправно. Из банок я пью чай, как из стакана.

Благодарю Вас за Вашу милую заботливость обо мне, хотя удивлен, как Вам и маме не надоело мое вечное неблагополучие. Мне самому надоело настолько, что я перестал даже расстраиваться, а тем паче заботиться о себе. Живу одним днем, как мотылек, и стараюсь извлекать из созерцательной жизни приятные впечатления. Влюбился я в сочинения советского писателя М. М. Пришвина, которого прислали к нам в библиотеку. Удивительно он врачует душу. Я стал совсем старый, седобородый, скоро из меня посыпется песок, но зато я стал мудр и успокоен, как бронзовая статуэтка. Вам это смешно покажется: Вы привыкли видеть меня экспансивным.

Еще раз благодарю Вас за письмо и за хлопоты. Целую Ваши ручки — Леоп.

7 декабря 54 г.

Милая Эмма

Простите, что я не сразу отвечаю на Ваше милое, приветливое письмо. Я был очень тронут Вашим желанием приехать повидать меня, но, к сожалению, это невозможно. Только родители,

* Сердечно благодарим Наталью Викторовну Гумилеву, любезно давшую согласие на републикацию этих писем, которые в настоящее время хранятся в моем фонде в РГБ. (Э. Герштейн, издательство)

дети и зарегистрированные жены имеют право на свидание, так что ко мне может приехать только мама. Но поднимать маму на такую дорогу, без ночлега в Омске, ради 2 часов, невозможно. Кроме того мой внешний вид только расстроит ее. Поэтому я решил не тревожить ее понапрасну. Вам я очень благодарен за внимание и доброту ко мне. Ваше чувство и письмо тем более ценно, что скорее всего мы не увидимся. Здоровье мое неуклонно слабеет и до конца я не выгляну, несмотря на любую медицину. Да и пора, довольно мучиться, надоело.

Целую Ваши милые руки, искренне и нежно — Леоп.

22 декабря 1954 г. (телеграмма) .

НАПОМНИТЕ МАМЕ ОБО МНЕ ПОХЛОПОТАТЬ ЛЕВА¹

¹ Ответная телеграмма была послана 23 декабря 1954 г.: «Помним. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это самое главное. Эмма».

15.1.55 г.

Дорогая Эмма

Я получил Ваше милое письмо и телеграмму и сегодня вечером получу Вами составленную посылку. Милая Эмма, Ваше внимание и расположение ко мне выше всех возможных восторгов. От этого мне значительно легче дышать. Получил я и мамину открытку, от которой весьма повеселел. Не то, чтобы я качал строить планы на жизнь, хватит с меня разочарований, но приятно признание моих научных заслуг и возможностей. В остальном я живу по-прежнему, но всякую приятность приму с радостью. Здоровье мое поправляется. Операция прошла благополучно, ибо хирург у нас мастер. Если на меня не свалятся опять непосильные труды, надеюсь, что мое физическое состояние стабилизируется.

Как там фигурирует мама? Я ей написал огромное письмище, но она, возможно, не скоро вернется домой и, значит, не скоро его получит. Поцелуйте ее от моего имени и велите написать открытку. Я вошел во вкус эпистолярного стиля.

Как будто за последний год жить стало легче и веселее. Мне многие знакомые написали. Эмма, милая, пишите иногда, мне очень это радостно. С Вами у меня связаны исключительно приятные ассоциации. Теперь я сед и брадат; меня называют «Батя», но душа здесь не развивается и душой я в том возрасте, в котором был 5 лет тому назад.

Целую Ваши ручки, дорогая, — Леоп.

8 марта 1955 г.

Дорогая Эмма

ох, как я на Вас сердит. Зачем было говорить маме про мои болезни? Хотел было не писать Вам, но потом сообразил, что Вы одна из немногих в мире моих знакомых, не причинивших мне зла. Теперь, когда жизнь на исходе, я стараюсь вспомнить все хорошее и тогда неизбежно вспоминаю Вас.

Простите за корявость почерка. Я надорвался вчера при подъеме тяжестей и лежу опять в больнице, причем движениям моим соответствует некая специфическая грация, отражающаяся на почерке. В Вашем письме ко мне ничего не было про маму — как она себя чувствует, как выглядит и т. п. Мамин эпистолярный стиль несколько похож на издевательство, но знаю, что это неумышленно, вернее, просто недостаток внимания ко мне. Вы человек тонкий наблюдательный и нормальный, и я был бы весьма Вам признателен за некую консультацию касательно мамы. Что она меня любит, я знаю, но в понятие любовь вкладывается столь разнообразное содержание, что сказать «любит» — слишком мало. Она настолько держит меня в неведении относительно своего быта, положения, времяпровождения и т. п., что я начал просто теряться. Все-таки, я полагаю, что

1 посылка в месяц не покрывает всего долга матери перед погибшим сыном, и это не значит, что мне нужно 2 посылки. Вы можете заметить, что я чувствую себя несколько обиженным невнимательным обращением со мной. Напр., сообщая мне о заявлении ак. Струве, мама не написала ничего по поводу содержания его и т. п. Эмма, милая, объясните мне, стоит ли обижаться и действительно ли я остался в маминой памяти как отдаленная ассоциация идей и рефлексов или у нее есть добрая воля к активной помощи. А ламентации по поводу моего здоровья меня просто бесят. Пора понять, что я не в санатории; хотя условия сейчас очень улучшились, но подавленность настроения остается прежней, а отсюда вытекает и несопротивляемость организма. Нельзя жить без радости, она как витамин. У меня возникает иногда подозрение, что мама любит меня по инерции, что она отвыкла (по-женски) от меня, ибо довлеет днєви злоба его. Я не могу забыть, как трудно было найти тон для общения в 45 г., и своего недоумения также не могу забыть. А сейчас, за последнее время, я душой чувствую какую-то пустоту, усугубленное одиночество. Ну, я думаю, Вы меня поняли и, надеюсь, ответите и уповаю — не введете меня в заблуждение сознательно. Это было бы псевдогуманно и очень дурно по существу. Пришли за письмами. Надо кончать, чтобы успеть отправить. Целую Ваши ручки, дорогая, больше не сержусь на Вас и жду ответа — L.

Тут у Вас один омский поэт¹ делал доклад о съезде. Я задал ему вопрос о маме. Он сказал, что она «в творческом подъеме» и что к ней приезжали английские студенты справляться о здоровье.² А я об ней знаю только, что ей нравятся корейские стихи XVII в.³ и «что она ходит платить за телефон». Даже о материальном ее положении я ничего не знаю. Согласитесь, что это жестоковато, а мне и без того кисло.

Жду ответа — L.

¹ Это был Сергей Павлович Залыгин.

² См. письмо А. А. Ахматовой к сыну от 27 марта 1955 г. — Звезда, 1994. № 4, с. 180.

³ Ахматова делилась с сыном подробностями своей жизни, в частности, сообщала о своих переводах из корейских поэтов. См.: Корейская классическая поэзия. Перевод А. Ахматовой. М.: ГИХЛ. 1956.

25 марта 1955 г.

Эмма, дорогая, простите меня, что я немножко сердился на Вас. Я был полностью неправ, а Вы поступили как надо. Пускай она поплачет, ей ничего не значит.¹

Да, Вы правы², у мамы старческий маразм и распадение личности; но мне от этого не только не легче, но наипаче тяжелее. Начну с конца. Вы пишете, что не мама виновница моей судьбы. А кто же? Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы, при всем остальном, процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, каких множество. Сама мама великолепно знает мою жизнь и то, что единственным поводом для опалы моей было родство с ней. Я понимаю, что она первое время боялась вздохнуть, но теперь спасти меня, доказывать мою невиновность — это ее обязанность; пренебрежение этой обязанностью — преступление. Вы пишете, что она бессильна. Не верю. Будучи делегатом съезда, она могла подойти к члену ЦК и объяснить, что у нее невинно осужденный сын. Что толку писать заявления по инстанции. В моем деле лобой чиновник не возьмет на себя решения, а попытается спихнуть дело с себя, и формальный отказ неизбежен.

Я писал маме об этом осенью. Она как будто поняла, но бесполезно.

Спасти меня можно только одним способом: добиться того, чтобы член Правительства или ЦК обратил на меня внимание и пересмотрел дело без предвзятостей мысаи. Я этого отсюда не могу добиться и вообще ничего не могу, а она не только могла, но и должна была. Сумела же она спасти мужа в 1935 г.

В чем дело, я понимаю. Мама как натура поэтическая, страшно ленива и эгоистична, несмотря на транжирство. Ей *лень думать* о неприятных вещах и о том, что надо сделать какое-то усилие. Она очень бережет себя и не желает расстраиваться. Поэтому она так инертна во всем, что касается меня. Но это фатально, т. к. ни один нормальный человек не в состоянии поверить, что матери наплевать на гибель сына. А для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная — сыночка потеряла, и только. Но совесть она хочет держать в покое, отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма, без ответов на заданные вопросы. Зачем она вводит в заблуждение себя и других: я великолепно понимаю, что посылки из ее заработка, вернее, из тех денег, которые ей дает Правительство. Не надо быть наивным — ее бюджет расщитан и у четен при этом. Поэтому, если говорить о справедливости, то она должна присылать мне 1/2 заработка. Но теперь, действительно, мне не хочется питаться объедками с господского стола. Не кормить меня она должна, а обязана передо мной и Родиной добиться моей реабилитации — иначе она потакает вредительству, жертвой которого я оказался.

Неужели она этого не понимает?! Странно.

В тяжелое время³, когда мы оба голодали, я ухаживал за ней во время шести ее болезней. Я не знал отдыха, я отказывал себе во всем. И, при этом, я стремился ввести ее обратно в жизнь, уговаривал не поддаваться горю и работать для Советской Литературы, как я сам всю жизнь работаю для Советского Востоковедения. Делал я это тактично, не задевая ее больного места. Но теперь, в дни ее благоденствия, которое я имею право разделять, если она не понимает своего долга — как мне к этому отнестись?

Ее поведение могло быть оправдано только в том случае, если бы я сам был причиной своей беды. Но этого не было. Признаюсь, я отчасти предполагал, что она может быть легкомысленна, ибо я ее характер знаю. Но действительность превзошла мои ожидания и опасения. Да, ее сон в руку.⁴ Тать[яна] Ал[ександровна] старая дама, которая влюбилась в меня и видимо, бескорыстно. Близости у нас не было, с моей стороны было только дружеское расположение. Но она мне писала теплые слова и посылки сала, как Вы. Эмма милая, дорогая, как бы я хотел расцеловать Ваши руки и Вас, но вряд ли это будет. Напишу о здоровье моем как есть. Моя нервная система от перенапряжения расстроена как будто необратимо. У меня иногда отказывает сердце, и я ложусь в обморок, как будто без причины. Желудок работает столь вяло, что образовалась язва 12-типерстной кишки. Операцию сделать отказались, лечили подсадками, паллиативно. Я надорвался при подьеме тяжести не слишком тяжелой — значит, отказывает мускулатура. Все вместе значит, что максимум, через полгода я потеряю работоспособность и мне будет еще хуже — я не смогу заниматься историей, которая одна меня держит. Тогда возвращение мне будет не нужно.

Еще одно — приезд мамы ко мне и хоть немного душевного тепла, конечно, поддержали бы меня, дали бы стимул к жизни. Но я думал, что она по-прежнему стеснена в деньгах и пожертвовал собой. Поездка в Омск не тяжелее поездки в Ленинград, а имея деньги, можно было прилететь. Но теперь это непоправимо — пусть ее судит собственная совесть.

Что будет дальше?.. По-видимому, я тихо скачусь в инвалидность и смерть, которая меня не пугает. Жаль только, что мой научный талант уже развился и теперь мне бы давать и давать нашей науке как раз то, что наиболее актуально, — общее востоковедение, введение в предмет, без которого любая работа неполноценна. Так неполноценны переводы Цюю Юаня,⁵ поэта гениального, непревзойденного. Чтобы понять его, переводчику нужно знать историю Китая, а не только язык; исторический же талант так же редок, как поэтический. Я прилагаю к письму записку, которую, *прочтя*, переправьте, пожалуйста, по адресу, либо в руки, либо по городской почте.⁶ Эмма, милая, родная, спасибо Вам. В эти 5 лет неведение, молчание, пустые письма были для меня самым тяжелым, более тяжелым, чем все остальное. Теперь мне легче.

Пожалуй, нечего затягивать мою агонию посылками. Еще раз целую Вас, милая — L.

¹ Заключительные строки «Завещания» М. Ю. Лермонтова 1840 года:

Пускай она поплачет...

Ей ничего не значит!

² Ни о старческом маразме, ни о распадении личности Ахматовой я, конечно, не писала, но упомянула о некоторых возрастных изменениях в ее психике.

³ Т. е. в 1946—1949 годах, после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».

⁴ Я описывала ревнивый сон Анны Андреевны по отношению к сослуживице Левы по Государственному Этнографическому музею, Татьяне Александровне Крюковой (1906—1978).

⁵ Цюй Юань (ок. 340 — 278 гг. до н. э.) — первый известный по имени китайский поэт. Речь идет о его сборнике «Стихи» (М.: Гослитиздат, 1954), в который вошли поэмы «Лисао» («Скорбь отверженного») и «Призывание» в переводе А. А. Ахматовой.

⁶ Лева прислал наивную и грубую записку Виктору Ефимовичу Ардову, начинавшуюся смешной и нелепой фразой: «Что я Вам сделал плохого? <...>» Я воспользовалась данным мне правом и уничтожила записку.

3 апреля 1955

Милая Эмма

я опять в больнице. Чувствую себя очень плохо. Сердечно-сосудистая недостаточность. Куда-то проваливаюсь и опять выплываю. Иногда сам, иногда колют. Заниматься не могу. Маме я, конечно, ничего неприятного не писал. Зачем портить Ваши с ней отношения? Но странно — у нее совсем нет воображения и внимания ко мне, поэтому она сама себя считает ангелом, а мне кажется, что ее отношение более чем жестоко. Это письмо не для нее, а для Вас. Но Вы ей на словах говорите, что найдете нужным. Впрочем, теперь как будто все равно, за последнюю неделю марта я надорвался нервно, к счастью, не психически и чувствую, что пойду на спал. Да и сколько можно?

Я задаю маме вопросы — она отвечает невпопад, и я же выхожу виноватым. Она не понимает, что ее невнимание оскорбительно, напр., вместо просимой мной книги прислать другую, дорогую, но ненужную; лучше уж ничего не присылать, я думал бы, что у нее денег нет. Вообще все так горько, что жить не хочется. Не думайте, что Ваше письмо тому причиной. Я историк и умею читать подтекст. Я уже раньше заметил, что что-то неблагополучно и только тогда написал Вам. Да со всех сторон пишут по-разному одно и то же, теперь картина почти полная и безотрадная. Я не думаю, чтобы обращение Вас. Вас. имело успех.¹ Что ни читаешь — все так безграмотно, все похоже на науку так, как деревянная колбаса в витрине магазина на настоящую. И до сих пор это удивляло, т.к. никто, кроме настоящих специалистов, не может отличить подлинной вещи от подделки, а их-то и не спрашивают. Результаты этого будут, конечно, самые печальные, м. б, трагичные, но не скоро, а историю привыкли не считать за дело сегодняшнего дня — им поближе хочется... Именно поэтому они наденут на первого попавшегося типа шляпу, дадут ему портфель и объявят специалистом по истории Востока, и внешне все будет благополучно. Единственный выход был бы, если бы мама лично обратилась, но она этого не сделала. Вы пишете, что она обо мне думает всегда, но что она думает? Ох тошно мне.

Мама писала мне, что едет в Москву с рукописью: вероятно, она пробудет опять долго и поэтому я напишу ей маленькое деловое письмо и вложу Вам в конверт для передачи. Полагаю, что сие Вам будет не трудно, а м. б, приятно порадовать ее. Ведь Вы все равно встречаетесь. А Вы оценили мой такт — записку В. А.² я послал Вам, чтобы Вы могли, при желании, ее задержать или

¹ Может быть, с переменной министра это изменится, но до сих пор было так. — *Примеч.*
А. Н. Гумилева.

бросить в ящик. Милая Эмма, я не собираюсь портить Вам остатки отношений с этими людьми. Я так Вам благодарен, как до сих пор еще никогда не был и целую Ваши ручки, дорогая

Leon

Письмо для мамы прочтите, секретов там нет. Убедитесь, что я отнюдь не «резок», наоборот, обхожу острые углы. Вот этим я, наверно, ее избаловал — и плачусь за это. Если бы раньше больше скандалил, она бы знала, что обидно, что нет.

Еще раз целую — L.

¹ О ходатайствах академика Василия Васильевича Струве (1889—1965) Лев знал из моих писем, а также из письма А. А. Ахматовой от 25 марта 1955 года. См. «Звезда», 1994. № 4, С. 180—181.

² В. Е. Ардову. См. выше примеч. к письму от 25 марта 1955 года.

2 мая 1955 г.

Милая Эмма

обижаться я на Вас не имею ни права, ни желания, ни даже возможности, ибо весь переполнен чувством благодарности и радости, что Вы такая, какая есть. Если мама «возвращается на стезю нормальной человечности», то это только Ваша заслуга. Ваше деловое письмо было для меня большой радостью, первой, пожалуй, за этот год.¹ На быстрый результат я не рассчитываю: работникам Прокуратуры спешить некуда; хорошо бы не через 2 месяца, а к концу года был результат. Я со своей стороны обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы не умереть за это время. Теперь насчет свидания: попадать ко мне надо так: с вокзала идет автобус в Захламино, остановка «5 ВСО», затем налево по дороге, очень недалеко первый поворот налево и вот я. Некоторые посетители пользуются услугами такси, это еще проще. Надо сказать, что свидание было бы для меня особо желательно из-за маминого эпистолярного стиля. Мама совершенно не понимает и не хочет понять, какая у меня возникает реакция на этот стиль. Короче говоря, я жду если не приезда, то по крайней мере отговорки — почему она не едет. А Вы можете приехать с ней, и я надеюсь, все будет благополучно и приятно. Дополнительные материалы по моему делу содержатся в Большой Сов. Энциклопедии; биографические выписки оттуда были приложены как обвиняющий меня материал.

Я только прошу Вас время от времени писать мне, ибо я все-таки человек и имею чувства, а не только живот, поглощающий посылки. Книг мне пока не надо, ибо после моей болезни я читаю с трудом и только легкую литературу. Эта болезнь была за мою жизнь самой тяжелой. Но сейчас я считаюсь выздоровевшим, понемногу работаю (посильно) и смотрю кино, которое у нас теперь часто.

Целую Ваши ручки, дорогая, искренне преданный Вам — L.

¹ Я сообщила Льву о своем посещении Главной военной прокуратуры, где мне назвали номер его дела, поступившего к ним 19 апреля 1955 года, и предложили зайти ровно через месяц, чтобы узнать о судьбе осужденного.

10.V.55

Дорогая Эмма

долго ждал я от Вас письма и пока еще нет. А мне очень интересно: решилась ли мама отправиться в путешествие ко мне или еще колеблется.¹ Стенли меньше готовился искать Ливингстона,² чем мама повидать меня. А сейчас самое удобное, в смысле погоды, время, но я ведь не знаю, есть ли у нее деньги на дорогу. Ответа на «жалобу» Струве я жду очень терпеливо, хотя мне сейчас живется хуже, чем зимой. Здоровье восстанавливается очень медленно, а работать надо очень быстро. Это несоответствие не в мою пользу, особенно, когда в организме уже нет никаких запасов и все расшатано до предела.

Я надеюсь, что вы не посетуете, что я вкладываю письмо маме в Ваш конверт, а то через Ленинград письмо до мамы дойдет с огромным опозданием и она опять будет этим недовольна. В последнем письме она высказала гипотезу, что нас кто-то ссорит. Увы — это она сама. Но мне все-таки очень хочется получить от Вас письмо, умное и деловое. Вы это хорошо можете написать. Большое Вам спасибо, дорогая, за все Ваши добрые слова. Еще много раз целую Ваши руки — L

P. S. Не успев отправить письмо, получил письмо от мамы. Все-таки без Вас не обойтись — пишите мне. Поддержите меня морально, ибо очень тяжело. Как будто надо надеяться на лучшее, но время тянется невероятно медленно. Целую Вас, милая, спасибо Вам — L

Если будете собирать мне посылку, то прошу, купите мне парикмахерский пульверизатор, цена 7 р. 50 к. Он мне нужен. L.

¹ Собираясь в мае 1955 г. ехать на свидание с сыном (по ее просьбе я должна была ее сопровождать), Ахматова подверглась такому натиску противников этой поездки, что совершенно растерялась. Одним из главных доводов Пуниных, Ардовых и окружающих их лиц были выдуманные примеры скоропостижной смерти заключенного от волнения встречи. Подробнее я говорю об этом в своих воспоминаниях, готовящихся к печати. Кто был истинным инициатором и руководителем этой организованной кампании, очевидно, можно будет выяснить лишь при открытии соответствующих исторических документов.

² Генри Мортон Стэнли (1841—1904) — американский исследователь Африки, по профессии журналист, вместе с известным английским ученым, путешественником и писателем Дэвидом Ливингстоном (1813—1873) изучал африканское озеро Танганьика. В 1871—1872 гг. участвовал в поисках пропавшего без вести Ливингстона.

13 мая 1955 г. (телеграмма¹)

ВЧЕРА ОТПРАВИЛ ВТОРОЕ ПИСЬМО ВАШЕЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮСЬ ЖДУ ИЗВЕСТИЙ СВИДАНИЯ ЛЮБЛЮ ЦЕЛЮЮ ЛЕВА

¹ Обеспокоенная длительным молчанием Льва, я послала ему телеграмму до получения двух последних писем.

26 мая 55

Дорогая, милая Эмма

могу сообщить Вам, что я опять в больнице. Мои болезни, сердце и живот обострились; но надеюсь, что долго не проваляюсь. Погода у нас роскошная, знойное, прекрасное лето, но настроение печальное, ибо нам, жертвам Берии и Абакумова, слишком долго приходится ждать крупницы внимания и я мало надеюсь дожить до счастливого конца. Уж очень шалит сердце. Скорее всего я буду реабилитирован посмертно. Вы спрашиваете мое мнение об Ирке. Нина лучше, искреннее. Ирка — пиявка, которая цацкается с мамой до тех пор, пока есть, что сосать. Подлая пунинская порода. Опыт тому уже был, на моих глазах. Меня не особенно удивило сообщение о неприезде, хотя мама могла бы сама известить меня. Суть дела, конечно, не изменилась бы, но было бы приличнее. Но в конце концов ей виднее.

Я только одного не могу понять: неужели она полагает, что при всем ее отношении и поведении, за последнее время достаточно обнаружившимся, между мной и ей могут сохраниться родственные чувства, т. е. с моей стороны. Неужели добрые друзья ей настолько вылизывают зад, что она воображает себя непогрешимой всерьез. В письме от 17.V она пишет, что ей без моих писем «скучно» — но я их пишу не для того, чтобы ее развлекать, для этого есть кино. Там же спрашивает, «можно ли присылать денег больше 100 р.», — это она может узнать и в Москве, но она, видимо, хочет, чтобы я кланялся подачку; так я не буду.

Я уполномочиваю Вас передать на словах все, что Вы найдете нужным, а сам больше писать ей не буду, ибо даже когда я объясня ей, чем я недоволен, она либо не понимала, либо делала вид, что не понимает. Хватит.

Меня очень огорчило Ваше упоминание «перекрытия». Ведь это относится только к осужденным судом. А что же нам, грешным, без матернала, без показаний, даже без состава преступления?! Нашего брата почти не тревожат добрыми вестями. Только те, у кого был сильный блат, ухитрялись добиться пересмотра, но тут уж всегда с положительным результатом. Я написал своему боевому командиру, ныне министру, просьбу заступиться за меня, но судьба письма мне неизвестна. Посему-то болезни, я пребываю в пессимизме и даже вызвал осуждение начальства, которое предпочитает видеть оптимизм. Однако результат ходатайства академика меня интересует, и прошу Вас держать меня в курсе событий.

Целую Вас, моя дорогая.

Нет слов, чтобы выразить Вам мою благодарность за Ваши заботы и искренность — L

9 июня 1955 г.

Милая Эмма

я долго ждал письма от Вас и заждался. Конечно, есть много причин, задерживающих ответ, и я не в претензии, но все-таки очень жду вестей.

Получил я от мамы 3 открытки, на которые долго не мог ответить, так они меня расстроили. Так пишут отдыхающим на южном берегу Крыма, что она, в конце концов, думает?! Я это время пролежал в больнице, сердце и желудок объединили свои усилия, но сегодня выписан и послезавтра иду на работу. Письмо маме вкладываю в конверт к Вам и прошу Вас ей передать.

За это время произошло следующее событие. В прошлом году я подал прокурору по надзору заявление, точнее, жалобу, ибо подавали все, и забыл об этом. В апреле я вспомнил и послал ему напоминание; в ответ получил извещение, что и прошлого года жалоба и нынешнее напоминание ушли в Прокуратуру СССР. Когда Вы найдете время пойти в Прокуратуру, учтите и это обстоятельство, т. е. что мои личные объяснения уже там и нет причин для оттяжки разбора дела.

Неважно мое здоровье, и я опасаясь, что реабилитация может оказаться посмертной. Ведь теперь даже инвалидность не спасает от физического труда. Хотя его называют легким, никто из Ваших знакомых никогда в жизни не делал и в половину столь трудного.

Я сомневаюсь, можно ли говорить: «умственная работа» или это нонсенс. У нас «умственных» называют «придурки» без оскорбительного оттенка, отличая их от «работяг». Это совершенно разные вещи и терминологическое различие необходимо. Раньше, когда люди лучше владели русским языком, терминов было больше: напр. «нести службу» — для солдат, «служить» — для чиновников, «сочинять» — для творческой работы и т. д. А сейчас журналист, диктующий стенографистке очерк, думает, что он «работает». Такую «работу» я бы всю жизнь делал, и сейчас, когда я достаю хорошую книгу и конспектирую ее, я считаю это не за работу, а за счастье. Хорошо бы мне дали что-нибудь посылное, ибо я еще не восстановил полностью силы. Да и восстановлю ли?! Напишите мне, дорогая, как и что там. Мне уже нестерпимо ожидание, да и должен быть, наконец, предел.

Отказ так отказ, а пересмотр так пересмотр. Надеюсь получить ответ в 20-тых числах июня. До этого времени возьму себя в руки и постараюсь не свалиться. Целую Ваши ручки, моя милая, — Леон

12 июня 55 г.

Милая Эммочка

получив Ваши два письма, я еще больше расстроился. Конечно, я сразу же напишу маме¹, только авиапочтой послать не могу, ибо нет ни марок, ни денег, а только последние 2 конверта. Одно письмо пошло в Л-а, а другое через Вас, как прежние.

Пусть моя горечь остается при мне, а маму расстраивать не буду; это верно, что она совсем меня не понимает² и не чувствует, а только томится; сие я усмотрел из последней ее открытки. Все это вместе вроде античной трагедии: ничего нельзя исправить и даже объяснить. Кстати, эта мамина система неотвечая и есть причина крайнего ухудшения моего морального, а как следствие — физического состояния. Ну, к примеру: я спрашиваю, жива ли моя любовница, а получаю письмо с описанием весенней листвы. Ну, на черта мне листва?! Вспомните или прочтите статью Достоевского о поэзии, там так о Фете³... см. Но считаться обидами бесполезно и вредно. Лучше постараться об этом забыть, чтобы не свалиться до конца разбора дела. Удивительно, как настроение сильно влияет на физиологию. Теперь деловые ответы на вопросы.

Масла не надо, ибо жарко и оно горкнет. Из жирного лучше всего колбаса, яичный порошок и т. п. Здесь диеты не наладить. Очень желанны кофе и чай, но не какао, я его терпеть не могу. Конфеты — дешевые — вполне могут заменить сахар. Но проще всего деньги, ибо сейчас можно многое купить и даже пообедать за 2 р., и хлопот меньше.

О Н. В. мама все перепутала, а Вы, конечно, тоже.⁴ У этой милой дамы есть свой принцип: неверность всем любовникам. Ну, раз так, что же с нее спрашивать, да и отношение к ней возникает соответствующее. Но обижать ее тоже незачем, кто из нас без греха и каждый может быть таким, каким хочет. Короче говоря, это не проблема и совершенно не следовало ее запутывать. Но теперь это уже не актуально.

Мне советуют снова подать заявление-жалобу в Высшие Парт. инстанции с указанием моей профессии и ее значения. Действительно, тема отношений Китая с соседями — тема актуальная, но стоит ли сейчас повторять то, что писал Вас. Вас. гораздо бледнее, чем он. Если да, прошу Вас телеграфировать мне. Содержание же юридическое изложено в жалобе еще в 54 г., пересланной в Прокуратуру СССР, на которую еще нет ответа.⁵ Да откуда вдруг выплыла моя работа о тибетской пиктографии?⁶ Правда, это была из удачных, но для меня это уже пережитый этап, мне кажется, что сейчас я значительно усовершенствовался. Но, увы, сейчас нет даже минимальных условий для занятий, даже тех, что были раньше. Хотя я законченный инвалид, но работаю физическую работу, которая почему-то считается легкой. Я, по мере сил, взял себя в руки и постараюсь не свалиться, пока не будет ответа из Прокуратуры, но удастся ли мне это — не знаю. Пожалуй, мне еще ни разу не было так трудно и тяжело, как теперь. Раньше я был, по крайней мере, здоров. К предыдущему письму я приложил письмо маме в довольно резком тоне. Возможно, Вы его не передали, из-за тона, разумеется. Поэтому я повторю его частично, о даосизме и переводах и т. п.

Очень, очень благодарен Вам за заботу, внимание, и, главное, искренность. Целую Вас, дорогая моя, — Леоп

P.S. А пульверизатор очень нужен. Я тогда всегда буду чисто выбрит. L

¹ Я сообщала Леопе о тяжелом болезненном состоянии А. А. Ахматовой.

² Я писала не об этом, а рассказывала о горечи Анны Андреевны по поводу внутреннего разрыва, произошедшего между нею и Леопой. «Ведь раньше мы всегда понимали друг друга с полуслова», — жаловалась она.

³ См. статью Ф. М. Достоевского 1861 года «Г-н -бов и вопрос об искусстве», в которой высмеивается стихотворение А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» как образец «чистого искусства». — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30-ти томах. Л.: Наука, 1978, т. XVIII. с. 75—76.

⁴ Наталья Васильевна Варбанец (1916—1987) — сотрудница Отдела редкой книги Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

⁵ После смерти Сталина, как и все невинно осужденные, Л. Н. Гумилев послал жалобу в Прокуратуру и другие инстанции.

⁶ А. А. Ахматова привезла из Ленинграда оттиск одной из немногих напечатанных в то время работ Леопы. Статья о тибетской пиктографии мне очень понравилась, и я написала Леопе об этом.

26.VI.1955

Дорогая, милая Эмма

Получил я Ваше коротенькое письмо и до чего кстати. Ведь гораздо легче мне прочесть хоть два слова, чем ничего. Но я с нетерпением жду результата, каков бы он ни был. Не вздумайте, ради Бога, утаивать от меня что-либо, потому что плохого утаить невозможно, а можно только временно задурить мне голову молчанием, как это было прошлый год. Это было очень плохо. Я хожу на работу, которая для здорового, молодого рабочего обычна; т. е. не легка и не особенно тяжела. Мои болезни в прежнем состоянии, но я не хочу, без крайности, ложиться в больницу. Уж очень там скучно. Пока тянусь и буду тянуться, но меня удивляют отговорки и оттяжки. По сути дела, для этого нет оснований, ибо все содержание дела, вместе с поводом для кассации, изложено на 2-х страницах. Кроме того, есть моя жалоба, отосланная туда уже год, где тоже все ясно.

Как Вы легко можете представить, мне, кроме Прокуратуры, ничего на ум нейдет. Короче говоря, я держусь на нервах и прошу Вас сразу же известить меня о результате, чтобы не тянуться зря. Обе посылки, с маслом и без масла, я получил и сейчас живу хорошо. Третья будет мне выдана в среду, и я ума не приложу — почему вдруг третья. Конечно, это приятно, как всякий подарок.

Погода у нас неважная: то очень жарко, то пыльный вихрь. Прошлый год лето было мягче. У нас часто показывают кино и часто очень хорошие картины. Я кино не пропускаю — оно очень успокаивает нервы. Маме я написал и в Ленинград, но, не зная, где она, теперь на всякий случай пишу для нее страничку и прошу Вас ей ее передать, разумеется, если она в Москве. Целую Ваши ручки и Вас, дорогая, искренне Ваш — L

8 июля 55 г.

Дорогая Эмма

обратите внимание на небольшое изменение в адресе. Все остальное остается пока по-прежнему. Очень благодарю Вас за последнее письмо, несмотря на отсутствие в нем утешительных или огорчительных известий. Я понимаю, что нужно ждать, но сколько можно? Опыт показывает, что единственный способ продвижения аналогичных дел — хлопоты родных. Примеров тому тьма. Конечно, я понимаю, что это не в Ваших силах, но мамина пассивность может быть фатальна. Полагаю, что без подталкивания сия телега с места не сдвинется. Я сам написал напоминание, но бумага не заменяет живой речи. Пишите, даже если ничего нет. Молчание хуже.

Целую Вас — Leon

14.VII.55

Милая Эмма

больше двух недель я не получаю писем, но приписываю сие отнюдь не тому, что Вы меня забыли, а перемене адреса. Напишите по новому. Жду. Очень благодарен Вам за пульверизатор, благодаря ему я стал чисто выбритым и часто. Перестав получать письма, я как-то оторвался от ожидания результата пересмотра и снова впал в ровную мрачность. Надеюсь, за это время все-таки что-нибудь да сдвинулось с мертвой точки. По поводу Вашего приезда¹ — да поймите, Вас просто не пустят ко мне. Свидание дают только родным и зарегистрированным женам. Ваши сомнения и мысль о Птице² просто ни к чему — не в этом дело. Напишите, пожалуйста. Я живу по-прежнему и пока не в больнице. Целую Вас, дорогая, — Leon

¹ Я настаивала на личном свидании с Л. Н. Гумилевым из-за отсутствия необходимых сведений о существо его дела.

² Н. В. Варбанец. Меня смущало ее вмешательство в Левино дело.

21 VII. 1955 г.

Дорогая Эмма

получив милое письмо, я отвечаю немедленно, так же, как ответила на большое и очень интересное письмо. Сейчас я чувствую себя, пожалуй, чем-то лучше. Прошла бессонница, изнурившая меня почти год, и вернулся аппетит, так что посылка будет весьма кстати.

Понемногу занимаюсь, причем результаты еще неосязательны, но многообещающи. Если выживу и вернусь — будет чем похвалиться. Психа, как видите, прошла или проходит. В Прок<уратуру> я послал «напоминание», а после Вашего след. письма закачу еще жалобу в «Бюро жалоб», если надобность в этом не минет. Очень, очень благодарю Вас за заботу и за письмецо. С ними легче. Целую крепко Ваши руки и Вас

Leon

24 июля 1955

Милая Эмма

по-видимому, я был, к сожалению, прав. Не нравится мне эта затыжка, ох, не нравится. Опыт показывает, что без толчка нет движения, а толкать не в Ваши силы. Нормальная затыжка — это когда дело ждет своей очереди, а дождавшись — надо двигаться. Я буду писать еще, но бумажка не живая речь. Поймите: с самой весны все шло ненормально, но Вы не умели этого видеть. В свое время не хватило одного маленького усилия и вот все покатилося не по тому руслу. Надеяться, конечно, еще можно, но стоит ли? Лучше пишите все как есть. Посылки пришли — я сегодня вечером их получу и буду с остервенением пожирать. Погода у нас тоже хорошая, и очень много красивых цветов. Я пока скриплю и пытаюсь отвлечь себя от тоски хуннами и древним Китаем. Иногда получается, а иногда нет. Маме передайте привет, она мне долго не писала. Целую и благодарен за все — Ваш Leon

27.VII.55

Эмма — Вы солнце и прелесть, даже со всеми Вашими эмоциями и неверными ассоциациями. Получив «ботаническое» письмо¹, я сначала очень расстроился и огорчился, но потом понял, что оно результат настроения. А орнитологические темы сейчас не актуальны — наверно, Вы сами это уже поняли. Получив письмо от 21.VII, я стал счастлив. Ник<олай> Иосифович² — это такой человек, перед коим мне не зазорно и на пузо лечь. Это титан востоковедения, и его мнение о моих работах — такая награда, что лучше и быть не может. Что мама вышла из статуса пассивности — это тоже счастье. Я так хочу на нее не сердиться, что рад малейшему поводу к тому. Сообщите телеграфно, писать ли еще жалобу в Совет Министров или обойдется без этого? Часть Ваших писем до меня не дошла еще в связи с переменной адреса; отсюда асинхронность переписки, но это ничего. Ваши письма меня очень поддерживают, а мне сейчас это нужно. Целую и благодарю милая, хорошая, умная Эмма.

Leon

Марки пропали; деньги еще не пришли.

¹ Так Лева назвал мое иносказательное письмо к нему о поездке Анны Андреевны к М. А. Шолохову и о его согласии принять участие в деле ее сына. См. подробнее: Герштейн Э. Мемуары и факты. (Об освобождении Льва Гумилева) // Горизонт. М., 1989. № 6, с. 59-64.

² Академик Н. И. Конрад (1891—1970).

30 VII 1955

Милая, чудная Эмма

Пришли: Ваше письмо, две вкусных посылки и 200 р. денег от мамы. Все это очень приятно, но то, что Прокуратура задерживает разбор — очень неприятно. Ваши надежды, по-моему, недоста-

точно обоснованы. Во мне сейчас не нетерпение, а опыт. Затяжка дела не в пользу нам. Боюсь, что если не нажать на них — результата не будет.

Я написал жалобу в Бюро жалоб при Совете министров, но мой писк из Сибири в Москве не слышен. И эту жалобу могут подшить к делу, тем все и кончится.

Я не хочу давать советов, не хочу нагружать никого, даже маму, своей горечью и болью, но если не помочь мне сейчас — дальше уже незачем будет помогать. Когда кончится общий пересмотр — для меня исключений делать не будут. Надо было маме на съезде обратить внимание на мою телеграмму, а что сейчас делать, я просто не могу представить. Но надеяться — самое последнее дело. Очень порадовал меня отзыв о моих работах Ник. Иос. Конрада. Я его очень уважаю как ученого. Кажется, он тоже очень хороший человек. «Всеобщая история» это дело для меня, так сказать, по моему профилю.¹

Постарайтесь, пожалуйста, довести до него следующее. Я написал здесь работу: «Древняя история Центральной Азии в связи с историей сопредельных стран»; охвачена почти вся Азия, кроме Переднего Востока, Индии, Индо-Китая и Японии. Доведена она до X в. н. э. Работа не совсем закончена, т. к. у меня не хватало иностранной литературы, но, я знаю, прибавка ее не изменит ничего в принципе, а только даст уточнения. Уже написано ок. 20 печ. листов и составлено несколько истор. карт. Качество работы выше, чем диссертация, т. к. я писал не торопясь, по нескольку раз переписывал, да и сам за это время не поглупел, а поумнел. Для «Всеобщей истории» этот текст придется не дополнять, а сокращать, и тут не 2 главы, а целый раздел.

Мало этого: эпоха Чингис-хана еще не была научно описана. Там есть большие сложности, о которых я знаю и знаю, как найти выход. Если мне будет сделан заказ, *вполне официально*, я сумею его выполнить. Я не хвастаюсь, это слишком серьезно. Для этого необходимо, чтобы меня поставили в те условия, в которые ставят изобретателей — так жить можно и можно ждать результата пересмотра.

Ради Бога отнеситесь к этому письму серьезно: поговорите с Конрадом и напишите мне о результате разговора.

Я сейчас живу хорошо, но у нас все держится на соплях и соответственно быстро меняется. Вот каков я был недавно, когда болел.² Сейчас мне лучше: сплю как сурок и жру пищу как удав. Нервам лужу, но пузо болит. Лечат.

Целую Вас, моя исключительная, Леоп

По поводу мамы: я старался и стараюсь не писать ей ничего волнующего, тем более обидного. Больше всего на свете хочу не иметь повода на нее обижаться, не хочу ее излишне затруднять,.. но кое-что она все-таки должна мне:

1) Отвечать на мои вопросы, чего она либо совсем не делает, либо делает так, что ответ не ответ.

2) Проявлять обо мне официальную заботу — заявлять о моей невинности. Это условие, без которого нельзя.

3) Немного родственного внимания, разве это невыполнимо?

Еще раз целую Вас, Леоп

Марки для авиапочты нашлись.

Л.

¹ Н. И. Конрад хотел уже сейчас привлечь Льва к работе над многотомной «Всемирной историей». В 1955 году осуществить это не удалось.

² В письмо была вложена фотография Льва в арестантском костюме.

12 августа 1955 г. (телеграмма)

ПИСЬМО ЕЩЕ ЖДУ НЕТЕРПЕНИЕМ ЗДОРОВ ИЗМЕНЕНИЙ СУДЬБЫ ПОКА НЕТ ПОСЫЛКУ ШЛИТЕ ЦЕЛУЮ ЛЕВА

13 авг. 55 г.

Милая дорогая Эмма

наконец-то Ваше письмо дошло до моих рук. Это ж не письмо, а фейерверк приятностей.

Самое приятное то, что наконец поставлен срок пересмотра, который, будем надеяться, реален. Вероятно, я все-таки недаром послал в «Бюро жалоб» просьбу напомнить Прокуратуре о себе. А может быть, они сами усовестились.

Очень лобезно со стороны полковника утверждать, что «никому не нужно, чтобы ученый работал на физической работе». Однако здесь иной подход — ну будем надеяться, что из маминого заявления никаких бед или осложнений для меня не воспоследует. Что же касается обратного адреса, то просто по рассеянности я поставил старый адрес, который также годен как новый, обычный. Из чего такой переполох?! Но это все пустяки — самое главное, что дело должно, наконец, решиться и пусть будет, что будет. Я сейчас нахожусь в положении, которое считается всеми, а мною в том числе, наилучшим из возможных. Я инваид и помогаю составлять каталог библиотеки. Дело тихое, покойное. Ни с кем не сталкиваюсь, сижу в углу целыми днями и пишу, а вечером вылезая в чудесный цветник с «индийской философией», которая мне очень любопытна, или с персидской книжкой, и наслаждаюсь цветами красноречия и цветами на клумбах. Иногда приходит кот, у нас их очень много, и все любят ласкаться и мурлыкать, и лезет на колени, требуя внимания к себе. Все остальное проходит мимо меня, как тени, не задевая. Так, как я сейчас живу, — жить можно, и я не стал бы хныкать; но такая жизнь началась у меня недавно, а в будущее мы здесь не заглядываем. А «ботаническое» письмо я понял вполне правильно и как жанр и как стиль; потому и не обиделся. Но вижу — мне очень надо домой, ибо там теперь жить можно, и, видимо, неплохо.

Письмо уйдет только 15-го — в понедельник, поэтому делаю перерыв и пользуюсь случаем расцеловать Ваши ручки и Вас.

14 авг. 1955

Очень тихо. Все ушли в кино, а я эту картину видел — Маскарад — по Лермонтову и пользуюсь случаем побыть в тишине и написать продолжение письма. Самое приятное — это то, что мама проявила активность в отношении меня. Мне очень хочется на нее не обижаться и, если нельзя не иметь к тому повода, то, по крайней мере, чтобы можно было найти оправдания. Пусть будет паскудной судьба, а мама хорошей, так лучше, чем наоборот.

Перспектива сменить пребывание в консервной банке на человеческое существование не могла, конечно, не взволновать меня. Но я продолжаю запрещать себе мечтать о будущем

- а) потому что все будет не так, как я смогу вообразить при самой пылкой фантазии
- б) чтобы не выходить из ровного настроения, которое одно позволяет здесь жить
- в) чтобы не отвлекаться от работы, которую я продолжаю и совершенствую.

Удивительно даже, как много можно сделать в науке, если сосредоточить внимание на двух-трех летописях. А то мы разбрасываемся по библиографии; много хватаем, но мало удерживаем. Но мне очень хочется, чтобы мой труд не пропал для науки, ибо, благодаря вынужденному способу работы, я вник в такие детали, которые обычно проходят незамеченными. Поэтому мое сочинение неповторимо. Для окончания его мне не хватает литературы, но на воле это дело нескольких месяцев; а если это поручить даже очень толковому редактору — займет не меньше года, т. к. ему надо входить в материал и тему. Вот почему я, лично, был бы нужен для «Всеобщей истории». Кино кончилось, и идет народ; кончаю письмо. Целую Вас, дорогая, — Леон

¹ По моему совету А. А. Ахматова написала прошение в ГУЛАГ об освобождении Левы от тяжелой физической работы, не зная о том, что Лев в это время составлял каталог лагерной библиотеки.

21 авг. 55 г.

Милая моя Эмма

я очень виноват, ибо задержал ответ на целых 4 дня. Ваша приписка меня очень обрадовала и успокоила. Так быстро и должно идти, раз началось. Медленного течения дела не может быть; в таком случае оно просто лежит в папке.

Спокоен я сейчас так, что даже сам удивляюсь. За несколько дней, ну за две недели, я пополнил и принимаю человеческий облик. Занимаюсь историей и персидским языком в полное напряжение и самое главное — не сержусь больше на маму. Я, конечно, понимаю, что Вы провели среди нее разъяснительную работу, но я сердцем, издали, почувствовал, что теперь дело направилось. Результат жду с завидным терпением, но надеюсь в начале сентября получить от Вас весточку, в которой будет уже нечто осязательное. Обычно, благоприятное решение идет до нас около 2-х месяцев. Быть эти месяцы в покойном состоянии — очень хорошо. Наши письма стали сухими и деловыми, и это правильно. В напряженные моменты жизни у меня исчезает всякая лирика, для нее хватит времени и места после результата. Целую Ваши ручки, дорогая, я просто не в силах словами описать чувство благодарности, которое чувствую, — L

10.IX.55 г.

Наконец-то!!!

Я с нетерпением ждал Ваше письмо и наконец получил. Удовлетворен. Милая, замечательная, хорошая Эмма, сколько Вам трудов и хлопот. Представляю и почти ощущаю. Но теперь я набрался терпения, ибо уверен, что в следующий Ваш визит Вам опять предложат зайти через месяц или два. Конец, безусловно, будет, но трудно предвидеть срок. Одного я не понимаю: если идет серьезная работа, то как они обходятся без моего присутствия? Не то, чтоб я стремился с ними познакомиться, а все-таки... Чудно.

Я сейчас живу хорошо. Так терпеть можно. Никто меня, пока, не обижает, а я сам имею весьма покладистый характер и никого 100 лет не задену; лишь бы меня не трогали. Пишу карточки на книги и занимаюсь историей. Мама прислала 100 рублей, но почему-то не пишет. Впрочем, это с ней часто бывает. Здоровье так себе, но если не будет хуже, то в ближайшее время помирать не собираюсь. Весной было куда хуже. Вообще состояние здоровья моего всецело в руках начальства: стоит навалить на меня лом — сердце прыгает и я лечу в бездну; когда же со мной обращаются хорошо, как сейчас, например, я помаленьку работаю и не настроен хныкать.

Ваше письмо с описанием мод: «цветастых платьев» и серых костюмов с красными галстуками мне очень понравилось. У Вас просто талант к эпистолярному стилю: немногословно и четко. Новой жизни я, конечно, не мог себе представить, но разница с тем, что было стала яснее. Очевидно, что сейчас гораздо лучше, и поэтому еще больше хочется домой.

Целую Ваши ручки и Вас, дорогая, — Леон

15.IX.55

Дорогая Эмма

Дело обстоит так: 12-го сего м-ца вызвал меня прокурор на допрос и шел сей допрос с 10 ч. до 6 ч. с перерывом на обед. За один день мы с ним сделали то, что делали раньше 10 месяцев. Он все записал правильно, но в отношении срока окончания — не обнадежил. Это дело месяцев. В общем я собрался зимовать на месте. Если будет пересмотр справедливый, юридически правильный и

такой, как требует Руденко в газетах, то неблагоприятный исход исключен. Но как это медленно тянется! Интересно также, выдержит ли мое здоровье, ибо меня опять погнало на физическую работу. Получилось это в результате маминого заявления.¹ Из Москвы пришел запрос о моем здоровье. Меня перекомиссовали, и т. к. за последние полтора месяца мое здоровье улучшилось, отправили опять на работу. По здешним масштабам работа не тяжелая — таскаю опилки из-под электропилы. От такой работы не умирают, но и жить становится так неинтересно, что перестает хотеться. Когда же я передал своему начальству слова московского прокурора, «нам не нужно, чтобы ученый работал на физической работе», то получил резонный ответ: «А зачем он послал ученого в лагерь, который предназначен не для ученых, а для преступников? Если ему надо, то пусть он вас (т. е. меня) освобождает, а здесь мы с вами обходимся по инструкции».

Ну посудите сами, кто прав?

Я не понимаю, зачем проявлять нелепую инициативу в делах, о которых не имеешь ни малейшего представления. Пусть мама выполняет то, что я прошу, или не выполняет, но и не придумывает ничего сама.

Впрочем, это беда еще не очень большая и очень банальная. Плохо то, что опять прервались мои занятия историей Востока. Теперь есть надежда, что они мне могут пригодиться, а равным образом и Советской науке, хотя она не затратила на добытие мной результата ни копейки. Вот если бы интерес редакции «Всеобщей истории» получил реальное воплощение и у меня были бы затребованы рукописи, а за них переведен гонорар, с коего 50% получил бы лагерь, то мне создали бы все условия для работы, как создают изобретателю. Но сейчас, пожалуй, заводить этот разговор уже поздно, ибо пока суд да дело, ан и пересмотр закончится. Очевидно, надо терпеть еще 6 месяцев, как я терпел уже 6 лет. Только бы здоровье не лопнуло, как в прошлом году. Простите, что я наполнил письмо своими мелкими делами и заботами. Они наскучили мне самому, а не только моим друзьям. Пора кончать, и я рад, что решительный миг приближается.

Целую Ваши ручки и от всего сердца благодарю за заботу и участие
Искренне Ваш
Leon

¹ См. примеч. 1 к письму от 13 августа 1955 года.

27.IX.1955 г.

Дорогая, милая Эмма

оба Ваши письма пришли одновременно. Очень хорошие письма, бодрящие. Я очень увеселялся, читая их. Ваша пронизательность выше похвал: действительный наш цензор был болен, но мы все так хотели его выздоровления, что он, к счастью, поправился и порядок восстановлен. Прав будет мой прокурор, а не Ваш и вот почему. Даже если они там закончат пересмотр к 15 октября (действительно, сколько же можно рассматривать пустое место?), то приговор будет опротестован и передан в Верх. Суд, а там тоже очередь; затем, там меня оправдают, но определение будет плестись сюда со скоростью 1 1/2 черепах, если никакая девица-секретарша, мечтающая о свидании, не затеряет его.

А я тем временем заболел и лежу в больнице. Лечат пересадками ткани и уколами, надо думать, вылечат; сейчас уже лучше. Посылка составлена замечательно, я ее пожираю и весьма ею поддерживаюсь. В однообразном изобилии супов и каш любая вкусность — не роскошь, а психовитамин, вроде радости. Здесь, при отсутствии особых бед тютовское «однообразье нестерпимое», порождающее эмоциональный голод. Неприятности не спасают от него, а вот радость, даже самая маленькая, поднимает жизненный тонус. Посылки ценны именно в этом смысле, поэтому последняя очень удачна. А письма Ваши удивительно интересны, даже увлекательны. И насколько Вы

живее меня! Вас люди раздражают, а меня уже нет. Почти всегда для меня — это проходящие тени, как тени облаков на земле, на которые не стоит обращать внимания. Такое мое настроение проистекает не от гордости или самомнения, но от усталости. К самому себе у меня столь же наплевательское отношение. Это результат растительной жизни.

От мамы пришла открытка, в которой она горько оплакивает телефон, выключенный на месяц. Мне бы ейные заботы. Я, разумеется, ответил соболезнованием. Ну до чего все это чудно. То ли я совсем отвык от столичной жизни, то ли она успела перемениться до неузнаваемости?!

Но несмотря ни на что, у меня настроение ровное и даже спокойное: «проблески бреда» уже не «томят мой постылый покой». Это письмо придет к Вам к началу октября, а Ваш ответ, надеюсь, будет содержать интересное меня сведенье. Кстати, Прок. абсолютно не извещает меня о ходе пересмотра, что делать он обязан. Очевидно, надеется на Вас.

Целую Ваши ручки и Вас, милая Эмма, — Леон

[октябрь 1955]

Дорогая Эмма

Книги, посланные мною,¹ прошу Вас сохранить до моего возвращения, а «Древнюю Историю Серединой Азии»² прошу при мамином участии перепечатать на машинке в 4 экземплярах и хранить как докторскую диссертацию. Для переделки ее для печати будут нужны некоторые незначительные дополнения, а для защиты этого достаточно. О получении посылки сообщите мне немедленно авиаписьмом, а о диссертации упомяните в одном из придаточных предложений.

На случай моей смерти, завещаю передать оное сочинение в Академию Наук, на предмет дополнения, редактирования и опубликования, с присвоением мне докторской степени посмертно. В том виде, в каком она сейчас, «История» может быть показана проф. Конраду и, при сокращении, использована для «Всеобщей истории», что я разрешаю сделать, буде это удобно, но после перепечатки на машинке.

Милая, дорогая, неповторимая Эмма: то, что я Вам доверил, — лучшая часть меня; это как бы мой ребенок. Если будут отзывы, то пишите мне, как об рецензиях на диссертацию. Целую Вас нежно и благодарно. Я очень хорошо понимаю, чего Вам стоит такая изумительная забота о таком полусвине, как я. Поцелуйте маму.

Леон

P. S. Посылаю на Ваш адрес, ибо скорее дойдет до мамы и вообще лучше. Л.

Приложен мой психологический портрет работы одного очень талантливого и знаменитого художника. Дарю его вам, дорогая.³

Книги эти мною прочтены и выжаты досуха; бросить их жалко, а хранить и таскать с собою очень трудно. Поэтому посылаю назад.

¹ В посылке, присланной нелегально, из другого почтового отделения, с другим обратным адресом, Лева прислал книги, отобранные им в лагере.

² Под книгами лежали 30 тетрадей, в которых было переписано кем-то из «кирюх» названное сочинение. В 1960 г. оно было опубликовано под названием «Хунну».

³ Художник К. Фридрихсон в 1951 году написал в лагере портрет Л. Н. Гумилева. Хранится в моем собрании.

16.X.1955 г.

Милая, хорошая Эмма

Получил я Ваше письмо с описанием симфонии Шостаковича¹ и прочел его с большим удовольствием. Думается мне, что Вы правильно понимаете и чувствуете музыку, я наверно думал бы то же самое, если бы слышал исполнение.

Что касается Пр., то я не могу понять, чего они тянут. С получением моих показаний им все должно быть ясно, как ясно каждому, кто меня здесь встречает. Особенно забавен был последний вопрос: «Признаете ли Вы (т. е. я), что Вы критиковали постановление, и если да, то когда и как?» Вот именно: где, когда и как? За 10 месяцев следствия таких фактов не обнаружено, да и не могло быть обнаружено, т. к. их не было. То, что такой вопрос был задан, показывает, что самого состава преступления нет, ибо оно не могло совершиться вне времени и пространства. Так сколько же можно рассматривать пустое место? И это притом, что деятельность Абакумова уже разоблачена?! А ведь за решением Пр. должна быть очередь в Верх. Суд, а потом волокита с пересылкой определения. Короче говоря, я готовлюсь зимовать, а для этой цели определяюсь учеником в сапожную мастерскую: подшивать валенки.

Здоровье мое — так себе. После выписки из больницы мне предоставили двухнедельный отдых для поправки. Я это время лечился, но результаты незначительны. Завтра пойду сапожничать. Осень у нас мягкая, длинная, и это весьма положительный фактор в поддержании существования. Один из моих друзей, С. С. С.², вернулся в Москву и писал мне, что говорил с мамой по телефону. Он очень милый человек. Мы с ним вместе валялись в больнице, и мое состояние здоровья он знает.

Книг у меня скопилось такое количество, что я уже начал ими тяготиться, однако бросить жалко, и я отослал часть, уже прочтенных, на Ваш адрес, чтобы вернуть их маме.

Докторскую диссертацию я, можно, сказать, закончил. Правда, нужно было бы кое-что добавить, но это можно сделать при подготовке книги к печати. Диссертация должна показать, что защищающий способен работать, а потому неиспользование недоступной, по тем или иным причинам, литературы не может быть поставлено в вину. Это просто сокращает объем проблем, подлежащих решению, а их и без того достаточно много решено. Теперь я занят подготовкой приложения: специальной главы по исторической географии и выполнением исторических карт. Дело это очень кропотливое и трудоемкое; вряд ли я стал бы им заниматься в других условиях, но зато оно создает такой фундамент для работы, какой имел до меня один только Грумм-Гржимайло³ — отец моей специальности. Надеюсь, что после подшивания валенок драгвой я смогу найти силы для интерпретации древнекитайских и хуннских этнонимов.

Я был бы очень рад, если бы Вы с маминной помощью прислали мне несколько необходимых для дополнения работы книг.

- 1) Толстов С. П. «Древний Хорезм» или «По следам исчезнувшей цивилизации».
- 2) Окладников А. П. «История Якутии» т. 1 (печатается)
- 3) Историю Китая (пусть на франц. или англ. языке) только подробно; маленьких книг очеркового содержания не нужно.
- 4) Все что найдется по истории Парфии, Греко-Бактрии и главное: восточного Туркестана. Тут названий много; не перечислишь.
- 5) Штук 10—15 контурных карт Китая, для раскрашивания и нанесения надписей. Это обычные школьные пособия.

Пусть хоть что-нибудь; это даст мне возможность продвинуть работу, а следовательно, моральное удовлетворение, в котором я очень нуждаюсь. Посылать можно бандеролями — теперь почта хорошо налажена и былых безобразий нет.

Что же касается посылки, то и она желательно, т. к. того, что Вы присылаете, здесь нет. Вещей не нужно, они здесь только обуза, но лучше подтолкнуть Пр., чего Вы сделать не можете. М. б. сейчас нужен последний толчок.

Я очень чувствую, как много вы делаете для меня, и если мало пишу о чувствах, то главным образом потому, что запрещаю себе сантименты, ибо они загоняют меня в больницу. Я знаю, что [в] сентиментальном плане все неблагоприятно, но запрещаю себе об этом думать и отвлекаюсь наукой. Помогает, но не всегда.

Целую Ваши ручки, дорогая,
Искренне Ваш Леон

Маму поцелуйте и скажите, что я желаю ей здоровья и успеха в работе.

Л.

P. S. Я был бы счастлив, если бы сам великий Конрад Н. И. удостоил вниманием мою работу, ибо самому мне она кажется хорошей.

P. P. S. Был в кино. Видел Алешу Баталова. Он играет хорошо, а картина более чем неважная.⁴ После кино, разговаривая, высказали мнение, что если бы в картине был только Алеша с его романом, то это было бы в самый раз.

Странно, я Алешу помню 4-хлетним, а тут я его сразу узнал, хотя он не похож ни на отца, ни на мать.

Целую Вас — Л.

¹ Речь идет об одном из первых исполнений в Москве Десятой симфонии Д. Д. Шостаковича.

² Переводчик Сергей Сергеевич Серпинский был активирован по состоянию здоровья и выпущен из лагеря.

³ Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло (1860—1936) — географ, этнограф, один из крупнейших исследователей Средней и Центральной Азии.

⁴ Речь идет о фильме И. Е. Хейфеца «Дело Румянцева», в котором в 1956 г. дебютировал как киноактер Алексей Владимирович Баталов (р. 1928 г.), сын Н. А. Ольшевской Ардовой и ее второго мужа, режиссера МХАТ, Владимира Петровича Баталова.

27.X.1955

Милая Эмма

был чрезвычайно рад Вашему письму. В Прок. сходите, там должно что-нибудь быть, а мне всякая радостная весть нужна для поправки здоровья. Я работаю в сапожной, только, пожалуйста, не хлопотите больше об улучшении моего положения. Правда, все, включая начальника, видя меня там, говорят: «Ха-ха-ха», но там тепло, а это главное. Я терпеть не могу холода. Плохо только, что я устаю и не могу делать карты исторические, а так и эта работа близка к завершению. Начальство меня не прижимает, и пока жить можно, только бы не стало хуже. Когда диссертация будет уже в машинке, сообщите мне. Хорошо бы дать ее на рецензию будущим оппонентам, но мне трудно их отсюда выбрать. Мама опять ухитрилась обидеть меня, выставив моего дружка.¹ Ну зачем она это делает, но я ей писать не буду, чтобы ее не расстраивать. Целую Вас, дорогая,

Леон

¹ Очередное проявление болезненной обидчивости Л. Н. Гумилева и его друзей.

21.XI.1955

Милая Эмма

большое спасибо Вам за контурные карты. Они мне очень облегчат работу. Пойдут в дело и те и другие, но и тех и других так много, что даже столько не потребуется. Употреблю остаток для второй моей работы, касающейся средневековья, т. е. VIII—X вв. Там уже есть кое-какой исследовательский текст, около 5 п. л., но много недоделок, т. к. много материала не хватает.

С ответом очевидная задержка, он должен бы уже быть, но есть тому вполне реальное объяснение: разбираются дела подлежащих амнистии, а прочие отложены. Вот и приходится ждать, вместо того, чтобы где-нибудь отдохнуть, что очень не помешало бы. Мое здоровье опять сыграло (как говорил про

подпрыгивающее бревно на повале). Лежу в больнице. Лечусь от животной боли. Сердце тоже не дает о себе забыть: сегодня вдруг ни с того, ни с сего начало останавливаться, как в прошлом году. Откололи и отпоили. Доктора здесь очень хорошие, но лечение не может быть не паллиативным.

Я понимаю, что сейчас ничего ускорить нельзя, и тем более жаль, что начало этого процесса запоздало. Я очень спокойно жду результата, если не в декабре — это значит, что разбор прошел нормально — то к весне, что следует признать несколько затянувшимся пятым актом комедии плаща и шпаги. (Такой жанр есть.)

Книга Окладникова оказалась весьма полезной и сузила брешь в сибирском материале; то же делает книга Толстова в отношении Средней Азии, а вот по Китаю и Тибету таких книг на русском языке нет. Это мне предстоит их написать.

Мама написала очень теплое письмо на трех открытках, но все-таки вклеила пейзаж. Я начинаю думать, что у нее и к живописи были в детстве способности, но не развились.

Я очень рад, что Вы познакомились с С. С. Он очень не глуп и правильно оценивает события нашей биографии, а это то, чего отчасти Вам, а в особенности маме не хватало. Правда, страдающим персонажем был все тот же я, но надеюсь, что теперь эта серия моих неприятных ощущений прекратится, ибо она была вызвана не злой волей, а просто неумением и незнанием того, что надо и не надо.

При этом, правильное понимание не потребует никаких дополнительных усилий, наоборот, может сократить их за счет излишних. А мне очень совестно доставлять моим близким людям столько хлопот. Пусть я в этом не виноват, но все-таки вот Вы беспокоитесь из-за меня; насколько лучше было бы веселиться вместе.

Письмо это, возможно, несколько задержится, потому что в ларьке нет конвертов. Надеюсь, что скоро достану. Но Вы мне, пожалуйста, продолжайте писать; очень мне приятны Ваши письма.

Целую Ваши ручки и Вас, а о благодарности моей за Ваше внимание и заботу просто не могу подобрать слов. Искренне Ваш Leon.

24. XI. 1955 г.

Гипотеза об общей задержке пересмотра не подтверждается: ответы на жалобы поступают. Надеюсь в начале декабря получить от Вас приятное письмо и затем уже начать ждать официальное извещение. Это у нас входит в систему. Еще раз благодарю Вас за хлопоты и заботы

и целую

L

24.XI-1955 г. Ночь.

Поздно вечером мне принесли Ваши письмо к книги. Они замечательны; кажется, по северной и западной границам Хунну у меня весь подитоженный материал собран. Очень, очень удачно! Я даже такого не предполагал?! Все книги очень нужны, а то, что Вы считаете популярной — это итог науки и совсем не так уж она популярна. Танские новеллы¹ мне очень нравятся. Вообще сегодня для меня большая радость.

На днях я выпишываюсь из больницы. Возможно, что устроюсь на стабильную, приличную работу, с тем, чтобы не лихорадить в ожидании ответа из Прокуратуры. Кстати, в какой Пр-ре мое дело: Военной или СССР². Сообщите, пожалуйста, и я пошлю им напоминание. А то даже здесь, среди людей привычных ко многому, возникает удивление по поводу столь долгого и необъяснимого молчания. Почему они там делают вид, что им не понятно то, что понятно всем людям, хоть сколько-нибудь меня знающим, даже понаслышке. Что касается диссертации, то Вам там, конечно, виднее, нужно ли ее давать на рецензию или преждевременно. С помощью присланных мне книг я могу составить несколько экскурсов, которые многое дополнят и украсят. Главное — это получить ответ, который не может, не должен быть отрицательным. Ведь для этого нет буквально

никаких оснований, кроме уверенности, ни на чем не основанной, что ничего так-таки быть не могло. А ничего не было. Очевидно, это слишком парадоксально для того, чтобы в этом признаться самому себе, хотя это секрет полишинеля.

За сало благодарю. Оно хорошо пойдет, ибо я не могу есть капусту и могу, но не в силах поглощать манную кашу. Сколько же можно?

Целую Вас, дорогая, и еще раз благодарю за книги и за милое письмо.

А.

¹ Танские новеллы. Пер. с китайского, послесловие и примеч. О. Л. Фишман. М.: Изд-во АН СССР. 1955.

² Это был самый запутанный вопрос. В Прокуратуре СССР дело о пересмотре приговора Л. Н. Гумилеву было заведено в феврале 1954 года по жалобе А. А. Ахматовой на имя К. Б. Ворошилова. Летом того же года был получен отказ.

В начале 1955 года по ходатайству И. Г. Эренбурга и В. В. Струве на имя Хрущева дело было принято к рассмотрению уже в Главной военной прокуратуре. В июле 1955 года туда поступило, казалось бы, уже обреченное дело из союзной прокуратуры. См. об этом подробнее: Горизонт, 1989, № 6, с. 58—59.

5.XII.55

Дорогая Эмма

Большое спасибо за Вашу заботу о моем пузе. Теперь оно будет регулярно набиваемо, ибо обе посылки мне вручены. Это очень кстати, ибо состояние пуза заставляет меня предельно сокращать поступающую в него пищу, чтобы хоть немного сократить трудновыносимую ежедневную боль. За последний месяц я сожрал больше лекарств, чем за всю предыдущую жизнь. Но я не ложусь в больницу и буду держаться на ногах сколько смогу и работать, т. к. мне сейчас, наконец, дали посильную работу. Что бы это сделать на год раньше. М. б. я не превратился бы в калеку. Работа так поглощает мое время, что для занятий ничего не остается, но это ничего, только бы скорей пришел ответ. По всем срокам пора. Во мне уже говорит не нетерпение (которое тоже имеет место), а расчет: еще месяц-два такого ухудшения моего здоровья и я закопченный калека, негодный не только к физическому, но и к умственному труду. А в этом случае мне и возвращаться бессмысленно, т. к. я себя не прокормлю. Тогда пусть меня кормят до конца баландой, а садиться на чужую шею я не согласен. Лечить меня за казенный счет никто не будет, да и, вообще, сколько можно?

Очень я устал; больше, чем это полагается для человека, которому надлежит жить. Маме Вы не рассказывайте о моем «физиологическом пессимизме». Нечего попусту ее расстраивать. Я сам понимаю, что, будь я физически крепче и не чувствуй этой омерзительной боли, я бы смотрел на мир куда веселей, т. к. судя по всему сейчас живется куда лучше, чем раньше. Но я также понимаю, что для меня эта благодать, пожалуй, запаздывает. Как будто я уже истратил все силы, которые у меня были, для поддержания своей жизни и на продолжение ее у меня ничего не остается.

Большое спасибо Вам за Ваши заботы и участие.

Целую ваши ручки — Леоп.

7.XII.55

Невольно задержался с отправкой письма, т. к. хотел приложить маленькое письмецо для мамы, а писать все мешали. Полагаю, что, если до конца этого месяца ответа не будет, можно прекратить ожидание. Кажется, им там просто стыдно признаться в том, что они меня так, ни за что осудили и теперь они поэтому тянут, не зная, что сказать.

Целую Вас, милая, и прошу передать маме письмо и привет. — L

10.XII.55

Дорогая Эмма

Да с чего Вы взяли, что я на Вас сержусь или сердился? Этого не только не было, но и быть не могло. Да и ни малейших к тому оснований не было.

Правда, я сейчас в пессимистическом настроении, но главным образом из-за ежедневной боли в животе, причем эта боль омерзительного свойства. Боль сия очень влияет на настроение, и если бы ее не было, наверно я был бы куда веселее и приятнее в общении. Но поскольку я сам это сознаю, значит, я понимаю и цену своему унынию. А Ваша открытка очень меня порадовала. Тут даже начальство недоумевает, почему пересмотр так затянулся, и при встрече спрашивает об этом у меня. А что я могу ответить? Вы, конечно, тоже ничего не можете по этому поводу сказать, но это и не существенно. Гораздо важнее то, что Вы мне написали. Пусть не за неделю, хоть за этот месяц, но будет ответ, причем я не мыслю, чтобы был возможный отказ. Очень Вы меня утешили, милая, сразу поднялось настроение и стало легче дышать.

Но надо сказать, что, несмотря на «животный пессимизм», я морально чувствую себя лучше и не сержусь больше на маму. Последние письма ее совсем к этому не располагают, наоборот, позволяют махнуть рукой на все то, что мне было неприятно. А Вы пишете так, что лучше не только не бывает, но и невозможно. Я великодушно соображаю, сколько хлопот я доставил Вам и какова сила Вашей искренности, если вы продолжаете заботиться обо мне, который бывал далеко не так хорош, как это следовало. Я просто поражен тем, что Вы можете подумать, что я смогу на Вас сердиться?! Впрочем, м. б. это из-за задержки ответа, но конверты за последнее время исчезли из продажи. Возможно, и это письмо задержится по этой же причине на день-два.

Целую Ваши ручки, дорогая.

Целую Вас, и не подозревайте меня в дурных чувствах, ибо их нет.

Искренне и благодарно — Леон

Ура! Достал конверт, отправляю письмо немедленно.

А. Привет С. С.

Прилагаю письмо для мамы.

19.XII.55 г.

Дорогая Эмма

Вы меня очень удивили, больше того поразили, Вашим письмом от 11.XII. Дело не в том, что ответа еще нет, я к этому был готов, а все вместе?! Я перестал что-либо понимать! Да разве от меня зависят паузы в переписке? Вы просто забываете, где я. В данном случае объяснение весьма простое: наш цензор человек больной и время от времени лечится, и на это время письма задерживаются. Так и это письмо попало ко мне 19-го вместо 15-го.

Что касается моего дружка¹, то я никак не мог предусмотреть, что его поведение окажется фривольным. Но он мог и должен ответить на все вопросы, которые теперь возникли у Вас, в том числе и касательно свидания. О каком ходатайстве Вы говорите? Есть определенный режим, которого никакой начальник не нарушит. Свиданий не дают даже дядям и племянникам, а только родителям, детям, братьям и зарегистрированным женам, записанным в дело. Я и просил его познаться с Вами для того, чтобы он объяснил Вам, что возможно, а что нет. Правда, он немного «чокнутый» (это от слова *шокет*, но отнюдь не шокированный), но не настолько, чтобы не быть в состоянии разъяснить столь простые истины.

То, что Вы надоели прок-ам, это пустяки по сравнению с тем, как они мне. Ведь официально моя жалоба у них 20-й месяц. Даже после допроса идет 4-й месяц, а для проведения следствия положено по закону — 2 месяца. Конечно, я удручен этим, да и не может быть иначе. Врут они, что дело движется. Когда здесь был прокурор, он провел переследствие за 1 день, с обеденным перерывом. Для решения

нужно еще меньше. Еще удивительнее для меня, что Вы до сих пор не знаете моей статьи. Вот она: 17-58, -8, 10. Содержание дела: дважды привлекался: в 1935 г. с составом преступления — разговоры дома — и в 1938 г. «без состава преступления, но, будучи осужден, считал свой арест ничем не оправданной жестокостью»; считал, но не говорил. Осужден в 1950 г. как «повторник», т. е. человек, коему решили продлить наказание без повода с его стороны (т. е. с моей). Вот и вся официальная часть программы. Выяснять тут нечего, и поэтому, если дело не движется, т. е. не дает результата, значит, лежит и дожидается резолюции какого-то высокого решителя. Очевидно, обсуждается не преступление, а моя персона. Ах, как бы я хотел, чтобы мною меньше интересовались. Тогда уж с полгода назад был бы результат.

Милая моя, Вы спрашиваете, почему я не задаю вопросов о Вашей жизни. А по той простой причине, что я вообще не могу сейчас даже вообразить какую-либо жизнь. Я так отвык от мира, что не в состоянии поддерживать интересную, светскую беседу, тем более, что последнее время я надеялся на положительный результат и все мои душевные силы уходили на поддержание внешнего спокойствия. О внутреннем говорить не приходится. Я расплачиваюсь за напряженность жизни такими болями в животе, каких я даже представить себе раньше не мог. Здесь жизнь очень трудна, даже в тех случаях, когда она физически не тяжела. Масса людей и обязательных отношений, принудительное сожительство 24 часа в сутки и т. п. Несравнимо ни с чем, что Вы знаете и видели. Сохранить себя физически и эстетически, да еще творчески — можно только при удаче — умение жить (в данных условиях). Я не знаю, надорвался ли я уже или только надрываюсь и вот-вот надорвусь, и единственная ниточка, которая меня поддерживает, — Ваши письма. Даже когда они оторчительны. Это, напр. расстроило меня, но отсутствие его было бы гораздо хуже. Поэтому я благодарю Вас за него и прошу в дальнейшем писать, ибо вы меня жалеете, а я того достоин. Но неужели одно мое письмо пропало, в нем была приписка маме. Я отвечаю на все письма сразу, и задержки не по моей вине. Милая, я отлично понимаю, что вы не можете мне помочь в главном, без чего все остальное призрак; ох, хоть какой-нибудь результат.

Шубу покупайте² и не сомневайтесь в этом. Никто, кроме мамы, видеть меня не сможет. Если же мне только скинут срок и пошлют меня в ссылку, то надо будет начать торговлю хуннами, тюрками и тибетцами, ибо ссыльный может работать для «Всеобщей истории» хотя бы снимая подпись. А насчет резинок, мысль все время возвращается к ним, если есть возможность нажать — хорошо бы; если же нет — буду ждать, стиснув зубы. Заявление подать они Вам зря советуют, не подавайте, зачем такие бумажки, только для их спокойствия.

Я не могу сейчас считать свое положение стабильным и игнорировать факт пересмотра, чтобы жить, как раньше жил. Да это и невозможно, ибо ушли почти все мои близкие и приятные люди и на меня навалилось одиночество, вдобавок.

Мама уже наверно, получила мои письма, скоро напишу ей еще, но не знаю, где она сейчас — в Москве.³ Если да, пожелайте ее от меня.

Целую Вас и прошу не сердиться на меня, ибо я не виноват — L

¹ Речь идет о С. С. Серпинском.

² Я не оставяла намерения лично переговорить с Левой о его запутанном деле. В письме к нему я намекала на деньги, якобы отложенные на покупку шубы.

³ А. А. Ахматова в декабре 1955 года была в Москве.

<23 декабря 55 г.>

Дорогая Эмма

поздравляю Вас с новым годом и желаю, чтобы Ваша книга, от которой Вы отвлеклись по моей вине, была благополучно закончена и напечатана.¹ На днях я оправил Вам очень нервное письмо,² ибо был под впечатлением непереносимой животной боли, а теперь она несколько уменьшилась, и я стал оптими-

стичнее. Бытие (живота) определяет сознание (мое). Каждый вечер, окончив дневные дела и имея 1/2 часа свободных перед сном, я с благодарностью вспоминаю Вас, т. к. вынимаю контурную карту и счастлив, что не надо копировать сетку, как я делал раньше. Карт Китая хватило в обрез, а всей Азии осталось, но, они весьма пригодились. Короче говоря, получается исторический атлас. Этого не было бы, если бы Вы не прислали мне карты. А об чем Ваша книга? О Лермонтове? Интересуюсь.

Целую Ваши ручки и Вас, дорогая, надеюсь в течение января (уже перенес надежды на сей холодный месяц) получить от Вас короткое, радостное письмо.

Кажется, пора, хотя уже давно пора.

Искренне Ваш — Leon

P. S. Прилагаю письмо маме,³ надеюсь, что она в Москве. Почему-то мне кажется, что она там, но, полагаю, сие письмо ее не минует ни в коем случае.

¹ Речь идет о моей работе над Лермонтовым.

² См. выше письмо от 19 декабря 1955 года.

³ Письмо написано на 2-й странице почтового листа бумаги. Прочитав его, Анна Андреевна оставила письмо у меня.

суббота 24. XII. 55

Дорогая, милая мамочка

Поздравляю тебя с наступающим новым годом и желаю всего лучшего, а именно: переводить китайскую лирику, пользуясь консультациями толкового востоковеда, напр. меня.

У нас ударили морозы, сегодня — 42°. Работяги на работу не пошли и отдыхают. Ветер режет лицо, снег стал звонкий и очень крепкий. Надо сказать, климат здесь препаскудный. В Кемеровской области гораздо лучше.

В моем существовании заметных перемен и событий нет; день складывается из несения работы, куда входит топка печки с выносом золы и приносом угля (это наиболее приятная часть), затем выполнение прямых обязанностей, что тоже отнюдь не неприятно, поглощение обеда, принятие лекарств, и иногда удается часок почитать книгу. Как видишь, пока все относительно благополучно, если не считать морального состояния, но на него не принято обращать внимание. Стало одиноко и пусто вокруг; много знакомых уехало, многие сидят на чемаданах и нервничают. Я, хоть сижу на табуретке, невольно заражаюсь общей нервозностью, и поэтому мне стало труднее размышлять о хуннах, уйгурах и Ань-Лушане.¹ На последние 3 письма я не получил от тебя ответа, но я не волнуюсь, а думаю, что никакой сверхъестественной причины тут нет, а просто ты чем-то отвлеклась и не ответила.

Письмо это к новому году опоздает, ибо сегодня меня отвлекли занятия и дела и почта уже ушла. Теперь до понедельника, т. е. 26.XII, а марок для авиа нету. Уж ты не сердись, я не нарочно...

Вчера я был в кино, смотрел немецкую картину. Куда им до наших! Сейчас самые милые — это наши картины, комедии, да еще неплохие французские, они со вкусом. А немцы видно никогда не научатся искусству и будут делать только пуговицы и машинки для заточки карандашей. На большее они не способны.

Мороз все держится, я усиленно топлю печку и пока сижу около нее без бушлата, что является достижением.

Сейчас отправляю письмо на Москву, т. к. думаю, что ты там.

Целую тебя, милая мамочка — L»

¹ Ань Лу-шань (ум. 757 г. н. э.) — китайский военачальник, убитый своим сыном.

8.1.56 г.

Дорогая Эмма

спасибо Вам за поздравительную открытку, но письма я пока еще не получил, хотя сам написал 2. Не могу не заметить, что Ваше последнее письмо произвело на меня впечатление более сильное, чем вы могли себе представить.¹ Просто обухом по лбу. Я имею в виду Ваш вопрос по существу. Да неужели это до сих пор неизвестно маме? Чем это можно объяснить, кроме абсолютного невнимания? Впрочем, лирическую сторону этой проблемы я уже переболел: она стоила мне остатков здоровья. Больше возвращаться к этой теме не стоит. Жизнь моя течет без перемен, и я уже перестал ожидать перемену в скором будущем. Работаю сейчас круглый день и устаю, так что заниматься не могу. Но работа в тепле и жизни не угрожает. Весной, очевидно, лягу на операцию, а там будет видно. Посылка из Уфы пропала, но Ваше сало еще есть и очень меня поддерживает. Желаю Вам в новом году творческих и жизненных успехов.

Целую Ваши ручки — L

¹ Лева вновь вернулся к вопросу о своем приговоре. См. выше письмо от 19 декабря 1955 года.

10.1.56 г.

Дорогая Эмма

вот спасибо за толковое письмо¹. Очень оно мне понравилось, хотя новая задержка пересмотра² сулит мне опять больничную койку. Дело в том, что я сейчас тянусь из последних сил и лечь в больницу пока не соглашаюсь сам, ибо если лягу — то развалюсь вплоть до нескорой поправки. Задержка будет не менее 2-х месяцев, а там еще столько же в Верх. Суде; значит, это до весны. Столько я на ногах не вытяну. Но, по-видимому, ничем ускорить нельзя и следует с этим примириться. Такой подход весьма поднимает мое настроение, создается огромная жажда к продолжению и усовершенствованию диссертации и, с помощью присланных Вами книг, можно еще многое сделать. Сейчас мешают боль и непрекращающийся завал работы. Правда, роптать на это нельзя, ибо лучшей работы для меня здесь не бывает.

Подробности Вашей жизни меня очень заинтересовали, особенно касательно Мих<аила> Илл<арионовича>. Не надумает ли он прислать мне оттисков или открытку, чтобы я мог ему ответить. Я очень хотел бы задать ему несколько вопросов по скифам, ибо область охвата моей темы территориально расширяется. Встало много новых проблем, но материала нет и я пока мажу этюды вместо основного полотна. Отзыв Ник. Иос. Будет для меня решающим, и я жду его с трепетом. Как много пробелов в моих знаниях о Дальнем Востоке! Очень хороши книги Окладникова. Умница он. Вот кого бы мне редактором.

Огорчаюсь по поводу Серунчика. Мы знали, что у него легкая форма эротомании, но полагали, что это пройдет, а вместо этого получилось ухудшение. Но его надо жалеть и прощать. Он очень бедный и по существу хороший, хотя может вызвать в собеседнике резкое, кратковременное раздражение, которое не нужно принимать всерьез. За маму я почему-то спокоен, т. е. убежден, что все с аппендицитом окончится благополучно. За нее я волновался только раз — осенью 51 г. и тогда основания оказались — я на расстоянии почувствовал ее болезнь сердца.³

Большое спасибо Вам за хлопоты и заботы. Если уж надо досиживать зиму, то, пожалуйста, пришлите мне еще книг, т. к. эти я почти отработал. Направление моих интересов Вы уловили на этот раз. В магазинах нац. литературы есть Шах-намэ на таджикском языке — вот бы его мне. Все это принесет, в случае моего возвращения, плоды и фрукты. Танина посылка пропала, но я обхожусь, мне очень мало надо. За 200 р. спасибо, наверно через месяц они попадут ко мне в руки и будут очень кстати для больничного подкрепления сладостями и вкусоностями.

Маме я недавно послал письмо в Город⁴, а теперь поцелуйте ее и попросите не расстраиваться и не болеть. Еще скажите, что снег у нас белый (это шутка о природе, пусть она не обижается).

Целую Вас, дорогая, — L

¹ Я сообщила Леве о своей поездке с письмом от Анны Андреевны к директору Эрмитажа Михаилу Илларионовичу Артамонову (1898—1972), хорошо знавшему Леву с юности.

² Лева понимал, что новые авторитетные ходатайства безусловно затянут пересмотр его дела.

³ Лишь осенью 1951 года Лева узнал о первом инфаркте у Анны Андреевны.

⁴ Т. е. в Ленинград.

23.1.56

ЭММЕ

Получаю я письмо и вдруг из него протягивается рука и меня в ухо, в другое, в третье; да как здорово при этом. Все это мне очень понравилось и привело меня в совсем иное настроение, т. е. в хорошее. Иной раз отлупить полезно; в данном случае, например. Спасибо.

Ну теперь вы с мамой все обо мне знаете, и я просто не знаю, что писать. Главное, впрочем, то, что единственная сложность в моем деле — это полнейшая невозможность, с помощью закона, даже при максимальной гуттаперчевости, примотать мне обвинение, а то, которое есть, примотано при нарушении двух принципиальных статей Уголовного Кодекса, из коих любая — повод для кассации. Им просто стыдно, что такое безобразие имело место, и они ищут паллиатива, имея, на самом деле, альтернативу — полная реабилитация или продолжение затяжки. Вот это и скверно, что они избрали второе и тянут, как будто что-нибудь им неясно, или они хотят что-то найти.

Сами знают, что искать нечего, а повода для продолжения репрессии я не давал и не дам. Пусть не надеются!

Очень я огорчен маминой болезнью. Если бы еще операция, она не сложная и не страшная — так это бы ничего, а страдать животом — очень плохо. По себе знаю и чувствую. Зря Вы думаете, что пропавшая посылка не была послана.¹ В это время несколько посылок пропало и в том числе моя. М. б. она доедет до Владивостока и вернется — не исключено и это. Возможно, что я лягу на операцию и тоже аппендикса (вот совпадение), если только не будет лучше. Это не страшно, хуже всего затяжка пересмотра. Затянулось дело за пределы нормального. И чего они наводят тень на плетень?! А от сала еще есть кусочек — вот помогло мне оно. Замечательно.

Спасибо, милая Эммочка, за вразумительное письмо. Целую и жду ответа на предыдущее, последующее за открыткой

Леоп

Прилагаю письмо для моих двух «кирюх» сиречь — друзей, с одним из коих мама знакома и может оное передать.

Л.

¹ Ленинградская посылка А. А. Ахматовой, отправленная Т. А. Крюковой.

² Вероятно, речь идет о еврейском поэте Матвее Михайловиче Грубияне (1909—1972).

29.1.56

Дорогая Эмма

простите, что пишу карандашом; я в больнице и первый день в нормальном сознании. После операции аппендицита 5 дней плавал и не то, что писать, говорил еле-еле.

Ваша открытка меня очень порадовала. Больше, чем очень. Сам себя никогда правильно не оценишь, соседи тоже не авторитет, т. к. они заражены теми же болями и недостатками.. Я знаю, что должны быть недоделки, но доделать пустяки, если основное хорошо.

Плохо другое. Ухудшение привело меня в больницу, теперь я на поправке, но место в библиотеке вряд ли ко мне вернется. Через месяц я выйду и что тогда? — опять тяжелый труд. Отсюда опять повышение моего интереса к ответу из Прок-ры. Через месяц я неизбежно буду портить здоровье, только что поправленное, чего хорошо бы избежать. Разумеется, Вы не в силах помочь, но м. б. можно последний раз справиться. Сколько можно проверять? Пора бы и ответить. Впрочем, Щедрин сказал: «Чтобы оправдаться, надо быть выслушанным», а они от этого старательно уклоняются.

Целую Вас, дорогая, выздоравливающий медленно, но неуклонно

L

3.II.56

Милая Эмма, ну что делать с мамой? Какого черта она упорно дает лен. адрес, несмотря на мой прямой вопрос: куда писать в Москву, и сама же обижается. Тьфу, злость! Пишу открытку, ибо конвертов нет. Мне сегодня сняли швы, лечат хорошо. Я, конечно, рассчитываю верно: в марте ответ быть должен, новая задержка от лукавого. Она не нужна; она плод чьей-то злой воли. Ох, и не нравится она мне. Серунчика¹ слушайте, он около 25% говорит дело, остальное, конечно, хлам, но и этот процент не мал. Его надо прощать, жалеть и любить, он того достоин. А что касается разрыва психологии, то Вы правы — он неизбежен. Даже тогда, когда из дому нормально сообщали новости и делились настроением, а не отписывались метеорологическими сводками, с лирикой и без. Я его уже испытал, хотя был молод, здоров и крайне терпим. Если до 1 марта ответа не будет — надо жаловаться, т. к. значит, есть злоупотребления, надо требовать просмотра самих пересмотрщиков, и ничего не бояться. Сколько можно?

Целую Вас, дорогая

Leon

¹ Уже упоминавшийся С. С. Серпинский.

5.II.1956

Дорогая, милая Эмма

Вчера я отправил маме ругательное письмо. Я не буду в обиде, если вы его не отдадите и передадите содержание своими словами. Но я был так раздосадован, ну что я мог другое написать. Ох!

Полагаю, что было бы уместно по поводу пересмотра обратиться к Съезду, указав на бессмысленные оттяжки, ибо они не к добру. Я, из-за болезни, упустил время написать заявление, но если оно изойдет от мамы — это будет еще более веско. Оснований к тому достаточно, а для наивного оптимизма нет никаких. Прошу Вас разъяснить мне маме. Здоровье мое улучшается — боли в животе прошли, и я просто оправляюсь от операции, очень медленно, ибо психический стимул к выздоровлению отсутствует.

Целую Вас, дорогая, на днях напишу открытку маме

Leon

22.II.56

Милая Эмма

еще раз благодарю Вас за книгу. Я прочел ее с удовольствием, ибо, хотя в ней нет взлетов, но нет и спадов; она выдержана на уровне академической посредственности и поэтому может служить

пособием для моей темы пока достаточным. Жаль, что до сих пор нет ответа; это действует на нервы не только мне, но и начальству, которое никак не может понять, хороший я или плохой. Поэтому мое состояние вполне лишено стабильности, что причиняет мне массу затруднений. Впрочем, это семьячки, важен результат. Я обратился к прокурору по надзору и просил его написать от себя напоминание и условить моего разбиральщика. Он обещал, но достигнет ли это цели?

Собственно говоря, вся моя жизнь «на данном этапе» заключается в одном ожидании и ничего другого в меня сейчас не втиснешь. Сейчас не осталось сил даже для мечтаний и для воображения; поэтому я не могу себе представить ни маму, ни Вас, ни городских улиц, ничего. Укатили сивку крутые горки.

Очень Вас прошу, пишите хоть открытки, пусть пустые. В этом есть моральная поддержка; но не о природе, а так напр. «ничего пока нового нет, но ждем» и т. п.

А то я долго ничего не получал и стало еще хуже на душе, чем обычно.

Целую Леоп

Пришла открытка. Ну это Вы круто с Серунчиком, впрочем, он может довести кого угодно, хотя он меня с мамой отнюдь не ссорил. Это Вы на него зря.

Ну да ладно, это не проблема.

Ист. Таджикского народа не присылайте. Она здесь есть на таджикском языке. Я читаю.

Целую L

1 марта 1956 г.

Милая Эмма

все получил! И письмо с отзывами, и три книги и письмо от 24/II с обещанием результата в начале марта. Очень, очень рад всему. Из Вашей книги я прочел, пока, только один рассказ и сразу сделал ценное примечание к «Истории»... Роман еще не начал читать. Сначала, увидев его, я подумал: ну, дело пошло на затяжку, раз мама и Эмма посылают мне книгу, которой хватит на полгода. Но потом я сообразил, что у мамы совсем иное отношение времени, т. е. она попросту не может рассчитать его. И я оказался прав — катастрофы нет — и я спокойно живу, ожидая ответа. Пора уж. Все мои знакомцы, с которыми я поглощал мамины посылки, уже пишут мне из дому. Я тоже хочу домой!

Ваша сердитая открытка была мне очень приятна. Так и надо поступить другу. Я, лежа в больнице, психовал и мог зря огорчить маму. Спасибо. Но Серунчик ни в чем не виноват, а что он говорит глупости, так он их всегда говорил и никто на него не обижался. Пусть его, он душевный и милый. Передайте ему мой сердечный привет.

Очень хорошо, что Вы прислали мне отзывы. Они очень подняли мое настроение, а что они задержались по дороге — не беда. Мне сразу стало легче дышать. Умница!

Мое здоровье стало лучше. Жуткие, омерзительные боли исчезли, только рана заживает очень медленно. До 15-го марта я на излечении. Вот бы получить за это время от Вас телеграмму о результате, а там можно ждать определения. Это тоже не скоро, но зато спокойно. Так что и роман прочесть успею и марки Ваши израсходую. Но это все ничего, лишь бы настало...

Целую Вас, дорогая, и благодарю

за а) заботу; б) внимание; в) ругань, ибо к месту; д) книги; е) отзывы; ф) прощение Серунчика; г) хлопоты и h) верность в беде — это главное. Еще раз целую Вас
искренне Леоп

8 марта 1956 г.

Милая Эмма

ждал, ждал от Вас письма, но ничего не дождался. Может быть, я нетерпелив, да где ж взяться терпению. Неужели опять ничего? Теперь уж, кажется, никакой отяжки быть не может. Простите, дорогая, что я к Вам пристаю, но, право, только от Вас и можно добиться толковых ответов.

Ради Бога, сообщите все как есть. Незнание выматывает хуже всего. Книжки получил и очень благодарен Вам за заботу. Я их уже почти прочел и частью отработал. Занимаюсь сколько можно, но можно меньше, чем хочется. 15 марта кончается мой «отпуск по болезни» и до сего запоздующего дня хотелось бы получить от Вас весточку: что и как. Я стараюсь не психовать и кажетя успешно, но все-таки...

Целую вас, дорогая, — Леон

Обязательно привет С. С. С. Он милый и добрый.

Л.

10. III. 1956

Милая Эмма

Вчера я послал Вам и маме письмо, а сегодня пришла Ваша открытка от 1/III. Я потрясен радостью¹, даже чуть-чуть заболел от нее. Это как будто Воскресение. Появился новый стимул жить, охота к работе. Один друг мне сказал: «У вас есть будущее, но нет настоящего». Это отчасти верно, но мои мысли и знания, которые благодаря присланным книгам растут, — это уже кое-что.

Как мне жаль, что Вам приходится так волноваться, и маму жаль. Посылка прекрасная, материально ни я ни в чем не нуждаюсь. Я как чувствую сейчас Ваше участие и заботу, и мои обиды (прошлогодние) совсем прошли. Прошу Вас: поцелуйте маму и успокойте ее, прибодрите как можете. Я постараюсь держаться и не поддаваться ни болезням, ни тоске.

Целую Вас и от всей души благодарю

Леон

¹ 25 февраля 1956 года закончился XX съезд КПСС. Через несколько дней я пришла в Главную военную прокуратуру за очередной справкой и получила долгожданную весть: приговор будет опротестован самим генеральным прокурором СССР. Об этом я написала Леве 1 марта 1956 года.

14 марта 1956 г.

Милая Эмма

ну вот и середина марта, а воз и ныне там. Я решил: хватит нервничать, ждать и мучиться ожиданием.

Я решительно взял себя в руки и с завтрашнего дня перекавалифицируюсь на холодного сапожника. Месяца за два научусь, а там буду приобретать опыт. Это работа по моим силам и надеюсь, что к концу года буду подбивать подметки и подшивать валенки.

Больше не ходите справляться, это, видимо, бесполезно. Т. к. нет ни одного основания, чтобы не освободить меня, а этого все же не делают, значит, просто не дадут никакого ответа, а будут делать вид, что чего-то не хватает. Я знаю, чего не хватает — моей вины, но ее и не будет, поэтому ее можно искать до бесконечности. Похоже, что меня реабилитируют как Чаренца¹ или Вавилова². Ну что ж, делать нечего. Буду жить как жил до сих пор. Книжки, если они будут, присылайте. Я занимаюсь наукой больше из интеллектуальной потребности, чем из желания на ней заработать. Поэтому книжки меня очень радуют, безотносительно к моей судьбе. Если бы можно было достать 2 старых книжки: Иакинф³: «История Тибета и Хухунора» и Вас. Григорьева⁴ «Восточный Туркестан». Купить их нельзя — это библиографические редкости, но м. б. можно достать в Институте Востоковедения с возвратом. Это последние крупные вещи, которых мне не хватает.

Я очень понимаю и ценю Вашу заботу обо мне. Я знаю, что никто в жизни так мне не помог, как Вы. Жалею только, что мне нечем отплатить Вам. В знак моих чувств посылаю Вам прядь волос — больше ничего у меня нет.

Может быть, я напрасно вдавался в пессимизм, но пусть будет приятный сюрприз. Я его переживу.

Целую Вас, дорогая моя. Л.

P. S. Теперь напишите о Вашей жизни, успехах, литературных планах, а также о маме и ее делах.

Я уже способен жить обычной жизнью и интересоваться ею. Я спокоен и буду спокоен.

Леоп

¹ Егише Чаренц (Егише Абгарович Согомонян; 1897—1937) расстрелян. Реабилитирован посмертно.

² Академик Николай Иванович Вавилов (1887—1943) умер в лагере. Реабилитирован посмертно.

³ Никита Яковлевич Бичурин (в монашестве — отец Иакинф; 1777—1853) — глава русской миссии в Китае; основоположник научного китаеведения в России. Речь идет о его книге «История Тибета и Хухунора с 2282 г. до Р. Х. по 1227 г. по Р. Х.» (Ч. 1—2 СПб., 1833).

⁴ Василий Васильевич Григорьев (1816—1881) — профессор Петербургского университета, один из крупнейших востоковедов России. В 1869 году в его переводе и с его примечаниями вышел труд Карла Риттера «Землеведение». Выпуск первый назывался так: «Туркестанское нагорье, или Восточный Туркестан: переход от Восточной Азии к Западной».

23.III.56

Милая Эмма... уффф...

так оно и бывает: как придешь в отчаяние, ан тут-то и оно.

14/III я Вам послал пессимистическое письмо, с прядью волос, а Вы в это самое время послали мне очень отрадное письмо. Очевидно, 19/III заседание опять не состоялось, ибо телеграммы я не получил, но м. б. получу завтра. Вместо нее пришли бандероли со всеми книгами. Я их уже просмотрел. Очень выразительно. Правильно говорил Микоян о нашем институте¹: дремлет сукин кот. Такая импотенция творческой мысли, что я даже не мог подумать, что это возможно. А «перевод» Шах-намэ возмутительная халтура. Переводчик не знает: а) языка, б) истории, в) русского стихосложения, но обладает, видимо, наглостью и блатом. Ничего похожего на гениальное произведение великого автора. Если бы Фирдоси писал так, как Липкин, его бы никто не читал и не знал.²

Маленький совет: писать мне лучше всего авиа простые письма. С заказными морока, и потому они медленнее доходят. А о результате известие, пожалуйста, сразу, хоть открыткой. Все это очень интересно, и, не получая писем, я чувствую себя на вертеле, обмазанном скипидаром и посыпанном красным перцем. Ведь после решительного заседания еще будет морока в Верх. Суде. Тоже протянется месяца 2, но тогда уже будет виден конец и жить будет легче.

Ах, как хорошо, что Вы мне сообщаете, что и как. Без Вас я бы испсиховался, ибо мама здорово утаивает от меня все для меня интересное; очевидно она не считает меня способным что-либо ощущать.

Пощелуйте ее от меня и попросите выздороветь. Это очень зависит от настроения и желания. Напр. я чувствую себя много лучше и бодрее — Вам за это спасибо.

Целую Вас и жду, жду, жду... Леоп

P. S. Посылаю письмо сегодня, ибо если задержать до субботы, то не пойдет до понедельника.

А в Китайской технике есть полезные сведения. К сожалению, я сейчас не могу заниматься, т.к. нет условий. Буду пока читать и думать. Еще раз целую — Л.

Привет С. С. С. Он милый, не предавайте его опале.

¹ В докладе первого заместителя Председателя Совета Министров СССР А. И. Микояна на XX съезде КПСС 16 февраля 1956 года говорилось так: «Есть в системе Академии наук еще институт, занимающийся вопросами Востока, но про него можно сказать, что если весь Восток в наше время пробудился, то этот институт дремлет и по сей день».

Не пора ли ему подняться до уровня требований нашего времени?» — Правда. М., 18 февраля 1956 года, № 49, с. 6.

² Фирдуوسي А. Шах-Намэ. Поэмы. Пер. с тадж. и предисл. С. Липкина. М.: Детгиз, 1955.

25.III/56

Дорогая

Эта моя работа, увы, незакончена. Она представляет продолжение моей кандидатской диссертации. Хронологически она начинается там, где была оборвана та, т. е. в 680 г. восстанием голубых тюрок против империи Тан.

Однако за 7 лет я сам изменился и возраст наложил отпечаток на стиль изложения, поэтому будет рационально оставить ту работу как отдельный том, изменив ее название на «История Срединной Азии на рубеже Древности и Средневековья». В этой книге трактуется история раннего Средневековья, причем эпоха логически замыкается уходом уйгуров из северных степей и пробелом в китайской историографии. С начала X в. наступает трехсотлетний «Темный период», в который степь была заселена выходцами из восточной Сибири. За это время они сложились в народ, называвшийся сначала татары, а потом монголы. Также обрывается история Тибета, где в 860 г. распалась Туфань — государство, претендовавшее на гегемонию в Азии, и Тибет распадается на ряд замков и кочевых племен, не связанных друг с другом.

Также обрывается традиция у западных тюрок, которых втягивает в свою орбиту ислам. Итак, указанный период истории Срединной Азии доведен до своего логического конца и может считаться описанным достаточно полно, за исключением нескольких пробелов:

1) Нужно добавить (для фона) описание гибели династии Тан в Китае и отражения нашествия киданей на Китай.

Материал в Gaubil. Hist. de la grande dinastie T'ang¹ и Cordier Generale hist. d.l. Chine. I.² Этого хватит для фона.

2) Историю Тибето-китайской войны и внутренней борьбы в Тибете между буддизмом и религией бон.

Материал. Иак. Ист. Тибета и Хухунора I.

Этот пробел, отчасти, может быть восполнен приложением к книге моей статьи о тибетской пиктографии, которую можно и подсократить.

3) Недостаточно использована тюркская эпиграфика.

4) Следует уточнить подробности отюречивания оазисов Западного Края; но это особая, большая тема, исследование которой может быть основано только на археологии.*

За исключением этих, не особенно важных, пробелов, История Срединной Азии в раннем Средневековье закончена, как третья книга по истории этого района или как второй полумом кандидатской диссертации.³

Это письмо я получила в бандероли вместе с официальной аннотацией, датированной 29.I.1955 г. На чистом листе этой аннотации было написано письмоцо без даты:

«Милая Эмма

Евгений Владимирович мой искренний друг. Он может Вам и маме рассказать обо мне все как есть.

Целую Вас и маму.»

* Сюда следует прибавить экстракт моей статьи «Статуэтки воинов из Туяок Мазара». Сб. МАЭ, 1949 г. — Примеч. Л. Н. Гумилева.

Далее были написаны Лево́й два адреса, очевидно, для Евгения Владимировича (его фамилия осталась неизвестной), чтобы он мог найти Анну Андреевну и меня лично. Но «не по своей вине», как он сам пишет, он не смог к нам зайти. Вместо этого он прислал почтовую бандероль с 1) аннотацией, 2) данным письмом, написанным 26 марта 56-го г. и 3) собственным письмом, цитированным мною выше в статье. Его письмо пришло в Москву 24.IV.58 г., а ушло из Нового Села Тернопольской области 13.IV.56.

Аннотация должна была быть мною передана туда же, то есть тем же ученым, которым я передала присланную почтовой посылкой «налево» в октябре 1955 г. основную рукопись.

Отсутствие конца письма 26 марта 1956 г., возможно, объясняется тем, что Лев Николаевич, вернувшийся в мае 1956 г. из лагеря, забрал его у меня.

¹ «Histoire de la dynastic des Tang» — один из разделов книги французского ученого. См.: Gaubil A. Histoire de Gentchican et de toute la dynastic des Mongoux ses successeurs, conquérants de la Chine, tirée de l'histoire chinoise. Paris, 1739.

² Речь идет о первом томе исследования: Cordier H. Histoire generale de la Chine et de ses relations avec les pays entrangers. Paris, 1920. Т. I.

³ Работа не была закончена А. Н. Гумилевым.

< 3 апреля 1956 г. >

Дорогая Эмма

В ознаменование того, что очередной припадок пессимизма у меня прошел, я решил толково ответить на Ваше письмо. Наш диалог воспроизводит разговор в «палате № 6». Нет, настоящего у меня нет. Любая радость извне не изменяет течения моего существования; любой успех в науке не улучшает моей жизни. В этом основное отличие. Если я в Городе или в Москве прочту хороший доклад — мне либо повысят зарплату, либо напечатают и заплатят гонорар, либо предложат частную работу и т. д. А здесь ровным счетом ничего. Все мои труды вложены в будущее, и в моем настоящем вызывают лишь зависть окружающих и, как результат оной, ухудшение моего положения. Сейчас я уже не продолжаю занятий — стало невозможно. Впрочем, это не беда, ибо должен же быть, наконец, результат, а он все определит и прояснит.

Теперь второе: опустошенности душевной у меня нет, но есть отсталость от возраста. Здесь время стоит и душа в анабиозе, а тело стареет, и вот в чем дисгармония. Психологический возраст мой отстал от физического лет на 10. Ну что тут хорошего? Это не лучше опустошенности обывателя, хотя и не то.

Мечты о будущем, вообще, действуют вроде валерианки, но я и этого лишен, ибо жизнь изменилась до неузнаваемости, мое поколение уже отживает, а мне предстоит лишь начинать жизнь.

Все личные отношения, которые у меня были, порваны косо́й Хроноса. Это я чувствую отчетливо. Поэтому я просто не знаю, о чем мечтать. Поэтому я принял следующую установку на будущее: доживать, по силе возможности охраняя свой покой и одиночество. Это не очень весело, но как будто лучшая из возможностей. Во всяком случае советская наука от этого выигрывает.

Телеграмма, посланная в среду, достигнет меня в пятницу. Жду не только я, но и вся почтовая контора, ибо всем сие интересно. Пока я принимаю сочувствия окружающих и изучаю Сымацяня.¹ Целую Ваши ручки и Вас — Леон

¹ Сыма Цянь (ок. 140 г. до н. э. — ок. 26 г. до н. э.) — китайский историк. Речь идет о его книге «Избранное». М.: Гослитиздат, 1956.

<8 апреля 1956 г.>

Милая Эмма

большое Вам спасибо за разбор Татьяниной психологии.¹ Кажется — это так и есть. И за ясность, хотя она не полна. Неясно одно: это последнее заседание — заседание Прок-ры перед подачей в Верх. Суд или заседание одного для вынесения определения?² Разница тут не принципиальная, а в отношении срока, ибо в первом случае еще месяцы сидки.

А вообще Ваши письма отнюдь не расстроили меня, а, наоборот, успокоили. Конечно, я продолжаю томиться ожиданием; иначе быть не может. Однако, видя, что дело сдвинулось, я чувствую себя лучше и даже гораздо. Неопределенность всегда омерзительна.

А «Материалы сессии...» не трудитесь доставать. По Средней Азии у меня уже есть весь фактический материал (он очень скуден) по интересующему меня периоду. К тому же Сымазянь поглотил все мое внимание и надолго. Это книга очень умная, и быстро ее читать нельзя.

К сожалению, у меня опять не творческий период. На работе устаю, места для занятий нет, а это минимум условий, без которых нельзя. Вся моя работа была написана урывками, когда я просто не мог не писать. Затем — весенняя усталость. Зима всегда тяжела, а эта была осложнена болезнью, и в результате я вымотан. Просто удивительно, как сильно зависишь от температуры воздуха.

Прошу Вас — продолжайте писать хоть открытки.

Маму целую и приветствую. Целую Вас — Леон

¹ Речь идет о разборе сцены в саду в романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Кто-то из лагерного начальства с непонятными намерениями попросил у Левы получить психологическое объяснение А. А. Ахматовой реплики Онегина к Татьяне:

«...Вы ко мне писали,

Не отпирайтесь...» (Гл. 4, XII).

Анна Андреевна отказалась отвечать на этот вопрос. Чтобы не оставить просьбы Левы без ответа, я послала свою трактовку этой ситуации.

² Как я уже писала Леве, вынести определение по его делу должен был генеральный прокурор СССР.

10.IV.56г.

Эммочка, перечтите Чехова и убедитесь, что роль доктора принадлежит Вам, а не мне. Но помимо этого, сие философский 2-хтысячелетний спор, лишь оформленный Чеховым в беллетристическую форму и отнюдь не решенный. Кроме того, взаимопонимание не исключает споров, иначе будет «цитатничество и начетничество». То, что Ваше письмо было интересно и в точку, доказывается тем, что я стал подробно отвечать, а не отписался чем попало.

Задержка ответа начинает мне казаться странной, но подождем еще неделю, и если опять не будет, значит дело под сукном. Это, кажется, единственный способ продолжать консервировать меня. Умоляю, продолжайте писать информоткрытки. С ними легче. За посылку спасибо, ибо я уже все подъял и буду рад подкреплению сил. А мама не пишет?! Ну ничего, верно, не может от беспокойства.

Целую ее и Вас — Леон

14.IV.— 56.

Дорогая Эмма

Ваши открытка и письмо пришли одновременно. Последнее меня весьма порадовало. Но задержка продолжает меня изумлять. У нас произрастает оптимизм, но надежды не заменяют действительности. Я следую Вашему совету: читаю древнекитайскую историю и продумываю прочитанное. Авось найдет применение. Вполне понимаю чувства мамы и Ваши; ведь я-то притерпелся и научился ждать, а это вообще очень трудно.

Если будете присылать мне книги, то прошу по древнему периоду, т. е. до V в. н. э., а к средневековью у меня пропал вкус.

Передайте маме мои приветы и поцелуи. Благодарю Вас и целую Леон

21.IV — 1956

Эмма — спасибо

в каждом письме благодарю и всегда есть за что. Во-первых, за присылку «корейской поэзии». Это много лучше Цюй Юаня, но во-первых проще, а во-вторых, мама научилась. Во-вторых, за приятное известие, что в моей судьбе, наконец, приняли участие те, кому это надлежало бы сделать давно. Ведь ни для кого не секрет, что моя беда — это только литературное наследство.¹ В-третьих, обещание скорого результата, хотя... Вы видели картину «Веселье звезд» с Тарапунькой²? Там, неудачливый конференсье сочиняет стихи о себе, но слова не влезают в строку и он их обрезает, так что получается так:

«Но чего-то не хвата... И никакого результата...»

Это смешно и, представьте, так меня сейчас дразнят, конечно по-дружески, сочувственно. В-четвертых, хорошо, что исследования об Ань Лушане³ и Кюль Тегине⁴ удались. Я надеюсь, что их можно будет привести в состояние аналогичное хуннскому, дабы получился монолит, а недоделки не так уж страшны. Важно то, что есть, а не то, что чего-то не хватает. Всегда чего-нибудь не достает в большой книге.

В-пятых — за заботу о моем животе. Действительно, у меня усилился аппетит и кончились деньги, т. что это последнее авиаписьмо, а в табачном аспекте я с махорки перехожу на «стрелу». Маме я написал в Города, надеюсь, ее там письмо застанет.

Мой большой привет милому С. С. С. Ему же просил кланяться Серг. Конст.⁵

Целую Вас, милая, и еще раз благодарю — Леон

P. S. Лимоны не посылайте — они очень кислые и портят вкус чая. Перец лучше. Это ответ на Ваш вопрос.

Л.

¹ Об этом же говорил и А. А. Фадеев в своем письме в Главную военную прокуратуру 2 марта 1956 года. — Новый мир, 1961, № 12, с. 195.

² Фильм-концерт 1954 года с участием Л. Утесова, Ю. Тимошенко (Тарапунька) и др.

³ О своих занятиях Ань Лушанем (см. о нем примеч. 3 к письму от 23 декабря 1955 года) Анна Андреевна подробно писала сыну еще 19 ноября 1954 года. — Звезда, 1994, № 4, с. 179.

⁴ «Кюль-Тегин» — памятник тюркского рунического письма VIII века. Найден в 1889 году русским исследователем Н. М. Ядринцевым на берегу р. Орхон в Монголии.

⁵ О ком идет речь, к сожалению, неизвестно.

26.IV-56 г.

Милая Эмма

Спасибо за открытку. Я и сам уже расположился ждать до после праздника. Я взял себя в руки, переломил настроение и старательно делаю успехи на моем новом поприще. Качества я уже достигать, теперь нужно достичь быстроты в работе. Посылка еще, увы, не пришла, и я в очередной стадии пауперизации.

Просьба: позвоните С. С. и пусть он напишет Фед. Фед.¹, нашему с ним другу, по адресу: гор. Иваново. Гл. Почтамт. До востребования. Он будет очень рад.

В свободное от работы время я сплю, немного читаю и обдумываю историю Древнего Китая. Эта тема неисчерпаема. Если бы можно было начать жизнь сначала, я учил бы китайский, а не персидский язык.

Целую Вас, дорогая. Спасибо. Leon
На авиа нет денег.

¹ Фамилия неизвестна.

7.V.1956

Милая Эмма

Ваше письмо, посвященное живописи, пришло только третьего дня, но очень мне понравилось. Вероятно, Вы правы, но т. к. я не видел картин, то что я могу сказать? Сыма Цзяня Вам читать, пожалуй, трудновато. Это самый трудный источник, сложнее вообще не бывает, а комментарий недостаточен. Я не понимаю: чем они думают. Какой читатель настолько знает историю древнего Китая, чтобы разобраться в калейдоскопе имен и географических названий. Я разобрался, но ведь я специалист. Но и у специалиста издание вызывает досаду: почему перевод не сделан полностью. Ведь этим нарушена композиция книги и искажен замысел автора. Удивительно бесцеремонное обращение с гением. Сила Сыма Цзяня в том, что он мыслит диалектически и в каждом факте видит две стороны. К сожалению, Думан¹ этому искусству не обучен. Предисловие написано примитивно.

То, что была пауза, не беда, но теперь-то уж должен быть конец. Не правда ли?

Целую и благодарю — Leon

P. S. Эмма, Вы умная, дайте мне совет: «как в жисти (дальнейшей) жить». Это значит: какие взаимоотношения у меня могут возникнуть: старые, которые восстановятся, или совсем новые?

Я совсем запутался, а в нашем психическом состоянии любая доля неопределенности ядовита. Мама, внеся в меня эту неопределенность, причинила мне очень много боли и вреда для здоровья; Серунчик может Вам рассказать, как я чуть не помер от сердца, а ведь это было на нервной почве, когда вместо ответа на вопрос посылались описания тополя. Я не представляю, насколько изменилась жизнь и люди, а когда не представляешь цели — то как к ней стремиться? Но стремление домой единственный стимул жизни. Я должен знать — чего хотеть; разумеется, не в плане карьеры, а в плане психической жизни, т. е. взаимоотношений. Даже если ответ опять затянется, то решение, подсказанное Вами, вернет мне покой, который мама зачем-то разорила. Это было с ее стороны жестоко и бессмысленно. Не знаю зачем она это сделала. Я имею в виду воскрешение воспоминаний. Но дело не в том. Что и как?

Привет С. С. С. Его я люблю.

L

¹ Китаист Лазарь Исаевич Думан, под общей редакцией, с предисловием и комментариями которого вышло «Избранное» Сыма Цзяня. См. выше примеч. 1 к письму от 3 апреля 1956 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБИД

В семейных преданиях Хазиных сохранились два эпизода из жизни Нади. Когда ей исполнилось 6 или 7 лет, на ее день рождения были приглашены гости. Они играли в детской. Зашли туда взрослые, звать к праздничному столу, на праздничное угощение. Смотрят — никого нет, Надя сидит одна.

— Где же твои гости? — изумились старшие.

— Они ушли домой.

— Почему?!

— Я им намекнула.

— Как же ты намекнула?

— Я им сказала: «Пошли вон! Вы мне надоели».

Так рассказывал мне Евгений Яковлевич.

Прошло года два-три. Наденька уже гимназистка. У нее завелась закадычная подружка. Назовем ее хотя бы Зиной. Девочки забегали друг к дружке каждый день, провожали вначале одну, потом шли обратно и провожали другую, словом — неразлучны. Вдруг подружка исчезла. Наденьку спросили: «Что это Зины не видно?» «А я ее износила», — был ответ.

Собственно говоря, в этих двух сценках запрограммировано многое из Надиной будущей жизни. Во-первых, страсть к звуку слов, смысл которых не совсем для нее ясен. Во-вторых, чувство собственного интеллектуального превосходства. Видимо, ей скучно было со своими сверстницами — заурядными девочками. И, наконец, крайнее своеволие и бесцеремонное отношение к людям.

Центральный эпизод ее юности был рассказан мне ею самой в первый период нашей дружбы, когда она часто ночевала у меня. Не исключено, что в ее рассказах присутствовал элемент фантазии и не все было в действительности так, как она передавала. Но в таком случае самые ее грезы и фабульные преувеличения не менее характерны для ее личности, чем подлинные происшествия, случившиеся с ней в ранней юности, почти в отрочестве. Она рассказывала так:

Ей не исполнилось еще шестнадцати, когда она влюбилась в своего репетитора. Он олицетворял собой ее идеал: был умен, образован и вдобавок стремился к политической деятельности. Во всяком случае еще до отъезда Нади из Киева в 1921 году он успел побывать депутатом Рады. Этот репетитор был другом и товарищем самого старшего Надиного брата. Естественно, что он относился к ней очень бережно. Но Наде это не

нравилось. Мириться с неисполнением своих желаний она не привыкла: самая младшая в семье, она была всеобщим баловнем. Она решила. Убежала из дому на маскарад, заинтриговала там какого-то незнакомого поручика, поехала с ним в номера. Вернувшись домой, немедленно позвонила по телефону своему репетитору и торжественно сообщила о случившемся. Тот взвыл и потребовал, чтобы она тотчас к нему приехала, что и было выполнено. «Вы подумайте, в одну ночь двое!» — восхищенно говорила она мне. Восхищалась и я. Но не острыми ощущениями юной распутницы, а смелостью и решимостью шалой девчонки. У меня было чувство, что я имею дело с существом какой-то другой породы, и я приняла Надю в свое сердце такой, какой она была.

Когда настала моя очередь исповедоваться, я рассказала ей нечто диаметрально противоположное. И именно оно и позволило Наде заметить: «Это напоминает мне Ахматову».

Когда мне было 16 лет, я влюбилась в мальчика, которому было 14.

По мнению старших школьниц, он был похож на амура — пухлые розовые губы и ослепительные ровные зубы, он был косоглаз, но у него был прелестный взгляд, у него был сочный, свежий, уже не ломающийся голос и широкие плечи, а лицо освещалось прекрасным чистым лбом, тонкими выписанными бровями и широким нежным виском, точную копию такого лба можно было видеть на портретах, в то время висевших всюду рядом с портретами Ленина, Маркса и Энгельса, а сейчас не подлежащих у нас в стране упоминанию — нигде, никогда, ни в коем случае.

Мой мальчик пошел в мать — русскую женщину, а лоб взял у отца. Надеюсь, читатель уже догадался, что речь идет о Л. Д. Троицком и его старшем сыне.

Он учился со мной в школе один год, так как я окончила в 16 лет 7 классов, а ему оставалось еще два.

Я поступила в университет (где целый год металась, меняя факультеты), у меня должен был образоваться новый круг, новые интересы — но нет! Ничто не могло увлечь меня в этом разрушающемся заведении. У меня был приятель, который жил поблизости от меня, и мы вместе ходили в университет, хохотали и спорили, у меня была моя любимая подруга Елена, но не было новой жизни. Конечно, с моим пятнадцатилетним героем у меня тоже не было и не могло быть общих интересов, но мир погас с тех пор, как я его не видала.

Это задержалось на четыре года.

В первое же лето после окончания школы (лето 1920 года, когда я слышала в Политехническом музее Блока!) мой младший брат вернулся из школьной подмосковной колонии и по-детски рассказывал, как он с мальчиками подсматривал за моим героем и его одноклассницей. Они объяснялись в любви! Эта детская болтовня погрузила мою душу в черную яму.

На ноябрьскую демонстрацию я пришла в ненавистной мне университетской колонне, а он, ставший тем временем студентом рабфака, — со своими сокурсниками. Столкнувшись случайно с колонной старой школы, подошел поболтать и мой брат слышал, как, заметив меня в отдалении, он воскликнул: «Ой, как Гершгейн подурнела!» Я лежала в кровати и выла целый вечер, благо квартира была отдельная. Но каково было моим родным?

...На Арбатской площади, на углу Поварской, против «Праги» была фотография. Гуляя, я увидела в витрине фотокарточку двух очень, очень юных друзей с прическами бобриком,

возвышающимися сантиметров на десять над их головами и над этим лучезарным лбом! Это были мои знакомые — одноклассники Миша Розовский и Лева Троицкий. Какой у него был веселый и смущенный взгляд!

Я пережила это как солнечный удар и долгое время была больна.

Летним вечером мы встретились случайно на Воздвиженке (тогда она называлась улицей Коминтерна), и он немного прошелся со мной. В то время шла партийная дискуссия о профсоюзах. Он сказал, что его отец пишет в «Правду» полемические статьи, но Бухарин их не печатает. Я заметила, что ненавижу Зиновьева и Каменева, потому что они олицетворяют надвигающуюся косность и тривиальность. Каменев не так плох, не согласился он со мной, правда, он — «подаванец». Оказывается, Каменеву ставилось в вину, что в свое время он подавал прошение на высочайшее имя о помиловании.

Он сказал: отец уверен, что партия в конце концов убедится в его правоте.

И еще он упомянул что Ленин болен, а популярности его отца мешает то, что он еврей.

А потом мы простились и он пошел к Троицким воротам по асфальтовой дорожке, пересекавшей по диагонали замощенную бульжником круглую площадь, и я ничего не видела, кроме зубцов стены, темнеющего летнего неба, на фоне которых шел человек с широкими плечами, как будто он один в мире. Позднее я прочла в «Конармии» у Бабеля описание точно такого ощущения судьбы человека, удалявшегося под взглядами товарищей.

Я написала ему письмо, и мы встретились для того, чтобы передать его из рук в руки. Свиданье у Большого театра происходило летним утром, и моя старшая кузина-невестка Надя (в ту пору я нравственно прислонялась к ней) впоследствии вспоминала, что в моем рассказе об этом свидании «он» совсем не фигурировал, а все дело было в том, как освещало солнце Театральную площадь.

В ответном письме «он» мне писал, что, когда мы учились в школе, он ко мне относился «больше, чем просто хорошо», но потом он со мной не встречался и, естественно, забыл. А Соня (та самая, что была в школьной колонии) была самой интересной девочкой у них в классе. И я тогда же подумала, что у него психология офицера, ограниченного интересами своего полка, но он добавил, что весь их «роман» был построен на самолюбии, и потому они чаще бывали в ссоре, чем в дружбе.

Он был недоволен, что я упомянула в моем письме о влиянии на него отца, и решительно заявил, что взял фамилию матери, ушел из Кремля, поступил на рабфак, бросил школу, и поселился в студенческом общежитии.

Видимо, он был благородным человеком, потому что после падения отца стал ему другом и верным помощником, хотя фамилию его не носил уже никогда.

В 1926 г. отец его выступал с платной лекцией в Доме Союзов. Я была, и он мне тогда уже не понравился, его тип ораторского искусства показался мне слишком «французистым», особенно когда он, театрально подняв руку, закончил патетическим обращением: «Братцы шанхайцы!». Опальный вождь не занимал уже руководящих государственных постов, но мог еще выступать как общественный и политический деятель по поводу такого значительного события, как забастовка в Шанхае. А его старший сын Лев, моя бывшая любовь, стоял в очереди за билетами с компанией комсомольцев. Не помню, узнал ли он

меня, мы, кажется, даже не поздоровались. Он пошел с товарищами на галерку, и оттуда они делали политическую атмосферу зала. А в пустом первом ряду партера вертелась и оглядывалась по сторонам сильно нарумяненная женщина лет 30, известная многим мужчинам еще со времен фронтов первой мировой войны, где она подвизалась в качестве сестры милосердия. Это была Левина жена. На подступах к этому браку я случайно видела их вместе — восемнадцатилетнего Леву и истасканную, но красивую зеленоглазую В. — в Ялте, в компании так презираемой мною «золотой молодежи», веселившейся в Доме отдыха Совнаркома. Я пришла туда к знакомой мне со школьных лет дочери врача, связанного служебными и приятельскими узами с моим отцом. В их компании отдыхал тот жгучий брюнет в кожаной куртке, с которым Лева учился на рабфаке и жил с ним в одной комнате.

В Крым я ездила с доктором, который хотел на мне жениться. Мне было с ним невыносимо скучно. И вся курортная жизнь показалась сплошным мецанством. И вот Лева чувствует себя в этой пошлой обстановке как в своей стихии и живет с женщиной старше его на пятнадцать лет.

Ночь я проработала без сна в номере ялтинской гостиницы, вглядываясь в шумевшее за окном море. Уже совсем рассвело, когда я обернулась. На диване сидел мой «жених» и не сводил с меня глаз. Он просидел так всю ночь, а я забыла о его существовании.

Я думала о своей ошибке. Сегодняшняя встреча была безапелляционна, как смерть. Я со стыдом вспоминала тот ужасный вечер, когда я зазвала Леву к себе. Говорю «зазвала», потому что он стал избегать незнакомых семейств, подозревая, что я буду хвастать перед родными знакомством с сыном Троцкого. Как же он мало меня знал! Увидев, что я живу в отдельной комнате, он попрекнул меня комфортом, сравнивая мои «жилищные условия» со своей неустроенностью. Его товарищ и сожитель женился, и им приходится жить втроем в одной комнате. В 1925 году, когда мы встретились в Ялте, после тяжелого и длинного разговора он сказал сокрушительное: «Это нездорово. Тебе надо лечиться».

И как же легко отнеслась ко всему сказанному Надя — мой новый друг. Она удивительно умела действовать на угнетенную психику. Она снимала все комплексы. Ведь главным лозунгом ее жизни было: «То, чего люди стыдятся, вовсе не стыдно». Выслушав мою исповедь, она сказала: «Это похоже на Ахматову».

— Вот эта буржуазная особа вообразила, что может быть рабкором в вашей газете, — обратился Мандельштам к своему гостю, указывая на меня.

Я обомлела. Разве так рекомендуют?

— Да, именно так, вы ничего не понимаете, — возражала на следующий день Надя.

После своего иронического вступления Осип Эмильевич стал восхвалять мои литературные способности, уверяя, что я «могла бы делать другое», если бы не... и т. д.

Собеседником и гостем Мандельштамов был журналист, назначенный во вновь преобразуемую газету «За индустриализацию». Он набирал туда штат. Поскольку он стал бывать у Мандельштамов, предполагалось, что он был человеком выдающегося ума и широких взглядов. Тем не менее изящные словесные выверты Осипа Эмильевича на мой счет не произвели на него никакого впечатления. Он даже не пригласил меня зайти к нему в

редакцию. Евгений Яковлевич продолжал увлеченно спорить с ним на исторические темы, не отставала и Надя (как они любили этот жанр!).

Между тем кличка «буржуазность» преследовала меня совсем незаслуженно. Мой отец был тружеником, а не буржуа, и происходил из самой демократической среды. Но мне не могли простить нашу квартиру и жизнь «на всем готовом».

Еще хуже был штамп «рафинированный интеллигент». Это звучало как ругательство. Мне приходилось часто выслушивать его в редакции газеты, где в течение года я вела отдел «Мы знаем, что...», т. е. выжимала из рабкоровских писем по три строки отдельной хроники для последней полосы. Когда заведующему отделом надоело смотреть на мой грустный вид, он меня «сократил» (май 1927 г.). Я позорно плакала горькими слезами на виду у всех сотрудников.

Б. Н. Агапов, работавший в той же редакции, приводил в пример другого выходца из «буржуазной» семьи, тоже «рафинированного», по его словам, а вот же «сломался и ходит розовый». Речь шла о стройном мальчишке, который в первые дни являлся в редакцию вместе с мамой, изящной женщиной, кажется, тоже журналисткой. Очень быстро юноша прижился в газете, доставляя в редакцию прекрасные фотоочерки. Звали его Роман Кармен.

А сам Агапов, между прочим, «сламывался» на моих глазах: я видела через витринное стекло нашей редакции, как он шел по Тверской, весь опущенный, еле передвигая ноги, а потом появлялся в редакционном кабинете эдаким внушительным «бодрячком» в синей блузе.

Чтобы попасть в другую газету, оказывается, надо было пройти экспертизу. Это было новостью. В редакции «Известий» эксперт дал мне обработать небольшое сообщение о выступлении тов. Ярославского где-то на заводе. Я просидела час, измарала все гранки и, когда подала, с позором провалилась.

Причиной моего увольнения с нового места работы (лето 1928 г.) послужила опять-таки моя пресловутая «буржуазность».

Казалось бы, кто мог прельститься должностью делопроизводительницы в тресте «Утильсырьё»? А вот нашлась и у меня конкурентка — библиотекарша научно-технического отдела. Когда за полной ненадобностью этот отдел был ликвидирован, она механически лишилась работы. В годы нэпа это было катастрофой, найти место было очень трудно. Примириться со своим увольнением она не могла, но, узнав о ее претензиях, даже выдавшие виды члены месткома удивились. Она высмотрела меня в канцелярии и требовала, чтобы вместо нее уволили меня, так как я живу в семье и мой отец вполне обеспечен, он — врач Кремлевской поликлиники. В месткоме твердо знали, что «кто не работает, тот не ест», что родители обязаны содержать своих детей только до 18 лет, и даже воцарившаяся безработица не могла их заставить нарушить эти заповеди. Но моя конкурентка опиралась на свое родство с председателем Центральной партийной контрольной комиссии — в действительности она была только его однофамилицей. Тем не менее она добилась своего, я вернулась к «разбитому корыту», а она села за мой стол регистрировать «входящие» и «исходящие» треста «Утильсырьё».

Конечно, это было незаконно и мне следовало защищать свои права. Но для этого надо было обладать умением говорить с начальниками и «общественностью» и иметь совсем другие нервы. Мои были в таком расстройстве, что следующую службу в качестве секретаря

рабочих вечерних курсов я восприняла как каторжную работу. Уходя с курсов, я бежала к трамваю по Таганским переулкам, как будто за мной гонятся требовательные, капризные и властные рабочие. Я не могла служить на этих курсах по своему психическому состоянию, но в перспективе маячила Биржа труда с ее очередями, и я не смела бросить работу. Что было делать? Я плотнула большую дозу опия, имевшегося у меня как лекарство.

В это время позвонила по телефону моя Лена, а мне не так уж хотелось умирать, и я ей сказала о случившемся. Меня откатали, был устроен семейный совет, в котором деятельное участие принимала Лена. Она твердила: «Тебе надо переменить среду», — и советовала моему отцу достать мне путевку в «Узкое». Десять дней — и так это излишняя роскошь для такой бездельницы, как я, так постановила Надя-невестка. А ее мнение имело большой вес в нашем доме. Что я встретила в «Узком», уже известно. Но как ни важно было для моей внутренней жизни знакомство с Мандельштамами, оно не могло заменить мне профессии.

Между тем у меня было высшее образование. В первые годы после революции прием в университет был свободным. Мы с Леной, например, записались на философское отделение, когда ходили еще в 7-й класс гимназии, превращенной уже в Единую трудовую школу. В университете мы застали еще таких философов, как Бердяев, Ильин-Гегельянец (впрочем, он читал в музыкальной школе Гнесиных в маленьком особняке на Арбатской площади), Кубицкий, слушали историка Кизеветтера... Но вскоре вся эта блестящая профессура уехала навсегда за границу, и университет производил впечатление барского дома, отданного на попечение управителя и домашней челяди.

Конечно, так казалось не всем. Многие студентки удовлетворялись лекциями высокопарного и претенциозного Н. Л. Бродского, деятельного, маститого, но традиционно мыслящего П. Н. Сакулина, не замечали чванства и ограниченного педантизма Н. К. Пиксанова... Особенно увлекались лекциями и семинарами В. Ф. Переверзева, его прямым резким умом и мягким характером, его демократизмом и чувством личного достоинства. Но что мне было до его толкования Достоевского с точки зрения упрощенного социологизма? Мне, посещавшей философские диспуты и слышавшей выступления Андрея Белого?

Но что особенно отвращало меня от университета, это вузовцы. В аудиториях в ожидании лектора они пели хором; на вечерах танцевали под духовой оркестр; в общежитиях предавались бурным страстям. А мне виделось что-то напускное, аффектированное, взвинченное во всем, что они делали. У новых людей были чуждые мне вкусы, другие повадки, другие понятия о добре и зле.

Мне кажется, что пошлость и развязность студенческой аудитории пугала даже Брюсова. В университете он чувствовал себя менее уверенно, чем в организованных им литературных курсах, куда принимал учащихся по отбору, т. е. уже реализовавших свои литературные способности. Я помню его подавленный и растерянный вид на лекции, когда все девицы по инерции объявляли первым поэтом Блока, а мужчины в красноармейских шинелях нараспашку вскакивали на кафедру, перепрыгивали через спинки студенческих скамей и орали «под Маяковского» свои стихи. Однажды Брюсов не выдержал и обратился к аудитории: «Что вы все так любите Блока? Ведь он плохой поэт». «А

кто хороший?» — возмущенно кричали из рядов. «Пастернак», — удивил всех Брюсов. Он продемонстрировал:

.....
Как слепой щенок молоко,
Всею тьмю пихт неосознанной
Пьет сиянье звезд частокол.

Подобные строки пугали своей сложностью: оказывается, писать стихи очень трудно. У многих опускались руки.

У меня тоже заглохло тяготенье к собственной литературной работе. В брюсовский институт мне ходу не было — ведь я ничего не писала. У меня сохранялась мечта переехать в Петроград, но Надя-невестка меня запугивала, что я не справлюсь с самостоятельной жизнью без помощи родителей. Перспектива поселиться, может быть, в студенческом общежитии с этой ужасной, бойкой современной молодежью меня парализовала. Цвет передового литературоведения, сосредоточившийся в Петрограде, тоже отпугивал меня новизной делового, сухого и замысловатого формального метода. Правда, я любила читать книги Шкловского, но не за его теории, а за отдельные умные афоризмы.

Окончив зимой 1924 — 1925 г. трехлетний (упрощенный) курс отделения языка и литературы факультета общественных наук в Московском государственном университете, я вместе со всеми выслушала напутствие ректора. Он признал, что университет не дал нам в руки никакой специальности: «Лучшее, на что вы можете рассчитывать, это на место бухгалтера», — горько пошутил он. Тут-то я ощутила конкретно, как правы были все мои родные, уговаривавшие меня поступать на медицинский факультет. Тогда было общее тяготенье в технические вузы — считалось, что эра гуманитарного образования кончилась, а надо иметь в руках хорошую гуманитарную практичную профессию. Я даже пробовала учиться на естественном факультете, но это было мне совершенно неважно.

Отец устроил меня в издательство. Правда, на должность делопроизводителя в канцелярии, но считалось, что полезно войти в штат, а там способности и желание откроют дорогу и для более интересной работы. Ничуть не бывало!

На моих глазах взяли на место секретаря литературного отдела комсомолку, которая с большим достоинством покрикивала на «сильный пол»: «Рукам воли не давай, а то...» До тех пор я думала, что так разговаривают со своими «ухажерами» только горничные. Но «теперь господ нет», а следовательно, нет и понятия «горничные». Комсомолка начала самостоятельную работу в отделе, трудясь над редактированием политических брошюр. Я же своей пышной от природы прической, грустным лицом и неуместно острым языком вызывала только раздражение. Я написала директору письмо, полное высоких стремлений, и он перевел меня из канцелярии... в корректорскую. Через три недели, усвоив квалификацию подчитчика, я подала заявление об уходе. Меня не задерживали. А вокруг все были «при деле». Большие люди, получившие с приходом революции возможность реализовать свои проекты — в театре, искусстве, медицине, воздухоплавании, работали в

полную силу, с увлечением. В одно время с нами, часто в одном городе, жили и действовали замечательные личности и издалека украшали нашу жизнь, бросали отблеск великого и талантливого на наши будни.

Не прошел еще и энтузиазм маленьких людей, впервые приобщившихся к цивилизованной жизни. Другим давала чувство завоеванного счастья победа на фронтах гражданской войны. Наконец, люди, просто любящие честно работать, были рады, что кончилась сумятица войн, продрозверстки, национализации, приспособились к условиям специфического быта и... жили. Не надо забывать также о честолюбцах — они не могут существовать без ощущения восходящей карьеры.

Хуже всех было гуманитариям. Здесь больше всего чувствовалось насилие над мыслью. Все было заменено марксистскими концепциями, неумело декретированными до мелочей. Это приводило к отсеву. Многие педагоги бежали из школы на нейтральные профессии — стенографисток, чертежников-конструкторов, механиков, бухгалтеров... Эти добились более высокого уровня материального положения, и они жили упорядоченнее интеллигентов в бытовом отношении. Но с ними было душно.

Однако не надо забывать, что, несмотря на оковы «вульгарного социологизма», именно в эти годы создалась блестящая школа советской текстологии, открыли восемнадцатый век в русской литературе, прочли заново Пушкина, научились анализировать поэзию. Открылись такие новые области культуртрегерства, как художественное чтение с эстрады, больше всего артисты-чтецы любили выступать в клубах, где устраивались тематические литературные концерты, лекционная работа, ритмика и пластика, наконец, спорт.

Вот почему окружающие меня люди не могли спокойно взирать на мою апатию. «Как можно в такое время ничего не делать?» — спрашивали одни. «Ничего не знает, ничего не умеет, а все критикует», — говорили другие. Понятия наследственности, врожденных склонностей были отменены. Поэтому они не могли понять, какое право имеет незэрированный человек критиковать, допустим, материалистическую философию... «Надо уметь приспособливаться, писать так, как положено», — преподносили третьи нехитрую житейскую мудрость. Но вот этого я как раз и не умела...

Идеалом было положение так называемых «попутчиков» в литературе. Но у них был талант и имя, завоеванное еще до революции. Кто же мог на это претендовать?

«Тебе не нравится наше общественное устройство? Так борись, наконец!», — говорил мне вышедший из терпения отец.

Я не знаю, способна ли я вообще к политической борьбе, требующей храбрости и твердости, которых у меня не было. Но если бы посредством тренировок я достигла некоторых успехов в этом направлении, я не видела бы вокруг себя политических единомышленников и союзников. Враги Советской власти, контрреволюционеры в прямом смысле этого слова, были мне социально чужды. Помещики, крупные промышленники, офицеры царской армии, духовенство — я бы не могла пробыть в их среде ни одного дня, и они, в большинстве своем антисемиты, меня бы не приняли. Среди антисоветски настроенных людей в то время еще сохранялись такие, которые были тесно связаны с этой средой, несмотря на эмиграцию их главных представителей. В рядах меньшевиков или

эсеров, разбитых, но все-таки еще существующих, хоть в ссылках или на поселении, я бы скучала. Они казались мне ограниченными своими партийными традициями и лишенными поэтического чувства истории.

Вот каким образом с самой молодости, не принадлежа к побежденным классам, я чувствовала себя отщепенцем. У меня оставалось тяготение к более тонкой и богатой духовной культуре, но не было знаний, были определенные вкусы в искусстве, доступные немногим, но не было умения и таланта. Словом, я принадлежала к числу тех, кто, по слову Евгения Яковлевича, «не помещался» в современной жизни.

У меня был «Закат Европы» с самого того времени, когда он вышел в русском переводе (1923). Эта книга ложилась мне в душу как родные слова. Именно тем, что там проведен водораздел между людьми разной культуры, независимо от их профессионализации и эрудиции. Что касается различия между культурой и цивилизацией, это было усвоено мною еще раньше на лекциях Бердяева. Конечно, мне был не по плечу широчайший диапазон аргументации Шпенглера, материал из всех областей знания, которым он оперировал. Но наступление чужеродной толпы на высокоразвитую личность можно было ощущать без эрудиции, это была данность, цезаризм уже витал в воздухе, а отдельные афоризмы Шпенглера меня окрыляли. Например, «о морали больше всего говорят там, где ее нет», или о незавершенности «Братьев Карамазовых» как о признаке великого произведения. Когда я дошла до концепции Шпенглера об арабской культуре, исключительной на общем фоне смены культур, я подумала — это обо мне. Философ говорил, что отсутствие исторической судьбы и было судьбой арабов. А так как «свобода есть понятая необходимость», мне стало легче от этого сознания. Выходя ежедневно на улицу, я радовалась жизни, думая: «Вот я иду по земле, я живу без судьбы, и это тоже жизнь». Но все-таки, когда позже я прочла стихи О. Мандельштама в «Армении», они показались мне еще ближе своей непримиренностью:

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

В 1929 г. я училась на курсах машинописи, а по окончании поступила личным секретарем к О. Д. Каменевой. Она уже в это время впала в ничтожество. Была председателем добровольного общества «Техника— массам», а не ВОКСа, как раньше (через год ее еще понизили, переведя в добровольное же общество «Друг детей» и т. д. до ареста в 30-х гг. и расстрела в Орловской тюрьме во время войны).

Уже начались пятилетки, и выступать надо было по новому ритуалу. Ольга Давыдовна диктовала мне свои заготовки у себя дома, начинала с великим пафосом: «Бурный рост соцсоревнования...» — но дальше дело не шло. Я тоже не могла ничего придумать, и тогда призывался великодушный Б. А. Песис — один из немногих сотрудников ВОКСа, к которому Ольга Давыдовна смела еще обращаться после своего падения.

Лев Борисович Каменев жил не на своей квартире по Манежной улице, а где-то на Арбате у своей второй жены, а к себе приходил только писать в своем кабинете или читать вслух маленькому Юре сказки Пушкина. Иногда я печатала в его пустующем

кабинете. Это была огромная комната, уставленная в несколько рядов стеллажами с книгами. В центре этой великолепной, одной из лучших в Москве, библиотеки стояло конторское бюро с крышкой «гармошкой». Я заставала на нем недопитый стакан крепкого чая и пепельницу с наполовину раскуренными папиросами. Все это стояло со вчерашнего вечера — к моему приходу домработница еще не успевала убрать кабинет. Каменев работал над своей рукописью о Герцене. Случалось, что он просил меня через Ольгу Давыдовну перепечатать набело какую-нибудь страницу с его поправками. Аккуратно подклеенные вставки были сделаны мелким, на редкость разборчивым почерком.

Я чрезвычайно тяготилась этой работой, мои друзья мне сочувствовали. Елена ненавидела эту мою службу, потому что я была занята на ней целый день и часто по вечерам. Она в эти годы еще жила со своим будущим мужем А. А. Осмеркиным на положении второй жены. Пока он не развелся в 1931 году с первой и не поселился вместе с Еленой, она пребывала в постоянном нервном трансе и нуждалась в подруге для излияний. Она обрывала телефон Ольги Давыдовны, чтобы я разделяла ее волнение по поводу тысячи раз на дню претерпеваемых ею мелких уколов.

Осип Эмильевич сочувствовал мне, понимая, что положение личного секретаря, в домашней обстановке к тому же, унинительно и совершенно мне не подходит: «В самом деле, вы же не можете быть какой-то Оленькой в доме». Надя-невестка с моим братом посоветовали мне уехать в район и работать в избе-читальне или в сельской школе. «Они предлагают вам самоубийство!» — еще больше возмущался Мандельштам. Но как ни поносил он эту мою работу, он не мог пройти мимо искушения заинтересовать своей судьбой такое видное лицо, как Л. Б. Каменев. Ведь шел только 1930 год, и Каменев еще действовал на культурном и литературном фронте. Мандельштам задумал получить через меня протекцию Ольги Давыдовны к Каменеву. Она согласилась, и Каменев принял Мандельштама в своем кабинете на Манежной. Затем они перешли в столовую, куда из любопытства явился и старший сын Каменевых, летчик по имени Лютик. Я оставалась за машинкой в комнате Ольги Давыдовны. Через некоторое время туда вбегает Лютик и обращается ко мне со странными словами: «Я вам советую водить знакомство с мужчинами, которые могут *вас* опекать, а не с такими, которым *вы* должны покровительствовать».

Мандельштам отозвался о Каменеве сдержанно: «Gelehrter». Мне было странно слышать такую характеристику о недавнем члене правительства, но он настаивал, указывая на ограниченность мышления Каменева и немецкую аккуратность в его кабинете.

Для Осипа Эмильевича Каменев не сделал ничего.

Но Ольга Давыдовна попыталась найти Мандельштаму какое-нибудь занятие в обществе «Техника — массам». Он приходил туда несколько раз, однако заведующая учебно-методическим отделом, по фамилии Раппопорт, говорила мне сокрушенно: «Мандельштам — замечательный поэт, но с программами техникума ему, увы, делать нечего»

Вскоре после этой неудачной попытки Мандельштамы уехали в Армению.

Перед отъездом Надя надавала мне массу поручений, между нами велась оживленная переписка. Они пригласили меня провести отпуск в доме отдыха на озере Севан, обещая достать путевку на месте. Это было заманчиво. Не какой-нибудь Крым или Кавказ, куда

ездили все, а неведомое озеро и далекая поездка. Притом я буду с Мандельштамами.

К этому времени у Ольги Давыдовны отобрали штатную единицу на личного секретаря, и я числилась в штате общества как сотрудник какого-то отдела. Но администрация не давала мне почему-то очередного отпуска. Я протестовала на этот раз яростно, кричала «мы не крепостные», придумывала все новые и новые уважительные причины, вплоть до того, что выхожу замуж, — ничего не помогало. За этой эпопеей с любопытством следил весь коллектив, а я отписывала обо всех этих перипетиях Мандельштамам. Наконец администрация сдалась. Теперь началась эпопея с билетом. Я выстояла в очереди с ночи и, счастливая и ликующая, вернулась домой с билетом в кармане к концу дня. Я числилась уже в отпуске. Меня встретил смущенный отец и, выдержав небольшую паузу, сообщил: пришла телеграмма от Мандельштамов. Они извещали, что им не удалось достать мне путевку и чтобы я не приезжала.

Только тот, кто занят на обязательной службе или учащийся закрытого учебного заведения, может понять, что значит сорванный отпуск. В отчаянии я позвонила по телефону в Ленинград, где гостила в это время моя Лена, не связанная сроками, так как она была человеком свободной профессии — занималась художественным чтением. Она не только не смогла устроить мне ничего в Ленинграде, но еще упрекала меня за причиненное беспокойство: «Я думала, мой папа умер! Звонить по междугородному телефону из-за пустяка!..» «Сытый голодного не разумеет». Ей казалось это пустяком.

Глубокою осенью, когда Мандельштамы вернулись из Армении, я поняла, чем была вызвана их безобразная выходка. «Эмма, мы были вынуждены сжечь ваши письма, — деликатно сказала мне Надя. — Они очень живые, Ося даже хвалил их, но разве можно так писать: “Служба — опиум для народа?”» Они жили в таком высокопоставленном окружении, что испугались моего языка.

Когда этот разговор происходил, я уже совершенно забыла о нанесенной мне травме. Я с юмором рассказывала о летней поездке в Геленджик, который заменил Армению, и я была поглощена совсем новыми отношениями. Недаром у Мандельштамов меня называли «фениксом».

Семья зубного врача из нашей районной поликлиники сняла на лето дачу в Геленджике. По просьбе моего отца они присмотрели там и для меня комнату. Скучища.

В том же домике поселился с семилетним сыном Юрой какой-то военный из Ростова-на-Дону. В соседнем доме жил его однокашник. Военной формы они здесь не носили, и я считала их кавалеристами.

Мой сосед был красивый плотный блондин из крестьян, очень стеснительный. Впрочем, когда он передавал свои наблюдения о жизни, это было интересно. Больше всего он любил говорить о конях и даже помянул, в чьи руки перешел знаменитый иноходец Троицкого. А я и не знала, что такая лошадь существовала. Рассказал про давний курьезный случай в Кисловодске. Пришло известие, что туда едет Троицкий. Местное начальство переполошилось, навели чистоту, посыпали дорожки. Троицкий приехал, да не тот: это был его сын (вот как вел себя, оказывается, мой бывший герой!). Наш рассказчик видел в Кисловодске и Сталина. Очень грубый, кричал на мать. Как-то она задержалась, когда

Сталин уже пошел садиться в машину, он крыл ее матом при всех. В придаточном предложении наш собеседник упомянул: «Когда я прочесывал лес...» — «Во время гражданской войны?» — спрашиваю я. — «Нет, недавно». Я недумеваю (у нас идет 1930 год). Оказывается, раскулачивание. «А, карательная экспедиция?» — дерзко усмехаюсь я. Мои зубврачи и глазом не моргнули.

Геленджик — неважное место. Там закрытая бухта, но все-таки пляж есть, а если сделать далекую прогулку, открывается море во всей своей красе. Все бы хорошо, если бы не очереди в столовые. Во всех столовых несет кислой капустой и томатами. Приезжие лежат на пляже, а потом идут в двухчасовую очередь за обедом. Но мы в очереди не стояли. Наши военные дали нам талончики, и мы обедали в особом зале. Там были красивые официантки, особенно одна — высокая, с выгоревшими на солнце волосами, золотисто-смуглая, зеленоглазая, говорят, бывшая графиня.

Мой сосед запасся в Геленджике двумя мешками орехов. Перед отъездом он стал их сортировать и перебирать, сидя на веранде. «Ого, вы хозяйственный, вы — кулак», — смеюсь я. Вот тут мои зубврачи не выдержали. Отозвали меня в сторону: «Вы бы поосторожнее все-таки».

Он хотел встретиться со мной в Москве. Хвастал гостиницей, где всегда останавливался — на Сретенке, «Селект». Я не понимала, что это за гостиница «с зеркальными окнами», что ему особенно импонировало.

Когда зубврачи собрались домой, наши военные достали им билеты и мне обещали: «Вместе поедем до Ростова», дня через два. Мы остались вдвоем в опустевшей даче. У хозяйки заболела дочь, неизвестно чем, опасались скарлатины, и, боясь за своего Юру, мой сосед не велел ей входить в дом. Ночью он является ко мне в комнату. Пошечин я ему не надавала, но, хотя и с трудом, выгнала его. А на следующий день — расплата. «Зачем я буду доставать вам билет? Кто вы мне?»

Ну как я теперь буду выбираться из этой проклятой бухты? Отпуск мой кончается. Я побежала на станцию — туда не подступишься. Записалась в очередь, возвращаюсь домой, собираюсь идти опять — отмечаться. Но мой «Тарквиний» уже насладился мщением и стал меня уговаривать: «Ну куда вы? Дежурить в такой очереди? Можно ведь тифом заразиться!»

На следующий день мы поехали на пристань через весь город в какой-то бричке. Юра, я, рядом со мной по обеим сторонам два командира — через плечо портупоя, в кобуре револьверы и фуражки... с голубыми околышками. Это были гепеушники! Вот откуда гостиница «Селект», это их пристанище в Москве, как я потом узнала. Нас провожают завистливыми взглядами. Но одна женщина из очереди за билетами — интеллигентная, молодая, измученная, озабоченная... Как она посмотрела мне вслед!..

Мы сели на катер, плывем до Новороссийска и попадаем в сильнейший шторм. Мой «кавалер» не обращает на меня ни малейшего внимания: он занят Юрой. Держит его на коленях и качается с ним в обратном направлении: катер подбросит вверх, он наклоняется, катер нырнет — он выпрямляется, накренится вправо — он качнется налево, вперед — назад... и так все два часа плавания.

В Новороссийске на вокзале посадили меня с Юрой дожидаться в железнодорожном отделе ГПУ. Выправили билеты, идем на посадку, и тут выясняется, что нас разместили в

разных купе. Что тут случилось! Он ревел и грозил на платформе, не сядя в вагон, публика сбегалась и в испуге удалялась, а я слышала только одно слово: «Депеша, депеша, пришло из Ростова». Ничего не помогло. Сажая меня в вагон, он успел шепнуть: «Вы поаккуратней болтайте, с вами едет член коллегии ГПУ». Он не смел входить в наше купе.

«Это вовсе не мой муж», — нахально заявила я в ответ на какую-то реплику моих новых спутников и уткнулась в книгу. Это были «Бесы» Достоевского, купленные в Москве у букиниста за три рубля. Было жарко, мы держали дверь купе открытой. Только на станциях закрывали, чтобы не впустить четвертого пассажира — у нас пустовало одно место. Стоило моему важному спутнику выйти в коридор, его обступали разные пассажиры, старались обратить на себя его внимание. Особенно отличались «эпроновцы» — весьма элегантные и жизнерадостные молодые люди. Они рассказывали анекдоты, а он хвастал своей молодой женой. Говорил, что вывез ее из Ташкента и, как видите, стоило того. Она действительно была красива — стройная, с маленькой головкой, гладко причесанная. Но упорно молчала. Стоит в дверях купе, смотрит по сторонам в окна и ни слова не произносит. Вдруг открывает рот и пропоет тоненьким голоском одну фразу: «Зацелую тебя, ах, зацарапаю», и опять молчит.

«Значительное лицо» описывало, как хорошо их угощали в Тифлисе и Эривани, очень весело они путешествовали, только наш новороссийский поезд он ругал. Попали на него случайно, из-за какой-то неувязки в расписании, и все жаловались на медленный ход: поезд был не скорый, а пассажирский. От нечего делать я тоже стонала — как мы ползем. «Так вы ж никуда не торопитесь, — заметил мой спутник. — Так сидеть и посматривать в окно вы можете хоть целую неделю». Наметанный глаз у «члена коллегии». Он спросил меня, где я работаю. Я сказала, а потом, как будто не знала: «А вы где работаете? — Я работаю в ГПУ. А что, разве нельзя в ГПУ работать?» Видно, в глазах у меня что-то мелькнуло. Но я ответила бодро: «Конечно, почему же нет? Такое же учреждение, как и всякое другое». Он все-таки хотел обелить себя в моих глазах: «Я работаю в экономическом отделе». И хорошо, что так сказал: «Ловить спекулянтов, — думали мы все, — это дело благородное».

Тут попросилась к нам в купе простая женщина, да еще с больным ребенком. «Вот эту мы пустим?» — вопросительно обратился он ко мне. Конечно, я одобрила его решение, и мы уютненько доехали так до Москвы.

В Ростове я простилась со своим геленджикским покровителем, он был очень смущен и боялся болтовни Юры по приезде домой к маме.

Подъезжаем к Москве. Спутник любезно снимает мой чемодан, «спасибо за компанию», всеобщее оживление, всех встречают — меня никто.

У выхода с вокзала вижу: быстрым шагом идет «член коллегии». Совершенно другое лицо: козырек фуражки надвинут на глаза, в углу рта жесткая складка, кругом суетятся подчиненные, жена важно садится в машину. Мы в столице.

Некоторое время спустя я рассказываю Наде о ночном геленджикском приключении с гэпэушником, она говорит: «Какая вы дура, я бы обязательно попробовала».

— Эмма, вы флиртуете с моим братом? — услышала я в телефон веселый голос Нади. Она была возбуждена и обрадована возвращением в Москву из Армении. Мне был очень приятен ее удивленный тон, хотя она сама способствовала нашему сближению. Несколько раз она писала из Эривани Евгению Яковлевичу, поручая ему снести со мной по ее неотложным делам. Наконец я спросила его, не сердится ли он на Надю за то, что она его гоняет ко мне. «Если бы я не хотел, я бы не приходил», — ответил он твердо.

До тех пор мы встречались только у Мандельштамов или при них. Где бы они ни жили, Евгений Яковлевич навещал их, чуть ли не ежедневно, всегда без жены. То он прибежит поделиться с Надей впечатлениями от прочитанного тома мемуаров Сен-Симона, то заведут они разговор о трагической истории индейцев... Нередко с иронией упоминали конструктивистов, благо Софья Касьяновна была женой поэта Адуева и принимала у себя в салоне членов этой литературной группы. Постоянным объектом для шуток и насмешек была Женина теща. Она была предана музыке, давала уроки пенья, была труженицей, но ревностно придерживалась в жизни стиля «артиста». За глаза ее величали без отчества, просто Мелита, а учеников ее Женя и Надя прозвали «певунчиками».

Иногда Евгений Яковлевич позволял себе обнаруживать грусть, признаваясь в неустроенности своей жизни, в неумении приспособиться к требуемому стандарту, хотя у него уже вышла книга для старших школьников — историческая повесть из времен Великой Французской революции.

Мы сживали с ним на сундуке против Нади, а она лежала или сидела с ногами на тахте, уходя, он брал меня под руку и говорил тоскливо: «Уедем куда-нибудь», и мы все трое знали, что ехать нам некуда.

Из Киева пришло известие о смерти их отца. Перед отъездом на похороны они позвали меня на Страстной бульвар. Ни Осипа Эмильевича, ни Елены Михайловны почему-то не было. Мы сидели втроем, они говорили о случившемся. Рассказывали, как он, бросив уже адвокатуру, просиживал до последних дней жизни за письменным столом, занимаясь, если не ошибаюсь, математикой. Надя с любовью вспоминала его фразу: «Больше шестнадцати часов в сутки я работать не могу». Рассматривали его фотографии.

Эти несколько часов, проведенные вместе в трудный для них день, я долго хранила в своей душе.

С того дня, как Елене Михайловне посулили пять рублей за вежливое обращение со мной, я пользовалась ее абсолютной ненавистью и презрением. Еще в первые недели знакомства Евгений Яковлевич дал мне из своей библиотеки книгу В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе». Мандельштамы куда-то уехали, и у меня не было случая вернуть книгу. Наконец я позвонила по телефону, подошла Елена Михайловна, и я слышала, как на вопрос Евгения Яковлевича, кто его просит, она ответила: «Эта. Эмма». Чтобы загладить ее грубость, Евгений Яковлевич потом рассказывал, что все в доме были поражены моей обязательностью: «Ведь книги никто не возвращает». Но грешно было бы зачитать такую удивительную книгу, как прозрения Розанова о Достоевском, о Гоголе и о жизни.

Надины летние поручения из Армении показали Евгению Яковлевичу дорогу ко мне, на Щипок. Он ее обкатал.

Рассказывал, что однажды его «ударили по голове», от чего он никогда не мог оправиться. Там, где он служил экономистом, не терпели его манер и вида. В стенгазете появилась статья, где без всяких оснований утверждалось, что он бывший лицеист, следовательно, аристократ, «белоподкладочник», и — песенка его была спета. Больше он никогда нигде не служил. Он стал заниматься литературой, но считал себя историком, а не писателем. Уверял, что при старом режиме был бы издателем, сплывал бы вокруг себя «левых» писателей и художников — жил бы независимо и интересно.

Придя однажды ко мне, сел в свое любимое кресло и доложил:

— Я знакомаюсь с господствующим классом.

Это он пытался стать очеркистом. Попытка удалась. Его послали от радио в командировку на заводы и даже выдали кожаное пальто, которое я на нем видела до самой войны, а может быть, и после нее. В результате командировки вышла его книга «Урал сегодня». Особенного успеха она не имела.

Он жаловался на засилье «черненьких», которые наводняли все редакции и издательства и с большим апломбом выступали на диспутах в Доме Печати. Это были молодые люди, обязательно в больших роговых очках и вязаных жилетах под пиджаками. В тридцатых годах, правда, эти «ультрасовременные» деятели исчезли, но на смену им пришли «серенькие», в косоворотках с украинской вышивкой. У них не было ни блеска, ни самоуверенности, и не упивались они раздувшейся властью, но тихой сапой делали свое дело — запрещали все, чего не понимали. «Серенькие» набирали силу, Евгений Яковлевич называл их «нежитью».

Он любил делиться со мной впечатлениями от вернисажей и генеральных репетиций, которые он посещал неукоснительно, сопровождая туда свою жену — в те годы театральную художницу. При этом он забывал, что я была лишена этих впечатлений, так как в артистическом кругу у меня не было знакомых, которые могли бы меня пригласить, не было соответствующего костюма, а общественное мое положение было ничтожно.

В сентябре мне дали на работе профсоюзную путевку в дом отдыха на Черном море. Поехала я одна.

В эти дома отдыха были «заезды» в определенный день для всех получивших путевку на один и тот же срок. Моей попутчицей оказалась младшая сотрудница одного из московских научно-исследовательских институтов прикладной химии. Ехали мы опять через Новороссийск, но гэпэушников больше не повстречалось. Зато меня поразило их количество, дородность и самоуверенность в Метрополе, в очередях в кассы дальнего следования за билетами. Все залы были залиты голубым цветом их фуражек: я даже и не замечала раньше, как изменилась Москва за эти годы.

В Новороссийске нам должен был быть подан автобус из дома отдыха. Дожидаясь его, вся группа сидела на своих чемоданах посреди городской площади на самом солнцепеке. Сидели целый час. Все закупили сочных груш и хотели было утолить ими жажду, но вокруг толпами ходили жители окрестных станиц и просили подаяния. Я указала на них

своей спутнице: «Нет, нет, — отмахнулась она. — Я приезжаю сюда раз в год, чтобы позагорать и попитаться получше, и не могу подавать нищим».

Одну грушу я все-таки себе почистила и только начала есть, чувствую, кто-то толкает мою ногу. Смотрю: женщина с ребенком на руках подымает шкурку от груши, на которую я наступила, и дает пососать своему ребенку. Страшно! Я запомнила навсегда: Новороссийск, сентябрь 1932-го.

Архипо-Осиповка, куда мы приехали, — особенное место. Название свое оно получило еще в лермонтовские времена, по имени солдата Архипа Осипова, взорвавшего форт Михайловское и погибшего вместе с ним. В одном этом месте сочетаются Черное море, лиман, берег, покрытый лесом, фруктовые сады в станицах. Но публика в Доме отдыха Центросоюза состояла из работников прилавка, т. е. попросту из приказчиков. Они исполняли цыганские романсы двадцатилетней давности, играли в карты, читали порнографические стишки, купались, загорали, блудили. Дом был великолепный, двухэтажный, белый, опоясанный сплошным балконом. На втором этаже жили мужчины. По ночам они мочились прямо с балкона. Я изнемогала от отвращения. Женщины из моей палаты на первом этаже говорили мне, что во сне у меня на лбу появлялась страдальческая складка и все лицо выражало крайнюю степень напряжения. Я попросилась из белого дома в прелестный деревянный домик на берегу лимана, и мне разрешили туда перебраться, мотивируя эту поблажку тем, что я, мол, «нервнобольная». Вернувшись в Москву, я заболела тяжелой ангиной.

Когда, похудевшая и ослабевшая, я сидела вечером у Мандельштамов на Тверском бульваре (туда еще пришла Лена-подруга, которая уже довольно коротко познакомилась у меня с ними), раздался стук в окно. Осип Эмильевич вышел во двор, долго не возвращался и пришел с Евгением Яковлевичем.

Я не хотела с ним разговаривать, считая, что мы в ссоре и навсегда. Но он стал ко мне обращаться, а через несколько дней уже звонил по телефону, намереваясь приехать «перед вечером». Потом и Надя, и я упрекали Осипа: зачем он выпустил Женю? Но Мандельштам оправдывался: «Я ему сказал, что здесь Эмма, а он все-таки вошел». И опять этот торжественный многозначительный тон, с каким Мандельштам всегда говорил о чужих романах.

Как-то у меня была Надя, и когда настала пора уходить, пошел сильный обложной дождь. Я дала ей надеть свое старое черное пальто. Через несколько дней она зашла в нем к Хазиным-Фрадкиным. Когда там узнали, что это мое пальто, они схватили его и во главе с Мелитой стали водить вокруг него хоровод, дразня Евгения Яковлевича припевом: «Эммино пальто, Эммино пальто». Так рассказывала мне Надя.

Однако Елена Михайловна вовсе не всегда была так игрива. Наоборот, когда Евгений Яковлевич был у меня, она звонила по телефону, заставляла моих родных или соседей стучать в мою дверь, вызывала его к аппарату и требовала, чтобы он купил на обратном пути хлеб или не забыл купить в аптеке горчичники. А когда я в крайнем раздражении жаловалась на это Наде, она закатывала глаза, складывала губы бантиком, поскольку это было для нее возможно, и неожиданно произносила: «Бедная Ленка, кто же ей принесет

лекарства и поставит компресс, у нее такой тяжелый грипп». Принесла бы сама больной невестке проклятые горчичники! Но таков уж был Наденькин характер.

У нее было пристрастие дирижировать чужими романами, сводить и ссорить влюбленных. Она делала это виртуозно и коварно. Ей нравилось создавать вокруг того или иного лица атмосферу — притягивающую или унижающую — и управлять этим по своей воле. Излюбленный ее прием был, как это уже видно из предыдущих моих рассказов, передавать, что о вас сказали в ваше отсутствие. Она была принципиальная антиаристократка! То есть именно то, что не полагается делать воспитанным людям, она и делала. Живя у родных или знакомых, немедленно рассказывала в своем кружке, что делается в этом доме, хохотала, если Женя-брат напоминал ей о каких-нибудь правилах общежития.

Однажды ворвалась в редакцию «Крестьянской газеты», где я тогда еще работала, вызвала меня в коридор и огорошила возгласом: «С Женей все кончено, забудьте о нем». Она была уверена, что если он бросил в нее зубной щеткой с криком: «У меня нет сестры», — это означает, что он расходится и со мной.

Разумеется, эта семейная ссора не отразилась на моих отношениях с Евгением Яковлевичем, да и Надя с ним скоро помирилась. Но этот эпизод многое разъясняет в отношении Мандельштамов ко мне. Елена Михайловна все-таки чужая, а я, т. е. Эмма, — это «мы».

В это приблизительно время Хазины получили наследство из нью-йоркского страхового агентства. Хазин-отец засраховался еще до революции, но когда у нас открылся Торгсин, советская власть стала получать от американцев золото, а взамен предоставляла наследникам боны в магазины Торгсина. Женя и Надя собирались подарить что-нибудь и мне из этого свалившегося с неба «богатства». Пока что они бегали в магазин и выбирали все необходимое себе, Ане и Вере Яковлевне, что было вполне естественно. В один из последних дней этой оживленной деятельности Надя вбежала в дом с возгласом: «Эмма, всем не хватило». Оказывается, ей страстно захотелось обшить мехом костюм, который она заказала себе из торгсиновской материи. (Это оказалось ложью: костюм был прекрасно сшит, но никакого меха на нем не было.) Женя молчал.

Я бы не вспомнила об этом эпизоде, если бы история с этим наследством не имела для меня продолжения и развязки. Так бывает всегда в жизни, но мы не всегда это замечаем. Любая тема, даже самая ничтожная, живет вокруг нас, пока не найдет своего завершения. В этой книге оно еще впереди.

Я заболела. У меня появилась нервная экзема, как говорили врачи, возникающая обычно «после переживаний». Болезнь развивалась бурно, я ходила с перевязанными руками, иногда экзема перекидывалась на ноги, и тогда я лежала в постели. На службе у меня был приятель, профессор биохимии, который давал мне возможность лечиться у лучших специалистов в научно-исследовательском институте, но мой отец лечил меня в Кремлевской больнице. А лечили меня там неверно: облучали какими-то боковыми лучами рентгена, и это вызывало не облегчение, а ухудшение. Я хотела прекратить эти процедуры, но мне назначили вместо этого повторный курс. К сожалению, в дело вмешались семейные отношения. Мой отец по многим причинам слепо доверял молодому врачу, лечившему меня в

Кремлевской больнице, а тот, как это часто водится, ссылался на «заграницу»: мол, там теперь лечат только так. Мне неудобно было обращаться к другим врачам, так как моего отца все знали, а ходить в чужие поликлиники не под своей фамилией было противно; между тем болезнь обострялась. Мне посоветовали поехать в Ленинград и обратиться к тамошнему светилу — сыну знаменитого Павлова. В это время туда собрались Мандельштамы, и они взялись все узнать и записать меня к нему на прием. Я как раз окончательно слегла в эти дни, Надя была у меня и дала мне такое обещание. Я лежала в постели и считала дни и часы, ожидая их возвращения. Когда они вернулись и рассказывали мне о своей поездке, я наконец спросила о Павлове. «Какой Павлов?» — искренно изумилась Надя. Совершенно убитая, я напомнила ей об ее обещании, но она абсолютно о нем забыла. Однако она быстро нашлась и сослалась на то, что в Ленинграде им было ни до кого и ни до чего, потому что их охватил рецидив страсти, и все это время и днем и ночью они предавались в гостинице любовным утехам. Эта мотивировка была так же мало почтенна, как мало правдоподобна, но, так или иначе, Мандельштамы начисто забыли обо мне. Осипу это было простительно: он выступал в Ленинграде несколько раз, к нему ходили писатели, читали свои стихи, беседовали о поэзии, но Наде никакого оправдания не было и нет. В таких случаях я не обижалась, во всяком случае не выказывала обиды, а делала себе зарубку: не такие уж они мне друзья, как это казалось раньше.

Все эти обиды и шероховатости стирались под влиянием все еще очень живых взаимоотношений между нами. Следует даже признать, что раны и уколы, как и некоторые разочарования, еще больше привязывали меня к ним. Почему? Не знаю.

— Мы не можем поссориться, мы — родственники, — говаривал Евгений Яковлевич и упорно продолжал навещать меня. И опять пошли в ход неизменные «перед вечером», «днями» и еще: «Не гипнотизируйте меня взглядом».

Он привык разговаривать очень тихо, потому что у них на Страстном за стеной жили латыши, бывшие чекисты. Приходя ко мне, он устраивался в своем любимом кресле и, отложив на тарелочку недоеденный бутерброд, пониженным голосом рассказывал не об одних премьерах (где к нему привыкли как к «мужу Фрадкиной»), а, например, о статьях в комсомольской газете, где умный корреспондент писал о подготовке фашистского путча в Германии так, что между строк просвечивало наше общество; о самоубийстве секретаря Московского горкома партии — то ли он принадлежал к «правоуклонистам», то ли просто был умен; любимым рефреном его речей был афоризм Ключевского: «Государство пухло, народ хирел». Он рассказывал о своем друге — Я. Я. Рогинском, ученом-этнографе; о проводах в лагерь Галины фон Мекк, близкого друга Елены Михайловны и Евгения Яковлевича. Я ее никогда не видела, но должна была узнать и о ее браке с Румневым, известным танцовщиком-гомосексуалистом, тоже другом Фрадкиной и Хазина, о расстреле отца Галины Мекк, об аресте ее самой и приговоре. Искали валенки, ездили несколько раз на вокзал, ждали часами, стремясь встретить заключенных, ведомых под конвоем на посадку. Не для того, чтобы проститься или передать какую-нибудь вещь, а чтобы она увидела их лица, поняла, что ее не забыли друзья и не забудут.

Говорили о раннем постарении Мандельштама, о его повадках, нищете, неуживчивости, «непочтенная старость», с горечью повторял Евгений Яковлевич.

Вряд ли кто-нибудь выслушивал его с таким нежным вниманием, как я. Вот почему уже через десять лет, во время войны, Евгений Яковлевич писал мне в Москву из ташкентской эвакуации: «Для разговора мне нужна встреча, еще лучше комната, кресло, а если “герштейновский” чай, не говоря уже о вине, то чего лучшего» (17.09.42).

Да, несмотря ни на что, я относилась к ним всем как к родственникам. Я любила даже Аню, о чем я уже упоминала, и Веру Яковлевну. Красивее их всех была Аня — высокая, со стройными ногами и правильными чертами лица, и косо поставленные глаза ее были спокойные, серые. У Жени — карие, иногда с глубоким выражением, иногда с холодным блеском, очень красивые глаза, с косым разрезом, изящный нос, но у него уже были неправильные зубы и большой рот, и некоторая кривизна ног — намеки на Надину внешность. Ее ярко-голубые, большие, со странными зрачками глаза были самыми красивыми в семье, но ее резко выдающиеся вперед зубы, огромный рот, крючковатый нос и кривоногость, да еще большая отвислая грудь, делали ее, на первый взгляд многих, почти уродливой. Семья как будто вырождалась. Между тем психически неполноценной была Аня, а именно Надю мы все считали самой интересной из Хазиных, подпорченной, как острый сыр рокфор, одновременно болезненной и выносливой, напористой и кроткой, дерзкой и нежной, болтливой и умной.

Я любила их всех в их подспудной еврейской породе, вызывающей сны о какой-то былой, в веках, близости.

У Фрадких катастрофа. Отец Елены Михайловны попал под трамвай, ему отрезало ногу, и он умер в больнице. К этому несчастью никто, в том числе и я, не мог остаться безучастным, но особенно потрясло оно Осипа Эмильевича. Об овдовевшей матери Елены Михайловны он говорил с глубоким почтением, почти благоговейно. Мелита Абрамовна, над которой обычно столько смеялись, казалась ему величественной в своем горе. Библейскими красками описывал он, как она сидела выпрямившись за столом. Гордо и безмолвно. К сожалению, я не помню дословно его сравнений и метафорических описаний скорбного образа пожилой женщины. Но это было какое-то особенное уважение Мандельштама к смерти.

Естественно, все сходилось на том, что Елену Михайловну теперь надо особенно щадить. Меня это убеждало. Но с каким недоумением посмотрел на меня папа, когда я сказала ему, что Е. Я. не может порвать со своей женой из-за гибели ее отца. Он не понимал такой вялости чувств. Мама тоже иногда говорила задумчиво: «Это какой-то чеховский герой», а Лена, раньше покровительствовавшая нашей связи, теперь убеждалась, что «это не любовь». Сама она в самые тяжелые периоды своей жизни с Осмеркиным встречала с его стороны прямоту и открытость чувств. Он, например, никогда не ставил женщину в унижительное положение в обществе. Всюду бывал с Леной, она приходила к нему домой, когда он был еще женат на Катерине Тимофеевне. Там собирались гости, выпивали, танцевали, спорили об искусстве — и тут же была Лена, и Осмеркин не скрывал, что она ему близка и что он ее любит, а Катю тоже любит и не может ее

бросить. И все это понимали. Осмеркин приводил друзей к Елене на Покровский бульвар, где она по настоянию своей умной матери жила отдельно от родителей. У него даже появился особый термин для обозначения этой связи. Так, говоря о Тютчеве и Денисьевой, он приговаривал: «А у него была своя Покровка».

У нас дома было в ходу другое словечко, обозначавшее подобную ситуацию: «сутолока». Оно завелось от знакомого семейства — вдовы профессора с двумя взрослыми детьми. Они жили в интеллигентском районе Москвы, в Пименовском переулке, конечно в уплотненной квартире, но со всеми довоенными вещами в двух оставленных им комнатах: роялем, фотографиями, репродукциями с картин художников Возрождения и с подлинными полотнами знаковых художников, с запыленной библиотекой в шкафах и со словарями на трех языках. Дети тоже пошли по ученой части; дочь была талантливой, выбрала себе тонкую медицинскую специальность и сошлась со своим руководителем, известным ученым, женатым. Когда ее матушка, дававшая уроки немецкого и английского языков моему младшему брату, составляла расписание, она предупреждала: «Нет, в четверг неудобно, знаете, у нас сутолока в этот день». В этот день месье приезжал к своей любовнице — профессорской дочке и собственной ассистентке. Воображаю, что делалось в этой тесной квартирке. Так у нас и повелось: «Как живет такая-то?» — «спросишь сестру про ее бывшую гимназическую подружку, — замужем ли она?» — «Нет, у нее “сутолока”». Термины «любовник» или «любовница» совсем не подходили к нашей жизни, и звучали как грубое оскорбление. Взамен их укрепились простонародное «хахаль» и «хахалица», но старшее поколение этих слов не употребляло, и наши родители страдали от безъязычия и неловкости.

Евгений Яковлевич избегал появляться со мной в общественных местах. Один только раз я позвала его с собой на второй билет, когда меня пригласил на свою премьеру Яхонтов. Но что это был за мучительный вечер! Еще хуже, чем было на вечере Мандельштама в Политехническом музее — я уже писала об этом. На моноспектакль Яхонтова Елена Михайловна явилась без билета, демонстративно сидела где-то на приставных стульях, вела себя шумно и вызывающе. Хорошо, что ее не интересовал вечер в Доме ученых, куда мы пошли вдвоем слушать выступление Карла Радека в день Красной Армии (1933). Тут обстановка была для нас спокойнее, но зато сам Радек нам не понравился. Евгений Яковлевич никогда не был поклонником этого деятеля, а теперь утвердился в своем мнении: «Желтый журналист», — твердил он брезгливо.

В конце концов при всей моей преданности и ему и Мандельштамам мне наскучило такое положение. Убедившись, что в том виде, в каком я его имею, он от меня никуда не уйдет, я тратила свои душевные силы уже не на радостное ожидание свиданья с ним, а на то, чтобы получше и интереснее проводить промежуточные вечера. Мало-помалу у меня перенесся центр тяжести интересов. Однако решающим моментом в переломе моего отношения к нему послужил один конкретный эпизод. Как-то по стечению обстоятельств Мандельштамы затащили меня на Страстной, несмотря на то, что Елена Михайловна была больна, и тяжело больна.

Она лежала отгороженная шкафом, но видно было ее продолговатое фарфоровое лицо с эмалевыми голубыми глазами. Евгений Яковлевич с виноватым видом подавал ей лекар-

ство в кровать и весь светился такой нежностью и тревогой, что нельзя было не понять, что он просто очень любит свою жену. А смеяться над ее «салонными» претензиями и утверждать, что это брак по расчету, очевидно, он считал признаком хорошего тона. А еще вернее, что он сам себя старался убедить в этом, и он продолжал еще не раз повторять, что мы с ним оба «ходим по жизни, хромая», а деловитость, умение зарабатывать деньги и пробивная сила Елены Михайловны служат ему поддержкой, без которой он не выживет.

Все это вместе убедило меня, что мой роман с ним — «пройденный этап», как тогда любили говорить.

Между тем одно происшествие выбило меня опять из этой ровной колеи. Это было в августе 1933 г., когда Мандельштамы вернулись из Крыма. Надя, конечно, немедленно позвонила мне. Я радостно побежала к ним в Дом Герцена. Но здесь меня ждал удар. Я застала у них Б. С. Кузина, который жил с ними в Крыму, но вернулся в Москву раньше их, и почему-то редактора и публициста М. О. Чечановского. В свое время он познакомился с Надей в «ЗКП» и заходил иногда к Мандельштамам толковать о Константине Леонтьеве или Чаадаеве, демонстрируя свой широкий кругозор, необычный для советского редактора. Однажды он заметил, что видел меня в трамвае, и задался вопросом: о чем так глубоко задумалась эта женщина? о чем она так упорно думает? Мне очень хотелось ему ответить: «О Надином брате, только и всего».

Сейчас Кузин собирался идти за хлебом. Почему-то все присутствующие громогласно и бестолково подсчитывали талоны, прикидывали, сколько хлеба следует по ним купить, и несколько раз при этом упомянули имя Евгения Яковлевича. Я испугалась: что случилось, почему Борис Сергеевич должен покупать ему хлеб? И Надя небрежно, но очень отчетливо поясняет, что «Женя, уезжая, оставил нам свои хлебные карточки». И я, изумляясь, вернее, стараясь скрыть свое изумление, узнаю, что «Женя с Ленкой уехали в Углич».

Когда все ушли, Надя мне объявила, что Женя оставил ей для меня сто рублей, чтобы я могла поехать куда-нибудь отдохнуть. Двадцать пять из них Надя самовольно сняла и послала маме в Киев.

Я попросила у нее угличский адрес, она мне дала его с легким, вероятно, притворным сопротивлением, а я, понимая, как неприятно будет увидеть это Елене Михайловне, и радуясь этому, послала туда письмо, в котором обвиняла Евгения Яковлевича в мещанстве. Впоследствии, в разговоре со мной, он назвал это письмо отвратительным. Вероятно, так оно и было. Но такое позорное бегство, да еще под покровительством Мандельштамов, тоже было отвратительно. Больше того, Осип Эмильевич еще раз имел удовольствие поставить меня в глупое положение в связи с этой историей моих отношений с Евгением Яковлевичем.

Забегая вперед, дополню этот перечень обид еще одним эпизодом.

Дело было уже в Нацпокинском переулке.

Мандельштаму не хватало умных слушателей его «Разговора о Данте», это мы знаем. Елене Михайловне очень хотелось устраивать у себя литературные чтения, это мы тоже знаем. Она была знакома с Пастернаком, дружила с его женой, когда-то они учились вместе в ВХУТЕМАСе, и она предложила устроить у себя встречу обоих поэтов. Я никогда не стремилась бывать в обществе и плохо понимала не только «Разговор о Данте», но и некоторые из последних

восьмистиший Мандельштама, и как раз стихи, которые Надя повторяла с особенным восторгом, например: «Должно быть, мы Айя-София с бесчисленным множеством глаз». Я и сейчас не понимаю это восьмистишие и не считаю, что поэты должны писать такие стихи, которые можно раскусить, только обложившись справочниками, философской и исторической литературой. Итак, можно было пойти к Фрадкиной и читать там «Разговор о Данте» без меня. Конечно, мне было бы не особенно приятно слушать, как все пойдут туда, где Евгений Яковлевич будет радушным хозяином, но я не могла претендовать на то, чтобы Мандельштамы не посещали своих родственников. Надо было только деликатно меня предупредить о создавшемся положении. Но Мандельштам, именно он, а не Надя, поступил иначе.

Мы сидели втроем в меньшей проходной комнате — Осип Эмильевич, Нина Николаевна Грин и я. Нади не было. Зазвонил телефон, Осип Эмильевич вышел в соседнюю комнату и, закончив переговоры, вернулся довольный и оживленный. Он обратился к Нине Николаевне с любезнейшей улыбкой: ну вот, все устроилось. На днях (он назвал число) он будет читать «Разговор о Данте» Пастернаку и Шкловскому. Чтение состоится у Евгения Яковлевича. Там будет еще один приятель Елены Михайловны, Мария Петровых, «и вот вы приходите, пожалуйста». И он стал долго и подробно объяснять Нине Николаевне, как найти квартиру Евгения Яковлевича. Я обомлела. «А меня вы не приглашаете, Осип Эмильевич?» — «А вы не можете туда пойти из-за Елены Михайловны».

Тут между нами пошел такой разговор, что Нина Николаевна не знала, куда деваться, и поспешила уйти. Осип бегал по квартире, хлопал дверьми, сверкая глазами, и наконец, гордо закинув голову, вскричал торжествующе: «С Леной меня связывают *узы крови*!» На это раз я была жестоко уязвлена. Не к лицу Мандельштаму такое ханжество. Ему, который, по словам Нади, проповедовал брак втроем: это, мол, крепость, защищенная от внешних врагов; ему, который не удосужился зарегистрировать хотя бы свой брак с Надей (кстати, я должна была в 1957 г. свидетельствовать в суде, что они «состояли в фактическом браке»); и, наконец, почему его не связывали узы крови с первой женой Евгения Яковлевича? И кому он это говорит? Мне, в моем фальшивом положении? Осип Эмильевич уже увидал по моему лицу, что зашел слишком далеко. Он подсел ко мне и стал говорить с отеческой нежностью. Но что он говорил?! «Мы хотели, чтобы Женя развелся с Леной и женился на вас, но вот видите — это не произошло. И хорошо, что не вышло: какой он вам муж? Он не может ни о ком заботиться, его нельзя себе представить отцом... Вообще 40 лет — это критический возраст. Мужчина либо переваливает через него благополучно, либо...» и т. д. Это было самой настоящей провокацией. Ведь это не я устроила ему сцену ревности за то, что он идет к Елене Михайловне, а она поставила, очевидно, условие, чтобы меня не было. При этом Мандельштамы прекрасно знали, что на людях я вела себя с Евгением Яковлевичем безукоризненно. Опасаться им было нечего. Они меня продали, чтобы угодить Елене Михайловне. Нужно было видеть, с каким удовольствием Осип Эмильевич *не приглашал меня при Нине Николаевне*. Это было сделано с чисто садистическим порывом. С какой стати?

Даже Надя поняла, какое безобразие было учинено надо мной в тот день. Еще бы! Она ведь помнила, как мы с ней бегали к известному психиатру Ганнушкину, чтобы заочно

консультироваться о всяких психических задержках у ее брата, и как Ганнушкин хмуро посмотрел на меня и сказал на прощание: «Пожалейте себя». А о чтении «Данте» она вспомнила в самые трагические дни выхода Мандельштама с Лубянки: «Ваше счастье, что вы не были тогда у Жени». Осип Эмильевич утверждал, что в ГПУ было известно все, о чем говорилось в этом собрании. Я была чрезвычайно удивлена. Трудно себе представить простого смертного, который в состоянии был бы передать своими словами речи Пастернака, Мандельштама и Шкловского, да еще по поводу такого сложного и первозданного произведения, как философско-эстетический трактат «Разговор о Данте». (В 1974 году Елена Михайловна мне сказала, что Шкловский не пришел на это чтение, а кроме Пастернака были художники Шестаков, или Киселев, а может быть, Татлин, и еще Я. Я. Рогинский).

А теперь вернемся к тому, что происходило со мной после бегства Е. Я. в Углич.

Вот уже четвертое лето, испорченное Мандельштамами и их окружением. В первое — 1930 года — эпизод с отмененным приглашением на озеро Севан и последовавшая за этим скука в Геленджике. Второе — 1931-го — на даче на берегу р. Клязьмы, несмотря на веселую компанию, состоящую из моих друзей, омрачено было отъездом Евгения Яковлевича на Кавказ. Третье — 1932 год — ознаменовалось острой ссорой с ним, странным времяпрепровождением моим в Архипо-Осиповке и острым заболеванием аллергией. Что делать в четвертое лето? В это время родители Лены собрались плыть на пароходе в Астрахань. Достали еще один билет и деликатно пригласили меня составить им компанию.

Я очень любила Волгу, я плавала по ней на пароходе в 1922 году, в 1923-м, в 1928-м и вот теперь в 1933-м. От года к году чувствовались перемены.

На этот раз на пароходе делалось что-то странное. Было слишком много народу. Женщины были в ажиотаже из-за группы иностранцев, оказавшейся в числе пассажиров. Это были немцы. Одеты они были в штатское, но выправка — военная, и среди них не было женщин. Ну, прямо рота. Среди прочих иностранцев выделялась одна, тоже немецкая, семья совсем другого типа: женщина не первой молодости, долговязый молодой человек в хорошем костюме, говорили — инженер. Затем одну каюту занимали двое бывалых советских командиров, кругом шептались, что у них большие исторические заслуги. Они были очень требовательны к уборщице. А на нижней палубе по традиции ютился третий класс — там лежали вповалку на полу.

Надежда Исааковна (мать Лены) выбегала на каждой пристани купить что-нибудь съестное. Тогда еще на Волге водилась стерлядка. Константин Абрамович (отец Лены) умолял посидеть спокойно, ведь им нечего не нужно. «Ты будешь кормиться в этом буфете? Ха-ха-ха», — смеялась она своим характерным мефистофельским смехом. В столовой были невозможные очереди, и когда мы подходили к раздаче, там уже ничего не оставалось. Прежде всего и лучшая еда отпускала гепеушникам, которых на пароходе было ужасно много. Их привилегии приводили в бешенство Надежду Исааковну, и она громко восклицала, что им-то как раз и надлежало бы соблюдать очередь. Женщина, ехавшая со мной в одной каюте, умоляла ее быть осторожнее: «перестаньте, потише, потише», но это раболепство распяляло Надежду Исааковну еще больше. А моя попутчи-

ца, наоборот, со всеми ладилась, и даже ходила на самую верхнюю палубу целоваться за трубой. Не с гепоушником ли?

Все женщины хотели флиртовать с немецкой ротой. Их суета выводила меня из себя, и я где-то внизу, у душа, встретившись с упомянутыми командирами, изливала свой гнев, приводя в пример Достоевского: бывая за границей, он, как известно, отнюдь не восхищался европейцами. Они спросили меня, как я думаю, кто эти иностранцы? Выслушав мой ответ, они загадочно промолчали. Не доплыв до Астрахани, немцы сошли с парохода, оказалось, что они с советскими значками и орденами, это были коммунисты — «рот фронт».

Пароход причалил к одной из промежуточных пристаней, где его ожидала уже двое суток несметная толпа. Увидев это сонмище людей, которые стали брать приступом пароход, капитан, вероятно, сообразил, что его судно не может их вместить, и без предупреждения велел убрать трап и быстро дал команду отчаливать. Толпа взревела. Некоторые попрыгали в воду, кое-кто успел зацепиться и вскарабкаться на нижнюю палубу, а какая-то женщина передала уже на пароход своего ребенка, но сама не успела сесть. Она истошно кричала. Пассажиры стали просить капитана причалить еще раз и взять на борт эту женщину. Но он указывал на толпу, и пароход продолжал удаляться от берега. А командиры стояли на палубе, смотрели на всю эту варварскую сцену, и у одного из них по лицу заходили желваки, а другой не мог сдержать нервного тика. Но они молчали. Ночью я слышала сквозь сон, что пароход тихонько подводят к каким-то мосткам, пониже той пристани, и там несчастную мать подхватили.

Немецкий инженер из хорошей семьи танцевал в салоне фокстрот со своей пожилой спутницей. Еврейское советское семейство (муж, жена, дочь) любовались ими. Инженер пригласил дочку потанцевать. Она не ударила лицом в грязь и топталась в его объятиях совсем как за границей. Родители сияли. С этого дня инженер гулял по палубе только с этой девицей, и они говорили по-французски. Но почему-то их не оставляли вдвоем, всегда к ним присоединялись какие-то молодые люди. Константин Абрамович добродушно ухмылялся, говоря: «Сразу видно, кто они такие. Раньше таких называли “гороховое пальто”». На пароходе заговорили, что вот у нас и свадьба устроилась, немецкий инженер женится на нашей пассажирочке, и уже знали, в каком городе они будут жить в Германии, и какая у них будет квартира, и как ей повезло! Не знаю, что вышло потом из этой «помолвки».

Вдруг все высыпали на палубу. Мы подплывали к Сталинграду. Город начинался изда-лека, выстроившись по прямой линии вдоль берега. Трубы, трубы, заводы... Иностранцы просто обалдели. Особенно инженер. Глаза у них загорелись, ноздри раздувались, они задыхались, глядя на эту мощь и простор, сверкающие под солнцем. Некий добровольный гид завладел вниманием остальных пассажиров, картинно и самодовольно давая никому не нужные объяснения.

Меня раздражала манера туристов садиться на лавочку под окно и там беседовать. Вечерком таким манером уселась перед моим окном парочка — немец из «роты» и молодая русская особа. Как она болтала, как старалась! Момент был для нее решительный. Я не выдержала и попросила их перейти в другое место. Они были поражены моим нахальством, и обо мне по пароходу пошла молва: «Шизофреничка».

— Поделом, — сказала мне Надежда Исааковна уже в обратном плаваньи. — Вы не умеете сдерживаться. Вы помните, как вы на меня гаркнули в Астрахани?

А зачем она меня раздражала? Она, видите ли, объявила, что Ваня Приблудный лучший поэт, чем Осип Мандельштам.

Ваня Приблудный, больше известный исполнением блатных песен, чем сборниками своих стихов, был приятелем моей Лены и, как большинство молодежи, обожал ее мать — горячую, участливую, открытую. В Астрахани он жил в короткой ссылке («за недонесение»), и как же был он рад, когда Ленины родители его навестили. Он служил там в архиве, говорил, что у него прекрасные отношения с начальством, и действительно устроил мне одноместную каюту, что было нелегко. Я была ему благодарна и вообще разделяла симпатию к нему моих милых спутников, но считать его более крупным поэтом, чем Мандельштам?! Нет уж, извините.

В остальном, впрочем, Надежда Исааковна проявила вкус, радовавший мою душу. Все, например, в один голос утверждали, что после Сталинграда Волга скучна — пустые берега. Но вопреки обывательскому вкусу нам бесконечно нравились разлившаяся дельта, соленый запах моря и желтые обрывы песчаных гряд — четких, как геометрический чертеж. Где-то далеко стоял верблюд.

Иван Приблудный показывал нам астраханский кремль, водил по улицам и на пестрый, шумный восточный базар. Было тепло-тепло, золотой сентябрь. Между прочим, в Астрахани в ресторанах очень хорошо кормили, гораздо лучше, чем в Москве или на пароходе, а черную икру мы ели ложками, правда, какую-то необработанную. Я сделала маникюр на дому у молоденькой мастерицы, которую мне порекомендовал Ваня Приблудный. Она сказала мне с застенчивой улыбкой, что скоро бросит свое ремесло: она выходит замуж и очень удачно. Ее жених заведует каким-то отделом в ГПУ.

Возвращались мы вверх по Волге тем же пароходом, но уже опустевшим. Начинаясь октябрь. Становилось холодно. На каждой пристани подсаживались новые попутчики — плыли по своим делам. Большинство было знакомо с членами экипажа. А у капитана, темноглазого, с тяжелыми веками (говорили — он грек), обнаружили два брата и сестра, все четверо с одинаковыми сонными и страстными глазами. В салоне сестра подсаживалась к пианино, рядом с ней оказывался какой-нибудь знакомый пассажир, и она пела ему свои простенькие песенки. И куда они все доплыли? Так иногда хочется знать обо всех встретившихся в жизни.

НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА

Когда Николай Иванович Харджиев жил один на Кропоткинской улице, я часто его навещала. Однажды, по ходу разговора, он припомнил любопытные слова Ахматовой о поэзии Мандельштама: «... представьте себе, я больше всего люблю и не ранние, и не поздние его стихи, а какие-то средние...» Даже позу и тон Ахматовой он тогда еще помнил: «Она лежала на диване и, повернув голову, почему-то медленно выговаривала каждое слово». Манеру Анны Андреевны говорить медлительно, с паузами я хорошо знала. Это бывало в тех случаях, когда у нее созревала новая мысль.

Под «средними» она, очевидно, подразумевала московские стихи О. Мандельштама тридцатых годов. В то время она часто повторяла жалостно: «...Я трамвайная вишенка страшной поры / И не знаю, зачем я живу...» (строки из стихотворения Мандельштама 1931 года «Нет, не спрятаться мне от великой муры...»). И еще она любила цитировать строфу из его стихов 1935 года, посвященных памяти О. А. Ваксель: «И твердые ласточки круглых бровей / Из гроба ко мне прилетели / Сказать, что они отлежались в своей / Холодной стокогльмской постели».

Спору нет: «Московские стихи» О. Мандельштама выглядят беднее, чем философские из «Камня», насыщенные удивленным прислушиванием к мирозданию, к соседствующей природе и к себе. Они уступают также торжественным стихам начала двадцатых годов, с их напряженным вживанием в глобальный исторический смысл большого времени. Стихи «тридцатых» могут также показаться простоватыми рядом с многоцветным орнаментом, сотканным из скрытых ассоциаций и реминисценций в полнзвучных воронежских стихах. Тех самых, о которых Корней Иванович Чуковский, возражая мне, сказал как-то в Переделкине: «...не чудные, а чудные».

Реплика Чуковского заставляет вспомнить отзыв Блока о выступлении Мандельштама в петроградском Клубе поэтов в 1919 году: «Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только». Известно также осторожное отношение к поэзии Мандельштама Виктора Борисовича Шкловского: «Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно». Это наблюдение содержится в «Сентиментальном путешествии» Шкловского, по времени совпадающем с отзывом Блока. Но уже в тридцатых годах, когда Виктор Борисович и Осип Эмильевич часто встречались для беседы «во весь ум», Шкловский написал литера-

турный портрет Мандельштама в форме личного письма к нему. Я читала тогда же эту неожиданную эпистолу из подъезда в подъезде Нащокинского. По существу, в оценке поэзии Мандельштама оно сходилось с давнишним отзывом Блока. Об этом можно судить по запомнившейся мне афористичной фразе Шкловского: «Вы — заставленный».

Для Ахматовой в стихах большого поэта важнее всего было услышать живой человеческий голос и индивидуальную интонацию, которую она называла новой гармонией. В творчестве Мандельштама тридцатых годов явственно проступает прямой автобиографический элемент. Это как бы наглядно подтверждает его же слова о том, что стихи пишутся под влиянием потрясения — радостью или горем, все равно. Об этом есть запись Ахматовой в ее отрывочных воспоминаниях о Мандельштаме.

Из поздних стихотворений Мандельштама Ахматова выделяла лишь одно — «Еще не умер ты, еще ты не один...». Следуя своей манере, она часто скандировала полубившиеся ей два стиха оттуда: «...И беден тот, кто сам полуживой / У тени милостыню просит». Однако личная, а не философская тема жизни и смерти звучала не менее сильно и в других стихах Осипа Эмильевича — «каких-то средних». О них-то я и хочу поразмышлять. Стремлюсь подойти ближе не к принципам его поэтики и не к движению его мысли — об этом уже много существенного и значительного сказано современными филологами, а к тому, что терзало и томило его в те дни. Чтобы проникнуть в эту заповедную область, мне придется брать высокие барьеры: преодолевать влияние таких вещей, как «Листки из дневника» Анны Ахматовой, «Воспоминания» Надежды Мандельштам, ее же «Вторую книгу» и дополнительную «Книгу третью», составленную Н. А. Струве. В этом деле мне помогут мои собственные наблюдения — ведь я была рядом с Мандельштамами именно в эти годы (1928 — 1937).

«ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА»

После посмертной реабилитации Осипа Эмильевича в 1956 году Анна Ахматова написала стихотворение «Я над ними склонюсь, как над чашей...». Непосредственным поводом к нему послужило рассматривание рукописей Мандельштама, наконец-то извлеченных Надей из своих тайников. Но это лучшее из лучших стихотворений Ахматовой не могло быть напечатанным целиком еще долгие годы. Даже в издании «Библиотеки поэта» (1976) в основном тексте были помещены только две строфы, остальные мы находим в отделе вариантов в качестве «другой редакции». Теперь (90-е годы) оно печатается уже целиком, я напому текст этого стихотворения в его единственной полной редакции:

О. Мандельштаму

Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть —
Окровенной юности нашей
Эта черная нежная весть.

Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи, и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.

О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там,
Это кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам.

Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

Это ключики от квартиры,
О которой теперь ни гу-гу...
Это голос таинственной лиры
На загробном гостящем лугу.

1957

«Легальными» двумя строфами (3-й и 4-й) Анна Андреевна открыла первоначальную редакцию «Листков из дневника», задуманных как проза о Мандельштаме. Но органического единства не получилось. Свое понимание судьбы поэта — соратника и друга — Ахматова выразила только в посвященном ему стихотворении.

В начале «Листков» со свойственным ей лаконизмом Ахматова чертит образ поэта отдельными штрихами. Очень важно, например, ее суждение о характере памяти Мандельштама: «Он вспоминать не умел, вернее, это был у него какой-то иной процесс, названье которому сейчас не подберу, но который несомненно близок к творчеству». Мы узнаем, что он был «блестящим собеседником — учтив, находчив и разнообразен». Говорил о стихах «ослепительно, но пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку». Вместе с тем «хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки». Только в передаче Ахматовой мы могли услышать признание Мандельштама, что он «так долго думал о Пастернаке, что даже устал», или решительное о Марине — «я — антицветаевец». Именно от Ахматовой мы услышали авторитетное суждение о том, каким «огромным событием» была для Мандельштама революция, которую он встретил «вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, но известным поэтом».

К сожалению, эти первые наброски были вытеснены проблемами так называемой «личной жизни» Мандельштама, которыми Анна Андреевна неожиданно занялась. Может быть, этот уклон произошел потому, что «Листки» имели особое, отчасти полемичес-

кое назначение... Впрочем, мне следует рассказать об этом подробнее, поскольку я была свидетельницей и даже соучастницей начала этого процесса.

В 1956 году после относительной реабилитации Мандельштама¹²⁸ Анна Андреевна мне сказала: «Теперь мы все должны написать о нем свои воспоминания. А то, знаете, какие польются рассказы: “хохол... маленького роста... суетливый... скандалист...”». Она имела в виду издавна бытующие в литературной среде анекдоты о Мандельштаме.

Надежда Яковлевна тоже считала важным предварить поток сплетен живыми рассказами людей, близко знавших и любивших Осипа Эмильевича. К их числу она справедливо причисляла и меня. Правда, начиная со своей «Второй книги» она отняла у меня эту роль и заменила ее другой, но это произошло после того, как я с ней навсегда порвала отношения в 1968 году из-за ее наветов на Николая Ивановича Харджиева. Но пока мы остаемся в 1957 году.

В то время Надя еще не помышляла о собственных воспоминаниях. На ее плечи ложились другие заботы: пробивать издание сочинений Осипа Мандельштама, договариваться с Союзом писателей о составе комиссии по литературному наследию, собрать рукописи поэта, работать с Харджиевым, заключившим уже по ее рекомендации договор с «Библиотекой поэта». К тому же она не жила еще в Москве. Работая в высших учебных заведениях в Ташкенте, Ульяновске, Чебоксарах, Пскове и даже в Чите, она приезжала в Москву только на каникулы. В эти приезды она много встречалась с диссидентами, особенно с бывшими зеками, и, естественно, была захвачена всей политической атмосферой «оттепели». Она признавалась мне, что не может еще решить, написать ли ей принципиальное письмо Хрущеву или засесть за свои воспоминания. Выбор был сделан несколько позже.

Начав писать свою первую книгу, Надя очутилась как бы в состоянии шока. Она погрузилась в свою ушедшую жизнь с Осипом Эмильевичем, постепенно по ступеням переживая все ее повороты. Это было беспощадное вживание в казалось бы забытую жизнь, а в действительности лишь временно отодвинутую вглубь. Не сразу к ней вернулось понимание сущности их совместной жизни. «Я была его подругой, а не только женой», — с каким-то удивлением говорила она мне, наново осмысливая сущность своего союза с Мандельштамом.

В эти дни мои встречи с Надей в квартире Шкловских в Лаврушинском переулке были трогательными и волнующими. Но вскоре она стала лепить на старом материале свой собственный образ явно в ущерб образу Осипа Мандельштама. К этому явлению мы еще вернемся.

Между тем «Воспоминания» стали распространяться у нас в самиздате в начале шестидесятых годов. Анна Андреевна узнала об этом от своей названной внучки. «Акума, там есть много о тебе», — наивно рассказала Аня, уже прочитавшая эту запрещенную книгу. «Казалось бы, надо было Наде показать мне, прежде чем распространять свою книгу», — недоуменно заметила Анна Андреевна. Сама она относилась к вдове поэта и друга с большим вниманием. «Листки»

¹²⁸ Напоминаю, что Мандельштам был реабилитирован лишь по второму делу 1938 года. Дело 1934 года (сатира на Сталина) было пересмотрено только 28 октября 1987 года, то есть после смерти Надежды Яковлевны.

ни в одном слове не расходились с Надиными версиями. При этом они были изначально задуманы как тенденциозная вещь. В этом я убедилась на собственном опыте.

Следуя пожеланию Анны Андреевны, я начала приводить в порядок свои единичные записи о Мандельштамах. Первые же наброски связного текста я показала ей. Не дочитав до конца и второй страницы, Анна Андреевна вскричала: «Нет, нет! Об этом нельзя писать!» Запрет относился к беглому упоминанию о распре Мандельштама с А. Г. Горнфельдом. Я удивилась. Этот литературный скандал был широко известен, неоднократно освещался в печати, сохранилось множество документов, относящихся к этому делу, наконец, вся «Четвертая проза» Мандельштама вошла на этом конфликте. «Почему же о нем нельзя даже упомянуть?» — «Потому что... потому что... (она задохнулась от волнения...) потому что Осип был неправ!»

Это — принципиальная позиция. Следовательно, было заранее условлено, что литературный портрет Осипа Мандельштама должен строиться на утаивании целых пластов его пестрой и бурной жизни. Я не могла принять эту систему строго подобранных умолчаний. Между тем одностороннее освещение личности Осипа Эмильевича повлекло за собой ряд искажений. В «Листках» встречаются эпизоды, в которых пресловутый «нас возвышающий обман» превращается в самую вульгарную неправду. Настало время, когда все эти темные места можно и нужно высветить.

ПРЯМЫЕ ОШИБКИ В «ЛИСТКАХ»

Ахматова пишет: «Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания Осипа Эмильевича о нем и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники могут сказать это о себе?»

Ничего кроме недоумения эти слова Анны Андреевны вызвать не могут. Разве она забыла, как Надя вернулась со свиданья на Лубянке с Осипом и объявила в отчаянии, обращаясь ко мне: «Эмма, Ося вас назвал...» Тут же выяснилось, что Мандельштам назвал остальных 9 или 11 человек, которым он читал свою сатиру на Сталина, за которую и был арестован. Среди них он назвал и саму Ахматову и ее сына Льва Гумилева. Теперь (девяностые годы) мы уже располагаем документальным подтверждением этого события. Имею в виду публикации судебного дела Мандельштама в № 1 «Огонька» за 1991 год и в «Известиях» за 1992 год, № 121—125. Правда, напечатаны только выдержки из следственного дела, но чем бы они ни были дополнены при исчерпывающей публикации, никто не сможет назвать безупречными показания Мандельштама об Ахматовой и Льве Гумилеве. Напомню еще раз, как воспроизвел Осип Эмильевич реакцию Левы на выслушанные им стихи: «... одобрил вещь неопределенно-эмоциональным восклицанием, вроде “здорово”, но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь была ему зачитана». Как же отнеслась Анна Андреевна к этой сатире? По словам протокола, она указала «на монументально-лубочный и вырубленный характер этой вещи». Какие благородные показания Мандельштама могли предъявить Леве на следствии в 1949—1950 годах — непонятно. Во всяком случае Особым Совещанием и генеральным проку-

рором СССР они были поняты однозначно: «Факты антисоветской деятельности Гумилева, изложенные в его показаниях, подтверждаются в показаниях Пунина, Борина, Махаева, Мандельштама и Шумовского». Ясно, что Лева не мог назвать поведение Мандельштама на Лубянке безупречным. Только покрывив душой, смогла Анна Андреевна так возвысить образ Мандельштама в его положении подследственного арестанта. Пусть все это было «ложью во спасение» — во спасение чести большого поэта, но, сбившись с пути однажды, трудно уже было Ахматовой вернуться на прямую дорогу.

Это сказалось в какой-то неуверенности, с какой Анна Андреевна, обычно такая точная в своей прозе, повествует о важных событиях творческой биографии Мандельштама. Недоумение вызывает, например, такое место в «Листках»: «В своих стихах, где он хвалит Сталина — “Мне хочется сказать, не Сталин — Джугашвили” (1935 год?), он сказал мне: “Я теперь понимаю, что это была болезнь”». Тот, кто знает хронологию встреч Ахматовой с Мандельштамом, никак не поймет, когда же было это «теперь». Дата, с вполне понятным сомнением поставленная Ахматовой — 1935? — тут не поможет. Она ведь прекрасно помнила, что навестила в Воронеже Осипа Эмильевича в феврале 1936 года. Тогда «Оды» и в помине не было. Мы это знаем из писем С. Б. Рудакова к своей жене, в которых он описывал весь ход поэтической работы Мандельштама начиная с апреля 1935 года по июнь 1936-го. В следующий раз Анна Андреевна виделась с Мандельштамами уже в Москве в мае-июне 1937 года. Там они общались почти ежедневно, пока его не выслали из Москвы. Это было для него полной неожиданностью, настолько лояльно он был настроен в это время по отношению к властям. Последняя встреча Анны Андреевны с Осипом Эмильевичем была в Ленинграде осенью 1937 года. Рассказывая ретроспективно, как Мандельштамы прожили этот год, Анна Андреевна пишет: «...Им стало нельзя даже показываться в этой московской квартире... Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. В Ленинграде Осип прочел мне все свои новые стихи, но переписывать не давал никому... Осип был тогда уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе устроили его вечер». За выражением «непонятное упорство» скрывалось многое, чего Анна Андреевна даже еще и не знала. Не были известны любовные стихи Мандельштама, обращенные к «сталинке» Лиле Поповой — «К жизни и смерти готовая, / Произносящая ласково / Сталина имя громкое, / С клятвенной нежностью, с ласкою». Не был опубликован еще ряд писем к писателям и в их Союз, в которых Мандельштам просил, требовал, чтобы выслушали и обсудили его творческий отчет о сделанном за три года высылки, и не было известно Ахматовой, что, бывая нелегально у Осмеркиных в 1937—1938 гг., Осип Эмильевич с большим пафосом читал забегавшим туда на огонек знакомым вот эту самую свою «Оду». С моей точки зрения, это безусловно было болезнью, но признаваться в этом Осип Эмильевич не мог. Времени на это не было отпущено.

Таким же анахронизмом дышит замечание Ахматовой о Мандельштаме-друге. «В последний раз, — читаем в “Листках”, — я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они — он и Надя — приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалиптическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами». Тем не менее Анна Андреевна рассказывает: «Для меня он не

только великий поэт, но и человек, который, узнав (вероятно, от Нади), как мне плохо в Фонтанном доме, сказал мне, прощаясь — это было на Московском вокзале в Ленинграде: “Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом — ваш”. Это могло быть только перед самой гибелью». В какой дом мог приглашать Ахматову Мандельштам, если весь пафос его предгибельного существования на воле был в бездомности. Но это прощание на вокзале идеально вписывается в 1933 год, когда Мандельштамы впервые получили свою квартиру в Москве, в Нащокинском переулке. Тогда, как известно, Ахматова воспользовалась приглашением Мандельштама (в феврале 1934 года) и, как не всем известно, много жаловалась Наде на свою уже тяготившую ее жизнь с Пуниным, в одной квартире с его первой женой и дочкой. Надя, любившая рассказывать любопытным о наклоне «лебединой шеи», «королевской походке» и о прочих эффектных позах Анны Ахматовой, исподтишка насмеялась над ее бытовыми недоразумениями с Анной Евгеньевной Пуниной. «Стареющая женщина...» — снисходительно замечала Надя (Анне Андреевне было тогда 44 года). А в 1957 году Ахматова, с ее точной ассоциативной памятью, была совершенно сбита с толку постоянным взятым на себя обязательством идеализировать образ Мандельштама, вопреки ее же сентенции «...поэтам вообще не пристали грехи», «он ни в чем неповинен, ни в этом, ни в другом и ни в третьем...» Тут, то есть в «Поэме без героя», речь идет об амнистии грешнику, а в «Листках» отвергается самый факт греха. Безусловно, Анна Андреевна была несвободна в своих «Листках», находясь под сильным воздействием направляющей руки Надежды Яковлевны.

МАРУСЯ

Особенно отчетливо влияние вдовы Мандельштама проступает в строках, связанных с именем Марии Сергеевны Петровых (1908— 1979).

Перечисляя зачем-то любовные увлечения Мандельштама (начиная с 1914 года), Анна Андреевна продолжает: «В 1933—1934 г. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение “Турчанка” (заглавие мое), на мой взгляд, лучшее любовное стихотворение XX века (“Мастерица виноватых взоров...”). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно, совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк Мария Сергеевна знает на память.

Надеюсь, можно не напоминать, что этот дон-жуанский список не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок».

Рассказ полон намеков и недоговоренностей. Остается впечатление, что автор стремился не столько сообщить нечто существенное, сколько умолчать о чем-то самом главном. У вдумчивого читателя это не может не вызвать целого клубка недоуменных вопросов. Например.

Строки из «Волшебного» стихотворения Мандельштама не приведены, хотя Мария Петровых помнила их наизусть в то время, когда Ахматова писала «Листки» и они часто дружески встречались. Почему?

Если под влиянием короткой влюбленности поэт пишет «лучшее любовное стихотворение XX века», значит, он поэт-импрессионист, вдохновляющийся мгновенным настроением или «случайным головокружением», как пишет об этом увлечении мужа Надежда Яковлевна. Но Мандельштам — не Бальмонт и не Игорь Северянин. Он — поэт более глубокого склада.

На непременно условии короткости увлечения Мандельштама Марией Петровых особенно настаивает Надежда Яковлевна. Но это неверно. Встречи Мандельштамов с Марусей продолжались весь сезон 1933—1934 года. Вспомним, как я встретила ее у Мандельштамов, любовно слушавших ее болтовню, или, скажем, милый лепет. Это было между октябрём и ноябрём 1933 года. Далее, 13 января 1934 года Лева, живший у Мандельштамов, встречал старый Новый год у Марии Петровых.

А когда Надежда Яковлевна легла в больницу на обследование, Осип Эмильевич и Лева, оба влюбленные в Марусю, убеждали и просили ее пожить у них — как же, мол, они просуществуют это время без хозяйственной женщины в доме. Ей эта роль не улыбалась, но она охотно навещала их в Нащокинском, видимо, ей это было интересно. Все указывает на уже устоявшееся знакомство.

Резким диссонансом звучит поэтому позднейший рассказ Надежды Мандельштам об этой любовной истории («Вторая книга»). В ее подаче Мария Петровых «на минутку втерлась в нашу жизнь, благодаря Ахматовой (он даже просил меня не ссориться из-за этого с Анной Андреевной, чего я не собиралась делать)». Две-три недели он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что, не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил только новой любовью... Ахматова уехала, Мария Петровых продолжала ходить к нам, и он проводил с ней вечер у себя в комнате, говоря, что у них «литературные разговоры».

Но они встречались не только в Нащокинском. Осип бывал у Маруси где-то на Полянке, где жили ее родные (мать, сестра, брат?), в Гранатном переулке, где жила она с мужем. Дело не в этом, а в том, что любовь эта длилась дольше, чем 3—4 недели, была глубже, чем это изображает Надежда Яковлевна, и, как выяснится в дальнейшем, закончилась весьма драматично.

Версия Ахматовой в «Листках» ничем не отличается от Надиной, если не считать крайне вульгарных выражений, допущенных автором «Второй книги». Режут ухо такие клише, как «случайное головокружение», «потерял голову» о поэте, который находил другие слова для обозначения своего чувства. Например — «На дикую, чужую / Мне подменили кровь» в любовном стихотворении 1920 года, обращенном к Арбениной. Не говоря уже о «Мастерице виноватых взоров», о котором речь пойдет у нас дальше.

Что безусловно верно в Надиной интерпретации, это то, что Марию Сергеевну привела к Мандельштамам Анна Андреевна. Это было еще осенью, когда Ахматова ненадолго приезжала в Москву. А в более длительный февральский проезд она ввела Марию Сергеевну в свой избранный московский литературный круг. С ее приездом квартира Мандельштамов стала неузнаваемой. Навестить Ахматову приходили старые друзья по Цеху поэтов — М. Зенкевич, В. Нарбут, почему-то нанесла и приветственный и прощальный визиты первая жена Пастернака Евгения Владимировна. Приходил известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди. Водила она Марусю и к другим пушкинистам. Я помню рас-

сказ Анны Андреевны о сильном впечатлении, произведенном на Григория Осиповича Винокора чтением Марией Сергеевной своих стихов.

В поздних записях Марии Петровых, опубликованных посмертно, содержится интересный рассказ об этом времени в Москве и о первом ее знакомстве с Ахматовой и Мандельштамом.

«3 сентября 1933 года я впервые увидела ее, познакомилась с нею. Пришла к ней сама в Фонтанный дом. Почему пришла? Стихи ее знала смутно. К знаменитостям — тяги никогда не было. Ноги привели, судьба, влечение необъяснимое. Не я пришла — мне *пришлось*. “Ведомая” — написал обо мне Николай Николаевич Пунин. Это правда. Пришла как младший к старшему».

А вот запись прямо на интересующую нас тему: «В 1934 году вместе с А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштамом я была приглашена к бывшей жене Пастернака Евгении Владимировне (Тверской бульвар, 25). Там я читала стихи и слышала драгоценные слова Бориса Леонидовича — и его одобрение и призывы к большей смелости. Потом я встречалась с ним уже у него (на Волхонке), и чем больше его узнавала, тем больше любила. Он был человеком огненного сердца, гениального ума. Добрый, чрезвычайно отзывчивый человек, для которого чужое горе сразу становилось своим».

В другой заметке она говорит о своем отношении к трем названным поэтам: «Мои чувства к каждому из них, мои отношения с обоими совершенно различны, но оба эти поэта (Пастернак и Ахматова — Э. Г.), оба эти человека существуют для меня навсегда». «Меня поражает, — пишет далее Мария Сергеевна, — и восхищает поэзия Мандельштама, но почему-то не была она “кровно моей”»¹²⁹.

Анна Андреевна познакомила Марусю со своими старинными близкими друзьями — Надеждой Григорьевной и Георгием Ивановичем Чулковыми. У них молодая приятельница Ахматовой тоже имела успех и признание. Памяткой этого знакомства осталась известная фотография, снятая в Нащокинском. На ней очень чувствуется специфика мандельштамовской квартиры. Голая белая стена, на которой слабо отпечатались свисающая сверху гирька кухонных часов. На этом фоне стоят четыре писателя (слева направо): Чулков, Петровых, Ахматова, Мандельштам. Маленькая, хрупкая Маруся явно чувствует себя смущенной, попав в компанию таких знаменитых двигателей уже прошедшей, но прославленной русской культурной эпохи. Фотография работает как знак ее посвящения в некий орден *настоящих* поэтов. Надежда Яковлевна подчеркивает это в своей «Второй книге». Она пишет: «Есть фотография — Мандельштам, Ахматова, Чулков и Петровых. Снята у нас в квартире на Фурманном переулке¹³⁰ — Ахматова пожелала, чтобы первая фотография была литературной, а вторая семейной — там есть и я, и дед, и Александр Эмилевич». Однако Мария Петровых попала и в литературную, и в семейную группу. Она сидит рядом с Надеждой. На правом фланге маститые поэты, а на левом жена, Маруся, отец и брат Осипа Эмилевича в свободных, непринужденных позах.

¹²⁹ Петровых Мария. Избранное. М.: Художественная литература. 1991. С. 350, 351.

¹³⁰ Мандельштам Надежда. Вторая книга. М.: Московский рабочий. 1990. С. 161—162. Надежда Яковлевна пользуется новым названием Нащокинского переулка — принятым в 60-х годах в честь жившего там Д. А. Фурманова.

Я невольно воспринимаю эту фотографию как намек на прокламируемое Мандельштамами устройство семейной жизни. Тройственные союзы, чрезвычайно распространенные в 20-х годах, уходящие корнями в 1890-е и у нас уже сходящие на нет в 30-х, оставались идеалом Мандельштамов, особенно Надежды Яковлевны. Она расхваливала подобный образ жизни, ссылаясь на суждения Осипа Эмильевича. Например: брак второем — это крепость, никаким врагам, то есть «чужим», ее не взять. От него самого я таких слов не слышала, да они и не нужны были, ведь модель Мережковский — Зинаида Гиппиус — Философов была у всех на памяти, а Осип и Лиля Брики плюс Маяковский — перед глазами.

Правда, в разговорах со мною Осипа Эмильевича проскальзывали иногда какие-то другие вариации этой проблемы, но они долгое время оставались для меня не совсем ясными.

Ну а что касается Маруси, то она только выражала крайнее удивление по поводу «Второй книги» Надежды Мандельштам. Там, как мы помним, было сказано, что она «втерлась» в их дом. Пораженная, уже шестидесятилетняя Мария Сергеевна рассказывала общим с Ахматовой друзьям, что именно Надежда Яковлевна упорно зазывала ее не только приходить почаще, но и ночевать, предлагая для этого какой-то сундук. Мария Сергеевна, не понимая, в чем дело, не забывала о подчеркнутом интересе к ней Мандельштамов. Это явствует из дневниковой заметки, написанной, как указала сама Петровых, до выхода «Второй книги», то есть до неожиданного грубых слов Нади о ней.

«Я очень жалела Н. Я. в те долгие годы, когда ей было плохо. Я рада, что сейчас (так поздно!) жизнь ее хотя бы во внешнем, бытовом отношении налажена. Есть жилье, есть какие-то деньги, жить можно. Понимаю, как много она страдала, но не понимаю ее сверхчеловеческой озлобленности.

Мне эта злоба противна. Это не высшее решение — низшее. И ведь она зла по природе — до всех самых страшных испытаний, и тогда, когда ко мне она была вроде бы добра».¹³¹

В этом насыщенной событиями периоде мы пока и останемся.

На малой площади в чрезвычайно уплотненном времени разыгрывалась драма последних недель свободной жизни поэта Осипа Мандельштама. В ней было несколько бедно одетых участников разного уровня одаренности. Каждый вносил в действие свою долю повышенной страсти, создавая этим атмосферу высокого напряжения. Всей сцене придавал неистребимый оттенок скрытый источник какого-то добавочного света. Но, как бы сговорившись, все делали вид, что его не замечают, хотя знали, что «сияющие голенища» и бьющие наотмашь указы «кремлевского горца» изобличены в лубочных стихах главного героя. Один только старик Эмиль Вениаминович не знал о существовании опасного стихотворения сына. Остальные участники слышали его в исполнении самого поэта. Но каждый считал себя единственным посвященным в тайну.

Анна Андреевна рассказывает в тех же «Листках», что, проезжая место поворота с Кропоткинской улицы на Гоголевский бульвар, она всегда вспоминает сказанные в ту зиму слова Осипа Эмильевича: «Стихи сейчас должны быть гражданскими». И вторую фразу: «Я к смерти готов».

¹³¹ Мария Петровых. Там же. С. 352.

Но мы знаем также, что в этих одиноких прогулках с Анной Андреевной Осип Эмильевич признавался ей в своей новой страсти. Думаю, что он напомнил и о знакомой Анне Андреевне истории его увлечения Арбениной, и о соперничестве с Гумилевым. Восхищал же он при мне (в отсутствие Нади): «Как это интересно! У меня было такое же с Колей...»

Но вот тут-то Анне Андреевне не понравилось сближение той, пятнадцатилетней давности, романической истории с сегодняшней. То ли она ревновала Леву (бывают такие матери), то ли опасалась его политической несдержанности. Она совершает экстравагантный поступок. Встречи с Марусей в Москве еще не наладились, но, предваряя их, Анна Андреевна неожиданно появляется у нее дома и уговаривает ее перестать кокетничать слевой. «Зачем вам этот мальчик?» — небрежно бросает она, вспомнив свою великолепно отработанную когда-то интонацию «Клеопатры Невы».¹³² Однако времена Колумбин, Саломей и Паллад прошли, а у Маруси оказалось множество своих нерешенных семейных проблем. Анна Андреевна становится ее конфиденткой.

Мария Сергеевна собралась разводиться с мужем. Это нелегко, потому что он глубоко ей предан. Его обожание доходило до того, что он записывал ее слова (это я знала не от Маруси, а от общих знакомых). Он был старше ее и, главное, не имел касательства к искусству и поэзии, окончив Тимирязевскую академию.

В те же дни из ссылки или высылки возвращается друг юности Маруси, бывший студент. Она на перепутье. А пока уже три, а не два «бесшумно окающих ртами» соперника ходят вокруг нее.

Лева устремляет свою ненависть на молодого соперника, которого он с презрением обзывает «интеллигент в пенсне». Тем временем Маруся открывает Анне Андреевне свою сокровенную душевную тайну: она любит актера Второго Художественного театра. Ему посвящено ее длинное стихотворение «Медный зритель», напечатанное посмертно¹³³. Очевидная аналогия с «Медным всадником» объясняется коронной ролью этого актера. Владимир Васильевич Готовцев играл Петра I в пьесе Алексея Толстого. Ему уже под пятьдесят, но это не мешает Марусе любить его, в то время как свое полное равнодушие к Осипу Эмильевичу она объясняет тем, что он старик. И даже как поэт он для нее, мы уже знаем это, чужой. Я не совсем этому верю, потому что слышала своими ушами, как за стеной Осип Эмильевич звенящим на последней струне голосом произносил свои вдохновенные речи, и видела своими глазами, как Маруся с пылающими щеками и экзотическим взглядом выходила из его комнаты, небрежно бросив «до свидания» Наде, мне и кому-нибудь третьему, ужинавшему с нами в проходной комнате.

Не знаю, пробыла ли Анна Андреевна полный месяц в Москве в тот ее февральский приезд. Знаю только, что в начале марта она уже была в Ленинграде. Помню и никогда не

¹³² Об этом эпизоде я услышала только в 1997 году от дочери Марии Петровых — Арины Витальевны Головачевой.

¹³³ Петровых Мария. Костер в ночи. Ярославль. 1991. С. 51—54.

забуду, какой вздох облегчения вызвал ее отъезд у Осипа Эмильевича: «Наденька, как хорошо, что она уехала! Слишком много электричества в одном доме».

Они совсем запутались в смене откровенностей и умолчаний.

ПОЛОВОДЬЕ ПРИЗНАНИЙ

В то время у Анны Андреевны не было женщины-друга, а назрела потребность быть с кем-нибудь откровенной. В общей атмосфере дружественной, иногда полуфривольной беседы с Надей промелькнула однажды ее фраза: «Моя свекровь...» — далее следовало еврейское имя-отчество. «Вы шутите?» — удивилась я. «Нисколько», — был ответ Анны Андреевны.

Потом я узнала, что ее третьим мужем был композитор Артур Лурье, а Пунин был уже четвертым. Затем Лева как-то с бравадой и с явным преувеличением сказал, что у мамы было четыре официальных мужа. Теперь мы все знаем благодаря «Поэме без героя», что после развода с Шилейкой Ахматова жила вдвоем с Ольгой Афанасьевной Судейкиной, а затем в той же квартире с ними жил Артур Лурье (их совместный быт очень живо описан в воспоминаниях Юрия Анненкова). А из моих поздних бесед с Ниной Антоновной Ардовой я узнала, что Анна Андреевна доверительно ей говорила: «Мы не могли разобраться, в кого из нас он влюблен».

В начале 20-х годов Артур Сергеевич, а вслед за ним и Ольга Афанасьевна уехали навсегда на Запад. Ахматова осталась в России. Это широко известно.

Характер отношений между этими тремя людьми хорошо обрисован в записях Лидии Яковлевны Гинзбург, опубликованных только в 80-х годах. Сведения идут от Григория Александровича Гуковского. Его рано умершая первая жена Наталья Викторовна Рыкова была близкой приятельницей Анны Андреевны. Лидия Гинзбург записывает: «Гуковский говорил как-то, что стихи об Иакове и Рахили (третий “Стрелец”¹³⁴) он считает в биографическом плане предельно эмоциональными для Ахматовой. Эти фабульные, библейские стихи гораздо интимнее сероглазого короля и проч. Они относятся к Артуру Лурье». Так мы узнали, что обеих подруг связывала дружба-соперничество.

Но Надя хотела видеть в этой дружбе более тесную связь. Ничего не зная в ту пору об этом тройственном союзе, я была ошеломлена вырвавшейся у нее фразой в разговоре со мной об Ахматовой: «Она такая дура! Она не знает, как жить втроем».

Ее жгла непреодолимая потребность говорить на эту тему подробнее. Она стала излагать жесткую схему, обязательную, по ее мнению, в подобной ситуации. Не прибегая к эвфемизмам, ни к «черно книжию», она вносила в свою беззастенчивую речь что-то дополнительно неприятное. Трудно передать, в чем был секрет этого слишком точного языка, может быть, в тембре ее голоса, но рядом с ним любой мат звучал бы как родниковая вода. Система ее состояла из строго просчитанных чередований эксгибиционизма и вуайерства.

¹³⁴ Речь идет о первопечатном тексте стихотворения «Рахиль» в третьем сб. «Стрелец» (СПб., 1922, с. 52).

Она была бисексуальна. Эти вкусы сформировались у нее очень рано, в пятнадцатилетнем возрасте. Он приходился на предреволюционную пору, на время первой мировой войны, то есть на время уже разворошенное. Она была младшей в семье и через старших братьев и сестру была причастна к богеме. Начитанная, она с особым шугольством выделяла книги «Тридцать три урода» Зиновьевой-Аннибал и тогда еще не переведенный на русский язык роман Теофила Готье «Мадемуазель де Мопэн». В некоторых источниках эти произведения числились в ряду порнографических. Она и сама умела сочинять не столько острые, сколько терпкие рассказы, коллекционировала анекдотические эпизоды из жизни еще живых современников. Но в последний год эти забавы вытеснялись экскурсами в политические сюжеты мировой истории и нашей советской жизни. Кругозор у нее был широкий, однако мысли нередко были не свои, нахватанные, но переведенные в высокий регистр ее яростным темпераментом и необузданным воображением.

Когда я с ней познакомилась, у нее оставалось еще много замашек ее юности. Она была способна на эксцентрические выходы. Вдруг придется вприсядку по коридору чинного санатория. Или наоборот: усядется где-нибудь уютенько в кресле и с кроткой улыбкой тихонько лепит из пластилина непристойные фигурки. В отдельной их комнате в «Узком» прыгала по креслам, как бесстыжая обезьянка. Они оба любили резвиться в моем присутствии.

Я упрямо не понимала, чего они от меня хотят. Это могло бы проясниться во время моей прогулки с Осипом Эмильевичем в парке. В общих чертах они уже описаны в моих первоначальных воспоминаниях. Но многие его намеки я не пыталась расшифровывать, слишком занятая своими личными переживаниями и впечатлениями. Не придавала я тогда должного значения и поведению Нади, учинившей мне настоящий допрос, о чем, мол, вы разговаривали. Мои ответы были выслушаны ею с напряженным вниманием. С глуповатой честностью я не столько пересказывала, сколько перечисляла отдельные его темы или фразы. Среди них проскользнуло его упоминание о двух сестрах-киноактрисенках, с которыми он баловался. Надю это взорвало. Она нервно вскричала: «Он все врет. До меня он ничего не знал. Это я его научила».

Свой союз с Осипом Эмильевичем Надя называла «физиологической удачей». В ту пору все ее рассуждения и шалости были пронизаны разговорами об эротике. Как я относилась к этому? Моральная и эстетическая сторона подобных сюжетов меня нисколько не беспокоила. Мы жили в эпоху сексуальной революции, были свободомыслящими, молодыми, то есть с естественной и здоровой чувственностью, но уже с выработанной манерой истинных снобов ничему не удивляться. Критерием поведения в интимной жизни оставался для нас только индивидуальный вкус — кому что нравится.

Сейчас я понимаю, что в моей голове была нелепая мешанина из искусственной теории и совсем не подходящей к ней моей собственной манеры поведения. Это понял Осип Эмильевич, сказав мне однажды: «Откуда у вас эта смесь целомудрия и бесстыдства?»

Надя уверяла, что на фоне полной сексуальной раскованности, небывалой новизны текущих дней, опасности, витающей в атмосфере, образовалась благоприятная почва для расцвета великой любви. Она часто говорила о своем желании написать книгу о любви

современного (читай, советского) человека. Но и без этих высокопарных слов перед моими глазами был живой пример такой любви — они оба, Осип и Надя Мандельштамы.

Постепенно, однако, мне многое стало открываться в их отношениях. Однажды я опоздала на трамвай и осталась у них ночевать. Это было в той квартире, где они так мрачно жили, в одном из Брестских переулков. Там было написано «Полночь в Москве...». В тот вечер Осип Эмильевич проявил неожиданную агрессивность, стал ко мне недвусмысленно приставать, в то время как Надя в крайне расхристанном виде прыгала вокруг, хохоча, но не забывая зорко и выжидающе следить за тем, что последует дальше. Но дальше не последовало ничего. Моя равнодушная неконтактность, полное нежелание играть в эту игру не на шутку рассердили Осипа Эмильевича. Он попрекал меня всякими расхожими хлыщеватыми фразами, вроде «для ночи вы ведете себя неприлично» и т. п. Но этого ему показалось мало, и он не преминул кольнуть меня сравнением с женой Надиного брата Евгения Яковлевича — «Ленка наверняка вела бы себя иначе». Надя осторожно молчала. Не скрою, что она же сводила меня со своим братом. Она умела это делать. Не оставляла этой забавы с разными людьми до последних дней своей жизни.

Роман с женатым человеком — ситуация банальная, с ее постоянной сменой обид и торжества, с возможностью каждый день столкнуться с неожиданным оскорблением. Таким ударом для меня оказалась непредвиденная поездка Евгения Яковлевича с женой к морю. Он уверял, что она продлится ровно три недели из-за отсутствия денег. Три недели прошли, и еще три недели, а они не возвращались. В это время Надя легла на очередное обследование в больницу. Я пришла к Осипу Эмильевичу на Покровку, застала его вдвоём с Яхонтовым. Разговор их был посвящен темам оригинальной работы Владимира Николаевича в его «Театре одного актера», как вдруг Осип Эмильевич стал суетливо беспокоиться по поводу затерявшихся где-то на Кавказе «Жени и Лень». Начинаются нервные телефонные переговоры с тещей Евгения Яковлевича. Беготня в коридор к аппарату, доверительные пересказы Яхонтову, кто что говорит. Вот уже отец Елены Михайловны вызывает к телефону Осипа Эмильевича: он нашел дату последнего письма из Кисловодска. Кстати говоря, это очень далеко от целительного моря. Но Осип Эмильевич начинает обсуждать с Яхонтовым возможный обратный маршрут путешественников. Он говорит с обычным своим тревожным красноречием, но по его лицу пробегает скрытая улыбка, которую я скорее угадываю, чем вижу: он испытывает удовольствие, украдкой поглядывая на меня. И мне кажется, что Яхонтов это тоже понимает. Ведь спектакль разыгрывается специально для меня, для того, чтобы понаблюдать за мной, нанося мне раны. Я молчу. Это злит его. Мандельштам ни к чему не умел быть равнодушным.

Подобные уколы повторялись не раз и в следующем году, когда Мандельштамы переехали в Дом Герцена (Тверской бульвар, 25). Я продолжала так же часто бывать у них, как и раньше. Встречи наши были насыщены беседами самых разных наполнений. Как всегда, были дни, отданные очередной вспышке писания жалобных писем, в которых Мандельштам разливался соловьем со всем своим умением превращать малые эпизоды в огромные события, обливая их потоками сарказмов, требований, высокопарных слов. Как он умел, да и оба они, втягивать в свои интересы огромное количество людей! В конце концов нельзя было не подчиниться этому сумасшедшему бегу и, как загипнотизированным, не уча-

ствовать в очередной распре. Эти приступы шумной деятельности сменялись тишиной (писанием стихов). Словом, дни были так суматошны, что мной совсем были забыты бывшие эротические поползновения. Но вот я как-то засиделась у них, опоздала опять на трамвай и осталась ночевать. Мандельштам как будто вспомнил предыдущие сцены, почти повторяя одну из них, но с подчеркнутым призывом к Наде принять в ней участие. При короткости наших дружеских отношений это можно было бы принять за шутку, если бы я не вспомнила эпизод в старой их комнате. Да еще если бы Надя мне в назидание не любила рассказывать о той или иной новой знакомой, «умевшей ночью вести себя прилично». Результат последнего натиска на меня на Тверском бульваре был тот же, что и в предыдущем таком обнаженном случае, то есть равнодушное отталкивание с моей стороны.

Это заставляло Осипа Эмильевича иногда возвращаться к старым обидам, раздувая и преувеличивая драматизм моих отношений с Евгением Яковлевичем. В один из таких разговоров с ним наедине Осип Эмильевич убеждал меня, что с моей стороны этот роман был болезнью. Он уверял, что может меня вылечить. «Да? Как же?» Он — совершенно хладнокровно: «Раздентесь, я вас высеку».

С тех пор я уже не могла относиться к нему как к старшему другу, с которым меня связывали чистосердечные отношения. Все предыдущее не вызывало у меня чувства брезгливости и отчужденности, потому что оно было окружено какой-то специфической легкостью, исходящей от Нади. Но вот мысль о садизме мне до тех пор не приходила в голову. Правда, Надя и с этой стороны намекала на его обращение с ней. Но это были очень глухие намеки. Она говорила, что Мандельштам не мог записывать стихи, а диктовал ей. Это мы знаем и сейчас, имея в руках рукописи, писанные ее рукой. Но она рассказывала не без удовольствия, что, диктуя, он ругал ее, даже ненавидел, и это стимулировало его творчество. Я готова была поверить этому, но кого же он донимал, когда писал «Камень» или гениального «Коня», посвященного Ольге Николаевне Арбениной? Тогда Нади рядом с ним еще не было. Но самое неопределенное ощущение вызывают у меня письма Мандельштама к жене. Ахматова писала в «Листках...», что он любил Надю «невероятно, неправдоподобно», и ссылалась при этом на его письма. Действительно, они поражают силой нежности, заботливости и тоски по жене. Но не скрою, что на меня они производят неприятное впечатление бьющего через край «сюсюка».

Подтекст этих нежностей вскрывается в письме Нади к нему, написанному в Коктебеле в начале октября 1926 года: «Я здесь гуляю с чудесной дитёнкой по имени Аня. Она из Питера, ей 26 лет, очень хорошенькая. Она сейчас пришла и смеется. Няничка, я тебе с ней пошло винограду и камушков. Ну, Котинька, роденький, до свидания...» И прощальная приписка: «Осик, не смотри без меня на дитёнков!» Тут же в письме есть упоминание об О. А. Ваксель, с которой в это время Осип Эмильевич уже порвал. Теперь она участвовала в каких-то массовых кино съемках «Фабрики эксцентричного актера». Надя пишет в том же письме: «Если увидишь ФЭКС, пожалуйста, закрой глаза».

В своем дневнике Ольга Александровна Ваксель тоже сообщает, что Надежда Яковлевна была бисексуальна, и описывает сцены, подобные рассказанным здесь, и даже превосходящие их. В поздний период своей жизни Надя решительно отрелась от этого, упомянув в

своей «Второй книге» о «диких эротических мемуарах» Ольги. Ваксель пишет о Наде: «...она его называла Мормоном и очень одобрительно относилась к его фантастическим планам поездки втроем в Париж»¹³⁵. (Как известно, мормоны — мужчины — были полигамны.)

Оглядка на идеологию сопровождала все страсти Нади. Она признавала, что создавала возле себя атмосферу не дружбы или любви, но какой-то секты со своими обрядами и со своей специфической этикой.

Большую роль в этом доме играл культ уродства. Целая система обыгрывания своих физических недостатков порождала особую свободу общения, объединяющую всех бывающих здесь.

Но почему такое влечение к сочетанию одинокой замкнутости с открытостью, выходящей из границ, возродилось у Нади теперь, в 1934 году, когда и у самих Мандельштамов и у всех вокруг так менялось мироощущение под воздействием грозного «великого перелома»? Мне казалось, что повышенный интерес к «проблемам пола», как тогда говорили, был отчасти вытеснен у Нади горячечным влечением к политике. К внутренней, советской, конечно, а не к внешней. Достаточно вспомнить отклики в поэзии Мандельштама на ужасы коллективизации, с которыми они столкнулись воочию в Крыму летом 1933 года. И разве я могла забыть, в каком лихорадочном состоянии Надя влетела ко мне в комнату с известием о «крамольном» стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны...»?

Не последнюю роль в политических настроениях обоих Мандельштамов сыграла дружба с Борисом Сергеевичем Кузиным. С первой же встречи с ним в Армении (1930) он был принят Мандельштамами как член семьи, вернее, резко обособленного кружка. Не нужно напоминать, что Кузин отрицал марксизм как ученый, видел экономическую бессмыслицу нашего «социалистического» режима как здравомыслящий человек и ненавидел все это как патриот.

Кузин один из первых внес в жизнь Мандельштамов реальную тему ГПУ. Его изводил некий «товарищ», вербуя в секретные осведомители. На Надю производила неизгладимое впечатление его твердость в решительном отказе от этого. Особенно один эпизод врезался в ее память. Следователь «в штатском», уговаривая Кузина и одновременно угрожая ему арестом, пытался сыграть на его исключительной привязанности к своей матушке. «Подумайте, что с нею будет, если вас арестуют?» На что Кузин отвечал одной мужественной фразой: «Мама умрет». «Как вы жестоки», — укорял его следователь. Узнавая об этих беседах от самого Кузина, Надя вырабатывала себе идеал римлянки, готовой играть со смертью вместе с мужем. Но пока еще она оставалась на грани между любовной и гражданской экзальтацией. Кузин вносил с собою не только политическую тему, но и эмоциональную. Мандельштамы только недавно вернулись из Крыма, куда они пригласили с собой и Кузина, успевшего отсидеть недолго в заключении и нуждавшегося в моральном отдохновении. Однако Борис Сергеевич неожиданно взял на себя роль защитника Нади от эгоизма Осипа Эмильевича. Могу ли я забыть звучание глубокого грудного бари-

¹³⁵ Страницы о встречах О. Ваксель с Мандельштамом воспроизведены в книге С. В. Поляковой «Олейников и об Олейникове...» (ИНАПРЕСС, 1997. С. 171).

тона разгневанного Кузина: «Это что же, машинка для делания стихов?» — в ответ на мои сдерживающие речи об обязанности многое прощать поэту. В Старом Крыму завязались отношения, вливавшие новую струю напряжения в атмосферу тех дней.

Кстати говоря, я забыла упомянуть еще об одном сильном влиянии в эту маленькую квартиру на пятом этаже. Это приходи туда красавицы актрисы Художественного театра Нины Антоновны Ардовой-Ольшевской. Впервые она явилась к Мандельштамам из-за Ахматовой, предмета ее давнишнего обожания. Возможность познакомиться с нею лично сводила с ума Нину. Приглашали в дом Ардовых и Леву как связующее звено и обладателя громкой фамилии Гумилева. Там, в окружении подруг Нины, среди них Нора Полонская, еще не разведенная жена актера МХАТа Михаила Михайловича Яншина, названная тем не менее в предсмертном письме Маяковского членом его семьи¹³⁶. Общение опытной Нади с Ниной было своеобразным выражением особой эстетики. Мнимое дружелюбие представительницы секты, исповедовавшей культ уродства (Надя), к женщине чуждой профессии, актрисе, научившейся у самого Станиславского нести свободно и просто свою молодость и красоту (Нина). Они прекрасно понимали друг друга, перекидываясь на специфическом дамском диалекте легкими фразами, в которых к тому же слышались отзвуки голосов замысловатого Мандельштама, с одной стороны, и охального анекдотчика-юмориста Ардова — с другой.

Не достаточно ли компонентов? Нет, еще не все.

РАЗВЯЗКА НАДВИГАЕТСЯ

Надя встретила на улице молодого переводчика, который прочел ей наизусть стихотворение Мандельштама, посвященное Марусе, — «Мастерица виноватых взоров...». Оказывается, оно уже ходило по рукам. А Надежда Яковлевна ничего не знала. Потрясенная, обиженная и растерянная, Надя была в шоке и отнеслась к этому нормально, без кривлянья. «Вы подумайте, — жаловалась она мне, — ведь у меня уже мог быть семнадцатилетний сын». Она вспоминала свою очень раннюю женскую жизнь, свой роман, протекавший в бурной обстановке киевской жизни, когда власть переходила из рук в руки.

Впоследствии она требовала, чтобы стихотворение «Как по улицам Киева-Вия» печаталось последним в «Воронежских тетрадах». И я уверена, что это за строки «Ищет мужа, не знаю чья жинка. И на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка». Надя считала их своим портретом на тот момент (1919 год, май), когда ее основной возлюбленный, бывший членом Рады, вынужден был бежать при вступлении в Киев красных, а Осипа Эмильевича, ее нового героя, уже не было в городе. Мандельштамы соединились, как видно по письмам, только в 1921 году. Поэтому она узнавала себя в образе «не знаю чьей жинки», бесслезной и мужественной в несчастье.

¹³⁶ Напомню строки из предсмертного письма Маяковского (1930): «Товарищу правительство, моя семья — Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская».

Скоро она взяла себя в руки, так сказать, овладела стихотворением о «Мастерице...», сама его читала вслух и толковала, особенно настаивая на том, что строка «Ты, Мария, гибнущим подмога» на самом деле звучит не так и что Марию называть в этой строке не надо. Тогда это объяснялось тем, что под именем Марии можно было узнать в литературной среде именно Марию Петровых, замужнюю женщину, многим знакомую, и поэтому нельзя было ее компрометировать. И только очень поздно, уже после смерти и Надежды Яковлевны, и Марии Сергеевны, в архиве Петровых обнаружился автограф этого стихотворения, где Осип Эмильевич собственной рукой написал: «Наша нежность — гибнущим подмога».

Комментаторы толкуют эту строку по-разному, но я воздержусь от толкований.

Надя стала относиться к Марусе со скрытым недоброжелательством. У нее появилось даже подозрение, не связана ли Петровых с «органами». Тогда времена были еще очень наивными, поэтому ни Лиля Яхонтова, ни Кузин, ни та же Маруся не скрывали, что их вызывают на собеседования со следователями «в штатском», где их вербуют в осведомители, то угрожая арестом, то приманивая, так сказать, пряником.

Лиля Яхонтова-Попова была уже замужем за композитором, одним из учредителей и исполнителей в «Театре одного актера». С Яхонтовым у Лили творческая связь не прерывалась никогда, но в те дни она была озабочена судьбой второго мужа. Рассказывала, как следователь брал у него подпистку, обычную для работы этих органов, о том, что он решительно никому не будет рассказывать об этих встречах. Но так как, естественно, ни один живой человек не мог хранить в себе эту тайну, муж ее истерически проговаривался не только в беседах с ней, но и с друзьями, и даже по телефону. Один из таких разговоров был прерван тем самым знакомым ему следователем, который сказал ему в трубку: «Так-то вы держите свое слово?» После чего несчастный был арестован, отправлен, по-видимому в лагерь, где его навещала Лиля. И что же вы думаете? Она восхищалась начальником этого лагеря, считала его человеком мудрым и гуманным, содействующим «исправлению» нервного музыканта.

Некоторые поступки и жесты Марии Сергеевны вызывали у Нади настороженное внимание. Так, когда Надя стала откровенно говорить о возможной близкой гибели Осипа Эмильевича и составила на папиросной бумаге сборник всех его стихотворений, включая ненапечатанные московские, она с удивлением заметила, что Маруся не взяла подаренный ей экземпляр, а оставила его в Нашокинском на подоконнике.

Когда уже Осипа арестовали и мы все сидели и ждали несколько дней до вызова Нади на Лубянку, какова его судьба, Надя раздражалась и говорила о Марусе: «И чего она тут ходит и ломает руки».

Но самое главное, это очень характерно для того времени, Маруся откровенно признавалась, что иногда у нее возникало такое стремление, как у Раскольникова, с трудом удерживающегося, чтобы не броситься в объятия Порфирия Петровича, то есть открыться следователю в своем преступлении. У нее бывали такие порывы. Она рассказывала об этом Наде, вероятно, и Осипу Эмильевичу. Разумеется, от Нади это переходило ко мне. А в начале войны я услышала тот же рассказ от Елизаветы Яковлевны Эфрон, которая знала хорошо Марию Петровых по Коктебелю.

До сих пор мы говорили о поведении Марии Сергеевны в доме Мандельштама, в Нащокинском. А как же было там, где происходили их встречи и где мы оставили Осипа Эмильевича в соперничестве с двумя молодыми поклонниками Марии Сергеевны? С Левой и Виталием Головачевым.

Прежде всего надо обратить внимание на сонет Мандельштама, напечатанный очень поздно, посмертно конечно, и, вероятно, попавший к редакторам от Левы. Содержание этого сонета, малоприятного, на мой взгляд, и по мастерству почти слабого, выражало одну определенную идею: патриарх Иосиф, «немного почудив», уступает место молодому «львенку». В этом сонете («Мне вспомнился старинный апокриф») Мандельштам, по своему обыкновению, переворачивает подлинные факты, происходившие рядом в житейской обстановке, превращает их так, что создается новый сюжет, принадлежавший уже только автору.

Лева нескромно жаловался: «Я уходил от нее весь исцарапанный» (что говорило о ее недоступности), Мандельштам же, наоборот, изображал ее как жертву льва, победившего в этой схватке. Это очень характерно для Мандельштама, для его поэтической манеры, сказавшейся даже в таком примитивном сюжете. При этом в действительности домогательства Марусиной любви как у Осипа Эмильевича, так и у Льва уже прекратились.

Напомню, что Леву я «увела»: он распростился с Марией, написав эпиграмму, где он называл ее Манон Леско. Кажется, с тех пор он ее больше и не вспоминал.

Совсем иначе расстался с нею Осип Эмильевич. Отказавшись от ухаживания за нею, он повел себя (я уверена, что он был искренен) как ее друг. Это выразилось в том, что он обратился ко мне с просьбой уговорить моего отцахлопотать о прописке опального Виталия Головачева в Москве. Я рассказывала в своих первоначальных воспоминаниях, что я отказалась от вмешательства в эту совершенно незнакомую мне биографию, тем более что мой отец не имел такой власти, которая помогала бы ему хлопотать за репрессированных — в данном случае за студента.

Забегая вперед, скажу, что Маруся в конце концов вышла замуж за Виталия, успела родить ему дочь, но, к несчастью, в 1937 году он был снова арестован, отправлен, по видимому, в лагерь, возможно, на Колыму, где в 1942 году умер от голода.

Возвращение Левы в апреле в Москву было принято Мандельштамами с большим неудовольствием: ведь он вышел из любовной игры с Марусей. Это не устраивало Надю. Думаю, что именно она отправила его вниз, к Ардовым, где с ним очень кокетничала Нина Антоновна.

Это не мешало Осипу Эмильевичу встречаться с Левой, который прибегал с первого этажа на пятый, чтобы вместе куда-нибудь направиться. Мандельштам встречал его озорными словами «Сделаем что-нибудь гадкое», и они начинали звонить по междугородному телефону к Анне Андреевне в Ленинград. Осип Эмильевич совершенно забыл свое недовольство присутствием Анны Андреевны в феврале и настойчиво требовал ее возвращения в Москву.

Однажды при мне, когда никого не было, он, уже в который раз простившись с Анной Андреевной, еще не положив трубку, запальчиво заявил: «Мы члены одной партии. Ее товарищ по партии в беде. Она обязана приехать».

Ну что ж, Анна Андреевна собралась, приехала дня через три, утром, а ночью, когда уже у Мандельштамов собирались ложиться спать, явились гэпушники с ордером на

арест Осипа Эмильевича. Я не могу отделаться от впечатления, что Мандельштам сам поторопил свою беду.

Ночь обыска и увода Осипа Эмильевича на Лубянку подробно описали Надежда Яковлевна в своей книге воспоминаний, а Анна Андреевна — в «Листках из дневника».

Я явилась в Нащокинский утром, вероятно, по вызову Нади, и не застала уже Осипа Эмильевича. Добавлю, что потом, когда Мандельштамы были переведены из Чердыни в Воронеж, в Нащокинский переулок пришел такой астрономический счет за телефонные переговоры, что Евгений Яковлевич много месяцев не мог разделаться с этим долгом. А долг лежал на Вере Яковлевне, на матери Надежды и Евгения Яковлевичей, которая оставалась жить в этой квартире.

Казалось бы, все бурные происшествия, связанные с арестом и высылкой Мандельштама, могли совершенно вытеснить всякую память о Марии Петровых. Даже не казалось бы, а действительно вытеснили. Анна Андреевна сообщает, и я это помню, так оно и было, что после его ареста она увидела Осипа Эмильевича только в феврале 1936 года, когда поехала навестить его в Воронеже. Там, по ее словам, он рассказал ей все подробности своего дела и следствия, но Анна Андреевна о них никогда никому не рассказывала и не раскрыла в своих «Листках из дневника».

После этого в течение всех довоенных лет, насколько я могла заметить, Анна Андреевна с Марией Сергеевной почти не встречалась и во всяком случае упоминала о ней только с чужих слов. Например, что Маруся оказалась страстной и педантичной матерью, особенно когда кормила девочку. В эвакуации они оказались в разных городах: Анна Андреевна в Ташкенте, а Мария Сергеевна в Чистополе. Но уже после войны у них возобновилась, а может быть, только началась тесная дружба.

Маруся неизменно относилась к Анне Андреевне с преданной любовью, а для Ахматовой она стала одним из самых дорогих ей друзей. Я сужу не только по моим личным многолетним впечатлениям, но и по редкой дарственной надписи 9 мая 1959 года, в которой Анна Андреевна назвала ее «светлым гостем моей жизни»¹³⁷.

Вопрос о поведении Маруси в год, предшествующий аресту Осипа Эмильевича (то есть 1934-й), естественно, отпал. Но неожиданно он возник уже в 50-х годах, в совершенно новой обстановке и в новой форме. Это самостоятельная проблема одного стихотворения Осипа Эмильевича, ставшего известным только тогда.

ЧЕРНАЯ СВЕЧКА

Удивительный образ черной свечки содержится в стихотворении «Твоим узким плечам под бичами краснеть...». Эти стихи имеют свою особенную историю. По-видимому, Осип Эмильевич написал их уже в Воронеже, почти через год после того, как был туда переведен

¹³⁷ Надпись на книге «Анна Ахматова. Стихотворения» (М., ГИХЛ, 1958). Экземпляр с полной надписью принадлежит Арине Витальевне Головачевой.

из Чердыни. К этому времени, в апреле 1935 года, в Воронеже появился высланный из Ленинграда молодой литературовед Сергей Борисович Рудаков. Надя, оставив его с Осипом Эмильевичем, уехала в Москву по делам. Оказавшись один и вместе с тем с новым собеседником, стимулирующим его к писанию стихов и к разговорам о поэзии, Мандельштам написал стихи, посвященные двум разным женщинам. Обе они потрясли его своей судьбой.

Одна из них, Ольга Александровна Ваксель, как мы знаем, играла в 20-х годах большую роль в ленинградской жизни Надежды Яковлевны и Осипа Эмильевича. В 1935 году они получили запоздалое известие о ее смерти. Еще в 1932 году она покончила жизнь самоубийством в чужом городе, куда уехала из России, выйдя замуж за норвежца. Весть об ее трагической кончине потрясла обоих Мандельштамов. Надя узнала об этом в Москве. Она горевала, вздыхала, но вспоминала ее эротически, приговаривая: «Лютик, Лютик!.. Она никому не умела отказать». А стихотворение Осипа Эмильевича к той же Ваксель («Возможна ли женщине мертвой хвала...») пронизано глубоким чувством:

Я тяжкую память твою берегу...

В это же время Рудаков скопировал и послал в Ленинград, вложив в письмо к своей жене, стихотворение, обращенное к другой женщине. Отсюда оно стало известно только в 50-х годах, когда Н. И. Харджиев посетил вдову Рудакова, собирая материал для первого посмертного издания стихотворений Мандельштама.

Трудно было понять, кому посвящены эти стихи.

Об этом говорила и писала Надежда Яковлевна. Она приводила разумные доводы в пользу своей кандидатуры, но не могла отмахнуться и от не менее убедительных признаков какой-то другой женщины, за чью участь поэт боялся. И не только боялся, но чувствовал себя виновным в ее возможной гибели. Об этом недвусмысленно говорят заключительные строки этого загадочного стихотворения:

Ну а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть и молиться не сметь.

Надежда Яковлевна заканчивает свой этюд словами: «Я не знаю, что о них думать, и это меня огорчает». Но после ее смерти, а также уже после смерти Марии Петровых в печати впервые появились документы, проливающие свет на происхождение этих стихов. Попытаемся в них разобраться.

Это протоколы следствия 1934 года. Напомню, какие сведения мы получили от Нади, когда она вернулась тогда с Лубянки. Получалось, что на следствии Мандельштам видел свои сатирические стихи о Сталине, записанные кем-то. Ему показалось, что это почерк Марии Петровых. Между тем он не назвал ее среди слушателей этих стихов. После первого допроса он вернулся в камеру, естественно, в чрезвычайном возбуждении и подавленности в одно и то же время. Я не представляю себе, чтобы его не стало мучить сомнение. Если «у них» есть уже запись этого стихотворения, сделанная рукой Марии

Петровых, то как же он не указал на нее в числе слушателей?! А ведь его ставка была на полную откровенность перед судьями!

На следующем допросе он решил исправить свою ошибку. Не дожидаясь вопроса, он поспешил доложить следователю, что вот еще была такая-то — Мария Сергеевна Петровых. По первоначальным рассказам Нади, услышав это имя, следователь усмехнулся: «А! Театралочка!» Больше ничего Осип Эмильевич как будто тогда не успел рассказать Наде.

В действительности он не только произнес имя Петровых, но не скрыл, что она записала текст антисталинского стихотворения, но, «правда, — добавил он, — обещала сразу сжечь эту запись». Вот с такими откровениями Осип Эмильевич, и наивный, и хитрый, и благородный, и предатель, предстал перед следствием.

Мандельштам сам понимал, как далек от был в этом положении от доблестной стойкости оппозиционера. Судя по копии, сделанной С. Б. Рудаковым в Воронеже, Осип Эмильевич оценил свое поведение в басне, сочиненной по дороге в Чердынь, то есть через пять дней после выхода с Лубянки:

Один портной,
С хорошей головой,
Приговорен был к высшей мере.
И что ж? — Портновской следуя манере,
С себя он мерку снял,
И до сих пор живой.

Но основной расчет на оправдание или на облегчение участи Мандельштама был именно в том, что «крамольное» стихотворение никто не записал. И назвать единственного человека, который его записывал, — это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения: «распространение контрреволюционного материала». И это, вероятно, терзало совесть Мандельштама.

Стихотворение о «черной свечке» — это оправдание или раскаяние. Оно лишено всякой эротики, обращено к любимой женщине. Такое прямое высказывание мы встречаем в лирике Мандельштама лишь один-единственный раз.

Не уверена, что Наде было известно о дополнительном характере указания Мандельштама на Марусю.

Не зная или забыв об этих обстоятельствах, Надя была в лихорадочной тревоге по другой причине. Ее беспокоило, почему в «Саматихе» арестовали одного Осипа Эмильевича, а не взяли вместе с ним и ее. Ей казалось, да, собственно, она мне об этом неоднократно говорила, вернее, не могла молчать о мучившей ее неуверенности, почему вообще в 1938 году произошел неожиданный арест поэта Мандельштама.

Об этом Надя говорила мне без обиняков. В «Саматихе» они вовлекли в свои эротические игры одну особу из отдыхающих, оказавшуюся членом райкома партии. Во «Второй книге» это происшествие так затуманено, что не видно главной причины — страха Надежды Яковлевны, не послужил ли этот эпизод материалом для прямого доноса на Мандельштамов?!

Эта тревога нашла свое отражение в ее письме к Берии, написанном 19 января 1939 года,¹³⁸ когда Мандельштам уже не было в живых, но Надя об этом еще не знала. Отчаянное это письмо, находящееся на грани между героическим, хотя и запоздалым желанием погибнуть вслед за Мандельштамом и страхом попасть к ним в лапы, так мелко и неблагоприятно для ее дальнейшей жизни пламенной антисоветчицы.

Прочтем это письмо.

«Москва, 19/1 39 г.

Уважаемый товарищ Берия!

В мае 38 года был арестован поэт О. Э. Мандельштам. Из его письма мне известно, что он осужден ОСО на пять лет СВИТА за КРД. В прошлом у Мандельштама имеется судимость по 58-й ст. (за контр-рев. стихи).

Вторичный арест 38 года явился полной неожиданностью. К этому времени Мандельштам закончил книгу стихов, вопрос о печатании которой неоднократно ставился С. С. П. Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста.

Мне неясно, каким образом велось следствие о контр-революционной деятельности Мандельштама, если я — вследствие его болезни в течение ряда лет не отходившая от него ни на шаг — не была привлечена к этому следствию в качестве соучастницы или хотя бы свидетельницы.

Прибавлю, что во время первого ареста в 1934 г. Мандельштам болел острым психозом — причем следствие и ссылка развернулись во время болезни. К моменту второго ареста Мандельштам был тяжело болен физически и психически неустойчив.

Я прошу Вас:

1. *Содействовать пересмотру дела О. Э. Мандельштама и выяснить, достаточны ли были основания для ареста и ссылки.*

2. *Проверить психическое здоровье О. Э. Мандельштама и выяснить, закономерна ли в этом смысле была его ссылка.*

3. *Наконец, проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке.*

И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожить поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности.

Надежда Мандельштам

Ул. Фурманова 3/5 кв. 26
тел. Г64667»

Весь тон этого послания показывает не только крайнюю степень отчаяния Надежды Яковлевны, но и потерю ориентации в новой обстановке 1937 года. Требовательный стиль ее обра-

¹³⁸ Воспроизводится с фото автографа из ФСБ, помещенного в книге «О. Мандельштам. Собрание сочинений», (М.: АРТ-Бизнес-Центр, 1997. Т. 4. С. 510) См. также: Огонек. 1991. № 1. С. 20 — 21.

щения уже не мог оказать такого же воздействия на власть, как это было в 1934 году перед Первым съездом писателей, повлиявшем на позицию не только Бухарина, но и самого Сталина.

На полную растерянность Нади указывают многочисленные оговорки, не имеющие никакого влияния на новую администрацию. Например, претензия за неожиданность ареста поэта в период его активной и лояльной деятельности.

«Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста», — выговаривает она Берии. Это «мы» очень характерно. Она забывает о том, что поэт Мандельштам — совершенно самостоятельная творческая единица.

Все ее письмо продиктовано стремлением разделить судьбу мужа и подчеркнуть свою солидарность с новым направлением поэтической работы Мандельштама, в которой он заявляет о себе как о лояльном законопослушнике. Ее участие и влияние в этом новом направлении его деятельности особенно подчеркивается, если вспомнить, как двумя годами ранее она сопротивлялась стихам Осипа Эмилевича о Чапаеве.

Тогда она рвала черновики двух стихотворений, в которых слышался энтузиазм, да, энтузиазм художника, увидевшего, как впервые, звуковое кино, вырвавшегося из тюрьмы и вдыхающего необычный аромат сибирской природы, тайги и прочих признаков этого края, и, что самое главное, его борение, колебания и израненность его сознания из-за того, что он проявил себя противником огромного подъема, которым удалось заразить поэта режиссерам Васильевым в кинокартине «Чапаев».

Если одно из стихотворений Мандельштама («День стоял о пяти головах...»), более сложное, кончается «утонуть и вскочить на коня своего», то первое, более личное («От сырой простыни говорящее...»), не может не тронуть современника такими словами: «захлебнулась винтовка Чапаева — помоги, раздели, развяжи». Имеются в виду советские люди 20—30-х годов, не желавшие реставрации свергнутого трехсотлетнего царского режима. Подавляющее большинство из них было низкого происхождения, то есть люди с урезанными правами при монархии либо по социальному, либо по национальному признаку.

Этого трагического противоречия общественного сознания советского человека Надежда Яковлевна не желала понимать, не хотела принять и своей рукой жгла черновики чапаевских стихотворений Мандельштама.

Но «Ода Сталину» и совершенно «верноподданнические» стихи последнего года, адресованные Лиле Яхонтовой, как и все отступления Мандельштама в легальную жизнь и деятельность, вернее, его желание вступить в легальную жизнь и деятельность, были хорошо известны Наде и, может быть, даже ею инспирированы в 1937 году. О потере ориентации говорит, например, ее безумное требование инсценировки Осипом сердечного приступа, чтобы избежать высылки из Москвы. В инсценировке должна была по ее распоряжению принять активное участие и я (от чего я отказалась). Шел 1937 год, уже были арестованы Нарбут, Клычков, Бен Лившиц, Ключев, но Надя продолжала надеяться, что мои демонстративные вопли на улице произведут отрезвляющее впечатление на гэпэушников особенно еще потому, что я не умела действовать так агрессивно в столь чуждом мне обществе.

С этого начинаются все ее последующие заблуждения во время долгого периода восстановления ею авторитета Осипа Мандельштама как поэта и общественного деятеля. Она

настолько забыла о разнице между собой и поэтом, что однажды, уже в 50-х или 60-х годах, бросила нелепую фразу в споре с Анной Андреевной и со мной о знакомстве Мандельштама с теорией относительности Эйнштейна. Вопреки истине (ведь Осип Эмильевич в статьях начала 20-х годов неоднократно упоминал Эйнштейна), она уверяла, что он никогда о нем ничего не слышал и подтвердила свое заявление таким комическим заявлением: «Я же лучше знаю, что я давала ему читать».

Ей казалось, что его прижизненная и посмертная судьба целиком в ее руках. Отсюда требовательный тон в письме к Берии с предложением о своем аресте. Этот странный выпад я могу объяснить только завуалированными опасениями, не был ли арест Мандельштама вызван доносом вышеуказанной сексуальной компаньонши в один злополучный вечер в «Саматихе». Такой же подтекст мне слышится в ее вопросе, «не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке?»

Во всем этом чередовании событий, имеющем свою ясную логику, остается неразъясненным одно обстоятельство. Каким образом Мандельштамы, освободившись из трехлетней воронежской высылки, вернулись в Москву, не зная о запрещении поэту въезда в обе столицы и еще, кажется, в 12 крупнейших городов Советского Союза. Их поступки и претензии укрепляют убеждение, что такого распоряжения они, уезжая из Воронежа, не получили. Как это могло случиться? Возникает мысль, что Мандельштам не подлежал закону, по которому репрессированные определенной категории были лишены права прописки в указанных городах. И только после того как Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, заблудившись в современной обстановке большого террора, настойчиво стучались в официальные литературные организации, они навели ужас на братьев-писателей.

Вряд ли кто-нибудь из них знал текст стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...», но что это было антисталинское, резкое стихотворение, они не могли не знать — об этом слух до них дошел. В кровавой суматохе 1937 года они терялись: как обращаться с автором такого стихотворения, помилованным в 1934 году, но, может быть, уже обреченным в 1937-м?

Теперь мы знаем, что эти опасения вылились в самоуверенное письмо Павленко к генеральному секретарю Союза писателей Ставскому, который осторожно обратился к Н. И. Ежову. Кто в конце концов дал сигнал к аресту Мандельштама — остается неизвестным. Но весь этот последний год жизни Осипа Мандельштама нельзя воспринимать иначе как одну сплошную агонию.

ИГРА В СМЕРТЬ

Документы следственного дела Мандельштама проливают свет не только на стихотворение о черной свечке, но и на «Мастерицу виноватых взоров» — центральное произведение Мандельштама, посвященное той же Марии Петровых. Оно написано не после ареста и высылки, как предыдущее, а до событий.

Тем не менее на последнюю строфу этого стихотворения падает тень от узлового перелома в судьбе Мандельштама:

Ты, Мария, гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога...

Напрашивается примитивное толкование: если автор ищет защиты от неминуемой гибели, значит, речь идет о его предвидении близкой казни. Когда он писал свое антисталинское стихотворение, он был готов к расстрелу. Я, как первая слушательница этих его стихов, помню его горделивые слова об этом. Теперь он искал прибежища в женской любви.

Однако мы узнали из материалов следствия, что именно Мария Сергеевна Петровых не могла служить для него защитой от политического возмездия. Если Осип Эмильевич доверил ей текст этого опасного стихотворения, если она его записала и даже вошла с ним в соглашение об уничтожении этого списка, то, по глупой логике, они действовали как заговорщики.

В таком случае от чего или от кого он бежал? Ответ на это можно прощупать в предыдущей строфе. Ее правильно, на мой взгляд, истолковала филолог-античник Софья Викторовна Полякова. Напомню эту строфу:

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь.
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

«Глухой мешок» — это, по преданию, форма казни неверных жен в Турции. Причем в мешок зашивали и бросали в море не только изменницу, но и ее соблазнителя. Софья Викторовна очень удачно приводит строфу из стихотворения Н. Гумилева «Константинополь»:

Как много, много в глухих заливах
Лежит любовников других,
Сплетенных, томных и молчаливых...

В образе «кривой воды» прочитывается ясная мысль — это обман, измена жене.

Возникает вопрос: почему прибежища от смерти Осип Эмильевич ищет не у преданной ему жены, а у чужой женщины. На первый взгляд, это объясняется примитивно — он отворачивается от жены под влиянием влюбленности в другую. Но дело в том, что новая желанная женщина не обладает ни добротой, ни особой чуткостью, ни преданностью герою стихотворения.

Мандельштам пишет ее портрет негативными чертами: у нее «напрасный, влажный блеск зрачков» — истеричка? (Анна Андреевна выражалась изысканнее, нервно задавая мне вопрос: «Что ж, она сирена?») Она «мастерица» опускать глаза — кокетка? У нее «жалкий полумесяц губ», она — гаремная женщина, вызывающая грубое мужское желание. Янычар — насильник, солдат турецкой пехоты, составляемой из беглых русских и разных пленных.

Вспомним портреты других женщин, в которых влюблялся Мандельштам. Они очень точны и всегда пронизательны. Он умел рисовать и внутренний, и внешний образ женщины именно как художник, а вовсе не как влюбленный, «потерявший голову».

Арбенина — он посвятил ей целый цикл важнейших и глубоких стихотворений, в одном из них дается ее житейский портрет. Перед читателем предстает образ легкомысленной молодой актрисы, которая «все толкует наобум», «как нарочно создана для комедийной перебранки», в ней «все дразнит, все поет, как итальянская рулада». В то время как другая его возлюбленная «говорила наугад, ни к чему и невпопад», неожиданной улыбкой обнаруживая «неуклюжую красоту» — «дичка» и «медвежонка».

И наконец, четыре бесспорных портрета Надежды Яковлевны: один — поздний («Твой зрачок в небесной корке...»), другой, хоть и поздний, но обращенный в прошлое («Как по улицам Киева-Вия...»), и два ранних, условно говоря, относящихся к «медовому месяцу» их отношений, — «На каменных отрогах Пиэрии» (1919) и «Вернись в смесительное лono» (1920).

В первом внешний облик Надежды Яковлевны легко узнаваем в 5—6 стихах первой строфы: «И холодком повеяло высоким / От выпукло девического лба». Но еще сильнее зависимость ее внешности от древнегреческой поэзии сквозит в третьей строфе, где, уподобляя ее «черепaxe-лире», Мандельштам одухотворяет ее подлинный физический облик. Здесь победоносно торжествует культ уродства, о котором я уже говорила: «...едва-едва, беспалая, ползет» — обыгрывается походка отчаянно кривоногой Нади. А от позы — «...лежит себе на солнышке Эпира, тихонько грея золотой живот...» — веет беспечностью золотого века. Вся эта третья строфа поражает прозрачным видением художника.

Не было ли чего-либо в отношениях поэта с женой, что заставляло бы его замыкаться в себе, отчуждаться от нее? Было, конечно. Надежда Мандельштам сама говорит об этом множество раз во «Второй книге». Но там это сделано наметанной рукой, окружившей поразительные признания риторикой и хорошо рассчитанным на эффект горьким юмором.

Верная своему новому идеалу «римлянки», Надя еще при жизни Осипа Эмильевича взяла за образец одну из героинь Тацита — Аррию, жену приговоренного к смерти консула Цезины Пета. Она призывала его к совместному самоубийству и, желая его подбодрить, первая поразила себя мечом, вытащив из раны, подала меч мужу со знаменитыми словами: «Не больно, Пет».

Приведем на выбор некоторые призывы Нади к общей смерти из «Второй книги»:

...Заметив мой остекленевший взгляд, когда он заговаривал о будущем, Мандельштам смеялся и утешал меня: «Не торопись, что будет, то будет. Мы еще живы — не поддавайся...»

...Я нередко — в разные невыносимые периоды нашей жизни — предлагала О. М. вместе покончить с собой. У О. М. мои слова всегда вызывали резкий отпор. Основной его довод: «Откуда ты знаешь, что будет потом... Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться».

Чаще всего он отискивался: «Покончить с собой? Невозможно! Что скажет Авербах? Ведь это был бы положительный литературный факт».

...И еще: «Не могу жить с профессиональной самоубийцей».

По дороге в Чердынь он боялся расстрела. И тут я ему сказала: «Ну и хорошо, что расстреляют — избавят от самоубийства». А он уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся: «А ты опять за свое»...

...С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно, но О. М. говорил: «Погоди... Еще не сейчас... Посмотрим...».

...К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться.

...Мне легче понять торжество смерти, которое ощущал Мандельштам, чем ее трагичность.

...Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в сто раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей как лучшего друга. Все сделано, я к ней готова.

Отношение Нади к смерти в последние годы бедственной жизни Мандельштама отражено во «Второй книге» отчасти стилизованно, но в некоторых письмах оно проступает во всей своей суровой наготе.

Я имею в виду обнаружение Николаем Ивановичем Харджиевым уже в 50-х годах одного примечательного описания Сергеем Рудаковым психического состояния Осипа Эмильевича в Воронеже: 2 августа 1935 года описан приступ отчаяния Мандельштама из-за неудачи с очерком о совхозах, приведшей поэта к чувству тупика.

Исповедальная, нервная речь Мандельштама обрамлена записью такого высказывания Надежды Яковлевны: «Ося цепляется за все, чтобы жить. Я думала, что выйдет проза, но приспособляться он не умеет. Я за то, чтобы помирать...»

Такое прямое и грубое высказывание испугало Надю. Она нервно написала на полях харджиевской копии: «Вранье!» Отсюда и произошли все ложные обвинения, обрушенные на Рудакова Надеждой Яковлевной и вслед за ней Анной Андреевной.

Надя, впадавшая в отчаяние из-за невыносимой тяжести их жизни, проговаривалась. Так, в одном неотправленном письме к врачам Литфонда она истерически восклицает: *Поместить Мандельштама вместо санатория, который ему нужен, в психиатрическую клинику — это значит его убить. Но другого выхода, очевидно, нет* (копия Рудакова).

Другое неотправленное письмо к Мандельштаму в лагерь Надежда Яковлевна сама напечатала в той же «Второй книге», стилизовав его, но не сумев спрятать мысль о его смерти, ставшую ее навязчивой идеей.

До сих пор мы основывались только на словах Надежды Яковлевны об Осипе Эмильевиче. Не найдем ли мы отклика на эту тяжелую проблему в его стихах? Остановимся пока на одном.

Речь идет о стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры...». Оно написано в 1931 году, то есть задолго до антисталинской сатиры. Перечтем его текст полностью:

Нет, не спрятаться мне от великой муры,
За извозчиью спину Москвы.
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет.
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог,

И едва успеваeт грозить из угла.
Ты как хочeшь, а я не рискну.
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

В печати оно сопровождается реальным комментарием Надежды Мандельштам. Бездомное положение заставило их однажды разделиться. Осип Эмильевич поехал ночевать к своему брату на площадь Ногина, а Надежда Яковлевна — к своему на Страстной бульвар. Путь к ним лежал по разным трамвайным маршрутам. Поэт дает исторический образ тогдашней Москвы, затерянное положение в ней современника. С удивительным мастерством Мандельштам объединяет этот общий взгляд на значение Москвы с визуальным впечатлением от конкретной поездки по улицам города. Тут так и чувствуется, как рельсы влекут вагон в узкий переулоч («а она то сжимается, как воробей»), как открывается простор большой площади («то растет, как воздушный пирог»), как Москва «едва успеваeт грозить из угла», мелькая перед глазами пассажиров.

Среди исследователей часто затевался спор, что значит «трамвайная вишенка», и при этом «страшной поры». Да ничего она не значит, кроме того, что видел тогдашний москвич каждый день на улицах своего города: полный вагон трамвая, обвешанный людьми, держащимися за поручни и висящими на ступеньках вагона, как гроздь. Именно вишню обычно срывают с дерева не по одной ягоде, а вместе с ветками.

А что такое Москва страшной поры — это хорошо знали Мандельштамы, что отражено во многих стихах Осипа Эмильевича того времени, к которому так подходит название «великой мур».

Между тем главной пружиной в этом стихотворении служит и очень явственно звучит злоеший внутренний спор, который давно уже ведется Осипом Эмильевичем с Надеждой Яковлевной: «кто скорее умрет». Мы имеем основания услышать в черновой редакции голос храбрыщейся Надежды Яковлевны («Ты как хочeшь, а я не боюсь»), а в белой («Ты как хочeшь, а я не рискну») — голос жизнелюбивого Осипа Эмильевича.

Даже в первые годы их совместной жизни в Ленинграде Надя признается, что неудача в живописи давала ей право на самоубийство. «Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется. А Мандельштам это право начисто отрицал», — пишет она.

Подспудным оттаиванием от Нади в главном вопросе о жизни и смерти пронизаны все стихи 30-х годов. Защитным движением наполнено и стихотворение «Петербург, я еще не хочу умирать», и неизвестный Наде в ту пору отрывоч «Помоги, Господь, эту

жизнь прожить...». Особенно его вторая строка «Я за жизнь боюсь — за Твою рабу...», перекликающаяся с его репликой в споре 20-х годов с Надей: «Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться».

ИСПУГАННЫЙ ОРЕЛ

В ряду стихотворений, в которых живет завуалированный образ Нади, особой сложностью отмечено уже упомянутое мною стихотворение об инцесте библейского Лота со своими двумя дочерьми «Вернись в смесительное лоно...». Надежда Яковлевна в своем позднем комментарии, признавая себя в одной из дочерей-«кровосмесительниц», называет его «жестким и странным». С этим можно согласиться, но целиком ее трактовка не выдерживает критики. Она отталкивается от заключительных строк: «Нет, ты полюбишь иудея, / Исчезнешь в нем — и Бог с тобой». Спор с ней может разрешить знакомство с подробностями биографий обоих Мандельштамов.

Надя придает главенствующее значение тому, что она единственная еврейка в «дон-жуанском списке» Осипа Эмильевича. Поэтому он «остро почувствовал свое еврейство». Наоборот, скажу я, влюбляясь в христианок разных национальностей, он мог острее почувствовать себя евреем, будучи традиционным отщепенцем. «Евреев же он ощущал как одну семью — отсюда тема кровосмесительства», — продолжает Надя. Такая софистика приводит к абсурду: евреи известны своей семейственностью, что же — они все вышли из «смесительного лона»? Тогда появилась бы проблема вырождения целого народа. А легенда о Лоте, напротив, так высоко держит знамя рода, что для спасения этого принципа прощает дочерям праведника даже инцест. Они — жертвы высокого долга, а не клятвопреступницы.

Далее: Надежда Яковлевна попеняла поэту за то, что он «перепутал» две библейские легенды, назвав безымянную дочь Лота именем нелюбимой жены Иакова — Лии. Возражаю: Мандельштам никого ни с кем не спутал. Опираюсь на его высказывание о композиции «Египетской марки»: «Я мыслю опущенными звеньями». Так он объяснил мне непонятность этой повести. Мандельштам не терпел описательной поэзии. Он брал отдельные признаки сегодняшнего дня — того, что он видел и впитывал в себя в данное время, и тут же с летучей стремительностью гениальной мысли обобщал их в самостоятельные сюжеты, рисуящие мир по-новому.

В бурный период гражданской войны Мандельштам жил чрезвычайно интенсивно: много ездил по разным городам, дважды был арестован тайными полициями разной политической ориентации, прожил лето в Киеве в 1919 году, где встретился с Надеждой Яковлевной и сблизился с ней. Тем не менее они расстались в сентябре. Он уехал в Крым, и только 5 декабря 1919 года вспомнил о ней, понял, как она ему нужна, почувствовал, что его связь с ней не только любовь, но и какое-то родство. Конечно, была такая область, которая оставалась ей еще недоступной, — его творчество, но он был так экспрессивен, что нуждался в друге и собеседнике каждую минуту. Он называет ее в этом письме «сестрой», «дочкой», «деткой» и «другом», за что-то просит его извинить («прости мне мою слабость») и признается: «Не могу себе простить, что уехал без тебя»

После такого — умиленного и нежного — письма можно было бы сразу съехаться и остаться навсегда вместе, но очередная смена власти на Украине отрезает путь в Киев. Мандельштам очутился в Петрограде. Здесь он много выступает, получает признание и успех. В конце октября 1920 года знакомится с Ольгой Николаевной Арбениной. Встречи их продолжались около трех месяцев.

Страсть к Арбениной породила целый цикл первоклассных стихотворений Мандельштама. Стихи, написанные в том же 1920 году, о Лоте и его дочерях, очевидно, вышли из размышлений поэта о своей сокровенной жизни. Он воспринимал Арбенину в обличи мифической Елены Троянской. Ее «соблазнительный образ» составляет центр гениального «Коня» из арбенинского цикла. Эта страсть разъединила его с Надей. Недаром в возобновившейся в 1921 году переписке с будущей женой он обращается к ней уже на «Вы». Иными словами, все надо было начинать сначала.

В своих воспоминаниях Арбенина рассказывает: «Наша дружба с М<андельштамом> дотянулась до января 1921 года... Я потом встречалась изредка с М. и его женой у Лившицев. Мы говорили не без смущения...»¹³⁹

Это беглое замечание показывает, что стихотворение о дочерях Лота имеет мало отношения к Библии, но несет в себе важное автобиографическое признание. Если вспомнить, что биографический мотив держит всю структуру стихотворения «Как по улицам Киева-Вия», для нас многое прояснится в истории жизни и гибели Осипа Эмильевича Мандельштама. Когда в стихах о Киеве-Вии говорится «не знаю, чья жинка», мы догадываемся, что речь идет о бывшем и новом возлюбленных мужественной скитальцы по городу. Позволим себе допустить, что ее бывший муж не был евреем. И тогда мы получим:

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла.
...За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

И «роковая перемена», и любовь к иудею, и, главное, «Ты будешь Лия — не Елена» — все это отражает подлинное соотношение сил в браке Мандельштамов. У них была не страсть, а что-то другое, не менее сильное — ощущение полной раскованности. Тот же процесс мы наблюдаем в стихотворении «Я с дымящей лучиной вхожу...». Его толкуют обычно однозначно, позволяя себе даже печатать его под заглавием «Неправда», впервые помещенное так в мало авторитетном мюнхенском альманахе «Мосты». Комментаторы при этом игнорируют основное свойство мандельштамовского слова, толкуя его как аллгорию — обязательно политическую и обязательно антисталинскую (якобы, как утверждает Н. Я., Сталина в народе называли «шестипалым», то есть колдуном или сатаной). Но слово Мандельштама многослойно, несет в себе несколько смыслов. Из них самый тайный

¹³⁹² Мандельштам О. Полное собр. стихотворений. Новая библиотека поэта. СПб, С. 561. Примечание А. Г. Меца.

часто оставался не совсем ясным ему самому. Вот почему О. Э. мог в письмах к Наде быть нежным и заботливым до «неправдоподобия» (см. Ахматову), а в стихах называть ее с резкой грубостью. Это — вмурованный на самое дно многоэтажного слова поэта подспудный смысл его отношений с Надей, ворвавшийся в его поэзию помимо его воли. Недаром еще в 1912 году Мандельштам писал в рецензии на сборник стихов И. Эренбурга «Одуванчики»: «Истинное поэтическое целомудрие делает ненужным стыдливое отношение к собственной душе».

Об особом таланте Нади вызывать собеседника на доверительную откровенность вспоминал в конце своей жизни филолог и писатель Эдуард Григорьевич Бабаев. Его молодость прошла в Ташкенте, куда приехала во время войны уже овдовевшая Надежда Яковлевна Мандельштам. Он сразу подпал под ее всепоглощающее влияние. Процесс овладения ею душами молодых он обозначил словом «спираль» и описывал этот прием так: «вначале она снимала один еще поверхностный слой сомнений, стесняющих поведение мальчишка. Постепенно она повышала свой интерес к нему, а под конец угадывала самую болезненную точку в его самосознании и с легкостью ее снимала оброненным якобы вскользь освобождающим словом. Это было уже не сочувственное понимание, а настоящее отпущение грехов. Вот что создавало необыкновенную легкость в общении с ней». В таких играх протекала вся вторая половина ее жизни. Но не так это было просто, когда она жила рядом с гениальным поэтом. Разобраться в этой сложности нам поможет внимательное перечитыванье стихотворения «Я с дымящей лучиной вхожу...»:

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу.
Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

— Захочу, говорит, дам еще,
Ну, а я не дышу, сам не рад:
Шасть к порогу, куда там, в плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,
Полуспаленка, полутюрьма,
— Ничего, хороша, хороша,
Я и сам ведь такой же, кума.

Оно принадлежит к так называемому «волчьему циклу» 1930—1932 гг. Но, несмотря на промелькнувшую в черновиках к «За дремучую доблесть грядущих веков» метафору «шестипалая неправда», оно вводит в этот цикл совсем несвойственный ему мотив покаяния и вины. В чем вины? Кому он изменил? Цикл открывается стихотворением «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Как мы помним, это борьба с угрозой смерти. Свидетелем рождения этого стихотворения и первым его слушателем оказался Борис Сергеевич Кузин. Он воочию видел, на какой черной лестнице жил в эти дни в Ленинграде Мандельштам. В полутемной комнате старшей сестры Нади, которую приютил и прописал в своей квартире родной дядя Хазиных. Оно написано в декабре 1930 года. Но Кузин — нечаянно? — охарактеризовал это мрачное жилище словами из стихотворения, написанного уже в Москве, через пять месяцев после Ленинграда. И все-таки там появляется «полуспаленка-полутюрма» и главное — «сосновый гроб».

В то время как во всех остальных стихах из «волчьего» цикла звучит один и тот же мотив: «Душно, и все-таки до смерти хочется жить», «не волк я по крови своей», «заря над острогом», «держу пари, что я еще не умер» и проч. Но откуда это ужасное признание «Я и сам ведь такой же»? Кто эта его любимая подруга, которую он называет «кумой»? В чем тут дело? А дело в том, что, оставшись предоставленной себе после смерти Осипа Эмилевича, Надежда Яковлевна стала предъявлять ко всем претензии, торгуясь из-за каждой мелочи. Она обижена, почему Ахматова не ставит в «Поэме без героя» дату смерти Мандельштама, а вместо этого говорит о самоубийстве какого-то Князева. Она начала ссориться с Харджиевым из-за того, что он, опытный и чуткий текстолог, исправил три ошибки в ее списках. И она уверяла, что в интимной жизни Мандельштам всецело зависел от нее. Но если мы будем судить о поэте по книгам его вдовы, вместо того чтобы судить о его жизни по его книгам и высказываниям, мы никогда не доберемся до истины. А дело в том, что в первые годы их союза О. Э. при технической помощи Нади отдался вдохновенной работе над лирической прозой. Этот период поломался вторжением адюльтера в их супружескую жизнь; она почему-то собиралась уходить от Мандельштама к художнику Т., а О. Э. занялся поденной литературной работой. У Мандельштама было в молодости достаточно аномалий, о чем свидетельствуют его намекающие и прямые разговоры со мной уже в тридцатых годах, но в первые годы его гражданского брака с Надей у обоих был самый банальный адюльтер. Она собиралась уходить от Мандельштама к художнику Т., а Осип Эмилевич сменил период вдохновенной работы с технической помощью Нади на жадное зарабатывание денег поденной литературной работой. На эти деньги он выплачивал какие-то моральные долги Наде, а главное — снимал номер в гостинице, где и встречался с О. А. Ваксель, прозванной Лютиком. Роман был в таком разгаре, что мать Лютика чувствовала себя вправе требовать от О. Э., чтобы он вез ее дочь куда-то на юг, в санаторий. Но когда в эту связь вклинилась Надежда Яковлевна со своим бисексуализмом, она и превратилась из «дочки» и «ласточки» в «куму». Кстати, поэт иногда и сам не знал, откуда появлялся в его стихах тот или иной образ.

Способность видеть вдаль, другими словами, прорицательная сила гения, проявилась у Мандельштама в ранней молодости. Ему было 20 лет, когда он постиг свою судьбу до самого конца. Имею в виду стихотворение об испуганном орле, лучшем из трех (см. «Раковина» — 1911 год и «Автопортрет» — 1914 год), развивающих единую тему драматичного раздвоения высокого, почти космического духа и хилой плоти:

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, вясь,
Я поднимаюсь над собою, —

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою...

И как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну,

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну.

1911

То ли Мандельштам утратился своей слабостью, то ли не оценил масштаб этого стихотворения, но в свой первый сборник «Камень» он его не поместил.

В этом стихотворении притаились два классических образца — «испуганная орлица» из пушкинского «Пророка» и тютчевский «камень», сброшенный с горной вершины в долину, пусть таинственной рукой, но он оставлен на земле как оплот.

Мандельштам не подражатель и не отголосок, он работал сравнениями, а не подобиями, отталкиваниями, а не слияниями. Сходная тема раздвоенности поэта находит у него иное разрешение, чем в классической поэзии века. Он — воплощение неприкаянности в миру и плещущего крыла в неведомом космосе. В его лице эти противоположности выявились особенно рельефно, но ведь он не один такой. Мы найдем в поэтах так называемого «серебряного века» несколько носителей высокого духа и низменных страстей, но об этом надо говорить подробнее, приводя иногда неожиданные, но точные примеры.

1998 г.

МОЛОДОЙ МАНДЕЛЬШТАМ СКВОЗЬ РАЗНУЮ ОПТИКУ

В позднейших заметках Ахматова ограничилась припоминанием отдельных черт его характера, описанием разрозненных эпизодов и сообщением некоторых фактов из биографии поэта. Между тем такое уникальное явление, как молодой Мандельштам, предстанет перед нами со всей живостью с мемуарных страниц других авторов. Среди них выделяются удивительные записки Николая Николаевича Пунина. В главах, посвященных царскосельской и петебургской жизни десятых годов, будущий муж Ахматовой уделит целую страницу Мандельштаму. Приводим ее целиком.

«В “Цехе” я познакомился с Осипом Мандельштамом, одним из лучших поэтов моего поколения. Это тоже было существо более совершенное, чем люди. Он слушал собеседника, опустив длинные ресницы своих глаз так, как будто прислушивался не к словам, а к тому, что было скрыто за словами говорившего; может быть поэтому его реплики так часто были неожиданны, и он произносил их с оттенком какого-то недоумения, как будто спрашивал, то ли он услышал. Разговор с ним даже людей посредственных очень часто превращался в какую-то импровизацию в особом, если можно так выразиться, душевном пространстве.

Остроумный, но без всякой остроты, находчивый, даже дерзкий, но с какой-то деликатной осторожностью, Мандельштам бросал вызов собеседнику и сам же его ловил, но уже с другого конца, как будто во время разговора он перебежал с места на место. Он был не красив, но обаятелен — и прелестный, особенно когда он жмурил глаза и склонял голову набок напоподобие какой-то птицы. Впоследствии мне часто приходилось присутствовать при разговоре Мандельштама с Ахматовой: это было блестящее собеседование, вызывавшее во мне восхищение и зависть. Они могли говорить часами, может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это было подлинно поэтическая игра в таких напряжениях, которые мне были совершенно недоступны. Почему-то все более или менее близко знавшие Мандельштама, звали его “Оськой”, а между тем он

был обидчив и торжественен, торжественность, пожалуй, была самой характерной чертой его духовного строя, этот маленький ликующий еврей был величествен — как фуга».

Сходный образ поэта рисует в своем дневнике молодой литератор Павел Николаевич Лукницкий, собиравший под эгидой Ахматовой материалы для биографии казненного Гумилева. Он встретился с Мандельштамами в 1926 году в Царском, вернее, Детском селе, где Осип Эмильевич жил с женой в пансионе. Туда же приехала для лечения Анна Андреевна. Там ее навестил Лукницкий. Несколько раз в день она выходила вместе с Надеждой Яковлевной, чтобы подышать чистым воздухом: «Я остаюсь с Осипом Эмильевичем, — записывает Лукницкий. — Он вдавливается как птенец в глубокий диван...»

В следующем эпизоде Лукницкий с еще большей живостью воспроизводит своеобразный облик Мандельштама: «Возвращаясь с веранды, Анна Андреевна и Надежда Яковлевна застают нас за таким занятием: я читал из своего литературного дневника выдержки, касающиеся разговора Осипа Эмильевича с Евгением Ивановичем Замятиным у ворот “Всемирной литературы”, а О. Э. громко смеялся, причем весь вид его совпадал с видом птенца, высунувшего из гнезда голову и до глубины своей души счастливого. Решительно, диван противоречит стилю О. Э. Ему нужно всегда сидеть выпрямившись, и так, чтобы не было сзади тяжелого фона, мешающего впечатлению, производимому быстрыми поворотами его высоко закинутой головы».

Не только пластика, но и беседа Мандельштама была неповторима. Это видно не только из блестящего описания Пунина, но и из переданного Лукницким рассказа Осипа Эмильевича о Гумилеве. У обоих поэтов, естественно, был свой особенный разговор, подобный общению Мандельштама с Ахматовой. Гумилев, например, говорил: «У тебя Осип, пафос ласковости!» Тут же Мандельштам спрашивает Лукницкого: «Понятно это или нет? Неужели понятно? Даже страшно».

Рассказ Лукницкого можно дополнить одной репликой Гумилева, слышанной мной в передаче Анны Андреевны. Она относится к тому короткому периоду, когда Осип Эмильевич часто встречался с Георгием Ивановым. По-видимому, младший поэт пытался обратить Мандельштама в свою гомосексуальную веру. Но Гумилев говорил: «Осип, это не для тебя».

Крайне интересен отзыв самого Мандельштама о Гумилеве по поводу странного признания Николая Степановича: «Я трус». Анна Андреевна тут же вмешалась в беседу Мандельштама с Лукницким: «В сущности, это высшее кокетство».

Но Мандельштам, продолжает записывать Лукницкий, дает другое объяснение: «Николай Степанович говорил о “физической храбрости”. Он говорил о том, что иногда самые храбрые люди по характеру, по душевному складу, — бывают лишены физической храбрости. Например, во время разведки валится с седла человек заведомо благородный, который до конца пройдет и все, что нужно, сделает, но все-таки будет бледнеть, будет трястись, чуть не падать с седла. Мне думается, что он был наделен физической храбростью. Я думаю. Но может быть, это было не до конца, может быть, это — темное место, потому что слишком уж он горячо говорил об этом... Может быть, он сомневался...»

Лукницкий уступал Пунину в литературном таланте, но записывал точно и умело. Его рассказ легко ложится рядом с тонким пуниным портретом Мандельштама. Не мешает он также образу трагизма, воплощенному в стихотворении Ахматовой. Но резким диссонансом звучат ее «Листы из дневника». Там нарисован слишком уж поверхностный портрет двадцатилетнего Мандельштама: «Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки». Может быть, эта банальность объясняется тем, что «Листки...», начатые одновременно со стихотворением, имели особое, отчасти полемическое назначение...

В СОРОК ВОСЬМОМ

29 апреля

Сегодня слушала Ираклия Андроникова. Вечера не было, а были отдельные номера, не связанные между собою. Поэтому можно было судить о нем в разных жанрах. Это очень неровно. Рассказы о Шкловском и Пастернаке — гениальны. Но в них есть что-то жуткое. Эта сила перевоплощения, организованная в пронзительно умную форму, почти страшна. Короткие, острые новеллы. Шкловский: привычная парадоксальность одинокого ума, яростно бьющегося об людей с требованием признания и понимания, вместе с тем мелкость характера, способность отдаваться без оглядки во власть собственных пристрастий и предубеждений, изысканная рафинированная простота рассказа, доходящая до полного абсурда. Вот Шкловский в рассказе Андроникова. Не хватает только грустной растерянности и детскости, которая иногда проскальзывает у Шкловского, а у Пастернака есть в огромной степени. Андроников не чувствует этого, не понимает, что гениальность — это бремя, с нею трудно жить и в каждом поэте есть немного и сирота. Пастернак уловлен только в его горячности. Если бы в законченных, насыщенных, экономных новеллах Андроникова были бы одна-две фразы или интонации, выходящие за пределы взятой формы и темы, как бы проплывающие над рассказом, незавершенные, как вопрос без ответа, — было бы гораздо поэтичнее. Пастернака нужно показывать так, чтобы чувствовалось, что его речь без всякого усилия может перелиться в другую речь или стихи. Словом, в двух новеллах не хватает любви; она заменяется бесстыдством художника, жадным физиологическим психологизмом, злым любопытством. А когда даешь портрет, то хорошо понять человека до дна, найти для него форму, а потом оставить место для воображения и надежды. Как бы сказать: вот он весь, каков есть, но мог бы быть и другим. В образе должна быть текучесть, чем закрепленнее форма, тем пренебрежительнее надо к ней относиться: форма может распасться, а то, что конструировало ее, может перевоплотиться в новую форму. В большом искусстве это вечное всегда сохраняется и дает главный отблеск всему произведению. У Андроникова этого еще нет.

Гораздо больше лиризма, легкости, простора в рассказе о генерале Ч-дзе.

Это одно из лучших произведений об Отечественной войне. Здесь есть новизна и неповторимость типа; превосходно найденные слова — «алтарь отечества», «алая кровь», слова, которые ничего не объясняют, но помогают генералу Ч-дзе выражать высокое, человеческое и героическое, наполняющее его целиком.

Тончайший рассказ, согретый теплотой и любовью автора к герою, свежий и музыкальный.

Надо быть благодарным Андронику за то, что он показал человека, поднятого и расширенного своим делом. Это очень редко бывает и трудно дается — показывание человека в своем деле. Когда-то Андроников показал Гаука, но это было поверхностно по сравнению с рассказом о наивном, воодушевленном и умном генерале.

Итак, я теперь поняла. Настоящий художественный рассказ только этот. Он забывается, раздавленный новеллами о Шкловском и Пастернаке. В этих двух автор еще не справляется с персонажами: они сильнее его. Особенно это относится к Пастернаку. Рассказ натуралистичен. Я начала с того, что рассказы эти гениальны, но страшны. Теперь поняла — тяжесть от натурализма и от того, что сила перевоплощения еще не вполне обуздана художником.

Поразительно бездарный, скучный, длинный рассказ — «Загадка Н. Ф. И.», в нем хороши только сценические портреты Маклаковой, Жедринского и Голицына. Но там, где Андроников выходит из своего жанра и пытается деловой и занимательной прозой описать свои занятия Лермонтовым, он очень скучен. Рассказ насквозь фальшив. Рассчитан на пошлую публику, которую надо занимать. Искусственными, неестественными приемами повышается интерес к подробностям исследовательской работы. Себя в деле Андроников совсем не сумел показать. Я с ним работала над Лермонтовым и знаю, что его энергия, увлеченность, страсть к исследованию и труду, любовь к Лермонтову выглядят совсем иначе, чем он изображает в «Загадке Н. Ф. И.» Особенно отвратителен сентиментальный тон при упоминании о любви Лермонтова и Н. Ф. И. Рассказ написан с спекулятивными целями, для саморекламы, и поэтому так плох.

III

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В самых последних числах мая 1951 года машина «неотложной помощи» доставила Ахматову в 5-ю Советскую больницу с диагнозом «предынфарктное состояние». В приемном покое она была еще на ногах — я с ней разговаривала. На следующий день, в воскресенье, я застала ее в изоляторе. Анна Андреевна лежала на спине, вытянувшись, молчаливая, с ужасной болью в груди. Меня она почти не узнавала.

Взволнованная медсестра что-то принесла и быстро побежала за дежурным врачом... Потом мы узнали, что именно в тот час произошел инфаркт миокарда — тяжелый, двусторонний.

Через несколько дней ее перевели в общую шестиместную палату. Анна Андреевна лежала у левой стены, на средней кровати и, по ее настоянию, лицом к окну, выходящему в сад.

Я все еще входила к ней с опаской. Но 5 июня (дата у меня записана) она обрадовала меня своим спокойным и веселым видом.

— А мне здесь представление показывали, — произнесла она беззаботно. Я недоумевала. — «Каменного гостя».

— Где?!

— Там. — Она указала рукой на окно, за которым ветви деревьев почти касались стекла. — Я теперь поняла, как надо играть и как надо говорить. Здесь все дело в Командоре. Монумент стоит на пьедестале, по бокам черного цвета как бы два блестящих черных щита (она обрисовала руками), а посередине — серый, переходящий в алебастровый.

Статуя может быть в двух вариантах. Один такой: очень грузный, большой человек. Знаете, бывают такие большие мужчины с длинными усами, грубыми чертами лица, толстыми руками...

А другой вариант такой: тонкая длинная фигура уходит вверх так, что не видно головы. Голова упирается в небо и где-то там теряется.

— Этот вариант лучше, — говорю я.

— Как хотите.

И это вовсе не кладбище, а огромный купленный участок, никаких могил и гробниц здесь нет.

А все актеры обычно тычут рукой и показывают, что здесь где-то похоронена «бедная Инеза». Это большой сад.

А донна Анна должна быть вся в белом. Хотя у Пушкина и сказано: «под этим вдовим черным покрывалом», но нам до этого нет дела. Здесь траур был белым.

— Ну а дон Гуан какой? — спрашиваю я.

— Дон Гуана мне не показывали.

Она помолчала.

— Но когда он говорит с Лепорелло, он гуляет по этому роскошному зловещему саду и нарочно говорит так, как будто здесь очень уютно и ничего особенного.

Придя домой, я сразу записала поразивший меня рассказ Ахматовой. Единственная запись, которую я себе позволила сделать за все время нашего знакомства с 1933 по 1966 год. Когда, выздоровев, Анна Андреевна пришла ко мне, я показала ей этот листок.

— Это не все. Там еще много было, — задумчиво сказала она.

В неурочное время телефонный звонок: Анна Андреевна просит немедленно приехать. Говорит медсестра. Встревоженная, я помчалась в больницу. Оказывается, произошло чисто житейское недоразумение. Свой взволнованный рассказ Анна Андреевна начала фразой: «Пришла NN, *стукнула на стол боржом* и сказала...» Выслушав и обсудив всю историю, я распутывала ее уже в городе. А сама не переставала удивиться памяти Анны Андреевны: задолго до инфаркта я обратила ее внимание на смелость выражения Л. Толстого в повести «Хозяин и работник» — «...молодайка... обмахнув занавеской уходящий прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и *стукнула на стол*». Ни перенесенная опасная болезнь, ни чувствительность выздоравливающей не вытеснили из ее сознания это впечатление.

Как-то к слову я спросила Анну Андреевну, помнит ли она то лето и особенно возвращение из больницы.

— Как не помнить? — весело откликнулась она.

А что было? Да ничего. Был прохладный, но ослепительный солнечный день. Машина шла по Б. Калужской улице, рядом с водителем сидел Н. И. Х., Анна Андреевна — со мной, на заднем сиденье. С жадностью вглядывалась она в пролетающую мимо улицу. Верхушки деревьев Нескучного. Благородные пропорции здания Первой Градской больницы. Блестящий верх мчащихся навстречу машин... Неожиданно наклонившись ко мне, Анна Андреевна прошептала, почти выдохнула по-детски: «...нравится...»

Спустя год после первого инфаркта Анна Андреевна настолько окрепла, что мы поехали в Коломенское на троллейбусе. Потом долго еще шли пешком вверх по тропинке в пыли, под солнцем. Церковь Вознесения была открыта. Анна Андреевна молча смотрела на сужающиеся своды уходящего ввысь храма, на «царское место», где, как нам сообщили, сиживал Иван Грозный, и, выйдя на воздух, прошептала: «Как страшно!» Она живо представила себе, как царь тут сидел и думал о своих жестоких делах.

Возвращаясь домой, мы подошли к пивному ларьку, где я хотела прикупить папирос. Очередь расступилась. Но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем большее уважение отражалось в глазах окруживших нас рабочих, и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления.

Несколько лет подряд каждый апрель, а потом опять в июле стояла сильная жара. Ахматовой с ее больным сердцем, конечно, следовало жить за городом, но куда ехать? В Домах творчества она не хотела показываться, боясь любопытствующих, расспросов и утомительного разглядывания. Гостить на дачах? Но дела складывались так, что ее присутствии в Москве очень часто бывало необходимо.

На Ордынке она прохаживалась по квартире Ардовых в штапельном платье-халате (с красными тюльпанами по синему фону), входила в залитую солнцем, всю в зелени столовую и вздыхала: «Суховей прорвался» (о «сухове» тогда постоянно писали в газетах).

Перед ночными часами она шла с В. Е. Ардовым на угловой сквер — подышать, а на следующее утро рассказывала о говоре «московских просвирен», вспоминая известные слова Пушкина. Блаженное вслушивание в этот говор началось еще в замоскворецкой больнице, но нередко оно прерывалось возмущением: «Разучились говорить! Не знают, какого рода слово — мужского или женского, путают падежи».

Мы ходили с ней гулять, идя друг другу навстречу, она выходила из дома № 17 в начале Б. Ордынки, я шла с Б. Серпуховской улицы, заходили во все дворики, отдыхали там. «Переулки, где ходил Островский», полюбились Ахматовой, хотя как писателя она его недооценивала.

Длина ее комнаты на Ордынке равнялась длине тахты. Однажды Анна Андреевна лежала вопреки своему обыкновению лицом к двери, а спиной к окну. Я сидела напротив (или рядом, что в этой комнате-каюте одно и то же).

— Вы слышите? Уже совсем другой звук, — прервала она случайно наступившее молчание.

В квартире никого, кроме нас, не было. Тишина. В недоумении я бросила взгляд на растворенное окно, увидела угол стены, пожарную лестницу, вымахавший почти до второго этажа тополь.

— Лист уже суше, — объяснила Анна Андреевна. — Нет той влаги в шелесте, какая бывает в начале лета.

Дело было в середине июля и, казалось, ничто еще не предвещало приближения осени.

В другой раз, в той же «каюте» на втором этаже, она прочла мне свое новое стихотворение, а я не сразу уловила, почему оно называется «Мартовская элегия». Она охотно заговорила:

— В марте, когда начинает таять снег, всегда кажется, что кто-то со двора приник к окну.

Меня потряс тогда образ надежды и обновления, завершающий эту элегию: «И казалось, что после конца Никогда ничего не бывает... Кто же бродит опять у крыльца. И по имени нас окликает?» Но когда я навестила Анну Андреевну на Ордынке за пять дней до ее кончины, она внезапно с тоской перебила меня: «Все время кто-то стоит за окном и зовет. Это бывает только в марте, вы не замечали?»

На Серпуховке я жила в больничном саду с выходом на улицу Щипок. Чаще всего Анна Андреевна приходила ко мне в послеобеденное время. Дождавшись звонка на ужин, когда больные разбрелись по палатам, мы выходили в опустевший огромный сад. Внача-

ле сидели на скамье посреди лужайки и «дышали озоном», не обращая внимания на близость кухни (впрочем, бездействующей в это время суток).

— Это какое дерево? — указывает Анна Андреевна на большую крону вдали и удивилась: — Как можно не знать? — Она называла вяз или тополь, не уставала любоваться старым дубом перед нашим домом и разного возраста кленами. Потом мы шли ближе к выходу на Серпуховку, опять сидели на скамье возле памятника А. В. Вишневскому, вдыхали запах распустившегося к вечеру табака и, так насидевшись, шли к стоянке такси на площадь. А так как ехать до Ордынки было слишком близко и таксисты сердились, я, проводив Анну Андреевну в машине и поднявшись с нею на 2-й этаж до дверей квартиры, сразу же возвращалась на той же машине через Люсиновку и весь ночной сад домой. Таков уж был наш ритуал. Вероятно, Анна Андреевна вспоминала и это, когда, даря мне книгу своих переводов из корейских поэтов, надписала: «Другу Эмме на память о нашей смиренной жизни в пятидесятых годах века в Замоскворечье — с любовью Анна. 13 апреля 1956. Москва».

Нередко мы ездили с Анной Андреевной на Центральный почтамт, где, как она говорила, я становилась в очередь на отправку бандероли, и в этом огромном зале, под шум хлопающих дверей и шаркающих ног, под дробный стук почтовых штемпелей и возгласы с названиями городов, она писала письмо сыну.

Как-то придя на Ордынку, я спросила Анну Андреевну, как ей нравится новое стихотворение Пастернака «Свиданье».

— Дивно! — сказала она.

Я ждала дальнейшей оценки стихотворения как высокого образца любовной лирики. Но оказалось, что Ахматову прельстил только портрет женщины под снегопадом.

— «Одна, в пальто осеннем, без шляпы, без калош», как это современно! — восклицала она... — «течет вода с косынки по рукаву в обшлаг...»

После этого часто, собираясь гулять, она произносила пастернаковскую строку из «Свиданья»: «Пойду размять я ноги»; я шутливо говорила: «Наденьте пальтецо», и она неизменно подхватывала с нежностью: «Да... пальтецо»...

В Москве шел французский фильм «Тереза Ракен» (по мотивам романа Золя, но на материале XX в.). Картина всем нам нравилась. В театральном доме Ардовых много и профессионально говорили об игре актеров, Анна Андреевна охотно присоединилась ко мне: «А вы заметили, как она вышла из машины?» Анна Андреевна имела в виду те кадры, где в полицейской машине Терезу (ее играла Симона Синьоре) везут на место преступления. Пустынный пейзаж, железнодорожные пути... Тереза ставит ногу в элегантной туфле прямо в глубокую лужу и даже не вздрагивает. Идет вперед как сомнамбула.

Такие детали всегда волновали Ахматову. Без них искусство было для нее мертво.

Некоторые слушатели не понимали Одиннадцатую симфонию Шостаковича. Но Ахматова горячо защищала новый опус композитора: «У него революционные песни то

возникают где-то рядом, тот проплывают вдалеке в небе... вспыхивают как зарницы... Так и было в 1905 году. Я помню».

Она помнила не только первую революцию, но и более ранние времена. Как-то в «каюте» на Ордынке она описывала мне дом, в котором жила с родителями в Царском Селе, и упомянула о местной почтовой станции. Не знаю почему, почту там развозили на лошадях. Анна Андреевна рассказала, с каким восторгом она со своей нянькой наблюдала, как ямщики выбрасывали из саней тяжелые тюки с корреспонденцией и с особым стуком кидали на пол станционные избы. «Ямщиков брали из Кирасирского или Гренадерского полков», — задумчиво припоминала она. Вскоре я узнала этих силачей в «Царскосельской оде», написанной Ахматовой в Комарове в 1961 году:

А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

Несмотря на авторский подзаголовок «девятисотые годы», кажется мне, что и этот великан, и цыганка с постоянного двора, и солдатская шутка забрели в «Царскосельскую оду» из девяностых, когда Аня Горенко расхаживала со своей любопытной нянькой по удивительному городу.

Свои стихи Ахматова читала, легко прерывая беседу и не меняя позы. Она произносила их ровным, тихим голосом, как бы сообщая. Только в некоторых местах прорывалось исступление, тотчас умеряемое. Я до сих пор не забыла, как она читала в 1936 году в Москве стихотворение «От тебя я сердце скрыла». Может быть, потому, что она читала его не с глаза на глаз, а в присутствии четырех человек, в мастерской художника А. А. Осмеркина, волнение начало овладевать ею в строках

Осторожно подступает,
Как журчание воды,

и, нарастая, достигло апогея в двух следующих:

К уху жарко приникает
Черный шепоток беды...

Слегка вибрирующий голос позволял догадываться о неистовстве, породившем эти строки. Но она тотчас овладела собой и закончила на ровном спаде.

Поздние магнитофонные записи чтения Ахматовой уже не передают этого впечатления. Голос ее с годами стал ниже и глуше, к тому же магнитофон сам по себе сгущает звук. Главное же в том, что стихи в этих записях текут беспорядочной вереницей, и это нарушает художественный эффект. Сохраняется только строгий ритмический рисунок авторского исполнения.

Большую часть Анна Андреевна читала для одного слушателя, не разрешала запоминать, отказываясь повторить текст. Иногда она говорила: «Здесь надо будет доработать, я еще подумаю». Самый же процесс творчества оставался совершенно скрытым. Мне трудно было себе представить, как и когда Ахматова писала.

Я рассказывала Анне Андреевне о своем толковании лермонтовского образа «Читателя». Она слабо реагировала на новизну моей трактовки (я считала, что Читатель — это Вяземский). Я предложила перечесть вместе «Журналиста, Читателя и Писателя». «Это только экспозиция, — небрежно отозвалась Ахматова о литературной полемике первой части. — А вот что замечательно: ведь Лермонтов описывает здесь, как он сам сочиняет стихи». И она указала мне на кусок из монолога «Писателя»:

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подьемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко, без сознания,
Давно забытые названья...

— Вот для этого все стихотворение и написано, — заключила Анна Андреевна.

Говорили о коварстве лирической поэзии. Поэт как будто открывает читателю свои самые сокровенные переживания, но ходит, как по канату. Один неверный шаг — и сорвешься в мелкое, личное, излишне откровенное. Я пошутила, что писание лирических стихов, в сущности, занятие неприличное. Анна Андреевна ответила, что как раз недавно она беседовала на эту тему с «Люсей» (Лидией Яковлевной Гинзбург), тоже говорившей о невидимой черте, которую так опасно перейти поэту. Появление перед читателем, в образе лирического героя и все-таки самим собой, со своей индивидуальной судьбой, мы сравнили с работой актера: как бы он ни перевоплощался, он все же сжигает *свои* нервы, плачет *своими* слезами, предстает перед публикой одетый и раздетый одновременно. Словом, и актер и лирический поэт больше, чем другие художники, служат сами себе материалом искусства. В память этой беседы мне особенно дороги были строки ее стихотворения «Читатель»:

И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,

Лайм-лайта позорное пламя
Его заклеямило чело.

При первой публикации этого стихотворения редактору показалось бестактным слово «позорное», и, «чтобы не раздражать актеров», Ахматова заменила его словом «холодное». Так это стихотворение и печатается до сих пор. А какой в этом смысл? У меня есть авторизованная машинопись с первоначальным текстом, мне он представляется более верным. Интересно, что Л. Я. Гинзбург, печатая в 1977 году в «Дне поэзии» свои заметки об Ахматовой, тоже приводит подлинные слова Анны Андреевны, корреспондирующие с первой редакцией «Читателя»: «Стихи должны быть бесстыдными».

В беседе Анна Андреевна любила цитировать поэтов-современников. Иногда к слову, как, например, в тридцатых годах пастернаковское: «Повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне». А еще чаще без внешнего повода. Анна Андреевна высоко ценила стихотворение Мандельштама на смерть Ольги Ваксель и часто скандировала:

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели, —

не раз возвращалась к отдельным строкам ее любимого воронежского стихотворения: «...кого, как тень его, пугает лай и ветер косит...».

Перечитывая «Египетскую марку», восхищалась: «Богат Осип, богат». «Единственное, чего я не принимаю у него, — сказала однажды мне Анна Андреевна, — это, как ни странно, “Стихи о русской поэзии”». Здесь он ухитрился не заметить Пушкина».

Полет Гагарина ошеломил Ахматову. Ее, так любившую Землю, потрясли сообщения о том, как выглядит из космоса наша планета. Она взволнованно ходила по ардовской столовой и повторяла стихи Гумилева:

Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездой,
Огнем пронизанной насквозь!

— Самое страшное в космосе — абсолютная тишина, — часто потом говорила Ахматова.

Она любила шум, доносящийся со двора: кто-то выбивает ковер, другой зовет домой детей, хлопают двери машины, лает собака... Она смеялась над теми писателями, которые стараются изолировать себя от звуков происходящей рядом жизни. С иронией приводила в пример, кажется, братьев Гонкур, добившихся в своем деревенском уединении

полной тишины, но вот ночью лошадь на конюшне переступала с ноги на ногу... Анне Андреевне не мешало ничего.

Как удар, подействовало на нее «Дознание» Леона Фелипе. Он видит «траурные реки», «черные кладбищенские кони» бегут «с рыданьем». Собеседник, поправляя его, переспрашивает: «С ржаньем?» «Все кошмары приводят к морю», — твердит, не отвечая. Образ моря Леона Фелипе перекликается с мотивами поздней Ахматовой. Вот строки испанца:

К огромной раковине в горьких отголосках,
где это выкликает имена —
и все поочередно исчезают.

И ты идешь один... из тени в сон,
от сна — к рыданью,
из рыданья — в эхо...

(Перевод А. Гелескула)

— Это я должна была написать, — с силой, даже досадой сказала мне Анна Андреевна.

Ахматова много думала о большой повествовательной форме. Часто она фиксировала внимание на неиспользованных сюжетах современности. Однажды мы обсуждали судьбу нашей общей знакомой. Десятилетиями она питала душу обманчивыми надеждами.

— Еще один пропавший сюжет, — заметила я.

— Нет, — возразила Анна Андреевна. — Об этом уже написано. — И она стала излагать содержание рассказа Джона Стейнбека «О мышах и людях», тогда еще у нас не переведенного. Как известно, там описан грубый мир американских фермеров, быт сезонных рабочих с их бездомностью и мечтой о собственном хозяйстве. Один из них неумышленно убил жену хозяина. Возмездие совершается тут же. И когда его ведут на казнь, брат, глядя безвинного убийцу по затылку, дурманит его словами надежды: «Мы будем жить в своем доме, у нас будет свой клочок земли... и барашки...» На этом слове Анна Андреевна прослезилась. А это бывало с ней так редко.

Когда рассказ Стейнбека был напечатан по-русски, я сопоставила перевод с изложением Ахматовой и не находила пластичных сцен, запомнившихся с ее слов, не испытывала пронзительной жалости к убогим и трагическим душам этих людей и не ощущала так явственно сквозной идеи рассказа о безнадежной надежде.

То же самое было с «Процессом» Кафки, который Анна Андреевна прочла по-французски. Она пересказывала содержание романа гостям, собравшимся в ее ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Лет через 6 — 7 «Процесс» вышел у нас в русском переводе. Я начала его читать. Где эти мрачные предзнаменования и предчувствия, набегавшие как волны? Где огненные повороты сюжета? Почему я не чувствую острой новизны будней? Мне виделись два просторных ленинградских окна, большой обеденный стол, за ним мы — немного чужие друг другу — молча слушаем сдержанный и раскаленный рассказ Ахматовой.

Видимо, эти пересказы были для Ахматовой каким-то вторичным творческим процессом. Отсюда ее живейший интерес к построению сюжета. Каждый новый прочитанный роман подвергался ее придирчивой критике. Она проверяла линии развития сюжета, правильность мотивировок. Если она находила отклонения от истины в деталях, все произведение для нее разваливалось. Она прочла известный французский роман, где завязка строится на уличной сцене, увиденной из окна мансарды. Анна Андреевна проанализировала топографию описанного места и пришла к выводу, что улица не могла быть видна из этого окна. И какой бы острой ни была проблематика или динамичной фабула, после таких ошибок роман уже не мог привлечь ее внимания.

Все это признаки непрерывной внутренней работы, знаменовавшей тяготение Ахматовой к выходу в новые литературные жанры.

Как-то я сделала мимолетное признание, вовсе не ссылаясь на лефовскую теорию «литературного факта» и не цитируя Льва Толстого, хотя можно было тогда привести его известные слова:

«Со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будут словесно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Петровича... Писатели... будут только рассказывать то значительное... что им случилось наблюдать...» Без привлечения этих авторитетов я говорила Анне Андреевне о том же, но как о своей индивидуальной склонности.

— Значит, просто в вас этого нет, — воскликнула Анна Андреевна. — Это — *самое главное!* Итак, самое главное — художественный вымысел.

Воскликание Ахматовой — ключ к ее затаенным интересам. Ни занятия Пушкиным, ни мемуарные очерки, ни работа над автобиографией, ни публицистические статьи (а публицистическим темпераментом пронизаны многие работы Ахматовой о Пушкине) — вся эта деятельность не покрывала ее тяги к прозе. Мне кажется, что Ахматовой владело неосознанное стремление создать традиционный психологический роман на широком историческом фоне XX века. Но все это брожение творческих сил впитала в себя «Поэма без героя». Произведение военных лет обрастало в последующие годы множеством вставок и изменений. Последняя редакция «Поэмы» по жанру и по стилю принципиально отлична от первоначального творения. Вероятно, поэтому Анна Андреевна не возражала, когда я поделилась с ней своим замыслом написать статью под заглавием «Две Поэмы без героя». Она даже обещала предоставить мне необходимые для этого материалы. Но мое последнее свиданье с Анной Андреевной — 28 февраля 1966 года. А 5 марта она скончалась в подмосковном санатории.

КНИГА ЖИЗНИ

— так назвала Анна Андреевна Ахматова свою самую толстую записную книжку большого формата. Такое заглавие можно распространить на все 23 ее записные книжки. Если полистать любую из них, они поразят своим смешанным содержанием. Тут встретятся стихи и цифры, списки отданных в журналы новых стихотворений и другие списки, напоминающие о бывших сегодня посетителях, планы завтрашнего дня и отрывки прекрасной прозы, еще не видевшей света, библиография рецензий на свои ранние книги и заметки, заготовленные для новой полемической статьи, выписки из прочитанных книг, беглые записи о поездках: Москва, Ленинград, Рим, Париж, Лондон... Но во всей этой смеси доминируют несколько больших творческих тем. Это — работа над незавершенной пьесой, главным образом стихотворный «Пролог» к ней, новые строфы для «Поэмы без героя» и расширенная редакция воспоминаний о М. Л. Лозинском, в первоначальном варианте уже напечатанных. И еще одна совсем особая тема — портрет Николая Степановича Гумилева — поэта, друга, мужа. Да, это не дневник — в этих записях почти не встретишь личных или интимных признаний, не памятные деловые блокноты и не творческие рукописи. Это действительно книги жизни.

Все они отмечены общим отличительным признаком. Они велись только в последний период жизни их владелицы — 1958—1966 годы. Все помнят или знают, что этот исторический период (так называемая «оттепель») сопровождался огромным душевным подъемом в среде интеллигенции. После XX съезда КПСС, когда Н. С. Хрущев разоблачил преступную сторону правления И. В. Сталина, появились надежды на более свободную и нормальную жизнь. Возвращались из лагерей и ссылки бывшие заключенные. Среди них был и сын Ахматовой Лев Николаевич Гумилев, «Лева» или «Левушка», как его называет в своих записках Анна Андреевна. Он был полностью реабилитирован после семилетнего пребывания в лагере строгого режима, вторично осужденный Особым Совещанием на десять лет в 1950 году. До этого Лев Гумилев уже прошел тяжелый путь: долгое следствие и заключение с последующей высылкой в еще строящийся Норильск (1938—1944). Эта трагическая эпопея отражена в «Реквиеме» Анны Ахматовой. Затем добровольное участие в Великой Отечественной войне, закончившееся в Берлине. Четыре года жизни в родном Ленинграде начались с упоительным ощущением свободы, но были оборваны в 1946 году знаменитым мракобесным постановлением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Содержащиеся в нем неслыханные поношения и оскорбления Ахматовой не могли не отразиться на

судьбе Льва Николаевича. Он был исключен из аспирантуры, но упорно продолжал свои научные занятия, хотя его не пускали больше даже в читальный зал необходимой ему библиотеки ИВАНна (Института востоковедения Академии Наук). В ноябре 1949-го за ним пришли с ордером на арест. По рассказу Анны Андреевны, после прощального благословения сына она потеряла сознание. Очнувшись, услышала: «А теперь вставайте, мы будем производить у вас обыск». Когда гебешники ушли, Анна Андреевна стала импульсивно бросать в печь свои перемешанные бумаги, не разбираясь в них. Вряд ли в составе сожженного архива были какие-нибудь записные книжки. Кто же их вел в те времена?

Уничтожение огромной части бесценных ненапечатанных рукописей поэта было единственной жертвой, принесенной Ахматовой в эти трагические дни. В то время, как над Л. Гумилевым велось следствие в Лефортовской тюрьме (сразу после ареста его увезли в Москву), Ахматова, оставаясь в полном одиночестве, решила на отчаянный поступок. Она написала цикл казенно-патриотических стихов, среди которых было и славословие Сталину. Цикл был напечатан в «Огоньке» в начале 1951 года под заглавием «Слава миру». Но на участь сына это не повлияло: осуждение на 10 лет не потеряло своей силы. Ахматова осталась в странном двусмысленном положении. С одной стороны, ей стали предоставлять работу переводчика стихов, чтобы она не умерла с голоду. Еще через некоторое время, под давлением доброхотов-благожелателей, Литературный фонд сдал ей в аренду маленький коттедж в Комарове на общем участке с тремя другими писателями. С другой стороны — пресловутое постановление ЦК не было отменено. Оригинальное творчество Ахматовой не печаталось. Несмотря на то, что переводческая работа расширила круг ее знакомых — это были редактора издательств или периодических журналов, где печатались ее переводы, все же она жила очень замкнуто. Изредка читала новые стихи самым близким друзьям и постепенно пыталась восстанавливать свои уничтоженные творения, припоминая, наново записывая, находя старые публикации. Но, конечно, записных книжек тогда вести не могла.

После смерти Сталина, когда первые волнения и страсти немного улеглись, Анна Андреевна стала делать попытки хлопотать о пересмотре дела сына. Организовать это было не так просто. Во-первых, хлынуло довольно много просителей и трудно было попасть на прием к нужному лицу. А во-вторых, надо было решить, к кому обращаться, ведь общее политическое положение было еще колеблющимся. Наконец в феврале 1954 года письмо Ахматовой было передано в условленный день в комендатуру Кремля на имя Председателя Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова. По словам его адъютанта, письмо Ахматовой в тот же день легло на стол высокопоставленного адресата. Но ответа не последовало. Он пришел только летом — не из Верховного Совета, а из Генеральной прокуратуры СССР. Сухой казенный ответ гласил: дело Л. Гумилева пересмотру не подлежит.

Это был страшный удар для Анны Андреевны. Она оказалась в тупике. Стало ясно, что ей, жертве постановления, никакой поблажки не будет. Ее поддерживали только для виду, чтобы не создалось впечатления на Западе о том, что поэта загубили, но каждое напоминание о ней властям только обрекало хлопоты о ее сыне на неудачу. Тогда, все эти годы до 1956-го, когда состоялся уже упомянутый XX съезд, Ахматова обращалась ко многим

влиятельным лицам, чтобы они своим авторитетом поддержали ее просьбы, вернее, чтобы они сами заступились за Л. Гумилева. И знатные люди охотно вмешивались в это дело. Это были М. А. Шолохов, И. Г. Эренбург, академик В. В. Струве, член-корреспондент Н. И. Конрад, директор Эрмитажа М. И. Артамонов, доктор исторических наук, лауреат Сталинской премии А. П. Окладников, секретарь Союза писателей А. А. Сурков. Каждый из них с удивлением убеждался, что все его усилия наталкиваются на какую-то непробиваемую стену. А Лев Николаевич тем временем со своими односидельцами воображал, что все происходит из-за того, что мать не хочет за него хлопотать. Особенно когда узнали, что Ленинградское отделение Союза писателей делегировало Ахматову на Всесоюзный съезд писателей, они там в лагере совсем растерялись. По их наивным представлениям, Ахматова должна была тут же, на торжественном заседании съезда с участием правительства, крикнуть во всеуслышание, что у нее невинно осужденный сын, и все бы перепугались и сейчас бы занялись его делом. Между тем такой выпад мог бы оказаться губительным для него, а может быть, и для Ахматовой. Уж нашли бы способ, как избавиться от неугодных лиц. Вот эта болезненная идея и сделала отношения между Ахматовой и ее сыном такими напряженными, когда он вернулся в 1956 году. Мы к этому еще вернемся.

Образ жизни Ахматовой в атмосфере всеобщего оживления конца 1950 — начала 1960-х годов тоже сильно изменился. Постепенно у нее стали появляться все более широкие связи с издательствами и редакциями журналов и газет. Но, как уже говорилось, ей открыли дорогу только к переводам или тщательно отобранным редакторами отрывкам из ее новых стихов. Так, стихотворение из пяти строф превращалось в восьмистишие, вырванное из середины, в другом — из пяти строф выброшены две средних и т. п. А записные книжки безрезультатно заполнялись планами будущих книг — поэтических сборников и мемуарных, большими кусками незавершенных исследовательских работ о Пушкине. Внешне пестрая новая жизнь Анны Андреевны не могла заслонить главного дела поэта: встречи с читателем, обнародования своих творений. Тут дело, как видим, обстояло совсем не благополучно и напряженно. Даже в последние месяцы жизни Анна Андреевна испытывала всю тягость опального положения.

15 сентября 1965 года Анна Андреевна записывает:

Хренков просит к 21-му отобрать стихи в сборник в Лениздате. Как мне не хочется с ними возиться, как хочется от них отдохнуть, даже забыть. Это значит опять думать: «Нельзя» — «можно», «лучше это или то». Какие опустошающие мысли, как вредно быть собственным критиком, цензором, палачом...

Постановление ЦК ВКП(б) 1946 года так и не было отменено при жизни Анны Андреевны. Его продолжали изучать в средней и высшей школе, и это диктовало издательствам соблюдение высочайшей осторожности. Первая книга стихов Анны Ахматовой вышла только через 12 лет после постановления, в 1958 году. Ее готовили целый год. Она состояла из отдела «Стихи разных лет». За период с 1909 по 1957 годы набралось 75 стихотворений. Треть сборника занимали переводы. Со свойственной ей самоиронией Анна

Андреевна подарила мне его с надписью: «Остались от козлика ножки да рожки». Другие экземпляры этой тоненькой книжки Анна Андреевна подвергала обработке. Она заклеивала страницы, заполненные ее стихами 1950 года, с их вымученным казенным патриотизмом, а на их место вклеивала страницы с собственноручно записанными новыми стихами. Эти экземпляры она дарила избранным людям, причем каждому доставались разные стихотворения. Таким способом Ахматова предполагала сохранить хоть какую-то часть своего нового творчества.

Следующая книга — «Стихотворения», изданная в 1961 году, гораздо полнее предыдущей. Но в помещенной в ней «руководящей» статье А. А. Суркова изложена вся казенная программа трактовки творчества в лукаво смяченной форме. Сурков причисляет Ахматову к некоторым послевоенным советским поэтам, в стихах которых «появились упаднические нотки усталости и уныния... Коснулось это и Ахматовой, — напоминает Сурков. — В 1946 году эта тенденция подверглась строгому общественному осуждению». С таким напутствием читателю была представлена новая книга стихов Анны Ахматовой. Что ж удивительного, что в книгу попали под заглавием «1913 год» только фрагменты неназванной там «Поэмы без героя». Полностью Ахматова у себя на родине так и не увидела свое центральное произведение напечатанным. Один из театрализованных вариантов «Поэмы...», где героиней должна была быть О. Судейкина, Ахматова озаглавила «Исповедью дочери века» — века, еще острее обрисованной Ахматовой в отброшенном варианте из воспоминаний о парижской встрече с Модильяни в 1911 году:

...на высоких беззвучных лапах разведчика, пряча за спину еще не изобретенную ракету, к миру подкрадывался XX век.

Но уловить центральную идею «Поэмы...» читателю было очень трудно по отдельным фрагментам. Чего стоило Анне Андреевне это расчленение ее любимого детища, можно понять, прочитав ее заметку 1964 года: «Посмотрела Поэму в “Дне поэзии”. От нее почти ничего не осталось. Это хуже, чем молчание».

Грандиозная тема Молчания проходит через все позднее творчество Ахматовой. Особенно сильно она выражена в незавершенной седьмой «Северной элегии», проникнутой мотивами отчаяния. В таком виде она уже после смерти автора напечатана в ряде изданий 1970-х— 80-х годов, но не воспроизводится эпиграф к ней. Это сентенция епископа Сенезского из его надгробного слова Людовику XV: «Народ не имеет права говорить, но без сомнения имеет право молчать!». И тогда *его молчание является уроком для королей*.

Подготовка последней прижизненной книги «Бег времени» опять принесла ее автору волнения, напряжение и обиды. Это можно видеть по «Запискам об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, самоотверженно и квалифицированно помогавшей Анне Андреевне в этом трудоемком и угнетающем процессе. Уже во время своей предсмертной болезни Анна Андреевна составила список поправок и дополнений, озаглавленный «Для Лиды» (подлинник в последней записной книжке). Многие стихотворения оттуда напечатаны Лидией Корнеевной в ее книге «Памяти Анны Ахматовой», вышедшей в Париже в 1974 году.

Не будет преувеличением сказать, что Анна Андреевна задыхалась под грузом огромного свода своих ненапечатанных сочинений, даже не всегда записанных, — стихов, поэмы, незавершенной пьесы, прозы и исследовательских статей. В первый период своей литературной жизни, принесший ей славу, она была избалована критикой и высоко ценила этот жанр. «Хорошая критическая статья, — записывает она, — это та, которую помнят десятки лет, которая предсказывает молодого или с совершенно ясной точки зрения оценивает законченного писателя. Читать критику должно быть так же увлекательно, как разбираемое произведение».

В одной из записей она обронила: «Я — поэт 1940-го года». На других страницах она объясняет эту мысль. Напоминая, что с 1925 года она писала очень мало стихов, она продолжает: «С 1935 г. я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому... Возврата к прежней манере не может быть... 1940 — апогей. Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки...» Не дождавшись критики на проскользнувшие в печать некоторые из этих стихов и наконец став автором большой вещи, требующей резонанса, Ахматова сама набрасывает критический обзор, написанный в виде тезисов. Приведем его здесь, чтобы он не затерялся для читателя в потоке библиографических списков, писем, телефонов и адресов знакомых и незнакомых, случайных бытовых памятных заметок.

I. Итак, поздняя Ахматова: выход из жанра «любовного дневника» («Четки») — жанра, в котором она не знает соперников и который она оставила, м. б., даже с некоторым сожалением и оглядкой и переходит на раздумия о роли и судьбе поэта (Античные страницы, Борису Пастернаку), о ремесле («Бывает так», «Последнее стихотворение»), на легко набросанные широкие полотна («Россия Достоевского», «Царскосельская ода», «На Смоленском»), которые утверждают равенство всего для поэта. Появляется острое ощущение истории («Русский Трианон», — в парке — карикатурная беглая зарисовка <нрзб> и первый слой воспоминаний (перулок).

II. Время доказало еще одно качество ее стиха — прочность. С выхода ее первой книги «Вечер» прошло полвека. Его знают по крайней мере четыре поколения читателей, часто и по-разному заглядывая в него.

III. «Клеопатра», «Данте», «Мелхола», «Дидона» — сильные портреты. Их мало, они появляются редко. Но они очень выразительны. Исполнены каждый по-своему. Горчайшие.

IV. «Есть три эпохи у воспоминаний...» открывает какие-то сокровенные тайники души, м. б., даже переходя черту дозволенного.

V. Архитектуру сменяет музыка, воду — земля. Давно умолкли царскосельские водопады, шумят комаровские сосны, умирают люди, воскресают тени.

VI. 1940. «Мои молодые руки...», «Россия Достоевского...». «Путем вся земли» и начало «Триптиха» — в один год — 1940.

«Триптих», начатый в 1940 году, превратился в законченную «Поэму без героя», но продолжал развиваться и расти. «Поэма без героя» не оставляет Ахматову. В записных книжках содержится много текстов для той, которую она называет «Другая». О «Дру-

гой» Ахматова говорит часто, как о преследующем ее долге — раскрыть глубинное содержание «Поэмы без героя», или, как она ее называет, «Триптиха». Это наводит на мысль, что отсутствие критики создало у автора иллюзию, что это ее главное произведение осталось непонятым. Отсюда — постоянные беседы с отдельными слушателями или читателями, беседы, напоминающие скорее опрос мнений, чем обмен ими. В результате у Анны Андреевны появилось стремление самой объяснять каждому, каковы значение и смысл «Поэмы без героя». Мне казалось, что Ахматова для того пишет «Другую», чтобы сказать в ней то, что хотела бы услышать от критики. Записные книжки подтверждают эту мысль. Читаем:

Начинаю думать, что «Другая», откуда я подбираю крохи в моем «Триптихе» — это огромная, траурная, мрачная, как туча, — симфония о судьбе поколения и лучших его представителей, то есть вернее обо всем, что нас постигло.

На мой взгляд (Э. Г.), это все уже есть в сквозной воздушной редакции «Поэмы...» 1946 года! Некоторые собеседники Ахматовой отвечали на ее устные комментарии в этом же духе. Например, мы встречаем такую ее запись:

Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных «объяснений» Ивановскому, он сказал: «Я чуть не крикнул посредине: “Перестаньте — не могу больше. Ведь то, что вы читаете, это та же поэма (скажем, “Реишка”), но в прозе — это невыносимо”».

Иногда Анна Андреевна обобщает такие случаи, записывая:

...А есть еще такие, что не хотят, чтобы им объясняли. Они сами все знают. Объясняя, автор их как бы обворовывает.

Безусловно, Ахматовой была необходима критика такого класса, какой она встречала в начале своего литературного пути. Она замечает: «Предисловие М. Кузмина к “Вечеру” с легкими переменами могло бы быть предисловием к Поэме». Самым чутким и проникательным критиком для Анны Андреевны остается Н. В. Недоброво. Она записывает:

Прочла (почти не перечла) статью Н. В. Н. в «Русской мысли» 1915. В ней оказалось нечто для меня потрясающее (стр. 61). Ведь это же «Пролог». Статью я, конечно, совершенно забыла. Я думала, что она хорошая, но совсем другая. Еще не знаю, что мне об этом думать. Я — потрясена.

На следующий день возвращение к той же статье:

Он пишет об авторе Requiem'a, Триптиха, «Полночных стихов», а у него в руках только «Четки» и «У самого моря». Вот что называется настоящей критикой.

Синявский поступил наоборот. Имея все эти вещи, он пишет (1964), как будто у него перед глазами только «Четки» (и ждановская пресса).

Одной из главных болезненных точек в деятельности Ахматовой было толкование западными славистами жизни и творчества Н. С. Гумилева. Там оно утвердилось еще со времен русской эмиграции первой волны. В этой среде было много личных врагов как Гумилева, так и Ахматовой, которую они помнили еще его женой. Отрицательное отношение Анны Андреевны к ним было уже известно. Но вот в 1965 году, 18 мая, Ахматова возвращается к этой теме в своей записной книжке:

Как всегда бывало в моей жизни, случилось то, чего я больше всего боялась. Бульварные, подтасованные, продажные и просто глупые мемуары попали в научные работы. Первый попался на эту удочку Бруно Карневали (Падуанский сборник — предисловие), но он сравнительно легко отделался.

Второй жертвой стал С. Драйвер. Его случай тяжелее. Из-за этого вся его работа не может приобрести нужный тон. Вначале он говорит, что его объект — легендарен, а затем подробно рассказывает, как какую-то унылую молчаливую женщину постепенно бросает ее совершенно несимпатичный муж.

Упомянутый С. Драйвер — автор диссертации об акмеизме. Дальше Анна Андреевна делает ряд замечаний и советов автору. В частности, она упрекает его в забвении бешеного успеха поэзии Гумилева у молодежи 1910-х годов, а затем и 1930-х. Можно сказать, что это урок всем, кто хочет писать о жизни и стихах настоящего поэта:

С 1904 г. — по 1910 (начиная с «Русалки») можно проследить наши отношения, зафиксированные в «Трудах и днях» и абсолютно неизвестные «мемуаристкам» типа Неведомской и А. А. Гумилевой, и вообще моим биографам.

Нельзя просто сказать — напечатал «Романтические цветы» и посвятил их Ахматовой и... точка, в то время как это почти поэтизированная история его любви <...> его отчаяния, его ревности...

Тема музыкально растет, вытекает в «Жемчуга» и расплавляется в «Чужом небе»...

Весь цикл «Чужого неба» очень цельный и двойному толкованию не поддается. Это ожесточенная «последняя» борьба с тем, что было ужасом его юности — с его любовью <...>

Полемику с западными «гумилеведами» Ахматова заключает так:

*Итак, оказывается, что Гумилева нам описывают три дементные и ничего не помнящие старухи (А. А. Гумилева, Вера Неведомская и Ирина Одоевцева). Его стихи рекомендуются не любимым его Вяч. Ивановым и вообще ничего не понимавшим Валерием Брюсовым. Оба тщательно пропускают в его творчестве главное (ясновидение), закладывая основание здания **непрочитанности**, своды которого и до сих пор тяготеют над его стихами...*

Эта унылая и в сущности однообразная картина всемирной пошлости неожиданно прорезалась радостным впечатлением. Анна Андреевна приветствует его как важное событие — «La grande Nouvelle!». Речь идет о чтении мемуарной прозы Марины Цветаевой. Местами Ахматова ее критикует, но останавливается в изумлении перед другими строками:

*То, что она пишет о Гумилеве (стр. 123) — самое прекрасное, что о нем до сего дня (2 сент. 1964 г.) написано. Хотя «Мужик» написан в 1917 после Революции. Как бы он был ей благодарен! Это про того **непрочитанного** Гумилева, о котором я не устаю говорить всем «с переменным успехом». Эту его главную линию можно проследить чуть ли не с самого начала.*

Разделим радость Ахматовой. Перечтем редко у нас перепечатаваемые строки Цветаевой о стихотворении Гумилева «Мужик»:

Есть у Гумилева стих — Мужик — благополучно просмотренный в свое время царской цензурой — с таким четверостишием:

*В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси...*

Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.

В гордую нашу столицу (две славных, одна — гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает не спасет!), обворожает Царицу (не обвораживает, а именно, по-деревенски: обворожает) необозримой Руси — не знаю как других, меня это «необозримой» (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает — ножом.

Еще одно: это заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц — силой вещей и верст. Четыре строки — и все дано: и чара, и кара. <...>

А если есть в стихах судьба — так именно в этих, чара — так именно в этих, История <...> — так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот день и час входила — в сапогах или валенках (красных сибирских «пимах»), пешая и неслышная по пыли или снегу. <...>

*Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках — ряд **тропических** последователей —*

Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью повторяют Ваши — двадцать лет назад! — молодого «мэтра» сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами Вашего же «Трамвая» —

Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышите мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю.

Чувство Истории — только чувство Судьбы.

Не «мэтр» был Гумилев, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в «Костре» и окружающем костре России так чудесно — дровесно! — дорос.

После такого высокого понимания одного Поэта другим Поэтом становится ясным, что и у Ахматовой установились совсем особые отношения с Гумилевым. Они живут вместе, становятся мужем и женою, но делят взаимное общение между поэтическим видением мира и повседневным бытом. Поэтому Анна Андреевна и называет в своих записях отношения с Николаем Степановичем «особенными, исключительными», «непонятной связью, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями...» Она же является и героиней лирики Гумилева. «Для обсуждения этого рода отношений действительно еще не настало время», — решает Анна Андреевна.

В записях так много говорится о Гумилеве, что читатель сам будет размышлять об этом, вникая в слова Ахматовой. Я хочу остановиться только на теме страха и тревоги — постоянных спутников их совместной жизни. Об этом говорится в «Северной элегии» («В том доме было очень страшно жить...»), и есть намек в письме Гумилева к ней из Слепнева: «Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби»¹³⁹. В свое время, когда я, пишушая эти строки, не знала еще писем Гумилева, Анна Андреевна мне рассказывала, что было в Слепневе такое место, где Николай Степанович испытывал какой-то почти мистический ужас, и он нарочно ходил туда, чтобы закалять себя.

Есть еще один признак, который позволяет нам издалека догадываться о состояниях, которым они оба были подвержены. Ведь Анна Андреевна в стихах Гумилева всегда связана с лунным светом. В юности она страдала лунатизмом в полном его выражении. Мне говорила ее невестка (бывшая жена Виктора Горенко) со слов Инны Эразмовны — матери Анны Андреевны, что ее надо было забрать из института (какого, моя собеседница не уточнила), потому что однажды ночью ее нашли в бессознательном состоянии лежащей на полу в церкви. А ведь Гумилев знал и полюбил Аню Горенко, когда ей было 14 лет. Вероятно, в ту пору ее лунатизм еще ярко проявлялся. Признак «лунной девы» или «лунной женщины» всегда сопровождает образ Ахматовой в стихах Гумилева. Да и у него

¹³⁹ Гумилев Николай. Сочинения: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 3. С. 235.

самого были странные отношения с луной. Это прямо бросается в глаза в том стихотворении, где он так верно предсказывает свою смерть. Я говорю не о пресловутом «Рабочем», пацифистском стихотворении, где говорится о крупновском рабочем, и не о стихотворении «Я и вы», а о другом, тоже из цикла к «Синей звезде», хотя и не из лучших («Ты пожалела, ты простила...»):

.....
Когда-нибудь при лунном свете,
Раб истомленный, я исчезну.

Я побегу в пустынном поле
Через канавы и заборы,
Забыв себя и ужас боли,
И все условия, договоры.

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога.

Наконец, достаточно вспомнить его «Семирамиду»:

И в сумрачном ужасе от лунного взгляда,
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей.

Вспомним, что по определению Ахматовой Гумилев был ясновидящим — «визионер, пророк, фантаст», и не станем дальше разгадывать тайну их отношений, которую, может быть, и не нужно разгадывать.

Была еще третья, главная, боль Ахматовой — это ее странные отношения с сыном. Здесь мы ограничимся только тем, что говорит об этом в своих записях Анна Андреевна. В другом месте я говорю об этом подробнее, так как близко стояла к этой стороне их жизни.

19 мая 1960 года Анна Андреевна записывает в Москве:

Сегодня приехал Лева — у него вышла книга «Хунну».

23 ноября 1962 года:

Лев защитил докторскую диссертацию.

23 июля 1963 года она пишет брату Виктору, живущему в Америке:

Передать твой привет Лева не могу — он не был у меня уже два года, но, по слухам, защитил докторскую диссертацию и успешно ведет научную работу.

Итак, в 1961 году произошла жестокая ссора. На днях (1994 год) я разговорилась об этом с Эдуардом Григорьевичем Бабаевым — одним из любимых собеседников Ахматовой, еще с той поры, когда он был ташкентским школьником. Он вспомнил интересный эпизод, относящийся именно к лету 1961 года.

Это было в гостях у Надежды Яковлевны Мандельштам, жившей в Москве в Лаврушинском переулке, в семействе В. Б. Шкловского. Бабаев вышел на минутку на кухню покурить. Там сидел Лев Николаевич Гумилев, с которым Анна Андреевна только что его познакомила. Он сидел на табуретке и напряженно курил. В это время на кухню зашла жена Бабаева Лариса Глазунова. «А почему вы не идете слушать стихи?» — спросила она Гумилева. «Стихи испортили мне жизнь», — ответил он. А из соседней комнаты уже неслось:

Я к розам хочу,
В тот единственный сад...

Когда все разошлись, Бабаев долго шел с Гумилевым-сыном по Ордынке. Лева, начисто лишенный чувства собеседника, сразу начал втолковывать ему: «Говорят, что я вернулся из лагеря озлобленным, а это не так. У меня нет ни ожесточения, ни озлобления. Напротив, меня здесь все занимает: известное и неизвестное. Говорят, что я переменялся. Немудрено. Согласен, что я многое утратил. Но ведь я многое и приобрел. У меня замыслов на целую библиотеку книг и монографий. Я повидал много Азии и Европы».

Лева даже не понял, что Анну Андреевну огорчало не отсутствие у сына живых интересов, а полная атрофия чувства любви и благодарности к людям. Так, по поводу возвращения Иосифа Бродского из его высылки в Архангельскую область Анна Андреевна записывает:

...ни тени озлобления и высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь! Бедный мой Левушка.

...Прощаясь с Львом, Бабаев заметил, что он очень похож на Анну Андреевну. «Да, — ответил тот, — сходства у нас не отымешь». В действительности это не доставляло ему никакого удовольствия. Он даже считал, что она — виновница всех его недостатков, приобретенных и, особенно, врожденных. В первые же дни возвращения на волю он мне писал из Ленинграда 9 июня 1956 года:

Простите, что открытка, но если ждать, пока я соберусь купить конверт... во мне много маминых черт.

Как видим, не прошло еще месяца после его появления в Москве, а он не может преодолеть накопившееся у него предубеждение против матери. Однако вскоре он отошел. В письме от 1 марта 1957 года он рассказывает, что сильно заболел, уже пять дней лежит в постели, и дальше:

Мама... с нею чудо. Она опять такая хорошая и добрая, как 20 лет тому назад. Веселая и остроумная. Я просто счастлив. Она за мной ухаживает и кормит диетой.

Когда в последнем августе я гостила у Анны Андреевны в Комарове, она мне сказала: «Я бы хотела помириться слевой». Я ответила, что, вероятно, и он этого хочет, но боится чрезмерного волнения и для нее и для себя при объяснении. «Да не надо объясняться, — живо возразила Анна Андреевна. — Пришел бы и сказал: “Мама, пришей мне пуговицу”».

Я имела основания больше не вмешиваться в Левину жизнь и не приняла замаскированной просьбы ко мне Анны Андреевны. Но вернувшись в Москву, я рассказала об этом разговоре Надежде Яковлевне Мандельштам. «О, это можно устроить», — оживилась она, хотя не преминула сделать замечание: Ахматова, мол, никогда не пришивала ему пуговицу. В задачу примирения Анны Андреевны слевой она включила весь круг новых и действительно милых друзей Ахматовой, но тут надо было действовать гораздо спокойнее. А они дотянули до времени, когда Ахматова уже слегла. Тогда стал разыгрываться спектакль на тему — пускать или не пускать его к матери, убьет он ее или успокоит своим появлением. Мне казалось, что тут никакой альтернативы нет, и такого же мнения был и лечащий врач. Эта женщина-врач говорила, что радость свиданья лучше, чем постоянная сдерживаемая боль из-за нелепого разрыва. Но в обсуждение этой проблемы включились даже соседи по палате, и все они вместе так запутали Леву, что, придя в больницу, он смяк, испугался и ушел, не зайдя в палату. В тот же день он позвонил мне по телефону, плакал, что не решился повидать в общем-то умирающую мать, а заодно избегал и меня уже много лет, считая виноватой. В чем? В том, что я годами скрывала от него в своих письмах в лагерь, что Анна Андреевна якобы наслаждается жизнью, процветает и забыла о нем. Между тем больная и слабая Анна Андреевна оказалась гораздо здоровее психически, чем все остальные. Не дождавшись никаких посредников, за четыре дня до смерти, она сама послала Леве через Мишу Ардова только что вышедший «Бег времени» с нежной надписью: «Леве от мамы. Люсаных, годится? 1 марта 1966 г.». «Вы знаете, что это такое? — спросил Лев Николаевич. — Это — ласка, то, чего я добивался все эти годы...» (М. В. Ардов предоставил мне право воспользоваться его записью. — Э. Г.) А фраза Ахматовой напоминает еще о предвоенных годах, когда они все жили на Фонтанке, и Анна Андреевна много занималась соседским мальчиком Валей. Она обучала его французскому языку, а ребенок никак не мог овладеть произношением слова *Le singe* (обезьяна). Каждую минуту он вбегал в комнату, выкрикивал что-то совершенно невнятное и ликующе спрашивал: «А это годится?» Видимо, Анна Андреевна напоминала Леве о том времени, когда они жили так бедно, трудно, но нежно берегли друг друга.

Этот подарок и эта, такая «своя», надпись отражают примиренное состояние души Анны Андреевны в последние недели ее жизни. У нее даже появился новый творческий импульс, на этот раз к прозе. 2 декабря 1965 года, уже в больнице, она записывает:

Кто видел Рим, тому больше нечего видеть. Я все время думала это, когда в прошлом году смотрела на него прощальным взором и во мне зрела 66-я проза. А ярко-синяя вода была из его древних фонтанов, как из щелей, куда пробралось море.

22 января 1966 года:

Хочу простой домашней жизни. А прозу почти слышу.

Уезжая осенью из Комарова, она прощалась с ним с таким особенным чувством:

За окном день торжественной нестерпимой красоты, богослужбная красота все свершившей природы.

Происходит ее слияние, вернее, проникновение в таинство Жизни.

ПОСТАРЕВШИЕ СОБЕСЕДНИЦЫ

Давно замечено, что несчастья, взрывая какое ни есть привычное течение жизни, нередко сплачивают самых разных людей. Вслед за большими потрясениями часто происходит какой-то новый поворот жизни. Таким узловым событием стали для Анны Андреевны Ахматовой два ее приезда в Москву в 1934 году. Она и ее сын, Лев Гумилев, гостили у Мандельштамов в их новой квартире в писательском доме по Нащокинскому переулку. Первое пребывание Ахматовой было довольно длительным (месяц во всяком случае), а второе — коротким; оно известно по ее воспоминаниям о Мандельштаме и по мемуарной книге Надежды Мандельштам. Анна Андреевна приехала утром 13 мая, но успела провести с Осипом Эмильевичем лишь один этот день. В ночь на 14-е пришли «гости» с ордером на арест Мандельштама. После того как его увели, обыск продолжался всю ночь.

С этой минуты Анна Андреевна не покидала Надежду Яковлевну вплоть до отъезда ее вместе с Осипом Эмильевичем в Чердынь, куда он был отправлен по приговору коллегии ОГПУ. В тот же вечер с другого вокзала Анна Андреевна уехала в Ленинград.

С этого года у Анны Андреевны образовались в Москве дружеские связи, длившиеся до конца ее жизни. Среди новых друзей на одном из первых мест нужно назвать Нину Антоновну Ольшевскую, драматическую актрису, жену писателя-сатирика Виктора Ефимовича Ардова. Это ей за четыре дня до своей кончины Анна Андреевна сделала дарственную надпись на «Беге времени»: «Моей Нине, которая все обо мне знает, с любовью Ахматова. 1 марта 1966, Москва», а ранее — в книге «Стихотворения»: «Моей светлой Нине ее Ахматова. Дана на Ордынке 13 июля 1961».

Ордынка — место, упоминаемое почти во всех московских воспоминаниях об Ахматовой. Но до Б. Ордынки (д. 17, кв. 13) Ардовы жили на первом этаже того же писательского дома в Нащокинском переулке, в том же подъезде, где на пятом этаже жили Мандельштамы. Нина Антоновна рассказывает:

— Когда она гостила у Мандельштамов и я видела, как она подымается по лестнице, я обалдевала. С Мандельштамами мы уже были знакомы. И однажды мы с Виктором поднялись наверх и представились Анне Андреевне... Это такой случай в моей жизни! Даже трудно было себе представить... Как мне повезло!

После ареста Осипа Эмильевича квартира его еще сохранялась, и Анна Андреевна иногда останавливалась там, приезжая из Ленинграда. Принимала ее мать Надежды Яковлевны, а иногда и сама Надежда Яковлевна, приезжавшая в Москву из Воронеза, куда

перевели Мандельштама. Так укрепилась их дружба, начавшаяся еще в двадцатых годах в Детском Селе, но несколько замершая из-за переезда Мандельштамов из Ленинграда в Москву. (Мое знакомство с Анной Андреевной и ее сыном Львом завязалось тоже здесь, у Мандельштамов, в 1934 году.)

Несколько раз в эти годы Ахматова останавливалась уже у Ардовых. Нина Антоновна вспоминает:

— Виктор вначале так стеснялся, что вскричал однажды: «Надо проверить, есть ли у нее чувство юмора, или... я умру!»

Как известно, чувства юмора у Ахматовой было предостаточно. В общении с Ардовым у нее установился легкий тон. Артистичный в домашнем быту, человек быстрых реакций, связанный своей литературной работой с театром, эстрадой, цирком, любитель-карикатурист, Ардов был также широко образованным человеком, хорошо знал русскую литературу и историю. Это позволяло Ахматовой не скучать, беседуя с ним. Оба — «полуночники», они иной раз засиживались до 3—4 утра, затрагивая в своих разговорах самые разнообразные темы. Но эта непринужденность отношений в семье Ардовых установилась у Анны Андреевны позже, по прошествии нескольких лет. В первые годы, когда в квартире Ардовых кроме тахты стоял в большой комнате только трельяж, а в другой комнате жил маленький, пока единственный, сын Нины Антоновны от первого брака — Алеша Баталов, такой близости еще не было. Хотя Нина Антоновна была уже очень привязана к Анне Андреевне, круг знакомств и манера жить Ахматовой удивляли ее, а в Ленинграде она отчужденно наблюдала тамошнюю особенную жизнь Ахматовой. От этой поездки в Ленинград у Нины Антоновны сохранилось одно интересное воспоминание:

— Там она мне сказала: «Я, наверное, уже все написала. Стихи больше не рождаются в голове».

— Это, вероятно, было в 1935 г., — замечаю я. — Вскоре стихи стали появляться сплошным потоком, и этот источник уже не иссякал до самой ее смерти. Она отметила в своих записках, что началось это в 1936 году. По-моему, все пошло от стихотворения «От тебя я сердце скрыла». Да вы и сами это знаете.

— Да, да. А Пунин очень обиделся на нее за эти стихи.

— А вы видали когда-нибудь, как Анна Андреевна сочиняет?

— Никогда. Она только говорила: «А в голове вертится, вертится...» — и больше ничего. А дня через два так поманит пальчиком и прочтет новое стихотворение. Я обалдевала и ничего не могла сказать, но думаю, что она читала для себя, сама себя проверяла. Читала медленно, слушая себя, покачиваясь вправо и влево, и лицо у нее было вот такое, как на этой фотографии.

Мы рассматриваем фото, сделанное в ленинградской квартире Ахматовой на Красной Коннице, то есть уже в пятидесятых годах. Анна Андреевна сидит в кресле у угла комода, на комодѣ зеркало в посеребренной оправе, свечи, вазочки с цветами. Лицо у нее строгое.

В тридцатые годы Ахматова не всегда останавливалась у Ардовых, а гостила и у других московских друзей. Приезды ее из Ленинграда большею частью вызывались необходимостью хлопотать о судьбе сына, которого преследовали и тогда, когда он был еще на свободе. Ну а о несчастье, отраженном в знаменитом «Реквиеме» Анны Ахматовой, напоминать не

приходится. У Нины Антоновны, родившей за это время еще двух сыновей, была репрессирована мать. Эта беда заслоняла все остальные чувства. Затем война надолго разлучила Ахматову с Ардовыми. Анна Андреевна, как известно, была эвакуирована в Ташкент в октябре, а Нина Антоновна с тремя детьми — еще раньше в Казань, а затем в Чистополь. Ардов был призван в армию, работал во фронтовой печати. Увиделась Анна Андреевна с Ниной Антоновной лишь весной 1944 г. Эта встреча положила начало особой душевной близости между ними. Вернулась Нина в Москву, очевидно, в середине мая. Она ждала ребенка, который вскоре родился, но умер в младенчестве. 31 мая она писала Виктору Ефимовичу:

«Сейчас приехала с вокзала, проводила Анну Андреевну. Очень по этому поводу грущу, она для меня была большой отдушиной и радостью, прямо как в ее же стихах: “Я знаю, ты моя награда за годы муки и труда...” Очень мне было с ней интересно и тепло, а главное умно, от чего я так отвыкла за эти годы одиночества и одичалости. Совсем тоскливо мне будет сейчас без наших ночных бдений, к которым я так уже привыкла за эти дни. Пишу тебе на бумажке, в которой она вчера сделала приписочку».

Приписка такая:

«Дорогой Виктор Ефимович, завтра еду в Ленинград. Очень жаль оставлять Нину Антоновну — мы чудесно провели с ней две недели. У Вас в доме все благополучно. Дети хорошие. Напишите мне. Ахм.».

Это возвращение в Ленинград отражено в четверостишии Ахматовой, впервые напечатанном совсем недавно¹⁴⁰.

Лучше б я по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

События, вызвавшие его к жизни, уже известны в литературе¹⁴¹. Это одна из драматических страниц в биографии Ахматовой. Вспомним ее.

Из Ташкента Анна Андреевна торопилась навстречу своему другу Владимиру Георгиевичу Гаршину, который оставался в осажденном Ленинграде. Он так же тяжело переносил разлуку с Анной Андреевной, как и она с ним. Потеряв во время блокады жену, он просил Ахматову окончательно соединить с ним свою жизнь. В их переписке было условлено, что он получит квартиру, где и просил Анну Андреевну поселиться с ним. Она согласилась. Дошло даже до того, что он телеграфно спрашивал ее, согласна ли она носить его фамилию. Анна Андреевна приняла и это предложение. Вот почему в Москве она широко оповещала знакомых, что выходит замуж. Однако в Ленинграде на вокзале Гаршин тут же задал ей вопрос: «Куда вас отвезти?» Это походило на какой-то оскорбительный розыгрыш. Но куда же можно было отвезти Анну Андреевну? В брошенный и запущенный

¹⁴⁰ См.: Ахматова Анна. Сочинения в 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 328, 456.

¹⁴¹ См., например: Будыко Ю. И. История одного посвящения // Русская литература. 1984. № 1.

дом на Фонтанке? Одну? Сын, хотя уже и отбыл лагерный срок, работал в Туруханске.

Ей пришлось искать убежища у знакомых. Не менее полугода она жила у Лидии Яковлевны Рыбаковой. Московские друзья долгое время ничего об этом не знали. Поэтому Нина Антоновна недоумевала, когда получила 14 июля (то есть через полтора месяца после отъезда Анны Андреевны из Москвы) такую телеграмму: «Сообщите здоровье целую вас нежно живу одна благодарю за все Ахматова».

Нина Антоновна рассказывает:

— Фраза «живу одна» меня насторожила, но догадаться было еще трудно.

Три недели длилось недоумение, пока 6 августа не пришла новая телеграмма:

«Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщаю это только вам Анна».

Вслед за этим пришла открытка, написанная через 3 дня, 9 августа:

«Дорогая моя, спасибо за письмо — оно тронуло меня и напомнило Вас и себя, какой я была в мае. Получили ли Вы мою телеграмму, знаете ли мои новости? Я все еще не на Фонтанке, там нет воды, света и стекла. И неизвестно, когда все это появится. Была в Териоках (2 дня) — читала стихи раненым. Крепко целую Вас и детей. Привет маме, думаю об ее мучениях. И пусть мне напишет Николай Иванович. Ваша Анна.

Получила милое письмо от Ардова.

Простужена, лежу. Что-то неладно с сердцем».

— Какая сдержанная открытка, — говорит Нина Антоновна, — и какая способность сострадать и участвовать во всех горестях и заботах окружающих.

Да, верно. В этом послании, уместившемся на одной открытке, можно почувствовать всю силу ахматовского слова. Она вновь обрела свое достоинство поэта и гражданина. Она может сострадать чужому горю — думает о смертельной болезни Нининой матери, актированной из лагеря, чтоб умереть на руках у дочери. Она хочет говорить с друзьями, просит писать ей и Нину, и старого друга Николая Ивановича Харджиева. И только в одной полуфразе дано понять о тяжелой травме, перенесенной за эти два месяца. Но теперь с этим покончено. В августе она уже не та, «какая была в мае».

Мы с Ниной обсуждаем эту безобразную историю.

Нина повторяет ту самую версию, которую я уже изложила выше со слов Анны Андреевны. Нина продолжает:

— Но это не совсем так. Вот и вы помните, что Гаршин к ней приходил еще несколько раз, пока она его не попросила прекратить эти посещения.

— Я даже знаю, как это было, — говорю я, — Анна Андреевна мне рассказывала так. Он приходил к ней в дом Рыбаковых и объяснялся. Наконец Анна Андреевна указала ему, в какое глупое положение он ее поставил, не посчитавшись даже с ее именем. «А я об этом не думал», — ответил он. Вот это и взорвало Ахматову. И никогда она ему этого не простила. А вы знаете, Нина, что в пятидесятых годах, когда Гаршин уже перенес инсульт, он просил через кого-то прощения у Анны Андреевны? Она ничего не ответила. Тем не менее ему отпустили его грех от ее имени... «Он заплакал и лег в постель, — презрительно отозвалась Анна Андреевна, рассказывая мне об этом. А потом, подумав и помолчав, добавила: — И как это можно, самовольно говорить от моего имени!»

Нина:

— ...Не думаю, чтобы она любила Гаршина. Это была уже привязанность старых людей друг к другу.

— А как вы думаете, Нина, кого она любила больше всех?

— Я так и спросила ее однажды. Она после долгой паузы сказала как бы самой себе: «Вот прожила с Пуниным два года». Это и был ответ.

— Что же он означал?

— Что с Пуниным надо было уже расходиться, а она еще два лишних года с ним прожила. Значит, любила.

Нина продолжает:

— Пунин очень любил Анну Андреевну. Я не говорю уже об его письме из Самарканда, которым Анна Андреевна гордилась и многим показывала. Но куда они¹⁴² дели его записку из лагеря? Я сама ее видела, Анна Андреевна мне показывала. На клочке какой-то оберточной бумаги. Он писал, что она была его главной любовью, помню хорошо фразу: «Мы с Вами одинаково думали обо всем».

Он был двойственный, Пунин: то элегантный, в черном костюме, с галстуком (иногда «бабочкой»), таким его знали на лекциях. Одна из студенток говорила мне, что более интересных и остроумных лекторов она не слышала. Дома, если он был в форме, был так же обаятелен, любезничал со мной, а в другой раз сидит в халате, в тапочках, раскладывает пасьянс, еле кивнет и не разговаривает... Как-то я сказала А. Г. Габричевскому: «Вы все знаете о литературе, об искусстве...» — а он: «Нет, это Пунин все знает».

Лидия Корнеевна описала в своих «Записках», как Пунин однажды отказал Анне Андреевне в возможности пользоваться сараем для дров — там, мол, все заложено его дровами. Но Лидия Корнеевна не поняла. Это было при мне, — Нина Антоновна рассказывает об этом очень уверенно. — Это он дразнил Анну Андреевну. Она слушала его с улыбкой. А на другой день все было распилено и уложено. Они тогда уже разошлись, но Пунин часто забегал к ней в комнату. Называл ее «Анна Андреевна».

Разговор с Ниной Антоновной перешел на Модильяни. Она вспоминает:

— О Модильяни Анна Андреевна говорила посмеиваясь, всегда улыбаясь, как при приятном воспоминании. Рассказывала: «Когда в Париже я его в первый раз увидела, подумала сразу — какой интересный еврей. А он тоже говорил (может, врал?), что, увидев меня, подумал: какая интересная француженка».

Показывала рисунок Модильяни, висевший у нее, когда она еще жила с Николаем Николаевичем, и говорила: «Может быть, он будет самым знаменитым у них художником». Очевидно, это было еще в первые годы нашего знакомства, потому что я тогда и имени Модильяни не слыхала.

Анна Андреевна находила у Толи Наймана¹⁴³ сходство с Модильяни.

¹⁴² И. Н. Пунина и А. Г. Каминская.

¹⁴³ Анатолий Генрихович Найман — секретарь Ахматовой в 60-х гг.

О Судейкиной я слышала от Анны Ахматовой еще до войны, когда она прочла «Ты в Россию пришла ниоткуда». Она говорила об Ольге, что она была очень красивая, но никогда не говорила ни об ее уме, ни о ней как об актрисе. «К театру я была равнодушна», — объясняла она. Привлекало ее в Судейкиной то, что она была «сексбомбой», как теперь говорится. Рассказывала: «Мы обе были влюблены в одного человека», но имени Артура Лурье не называла. Они никак не могли разобраться, в кого же из них двоих он был влюблен.

О других больше молчала. О Недоброво и Анрепе¹⁴⁴ не говорила со мной никогда.

Я ее спросила: «Кого вы больше всех цените из поэтов вашего окружения в пору акмеизма?» — «Гумилева». Я удивилась: «А не Мандельштама?» — «Ну это, видно, мое личное, особенное дело — любить Гумилева», — сказала она с усмешкой.

В другой раз я ее спросила: «Чьи стихи были для вас переломными?» — «Некрасова: “Кому на Руси жить хорошо”». Сейчас я его не люблю, не ценю его стихи о крестьянах, потому что это неправда. Но он — поэт».

И она стала читать наизусть «Мороз Красный Нос». «А второй поэт — Маяковский. Ну это мой современник. Это — новый голос. Это настоящий поэт». И она прочитала, опять на память, его стихи о любви. Никак не могу вспомнить, какие именно.

Тут Анна Андреевна рассказала, как в Ленинграде она шла по улице и почему-то подумала: «Сейчас встречу Маяковского». И вот он идет и говорит, что думал: «Сейчас встречу Ахматову». Он поцеловал ей обе руки и сказал: «Никому не говорите».

А я, — признается Нина, — не могла беседовать с Маяковским. Я даже уходила, когда он был, так я его боялась. Я встречала его с Норой Полонской. Незадолго до смерти он сказал при мне: «Мне бы надо стихи о любви писать. Так хочется».

Вероника Витольдовна Полонская, которую Маяковский в своей предсмертной записке назвал членом своей семьи, — подруга Нины Антоновны с самых первых лет их артистической жизни в Художественном театре. Анна Андреевна часто встречала ее на Ордынке и много говорила с Ниной Антоновной о ее судьбе. Не случайно стихотворение Ахматовой «Маяковский в 1913 году» первоначально было посвящено «Н. А. Ольшевской» с датой «1940 3 — 10 марта»¹⁴⁵. В план работ Анны Андреевны Полонская включена как героиня отдельного очерка¹⁴⁶.

— Нина, а как было с Цветаевой? Вы были дома, когда она пришла к Анне Андреевне?

— Ардов был знаком с Цветаевой по Дому творчества в Голицыне. Он сказал Анне Андреевне, что Марина Ивановна хочет с ней познакомиться лично. Анна Андреевна после большой паузы ответила «белым голосом», без интонаций: «Пусть придет».

¹⁴⁴ Николай Владимирович Недоброво (1884 — 1919), поэт, стиховед, критик, и Анреп Борис Васильевич (1883 — 1969), художник, поэт, в десятых годах два ближайших друга Ахматовой, которым посвящено много ее стихов в «Четках» и «Белой стае».

¹⁴⁵ См. в кн.: Ахматова Анна. Сочинения в 2 т. М., 1986 Т. 1. С. 419.

¹⁴⁶ Встречи с прошлым, вып. 3. М., 1978, с. 408.

Цветаева пришла днем. Я устроила чай, немножко принарядилась, надела какую-то кофточку.

Марина Ивановна вошла в столовую робко, и все время за чаем вид у нее оставался очень напряженным. Вскоре Анна Андреевна увела ее в свою комнату. Они сидели вдвоем долго, часа два-три. Когда вышли, не смотрели друг на друга. Но я, глядя на Анну Андреевну, почувствовала, что она взволнована, растрогана и сочувствует Цветаевой в ее горе.

Ардов пошел провожать Цветаеву, а Анна Андреевна ни слова мне не сказала о ней. И после никогда не рассказывала, о чем они говорили.

Когда Пастернаку было плохо, ну, ссорился с женой или что-нибудь подобное, он ужасал в Ленинград и останавливался у Анны Андреевны. Стелил на полу свое пальто и так засыпал, и она его не беспокоила. Это было раза три, что я знаю.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

В начале июня 1945 года я получила от Анны Андреевны открытку. Она поздравляла меня с Победой и, как всегда, затрагивала на сжатом пространстве много тем. Между прочим писала: «Живу очень пустынно, вижу мало людей». Она предполагала вскоре увидеться со мной в Москве. «Ардовы зовут меня на дачу», — объясняла она. Но Анна Андреевна не приехала. Видимо, ждала демобилизации сына, который ушел добровольцем на фронт из Туруханска и дошел до Берлина.

2 августа 1945 г. Анна Андреевна писала Н. А. Ольшевской: «Дорогая Нина Антоновна, мне очень стыдно, что я не откликнулась на Вашу чудесную телеграмму¹⁴⁷ и до сих пор не поблагодарила Вас и Виктора Ефимовича за Вашу неизменную доброту и дружескую заботу обо мне.

Право, я всего этого не стою.

Часто и нежно вспоминаю Вас обоих. Будьте здоровы и счастливы. Целую Ваших мальчиков. Напишите два слова.

Ваша Ахматова».

Она приехала в Москву только весной 1946 г. Это было время ее публичных выступлений, проходивших даже не с успехом, а с триумфом. Она привезла с собой «Поэму без героя» и подарила на Ордынку один машинописный экземпляр с надписью: «Дому Ардовых. 27 апреля 1946. Москва. Анна Ахматова». Она беспрестанно рассказывала о Леве, который, вернувшись осенью в Ленинград, жил вместе с ней. Появилась у нее и еще одна тема. Это встреча с человеком, который на много лет занял большое место в ее лирике. Началось это с цикла «Cinq» (то есть пять стихотворений). Этот цикл Анна Андреевна отдельно подарила Нине Антоновне с такой надписью: «Дарю Н. А. О. на память о многих ночных беседах. А. 27 апреля 1946. Москва».

¹⁴⁷ Вероятно, поздравление с днем рождения — 23 июня.

— Какая же связь этих стихов с вашими ночными беседами? — спрашиваю я Нину Антоновну, хотя это было уже ясно.

Нина Антоновна:

— Это было так. Она протянула мне переписанные ее рукой стихи и ни слова не сказала. Я прочла. Потом она прочла их мне, я была потрясена. И она сделала эту надпись. Впоследствии она говорила: «Я Вам “Чинкве” подарила, но это еще не то. Я о Вас напишу, обязательно напишу»¹⁴⁸.

Я ей все о себе рассказала в эти ночные часы. О своем прежнем замужестве, о семейной жизни с Ардовым. Анна Андреевна выслушала все это и сказала: «Да, да». И больше мы никогда об этом не говорили. Как она умела войти во всякую чужую жизнь и все понять!

— А вы ходили с ней на ее выступления в этот ее приезд?

— Да. Когда она выступала в Колонном зале Дома Союзов, из публики ее просили прочесть из «Четок» и «Белой стаи» и выкрикивали названия самых знаменитых стихотворений. Она делала перед собой отрицательный жест рукой, морщилась и чуть лукаво улыбалась.

— А «Поэму без героя» вы сразу полюбили?

— Мне было дорого, что она ее привезла. Я, как и все ее стихи, ощущала ее всем сердцем. Но воспринимала как воспоминание о прошлом.

— А о «Реквиеме» вы слышали как о поэме?

— О таком названии раньше ничего не слышала. Знала только отдельные стихотворения, так же, как, например, «С Новым годом, с новым горем». Часто Анна Андреевна, читая, помахивала рукой — это плохо еще.

Очевидно, вскоре после возвращения в Ленинград Анна Андреевна послала Нине Антоновне записку с «новой строфой» для «Поэмы без героя». Это двенадцать строк, начинающихся стихом: «Звук шагов, тех, которых нету...», но с небольшим разночтением по сравнению с окончательным текстом. Вместо последних трех строк: «Гость из будущего! — Неужели / Он придет ко мне в самом деле, / Повернув налево с моста?» — написано: «Гость из будущего! — неужели / Не пройдет и четыре недели — / Мне подарит его темнота?» Далее следует приписка: «Нина, очень Вас люблю и скучаю без Вас. Телеграфируйте, как Ваше здоровье и планы на лето. Целую Вас и детей. Привет Ардову. Ваша Анна. Спасибо за все».

— Нина, а как вы относитесь к этим постоянным добавкам и переделкам «Поэмы без героя»? Я считаю, что они испортили первоначальную редакцию.

Нина:

— Последние строфы, сделанные уже в поздние годы, я не люблю. Может быть, как отдельные стихотворения они и хороши, но в «Поэме» они, по-моему, чужеродный элемент.

Тут уместно будет привести рассказ Татьяны Семеновны Айзенман, хотя в нем говорится о более позднем времени, но он характеризует отношение Нины Антоновны к «Поэме без героя» (привожу его в моей записи):

¹⁴⁸ В плане книги Ахматовой «За полвека» есть пункт: «Нина Ольшевская». См.: Встречи с прошлым. Там же.

«В Комарове, в сумерки, сидели на крыльце — Анна Андреевна, Нина, Н. И. Ильина, я и еще кто-то. Это было в тот день, когда из Дома творчества приходила Маруся Петровых и был еще брат Нины, Толя. Все было очень хорошо; мы с Марусей ходили в продовольственный ларек, купили что-то, был импровизированный ужин. И Анна Андреевна была очень довольна. “Как хорошо, что мы без взрослых”, — приговаривала она, имея в виду своих ленинградских домочадцев.

Анна Андреевна сказала: “Я хочу, чтобы Нина прочла вам поэму. Нина читает “Поэму без героя” лучше всех”. А Нина говорит Анне Андреевне: “Я при вас не могу, я стесняюсь”. — “Ну, хорошо, я уйду”, — и она вошла в дом. Мы остались на ступеньках, а Нина своим хриловатым прокуренным голосом читала, действительно очень хорошо, вдохновенно, “Ты в Россию пришла ниоткуда” и другие куски».

Но вернемся к 1946 году. Рассказывает Нина:

— Я была с мальчиками в Коктебеле. И все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается? Полу-чаю от него телеграмму: «Дура, читай газеты». И я прочла постановление [о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и Ахматовой]. Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты, с детьми... Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград [тогда еще были пропуска]. Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам в Москву. И когда мы шли по Климентовскому переулку, встречали писателей, они переходили на другую сторону.

Сурков мне говорил: «Как я вам благодарен, что вы ее привезли к себе».

А потом приехал из экспедиции Лева, и они вместе уехали в Ленинград.

Только 19 февраля 1947 года приходит посланная с оказией записка от Анны Андреевны: «Моя Нина, как давно я ничего не знаю о Вас. Это очень скучно. Я долго и тяжело болела осенью, потом встала, как ни в чем не бывало, теперь опять хвораю. Занимаюсь Пушкиным — «Маленькими трагедиями» и «Повестями Белкина».

Целую Вас — привет Вашему милому дому.

Ваша Ахматова».

Замечательно, что в первые же месяцы после августовского постановления, подвергшего ее ostrакизму, Ахматова написала свою лучшую исследовательскую работу «“Каменный гость” Пушкина». Набело переписанная ее рукой статья датирована 20 апреля 1947г. Вероятно, к тому же времени относится пока не найденная, может быть незаконченная, статья о другой “Маленькой трагедии” Пушкина — «Моцарте и Сальери». Что касается «Повестей Белкина», Ахматова вернулась к ним лишь через десять лет, когда наконец была напечатана ее работа о «Каменном госте». Вслед за этим Анна Андреевна немедленно захотела сделать к ней ряд добавлений, среди них — ее уникальные наблюдения над психологией творчества Пушкина на материале «Повестей Белкина». Эти дополнения опубликованы посмертно.

Как известно, в 1946 г. Ахматову исключили из Союза писателей и тем самым лишили ее рабочих хлебных и продовольственных карточек. Согласно записи в дневнике художни-

цы А. В. Любимовой, 29 ноября 1947 г. Анна Андреевна показывала ей «разрешение на получение литерных карточек»...

(— Это здесь сделали. Это Фадеев устроил, — говорит Нина Антоновна, когда мы читаем с ней вместе эту запись.)

Но это не позволило еще Нине Антоновне прекратить ежемесячные посылки Ахматовой определенной суммы денег, которая составлялась из взносов московских друзей. Имена их, конечно, оставались неизвестными. А в Ленинграде то же самое организовала Ирина Николаевна Томашевская-Медведева.

Анна Андреевна жила вдвоем с сыном. Рядом в той же квартире продолжала жить разросшаяся семья Пунина. Первая его жена Анна Евгеньевна умерла в Самарканде во время войны, теперь у него была другая жена; дочь Ирина была второй раз замужем и воспитывала дочь от первого брака (Аню Каминскую). Естественно, что семья Ахматовой и семья Пунина жили и хозяйствовало совершенно отдельно.

Между тем дела Льва Гумилева шли все хуже и хуже. Его исключили из аспирантуры, пришлось перебиваться на самых фантастических работах. Однако он не сдавался и добился права защищать диссертацию, защитил, получил степень кандидата исторических наук и место научного сотрудника в Этнографическом музее. Казалось бы, наступило относительное успокоение. Но тень нового несчастья уже коснулась Анны Андреевны. В августе 1949 г. был арестован Николай Николаевич Пунин. А через три месяца был взят Лев Николаевич Гумилев. Его перевели в Москву.

И Ахматова решилась на такой шаг, к какому она не прибегала еще никогда, ни при каких обстоятельствах. Она написала стихотворный цикл «Слава миру». В него было включено стихотворение, славословящее Сталина. Эти стихи были пересланы ею из Ленинграда Нине Антоновне. А она связалась с А. А. Фадеевым и затем с А. А. Сурковым, бывшим тогда главным редактором «Огонька».

Нина говорит:

— Сурков очень любил Ахматову: «Любые ее стихи напечатаю», — сказал он.

Но еще многие годы мы, кроме «Славы миру» в «Огоньке» в 1950 г., ничего из стихов Ахматовой на страницах советской печати не видали. Зато ей позволили стать профессиональной переводчицей, то есть зарабатывать деньги и губить свой великий талант поэта.

Анна Андреевна стала ездить в Москву, чтобы передавать каждый месяц дозволенную сумму в Лефортовскую тюрьму. Так она узнавала, что сын жив. Следствие тянулось долго. Льва Гумилева все-таки приговорили к десяти годам заключения в лагере особого режима. Он вернулся только в 1956 году, реабилитированный за «отсутствием состава преступления».

После направления его в лагерь у Анны Андреевны началась совсем другая эпоха жизни, резко отличавшаяся от предыдущих лет. Она стала жить на два города.

Еще живя вдвоем с сыном, Анна Андреевна после постановления много и тяжело болела. Сын за ней самоотверженно ухаживал. Теперь, как ни старались Ардовы облегчить ее душевное состояние, Анна Андреевна томилась и страдала. Это кончилось тяжелым инфарктом, перенесенным ею в больнице. Выйдя оттуда, Анна Андреевна перешла на положение

полубольной, нуждающейся в постоянном уходе и в заботе. Нина Антоновна делала это идеально. Она делала все, что нужно, спокойно, умело, решительно и любовно.

Начались настойчивые разговоры о переезде Анны Андреевны в Москву на постоянное жительство. Но она ни за что не хотела бросать Ленинград. А там были свои сложности.

После ареста Пунина и Гумилева администрация Арктического института стала энергично выселять из подведомственного ей Фонтанного дома Ахматову и Пунину. Это особенно сблизило обеих женщин. Они стали жаться друг к другу. Борьба с Арктическим институтом длилась долго, пока в феврале 1952 года Анна Андреевна и Ирина Николаевна с мужем и дочерью не переехали в общую квартиру на улице Красной Конницы.

Так у одинокой Ахматовой образовались сразу две семьи. В обеих росли дети, что всегда вносит свет и жизнь в существование старого человека. К 1950 году у Ирины — десятилетняя Аня, у Нины — тринадцатилетний Миша и десятилетний Боря.

Анна Андреевна жила на оба дома. Вскоре ей предоставили литфондовскую дачку в Комарове. Таким образом, появился уже третий дом, в котором жила и работала Ахматова в летние месяцы.

Об этом последнем периоде жизни Ахматовой мы с Ниной не вспоминали. Я сама прочно вошла в новый быт Анны Андреевны и спрашивать Нину мне было не о чем. К тому же в ту пору Ордынка начала лихорадить. У Ардовых возникли семейные неурядицы. Анна Андреевна стала холодно относиться к Виктору Ефимовичу. Он как-то изменился, стал неровен в обращении с домашними, нервозен. В конце концов Анна Андреевна потеряла к нему доверие. Но ее любовь к Нине Антоновне не ослабевала. Об этом свидетельствуют ее письма к ней.

Вот письмо из Ленинграда, написанное 6 февраля 1955 г.:

«Дорогая моя, нижнее место я получила, когда тронулся поезд. Хорошо спала — приехала бодрая. Вчера мне принесли корейскую поэму и “Рыбака”¹⁴⁹. Великолепно, но переводить почти невозможно. У меня еще в голове “московская симфония” — Лапа, телефоны, радио, “маз” и т. д.

А здесь очень тихо. Анютка ласково меня встретила — обе девочки в восторге от подарков. Целую и благодарю Вас и всех вас. Ваша Ахматова».

Здесь упоминается еще одна домочадка Ардовых — собака Лапа, а «маз» — необходимый компонент вечерней игры в карты.

Вот письмо из Москвы, когда Нина Антоновна была где-то с театром на гастролях:

«28 января 57 г. Дорогая Нина, вчера звонила Марина и сказала, что получила Ваше письмо. Мне завидно, напишите и мне. Маргарита взяла у меня пять стихотворений для “Литературной Москвы” (№ 3). Посмотрим. Все происходит довольно обычно. Вероятно, 15 февраля поеду в Ленинград — сдавать работу. Моя книга ведет себя все так же загадочно. Дружу с Мишей Ардовым. Наталья Ильинична Игнатова умерла. Жду письма и обнимаю Вас. Ваша Ахматова. Москва».

¹⁴⁹ Юн Сон До. Времена года рыбака. Перевод Ахматовой // Корейская классическая поэзия. М.: ГИХЛ, 1956. С. 87 — 102.

В этом письме отражено то бурное время, которое получило название «оттепель». Маргарита Иосифовна Алигер взяла стихи Ахматовой для третьего выпуска «Литературной Москвы», который так и не вышел. Идут нескончаемые проекты, обещания и уклонения от них по поводу новой книги стихов Ахматовой. День своих именин, 16 февраля, Анна Андреевна, как видим, хочет провести в Ленинграде с Пуниными. Безвременно умершая Наталья Ильинична Игнатова — новый друг Ахматовой, с которой она сблизилась, так же как и с ее сестрой Татьяной Ильиничной Коншиной, в Болшеве в 1952 г.

Приведу выдержку из письма от 4 июля (год установить не удастся):

«Дорогая моя Нина, в Москве без Вас очень скучно и пусто. Все домашние новости Вы, конечно, знаете от Виктора Ефимовича. Миша стал совсем взрослым, он очень мил, добр и весел. Я с ним дружу. У меня новостей никаких... Не скучайте, звоните и любите меня. Ваша Ахматова».

Среди многочисленных новых знакомых и почитателей в начале шестидесятых годов вокруг Ахматовой образовался кружок молодых поэтов. Среди них Иосиф Бродский и Анатолий Найман, приглашенный Анной Андреевной себе в секретари.

Все возрастающая мировая известность и популярность Ахматовой вылились в признание ей литературной премии в Италии. Она должна была получить ее в г. Таормине в 1964 году. Ехать с ней должна была Нина Антоновна. Но, работая летом в Минском театре, Нина Антоновна тяжело заболела. (Вместо нее Анну Андреевну сопровождала в Италию Ирина Пунина.) 13 октября 1964 г. Анна Андреевна пишет ей в больницу из Комарова:

«Нина, наверное, мне не надо говорить Вам, что я все время с Вами, я так хорошо себе представляю четырехместную палату, обход врачей, меряние температуры и т. д. Странно мне только, что там не я, а Вы.

Когда после второго инфаркта я лежала у Вас в маленькой комнате, моей единственной радостью был Ваш сухонький утренний курительный кашель. Сколько ночей Вы из-за меня не спали! А Ваш обморок под Новый год... Я написала несколько стихотворений, из них выживут, по-видимому, два.

Посылаю Вам фотографию: это я читаю стихи «Наследница», а Толя слушает...

Уверена, что этой зимой так или иначе я буду писать Вам письма — если Анатолий Генрихович (А. Г. Найман. — Э. Г.) даст милостивое согласие и впредь печатать их на машинке...

Низко кланяюсь тому, кто сейчас с Вами.

Целую Вас. Ваша Анна».

Через некоторое время Нину Антоновну перевели из Минска в Москву, в загородную больницу 4-го управления. Туда ей была послана телеграмма:

«Запоздало но от всего сердца поздравляем самую дорогую Ниночку с ее днем — Ахматова, Найман».

В письме от 5 января 1965 г. из Ленинграда читаем:

«Я очень скоро приеду в Москву... О том, что было в Италии, расскажу при свидании, хотя особенно интересного ничего не было... Нина, я люблю Вас, и мне без Вас плохо жить на свете. Целую Вас. Ваша Анна».

И следующее за этим письмо:

«Вы, наверное, уже знаете, что меня выбрали в Правление Союза. Для меня это большая неожиданность... Толя написал для “Москоу Ньюс” мой портрет. Мне бы очень хотелось, чтобы вы видели эту прозу. Думается, что никто, как Вы, не мог бы оценить некоторые ее качества. Во всяком случае такого портрета у меня еще не было и едва ли будет. Так или иначе мы Вам ее доставим.

10 февраля на пушкинском вечере мой голос прочтет два стихотворения, а Володя Рецептер прочтет мою маленькую прозу “Пушкин и дети”... Получили ли нашу телеграмму к св. Нине? Сколько раз я проводила этот день с Вами? Целую Вас нежно».

Перед поездкой в Оксфорд Анна Андреевна писала Нине Антоновне осенью 1964 г.:

«Нина, мне и самой скучно, что я Вам давно не писала. Это происходило единственно из-за отсутствия поблизости моего секретаря... По-видимому, в ноябре мне придется быть в Москве, там, конечно, узнаю обо всем подробнее, но и этого мне мало. Изю всех сил хочу Вас видеть...

Последние дни здесь гостила Надежда Яковлевна, она рассказывала что-то московское.

Вы будете смеяться, вчера мне подали телеграмму из Оксфорда с сообщением, что я приглашена принять почетную степень доктора литературы. Вот».

И последнее письмо, написанное летом 1965 г.:

«...Всегда мысленно беседую с Вами, Ниночка. У нас столько тем, правда? Я, кажется, мало и плохо рассказала Вам про Лондон и Париж. Может быть, еще напишу Вам об этом, когда окончательно приду в себя».

Осенью Анна Андреевна в последний раз приехала в Москву. Тут она тяжело заболела, еще раз инфаркт. В Боткинской больнице Анна Андреевна пролежала четыре месяца. А когда ее выписали, слабенькую-слабенькую, поехала с Ниной Антоновной в санаторий в Домодедово. Но, не пробыв там и трех дней, скончалась 5 марта 1966 г.

1983—1984, 1987

РЕПЛИКИ АХМАТОВОЙ

Когда Анна Андреевна брала в руки русскую книгу писателей-эмигрантов первой волны, она прежде всего останавливала свое внимание на их языке. Ей бросалась в глаза его правильность. Но это — мертвый язык, говорила она. Живя вне стихии языка родного, меняющегося, развивающегося, писать нельзя, утверждала она.

Анна Андреевна очень придирчиво относилась к отклонению от норм русского языка в устной речи окружающих. Вместе с тем она охотно вводила в свою речь современные арготизмы. Она скучала, если в общении с близкими звучала только правильная речь. Отсюда пристрастие Анны Андреевны ко всякого рода домашним кличкам или литературным цитатам, превращенным в семейные поговорки.

Из публикаций ранней переписки Ахматовой мы узнали о прозвищах, бытовавших в ее тогдашней среде. Гумилев — «наш Микола», Владимир Шилейко (второй муж Анны Андреевны) — «Букан», а он, в свою очередь, дал ей прозвище «Акума», так и приставшее к ней навсегда в семье Пуниных. Ее не коробили характерные для двадцатых годов фамильярные наименования Пушкина, и она сама запросто называла его «Пушняк» (см. дневник П. Н. Лукницкого).

Бранное обращение «свинья» Анна Андреевна заменяла домашним арго — «свин», «полусвин», «свинец».

По укрепившимся в языке цитатам можно судить, к какому периоду биографии Ахматовой они относятся, вернее, когда они зародились. Такова цитата из неизвестного мне стихотворения, оторвавшаяся от своего источника: «Попадает не туда и умирает от стыда». Или: «И я, и я», — цитата из жуткого рассказа Леонида Андреева «Бездна», несомненно поселившаяся в семейном обиходе Ахматовой во времена «Бродячей собаки», когда, полные веры в свою правоту, акмеисты с иронией относились к другим направлениям. Во всяком случае ясно, что они разделяли отношение Льва Толстого к творчеству Леонида Андреева, выразившееся в его известной фразе: «Он пугает, а мне не страшно». Может быть, уже в ту раннюю пору появилась цитата из Фета, тоже продержавшаяся в обиходе устной речи Анны Андреевны до самых последних лет. Любой бытовой или деловой успех обозначался формулой: «И лобзания, и слезы, И заря, заря!..» Этим не нарушалось высокое отношение Ахматовой к поэзии Фета. Не помешало ей и соседство с формулой «Идеал грез», если не ошибаюсь, взятой с этикетки на флаконе одеколona. Не пощадила Анна Андреевна и собственную раннюю лирику, пронизав бытовую речь, связанную с домаш-

ними хлопотами, цитаткой: «Спрячьте милые улики» — автопародия на строфу из стихотворения 1913 года «...И на ступеньки встретить...»: «И дал мне три гвоздики, Не подымая глаз. / О милые улики, / Куда мне спрятать вас?». Я это слышала от нее в пятидесятых годах, приводит аналогичный случай и Анатолий Найман в своей книге «Рассказы о Анне Ахматовой». Это все покамест я говорю о клише, нередко сопровождающих речь Ахматовой. Гораздо интереснее ее живые реплики, возникающие в разговоре. Очень мне запомнилась одна, родившаяся в шестидесятых годах. Это было в «каюте» на Ордынке, где у Анны Андреевны сидели Николай Иванович Харджиев и я. Он сказал мне какую-то колкость. Я не осталась в долгу.

— Генералы, не ссорьтесь, — немедленно откликнулась Анна Андреевна.

Она огорчалась, если между ее друзьями происходили какие-нибудь недоразумения. Цитата из «Капитанской дочки» была здесь очень уместна. Но, как всегда у Ахматовой, пушкинский текст в ее живой речи был несколько переиначен («Господа енаралы! — провозгласил Пугачев, — полно вам ссориться» — так у Пушкина).

Иногда она развлекалась стилизацией своей разговорной речи. Можно было заметить, что она работает над интонацией. Таковы были ее беседы, выдержанные в тоне петербургской светской дамы. Приведу несколько эпизодов.

Анна Андреевна гостила на даче у наших общих знакомых. Вернувшись, рассказывает, как проводили там время. Между прочими такая деталь: «Потом Нелли пошла в лес писать этюд... Да, *etude*». Она произносит слово «этюд» с французским прононсом, и ее ироническая оценка таланта этой художницы находит свое полное выражение.

Я поехала в Ленинград читать в Пушкинском Доме письма одного из современников Лермонтова к редактору «Русской старины» М. И. Семевскому. Я ожидала, что именно в этих письмах содержится документальный рассказ о гибели Лермонтова. Анна Андреевна, остававшаяся в это время в Москве, осведомилась об успехе моей поездки. Я доложила, что это действительно тот самый князь Голицын, которого я искала, но о Лермонтове в его письмах нет ни слова. Зато он предлагал Семевскому издать свой труд о вредном влиянии евреев на жизнь русского общества. Третий том уже готов, четвертый завершается. Небольшая пауза. Затем Анна Андреевна, ненавидевшая антисемитизм, спрашивает: «Сколько томов написал князь Голицын о вредном влиянии евреев? Ах, четыре?» — полувопросительно, полуутверждающе повторяет она, иронически склоняя голову.

В пятидесятых-шестидесятых годах Анна Андреевна должна была встретиться со старым петербургским знакомым из десятых или двадцатых годов, с которым она с тех пор не встречалась. Он, по-видимому, принадлежал к тем людям, которые чуждались встреч с «внутренней эмигранткой» Ахматовой. Теперь, когда она стала легальной, он появился на ее горизонте. На следующий день после его визита я спросила у Анны Андреевны: «Ну, как ваш гость?» Анна Андреевна с легким вздохом:

— Все мы умеем быть шармерами, когда захотим.

Иногда Анна Андреевна жила в стихии мещанского городского языка. Видно было, что она уже несколько дней, а может быть, и недель, мысленно погружалась в эту сферу. Однажды встретила меня шутливой фразой: «Так как вы — интересантка...» В другой раз

она спрашивала меня, как я отношусь к новым редакциям «Поэмы без героя», которую Анна Андреевна все время дорабатывала. Я не любила эти дополнения и пояснения и поэтому ответила сдержанно: «Раньше она была написана для одного голоса, а теперь вы транскрибируете ее для оркестра».

— Золотые ваши слова, — согласилась Анна Андреевна.

В тот же период я зашла как-то за ней утром, чтобы погулять вместе по Ордынке. Анна Андреевна заявила, что перед уходом надо немного прибраться в комнате. Я предлагала отложить это до возвращения. Нельзя: «Люди осудят», — степенно возразила Анна Андреевна.

«Худо ли?» — проговаривала она, опять же по-москворезуки, а не по-петербургски.

Видно было, что эти фразеологические опыты ее очень интересуют.

В другой раз, придя к Анне Андреевне, я поделилась с ней своими свежими наблюдениями над пылкой тягой к обычаям и ритуалам дореволюционной России в партийных кругах. Анна Андреевна на минуту задумалась и неожиданно пропела тоненьким голосом:

И куда тебя черти носили?
Мы и дома тебя бы женили.

Она не сфальшивила ни в одной ноте. А я-то думала всегда, что у нее нет музыкального слуха. Оказывается, я ошибалась.

Специфические советские выражения Анна Андреевна вводила в свою речь сознательно. Когда в 30-х годах ее пригласили на премьеру в МХАТ, она отказалась. Мне она объяснила: «В театр меня можно повести только “в принудку”». Реальная действительность врывается в речь Ахматовой, но реалистическое искусство Художественного театра было ей чуждо. Многих это удивляло и шокировало, но разве они не знали, что Ахматова принадлежала к тому направлению в искусстве, которое тяготело к условному театру? В пятидесятых годах она презрительно отзывалась о выставленных в московских витринах фотопортретах актеров в гриме и костюмах, игравших в современных бытовых пьесах: «Здесь нет ничего театрального. Почему мы должны любоваться ими?»

Кстати говоря, не любовь к чеховскому театру распространялась у Ахматовой на все его творчество. Об этом уже много написано, в литературе приведено множество ее выражений на эту тему. Но как-то остался вне поля зрения мемуаристов один из главных аргументов в ее системе античеховских взглядов. Анна Андреевна указывала, что она помнит и знает чеховское время. Она утверждала, что такого общества и таких опустошенных людей, как описывает Чехов, в российской провинции не было. Гимназические учителя истории посылали свои статьи в столичные научные журналы, словесники увлекали своих учеников и учениц высокими идеалами. Именно в девяностые годы в каждом губернском городе создавались отделения Краеведческого общества, интенсивно и плодотворно работавшие. Словом, Анна Андреевна защищала среднюю интеллигенцию России, которую Чехов, по ее мнению, изображал в кривом зеркале.

Должна еще оговориться. Меня уверяла Е. К. Гальперина-Осмеркина, что я неправильно описываю тембр голоса Анны Андреевны. Она утверждала, что у Ахматовой был глухой голос. Спорить с Еленой трудно, потому что она была специалисткой, преподавала много лет в техникуме «живое слово», ездила по командировкам ВТО на периферию в драматические театры заниматься дикцией с актерами. Была мастером художественного чтения (прозы) и, между прочим, замечательно определила манеру чтения своих стихов Ахматовой. Это, сказала она, не живопись, не акварель, а графика. Но у меня в ушах до сих пор звучит «свежий и летний» голос Ахматовой. Он «изнемог» только в последние годы ее жизни (см. ее стихотворение «Не страшай меня грозной судьбой»). В начале пятидесятых годов мы с ней поехали на Ленинградский вокзал встречать тринадцатилетнюю Аню Каминскую, которую одну посадили в вагон в Ленинграде с тем, чтобы ее встретили в Москве. Мы стояли на платформе, вся публика уже сошла с поезда, а нашей путешественницы все нет и нет. Я уже стала волноваться, не произошло ли что-нибудь с ней в дороге. Но Анна Андреевна хладнокровно подошла к ступенькам вагона и звонким уверенным голосом громко позвала: «Аня!» Мгновенно оттуда пулей вылетела девочка и бросилась на шею «Акуме». Аня в первый раз в жизни ехала одна в поезде, поэтому и сидела в опустевшем вагоне, боясь выйти. Весь этот день Анна Андреевна ласково посмеивалась, вспоминая, какой «диккенсовской девочкой» выскочила Аня: в клетчатом пальтишке с пелеринкой, в трогательной какой-то шляпке и с маленькой сумкой в руках. Так давно это было, а из моей памяти не вытеснился этот победоносный голос Анны Андреевны.

С Анной Андреевной почти никогда не бывало скучно, даже когда разговор шел на бытовые темы или касался пустяков. Это потому, что ее реплики отличала возникающая по ходу разговора образная точность или лапидарно выраженная мысль.

В первый год нашего знакомства меня удивила фраза, произнесенная ею без всякой рисовки: «Вчера в меня вселился дух чужой женщины, и я подшила себе юбку».

В послевоенные годы она однажды горестно заметила: «Куда ни кинешь взгляд, повсюду одни вдовы... торчат, как обгорелые пни».

В 50-м году, стоя в очереди перед окошком Лефортовской тюрьмы, она обратила мое внимание на огромный камень, лежащий посредине тюремного двора. На нем сидела жена одного из заключенных, простая русская женщина. «Посмотрите, — тихо указала мне на нее Анна Андреевна, — она может так неподвижно сидеть и ждать хоть месяц, она сама уже кажется продолжением этого камня».

Летом 1953 г. хоронили художника Александра Александровича Осмеркина. В последние годы своей жизни он был в опале, отстранен от преподавания в Академии художеств, картины его не принимались и не выставлялись. Гражданская панихида была назначена в Доме художника на Беговой улице. Долго ждали привоза гроба с телом — Осмеркин скончался в Подмосковье. Потом еще дольше ждали начальства, — некому было открыть траурный митинг. И все это время собравшиеся родные и друзья, почитатели и ученики Александра Александровича сидели молча, если перекидывались короткими фразами, то очень тихо, никто не уходил. Анна Андреевна несколько раз стояла в

почетном карауле. Наконец приехал кто-то из администрации МОСХа и произнес какую-то скомканную речь. Стали выносить гроб, мы пошли вслед, начали рассаживаться по машинам. Анну Андреевну развели со мной, ее повезли на кладбище вдова художника, Надежда Георгиевна, и архитектор Руднев в его машине. Но Анна Андреевна успела шепнуть мне на выносе: «Очень хорошие похороны. По первому классу».

Когда Ахматова стала заниматься переводами, у нее образовался широкий круг новых знакомств в рабочей литературной среде. Часто ей приходилось окунаться в гушу их профессиональных интересов, участвовать в злободневных литературных разговорах, к темам которых подчас она относилась иронически. Помню, что она не разделяла всеобщего восхищения книгой Грина «Тихий американец». Но не помню, какие именно претензии она предъявляла к этому роману. Зато хорошо помню ее слова и интонацию, когда она высказалась по поводу события, волновавшего умы в литературной среде: речь идет о предполагавшемся приезде в Москву Хемингуэя, приуроченном к официальному визиту в Советский Союз президента США Дуайта Эйзенхауэра. Потом стало известно, что Хемингуэй не приедет. Это бурно обсуждалось у нас, одни возмущались, другие одобряли знаменитого писателя, желая видеть в этом некий политический жест. К этой суете Анна Андреевна отнеслась презрительно. Она была убеждена, что писатель просто не хотел являться в Россию в свите президента. «Что для Хемингуэя Эйзенхауэр? — сказала она, — какой-то сановник». (Как известно, визит Эйзенхауэра был отменен из-за инцидента с американским летчиком Пауэрсом).

Мы проезжали в такси по улице Горького. Я отозвалась о здании Моссовета: «Мне нравится». — «Что тут может нравиться? — рассердилась Анна Андреевна. — Такое впечатление, как будто один дом поставили на другой».

Анна Андреевна замечала, что у нас не умеют размещать скульптуру на зданиях. Статуя должна вырисовываться в пространстве, напоминала она об этом элементарном законе, а у нас их ставят в житейских позах. Особенно ее раздражали, даже пугали скульптурные фигуры на крыше высотного здания на Котельнической набережной. Они смотрят вниз или по сторонам, но только не вдаль. «Кажется, что они все время следят за нами», — с тоской говорила Анна Андреевна.

«Эмма, что мы делали все эти годы? — воскликнула она в шестидесятых, когда так звенела в воздухе политическая тема. — Мы только боялись!»

Очень характерное для нее это «мы». Как поэта она себя выделяла, давала почувствовать дистанцию между собой и другими пишущими, но в повседневной, да и в гражданской жизни ей органически была присуща соборность. Мне всегда в таких случаях вспоминался Пушкин с его обращениями: «То ли дело, братцы, дома», или «Ах, братцы, как я был доволен», или при выходе из оперного театра в Одессе: «А мы режем речитатив».

Среди наших знакомых был один молодой физик, подающий большие надежды. Он не очень импонировал Анне Андреевне. С недоумением и тайным юмором она мне рассказывала, что по своим новейшим научным взглядам он, не веря в Бога, признавал существование во Вселенной какой-то «управляющей силы». «Вы подумайте, *управляющая сила*, как это страшно», — говорила Анна Андреевна. И нередко при упоминании

об этом физике повторяла с выразительными и разнообразными интонациями: «Управляющая сила»

Когда я приносила какую-нибудь хорошую новость о моих делах, Анна Андреевна говорила: «Спасибо». А прощаясь — благословляла: «Господь с вами».

Я не слышала, чтобы Анна Андреевна вела с кем-нибудь философские, вообще теоретические разговоры о религии. Она только приводила подходящую к случаю какую-нибудь евангельскую заповедь, всегда смиренно добавляя: «Но выполнять ее очень трудно». Эти слова она произносила в применении к самой себе. Окружающих она не поучала, не наставляла, не расспрашивала. «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала», — говорила она. Думаю, что благодаря такому такту дружбы Анны Андреевны длились годами и десятилетиями.

БЕГОМ ЗА РУКОПИСЬЮ

Верно ли, что Ахматова относилась к своим рукописям «равнодушно, с пренебрежением, бросала их и оставляла где попало»? Это я прочла в газете «Советская Россия» (№ 291 от 20 декабря 1989 г.).

Сразу вспомнилось стихотворение Ахматовой «Надпись на поэме». Подразумевается ее «Поэма без героя». Но автор предупреждал своих издателей, чтобы «Надпись...» никогда не печатали вместе с названной поэмой. В чем здесь секрет? В стихотворении выражена мольба о спасении. И обращена она не к Богу, не к Музе и не к другу, а к... рукописи. Она, сама рукопись, служит поэту собеседником и хранителем ее тайн. Перечтем «Надпись на поэме»:

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда.
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.
Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь почему.
И ночь идет, и сил осталось мало,
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клочущую тьму.

Стихотворение написано в начале сороковых годов в Ташкенте, где Анна Андреевна оказалась после эвакуации из осажденного Ленинграда. Строки о спасении рукописи из «кровавого месива» — это не риторика. К ним есть реальный комментарий.

Случайно я узнала об этом с чужих слов. Когда посадка на самолет была уже закончена, объявили, что можно поместить еще одного человека, если пассажиры бросят свои вещи. Будто все согласились, но Ахматова сказала, что в таком случае она останется в Ленинграде, без своих вещей она лететь не может. Свидетели ее осудили, заподозрив в ней барахольщицу. В действительности она спасала свою рукопись. В конце концов она, видимо, успела как-то облегчить свой небольшой багаж. Но с рукописями не рассталась. Когда через две недели, эвакуированная уже из Москвы в Чистополь, она встретила там

с Лидией Корнеевной Чуковской, в руках ее был узел, который она «судорожно прижимала к груди» (см. «Записки...» Л. Чуковской).

Повышенный интерес к рукописи «Поэмы без героя» — именно к рукописи — не покидал Ахматову в течение многих последующих лет. Безмерно страдая от невозможности напечатать свое любимое детище полностью, Анна Андреевна тиражировала его во множестве машинописных экземпляров. Она изобрела особенное графическое расположение отдельных кусков текста, утвердив надолго систему разных виньеток, начертаний эпитафий и собственноручных надписей. Отдельные экземпляры она дарила не только друзьям и знакомым, но и незнакомым, мнение которых о «Поэме...» она хотела бы услышать. Даже дарственные надписи на этих экземплярах были стандартизированы. «Дано такому-то (инициалы) в такой-то день такого-то месяца и года, Москва или Ленинград». И это не единственный случай исключительного внимания Ахматовой к своей рукописи.

Вспоминаю 1951 год. Анна Андреевна уже несколько месяцев живет в Москве у Ардовых. Утром в последних числах мая мне неожиданно звонит по телефону Виктор Ефимович Ардов. «Так вот, — говорит он, как водится, без всякой паники, — Анну Андреевну в больницу кладут. У нее предынфарктное состояние. Так вы приезжайте». Минут через 20 — 25 я уже на Ордынке.

Во дворе стоит машина «неотложной помощи». Весь персонал на месте, чего-то ждет. А наверху Анна Андреевна отказывается двинуться с места, пока не дожидается меня. Я спешу к ней подойти. Она протягивает мне толстую папку со своими рукописями и рабочий экземпляр сборника «Из шести книг» с авторской правкой. «Храните у себя», — говорит она мне. Мне неловко перед Ардовыми, но, в сущности, поступок ее вполне естествен. Дом Ардовых напоминает проходной двор. Тут и соавторы Виктора Ефимовича, пишущие для эстрады, и подруги Нины, актрисы со своими заботами, и гурьба школьных товарищей Миши и Бори Ардовых, — все это приходит и уходит, ночует, уезжает в другой город, сваливается на голову без предупреждения, и даже портниха из соседней квартиры заходит со своими клиентами в столовую Ардовых для примерки перед большим зеркалом. В такой обстановке Анна Андреевна не могла быть спокойна за судьбу своих рукописей.

В 1958 году вышла в свет ненавистная Ахматовой ее куцая книга «Стихотворения» — первая после постановления 1946 года. На подаренном мне экземпляре она написала: «Остались от козлика ножки да рожки». Когда еще не все авторские экземпляры были разданы, часто среди разговора Анна Андреевна объявляла, что ей надо еще поработать над своей книгой. Она шла в другую комнату, брала с собой клей и там склеивала страницы, на которых были напечатаны стихи из цикла «Слава миру». Затем аккуратно переписывала другие стихи и вклеивала их в книгу. Причем в каждом экземпляре были другие стихи. Она надеялась таким способом сохранить для потомства свои ненапечатанные стихотворения. К сожалению, обладатели этих книг не поняли намерения Ахматовой, и этот своеобразный авторский сборник избранных стихов остался неизученным.

Еще эпизод: в начале шестидесятых годов я гостила в Ленинграде у Анны Андреевны. Ее, впрочем, не было в городе, она находилась в Комарове. Мы условились, что в воскресенье я тоже туда приеду.

Выдался непредвиденно жаркий день, а я взяла с собой из Москвы только тяжелое пальто и грубые полуботинки на резиновой подошве. Пока я добралась до Финляндского вокзала, я была уже измучена. А тут еще попала в большой перерыв в курсировании пригородных электричек. В зале ожидания ни одного свободного местечка. Простояла целый час, если не больше. Затем суетливая посадка в поезд, и в вагоне все места тоже уже заняты. Еще часок на ногах. В Комарове плетусь со станции к даче Ахматовой. Вижу, навстречу быстро идут две полужнакомые женщины. Это — бывшие соседки Ахматовой и Пуниных по квартире на Красной Коннице. Торопятся на станцию. А через минуту вижу, как их пытается догнать Анна Андреевна. Спотыкается о проступившие из-под земли огромные корни старых сосен, почти бежит. «Что случилось?» — спрашиваю я в ужасе. «Случилось большое несчастье, — задыхается Анна Андреевна, — я забыла в городе свою записную книжку...» В эту минуту приблизилась Ира Пунина, медленно шедшая позади в пижамных штанах. «Как мне все это надоело», — брызжит она. Я поворачиваю назад и веду Анну Андреевну к станции. Там все благополучно. Соседки успели купить три билета. Я сажу их в поезд, а сама возвращаюсь на дачу. Ехать в город я уже не в силах. Я была уверена, что бывшие соседки доставят Анну Андреевну на ее новую квартиру в писательском доме по улице Ленина. На следующее утро Анна Андреевна приезжает в Комарово на литфондовской машине совершенно умиротворенная. Записная книжка при ней. О подробностях не спрашиваю, и она ничего не говорит.

Вспоминаю еще один характерный эпизод. В августе 1965 г. я опять живу у Анны Андреевны в Ленинграде. Она готовится при мне к телевизионной записи своих воспоминаний о Блоке. Намереваясь показать телезрителям его дарственную надпись на книге «Стихи о Прекрасной Даме», выдвигает верхний ящик комода и вскрикивает: «Посмотрите, что здесь делается?» В ящике перемешаны в хаотическом беспорядке книги. Это сборники стихов с дарственными надписями. Авторы — Блок, Гумилев и другие поэты, современники молодой Ахматовой. «Я сама перед отъездом в Москву все аккуратно сложила, — в гневе говорит Анна Андреевна. — Здесь кто-то рылся и очень торопился, видите?»

«Бедная мама! Она так беспокоилась о “своих бумажках”, а то, что вышло с ними, пожалуй, наихудшее из всего. И ничего нельзя было сделать», — писал мне Лев Николаевич Гумилев в 1967 или 1968 году, когда после смерти Ахматовой ее архив перешел во владение Ирины Николаевны Пуниной.

Ну, похоже ли все рассказанное здесь мною на портрет беспечного поэта, нарисованного в «Советской России» рукой неосведомленного человека? Имею в виду Вал. Гольцева и его статью «Досужие домыслы верного друга», обрушившую отравленные стрелы на книгу Анатолия Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой». Врачу, исцелился сам!

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

1.

В начале двадцатых годов, еще не держа ни разу в руках ни одной книги поэта Пастернака, я уже слышал о нем много. Первые упоминания были почти анекдотичны. Одна из моих школьных подруг, убежденная, что девушке унизительно показываться в общественных местах без кавалера, с удивлением рассказывала о трех своих знакомых девушках. Втроем они посещали вернисажи, генеральные репетиции, театральные диспуты, литературные вечера, не пропускали выступлений Бориса Пастернака. Садись в первые ряды, шумно хлопали, поджидали у подъезда по окончании вечера. Кончилось тем, что одна из них вышла за него замуж. Таков был не лишенный зависти рассказ о целеустремленности и самоутверждении девицы — красивой, с высоким чистым лбом.

...На театральном диспуте актриса Зинаида Райх сравнивала нападки на ее мужа Мейерхольда с травлей на первого мужа — Сергея Есенина и выкрикивала со сцены в зал что-то задорное, а некто со спускающимся на лоб чубом и странным оскалом зубов, веселый и разгоряченный, подсел к ней на ступеньку большого помоста, стоящего на сцене. «Неужели ты не знаешь? Это — Борис Пастернак», — сказали мне.

В журналах так часто упоминались строки «Тишина, ты — лучшее Из всего, что слышал», «Мирозданье — лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной» или «Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе», что мне казалось, я достаточно хорошо знаю поэзию Пастернака и совсем не заметила, что пропустила «Поверх барьеров». Но достать эту книгу было уже невозможно.

Склонность к созерцательности, фамильное родство с музыкой сделали для меня дух его сочинений понятным и близким. Переизданная «Сестра моя жизнь», впервые прочитанная мною в 1927 г., стала моей любимой книгой.

Вокруг часто говорили, что он «непонятен». Но с этой своей «непонятностью» и, как тогда говорили, «камерностью», он становился все более и более модным. Это меня раздражало, но одновременно вызывало зависть к московским снобам, которые хвастались встречами с поэтом в салонах, чуть ли не «кремлевских».

В начале тридцатых годов облик Пастернака стал для меня будничнее. Бывая у Мандельштамов, поселившихся в Доме Герцена на Тверском бульваре, я часто наблюдала, как по двору дефилировал Борис Леонидович от писательской столовой до левого флигеля с полными сумками в руках. Все знали, что там живут его уже оставленная жена и сын, а

сам Борис Леонидович живет в другом месте с новой женой — бывшей женой Нейгауза.

Общих знакомых с Пастернаком к этому времени у меня появилось довольно много. Не без фамильярности отзывалась о нем Надежда Яковлевна Мандельштам, с едва заметным хвастовством ее брат Евгений Хазин («Вот здесь, сидя в этом самом кресле, Борис Леонидович нам говорил...»), с обожанием Надя Жаркова, жена Бориса Песиса — друга поэта. Всегда с любовью говорила о нем Анна Андреевна Ахматова, с которой я познакомилась зимой 1933—34 гг. у Мандельштамов, уже в Нащокинском переулке.

Именно в Нащокинском я слышала фразу Пастернака о нашей эпохе: «Время как время — ничего особенного». О начинающемся терроре: «Это иррационально, это как судьба». Однако вспоминал: в день премьеры «Бани» он впервые услышал о расстреле старого знакомого, кажется, бывшего эсера. У подъезда Театра Мейерхольда встретил Кирсанова, спросил его: «Ты знал, что NN расстрелян?» «Давно-о-о...» — протянул тот, как будто речь шла о женитьбе или о получении квартиры.

Однажды в непонятной еще для меня связи вспомнил рассказ или повесть Чехова. Герой выходит из московского ресторана, газовые фонари освещают падающий снег, подъезжает извозчик — и получается чеховская атмосфера, Москва... А ты, к примеру, напишешь (он приводит что-то вроде такого описания): кончилось общее собрание. Глеб вышел из накуренного помещения. Сел на скамью бульвара. Накрапывал дождь. Глеб снял кепку... — «и ничего не происходит!»

Это Пастернак примеривается к своей новой прозе — Анна Андреевна много позже мне говорила, что уже в те годы он посвящал ее в свой замысел.

Я была в Союзе писателей, когда там обсуждалось постановление ЦК о Шостаковиче, о его «Леди Макбет», вообще о формализме. Юрий Олеша наивно и честно рассказывал с трибуны о внутреннем разладе, внесенном в его душу этим решением. «Я не могу теперь читать статьи “Правды” с прежним чувством!» — горестно восклицал он. Пастернак со своим мычаньем и инфантильностью говорил иронично. Он удивлен, что вытащили такую старую проблему, как «формализм». Все это давно решено. Вспоминаются споры его молодости, насколько они были острее, даже рапповские дискуссии — «это — Афины!» по сравнению с сегодняшней. Он говорил о закономерности трагического в искусстве наших дней. Речь его не имела никакого успеха, ни в президиуме, ни в зале.

В Госиздате, где готовилась книга стихов Пастернака, его замучили придирками. «Так что же, тут скрытая рифма — бомба?» — вскрикивал, рассказывая об этом, Пастернак, и голос его будто раскалывался надвое и восклицание переходило в хохот.

После гибели Мандельштама (известие пришло в январе 1939 г.) Надежда Яковлевна, обменяв оставшуюся в Нащокинском комнату на какую-то квартиру в Твери, вместе с матерью уехала из Москвы с намерением никогда сюда не возвращаться. Пастернака я видела уже в 1940 г. в комнате Н. И. Харджиева в Марьиной Роще. Он пришел туда, чтобы встретиться с Ахматовой.

В этой маленькой комнатке на первом этаже, где до потолка возвышались деревянные полки, набитые книгами — редкостным собранием русской поэзии начала века, а на стене

в раме — красный на белом фоне квадрат К. Малевича, подаренный Харджиеву автором; где стояла тахта, две деревянные табуретки и маленький канцелярский стол, а на дощатом полу был постелен чистый половик, — Пастернак вспомнил свою молодость.

Разговор зашел о «Центрифуге». Он стал рассказывать со множеством смешных подробностей историю ссоры и несостоявшейся дуэли с Сергеем Бобровым¹⁵⁰. Одна его фраза до сих пор звучит у меня в ушах из-за несравненной интонации и слов, произносимых на таком открытом горячем дыхании, что снова голос Пастернака раскололся надвое и последнее слово перешло в хохот Пана: «а мы развалились по диванам, распиваем дорогие коньяки...» Борис Леонидович вскакивает с табуретки, бегает с хохотом по комнате (8,5 метров!) и, не прекращая рассказывать, с виноватым видом, быстрыми движениями старательно смотрит на это с ласковой усмешкой, Николай Иванович остается невозмутимо спокойным.

Потом Анна Андреевна вспомнила, что ей нужно кому-то позвонить, Николай Иванович повел ее в коридор к телефону, и в наступившем неловком молчании Борис Леонидович смущенно подсаживается ко мне на тахту и заливчато спрашивает: «Как жизнь?»

Вернувшись, Анна Андреевна рассказывает о еще более давних временах. На вечеринке заиграли «какую-то там кадрили или польку», гости начали танцевать, а в дверях гостиной появился Бальмонт, заломил руки и простонал: «Почему я, такой нежный, должен на это смотреть?!»

В той же комнате, где Борису Леонидовичу явно не хватало места для разбега, опять проплыл его образ и даже промелькнула тень Бальмонта, но все это уже в отраженном свете.

Произошло это так. Как было заранее условлено, я зашла за Анной Андреевной к Харджиеву, чтобы идти с ней в театр Красной Армии, помещавшийся отсюда недалеко. У Николая Ивановича я застала не только Ахматову, но и Цветаеву, пришедшую сюда в сопровождении Т. С. Грица. Он сидел на тахте, рядом с Н. И. Харджиевым, брови его были трагически сдвинуты, что неожиданно делало его красивое и мужественное лицо милостивым. На табуретках сидели друг против друга: у стола — Анна Андреевна, такая домашняя и такая подтянутая со своей петербургской осанкой, а на некотором расстоянии от нее — нервная, хмурая, стриженная, как курсистка, Марина Цветаева. Закинув ногу на ногу, опустив голову и смотря в пол,¹⁵¹ она что-то постоянно монотонно говорила, и чувствовалась в этой манере постоянно действующая сила, ничем не прерываемое упорство.

Вскоре все поднялись, и невысокая Цветаева показалась мне совсем другой. Надевая кожаное пальто, она очень зло изобразила Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье «для Зины». Он просил Марину Ивановну мерить на себя, но спохватился: не подойдет, «у Зины такой бюст!..» И она изобразила комичное выражение лица «Бориса» при этом, и осанку Зинаиды Николаевны («красавица моя, вся стать»). Резкость слов

¹⁵⁰ Поэт, прозаик, участвовал вместе с Б. Пастернаком в литературной группе «Лирика», примкнувшей к футуристической группе «Центрифуга».

¹⁵¹ Такая же поза была характерна для ее сына — Мура, когда он о чем-нибудь рассуждал. Я его встретила зимой 1943 г. у его тетушки Е. Я. Эфрон.

Цветаевой и неожиданно развинченные движения поразили меня тогда неприятно. Не знаю, как перешел разговор на Бальмонта, и Цветаева описала горестную сцену в Париже. Состарившийся поэт, видимо, случайно получил много денег. Марина Ивановна видела в ресторане или в каком-то кафе, как он выбирал по карте дорогие вина, а жена судорожно прижимала к груди потрепанный портфельчик, набитый деньгами. Эта жалкая сцена была разыграна Цветаевой с мгновенной и острой выразительностью, но тоже, как мне показалось, слишком резко. Выйдя уже в коридор, она обернулась к замешкавшейся в комнате Анне Андреевне, чтобы поведать, какой описывали ей Ахматову общие знакомые: «такая... дама». И голос ее звенел.

Все вместе мы вышли в Александровский переулок. Где-то на перекрестке Марина Ивановна, распрощавшись, ушла в сопровождении Грица, а Харджиев довел нас до театра, где с мая 1941 г. шли первые спектакли «Сна в летнюю ночь» с участием Нины Ольшевской (Ардовой).

Еще в марте 1941 г. я познакомилась в санатории «Узкое» с золовкой Цветаевой, Елизаветой Яковлевной Эфрон. Мы обе остались в Москве при всеобщей эвакуации и подружились на многие годы во время первой военной зимы. Елизавета Яковлевна долго не могла прийти в себя после самоубийства Цветаевой. Но постепенно все чаще и чаще возвращалась к воспоминаниям о ней. Она знала о встрече обоих поэтов в Марьиной Роще. По ее словам, Цветаева была несколько разочарована в Анне Андреевне и даже отозвалась о ней: «барыня». Очевидно, так преломился в памяти Елизаветы Яковлевны все тот же рассказ о «даме».

Лишь в шестидесятых годах я спросила Харджиева, не помнит ли он, о чем был разговор в то длинное свиданье. «Анна Андреевна говорила мало, больше молчала. Цветаева говорила резко, нервно, перескакивая с предмета на предмет». — «Они, кажется, не понравились друг другу?» — «Нет, этого нельзя сказать, — задумался Николай Иванович, — это было такое... взаимное касание кончиком ножа души. Уюта в этом мало».

А во время войны С. Б. Рудаков подарил мне «Версты», и я с запоздалой нежностью перечитывала эти лучшие стихи Цветаевой. И в военной затемненной Москве оплакивала ее как самого близкого друга.

Итак — война.

Я никуда не выезжала со своего Щипка всю войну, и это была самая странная, экзотическая, остановившаяся и быстро бегущая жизнь. Рассказывать о бедствиях, утратах, полной ломке характера и необычайно повысившейся роли надежды было бы трюизмом. Все это знают. Помнят также окончание войны, всеобщий подъем духа и наступившее затем оцепенение.

И вот 1946 год. Ахматова и Пастернак выступают в Колонном зале Дома Союзов. «Вы не ходите, это не для белого человека», — сказала мне Анна Андреевна, и я не была. Но она рассказывала, что Пастернак обнаружил полное владение законами эстрады. Переходил с одного конца сцены на другой, приговаривая: «А теперь, чтобы вы не соскучились, я перейду к вам», от кого-то прятался за спины сидящих в президиуме и т. п. (А самой Ахматовой послали из зала записку: «Вы похожи на Екатерину II»). В

Политехническом музее, кажется, в июне 1946 г., был отдельный вечер Пастернака с афишами. Там я тоже не была, но знаю, что зал был битком набит, а у подъезда дежурила конная милиция.

Пастернак рвался к широкой аудитории. Ахматова больше радовалась благоговейному почитанию и восхищенному любованию многочисленных знакомых. Повторяли привезенное из Ташкента слово: «королева». Весь литературный beau-monde перебивал тогда на Ордынке у Ардовых, где она останавливалась. Актеры, художники и даже эстрадники хотели засвидетельствовать Ахматовой свое почтение. Не забывали ее и старые друзья совсем другого толка. Борису Леонидовичу это очень нравилось. Он говорил о впечатлении какого-то прибора, при мне сравнил квартиру Ардовых с «узловой станцией», а имя ей «Ахматовка».

Я мало бывала на этих пиршествах тщеславия, о которых впоследствии Анна Андреевна вспомнила покаянно: «...я просто обалдела...» Впрочем, и в этих обстоятельствах она не теряла чувства юмора и самоиронии. Она тогда из «городской нищенки», какой выглядела до войны, преобразилась в полнеющую немолодую и элегантную даму: ей выдали из каких-то специальных фондов одежду и обувь. Впервые за десятки лет у нее появилась маленькая изящная шляпа. «Я похожа на жену посла, — сказала она мне, — он уже двадцать лет с ней не живет, и все это знают, но когда она приезжает, в газетах сообщается о прибытии супруги такого-то, а чиновники из министерства едут на вокзал ее встречать». Не забудем, что это было ее первое появление в Москве после неожиданного разрыва с Гаршиным.

Как-то утром я застала Бориса Леонидовича на «Ахматовке». Он любезничал с дамами, с нескрываемым восхищением взирал на красивую Нину Антоновну, которая была больна и лежала в постели. Борис Леонидович сидел у торца большого стола и встретил меня странной фразой: «Я вас знал маленькой девочкой», угостил меня чудесным красным вином, которое принес с собой.

Он читал свои стихи. Я, не без сожаления, сказала, что у него изменилась манера чтения — теперь она более приближается к актерской. Это замечание было ему не особенно приятно. Он сухо ответил, что теперь он читает лучше и так ему больше нравится.

Тут вошел в замешательстве брат Нины Антоновны: пора было ехать за доктором, а на чем? Пастернак сейчас же предложил свои талоны на такси. Это была привилегия, которой удостаивались очень немногие писатели. Нина устала на Пастернака свои блестящие черные глаза: «А разве у вас есть?» И Борис Леонидович захлопотал, засуетился, стал названивать домой, чтобы кто-нибудь из сыновей принес талоны на Ордынку (благо это рядом).

А потом настал знаменитый август. Вышло постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, и хотя Пастернака оно прямо не касалось, его радостный подъем оборвался.

Борис Леонидович уединился. Публичные выступления его были прекращены. Доходили слухи, что он работает над романом.

Эти сведения приходили, главным образом, от Лидии Корнеевны Чуковской, с которой я особенно подружилась в ту пору.

У нее встречала хорошенькую, но слегка увядшую блондинку, работавшую вместе с нею в «Новом мире».

Лидия Корнеевна вела в журнале принципиальную борьбу за высокое мастерство редактора, а блондинка с помятым лицом служила там секретарем отдела поэзии и отвечала на «самотек», т. е. на стихи, присылаемые со всех концов Союза в редакцию «Нового мира». Она ненавидела эту работу, держалась за нее только из-за повышенной продовольственной карточки, но и этих благ не хватало, чтобы прокормить двоих детей и мать. Она была патетически бедна, ободрана, ходила в простеньких босоножках и беленьких носочках, иногда забрызганных грязью, плохо читала стихи, писала под копирку одинаковые ответы самостоятельным поэтам и демонстративно восхищалась Пастернаком. Борис Леонидович это заметил и при своих уже тягостных отношениях с редактором журнала (тогда это был К. М. Симонов) утешался ласковым приемом секретарши. «Она такая милая», — говорил он Лидии Корнеевне.

В «Новый мир» Пастернак приходил по поводу своего романа «Доктор Живаго». В редколлегии журнала уже установилось отрицательное отношение к этому еще незавершенному произведению, в которое Борис Леонидович вкладывал всю страсть своей души. Он считал этот роман итоговым для всей своей творческой жизни.

Ранней весной 1947 г. Лидия Корнеевна предупредила меня, что скоро у одной знакомой дамы собирается небольшое общество, куда буду приглашена и я. Борис Леонидович прочтет первые главы своего романа. Своим друзьям Лида как бы поставила условие: каждый из нас должен был написать после чтения письмо Пастернаку.

В начале апреля в назначенное время я подошла к дому по Настасьинскому переулку. В подъезде я столкнулась с Борисом Леонидовичем и вместе с ним подымалась в лифте. Подымалась еще одна его знакомая переводчица, тоже приехавшая на чтение. Он меня узнал, спросил про Анну Андреевну, сказал что-то любезное переводчице. Публика уже собралась. Лида пришла с той самой блондинкой, Ольгой Ивинской.

Бориса Леонидовича усадили за столик, лицом к публике, расположившейся в двух-трех рядах стульев.

Стали обсуждать порядок вечера. Лидия Корнеевна настаивала на чем-то, некто твердокаменный сказал наконец резко: «Я не понимаю, почему эта дама так нервничает», а она сидела рядом с Ивинской, и Борис Леонидович все время обращался к ним глазами и через головы сидящих спросил Лиду, как себя чувствует Корней Иванович.

Нежным и осторожным движением он вынул рукопись из бокового кармана и бережно положил ее на стол. Затем произнес небольшое вступительное слово о современном распадае формы романа, которую он хотел возродить, о соотношении стихов и прозы, а

затем обратился к присутствующим членам редколлегии «Нового мира», призывая их к деловому вниманию, и как-то жалобно и просяще сказал, что даже перестает чувствовать себя профессионалом.

Началось чтение.

Маленькие главки «Детства» с их заключительными абзацами он так изящно и ритмично очеркивал голосом, что каждая пауза между ними ощущалась как наполненная пустота.

Некоторые реплики произносил как сдержанное сокровенное признание: «Моя дорога стала», — так говорит железнодорожный рабочий во время всеобщей забастовки 1905 года, когда «они сами знали, куда они идут». «Выстрелы, вы тоже так думаете», — это Лара бежит по московским улицам в исступлении отчаяния, вбирая в себя пенье церковной службы и выстрелы революции. Эти главы давали ощущение полного слияния судеб людей и истории. «И не вздумай, пожалуйста, отпираться», — записка подруги к Ларе, прочитанная тихо, потому что это было цитированием, но усилившая впечатление из-за интонационной и лексической достоверности.

Борис Леонидович снимал и надевал очки, криво садившиеся на нос, и, читая страницы о Ларе, казался страдающим пожилым отцом опозоренной дочери.

В другой раз увлекся, наслаждался, хохотал, когда читал фольклорные страницы сочной площадной брани во время потасовки между рабочими.

Закончилось чтение главой, где Юра на могиле матери закричал: «Мама!» Оно было выслушано в глубоком благоговейном молчании. Объявили перерыв, после которого Борис Леонидович обещал прочитать отдельные отрывки из второй части и сообщить ее план.

Был устроен прекрасный чай, хозяева были очень гостеприимны. Многие вышли в коридор, там прохаживались и беседовали, собравшись в небольшие кружки. А Борис Леонидович тревожно подходил то к одному, то к другому, заглядывая в глаза, выпытывая, каково впечатление. Нетерпеливо подошел он к двум «новомирцам», жадно прислушиваясь к их разговору. Но снисходительно, как взрослый ребенку, Борис Агапов возразил: «О нет! Мы говорим о своих будничных производственных делах». Подошел Борис Леонидович и ко мне, стоявшей у стены, и спросил с придыханьем: «Ну, как?»

После перерыва он стал читать главы о Ларисе и Паше в Камергерском переулке. Эти главы были иными, чем в окончательной редакции. Там была очень остро написанная сцена соблазнения Паши, а в аксессуарах главную роль играла свеча, стоящая на подоконнике. В это самое время Юра проезжал в санях по Камергерскому переулку и обдумывал реферат о Блоке, заказанный ему для студенческого журнала. Взгляд его задержался на горящей свече, видной сквозь подтаявшее стекло. И когда он приехал домой, вместо реферата он стал писать стихи: «Мело, мело по всей земле, Во все пределы, Свеча горела на столе, Свеча горела», потом другие и, наконец, «Рождественскую звезду». И было ясно, что это стихотворение о наступлении новой эры, и Блок тоже предтеча другой, новейшей эры. И хотя в этой главе ничего сказано об этом еще не было, но связь была очевидна, и от этого весь роман производил впечатление высокого прозрения. (А когда впоследствии стихи были выделены в конец романа и присутствие их в прозе было рационалистически мотивировано, этот эффект, мне кажется, пропал.)

Стихи Борис Леонидович прочел отнюдь не по-актерски. Произнесение каждой строки «Рождественской звезды» продолжалось одинаковое количество секунд, как бы под стук метронома, поэтому длинные многосложные строки он читал ускоряя, а короткие медленно, чем достигалась также естественность и простота интонации. Реалии описательной части производили такое впечатление подлинности и достоверности (включая Ангела), что все мы слушали как озаренные, как будто мы сами в этот холодный апрельский вечер (форточки были открыты) присутствовали при рождении нового сознания. И когда он закончил, Евдоксия Федоровна Никитина глубоко и блаженно вздохнула, тихо произнеся: «О, Господи». А совсем лишенный подобного чувства Илья Самойлович Зильберштейн сказал в кулуарах со свойственной ему экспрессией: «Как мне его жалко. Он так любит свою работу».

Стали расходиться. Я заметила в передней, как Ивинская юркнула за шкафы и быстро-быстро попудрила себе нос. Я ушла. На дворе была холодная весенняя ночь. Я видела, как Борис Леонидович вышел из парадной в летнем плаще. Тонкий лед хрустел под его удаляющимися шагами.

3.

Отрывок из моего письма к Ахматовой:

«...Вторая новость очень радостная. Это — роман Бориса Леонидовича. Под романом подразумеваю его новую прозу, а не новую любовь, которая тоже имеется. Эта книга такая, что после нее все написанное до сих пор кажется старомодным. Оказывается, все Хемингуэи существовали для того, чтобы их находки пошли в дело в новом русском романе, вновь созданном на основе старой формы. Радостно жить, когда знаешь, что рядом строится такое огромное здание. Поразительный натиск созидательной энергии.

Это произведение стало мне дороже всего на свете.

Через несколько дней после чтения я встретила его на улице, возле его дома. Он сейчас же объяснил, что спешит куда-то занять деньги, не задерживаясь, передать их через лифтершу жене и идти куда-то дальше. Тем не менее он велел мне сделать с ним несколько шагов, потом стоял предо мной с седой щетинкой на подбородке, в непромокаемом плаще (а было еще холодно), и тихо говорил: “Ведь это счастье чувствовать, что в тебе есть такое. Ведь правда, да?” — С надеждой он ждал от меня подтверждения и успокаивался, когда я говорила “конечно, конечно”. Он стоял предо мной как огорченный Пан и весь трепетал от жажды утешенья и пониманья. И когда я ему сказала, что «Сестра моя жизнь» и последний роман произвели на меня однородное впечатление, он по-детски обрадовался и счастливым голосом опять спросил: “Правда?” Когда я с ним попрощалась, неожиданно он быстро поцеловал меня в губы.

...Недели через две, проходя по проезду, название которого я всегда забываю, я издаleка заметила: выделяясь из толпы, навстречу идет молодой человек в самом весеннем настроении. Не успела я насмешливо подумать — “страстный брюнет”, как увидела ря-

дом с ним стройную блондинку с распущенными волосами и совершенно затуманенным взором. Лицо молодого человека медленно надвигалось на меня выкаченными от восторга глазами, а ноги его как-то странно шаркали по тротуару, как будто каждым шагом он пробовал через асфальт землю. Мимолетное “здравствуйте”, какой-то неловкий слабый жест, и виденье исчезло.

Уже через несколько часов мне было доложено, что решающее объяснение “брюнета” с “блондинкой” произошло и что ей посвящено “все последнее великое”, т. е. роман и стихи...

Вскоре Борис Леонидович позвонил мне по телефону, извинился, что не сразу узнал меня там, в Третьяковском проезде, и поздравил с днем Победы.

Правда, звонок был не без повода, но об этом когда-нибудь расскажу...»

Легко догадаться, что вести о Пастернаке приходили ко мне от Лидии Корнеевны, ежедневно встречавшейся с Ивинской. От нее же я знала, что Борис Леонидович после своего чтения всю ночь гулял с Ивинской по московским улицам. Так рассказывала Ольга, а сам Пастернак сказал Лидии Корнеевне, что все в тот вечер доставляло ему давно не испытанное наслаждение — «почти чувственное»: самое чтение, квартира в Настасьинском переулке, публика, даже чай, даже лифт.

Между прочим, Лидия Корнеевна сказала мне со слов Ольги, что Борис Леонидович был удовлетворен письмом, которое я ему написала после чтения в Настасьинском.

Я не стала посылать это толстое письмо по почте, а понесла его в Лаврушинский переулок, чтобы опустить в ящик на дверях квартиры Пастернака. Но у главного подъезда писательского дома, как уже известно из моего письма к Ахматовой, встретила его самого. Он был не один. Спутник его отошел в сторону, но ждать пришлось так долго, что, махнув рукой, он удалился.

Говоря свои тихие слова, Борис Леонидович время от времени ощупывал счастливым жестом внутренний карман пиджака, куда было положено мое еще нечитанное им письмо, похлопывая себя по левой стороне груди. Вот каким событием был для него в эти дни каждый отклик на его работу. «Я такие отзывы читаю о себе “там”, целые разборы, — он назвал неизвестное мне имя английского литературоведа: — Это их Веселовский», — пояснил он.

Все это говорилось так доверчиво, что у меня пропала всякая стесненность или сомнение в нужности моего письма. Писать его было нелегко, потому что мой жалкий и утомительный быт уводил от сосредоточенности, требовалось очень сильное волевое напряжение, чтобы преодолеть эту рассеянную подавленность. Но мне хотелось передать главное: омовение души, которое я испытала, слушая Пастернака. Казалось, всеобщая надежда на духовное обновление, индивидуально связанная у меня с редкими просветленными состояниями моей юности (она приходилась на самое начало двадцатых годов), найдет воплощение в этом новом современном романе. Вот почему я так смело, может быть, дерзко писала Пастернаку о «религиозном чувстве, уже освобожденном от веры в традиционного Бога». Под неточным выражением «традиционный Бог» я подразумевала скомпрометированный веками лицемерия и преступлений клерикализм, ибо возвращение к старым, уже

выхолощенным, церковным традициям не вязалось, как я думала, с именем Пастернака и не этого я от него ждала.

О «Рождественской звезде», которую я считала ключом ко всему роману, я писала: «В книге описано наступление новой эры, когда земля жаждет нового гения. Все к этому готово. Каков он будет? Никто не знает: не дано знать и автору. Но, великий художник, он знает, *как рождается гений*».

Я была убеждена, что духовную жажду и ожидание нового слова разделяют со мною все преображенные войной люди, потрясенные ее неслыханными бедствиями, зверствами и подвигами самоотвержения. А таких было большинство, хотя не все могли дать себе отчет в этом, так как понятия, в которых они были воспитаны, отставали от происходящего в них процесса духовного созревания. Мне казалось, именно это имел в виду Пастернак, когда он описывал 1905 год, и поэтому я написала фразу, которую, как я надеялась, он должен был понять: «Их мысли — реминисценции, но их страсть — сокрушающая, новая. У всех кружилась голова от ощущения новизны и возможности все переделать. Не только возможности, но и необходимости...»

Особенно выделялась в первом варианте романа фигура Миши Гордона с его рано осознанной отчужденностью и репликой, намекающей на новые открывающиеся дали: «Когда я вырасту, я это переделаю».

— Откликнется ли в следующих частях эта тема еврейства? Это очень важно, — спрашивала я Бориса Леонидовича в своем письме.

— Да, откликнется, — сказал он мне по телефону. — Откликнется тем, что — вам я это скажу — главным героем моего романа будет не Живаго, а Гордон.

Он много и подробно стал говорить на эту тему, заключив, что центральной идеей романа будет «выход из национальности». Некоторым подобием высказанных им тогда мыслей могут служить его же слова из «Заметок к переводам шекспировских драм» (об «Отелло»): «Идеи равенства наций при нем не было. Жила полной жизнью более всеобъемлющая мысль христианства о другом роде их безразличия. Эту мысль интересовало не рождение человека, а его обращение, то, чему он служил и себя посвящал».

На основании этого телефонного разговора я смею утверждать, что весной 1947 г. роман в замыслах Пастернака нес некую историософскую идею, более широкую, чем историческое изображение трагической судьбы русского интеллигента, может быть, идею об обновленном христианстве. Но в том-то и дело, что в атмосфере невероятного, которая окружала нас последние десять лет, ожидалось не это, а что-то еще небывшее и несказанное. Вот почему я была удовлетворена тем, как сочувственно Борис Леонидович ответил на мои кощунственные по отношению к церкви фразы, прибавив: «А если бы вы знали, сколько людей поняли меня именно так», — т. е. приняли его за апологета православия и поборника реставрации разрушенных верований и обрядов.

Я слушала его через телефонную трубку, стоя в коридоре, по которому бегали взад и вперед жильцы, а вечером пыталась записать его слова. Запись эта не сохранилась, и жалеть об этом нечего; для того, чтобы передать философско-поэтические монологи Пастернака, нужно либо обладать равным ему талантом, либо знать его настолько хоро-

шо, чтобы, изучив его манеру говорить, передавать его неповторимый синтаксис. По поводу стихов и прозы Пастернак упомянул Льва Толстого (который отзывался о стихотворстве как о скачках с препятствиями, т. е. как об искусственной игре) и даже объявил, что любит у Пушкина только «Медного всадника» и «Балду». Соотносил свой роман с интеллектуальными романами Достоевского. А высказав все, что хотел, добавил в заключение: «На литературных вечерах ко мне иногда подходили и говорили похожее на ваши мысли. Знаете, в Доме Печати (в двадцатых годах)... Были тогда такие думающие комсомольцы... евреи».

Это был последний раз, когда я слышала голос Бориса Леонидовича. А увидела его лицо лишь через тринадцать лет — на его похоронах в Переделкине. Вынося гроб из дома, его высоко подняли на повороте. Полуденное солнце осветило белое, белое лицо со странным рисунком челюсти. Пастернак как будто прощался с близлежащим полем, далекой каймой весенних роц и голубым светом. Гроб приспустили, двинулись к кладбищу. По обеим сторонам поля потекли разноцветные ленты провожающих. Казалось, что на осиротевшей коричневой даче все еще думает за роялем Святослав Рихтер.

4.

Почему же за истекшие 13 лет я ни разу нигде не встретила с Борисом Леонидовичем? Много было причин. Мелкое и крупное перемешалось и отвлекло меня от бурных событий чужой жизни. Наступившее отчаяние, социальное и материальное положение окрашивало каждую мою встречу с любым собеседником тайной надеждой, не окажется ли она соломинкой, за которую я ухвачусь. Не дай Бог, если бы это прорвалось в разговоре с Борисом Леонидовичем! Я избегала случайных встреч с ним. Это заметил даже Ардов. Однажды с подчеркнутым удивлением он спросил меня, почему я не остаюсь, когда на вечер ждут Пастернака, другой раз обратил внимание на мой внезапный торопливый уход после телефонного звонка Пастернака, предупреждавшего о своем приходе.

Кроме того, было ясно, что Пастернак заполонен своим романом с Ивинской и для малознакомых людей места уже не оставалось. А о драматических событиях, происходящих в жизни и Бориса Леонидовича, и Ольги Всеволодовны, я узнавала вначале от Лидии Корнеевны, потом от Анны Андреевны, а впоследствии об этих делах говорила уже вся Москва, да и не только Москва.

Благожелательное отношение к Ивинской сменилось у Лидии Корнеевны и у Ахматовой негативным довольно скоро. Впоследствии Ахматова утверждала, что ее отношения с Пастернаком постепенно портились из-за этого. Но Анна Андреевна была непреклонна.

Самая опала Пастернака, вся эпопея с его романом «Доктор Живаго» носили шумный крикливый характер благодаря участию в этом Ивинской. Это было так непохоже на благородную скромность Ахматовой, многие годы проведенной в еще худшем положении, чем Пастернак. Когда-то давно он и сам отмечал это, заступаясь за нее в письме к Сталину.

Теперь она находила много разительных перемен в Пастернаке. Она стала замечать, например, что он отрекается от старых друзей, с которыми его связывали годы и годы дружбы. Однажды он назвал пошляком Г. Г. Нейгауза (?) за то, что, не имея собственной дачи, он снимал комнату в Переделкине. Поссорился с другом своей юности С. Бобровым из-за критического отзыва его о «Докторе Живаго». Все это рассказывала мне Анна Андреевна, жалуясь на перерождение Пастернака. Когда же он напечатал свою автобиографию, она возмутилась, узнав о его глубоком равнодушии ко всем поэтам-современникам, причем Мандельштама он назвал после Багрицкого. Все чаще и чаще Анна Андреевна высмеивала поступки и слова Бориса Леонидовича в быту, в частной жизни. Резко отрицательно относилась она к чувственным новым стихотворениям Пастернака, находя в них признаки старчества. Это ненавистная ей «Вакханалия» да еще «Ева» и «Хмель». У Анны Андреевны бывали периоды такого равнодушия к Пастернаку, что у нее долго валялась на подоконнике машинопись с авторской правкой его «Заметок к переводам шекспировских драм». Она отдала ее мне, заметив только, что писала свое стихотворение о нем со строками — «Могучая евангельская старость и тот горчайший гефсиманский вздох» — до того, как получила этот его подарок. Она имела в виду слова Пастернака о монологе Гамлета: «Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силой чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской ночи».

Главным камнем преткновения во взаимоотношениях Ахматовой и Пастернака было ее отношение к его роману, который она совершенно не принимала. Кажется, прямо в глаза она ему не высказывала свое мнение, опасаясь участи Боброва, но ведь он не мог не чувствовать ее равнодушия к своему, как он считал, главному созданию.

К этому я относилась очень нервно. Мы читали роман Пастернака отдельными поступающими в машинописи кусками и резко критиковали уральскую часть, которую Анна Андреевна считала проходной. Читала я отдельные части «Доктора Живаго» и у Елизаветы Яковлевны Эфрон, но уже ни разу не испытывала такого внутреннего подъема, как на первом авторском чтении. И тогдашнее мое письмо казалось мне теперь слишком выпендренным. Это и было главной причиной моей боязни встретиться с Борисом Леонидовичем.

Анна Андреевна все более и более отчуждалась от него. И однажды, приехав из Ленинграда и названивая московским друзьям, вдруг поняла, что Пастернаку звонить уже не стоит. Отойдя от телефона, она произнесла с досадой и горечью: «Нет, Москва без Бориса это уже не Москва!»

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- *А. Д. А., приятельница Э. Г. 79, 95
Абакумов В. С. 359, 369
Аввакум Петрович, протопоп 269
Авербах Л. Л. 18, 30
Агалов Б. Н. 391
*Адалис А. Е. 37
*Адуев Н. А. 34, 54, 400
*Адуева С. К., см. Вишневская С. К.
Азорова, врач 179
Айзенман Т. С. 483
Айч, жена литератора Н. Айча 151
*Аксель, приятель Л. Гумилева 240, 245, 250, 351
Аксенов И. А. 30
Александра Фёдоровна, императрица 257, 69
Алексей Михайлович, царь 216
*Алёша, см. Вагинов А. К.
Алигер М. И. 486
Аллилуева Н. С. 222-223, 332, 333, 337, 352
Альтман И. В., см. Шёголева И. В.
Андреев А. А. 329-330, 335, 338
Андреев Л. Н. 488
Андроников И. Л. 226, 253, 255, 289-291, 95, 300-301, 308, 449
Андроникова В. А. 300, 308
Андроникова М. И. 300-301, 308
Аникиева В. Н. 245
Анненков Ю. П. 423
Анненский И. Ф. 249
Анреп Б. В. 266, 480
Анциферов Н. П. 188, 225, 290, 310
Анциферов С. Н. 188
Анциферова Т. Н., см. Камендровская Т. Н.
Ань Лу-шань 375
Апель (Аппель) И. 140
Аракчеев А. А. 227
*Арбенина О. Н., см. Гильдебрандт-Арбенина О. Н.
*Ардов В. С. 45-46, 53, 198-199, 230, 263, 319, 348, 357-358, 428, 455, 475-78, 481-483, 485-486, 495, 507
*Ардов Б. В. 485, 495
*Ардов М. В. 473, 485, 486, 495
*Ардова Н. А., см. Ольшевская Н. А.
*Ардовы, семья 53, 207, 230, 231, 323-324, 359, 428, 455, 476-487, 495, 501
Аренс А. Е. 210
*Ариша, няня, см. Грачева А.
Артамонов М. И. 216, 325-327, 348, 376, 377, 464
Артоболевская А. Д. 264
Артоболевский Г. В. 264
Асеев Н. Н. 90, 277
Ахматова А. А. 16-17, 41, 46, 48, 52-58, 60-63, 65, 67, 71-84, 90, 92, 96, 105, 108, 109, 113, 139, 150, 152, 160, 165-173, 178-182, 184-185, 187, 197-221, 225, 228-232, 235, 240-243, 245-246, 248-251, 253-256, 258, 263-268, 275-277, 279, 282-284, 287, 294, 302-303, 313, 315-386, 388, 390, 412-423, 430-431, 437, 439, 443, 444, 446-448, 453-496, 499-501, 504, 507-508
*Б., пациентка Д. Плетнева 233
Бабаев Э. Г. 183, 199, 443, 472
Бабель И. Э. 91, 152, 389
*Багрицкий Э. Г. 43, 90, 153, 156, 202
Балакирев М. А. 177
Бальмонт К. Д. 195, 419, 500
Баранов, эндокринолог 243
Барант Э. де 286
Баратынский Е. А. 139, 224
Барина Г. В. 136, 144
Баркова Е. Т., первая жена А. Осмёркина 405
Баталов В. П. 370
Баталов А. В. 45, 325, 370, 476
Батеньков Г. С. 227
Батюшков К. Ф. 41
Бах И.-С. 23, 34, 157, 244
Бахтин М. М. 209
Безыменский А. И. 90
Белинский В. Г. 293
Белкина М. И. 223
*Белый А. 40, 46, 50, 152, 215, 216, 392
Берггольц М. Ф. 302-303
Берггольц О. Ф. 302
Бердяев Н. А. 319, 392, 395

Звездочкой (*) отмечены псевдонимы и криптонимы.

- Берия Л. П. 222, 265, 269, 270, 327, 337, 338, 359, 434, 436
 Берлин И. 267-268, 344-345
 Бетховен Л. ван 177-178
 Бичурин Н. Я. 321, 380-382
 Блок А. А. 19, 27, 30, 50, 68, 133, 168, 170, 229, 250, 255, 268, 294, 392, 412-414, 496
 Блохер В. К. 87
 Бобров С. П. 499, 508
 Богаевский, переводчик 23-24
 Богданов (Волжский) А. А. 175
 Богомолов Л. И. 99, 100, 102, 107, 108, 158, 162, 163
 Бодлер Ш. 152
 Большаков К. А. 40
 Бонди С. М. 34, 419
 Бонч-Бруевич В. Д. 44, 224, 228, 234, 240, 246-247, 287-289, 299
 Борин, студент 349, 417
 Боровиковский В. Л. 189
 Бочков Алексей Ф. 258-259, 273, 303
 Бочков Павел Ф. 303
 Бочков Феодосий Ник., муж В. Герштейн 258-259, 303
 Брамс И. 139
 Брик Л. Ю. 277, 421
 Брик О. М. 277, 421
 Бродский Д. П. 54
 Бродский И. А. 472, 486
 Бродский Н. Л. 263, 294, 309, 392
 Бруни Л. А. 34
 Брусилов А. А. 84
 Брюсов В. Я. 151, 170, 183, 392-393, 468
 Бугаева К. Н. 50
 Будыко Ю. И. 477
 Булгаков М. А. 221
 Булгакова Е. С. 221
 Бунин И. А. 23
 Бутман Д., жена В. Н. Яхонтова 23, 36, 42, 60
 Бухарин Н. И. 58, 234, 332-333, 336, 389
 Бычков И. А. 246
 Вавилов Н. И. 380-381
 Вагинов А. К. 134, 184
 Вагинов К. К. 132, 134-135, 137, 143, 147, 151, 152, 153, 169-170
 Вагинова И. Б., см. Рудакова И. Б.
 Вагнер Р. 139
 Вайншенкер П. Л., директор Гослитмузея 303
 Ваксель О. А. 106, 412, 426-427, 432, 444, 459
 *Валя, сын дворничихи 242, 473
 *Василиса Георгиевна, домработница Шкловских 70-71
 Васильев П. Н. 36, 150, 152
 Введенский А. И., поэт 277
 Вдовин Е. П., сосед Мандельштамов 160, 163, 166
 Вейдле В. В. 319, 346
 Вельфин Г. 161
 *Веня, сосед С. Рудакова 160, 162
 Венявский Г. 177
 Вербанец Н. В. 361-362
 Вергилий 139
 Верлен П. 117
 Веселовский А. Н. 505
 Виельгорская С. М. 292
 Виноградов, певец 272
 Винокур Г. О. 420
 Вишневецкая С. К., см. Вишневская С. К.
 Вишневская (урожд. Вишневецкая) С. К. 34, 400
 Вишневский А. В. 456
 Вишневский В. В. 34
 Воеводин П. И. 233
 Волков А. А. 114, 173
 Вольпе Ц. С. 276
 Вольф С. О. 100, 102, 163, 167
 Воронцов С. М. 255
 Воронцова В. М. 257
 Ворошилов К. Е. 246, 317-318, 335, 346-348, 350, 351, 372, 462
 Высотская О. Н. 240
 Высотский О. Н. 240, 263
 Вяземский П. А. 342, 458
 Габсбурги, императ. династия 15
 Габричевский А. Г. 479
 Гагарин Г. Г. 41, 226, 246
 Гагарин Ю. А. 459
 Гальперин К. А., врач 262, 409-411
 Гальперина Е. К. 14, 15, 21, 30, 32-34, 47, 50, 52, 56, 58, 70, 212, 217, 235, 242, 245-246, 251-255, 260-262, 273, 286, 301, 315, 392, 396, 397, 402, 405-406, 409-411, 491
 Гальперина Лиля (Цецилия) К., сестра Е. Гальпериной 254
 Гальпериной 254
 Гальперина Н. И., мать Е. Гальпериной 47, 58, 261, 262, 269, 406, 409-411

- Ганнушкин П. Б. 408-409
 Гаршин В. Г. 242-243, 265-268, 477-478, 501
 Гаук А. В. 139, 181, 450
 Гелескул А. 460
 *Георгий, друг В. Герштейн 270-272
 Гервег Г. 225
 Гердт Е. П., первая жена А. Гаука 161
 Герке, врач 178
 Герцен А. И. 225, 293, 342
 Герцен Н. А. 225
 Герчиков Ю., сын Ю. В. Канель 259
 Гершензон М. О. 232
 Герштейн Б. Г., старший брат Э. Г. 238, 244-245, 258-260, 286, 302, 388, 396
 Герштейн В. Г., сестра Э. Г. 15, 258-259, 270, 273, 303
 Герштейн Григ. Моис., отец Э. Г. 7, 14-15, 26-28, 195, 212, 222, 236, 244-245, 257-262, 273, 301, 303, 391, 393, 394, 397, 405
 Герштейн Евг. Г., младший брат Э. Г. 238, 258, 302
 Герштейн (урожд. Групп) Изабелла Евс., мать Э. Г. 15, 26, 27, 72, 236, 244, 258, 260, 405
 Герштейн Л. Я., эсер 236-237, 242, 284
 Герштейн М. Р. 236-237
 Герштейн Н. С., жена Б. Герштейна, см. Групп Н. С.
 Герштейн С. Б., сын Б. Герштейна 245, 259, 308
 Герштейны, семья 15, 221, 258, 273, 388
 Гете И. В. 23, 39, 103, 153-155, 158, 275
 Гильдебрандт-Арбенина О. Н. 50, 106, 202, 419, 422, 426, 438, 442
 Гинзбург Л. М. 143-144
 Гинзбург Л. Я. 242, 423, 458-459
 Гиппиус В. В. 190
 *Гитлер А. 209, 262, 272, 294, 298
 Глазунова А. В. 472
 Глебова-Судейкина О. А. 423, 465, 480
 Глинка М. С. 23, 173
 Глубоковский Б., друг Осмеркиных 47
 Глюк К. В. 176
 Гнесин М. Ф. 392
 Гоголь М. В. 144, 400
 Голицын, князь 450, 489
 Головачёв В. 430
 Головачёва А. В. 422, 430, 431
 Гольденвейзер А. Б. 15, 270
 Гольдони К. 157
 Гольцов В. П. 496
 Гонкуры З. и Ж. де 459
 Горбачева В. Н. 212, 231
 Горенко (урожд. Стогова) И. З. 470
 Горенко (урожд. Райцын) Х. В. 470
 Горенко В. А., брат А. Ахматовой 470-472
 Горенко, семья 266
 Горнунг Л. В. 210, 228
 Горнфельд А. Г. 8, 16-17, 160, 416
 *Горький М. 128, 182-183, 216, 222, 223, 233, 234, 273
 Готовцев В. В. 422
 Готье Т. 117, 424
 Грачева А. 259-260
 Грибоедов А. С. 185
 Григ Э. 158
 *Григорий Моисеевич, см. Леокумович Г. М.
 Григорьев Б. Д. 210
 Григорьев В. В. 321, 380-381
 *Грин А. 492
 Грин Н. Н. 39-40, 52, 70, 92, 408
 *Гришка, см. Леокумович Г. М.
 Грин Т. С. 277, 499, 500
 Грубиян М. М. 377
 Грумм-Гржимайло Г. Е. 369, 370
 Групп Над. Сем., жена Б. Герштейна 238-239, 244-245, 259, 389, 392, 393, 396
 Гуковский Г. А. 86-87, 137, 160, 423
 Гумилев Л. Н. 48-50, 53, 54, 56, 71-72, 76-79, 92, 96, 171, 181, 195-221, 229-232, 240-256, 263-265, 282-284, 313-386, 416, 419, 422, 423, 428, 430, 462-464, 471-473, 475, 478, 483, 484, 496
 Гумилев Н. С. 11, 13, 16, 23, 48-50, 67, 74, 76, 78-82, 90, 93, 95-96, 105, 106, 108, 109, 117, 125, 130, 135, 137, 139, 141-143, 147, 152-154, 160, 165, 168, 171, 174, 176, 185, 202, 210-213, 215, 225, 226, 229-232, 240, 245, 249, 255, 297, 318-320, 328, 339, 343-345, 422, 437, 447, 459, 462, 468-471, 480, 488, 496
 Гумилева А. А. 468
 Гумилева (урожд. Львова) А. И. 95
 Гумилева Н. В. 316, 339, 353
 Гуро Е. Г. 290
 Гюго В. 213, 325, 348
 Давиденков Н. С. 263
 Давиденков С. Н. 263
 Давыдов, сотрудник Лит. музея 224

- Давыдов Д. В. 308
 Данте Алигьери 105, 111, 113, 115, 131, 132, 160, 170, 174, 242
 Данцигер Ю. Б. 154
 Деваль Ж. 176
 Демченко М. С. 335
 Державин Г. Р. 115, 137
 Дживелегов А. К. 44, 209
 Джойс Дж. 173, 176
 Джугашвили, см. Сталин И. В.
 Дикий А. Д. 255
 Димитров Г. 255
 *Дина, см. Канель Н. В.
 Длигач Л. М. 42
 Дмитриев И. И. 228
 Дмитрий Иванович, царевич 343-344
 Добычин Л. И. 176
 Долгорукий А. Н. 227, 294
 Достоевский Ф. М. 208, 260, 271, 361, 392, 399, 400, 410, 472, 507
 Драйвер С. 468
 Думан Л. И. 386
 Дымшиц А. Л. 350
 Дынник В. А. 172
- *Евгений Владимирович, друг Л. Гумилева 282
 Егунова Лия (Лиза) Як., сестра Л. Я. Герштейна 242
 Ежов Н. И. 265, 269, 270, 436
 Екатерина 168, 189, 501
 Елагина А. П. 247
 Елагины, семья 247
 *Елоза, см. Елозо С. В.
 Елозо С. В. 100, 102, 117, 158, 166, 174, 177
 Енукидзе А. И. 58
 Есенин С. А. 90, 152, 168, 497
 Есенина С. А. 67
 Ефрон Н. Г. 154
- Жаркова Н. 498
 Жданов А. А. 282-283, 322, 335, 338
 Жедринский 450
 *Жемчужина П. О., жена В. Молотова 224
 Жерве Н. А. 294
 Журавлев Д. Н. 187-188, 192
- Заболоцкий Н. А. 139, 153-154, 156, 166, 73, 177
 Зак В. Г. 154
- Залыгин С. П. 355
 Замятин Е. И. 447
 Звенигородский А. В. 36
 Зеленая Р. В. 324
 Зелинский К. А. 33
 Земгель, врач 179
 Зенкевич Е. П. 180
 Зенкевич М. А. 172, 419
 Зильберштейн И. С. 286, 504
 *Зина, невеста Л. Гумилева 252-253
 *Зиновьев Г. Е. 230, 389
 Зиновьева-Аннибал Л. Д. 424
 Зозуля Е. Д. 152
 Золя Э. 231, 456
 Зоценко М. М. 177, 209, 297, 310-311, 317-318, 350, 483, 501
- Иакинф, см. Бичурин Н. Я.
 Иванов В. И. 468
 Иванов Г. В. 160, 447
 Иванов Е. П. 250
 Иванова Н. Ф. 226
 Ивинская О. В. 502, 504, 505, 507
 Игнатова Н. И. 486
 *Ида, кухня Э. Г. 239
 Иден А. 239
 *"Икс", приятель О. Мандельштама 42
 Иловайская З. Ф. 288, 300
 Ильин И. А. 392
 Ильина Н. И. 483
 *Ильф И. А. 20, 230
 Иоанн Грозный 343, 454
- Каганович Л. М. 335
 Казанский Б. В. 86, 188
 Калецкий П. И. 87-88, 151, 152-153, 161-162, 166
 Калинин М. И. 222, 260, 300
 Калининна Е. И. 224, 260
 Калугин О. 317, 345
 Камендаровская Т. Н. 188
 Каменев А. Л. 223, 396
 Каменев Л. Б. 50, 215, 222-223, 389, 395-396
 Каменев Ю. Б. 223, 395
 Каменева О. Д. 223-224, 395-397
 Каменский В. В. 277
 Каминская А. Г. 77, 322, 324, 341, 479, 484, 485, 491

- Канель А. Ю. 222-224, 259-260
 Канель Н. В. 222-224, 259, 261
 Канель Ю. В. 222-224, 259, 261
 Канина З. Г., жена П. Калецкого 88, 153
 Карамзин Н. М. 209
 Каранович Е. Л., хозяйка квартиры 25
 Караскуа, военный прокурор 350
 *"Карлик", сосед Мандельштамов 132
 Кармен Р. А. 391
 Карневали Б. 468
 Карпов П. И. 246
 Карузо Э. 211
 Катаев В. П. 27, 43
 Катенин П. А. 96, 153, 184
 *Катерина Тимофеевна, см. Баркова Е. Т.
 Кафка Ф. 460
 Кедрина, врач 162
 Керенский А. Ф. 96
 Кизеветтер А. А. 392
 Киреевский И. В. 247
 Киреевский П. В. 41, 247
 Кириллов В. Т. 175
 *Киров С. М. 208, 261, 335, 337, 349
 Кирпотин В. Я. 293
 *Кирсанов С. И. 20, 41, 307, 498
 Киселёв, художник 409
 Клейст Г. фон 35
 Клементи М. 30
 Клодель П. 45
 Клычков С. А. 29, 37, 45, 60-61, 212, 231, 246, 435
 Клычкова В. Н., см. Горбачева В. Н.
 Клычковы, семья 217, 231, 246-247
 Кляуев Н. А. 21, 36, 49, 245, 435
 Ключевский В. О. 404
 Кожевников В. М. 307
 Козловский И. С. 211
 Колли, фотограф 99, 102
 Колчак А. В. 84
 Кольцов А. В. 32, 165
 Комаровский В. А. 139, 171
 Коммодов, адвокат 263
 Кондратьев В. Л. 305
 *Коневской И. 60, 135, 151
 Канрад Н. И. 325, 326, 363, 365, 368, 370, 376, 464
 Коншина Т. И. 486
 *Корбюзье, см. Ле Корбюзье
 Корди Н. Г. 71
 Корнейчук А. Е. 157
 Корнилова А. К. 167
 Коряков М. 332, 334, 335
 Кралин М. М. 198, 342
 Крачковский И. Ю. 263
 Крестинский 261
 Кретьова О. К. 166, 173, 175, 178
 Кругликова Е. С. 165
 Крупин Д. В. 322
 Крупянская В. Ю. 274
 Крюков А. С. 322
 Крюкова Т. А. 356-357, 377
 Крючков П. П., секретарь М. Горького 273
 Кубицкий А. В., философ 392
 Кудашева М. П., см. Роллан М.
 Кузин Б. С. 22-23, 39-40, 44, 54, 56, 65, 89, 202, 214, 255, 407, 427-428, 429, 444
 Кузмин М. А. 23, 117, 154, 175, 466
 Кюннер Н. В. 348
 Кюхельбекер В. К. 85, 86, 153, 155, 164-165
 *Кюхля, см. Кюхельбекер В. К.
 Лавров П. А. 238
 Ламарк Ж. Б. П. 14, 30
 Лапин Б. М. 22
 *Ле Корбюзье 167
 *Лебедев-Кумач В. И. 307
 Лебедев-Полянский П. И. 287
 Левин Л. Г. 222-223, 273
 Лейкевитов, прокурор 180
 Лемешев С. Я. 211
 *Ленин В. И. 241, 288, 337, 388, 389
 Леокумович Г. М. 97, 110, 115, 118, 142, 166, 177
 Леонов, биолог 202
 Леонтьев К. Н. 407
 Лермонтов М. Ю. 71, 102, 121, 170, 188, 90, 214, 226-228, 231, 255, 258, 263, 264, 286, 289, 290-294, 296, 297, 304, 308, 357, 365, 375, 450, 458, 489
 Лернер Н. О. 101
 Лесман М. С. 343
 Ливингстон Д. 358
 Лившиц Б. К. 435
 Лившицы, семья 442
 Линдберг, летчик 127
 Линсон, прокурор 112
 Лист Ф. 177

- *Литвин-Седой З. Я. 211
Литвинова Т. М. 352
Лозинский М. Л. 462
Ломоносов М. В. 160
Лондон Дж. 197
Луговской В. А. 90
Лукницкий П. Н. 95-96, 210, 241, 330, 447-448, 488, 491
Лурье А. С. 423, 480
Любимова А. В. 484
Людвик 465
*Люттик, см. Каменев А. Л.
*Ляля, см. Канель Ю. В.
- Макашин С. А. 286
Маклакова 450
Маковский С. К. 319
Максимова Л. С., см. Рудакова Любовь С.
Малаховский Б. Б. 261, 262
Малаховская М. В. 261
Малевич К. С. 289, 290, 499
Маленков Г. М. 338
Маңдельштам А. Э. 14, 21, 27, 55, 56, 59, 79, 276, 281, 420
Маңдельштам А. А., сын А. Э. Маңдельштама 27
Маңдельштам Е. Э. 47, 180, 182, 208, 220
Маңдельштам Н. Я. 7-192, 197, 202-207, 210, 212, 214, 215, 220-221, 226, 228, 230, 243, 248, 249, 251, 253-256, 265, 274-276, 313, 316, 327, 29-332, 336-338, 387, 388, 391, 392, 396-397, 399-409, 412-444, 447, 472-473, 475-476, 487, 497-498
Маңдельштам О. Э. 7-192, 196-197, 202-208, 210, 214, 219, 220-221, 226, 228, 238, 242, 243, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 256, 265, 273, 275-276, 279, 281, 284, 313, 314, 328-334, 336-338, 349, 351, 352, 390-391, 392, 395, 396-397, 400, 402-409, 411-448, 459, 475-476, 480, 497-498
Маңдельштам Ф. О. 19, 101
Маңдельштам Э. В. 47-48, 421
Маңдельштамы, братья 19, 27, 177
Маннергейм К. Г. Э. 269
Мануйлов В. А. 265, 309
Маранц Е. Я. 163
Маранц Ф. Я. 113, 163
Маранцы, семья 163-164, 168, 169
Маринетти Ф. Т. 96
Маркс К. 199, 388
- Мартынов И. С. 294
Маршак С. Я. 257, 302
Махаев, студент 349, 417
Маяковская А. А. 428
Маяковские, сестры 428
Маяковский В. В. 16, 90, 133, 139, 188, 189, 277, 333, 421, 428, 480
Медведев П. Н. 159
Медведева-Томашевская И. Н. 198-199, 484
Мей, полковник 249
Мейерхольд В. Э. 235, 240, 277, 497
Мекк Г. фон 41, 73, 404
Мережковский Д. С. 421
Мериме П. 138
Мец А. Г. 442
Микеланжело Буонаротти 140
Микоян А. И. 381
*Михаил Матвеевич, см. Никитин М. М.
Модильяни А. 465, 479-480
*Молотов В. М. 212, 222
*Монго, см. Столыпин А. А.
Мопассан Г. де 37, 136, 139, 159
Моргулис А. О. (Моргулис А.И.) 23-24, 72, 226
Моцарт В. А. 8, 30, 157, 158
Муцсолини Б. 96
- *Н. И. Х., см. Харджиев Н. И.
Надсон С. Я. 44, 139, 222
*Надя, дочь А. Грачёвой 260
*Надя, жена Б. Герштейна, см. Групп Н. С.
Найман А. Г. 218, 344, 480, 486, 488, 496
Наполеон 292
Наппельбаум Лев М. 167
Наппельбаум А. К., см. Корнилова Л. К.
Нарбут В. И. 42-44, 56, 342, 419, 435
Нарбут С. Г. 42-44, 56
*Наталья Георгиевна, свояченица Шкловского, см. Корди Н. Г.
*Наташа, хозяйка комнаты 99, 102, 156
Неведомская В. А. 468
Недоброво В. Н. 466, 480
Нейгауз Г. Г. 508
Нейгауз З. Н. 29
Некрасов Н. А. 247-248
Немирович-Данченко Вл. И. 45
Нерлер П. М. 122
Нечаев, певец 272

- Никитин И. С. 165
 Никитин М. М. 308
 Никитина Е. Ф. 504
 Нилендер В. О. 52
 Ницше Ф. 42, 238
 *Новалис 152
 Новиков Н. И. 190
 Нусинов И. М. 307
 *Нюра, прачка 158
- *О., адвокат 38
 Обухова Н. А. 224
 *Одоевцева И. В. 468
 Озеров В. А. 138
 Ойстрах Д. Ф. 178
 Окладников А. П. 327, 369, 371, 376, 464
 Оксман Ю. Г. 113, 161, 168
 Олеша Ю. К. 43, 498
 Ольшевская Н. А. 45-46, 207, 230, 321, 325, 59, 370, 423, 428, 430, 475-487, 495, 501
 Ольшевский А. А. 483
 *Оля, дочь домработницы 182
 Осипов А. 402
 Осмёркин А. А. 21, 32, 46, 47, 58, 70-72, 12, 220, 248, 250-255, 261, 264-265, 315, 396, 405-406, 492
 Осмёркина Е. К., см. Гальперина Е. К.
 Осмёркина Лиля (Цецилия) А. 56, 301
 Осмёркина Н. Г., третья жена А. Осмёркина 492
 Осмёркина Т. А. 301
 Осмёркины, семья 40, 47, 75, 245, 255, 273, 301, 417
 Островский А. Н. 23
 Островский Н. А. 157, 455
 Оцуп Н. А. 319
 Павленко П. А. 65, 338, 436
 Павлов, сын И. П. Павлова, врач 404
 Павлов И. П. 404
 Паганини Н. 136
 Паллас П. С. 14, 30
 Пановы, семья 163-164
 Панченко А. М. 316-320
 Парамонов Б. 335
 Пастернак Б. А. 29, 56, 65, 90, 108, 132-133, 139, 147, 150, 159, 163, 166, 170, 173, 174, 177, 178-181, 215-216, 219-220, 282-283, 303, 330-337, 344, 352-353, 393, 407-409, 414, 419, 420, 449-450, 456, 459, 466, 481, 497-508
- Пастернак Е. В. 29, 407, 419, 420
 Пастернак Е. Б. 29
 Пастернак З. Н. 499-500
 Пауэрс, летчик 492
 Пахомов Н. П. 289
 Пельше Р. 161
 Переверзев В. Д. 392
 Перцов В. Ф. 283
 Песис Б. А. 395, 498
 Песков Б. Г. 163
 Петников Г. Н. 72
 Петр Великий 189, 220, 247, 422
 Петров, Вовка, Вс. Н. 251
 *Петров Е. П. 20
 Петров С. В. 166
 Петровский Д. В. 108
 Петровых М. С. 48-50, 55, 104, 106, 202, 203, 206, 207, 408, 418-423, 428-431, 432-433, 437, 483
 Петровых П. 48
 Пигарев К. 224
 Пиксанов Н. К. 209, 392
 *Пильняк Б. А. 219, 221
 Пилявская С. 46
 Писарев Д. И. 30
 Платон 31, 158
 Плетнев Д. Д. 222-223, 233, 273
 Плоткин А. А. 175
 По Э. 195
 Погодин Н. Ф. 102
 Подобедов М. М. 167
 *Полина Львовна, см. Вайншенкер П. А.
 Половинкин Л. А. 154
 Полонская В. В. 46, 230, 428, 480
 Полонская Нора, см. Полонская В. В.
 *Поля, домработница Герштейнов 238, 270, 299
 Поляков, студент 349
 Полякова С. В. 427, 437
 Попова Е. Е. 23, 25, 36-37, 42, 66, 70, 92, 104, 121, 123, 429
 Поскребышев А. Н. 260
 *Приблудный И. 245, 411
 Примяков В. М. 87
 Пришвин М. М. 353
 Пруст М. 9, 12-13, 173
 *Прутков К. 170
 Пугачев Е. И. 489
 Пудовкин В. И. 17

- Пунин Н. Н. 53, 71, 181, 198, 204-205, 210, 217, 221, 229, 240-242, 250-251, 261, 302, 321, 324, 327, 332-333, 349, 351, 417, 418, 420, 423, 446-448, 476, 479, 484, 485, 491
- Пунина А. Е. 240, 241, 253, 302, 418, 484
- Пунина И. Н. 77, 210, 240-242, 321, 324, 341, 359, 418, 479, 484-488,
- Пунины, семья 232, 240, 324, 359, 484, 486, 488, 496
- Пушкин А. С. 13, 32, 66, 118-119, 139, 163, 187, 188-189, 245, 277, 339-341, 342, 384, 394, 395, 453, 459, 461, 483, 488, 489, 493, 507
- Пшавела В. 179
- *Пяст В. А. 41, 119
- Рабле Ф. 209
- *Радек К. Б. 216, 255, 406
- Радищев А. Н. 190
- Радлова А. Д. 158
- Райх З. Н. 235, 497
- Рапопорт Я. Л. 222
- Раппопорт, сотрудница общества "Техника-массам" 396
- *Раскольников Ф. Ф. 11
- *Распутин Г. Е. 469
- Рафаэль Санги 136
- Рахманинов С. В. 244
- Рейзах П. 177
- Рейснер Л. М. 10-11
- Рем Э. 209
- Рембрандт 251
- Ремезов М. 186
- Рецептер В. Э. 487
- Рихтер С. Т. 507
- Робинзон В. А., см. Андроникова В. А.
- Рогинский Я. Я. 119, 121, 149, 152, 404, 409
- Рождественский К. И. 289, 290-292, 295
- Розанов В. В. 400
- Розанов И. Н. 307
- Розовский М., одноклассник Э. Г. 389
- Рокоссовский К. К. 94, 306
- Роллан М. 179
- Роллан Р. 179, 305
- Ростовцев М. И. 345
- Рубинштейн Р. А., муж И. Пуниной 485
- Рудаков Б. 84-85
- Рудаков И. Б., брат С. Рудакова 84
- Рудаков С. Б. 63, 65, 66, 68, 72, 74-192, 221, 240, 243, 249, 264, 265, 306--309, 313, 336, 417, 432-433, 439, 500
- Рудакова А. Б. 76, 98, 99, 100, 174, 184, 186
- Рудакова И. Б. 134, 184, 186
- Рудакова Дина С., см. Финкельштейн Л. С.
- Рудакова Любовь С. 85
- Рудакова Л. Б. 98, 102, 184, 186
- Рудакова М. Самойл., см. Хейфец М. С.
- Рудакова М. Серг. 85, 97
- Рудаковы, дети Б. Рудакова 84-86, 91
- Руденко Р. А. 347-350, 367
- Рудерман М. И. 29, 44
- Руднев Л. В. 317-318, 347, 492
- Рукавишников И. С. 108
- Румнев А. А. 154, 404
- Руссо Ж. -Ж. 29, 305
- Рыбакова Л. Я. 185, 478
- Рыкова Н. В. 423
- Рысс Ц. 14, 23
- Рябинин Е. И. 155
- Садовской Б. А. 225
- Сакулин П. Н. 392
- Салтыков-Щедрин М. Е. 164, 378
- Санников Г. 120, 153
- *Саргиджан А. 38-39, 45, 160
- Свердлов Я. М. 19
- *Светлов М. А. 90, 230
- Святополк-Мирский П. Д. 37
- *Северянин И. 233, 419
- Седов Л. А. 388-389, 397
- Сейфулина Л. Н. 218-219, 221, 307
- Селивановский А. П. 108
- Сельвинский И. А. 29, 90, 189
- Семевский М. И. 489
- Сергеенко М. М. 163
- *Сергей Константинович, знакомый Л. Гумилева 385
- Сергиевский И. В. 286-287
- *Серёжа, сын Б. Гершштейна, см. Герштейн С. Б.
- Серпинский С. С. 369, 370, 371, 373, 374, 376, 378-380, 385
- Симонов К. М. 502
- Синебрюхов С. И. 224, 227
- Синьоре С. 456
- Слоним И. Л. 352
- Случевский К. К. 190
- Смирнов, энтомолог 214

- Соболев Л. С. 307
 *Соболь А. 154
 Соколовский А. 158
 *Сокольский, см. Соколовский А.
 Соловьев С. М. 247-248
 *Сологуб Ф. 108, 159, 211, 233
 Соологуб В. А. 41
 *Софья, Софья Касьяновна, см. Вишневская С. К.
 Сперанский М. М. 227
 *Ставский В. П. 64, 436
 *Сталин И. В. 19, 26, 53, 54, 55, 58, 65, 70, 79, 92, 121, 143, 212, 213, 219, 221-223, 230, 234, 238, 239, 260-262, 265, 269, 282-284, 303, 304, 319, 323, 325, 328-338, 351-353, 361, 397-398, 415, 417, 432, 435, 462-463, 484
 Станиславский К. С. 45, 428
 Стейнбек Дж. 460
 Степанов Н. Л. 86, 111, 138
 Стефан (Стефен) А. И. 99, 102, 118, 147
 Шешенко И. Н. 173
 Стоичев С. А. 167-168, 174, 182
 Стоальпин П. А. 27
 Столыпин А. А. 227, 290
 Струве В. В. 325-329, 355-358, 361, 372, 464
 Струве Н. А. 413
 Стэнли Г. М. 359
 Стюарты 459
 Суегин Н. М. 289-291, 295, 303
 Судейкина О. А., см. Глебова-Судейкина О. А.
 Сумароков А. П. 99, 102, 135-137, 154, 160, 169
 Суок Л. Г. 43
 Суок О. Г. 43
 Суок С. Г., см. Нарбут С. Г.
 Сурикова К. Б. 224, 288, 299, 300
 Сурков А. А. 325, 464, 465, 484
 Сыма Цянь 321, 383, 386
- *Т. А. и К°, знакомые С. Рудакова 137
 Табидзе Т. 336
 Таллер, знакомый С. Рудакова 172
 Тан, династия 382
 *Таня, дворничиха 264
 *Тарапунька, см. Тимошенко Ю. Т.
 Тарле Е. М. 209, 286
 Татлин В. Е. 34, 409
 Тацит К. 438
 Тименчик Р. Д. 343-344
- *Тимоша, жена сына М. Горького 273
 Тимошенко Ю. Т. 385
 Тихонов Н. С. 90, 139
 Толмачёв, знакомый С. Рудакова 171
 Толмачёва 171
 Толстая С. А. 15
 Толстая-Есенина С. А., см. Есенина С. А.
 Толстов С. П. 369, 371
 Толстой А. К. 112
 Толстой А. Н. 38-39, 49-50, 53, 54, 274, 282-283, 322, 422
 Толстой Л. Н. 15, 109, 183, 247, 311, 454, 461, 488, 507
 Томашевская З. Б. 198-199, 302
 Томашевская И. Н., см. Медведева-Томашевская И. Н.
 Томашевские, семья 199, 302
 Томашевский Б. В. 85, 90, 187, 198, 306-307
 *Троцкий Л. Д. 236, 238, 335, 388-390, 397
 *Троцкий Л. А. см. Седов Л. А.
 *Троша, рабочий 98-100, 102, 109, 162-163
 Трубецкой С. В. 255, 257, 258
 Тугон-Барановский М. И. 245
 Тургенев А. И. 285
 Тургенев И. С. 17, 221
 Тухачевский М. Н. 87, 336
 Тьяньнов Ю. Н. 66, 85-87, 91, 111, 134, 138, 139, 143, 160, 164
 Тышлер А. Г. 56
 Тютчев Ф. И. 36, 153, 224
- *У-й, профессор 225, 234
 Уралов Э. 183
 Утесов Л. О. 385
 Уткин И. П. 90
- Фаворский В. А. 276
 Фадеев А. А. 72, 282-284, 293, 300, 307, 322, 325, 329-330, 385, 484
 *Федор Федорович, знакомый Л. Гумилева 385
 Фейнберг И. Л. 66
 Фелипе Л. 460
 Ферреро В. 141
 Фет А. А. 361, 488
 Философов Д. В. 421
 Финкельштейн Л. С. 63, 66, 72, 74-84, 86-87, 90-91, 94-192, 243, 264-265, 307, 432

- Финкельштейн С. 184
 Фирдоуси А. 382
 Фишман О. Л. 372
 Флейшман Л. 332-333
 Фофанов К. М. 225
 Фофанова (Е. ?) К., дочь К. М. Фофанова 225
 Фрадкина Е. М. 34, 35-36, 400, 402, 404, 406-409, 425
 Фрадкина М. А., теща Е. Хазина 70, 400, 402, 405
 Франковский А. А. 161
 Фредерикс Д. П. 294
 Фрейчко Д. 106
 *Фрида, неуст. лицо 146
 Фурманов Д. А. 420
 Хазин Е. Я. 12, 14, 16, 31, 34, 35, 38-39, 44, 46-48, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 70, 75, 107, 119, 159, 175, 178, 180, 210-211, 221, 228, 233, 238, 247, 248, 254, 255, 275, 280, 295, 297, 387, 391, 395, 400-409, 425-426, 431, 498
 Хазин Я. А. 57, 140, 153, 400, 403
 Хазина А. Я. 8-9, 16, 47, 253-255, 403, 405
 Хазина В. Я., мать Н. Я. Мандельштам 35, 39, 47-48, 56, 59-60, 75, 215, 226, 255, 274-275, 403, 405, 407, 431, 475-476
 Хазина С. К., см. Вишневская С. К.
 Хазины, семья 16, 47, 57, 253, 387, 402, 444
 Халатов А. Б. 26-27
 Ханцун И. Д. 23
 Харджиев Н. И. 45, 56, 60, 63, 67, 71, 72, 74, 75, 82-84, 89, 104, 115, 164, 185, 195-200, 202, 220, 239, 248, 250-253, 261, 274-284, 290, 294, 295, 303, 308, 314, 412, 415, 432, 439, 454, 478, 489, 498-500
 Хван М. Ф. 328
 Хейт А. 96
 Хейфец М. С., первая жена С. Рудакова 85, 184
 Хейфец С., врач 85
 Хемингуэй Э. 492
 Херасков М. М. 185
 Хлебников В. 108, 119, 125, 137, 147, 149, 152-153, 170, 202, 277-278, 280,
 Ходасевич В. Ф. 46, 166
 Хомяков А. С. 41, 48
 Хрущев Н. С. 317-318, 324, 346, 350, 372, 462
 Цветаева М. И. 16, 84, 90, 94, 106, 127-128, 136, 147, 166, 185-187, 190, 223, 294, 307, 308, 344, 346, 414, 469, 480-481, 499-500
 Цветаев М. А. 42, 66, 169
 Церетели 154
 Цомык Г. Д. 100
 Цюй Юань 356-357
 Цявловский М. А. 309
 Чаадаев П. Я. 226, 407
 Чапаев В. И. 119-120, 435
 Чаплин Ч. 9, 26
 Чаплина В. В. 205
 *Чаренц Е. 380-381
 Чернышевский Н. Г. 209
 Чехов А. П. 17, 384, 490
 Чечановский М. О. 407
 Чуковская Е. Ц. 93
 Чуковская Л. К. 206, 282-283, 318, 340, 465, 479, 495, 502, 505, 507
 *Чуковский К. И. 24, 92-93, 335, 353, 412
 Чулков Г. И. 420
 Чулков Н. П. 224, 227
 Чулкова Н. Г. 420
 Чухрай Г. Н. 305
 Шагинян М. С. 89, 108
 Шадрин А. М. 166
 Шалапин Ф. М. 211
 Шапиро, сотрудница библиотеки 233
 Шатойло, врач 179
 Шаховской Д. И. 226
 Шваб К. К. 157
 Шверник Н. М. 212
 Шевченко Т. Г. 159-161
 Шекспир В. 158, 282, 320
 Шенгели Г. А. 29, 56, 167
 Шенгалинский В. А. 347
 Шервинский В. Д. 221
 Шервинский С. В. 52, 221
 Шереметева О. Г. 226
 Шестаков Н. И. 409
 Шилейко В. К. 423, 488
 Ширкевич З. М. 190
 Шкловские, семья 70, 330, 415
 Шкловский В. Б. 35, 37-38, 71, 85, 87, 119, 133, 140, 152, 159, 188-189, 195, 198-200, 307, 309-310, 393, 408, 409, 412-413, 449-450, 472
 Шолохов М. А. 264, 325, 363, 464
 Шопен Ф. 8, 28

Шостакович Д. Д. 45, 368, 370, 456, 498
Шпенглер О. 42, 46, 395
Штемпель Н. Е. 70, 75, 127, 150
Штернберги Д. А. и В. А. 154
Шуберт Ф. 177
Шумовский, аспирант 263, 349, 417
Шухардина, домовладелица 266

Яхонтова Лиля, см. Попова Е. Е.
Яшвили П. 336

Cordier H. 382-383
Gaubil R. 382-383
*N. N., знакомый Рудаковых 91

Щеголев П. Е. 255
Щёголева И. В. 261
Щедрин, см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щербаков А. С. 108
Щербина Н. Ф. 135, 185
Щипачёв С. П. 307

Эберман, востоковед 202
Эйзенхауэр Д. 492
Эйхенбаум Б. М. 34, 71-72, 85, 87, 100, 102, 109,
139, 143, 161, 226-227, 240, 246, 249, 289, 309
*“Элин”, подруга Э. Г., см. Гальперина Е. К.
Энгельгардт Б. М. 85, 242
Энгельс Ф. 388
Эндер Б. В. 290-293, 294, 297
Эренбург И. Г. 15, 37, 61, 207, 307, 324, 325,
346, 352, 372, 464
Эрнст М. 279
Эфрон А. С. 223
Эфрон Г. С. 223
Эфрон С. Я. 186-188, 190, 429, 499, 500, 508
Эфрон М. С. 499
Эфрон С. Я. 186
Эфрос А. М. 174, 307

Юдина М. В. 86, 91, 186
*Юлий, знакомый С. Рудакова 133
Юн Сон До 485
Ющинский А. 27

Ягода Г. Г. 234, 243, 273
Ядринцев Н. М. 385
Языков Н. М. 138
Якир И. Э. 87
Якубовский А. Ю. 327
Яншин М. М. 428
*Ярославский Е. 391
Яунзем И. П. 106
Яхонтов В. Н. 23-25, 36-37, 42, 66, 92, 139, 425

СОДЕРЖАНИЕ

I

ВБЛИЗИ ПОЭТА	7
МАНДЕЛЬШТАМ В ВОРОНЕЖЕ	74

II

ЛИШНЯЯ ЛЮБОВЬ	195
АННА АХМАТОВА И ЛЕВ ГУМИЛЕВ	316
ПЕРЕЧЕНЬ ОБИД	387
НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА	412
МОЛОДОЙ МАНДЕЛЬШТАМ СКВОЗЬ РАЗНУЮ ОПТИКУ	446
В СОРОК ВОСЬМОМ	449

III

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ	453
КНИГА ЖИЗНИ	462
ПОСТАРЕВШИЕ СОВЕСЕДНИЦЫ	475
РЕПЛИКИ АХМАТОВОЙ	488
БЕГОМ ЗА РУКОПИСЬЮ	494
НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ	497
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	510

“Мемуары” выдающегося писателя и историка литературы Эммы Герштейн (1903 г.р.) посвящены Осипу Мандельштаму, Анне Ахматовой, Борису Пастернаку, Льву Гумилеву, Николаю Харджиеву и другим литераторам и ученым, без которых непредставим XX век русской культуры. Под полемическим пером Э. Герштейн возникают не только “картины литературного быта” Москвы и Ленинграда 20—60-х годов, полные драматизма, но и проявляется ушедшая эпоха великих потрясений в своей трагической полноте. Острога наблюдений, талант повествователя и широта обобщений позволяют вспомнить слова поэта:

*Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был,
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!*

Эмма Герштейн.
Г 42 Мемуары: СПб.: ИНАПРЕСС 1998. - 528 стр.
ISBN 5-87135-060-7 **ББК 84. Р7**

Эмма Григорьевна Герштейн
МЕМУАРЫ

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская

Сдано в набор 19.09.96. Подписано к печати 14.06.98.
Гарнитура Лазурский. Формат 70х90/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 33. Усл.-издат. 41,3
Заказ 3704

Издательство ИНАПРЕСС. Санкт-Петербург, Невский пр. 74
Лицензия ЛР №062759 от 21.06.1993

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034. С.-Петербург. 9 линия, д. 12

Готовится к выходу в свет книга Эриха Голлербаха “ВОСПОМИНАНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ”.

Том включает в себя материалы, публикуемые впервые.

Воспоминания о детстве, проведенном в Царском Селе. Соучениками Голлербаха были выдающиеся русские поэты и деятели культуры — Николай Гумилев и Николай Пунин. В гимназии преподавал и директорствовал Иннокентий Анненский.

Одаренный юноша, Э. Голлербах, смог заинтересовать Василия Розанова своими суждениями о творчестве философа, и на основе личного и эпистолярного общения родилась первая монография о русском мыслителе.

Своеобычное творчество Василия Розанова сформировало и писательский стиль самого Голлербаха. Книга “МЕДИТАТА”, писавшаяся в конце тридцатых годов “в стол” состоит из эссеистических заметок, посвященных проблеме существования человека, предстоящего небытию. Может быть, это единственное дошедшее до нас сквозь толщу времени крупное неангажированное сочинение, написанное человеком, знающим цену свободному слову, не смирившимся с социальным распадом и культурным мраком тридцатых годов.

Эрих Голлербах находился в самой гуще культурной жизни, поэтому книга может быть также и путеводителем по лабиринту литературной среды тех лет.

Пронзительные страницы дневника писателя рисуют “внутреннюю” ситуацию человека, оказавшегося в политической тюрьме начала тридцатых.

Все тексты подробно откомментированы.

В издании воспроизводятся архивные фотодокументы. Издание снабжено указателем имен.

Готовится к выходу в свет книга
Б.С. Кузин “Проза. Стихотворения. Мемуары”
Н.Я. Мандельштам “Переписка с Борисом Кузиным”

Б.С. Кузин, известный ученый, биолог-систематик, ламаркист, вошел в историю русской литературы как адресат классического стихотворения Осипа Мандельштама “К немецкой речи”. Это к нему обращены строки поэта:

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык -- он мне не нужен.

Талантливый мемуарист, смелый памфлетист, одаренный лирический поэт, Борис Кузин вовлекал в свою орбиту совершенно различных людей. Помимо воспоминаний о знакомстве с Осипом Мандельштамом в Армении, мемуара о Московском университете двадцатых годов, прозы и стихотворений, том содержит впервые публикуемый полный корпус писем Н.Я. Мандельштам, обращенных к Б.С. Кузину, являющийся воистину эпистолярным памятником трагической эпохи тридцатых и сороковых годов.

“Мемуары” выдающегося писателя и историка литературы Эммы Герштейн (1903 г.р.) посвящены Осипу Мандельштаму, Анне Ахматовой, Борису Пастернаку, Льву Гумилеву, Николаю Харджиеву и другим литераторам и ученым, без которых непредставим XX век русской культуры. Под полемическим пером Э. Герштейн возникают не только “картины литературного быта” Москвы и Ленинграда 20—60-х годов, полные драматизма, но и проявляется ушедшая эпоха великих потрясений в своей трагической полноте. Острота наблюдений, талант повествователя и широта обобщений позволяют вспомнить слова поэта:

*Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был,
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!*

ISBN 5-87135-060-7



9 785871 350607